ISSN 0130–6545

4. 1983

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Юрий Гагарин

Цветные иллюстрации номера — мозаики французской художницы Надежды Леже (1904—1982)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

4 апрель 1983

Содержание

ВАЦЛАВ БИЛИНСКИЙ — Конец каникулам *(Роман. Перевод с польского М. Игнатова и В. Хорева. Окончание)* . 3

ТЕД ХЬЮЗ — Новые стихи *(Перевод с английского Андрея Кистяковского)* 68

МЕДЖА МВАНГИ — Тараканий танец *(Главы из романа. Перевод с английского В. Рамзеса. Послесловие Георгия Анджапаридзе)* 76

Литературные иллюстрации

ВИЛЬЯМ ХАЙНЕСЕН — Башня на Краю Света *(Поэтическая повесть-мозаика о младенческой младости. Перевод с датского Т. Величко. Окончание)* 134

Критика

Алехо Карпентьер сегодня

С. МАМОНТОВ — Осуществиться в других и с другими... 180

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ — На улице Эмпедрадо, в Старой Гаване 186

В. СКОРОДЕНКО — «Бессмертье смертных...» *(Заметки о поэзии Теда Хьюза)* 189

Культура и современность

ЛЕВ ТОКАРЕВ — Допустить нельзя! *(Размышления над страницами журнала «Кэнзэн литтерэр»)* 195

Публицистика

Ю. КАГРАМАНОВ — Европа и «американизм» 203

ТАКЭСИ КАЙКО — Токио с близкого расстояния *(Из очерков разных лет. Перевод с японского Б. Раскина)* 211

Антирубрика

МАРК ТВЕН — Рассказы *(Перевод с английского Людмилы Биндеман)* 229

Наши гости

М. Брук — Гор Видал (США) 235

Среди книг

Издано в СССР

Сергей Белов — Истина простая и пугающая ✦ Голос, поднятый против апартеида *(Андре Бринк отвечает на вопросы Шарля-Филиппа Дюлака)* ✦ В. Турбин — Одиночество 238

Издано за рубежом

А. Зверев — Что читают сегодня в Америке 242

Из месяца в месяц

248

Авторы этого номера

255

На 1-й странице обложки — мозаика французской художницы НАДЕЖДЫ ЛЕЖЕ (1904—1982) «В. И. Ленин».

© «Иностранная литература», 1983.

ВАЦЛАВ БИЛИНСКИЙ

Конец каникулам

РОМАН

Перевод с польского М. ИГНАТОВА и В. ХОРЕВА

Часть вторая

Вот и каникулы! Адам предается послеобеденному отдыху в кабинете господина Задке. Хоть открыто окно и легкий ветерок треплет занавеску, здесь жарко. И дух какой-то немецкий. Чужой диван, благоухающий застарелым сигарным дымом и пастой для ухода за изделиями из натуральной кожи. Коссович недолюбливает чужие квартиры. В Лодзи с трудом привыкал.

Над головой, в спальне, тяжелые шаги — немца или Зенека? Рядом, в коридоре, бодрствует у входной двери Матуля в глубоком кресле. Адам установил очередность дежурств, завел будильник, найденный в спальне. После бессонных суток наконец-то двухчасовой отдых! Надо расслабиться, освободиться от настороженности.

И прежде всего не следует раздумывать о немце, решает он. Я обязан только охранять его. Я цепной пес. Не мое дело доискиваться, почему отданы те или иные распоряжения. Вы, пан Коссович, уже не штатский интеллигент. Не какой-нибудь псевдоинтеллектуал. Вы подпоручик. Вольно!

Немного погодя, уже во сне, в кабинет господина Задке входит Клён-Савицкий, впрочем, Клён ли это или дядюшка Лось? Он в генеральском мундире (ага, в штабах начались повышения, знаем, чем это пахнет, Вильчинский кое-что говорил на этот счет). Генерал ведет под руку сияющую Хеленку в платье, которое было на ней тогда, на балу в офицерском собрании. Но это не Хеленка, а пани Розенблатт, совсем нагишом, вырывает руку у старика в генеральском мундире и бросается к Адаму, а тот, сконфуженный и оторопелый, видит, что лицо у нее распухло от слез.

Звенит будильник, Коссович, взмокший, только сейчас до конца ощущающий бремя усталости, садится на диван. Что это значит, если снится плачущая еврейка? Еще несколько секунд он не понимает, где находится. Смотрит на часы. Они показывают восемь. И в дверях кабинета появляется Зенек.

— Ну и голосист этот будильник! — говорит он.— Мертвого разбудит. Значит, смена караула?

Адам перебрался к входной двери, чуть приоткрыл ее, калитка была заперта, сад надежно защищен высокой сеткой. Сквозь щель в двери потянуло ветерком из сада. Следующие два часа сна принадлежали Зенеку.

Коссович прислушался к убаюкивающей провинциальной тишине — она казалась гулкой, как улей. Сквозь щель в дверях была видна усыпанная щебнем дорожка, которая вела к калитке, возле нее густая живая изгородь, а ближе — раскидистые яблони, груши, сливы.

Какой воздух! Это не смрадная Лодзь! Наконец-то некое подобие каникул. Тишина. Идиллия. Интересно, что за птица этот инженер, господин Задке? «Село спокойное, село зеленое!» Польша, несмотря на наличие Гдыни, Центрального промышленного округа и завода боe-

Окончание. Начало см. в № 3.

припасов в Пьонках, столь экзотична для Европы. Охотничьи эскапады! Лесная глухомань! Полесские болота! Немцы как всегда: закованы в броню. А у нас? Выражаясь метафорически — посконные порты да соломенные шляпы.

Всматриваясь в глубину сада, в зыбкую стену зелени, Коссович вспомнил сумрак переполненного зрительного зала: нынешней весной они видели в кинохронике запрудившие всю Унтер ден Линден танковые колонны. Дикторский голос вещал, что мы не позволим себя запугать! В укромном уголке ложи кино «Марысенька», сидя рука в руке, они были так заняты собой, что Адам только краем глаза видел экран, загроможденный бронированными ордами Гитлера. Разумеется, мы не позволим себя запугать! Не станем заниматься анализом немецкого превосходства! Достаточно того, что сделали чехи. Мы не повторим их калькуляций, которые достойны лоточников: на одной чаше весов свобода, на другой — сознание собственной слабости.

Адам открыл входную дверь, спустился по ступенькам в сад, поднял с земли несколько яблок, они оказались перезрелыми. Аромат увядания, сладость осенних плодов... Коссович постоял в тени, обозревая недавно построенную виллу, отделанную с педантичной тщательностью. Вспомнил, как Хеленка собиралась купить (конечно, после свадьбы) квартиру. Если бы не дядюшкины векселя и ненасытная примадонна с действительно превосходным сопрано, которая ободрала дядюшку Феликса как липку (а косвенно и Адама), Коссович мог бы купить и такую вот виллу. И мог бы там писать книги. Покончить с проверкой домашних заданий. Не жизнь, а малина, проклятый дядюшка! Адам улыбнулся, ибо мысленно увидал высокого пожилого господина, который холеной рукой поглаживает седые, на английский манер подстриженные усы. На пальце этой руки поблескивает массивный перстень с сердоликом. Чертов старикашка! Даже этот перстень он завещал примадонне. Когда Адам вручал его певице в кафе, за витриной которого сверкала огнями реклама Сукарда, она изящно осушила слезы в уголках подведенных глаз и произнесла своим чарующим голосом: «Ваш дядюшка был великолепным мужчиной».

Домик с садиком, мечта, достойная пенсионера. Тебе же всего тридцать лет, парень, одергивает себя Адам. Рано думать об уединении в глуши. Не упрекай же дядюшку в легкомыслии. Лучше молись богу, чтобы и о тебе, когда проживешь долгую, бурную и полную приключений жизнь, какая-нибудь прекрасная молодая женщина сказала: «Каким великолепным мужчиной был Адам Коссович!»

В недрах виллы снова стрекочет будильник. Пора? Теперь наверх, к немцу. Матуля пусть поспит, а Зенек — к дверям. В спальне, на широком ложе господина Задке, лежит немец в пижаме, которую раздобыл для него Зенек. Вокруг сплошные зеркала! Все повторяется в них, словно в каком-то абсурдном мультипликационном фильме. Да, господин Задке был большой сибарит. И вдруг возникает игривый сюжетец: зеркала, постель, а в постели он, Адам Коссович, с обнаженной красавицей. Но пока что в постели — немец. И вокруг — его причудливые отражения в зеркалах. Он не спит, смотрит из-под полуопущенных век. Адам делает знак Матуле, и капрал выходит, тихо прикрыв дверь, но тут же гремит сапогами по деревянным ступенькам.

— Замечательная погода,— говорит Адам, чтобы сказать хоть что-то, и садится в кресле у двери, ведущей на террасу. Видит себя в зеркалах прямо перед собой, справа и слева. Забавное ощущение. А немец долго смотрит на него неподвижными, выпуклыми, словно обнаженными глазами близорукого человека. Потом поднимается с ложа и тихо спрашивает:

— Разве я заключенный?

Адама вопрос сбивает с толку. Отвечая, он заикается, как школьник, не выучивший урока.

— Откуда...

— А почему вы меня охраняете?

— Таковы указания, — поясняет Адам, и внезапно к нему возвращается уверенность. И даже как будто хорошее настроение. Уже вполне непринужденно, без запинки, на своем безукоризненном немецком языке с венским акцентом он продолжает: — Вы должны понять, что речь идет о вашей безопасности.

— Можно ли мне выходить на террасу? — спрашивает Гохман.

— Исключительно в моем обществе. И лучше не днем. Из соображений, о которых я уже упоминал выше.— Когда я пытаюсь придать своему голосу некоторую легкость, получается фальшиво. Скверный из меня актер, подумал он, а вслух произнес: — Впрочем, вы наверняка крайне утомлены. Отдыхайте, пожалуйста.

■

Начались круглосуточные раунды шестичасовых дежурств. У Адама, несомненно под влиянием черных мыслей, и сны бывали неприятные. Когда просыпался, помнил какие-то обрывки... Хеленка бросает на могилу дядюшки (валун с надписью: Феликс Скарбек-Конопацкий) увядшую чайную розу. Роза? Символ, старый, как цивилизация. А увядшая роза? Потом, мучительно задыхаясь, бежит по темному, дремучему лесу (снова какая-то символика). За деревом прячется полковник Клён. Почему? Помнилось и чувство изумления, когда на ровной песчаной дороге (ага, дорога, одиночество — снова символы) появляется чертов немец в треуголке и кургузом фраке, конечно же, Э. Т. А. Г., но если присмотреться... то Польдек Кахане. Таких снов не объяснишь ни по Фрейду, ни толкованиями бабки Северины. Они удручают, злят, нагоняют хандру.

Не удивительно, что, увидав сорванную пломбу (Зенек, не долго думая, открыл в спальне опечатанный шкаф с бельем), Адам понапрасну взбеленился. Даже позволил себе отчитать сержанта.

— Я мародерствую? Есть из-за чего подымать шум,— огрызнулся Зенек.— Вот так здорово! Будем охранять немецкие тряпки! Реликвии, мать их за ногу!

Однако надлежало последовательно придерживаться намеченной линии. Шкафы были заперты, Адам спустился в кабинет и, собравшись с духом, гаркнул на весь дом:

— Зенек, ко мне!

Сержант, насупившийся и оскорбленный, выслушал длиннейший перечень поручений, отданных официальным тоном. Марш в город за покупками! Коссович писал на клочке бумаги: белье. Особенно пижамы. Туалетные принадлежности. Побольше продуктов. Можно пиво — с дюжину бутылок. И газеты. Немецкие тоже, если будут в киоске.

— Денег мне не нужно, — сварливо бросил сержант, когда Адам потянулся за бумажником.

— Как это не нужно? — удивился Коссович.

— Возьму у евреев по перечислению, — пояснил Зенек. — А расплачиваемся мы с ними квитанциями нашего финансового отдела.

— И они обращаются за деньгами?

— Евреи не такие дураки, — засмеялся Зенек. — Но не волнуйтесь за них.

...Адам Коссович, приняв в кресле величественную позу, очутился в окружении Нибелунгов, в сердце древнегерманской Валгаллы. Письменный стол господина инженера Задке. Потрясающий! Из черного дуба, в гданьском стиле. Статуэток на нем бесчисленное множество. Адам, которому был привит венский «тонкий вкус», растерянно оглядывался вокруг. Среди этих экспонатов Зигфрид в августе 1939 года смахивает на шарфюрера в неглиже. Брунгильда и Кримгильда одинаково непривлекательны. Дядюшка Феликс говаривал, что не следует удивляться пристрастию немцев к войне. Кухня у них невкус-

ная, а женщины — страшно подумать. А дядюшка знал толк в кухне и женщинах.

— «Hört, was die Sagen melden aus grauer Väterzeit» [1], — вслух продекламировал Адам, обращаясь к наступавшим отовсюду Нибелунгам, и порылся в памяти: — «In Burgund erblühte ein schönes Mägdelein» [2].— В настольной хромированной рамке фотография дебелой супруги инженера с двумя сынками не подтверждала этих строк о красоте немецких женщин.

Стол господина Задке совсем недавно вызвал живейший интерес у каких-то непрошеных гостей, вероятно после бегства инженера из Белюня. Ящики были выдвинуты, из них вывалены груды деловых бумаг, рукописей, проспектов, скоросшивателей с чертежами. Адам кое-как распихал все это по ящикам, в один из них положил сверху фотографию фрау Задке. Запер боковую дверцу стола. Висевшей на стене метелочкой смахнул пыль с окованного медью абажура настольной лампы и бронзовой чернильницы с двумя фигурами обнаженных мужчин — один опирался на огромную кувалду, второй левую руку держал на бедре, а правой сжимал рукоять тяжелого меча.

От скуки и черных мыслей в Белюне была бы хорошим противоядием работа! Пора начинать... Офицерская полевая сумка, пахнущая свежевыделанной кожей, падает на крышку стола. Адам достает из нее общую тетрадь, купленную за злотый и сорок грошей у Гепперта. На клеенчатую табачного цвета обложку кладет вечное перо. Пиши да и только.

Но с этим писанием что-то не получается. Когда Адам кончиками пальцев, как во время спиритического сеанса, тронул клеенчатую обложку, обычно послушный Э. Т. А. Г. не явился. А Коссович охотно бы увидал, как он бродит по полуевропейской, полуазиатской Варшаве 1804 года в поисках подходящего жилья для своей польской жены, в девичестве Тшиньской. Писатель еще без имени, композитор без славы, живописец и рисовальщик еще без творческого актива. Как он бредет по утопающим в грязи улицам мимо великолепных, в итальянском стиле дворцов, мимо трухлявых, вот-вот готовых рухнуть хатенок и как его, созерцателя, толкают задиристые простолюдины в толпе, где перемешались прусская солдатня, крикливые бородатые евреи, пузатые монахи, греки, итальянцы, французы. Коссовичу хотелось бы сосредоточиться и мысленно воссоздать тот день, когда Э. Т. А. Г. нашел наконец приличное palazzo и снял квартиру в доме «под Самсоном», на шумной улице Фрета, № 278.

Но время явно не благоприятствует вожделенному тет-а-тет с Гофманом. Несмотря на все потуги, фантазия не срабатывает. Образ год назад умершего Польдека Кахане запросто отбрасывает прочь и Э.Т.А.Г., и пеструю варшавскую толпу, словно ненужный мусор. Рождается воспоминание, впрочем, отнюдь не в духе поминовения усопших, ибо тот далекий день предстает в весьма идиллической ипостаси. Не было тогда никаких сложных проблем, кроме необходимости написания дипломной работы. Разумеется, о Гофмане.

Прогулочка по магазинам на обратном пути из университета, несколько покупок: галстук, носки, подобранные у Берты Старк ему в тон. И уже известная нам общая тетрадь в обложке табачного цвета. Гетманские валы, подсвеченные неоновым оленем — рекламой фирмы "Schicht". А на углу Галицкой — гротескная, чаплиновская фигурка хронически безработного Польдека Кахане, возможного преемника знаменитых историографов.

Вот как состоялась их встреча почти под окнами прежней квартиры Адама, еще в пределах досягаемости ароматов кондитерской Хёфлингера. Адам протянул руку. Как поживаешь, дружище? Что у тебя слышно? Зайдем в кафе? После этой реплики на лице Польдека

[1] Послушайте, о чем гласят преданья старины глубокой *(нем.)*.

[2] В Бургундии когда-то дева расцветала *(нем.)*.

появляется выражение, которое выдает его с головой. И тогда тактичный Адам с напускной беззаботностью говорит:

— Знаешь что, пойдем-ка перекусим. Устроим небольшую пирушку.

— Почему бы нет? — соглашается Польдек. — Пошли на Краковскую, к Фуксевичу.

— Ты ешь кошерное?

— Плевал я — кошерное, не кошерное, лишь бы вообще поесть.

Немного погодя, окунувшись в густую атмосферу панировок, лука и пряностей, приятели сели за столик, застланный грязноватой скатертью. Они бывали здесь уже когда-то. Мухи еще заметнее засидели портрет то ли Жаботинского, то ли Герцеля. Постарел хозяин заведения. Постарел и Польдек. Вообще Кахане — бедный, глупый еврей — так сам он говорит о себе, — ибо умный еврей занимался бы коммерцией, а глупый, очень глупый, как, например, Польдек Кахане, что-то ищет в далеком прошлом Польши. Миновали времена великих историков!

— Ты Коссович! Ты-то преуспеваешь...— говорит Польдек, отбрасывая со лба иссиня-черную прядь волос.

— А что у тебя? — Адам, склонившись над тарелкой, ковыряет вилкой огромную порцию фаршированной рыбы.

— Адам, не дури, — отвечает Польдек. — К чему мне говорить, достаточно взглянуть на меня.

Именно тогда купленная у Гепперта тетрадь попала в руки Польдека, который взялся (как специалист-историк) снабдить Коссовича выписками из первоисточников.

— Эпоха Наполеона? Что ты, собственно, собираешься писать?— допытывался он недоверчиво.

— Должен же я о ком-то или о чем-то написать дипломное сочинение, — пояснял Адам. Блюда были вкусные, но несколько тяжеловатые. Взять хотя бы этот гусиный пупок! — А Гофман мне гораздо ближе, чем Гауптман или Рильке...

— Ты напечатал что-то о Фалладе. Я читал.

— А о Фалладе можно написать дипломную работу? — Адам зевает. — Хочу это спихнуть. Ну, Польдек?

— Я бы написал о Фалладе, Финке, Брехте или о Толлере. А ты... Ты всегда останешься Коссовичем, — говорит Польдек Кахане. — Пан Адам Коссович. Можно сказать: ясновельможный пан Коссович.

— Брось, дружище,— говорит Адам.— Кому читаешь проповедь? Напиши мне. Очень прошу.

— Вот именно,— брюзжит Польдек.— Даешь мне сто злотых и еще упрашиваешь, чтобы соблаговолил принять. Ох, Коссович!

Через год после смерти Польдека Кахане, пессимиста, не дожившего до мировой катастрофы (тяжелейшее воспаление легких, трое суток мучительной агонии в больнице св. Лазаря), словно в память о той встрече, лежит на столе бежавшего за рубеж гитлеровца в приграничном местечке Белюнь — тетрадь в обложке табачного цвета, исписанная некогда на три четверти бисерным почерком Польдека. Емкие, не очень-то оптимистичные свидетельства о Речи Посполитой на рубеже XVIII—XIX веков. Они уже однажды сослужили добрую службу Адаму, который использовал их в своей дипломной работе. Великолепная документация! Можно положить ее и в основу повести. Следовательно, только пиши! Ради утехи! В тяжкие времена не следует отказывать себе в мелких удовольствиях, как говаривал дорогой дядюшка.

Хлопнула входная дверь. Сержант громыхнул какой-то кастрюлей. Наподдал ногой ведро, что-то швырнул на стол в кухне. Адам выслушал все это с досадой. Нетрудно было догадаться, что Зенек пьян. Что делать? Сразу же проявить строгость начальника и старшего по званию или притвориться, что ничего не слышал? Ведь я штатский, подумал он

почти с горечью. Я лопух-штатский, а он — кадровый. Мне ли учить его уму-разуму?

Между тем сержант в кухне уронил на кафельный пол тарелку, пинком распахнул одну дверь, вторую. Ввалился в библиотеку. Неуверенно сделал три шага. Пошатнулся и упал в кресло.

— Доложиться? — забормотал он.— По уставу?

Зенек глядел на Коссовича исподлобья, лицо было багровым, лоснящимся от пота и, что совершенно сбило Адама с толку, отмечено печатью враждебности. Непослушными пальцами сержант расстегивал мундир, поясной ремень с кобурой был переброшен через плечо.

— Ну, чего на меня пялишься? — спросил он задиристо.— Что выпил, не нравится? Так не на твои деньги.— И вдруг выкрикнул срывающимся голосом: — На моем месте и ты пил бы с утра до ночи!

Адаму стало не по себе.

— Мог бы не перепивать.

— Врешь, недопил четвертинки, а то и пол-литра недобрал! — завопил Зенек. Сорвал с себя мундир и отшвырнул его в угол, за ним следом — рубашку. Повесил на голую шею ремень с кобурой, без помощи рук, ловко взбрыкнув кривыми ногами, сбросил сапоги, затем, приподнявшись с кресла, скинул бриджи и носки. Остался в одних трусах и с ремнем, болтавшимся точно хомут на шее.

— Господи, ну и жара! — захрипел он.— Какое дьявольское лето!

Снова утонул в глубоком кресле, закрыл глаза.

— Накупил жратвы согласно списку, как положено! — объявил сержант.— Есть и вишневка Бачевского. Если хочешь, стоит в кухне у окна, сбегай-ка принеси...

— Слишком жарко,— возразил Адам и даже покраснел от злости. Его раздражал этот переход на «ты». Не говоря уже о панибратском «сбегай-ка принеси»!

— Слишком жарко, чтобы выпить? — удивился Зенек.— Нечего цацу из себя корчить! Не жарко! Ты, наверное, вовсе не пьешь водки! Я с первого взгляда понял, что ты невинный младенец, черт побери! До чего же мне нравятся эти маменькины сынки! Просто обожаю чистоплюев!

— Ну хватит, хватит, сержант! — сказал Коссович, стараясь придать своему голосу твердость.

— Слушаюсь, пан подпоручик! — выпалил Зенек и развязно заголотал. Он все более наглел. Вскочил с кресла и с преувеличенным рвением отдал честь.

— Лучше бы сходил умылся холодной водой,— посоветовал Адам.— Это тебе поможет. Перестанешь молоть вздор.

Зенек помялся, потом ноги у него снова подкосились, и он рухнул в кресло.

— Умыться? А разве я вонючий? — угрожающе зарычал он, словно злая собака.— Ну скажи честно, откровенно? Вонючий?

— Какая муха тебя укусила? — тихо спросил Адам. Зенек вытаращил на него налитые кровью, обезумевшие глаза и вдруг проникся жалостью к самому себе:

— Жизнь, пан подпоручик, жизнь меня кусает.

Теперь он гулко бил себя в грудь кулаком, огромным, как каравай.

— Обрыдла мне эта треклятая жизнь! Ни минуты продыху. И ничего удивительного, что при виде таких счастливчиков, как вы, у меня сердце кровью обливается. В тепле и заботе росли, маникюр, как у барышни. А я кто? — зарыдал он и, скорчившись в кресле, прижался лицом к его кожаной спинке.— Кто я такой? Розыскник. Волкодав. Обыкновенный ловец, живодер! — И внезапно переменил тон: — Черт побери, бабы плачут, мужиков у них забирают в армию, а я готов от радости плакать. Что ж я, без роду и племени, без чести и совести? Не человек?

Можно меня ногами топтать? Да если действительно что случится, то за меня одного дадут десяток таких, как ты!

Последние слова он лепетал все тише и неразборчивей, голова его склонялась на грудь, Адам стоял над ним взбешенный и одновременно осознающий всю нелепость ситуации.

Когда спустя минуту Коссович поднял Зенека и перенес на тахту, сержант уже бессвязно бормотал слова: ловец, Дед, такая жизнь... Адам подложил ему под голову несколько подушечек с вышитыми фрау Задке сказочно пестрыми райскими птицами. Под подушки сунул ремень с кобурой. Разбросанное по всей комнате обмундирование сержанта собрал в одно место. Коссович был возмущен, задет за живое, но вместе с тем почему-то испытывал жалость к этому ловцу-волкодаву. Поднял его тяжелую, лохматую башку, когда она свесилась с тахты. Поправил подушки. Вышел из библиотеки, притворив за собой дверь.

Зенек проспал до позднего вечера. Полуголый, с трудом поднялся по лестнице.— О господи, голова раскалывается! — причитал он. Забрался в ванную и долго там гремел. Коссович наткнулся на него уже в кухне. Сержант стряпал с явно показным рвением (совесть мучила, похмелье или еще что-то?), нарезал квадратиками сало, приготовил огромную миску салата из помидоров. Вид у него был сконфуженный.

— Перебрал,— признался он покаянно.— Не скажете полковнику? Он бы меня сжил со свету. Это больше не повторится.

■

Вечером, прежде чем окончательно стемнеет, в круг служебных обязанностей, которые сам себе определил Коссович, включается обход владений господина Задке, осмотр ограды, всех закоулков и проверка замка калитки. Потом возникает желание принять душ. Но пневматическая водонапорная установка в чулане за кухней безнадежно испорчена. Адаму приходится смириться: техническими талантами господь его обделил.

А пока Матуля таскает ведра со двора, где колодец, лезет из кожи вон, чтобы угодить, расплескивает воду у порога, на лестнице, носит наверх, в ванную, в кухню, потом наполняет огромный бак на крыльце. Хватит. К чему этот бак. Уймитесь. Воды достаточно.

Ужин обильный, чересчур тяжелый. Ароматами его полнится вилла. Снова яичница на сале. Сковорода жареной колбасы с луком, масса помидоров. Огурцы. И ветчина. И дьявольски соленая селедка. Немец едва притронулся к пище. Адам невольно вспоминает цитату из дневника Э. Т. А. Г.:«Die polnische Kost unverdaulich für den deutschen Magen!»[1]

Зато трое поляков на аппетит не жалуются. На десерт (снова вспоминается навязчивая цитата) — груши... И на боковую. Пора спать.

Темнеет. Коссович кричит в глубину виллы: — Без надобности не зажигать света! — На лестнице пятнадцатисвечовая лампочка. У постели немца мерцает такая же. Гохман спит или притворяется. Какой-то обиженный, надутый. Зенек в глубоком кресле, положив босые ноги на пуф, бодрствует в полумраке. Когда Адам является «с инспекцией», сержант грустно поглядывает налитыми кровью глазами. Такие глаза бывают у собаки, которая осмелилась облаять своего хозяина. Зенек боится, что по пьянке слишком накуролесил. И что Адам доложит полковнику.

На первом этаже Матуля расселся в кресле против запертой двери.— Все окна закрыты? — спрашивает Адам.— Сидите, сидите! (Ибо Матуля хочет вскочить с кресла).— Все, кроме того, которое в комнате пана подпоручика.— А дверь в коридор за кухней? — Заперта.— Ну, тогда я иду спать. А вас сменю через два часа.

В кабинете Коссович становится у открытого окна. Из сада веет теплом. Миндалем пахнет вянущий вьюнок. За оградой и песчаным

[1] Польская еда не для немецкого живота! *(нем.)*.

проулком сияет огнями приземистая вилла, днем тихая и словно вымершая. Теперь оттуда доносится музыка: кто-то бренчит на фортепиано, сначала несколько аккордов «К Элизе». Потом нагоняющее тоску «Последнее воскресенье». И вдруг вальс f-moll Шопена. Но это уже не баловство с клавиатурой, а игра всерьез. В романтическом духе.

Адам всматривается в желтые пятна окон, слушает музыку, вызывающую приступ ностальгии. Играет женщина, чувствуется по мягкости исполнения. А в кронах сада начинается другой концерт. Сверчки пытаются заглушить фортепиано. Наконец это им удается. В доме напротив водворяется тишина. Слышны чьи-то шаги, мужской смех, скрип калитки. Снова шаги (женские!), возвращающиеся в дом. А на улице еще с минуту теплится огонек сигареты.

Я прямо-таки сиротка Марыся! — силится иронизировать над собой Коссович. Торчи здесь в одиночестве. И с этим немцем на шее. А мог бы заказывать в кафе третью порцию пломбира Хеленке. А себе — кофе глясе. А из «Эспланады», не торопясь, домой по Пиотрковской — впрочем, далеко ей до зеленой Академической,— к пани Розенблатт, на офицерский бивак.

Раздевшись донага, поскольку в пижаме слишком жарко, Адам укладывается на тахте. Была бы здесь Хеленка... Но Хеленки нет. Сидит, вероятно, в лодзинской гостиной, которая служила приемной венерологу, мужу пани Розенблатт. Кисло-сладкие разговорчики, чаек, печеньице, жеманство, неискренние дамские комплименты.

Тем поспешнее предается Адам раздумьям о ненаписанной повести. Тут же возникает сомнение: есть ли смысл заниматься чем-либо таким после разговора с Вильчинским? Да еще с этим немцем на шее? А может, именно следует? Безусловно! Даже если грянет война — надо писать! Пусть это будет протестом гуманиста.

Итак, сосредоточимся. Глава первая. Это важно. Март, отдаленный ста пятьюдесятью годами. Приятно представить себе картину, воображаемую и в то же время исторически достоверную, существовавшую вне фантазии Адама Коссовича. Повесть начнется отъездом Э. Т. А. Г. из Плоцка в Варшаву в прусской почтовой карете. А может, в дилижансе? Минутное раздумье. И решение: Э. Т. А. Г. наверняка устроил себе бесплатный проезд за казенный счет. И, пожалуй, сначала отправился в путь один, оставив пока в Плоцке, хоть уже на упакованных чемоданах, свою польскую жену, урожденную Тшиньскую. Polin von Geburt, mittler Statur, wohlgewachsen, dunkelbraune Haare, dunkelblaue Augen[1]. И свою провинциальную скуку. Грешки, зашифрованные в дневнике символическими изображениями бокалов (разумеется, бургундского) и намеками на какие-то любовные эскапады. И отчаянье, что в этой ссылке пропадает ни за грош. Э. Т. А. Г. — художник по призванию, хотя оно еще и не найдено: музыкант? архитектор? живописец? — и на последнем месте в этом перечне: писатель, а может быть, поэт?

Отъезд в марте, скорее всего на рассвете — ведь дорога ужасная, а ехать далеко. Postkutsche[2] ожидает во дворе почты. Кучер (а может, польский возница) спит на чердаке. Э.Т.А.Г. последнюю ночь в Плоцке проводит в веселой мужской компании. В его жизни полно приятелей-собутыльников. Можно себе представить это сборище: самоуверенные прусские чиновники, шумные здоровяки-выпивохи. И кутилы из Плоцка, среди которых немало поляков. То было время, когда Варшава, задавая тон всей стране, беспробудно пила, заливая вином национальную катастрофу. Об этом, во всяком случае, говорилось в выписках Польдека Кахане, некоторые из них были даже подчеркнуты красным карандашом. Пьянство. Польский порок. На это, видимо, хотел обратить внимание Польдек-моралист. Итак, ночная гульба (пьет-

[1] Полька по происхождению, комплекция умеренная, рост выше среднего, волосы темно-каштановые, глаза синие *(нем.)*.

[2] Почтовая карета *(нем.)*.

ся любимое бургундское), Э.Т.А.Г. рассказывает свои парадоксальные, полуфантастические истории. Невразумительная пьяная беседа. А польская жена Э.Т.А.Г. всю эту длинную ночь, предшествующую расставанию, выплакивает свои dunkelblaue Augen. Хотя отъезд в Варшаву и ей, наверное, кажется даром небес. А как трудолюбива эта пани Е.! Она без конца гладит рубашки и кружевные жабо мужа, чтобы в глазах плоцких пруссаков он выглядел франтом. В эту ночь до самой зари она штопает шелковые мужнины чулки. И к рассвету дорожная одежда готова. Нарядная, щегольская (был ли у прусского чиновника какой-нибудь парадный мундир? Это нужно проверить!). Урожденная Тшиньская время от времени всплакивает, она озабочена, каждый грош теперь на счету, надо будет устраиваться в Варшаве, Э.Т.А.Г. сорит деньгами, бутылки бургундского выстраиваются в шеренги. Винный погреб освещен огарками — убогое подобие львовского «Атласа». Конечно, не тот класс, еда попроще. Как писал Э.Т.А.Г. в своем дневнике, «die polnische Kost unverdaulich für den deutschen Magen!». Конечно, бигос. Горох с капустой. Картофельные галушки с грибами. А вина? В обнищавшей Польше в одном только нет недостатка — в вине. Токайские вина — на шляхетский вкус. Бургундское или рейнское — для пруссаков. А также смородиновые, яблочные, абрикосовые настойки для бедных пьянчуг. Каждому по его вкусу и карману.

При уточнении замысла Адама охватывает отчаяние. Рождаются все новые сомнения. Как выглядел Плоцк тогда, в 1804 году? Где жил Э.Т.А.Г.? Сохранились ли в плоцких архивах какие-либо следы его не очень усердной чиновничьей деятельности? Искал ли кто-нибудь там эти следы?

И хотя пока это только игра воображения, стоило бы проверить и такую деталь: была ли плоцкая Postkutsche открытым экипажем (как польская бричка) или же это была действительно карета? А может быть, это подобие кибитки с откидным верхом? Были ли государственные гербы на дверцах? Была ли она покрыта лаком и какого цвета? И разве это подходящее средство передвижения в такое время года? Конец марта! Но таким экипажем Э.Т.А.Г. может поехать бесплатно и забрать с собой свои кофры, саквояжи. Задаром. Прежде чем он перевезет в прусский провинциальный город, каким была тогда Варшава, свою польскую синеглазую жену и своих немецких светловолосых детей, ему надо сначала обжиться в Варшаве. Итак, Regierungspostkutsche[1]. Кучер трубит сигнал отъезда. Гофман поначалу еще разогрет прощальным бургундским, но потом, несмотря на овчинный тулуп, страшно мерзнет. Поля кругом белеют, снег еще не сошел. Или же все вокруг бурого цвета, ранняя весна, порывистый ветер бьет в стенки почтовой кареты, которая катится по промерзшей земле — а может быть, по раскисшей топи?

И вот еще картина: какая-то дамба. Никому не нужные, бессмысленно склонившиеся ивы. Покосившиеся плетни. Грязь по самые оси колес. Узкий проезд. По обе стороны плотины замерзшие пруды, из серого подмокшего льда торчат камыши. А навстречу четверка прекрасных гнедых, разбрызгивая грязь, галопом мчит карету, сверкает лак и серебро гербов, галуны возницы и лакеев. Карета магнатская, барская. В ней какой-то польский пан. С ним жена или любовница. Кто теперь уступит, кто съедет с дороги, рискуя утонуть в грязи? Уж конечно не тот вельможа, пусть он сын покоренной страны, которая славится, однако, людьми необыкновенно гордыми, хотя и лишенными отчизны. Уступить, стало быть, должен асессор Гофман? А если почтовая бричка упадет с насыпи? Какое скверное происшествие в пути.

Гофман нас, поляков, наверное, не любил, не в первый раз думает Адам. Хотя Польдек выписал из рассказов Э.Т.А.Г. цитату, которая потом попала в магистерскую работу Адама: «Некоторые патриоты, удрученные, но не сломленные падением Польши, создавали тайные сою-

[1] Государственная почтовая карета *(нем.)*.

зы, ставящие своей целью возрождение польского государства, воспитание любви к независимой родине и непоколебимого мужества». Только эти банальности, больше ничего. Что из них следует? Адам вспоминает другую цитату: «Известно, что поляки потерпели поражение, их дело было проиграно, ибо зижделось на самонадеянности, чрезмерной вере в собственные силы и ошибочных представлениях о рыцарской чести».

Адам вздыхает, Э.Т.А.Г., скорее всего, нас не любил. А как же альбом «Мундиры польского войска», изданный позднее в Лейпциге? Этот альбом Коссович просматривал в Оссолинеуме. Так рисуют чужих солдат, только восхищаясь ими. А может быть, предвидя выгоду от продажи? В самом деле, книга разошлась хорошо. Хватило на много бутылок бургундского. Так что же, равнодушие, антипатия, симпатия? Как об этом писать? И почему мы, поляки, всегда должны раздумывать, любят нас или не любят, восхищаются нами или нет. Павлин. Попугай [1]. Восхищается ли мной немец, который спит наверху? Испытывает ли он ко мне симпатию?

Ночные размышления в конце концов раздражают. Все смешивается, мутнеет. Жарко, Коссович тяжело дышит, сны снятся кошмарные. Но когда будильник заставляет его подняться, он ничего не помнит из ночных тревог и кошмаров. Зато ему кажется, что совсем недавно он знал, как относился Э.Т.А.Г. к полякам. И что он пришел к какому-то новому сенсационному выводу. Но, черт побери, как раз тогда он заснул и теперь не помнит, что же такого умного взбрело ему в голову...

■

Проснувшись утром, он посмотрел в окно, с тоской подумал об испорченных каникулах, о грозящей (?) войне, все это накаркал Польдек, Иеремия,— друг, с которым время проходило в бесконечных спорах. Польдек по каким-то причинам пришелся по сердцу Хеленке. Она познакомилась с ним в прошлом году, когда тот был уже тяжело болен. Кажется, было воскресенье, они собирались пойти вечером в кино и после обеда вернулись на Стрыйскую улицу. Едва они вошли, как у дверей позвонил Польдек.

— Я не помешаю? — Вид у него был жалкий, куцее пальто, в руках шапка.

— Входи! — сказал Адам.— Познакомьтесь, это моя невеста.

Хеленка сварила кофе, открыла коробку с рахат-лукумом, нугой, маковыми пряниками, засахаренными орехами, печеными каштанами. Адам достал бутылку коньяка.

Они уселись втроем за японским столиком, одним из немногих предметов, доставшихся в наследство от дяди. Польдек раскашлялся и, саркастически усмехаясь, заявил:

— Чего тут скрывать, я пришел попрошайничать. Нет ли у тебя, Адам, каких-нибудь частных уроков для меня?

А потом начался тот спор. О перепроизводстве интеллигенции. О том, что нет выхода. Левые силы, только левые силы!— восклицала Хеленка. Неожиданно Хеленка и Польдек оказались союзниками. А Адам — защитником польского статус-кво. Польдек предрекал, что еще немного, и варшавские верхи сами послушно залезут в гитлеровский мешок. Столько уже было взаимных любезностей, визитов. Явные прогитлеровские симпатии! А фаланга? [2] А этот, не приведи господи, фюрер Белецкий? Контраргументы Адама звучали наивно. Хеленка с горящими глазами метнулась к его письменному столу и вернулась с учебником немецкого языка, обязательным для всех гимназий.

— Вы видите, пан Леопольд? — спросила она прокурорским то-

[1] Ассоциация со строками известного стихотворения Ю. Словацкого «Гробница Агамемнона», обращенными к старой Польше: «Ты была попугаем и павлином народов!»

[2] Националистическая фашистская польская организация, созданная в 1934 г.

ном.— Наш гимназический учебник. «Wir sprechen deutsch»[1]. Открываю на первой попавшейся странице: текст для чтения о гитлерюгенде! Или я не знаю немецкого, или это гитлеровская пропаганда. А вот дальше: текст о Kraft durch Freude[2]. Нет, вы только посмотрите! Третий рейх — рай на земле! Baudienst[3] строит автострады! «Фольксваген» — автомобиль для всех! Кто такой, черт возьми, Лоренц, который это состряпал? А мой жених учит этому польских детей!

— Чего ты от меня хочешь? — Запальчивость Хеленки напугала Адама.

— Эх, моя дорогая пани Хелена,— сказал Польдек.— Адам — это ясновельможный пан, галицийский граф. Такие всегда не от мира сего. Живут вне времени. И вне действительности. А если уж берутся за политику, то на стороне правых. Поэтому лучше...

— Польдек, перестань, а то я не подыщу для тебя уроков,— пригрозил Коссович.

Дело кончилось общим походом в кино, а потом ужином. Тогда Адам видел Польдека в последний раз. Давал ли Польдек уроки, которые Адам тогда предложил ему? А войну, близость которой теперь так ощущает Адам, Польдек предрекал. Это будет война народов, предсказывал он. Dies irae![4] И заблаговременно, чтобы избежать ее ужасов, переселился в мир иной.

■

Гохман уже не спал, он стоял перед запертой дверью на террасу. Окно комнаты было широко открыто, а дверь заперта. Как-то глупо подумал Адам, прямо-таки домашний арест. Немец в пижаме, босиком, закончив бритье, вытирал лицо полотенцем. Казалось, что он не заметил прихода Коссовича.

— Добрый день,— громко сказал Адам и положил на стол книги.— Как спалось?

Была не была! Он подошел к двери на террасу и открыл ее. Тут же его обеспокоила мысль: кто живет напротив, в этой вилле, откуда слышалась музыка? Надо бы это деликатно выяснить.

Немец отступил на шаг. Выражение его худого лица было мрачным. Отчетливо скандируя строки, он начал тихо декламировать:

> ... Denk ich an Deutschland in der Nacht,
> Dann bin ich um den Schlaf gebracht.
> Ich kann nicht mehr die Augen schliessen...[5]

Коссович не сразу понял, что это ответ на его вопрос. В первый момент он слышал только стихи, показавшиеся ему знакомыми. Впрочем, он подумал совсем о другом: поэзия не очень-то к лицу этому педанту. И тут же: боже мой, а Гёте? Вот уж был педант!

Он искоса взглянул на Зенека. Сержант потягивался, он сидел в неудобной позе, и у него затекла спина.

— Вы, сержант, можете пойти спать,— сказал Адам.— А Матуля пусть приготовит завтрак.

Когда Зенек вышел, Коссович изучающе посмотрел на немца. Было видно, что тот не может примириться со своим положением то ли пленника, то ли гостя, столь тщательно охраняемого. Поговорю-ка я с ним, нужно ему как-то все объяснить, решил Адам. Хотя что тут объяснять, если я и сам мало чего понимаю?

— Это Гейне, конечно,— сказал он Гохману.— А правда, что он у вас запрещен?

---

[1] «Мы говорим по-немецки» *(нем.)*.
[2] Сила через радость *(нем.)*.
[3] Строительная служба *(нем.)*.
[4] День гнева *(лат.)*
[5] Как вспомню к ночи край родной,
Покоя нет душе больной;
И сном забыться нету мочи,
И горько-горько плачут очи.
(Г. Гейне. Ночные мысли. Перевод М. Михайлова)

— Да. Разумеется. Он же еврей. И потом, его скептицизм... — сказал немец, пожал плечами и присел на край кровати, смущенно глядя на свои босые стопы, очень белые на фоне ярко-красного коврика.

— Почему меня никто не хочет выслушать? Я должен с кем-нибудь поговорить.

— Надо набраться терпения. — Адам испугался. — Вы ведь говорили с полковником. И позволю себе напомнить: мне запрещено разговаривать с вами о политике.

— Но ведь это абсурд! То, что я сижу здесь! Неужели действительно никто не может понять моего положения? А вы мне твердите одно и то же: нельзя о политике. Сегодня все является политикой.

Адам почувствовал, что тонкий ледок под его ногами начинает опасно трещать.

— Польша в отличие от Германии не подчинена политической доктрине. Это факт, — сказал он официальным тоном, задетый словами Гохмана. — Но я офицер. Я получил приказ. Поймите это. Мы не будем говорить о польско-немецких отношениях. А также о ваших личных делах здесь, в Польше,— уточнил Адам. Разговор тревожил и в то же время увлекал его.

— У меня нет личных дел. Если вы в состоянии это понять. У меня уже нет личных дел.

— Я принес вам несколько книг. Может быть, они помогут вам скоротать время...

Немец поморщился и даже не взглянул на книги.

— Я как тот герольд, что прибыл с плохими известиями, — сказал он. — Вы ведь знаете, как поступали раньше с такими вестниками? Случалось, что им отрубали голову.

Адам в смятении подумал, что наладить отношения с этим странным посланником (и кто же его послал?) будет нелегко.

— Польша всегда хорошо относилась к вестникам. Независимо от того, какие вести, плохие или хорошие, они приносили, — произнес он. — А мы живем не в средние века, а в двадцатом столетии.

Гохман горько рассмеялся.

— А может, вам только так кажется? — сказал он. — Двадцатый век!

— Вы вынуждаете меня сказать еще кое-что,— гордо заявил Адам.— Мы привыкли к жестоким нравам ваших соотечественников. Маркграфство. Потом крестоносцы. Наконец, Пруссия. Жестокость. Deutsche Blutgierigkeit [1]. Генрих Лев. Все Фридрихи, Бисмарк. По сравнению с вами Польша, не забывайте об этом, была страной кротких нравов. Даже в средневековье. И теперь мы не собираемся...

— Оставим эти громкие слова. Почему, черт возьми, вы не доверяете мне? — тихо сказал Гохман, и в его голосе прозвучало отчаяние.

— Дело не в доверии или недоверии. Я не знаю и даже не имею права знать деталей этой вашей... хм... миссии. Впрочем, я стараюсь вас понять...

— Я немецкий патриот. Я верю, что немцы — это замечательная нация. "Ich hatte einst ein schönes Vaterland"[2]. Я сказал это полковнику. Но он, кажется, неправильно меня понял.

Гохман производил впечатление игрока, к которому не идет карта, и у Коссовича вновь пробудилось недоверие к нему.

— Никто не отрицает исторических достижений Германии, — буркнул Адам. — Но этот ваш Гитлер...

— Вы говорили о немецкой литературе... может быть, это позволит вам лучше меня понять. Я верю в Германию. Возьмите ее вклад в

---

[1] Немецкая кровожадность *(нем.)*.

[2] «И я когда-то знал край родимый» *(Г. Гейне. На чужбине. Перевод М. Михайлова)*.

науку, в европейскую культуру! В прошлом. Да, конечно. Но сегодня в политическом смысле она отвратительна.

Сказав это, он остановился на секунду, а потом почти прокричал:

— Я не хочу больше иметь с этим ничего общего. Неужели это так непонятно?

Адам молчал. Больше чем когда-либо он не мог понять этого человека. Был ли он политическим противником гитлеризма? Или только хотел казаться таким? К тому же цитирует Гейне. Словно играет выученную роль. И без конца повторяет это свое заклинание: Vaterland[1].

Гохман не сводил с него тяжелого взгляда. Адам растерянно думал: атавизм! Вот в чем дело. Мы атавистически не доверяем пруссакам. У нас это в крови.

— Меня спрашивали, впрочем, я знал, что меня будут об этом спрашивать,— продолжал Гохман, уже овладев собой.— Полковник выпытывал у меня, почему я только теперь решился на этот шаг. Возможно, кадровый офицер не в состоянии этого понять. Но вы ведь, насколько я понимаю, не обременены армейской... рутиной. И, может быть, вы поймете, что это один из тех вопросов, на которые нет ответа. Мне пришлось бы долго исповедоваться. И все равно трудно было бы объяснить. Попробуйте вникнуть в мое положение. Сначала надежда, что все это пройдет. Что Гитлер и все то, что делает он и его люди,— это только реакция на успехи коммунистов. Организм реагирует на болезнь высокой температурой. Мы, немецкая интеллигенция, именно так охотно объясняли себе все это. Видите ли, мы получили в наследство святой принцип: умеренность — залог успеха. А время решит, кто более прав. Мы, немецкая интеллигенция, а точнее, Bürgertum, мещанство, более всего всегда ценили равновесие. Мы инстинктивно склонялись влево, когда грозил слишком резкий сдвиг вправо. И наоборот. Такую науку, такую традицию я вынес из дома. Из школы. Из университета! Признаюсь, именно так я думал в тридцать третьем году!

Адам слышал его тяжелое, взволнованное дыхание.

— Всем нам присущ оппортунизм. Человек обманывает себя. Закрывает глаза. Так удобнее. Налаженная жизнь. Статус-кво. Перечеркнуть все? Порвать все связи? Бросить семью? — В его голосе зазвучало отчаяние. — Пока я верил, что войны не будет, я не придавал большого значения вопросам внутренней политики. Я отворачивался от нее.

Адам молчал.

— Как теперь объяснить это тому, кто требует только факты, поддающиеся проверке факты? Как объяснить, как доказать то, что ты чувствуешь?

— Я не думаю, — помедлив, произнес Адам, — чтобы у нас вам не доверяли. Но это на самом деле не моя компетенция.

— Меня тяготит бездействие, — сказал немец. — И этого я не предвидел. И ареста...

— Мы хотим обеспечить вашу полную безопасность.

— Допустим. — Он покачал головой. — Но ведь мы с вами интеллигентные люди и могли бы себя избавить от...

Немец встал и, повернувшись к Коссовичу спиной, опять подошел к двери, ведущей на террасу.

— Простите, что я так надоедаю вам,— сказал он тихо.— И вообще что я вслух рассуждаю о своем донкихотском поступке... Так уж создан человек...

Он замолчал. На этом разговор закончился. Адам со злостью подумал, что все же дал втянуть себя в политический спор.

Неужели это была попытка инспирации? Игры?

[1] Родина *(нем.)*.

Этим понятиям Коссовича научил, разумеется, капитан Вольский. Игра. Или инспирация. Так он определял поведение шпиона, рассчитанное на то, чтобы противник попал в ловушку. Настоящая борьба умов. Вольский с восхищением вспоминал ее мастеров, изобретателей разных новых вариантов игры. В самом простом варианте наш агент обращался в абвер, предлагая сотрудничество, и поставлял потом ложную информацию. Этот маневр был довольно примитивным, хотя и очень опасным для исполнителя. Бывало и так, что давно раскрытому вражескому агенту, за которым велось наблюдение и которого нарочно не «брали», подсовывались материалы. Разумеется, он тотчас же переправлял их в свой центр. Тем самым он «инспирировал», не подозревая об этом. Еще более изящный вариант (по определению Вольского): некто, не связанный с разведкой, по нашей инициативе распространяет — а это можно делать разнообразными способами — инспирирующие, ложные сведения. Адам быстро сориентировался, что повседневная скучная процедура «вычесывания» лодзинских гитлеровцев осточертела капитану. Что он мечтал об эффектной, блестящей игре, увенчанной сенсационным результатом, о котором с восхищением говорят годами. Любопытно: только по-немецки Вольский называл игру грубо и определенно: Operation. Kampf. Streit[1].

К Гохману слово «игра»—так считал Коссович — не очень подходило. Ну а Operation Hochman или Streit um Ernst Hochman?[2]. Это уже звучало бы иначе.

Когда Адам вышел из тенистого сада господина Задке, его обдало палящим зноем летнего дня. Не выбраться ли в местечко попозже, когда спадет жара? Например, часов в шесть? Но черт знает, будет ли тогда еще открыта почта. Зенек, словно тюремщик, выпустивший за ворота отбывшего срок арестанта, повернул к вилле и, позвякивая связкой ключей, вступил в полосу зеленой тени. Коссович приглядelся к дому напротив. За тюлевыми занавесками окон не было видно никаких признаков жизни. Но в зелени большого, буйно разросшегося сада за таинственным, как казалось Адаму, домом виднелся гамак, а в нем какая-то белая фигура, заслоненная кустами крыжовника и смородины, стволами слив и яблонь. Женщина? Мужчина? Ребенок?

Адам продефилировал мимо этого дома офицерским шагом, усвоенным в свое время в полку, и свернул в улочку, ведущую к базарной площади. Через сто метров он взмок как мышь. Дорога шла мимо низкой, ослепительно белой монастырской ограды и притаившегося за ней маленького готического костела. Адам машинально бросил взгляд в глубь осененного деревьями небольшого кладбища. Что за страсть у меня к кладбищам, подумал он. Величественные надгробия на могилах деда и бабки в Вене. Огромный, установленный на века, валун на могиле дяди, могила Польдека на еврейском кладбище. Черт знает что мне лезет в голову!

Улица за углом монастырской ограды бурлила мешаниной крестьянских телег, повозок и изящных экипажей. Престольный праздник? Повятовый съезд какой-то партии? Ярмарка? Через сто метров сомнения развеялись. Адам протискивался сквозь толпу только что призванных запасных. Он смотрел на сборище обезумевших женщин, которые осаждали лавочки, магазины, банк. Достаточно было взглянуть на их лица, чтобы понять: Белюнь переживает свой черный день.

Адам испугался. После его отъезда из Лодзи могло случиться многое Когда заезжали в Брашку, Вильчинский, верно, поделился бы скверными новостями, если они были. Что случилось в мире, например, вчера? Они провели весь день как на каникулах. Зенек, правда, ходил за покупками, но так надрался, что мог пропустить мимо ушей даже самые важные новости.

[1] Операция. Борьба. Сражение *(нем.)*.

[2] Операция Гохман, сражение за Эрнста Гохмана *(нем.)*.

Проходя мимо канцелярии старосты и комендатуры полиции, Адам с облегчением отметил, что нигде не видно объявлений о мобилизации. Чуть дальше в киоске он купил ченстоховскую газету — других не было уже три дня. Судя по дате, газета была сегодняшняя, но скорее всего напечатана еще вчера. Адам просмотрел ее убогие столбцы и немного успокоился. Как будто все было по-старому. В мире продолжались дипломатические маневры. Из взносов в фонд национальной обороны закуплены еще четыре пулемета. Арестовано несколько спекулянтов. Цветистым слогом передовая статья предупреждала о возможном возникновении паники. Над этим стоило подумать, тем более что чуть дальше было опубликовано краткое сообщение польского телеграфного агентства, в котором утверждалось, что в Польше нет никаких проявлений паники. И откуда им взяться, если в Варшаве как раз открылся сезон скачек! Репортер заметил на паддоке графа Романа Потоцкого, графа Мычельского, князя Ольгерда Чарторыйского, генерала Регульского и сенатора Курнатовского. Разве такое известие не действует успокоительно?

Почта подвергалась настоящей осаде. Люди напирали на ее двери, размахивали сберегательными книжками и не расступились бы даже перед самим маршалом Рыдз-Смиглым. Адам атаковал почту — приземистое одноэтажное строение — с тыла. Во дворе дежурил полицейский с карабином на плече. Завидев офицера, он спрятал за спину бутылку пива и щелкнул каблуками. Адам небрежно приложил два пальца к козырьку. Ни о чем не спрашивая, полицейский пропустил его к дому. Настало время, когда военный сделался в Белюне важной персоной.

В прохладном коридоре Коссович остановил ошеломленного начальника почты с серым лицом и испуганными глазами. Он ткнул ему под нос свое новенькое удостоверение и тоном, не допускающим возражений, потребовал немедленно соединить его с Лодзью. То ли мундир подействовал, то ли документ. Пан подпоручик был приглашен в кабинет начальника. Я постараюсь, я сделаю что могу, твердил начальник, вертя ручку телефона, отдавал распоряжение, чтобы по специальному паролю, зарезервированному для армии и полиции, тотчас же дали Лодзь.

Но до того как связь была установлена, Коссович узнал от начальника почты, что суматоха в Белюне началась вчера. О чем думают эти люди? С ума посходили! Газеты и радио ничего особенного не сообщали. Сначала женщины ринулись в магазины. Соль, сахар, мыло, спички. Хватали что могли. Паника. Штурмовать почту — изымать свои вклады — бросились даже жена судьи с дочками, кухаркой и горничной. Может ли себе такое представить пан подпоручик? После обеда перед почтой собралось более двухсот человек. Чего только я не наслушался! А у нас не хватило денег, и это подлило масла в огонь. Пришлось звонить в полицию и старосте. Но разве это помогло? Сами видите, пан подпоручик. Стыд сказать: староста вечером прислал мне домой свою сберкнижку с запиской. Просит выдать ему деньги. Вы понимаете? Люди сошли с ума.

Начальник казался честным человеком, он кипел справедливым гневом, а то, что мимоходом подложил свинью местной верхушке, не в счет, ведь это разговор с офицером разведки, слова как в воду канули. Носовым платком он вытирал вспотевший лоб и шею. Дверь отворилась, заглянула перепуганная служащая и спросила:

— Что будем делать, пан начальник?

— Ждать указаний! — крикнул тот, надрывая голос, и тут же заговорщически прошептал: — Будет война или нет, пан подпоручик? Нельзя без нее обойтись?

— Я знаю столько же, сколько и вы.

— Наказание господне с этим Гитлером,— сказал начальник.—

Очень уж благодушно мы относимся к этим дьяволам. Визиты Геринга, например. Вы слушаете радио?

— Нет.

— Здесь, на границе, слышно почти одних немцев. Их передачи на польском. Играют мазурку, а потом диктор начинает: «Разве это не странная музыка?» Такая вот пропаганда. Гитлеровцы добились того, что возникла эта позорная... постыдная... паника. Польша должна протестовать в Лиге наций.

В этот момент телефон на столе затрезвонил как-то по-особому, и Адам получил связь с Лодзью, с квартирой семейства Розенблатт.

В трубке что-то трещало, слышались чужие нервные голоса. Разговор с Хеленкой на фоне всех этих помех проходил так:

Адам: Хеленка, я очень беспокоюсь о тебе. Как ты там без меня?

Хелена: Откуда ты звонишь? Адам! Это ты? В самом деле ты? Откуда звонишь?

Адам: У тебя есть деньги? Я боюсь, что ты осталась без денег...

Хелена: Я плохо тебя слышу! Адам! Откуда ты звонишь? Скажи мне! Почему ты от меня все скрываешь?

Адам: Прислать тебе денег? По почте? Я боюсь, что они будут долго идти...

Хелена: Говори громче! Я очень плохо тебя слышу! Немедленно скажи мне, откуда ты звонишь, я хочу знать!

Адам: Может, ты займешь, сколько тебе нужно, у пани Розенблатт. Скажи, что я отдам сразу, как только приеду. А я постараюсь прислать с оказией...

Хелена: Милый, я так по тебе скучаю! И тревожусь о тебе! Где ты? Имею я право это знать? Откуда ты звонишь?

Адам: Не беспокойся обо мне. У меня все в порядке. Обычная служба. Ты поедешь к родным?

Хелена: Адам! Я плохо тебя слышу! Адам! Алло! Алло, алло! Откуда ты звонишь? Милый, ты меня слышишь?

Телефонистка (где-то далеко на линии): Заканчивайте, прошу освободить линию.

Чей-то посторонний голос: А доски? Уважаемый, когда же я получу доски?

Адам (в бешенстве): Прошу отключиться! Я еще разговариваю!

Телефонистка (неумолимо): Разговор окончен. Прошу положить трубку.

За окном кабинета начальника почты бурлил и гудел Белюнь. Лодзь была далеко. С минуту Адам еще держал трубку в руке. Пан начальник беспомощно развел руками.

Выйдя из здания почты, Коссович с кипой добытых там лодзинских газет, в том числе и на немецком языке, вновь оказался на базарной площади, в деревянном лабиринте кое-как сколоченных ларьков. Мужики, евреи, торговки, детвора. Если бы не тревожное настроение, Адам отдался бы размышлениям о том, что эти торговые будки, толпа и покосившиеся дома, живописно окружавшие площадь, напоминают описание улицы Фрета у Э.Т.А.Г.: крики, суматоха, толкотня, перебранка торговок, звон колоколов кафедрального костела, собачий лай. Появился даже горбатый нищий.

Хотя было все так похоже, сам Э. Т. А. Г. подвел. Он не появился и ничего не подсказал воображению. Зато современность напомнила о себе тарахтением мотора. Дорогу Адаму преградил знакомый мотоцикл, с него слез тот самый самаритянин, который выручил их из беды в начале путешествия, где-то под Серадзем. Как подсказала память, сержант запаса Кубицкий из четвертого пехотного полка.

— Гора с горой не сходится! — воскликнул сержант, явно обрадованный встречей. — Сам бог мне вас послал, пан подпоручик!

Мотоцикл был поставлен у стены, а они отошли в тень, в ближайшую подворотню, где пахло плесенью.

— Боже милостивый! Вы видите, что тут творится? Разве так должны вести себя поляки? — горячился Кубицкий.— Пан подпоручик, я в затруднительном положении. Вы знаете, чем я занимаюсь?

— Откуда же мне знать? — солгал Адам.

— Тогда я сейчас.... документы. Вот, пожалуйста,— говорил Кубицкий, вытаскивая пузатый бумажник, набитый сотенными банкнотами. Из пачки денег он извлек сложенный вдвое лист бумаги и развернул его. Адам получил возможность прочитать написанное на машинке удостоверение, выданное интендантской службой: «Предъявитель сего, такой-то, уполномочен интендантством армии производить для ее нужд закупку свиней в районе...» и т. д.

— Поэтому я еще в гражданском, а не, как вы, пан подпоручик, в мундире...— смущенно оправдывался Кубицкий.— Было распоряжение не брать меня пока в армию. Хотя я сам, честное слово...

Адам многозначительно посмотрел на часы.

— Черт возьми, цены скачут вверх, просто ужас, прямо не угонишься. Ничего нельзя купить по цене недельной давности. Да что тут говорить,— Кубицкий понизил голос.— Деньги теряют силу. Паника, вы же видите, люди с ума посходили. Как вы думаете, пан подпоручик, в самом деле будет война?

— Я знаю столько же, сколько и вы.

— Но посоветуйте хотя бы, что мне делать. Возвращаться в Лодзь? Я мог бы тут купить все что надо, но только не по прежним ценам.

— Что я могу посоветовать?

— Как я увидел вас, сразу подумал: сам бог послал. Кого тут интересуют мои свиньи... — Кубицкий заметил на лице Адама нетерпение и тотчас же изменил тон.— Услуга за услугу, я помог вам тогда на шоссе, теперь вы мне пособите.

— Каким образом?

— Там, где вы стоите на квартире, есть телефон?

— Я мог бы пойти с вами на почту и попытаться...— сказал Коссович неуверенно, но Кубицкий выразительно махнул рукой.

— Через междугородную ничего не удастся сделать. Я уже и просил, и требовал,— в его голосе снова зазвучала доверительная нотка.— Но ничего из этого не вышло. На линии такое творится...

— Знаю,— сказал Адам.— Я едва дозвонился до Лодзи.

— Не люблю я, черт возьми, уходить ни с чем,— заявил Кубицкий.— Можно вас пригласить на кружку пива, пан подпоручик? Не откажите в любезности.

Он показал рукой на красочную вывеску: сифоны с газированной водой, кружки пива, окорока, селедка и румяные сдобные халы. У Коссовича не хватило сил отказаться. Они вошли в золотистый полумрак, царивший в обеденной комнате лавки гастрономических товаров Абрама Менделе Майеранца.

Маленькие окна были задернуты желтыми занавесками, на них дрожали солнечные пятна. Липучки под потолком кишели громко жужжащими мухами. У двух столиков сгрудились разгоряченные мужчины в ведомственной форме, которые пили и громко разговаривали. Пахло пряностями, маринадом, а также прокисшим пивом, разлитым на клеенке.

— Здесь нам будет удобно,— сказал Кубицкий, показывая на столик в углу. При виде офицерского мундира Адама мужчины притихли. Какие-то лесники или объездчики да тюремный сторож или привратник. Он-то и поднял рюмку с водкой. «Да здравствует наша армия!» Коссович унял их жестом. Из глубины лавки спешил, раскланиваясь на ходу, хозяин в грязном белом халате.

— Есть бигос, селедочка первый сорт. Есть и гусятинка...— перечислял он, склонившись над Адамом.

— Нет, нет,— отказался Коссович.— Очень жарко...

Это заведение напомнило ему еврейский ресторанчик, в котором он бывал с Польдеком Кахане.

— Тогда, может, пан офицер желает мороженого? — предложил хозяин.— Есть шоколадное, лимонное.

— Мороженое? — обрадовался Кубицкий.— Две порции, двойные. И лимонада. Только похолоднее. И еще вишневки Бачевского.

— Я пить не буду,— сказал Адам.— Слишком жарко.

Он расстегнул мундир, шелковая рубашка с короткими рукавами липла к потному телу. В комнате было как в печке. Он пожалел, что дал затащить себя сюда. Кубицкий ему определенно не нравился — из тех, кто хочет нажиться на войне, хотя она еще и не началась. Жизнь висит на нитке, а он думает о прибытке.

И тут ему удалось отвлечься от белюньско-пограничной действительности. На какое-то мгновенье он перенесся далеко отсюда. Вот они с Хеленкой — она в летнем платье и в ажурной соломенной шляпке — входят в прохладную «Итальянскую» кондитерскую на углу Академической, погружаясь в волны освежающих запахов мяты и апельсинов. Садятся за столик, покрытый розовой скатертью, над головами крутится несущий прохладу вентилятор. Это была оргия! Сначала Хеленка заказала две порции ассорти со взбитыми сливками и безе в покрытых инеем металлических вазочках. Затем фисташковое с орешками, уже без сливок. И лимонад. На улице была страшная жара. А им было прохладно, хорошо, сладко.

Боже мой, как нам было хорошо! — думает Адам. А в Белюне лимонное мороженое никуда не годится и даже вызывает отвращение. Он поковырял ложечкой в плохо замороженной массе неопределенного цвета. Кругом грязно и противно. И еще этот болтун Кубицкий!

— Вы видели, пан подпоручик, что выделывают люди? У банка. У почты. У магазинов. Паника.

— Дело рук «пятой колонны»...

Кубицкий выскребал из блюдечка остатки мороженого.

— А что ж, это возможно,— сказал он убежденно.— Вокруг Белюня есть немецкие поселения. Ой-ой-ой! Теперь я начинаю понимать, что происходит.

И, склонившись над столом, Кубицкий стал путано объяснять, как тут мучается и без толку переводит бензин, а чертовы немецкие поселенцы так запугали крестьян, что по цене, установленной несколько дней назад интендантством в Лодзи, свиней здесь никак не купишь.

Коссович с отвращением отодвинул блюдечко из толстого стекла, в котором лимонное мороженое превратилось в желтоватую кашицу.

— Счет! — крикнул он хозяину, который шел с подносом, уставленным пивными кружками. После белюньского лимонада во рту остался мерзкий привкус.

— Разрешите, пан подпоручик, я заплачу,— просительно сказал Кубицкий.— Я приглашал.

— Ни в коем случае.— Адам бросил на стол серебряную монету в два злотых и направился к двери.— Я вам ничем, пан Кубицкий, помочь не могу. Идите прямо к начальнику почты и покажите вашу бумагу из интендантства. Может, он устроит вам разговор с Лодзью. Хотя бы ночью.

— Да ведь он такой бесчувственный человек,— простонал Кубицкий.

Они вышли на улицу, залитую солнечным светом, и остановились в тени. Мотоцикл по-прежнему стоял на своем месте у стены.

— Я вас подвезу,— предложил Кубицкий.

Коссович посмотрел сначала на небо без единого облачка, потом на незадачливого заготовителя.

— Послушайте доброго совета и отправляйтесь поскорее на почту. Прямо к начальнику.

Кубицкий замахал руками, хотел еще что-то сказать, но Адам повернулся к нему спиной.

Мыслями он был уже далеко. Ему очень хотелось остаться теперь одному. Хотя бы ненадолго. Он медленно двинулся по улице в сторону скучившихся на холме домишек предместья. Внезапно им овладело тяжелое уныние, состояние депрессии или страха, какая-то смесь тревоги за Хеленку и неясной боязни того, что может или должно произойти. Он даже остановился и постучал по доске щербатого забора.

Местечко за спиной гудело, как огромный улей, полный раздраженных, предчувствующих опасность пчел. На воротах костела он увидел недавно наклеенное извещение о смерти: покойный Войцех-Корфанты. Кем он был? Каким-то крестьянским деятелем? В студенческом жаргоне употреблялось пренебрежительное выражение: еще один Корфанты нашелся. Кем же был умерший? Почему я так мало знаю о Польше?

Из-за костельной ограды в облаке пыли показалась вереница крестьянских телег. Упряжь была убогой, лошади тоже были захудалые. Адам остановился и машинально насчитал более двадцати, на каждой по десятку с лишним, мужиков, истомленных дальней дорогой и жарой. Несомненно, это резервисты, призванные на военную службу по индивидуальным повесткам, потому что объявлений о мобилизации пока не видно было. Итак, первая фаза мобилизации. Адам припомнил ее кодовое название: зеленая. Три последние подводы были набиты зареванными женщинами. Одна — не своими чертами, а выражением глаз — напоминала ему Хеленку, тот краткий миг, когда она перестала владеть собой, в июне, на перроне — как давно это было!— при отъезде Адама в Лодзь.

Повестку Коссовичу вручил сержант прямо во время урока. Адам расписывался в получении, спиной чувствуя впервые за всю свою учительскую карьеру полные уважения взгляды тридцати учеников. Он раскрыл повестку без какого-либо дурного предчувствия. И прочитал: явиться такого-то числа. И совсем неожиданно: в Лодзь! Почему в Лодзь?!

Правильный мужик, свойский, не придира этот учитель Коссович по прозвищу Роберт Тейлор, что было даже лестно. Однажды ученики пришили ему к пальто нарукавный знак гимназии с номером 559. Грюс готт, ребята. Немецкое выражение застряло в горле, и он поспешно добавил: выпускных экзаменов не бояться! И Гитлера не бояться!

Но почему все-таки Лодзь? — этот вопрос не давал покоя. Никаких догадок не было. В квартире на Стрыйской улице он снял с антресолей чемодан, украшенный наклейками «Hôtel de Russie», Париж, отель «Ambassador», Рим, отель «Suisse», Цюрих. Дядя купил этот чемодан, когда они отправились путешествовать после окончания гимназии. Ты понятия не имеешь, как надо укладывать вещи, сварливо заявила Хеленка. То же самое она говорила, когда они выбирались во время зимних каникул в Закопане, на чемпионат мира по лыжам. О боже. Очередь на подъемник на Каспровый верх, затем спуск на Губалувку. Разве можно было сомневаться в том, что мы догнали Европу? Адам подавал Хеленке шелковые рубашки, несколько пар носков, носовые платки, шесть пар коротких сетчатых кальсон, купленных накануне. Словно муж и жена, думал он и искоса поглядывал то на Хеленку, то на бабушкин портрет кисти Тепы.

— Скорее всего, я не останусь в Лодзи,— размышлял он вслух.— Направят куда-нибудь на край света. Может, пошлют на курсы командиров роты?

Перспектива заниматься муштрой была малопривлекательна. Жаль расставаться с планами на каникулы. Прощайте, холостяцкие привычки, удобства, комфорт, вкусная еда. Но на всякий случай стоит взять с собой в эту Лодзь штатский костюм.

— Что ты еще берешь? — спросила Хеленка. Адам в смятении

глядел на письменный стол, на большой блокнот — его угрызения совести. Давно надо было начать. Боже, как я ленив!

— Знаешь, Хеленка,— сказал он.— Возьму-ка я материалы о Гофмане.

— А будет у тебя на это время?

— Время, я думаю, найдется,— заявил Адам.— Я чувствую, что мне уже пора писать. Плод уже созрел. Я собирался начать на каникулах или осенью. Но теперь меня что-то беспокоит. Чувствую, что надо торопиться.

— Беспокоит? — Хеленка повернулась к Адаму спиной и поправила волосы.— Торопиться? Мне не нравится, как ты говоришь. Ты думаешь о войне. Это истерика... Больше хладнокровия!

— Почему все-таки в Лодзь? — вздохнул Адам.— Почему не в Пшемысль, в мой полк? Там офицерский клуб! Рестораны! Балы. И Санок. Тоже приятный городок.— Он вздохнул еще раз.— Я даже полюбил Пшемысль,— заметил он.— Сжился с его гарнизоном. И с полком. Знаю там всех.— А про себя подумал: помнят там и моего отца, доблестного окулиста. И дядю с его легионерским прошлым.

Прадедовские настенные английские часы захрипели и пробили. Адам сел рядом с Хеленкой в фиакр в новеньком мундире, купленном два года назад по случаю присвоения ему звания подпоручика, в красивых, скрипящих и немного жмущих сапогах. Извозчик хлестнул кнутом. На вокзал надо было ехать сначала вдоль зеленой стены великолепного парка, потом предстояло проехать полгорода. Раза два пришлось козырнуть знакомым. У Главного вокзала усатый носильщик с номерной бляхой на груди схватил чемодан. Узнав, на какой поезд, удивился: не рано ли? До отправления поезда еще больше часа. Это все из-за твоего чемоданного настроения, рассердилась Хеленка.

Они провели этот час в просторном ресторане вокзала за чашкой кофе. Хеленка ковыряла ложечкой безе с кремом. Они молчали, подавленные грустью расставания. Адам водил глазами по фрескам, украшающим зал, избегая встречаться взглядом с Хеленкой, которая пыталась улыбаться. Ее улыбка была жалкая, вымученная. Надо надеяться, она не заплачет,— именно так подумал он тогда. Впадает в истерику, словно я уезжаю на фронт.

— Кто знает,— говорила Хеленка.— Может, я навещу тебя в Лодзи. Я была в ней всего один раз, проездом. Грязь, смрад. Нельзя сказать, чтобы Лодзь была привлекательным городом.

Оба они вздыхают, словно по команде. Появляется носильщик. Значит, пора. Через пятнадцать минут отходит поезд.

— Официант, счет! — говорит Адам и пытается улыбнуться.

Третий перрон, под высокой застекленной крышей пахнет паровозом, паром, дымом. Предвкушение поездки. Носильщик нашел пустое купе. Все грустнее и грустнее. Partir c'est mourir un peu![1]

Они глядят друг на друга, он из окна вагона, Хеленка снизу, с перрона. Когда поезд трогается, Хеленка теряет самообладание, по ее щекам катятся слезы, черные от туши для ресниц. Она бежит за вагоном и кричит:

— Я все равно приеду к тебе! Веди себя хорошо.— И, заставляя себя улыбнуться: — Не изменяй мне!

■

Адам нажал на звонок в калитке. Появился Зенек в расстегнутом мундире, с красным, опухшим лицом. Неужели он добрался до вишневки Бачевского? Отпирая замок, Зенек сказал вполголоса:

— Обернитесь-ка, пан подпоручик. Есть на что посмотреть.

Адам обернулся и увидел выходящую из дома напротив изящную хорошенькую женщину в летней модной шляпке, в воздушном,

[1] Уехать — это отчасти умереть! *(франц.).*

светлом маркизетовом платье и белых босоножках. Это, верно, та, что играла на фортепиано, подумал он и сразу же восхитился ею. Смуглая, восточная красота. О, черт возьми, подумал он, и живет совсем рядом! Красивая женщина с чуть раскосыми глазами бросила на него мимолетный взгляд. По ее лицу пробежала улыбка. Видимо, она заметила одинаковое выражение на лицах мужчин. Женщина пошла в сторону города, а они глядели ей вслед, пока наконец сержант не сказал взволнованно:

— Ну и вертит задом! А какие ножки, черт побери!

Скрипнула калитка. Адам вошел в сад и подождал, пока сержант снова справится с замком. Красотка скрылась за углом. Они направились к дому, оба почему-то подавленные, притихшие. Адам тихо сказал, вздохнув:

— В городе все кипит!

— А мы будем здесь сидеть, пока война не начнется, так, что ли? — буркнул Зенек.— Пока что я починил бойлер. Можно принимать душ.

Часом позже Коссович заступил на дежурство в спальне наверху; на долгие ночные часы он взял с собой томик Гофмана, найденный в библиотеке. Он принес и газеты, добытые в местечке для немца. Гохман бросился на них, как голодный на хлеб, шелестел страницами «Нойе лодзер цайтунг». Коссович просмотрел их раньше и подумал с удовлетворением, что ежедневные выписки из газет, которые так надоели ему, делает теперь кто-то другой. Так ему и надо! Может, это капитан Вольский? А у меня в этой полудеревне каникулы. Жаловаться не на что. Если бы не тоска по Хеленке, здесь вообще была бы райская жизнь. Харчи, правда, ни к черту. Яичница с колбасой на обед, на ужин и на завтрак. А харчевни здесь — сегодня он это видел собственными глазами — убийственные.

Немец отложил газету.

— Я хочу извиниться перед вами,— неожиданно сказал он.— Наш предыдущий разговор... Возможно, я держался не лучшим образом. Кажется, у меня нервы сдают.

— Что касается меня, то можете быть уверены...— Адам остановился, подбирая нужное слово, и, не находя его, употребил не самое подходящее: — Вы можете быть уверены в моем сочувствии к вам.

Немец вернулся к своей газете. Адам зевнул. Какая скука! Он зажег свет, посмотрел на себя в зеркало, вышел на террасу. Уже смеркалось. Приятный, прохладный ветерок легко шевелил листвой деревьев и освежал после жаркого дня. Снизу, из котловины, среди зелени которой скрывалось местечко, время от времени доносились какие-то непонятные звуки. Поднимался туман, в котором постепенно глохли все шумы. А здесь, на холме, светился лишь большой дом напротив. Адам повернулся боком — небольшая уловка, чтобы никто не мог его заподозрить в том, что он подглядывает. Окна ярко освещенных комнат не выдавали, однако, никаких тайн. Ни одной живой души в них не показалось. Адам постоял так, пока темнота не сгустилась окончательно и улочка не утонула в тумане. Затем он вернулся в спальню. Гохман по-прежнему был углублен в чтение газет. Внизу стихло, подчиненные Адама расположились на своих местах: один на диване, погрузившись в глубокий сон (Зенек), другой на посту у входных дверей, запертых на засов (Матуля). Наступала долгая ночь, в которую Адаму предстояло бодрствовать.

Надо было пододвинуть кресло к торшеру и приняться за чтение. Но почему-то не хотелось. Один взгляд на немца, другой на печатную страницу. И сразу зевота. Ой, ой, а если я не выдержу и засну?

Тишину нарушил женский смех, громкий, веселый. Адам сорвался с кресла, встал в проеме двери на террасу и сразу же отступил на полшага, не желая, чтобы его видели снаружи. А там, в этой улочке, в туманных полосах света, падающего из окон дома напротив, красотка (ко-

нечно она, в воздушном платье абрикосового цвета) прощалась с каким-то мужчиной. Наверное, тем самым, который был тут вчера. Время от времени, когда эта пара оказывалась в полосе света, Адам видел юношескую фигуру, темноволосую голову. Он слышал серебристый смех женщины и приглушенный голос мужчины, скорее всего ее любовника. Свет падал так, что иногда он видел и их руки. Они держались за руки, отклонившись назад, словно по-детски играя в карусель, но вот мужчина привлек красавицу к себе и вместе с ней потонул во тьме и тумане. Адам вздохнул. Вновь почувствовал прилив грусти. Вернулся в комнату. Какое мне до них дело, подумал он, хотя как знать, если бы на моей шее не висел этот... Вот тебе и каникулы, размышлял Адам с горечью, пошли прахом все наши планы, мои и Хеленкины. Косов, Гораны, Залещики! Мы бы шли сейчас по пляжу над Днестром, в темноте. Затем извилистой, хорошо известной тропой вверх по берегу реки. Как пахнут там луга! А вернувшись на дачу, в свою комнату на втором этаже домика, принадлежавшего еврейской семье (ранней весной они даже внесли за комнату задаток), погасить свет, передохнуть, посидеть на веранде вдвоем. Не они, а другие отдыхают теперь в Залещиках! А здесь этой паре, скрытой во тьме и тумане улочки, никакого дела не было до того, что вот-вот грянет война. Может быть, так и надо: будь что будет. Пить нектар жизни, пока можно, как говаривал за столом дядя, засовывая за воротник салфетку. Пока можно!

Уже не грусть, а полное уныние! Читать не хочется, тем более на немецком. Даже Гофмана. Желание читать по-немецки надолго отбили обязательные служебные обзоры разных «курьеров», «цайтунгов», «форвертсов». За последние два месяца он начитался их досыта. Благодаря капитану Вольскому он научился различать их политическое лицо, у одних весьма небрежную маскировку прогитлеровских симпатий, у других явное восхваление НСДАП. Сам Адам, все больше понимая агрессивность их убеждений, был склонен — иногда несправедливо — не видеть между ними никакой разницы, валить все в одну кучу.

Немец штудировал страницу за страницей. Упорная систематичность, чуждая Адаму. Не сделал ли я глупость, дав Гохману эту макулатуру? Вдруг он ищет в газете какое-нибудь зашифрованное сообщение? Но тут же отмахнулся от этой мысли, словно из приключенческого кинофильма. Я схожу с ума, подумал он. Естественная в его положении неприязнь к многочисленным немецким газетам и журналам, издаваемым в Польше, которые отняли у него так много времени,— антипатия, отчасти объяснимая и ленью,— перенеслась на Гохмана. Конечно, он и сочувствовал ему немного, это правда. Но над этим чувством брали верх недоверие и неприязнь. Откуда, думал он удивленно, взялось у меня это чувство тюремного надзирателя, который вынужден дежурить в праздники?

Не думать, а исполнять приказы! Он отложил книгу, встал, потянулся и вышел на террасу. В доме напротив гасли огни. Он подождал, пока не погасло последнее окно. Затем неохотно вернулся в комнату. Немец отложил газету и, держа в руке том Гофмана, перелистывал его с иронической усмешкой. Когда Адам приблизился к нему, немец оторвал глаза от книги и сказал с едва уловимой язвительной интонацией:

— Вы верны своим привязанностям...

Это было сказано так, что Коссович почувствовал необходимость заступиться за Гофмана.

— Только ваша литература,— сказал он почти зло,— только она защищает сегодня доброе имя Германии в глазах Европы.

— Мы, немцы,— анатомический курьез: пишем левой, а действуем правой,— сказал Гохман, скривившись.— Но перед лицом зла литература, как правило, оказывается бессильной...

— А Томас Манн? — спросил Коссович.

— Если бы его голос прозвучал раньше. Но он долго, очень долго молчал. В тридцать третьем году... многие у нас ждали его слова. Вы можете себе представить, сколько нового, сколько необратимых фактов приносил тогда каждый день?

— Были и такие, которые не молчали,— сказал Адам.

— Честь им и хвала,— ответил немец, сделав многозначительный жест рукой. Он присел к туалетному столику, на котором стояли граненые флакончики духов, и начал что-то писать. Перо и бумагу он попросил у Адама, как только они разместились в вилле. Несколько раз он комкал лист бумаги и вновь начинал писать. Окончив, протянул листок Адаму и сказал:

— Прошу вас прочесть. Для меня это очень важно.

Письмо было написано готическим шрифтом, красивым почерком, буковка к буковке.

— «Я принял решение,— не без труда читал Коссович,— после долгих раздумий. Мое «изгнание» (вряд ли о нем можно сказать «добровольное») для меня тяжело и мучительно. Но теперь я по крайней мере не нахожусь вместе с нашим несчастным народом в плену, в военном лагере, в котором царит террор и который ныне называется Германией...»

Коссович был поражен. Нет, я бы не смог так поступить на его месте, думал Адам. Меня бы не хватило на это. На что же теперь он надеется? Если вспыхнет война, будет ли он считать поражение Германии своей победой?

Адам с удивлением посмотрел на немца. А тот поторопил:

— Читайте, читайте дальше!

Письмо кончалось стихотворными строчками:

> И тот, кто ненавидит зло душою,
> покинет родину, где воцарилось зло,
> превозносимое рабов толпою...[1]

Фамилия адресата на конверте была выписана четкими печатными буквами, латинским шрифтом.

— Это сын Томаса Манна? — спросил Адам.

— Да. Для того чтобы письмо дошло до него, надо, я думаю, послать его в голландское посольство в Варшаве. Он, насколько мне известно, находится в Голландии. Я прошу вас это сделать.

Утро было сонное, туманное, слегка прохладное. Казалось, что пойдет дождь, но к полудню небо засверкало отполированной сталью и летняя жара вновь тяжело навалилась на местечко. Снизу, с базарной площади и улиц, доносился монотонный гул. Но едва Адам подумал, послать ли туда на разведку Зенека или пойти самому, как у калитки возникли полицейский и некто в штатском и принялись настойчиво трезвонить.

— Пойду потолкую с ними,— сказал Зенек. Он не спеша двинулся к ограде, шаркая по гравию шлепанцами, подобранными в вилле. Он вступил в разговор с прибывшими, не отпирая калитки.

Полицейский — Адам сразу обратил внимание — был в полной боевой готовности, чего Адаму доселе не приходилось видеть: винтовка с примкнутым штыком, подсумки. Противогаз через плечо. Тяжелая каска немецкого образца. Брюки солдатского покроя. И вдобавок плечевые ремни и желтые пехотинские башмаки, совсем не вяжущиеся с темно-синим мундиром. Штатский, напротив, выглядел вполне обычно. Адам решил, что это шпик.

От калитки долетел смех, неестественный, невеселый. Зенек, засунув руки в карманы брюк, раскачивался с носков на пятки и что-то рассказывал пришельцам. Яркие краски его пестрых подтяжек резали глаза. Ох уж этот Зенек!

Наконец полицейский козырнул и направился к калитке сада, прилегающего к дому напротив. Открыв ее, они вместе со штатским вошли

[1] Строки из сонета 62 немецкого поэта Августа фон Платена (1796—1835).

под сень деревьев. Их силуэты вырисовывались на фоне белой стены, солнце сверкнуло на штыке, они свернули за угол, во двор. Их облаяла собака, но кто-то тут же ее унял. А Зенек возвращался, шаркая шлепанцами и отряхивая ветки яблонь и груш так, что плоды с гулким стуком падали на землю.

— Чего они хотели? — спросил Адам.

Зенек протянул ему грушу и с полным ртом сообщил:

— С сегодняшнего дня вводится затемнение. Пограничная зона.

— И столько времени ты болтал с ними об этом?

— Я потянул их малость за язык,— ответил Зенек.— Врезал им, что в местечке нет никакого порядка.

— Они, конечно, приняли это близко к сердцу.

— Полиция ожидает не сегодня завтра подкрепление. То ли из главной комендатуры, то ли из комиссариатов центральной Польши. Должна прийти целая рота. Тогда наведут порядок.

— Должны навести.

Зенек смотрел снизу вверх, улыбаясь. С его подбородка капал сок груши. Он утерся тыльной стороной ладони.

— Я, конечно, расспросил их, что за люди живут напротив. Это жена какого-то миллионера из Ченстоховы.

— Ну да, приехала бы жена миллионера сюда, в такую дыру,— рассмеялся Коссович. Мысль об этом очень его позабавила.

— Ее муж — какая-то важная шишка. Поставщик оружия или что-то в этом роде.

— Миллионер. Из Ченстоховы. Поставщик оружия,— резюмировал Адам.— Подштанники небось шьет для армии.

— Возможно,— согласился Зенек. Он встал, потянулся. Под мышками на шелковой рубашке темнели пятна пота. Он шагнул в глубь передней, где всегда немного продувало. Лампа в кованом абажуре под потолком тихо позвякивала, раскачиваясь на сквозняке.

Через полчаса из-за дома вышли полицейский и его спутник. Они не спеша удалялись по улице в сторону города. Адам смотрел им вслед. Каска, плохо притороченная к поясному ремню, при каждом шаге била полицейского по ягодицам. В таких касках пешая полиция до сих пор появлялась на улицах городов только во время серьезных политических беспорядков. А у Коссовича эти каски — черные, немецкие — всегда вызывали в памяти кафе «Шотландское». Как, впрочем, и кирасирские шлемы конной полиции.

В тридцать шестом году после пасхальных каникул он отправился в свою гимназию до начала занятий, просто так, осмотреться, поболтать с кем-нибудь. Весна была ранняя и очень теплая. Он медленно шел по малолюдным, чистым, зеленым улицам. Вот и поворот с улицы Зыбликевича на Святого Марка, место, где он столько раз по утрам переживал волнующие минуты международных уличных автомобильных гонок. Отсюда высматривал он ревущие машины. Мировые звезды автогонок «высшей формулы»! Еще одно лекарство от нашего комплекса неполноценности. Как и счастливые для Польши международные соревнования спортивных самолетов. И триумфальные Гордон-Беннетти — состязания на воздушных шарах. В апреле он любил, прильнув к штакетнику, поглазеть на буйный праздник весны в Ботаническом саду. А потом вдоль зданий старого университета прогулочным шагом спуститься на Академическую площадь, в самый центр красивого города.

В тот день Адам уже издалека увидел на площади безмолвную толпу. Что-то произошло, предположил он, несчастный случай? Но уж слишком много народа! Адам не любил сборищ. Несколько сотен мужчин образовали бурлящую толпу. Он подумал, как бы ее обойти, но это оказалось невозможно. Пришлось протискиваться через толпу пролетариев, враждебную и ожесточенную, чувствуя свое отличие от них, почти биологическое. Модный костюм, чистая рубашка, ботинки, куп-

ленные в магазине «Саламандра». Все это в сравнении с окружавшей нищетой приводило его в смущение. Никто из собравшихся не обращал на него внимания. Он же ощущал их гнев и решимость. Они были готовы ко всему. Адам вышел на угол улицы Фредро, пустой, словно парализованной страхом. Обернулся. Толпа прибывала. А в глубине Академической, укрытой шпалерой зеленеющих деревьев, располагался в ожидании команды отряд конной полиции.

Вместо того чтобы идти дальше своей дорогой, повинуясь непонятному чувству, он вошел в кафе на углу — это было «Шотландское»,— где стоял густой запах «мокко», ромового пунша и шоколада. По утрам здесь собиралась обычно лишь небольшая группа математиков. Сегодня они не сидели за своими мраморными столиками, на крышках которых вечно что-то писали, а толклись у огромного окна, выходящего на Академическую площадь.

Коссович нерешительно сел за свободный столик, так, чтобы видеть поле боя. Так подумалось невзначай: поле боя, хотя еще ничего не произошло. Чего я здесь ищу? — спросил он себя в некотором смятении. Впечатлений? Сенсаций?

В группе мужчин у окна он заметил преподавателя своей гимназии, считавшегося феноменально одаренным. Тот также заметил своего молодого коллегу и нетерпеливым жестом подозвал его.

Адам успел уже заказать кофе. Он заколебался, ему не хотелось присоединяться к толпящимся у окна зевакам, но математик вновь махнул рукой, на этот раз еще более настойчиво, и Коссович, вздохнув, поднялся из-за своего столика.

— Посмотрите, что делается,— очень тихо сказал математик.

Толпа отступила и уже не занимала всей площади. Она застыла за линией раскопанной канализационной траншеи, прижимаясь к каменным стенам доходных домов. Глаза всех собравшихся на площади были устремлены теперь в глубину по-весеннему нарядной улицы.

— А что здесь, собственно, происходит? — спросил Адам.

— Вы еще спрашиваете! — нелюбезно буркнул учитель.

— Меня не было в городе.

— Безработные! — пробормотал математик.— Видите их лица?

— Чего они хотят? — спросил Адам, и голос его словно увяз в гортани.

— Может быть, пирожных, как сказала бы Мария-Антуанетта.

Внезапно по мостовой тяжело зацокали копыта. Двумя колоннами на площадь въезжала конная полиция. При ярком утреннем свете она выглядела весьма эффектно. Лошади были тщательно подобраны, очень крупные и только вороные. Черными были и кирасирские, парадные, опереточные, сверкавшие золочеными накладками шлемы этих кавалеристов-полицейских, украшенные султанами. Но не опереточными были сабли, которыми эта орава, наследники рубак из-под Сомосьерры, владела прекрасно.

Обе колонны возглавлял немолодой офицер в фуражке и без сабли. Он отдал приказ, который внутрь кафе донесся как неразборчивый гортанный вопль. Всадники ловко, лошадь к лошади, развернулись в шеренгу, которую от толпы отделяли кучи песка и груды тротуарных плит. Казалось, что толпа взята в огромные черные скобки.

— Ваш кофе, многоуважаемый,— раздался голос официанта в глубине зала.

Адам с облегчением обернулся. Он не хотел смотреть на то, что могло случиться. Но тут в окна кафе ударил такой шум, что математику пришлось закричать, чтобы Адам его услышал:

— Смотрите же!

На солнце засверкали клинки. Лошади напирали на людей. Из-за траншеи летели камни. Перед окнами кафе вдруг появились пешие полицейские в черных немецких касках. Их цепь заслонила площадь.

Рев толпы, прижатой к стенам, перекрыли одиночные выстрелы. В тот день еще не столь частые.

Неделю спустя, когда уже похоронили убитых, по слухам только сто человек, и город выглядел как обычно, когда исчезли баррикады, были вставлены стекла в витрины и починены уличные фонари, когда срочно, всего за несколько часов, были заштукатурены следы от пуль на стенах домов, когда городская тюрьма наполнилась до отказа, а сожженные склады на Замарстынове и Яновской уже не дымили и, стало быть, когда обо всем можно было уже забыть, гениальный математик задержал Коссовича у ворот гимназии.

— Коллега, вы уже уходите? — осведомился он.— Как вы ко всему этому относитесь?

— Я чуть-чуть не пережил нечто подобное два года назад в Вене,— сказал Адам, уклоняясь от ответа.

— Точное определение: мы это пережили. Но что же дальше?

Адам молчал.

— Вот именно. Теперь мы набрали в рот воды,— сказал математик.— Мы ничего не видели. Мы ничего не слышали. И ничего не говорим. Мы живем в прекраснейшем из миров. В этом мы убеждены. Не так ли?

На углу улицы зевал во весь рот полицейский без винтовки и в обычной фуражке с окованным козырьком.

Адам почувствовал, что краснеет, и сказал:

— Я совершенно не разбираюсь в политике.

■

После обеда явился миллионер из Ченстоховы. Потрепанный грузовик дважды бабахнул из выхлопной трубы. Адама и Зенека этот шум заставил броситься к окну. Из машины вышли трое. Стройный, подчеркнуто элегантный, знакомый с виду мужчина, посещавший в сумерки красотку. Второй — приземистый, с брюшком, необычайно подвижный, очевидно, тот самый миллионер из Ченстоховы. Третьим был шофер — рослый парень, в кожаном картузе и расстегнутой рубахе с засученными рукавами.

— Пойду к калитке,— сказал Зенек.— Люблю я такие сцены.

Мужчины яростно препирались между собой. Толстяк жестикулировал, размахивал руками. Щеголь закуривал сигарету, тут же бросал ее под ноги и остервенело затаптывал, воздевал руки к небу. Наконец миллионер вошел в дом. Шофер что-то крикнул ему вслед, уселся на ступеньке кабины и начал обмахиваться своим картузом.

Из дома выбежала красотка. Она была в домашнем халате, полы которого распахивались, открывая розовые панталоны. Но женщина не обращала никакого внимания на это, и Адам понял, что она в панике. Красотка забыла даже о своих папильотках. Толстяк не поспевал за женой, что-то кричал, а любовник (так окрестил Адам элегантного мужчину) лишь поклонился и отошел в тень. Невольная игра слов, подумал Адам. Женщина рукой подала знак шоферу, тот встал и двинулся за ней.

Они начали выносить из дома чемоданы, ящики, узлы. Таскали их и апоплексический миллионер, и шофер, и какая-то баба, похоже, кухарка, и даже сама красотка. Бездействовал только любовник. Все эти манатки торопливо запихивались в грузовик, который шофер поставил так, чтобы багаж можно было загружать прямо у калитки. Багажа было пропасть. Перины, матрацы, подушки! Адонис, приняв демоническую позу, безучастно созерцал все это. Он стоял в тени, стройный, узкобедрый, в шелковой синей рубашке со светлым галстуком, в замшевых туфлях и широких, моднейшего фасона брюках. Пиджак небрежно бросил на забор. Он курил сигарету за сигаретой. Всякий раз, когда появлялся миллионер, красавчик отпускал какие-то замечания.

Красотка — уже не в халате, а в светлом костюме — пробежала по

дорожке, нервно застегивая пуговки блузки; за ней с трудом поспевала кухарка, толкая перед собой детскую коляску. А в коляске плакал ребенок. На голове миллионерши по-прежнему были папильотки. Женщина такого класса в присутствии любовника могла забыть о папильотках только в исключительных обстоятельствах. Так подумал Адам, хоть и немного, но разбирающийся в женщинах.

Зенек открыл калитку, вышел на улицу. Шофер, чем-то очень недовольный, остановился возле сержанта, угостившего его сигаретой. Любовник подошел к красотке, но сцена прощания получилась бледной; лишь когда щеголь двинулся вниз по улочке, женщина зарыдала. Миллионер, стоя в кузове грузовика, быстро унял жену, сказав ей что-то резкое, но убедительное. Женщина тут же успокоилась. Миллионер сел в кабину, рядом с шофером. Женщина, кухарка и коляска скрылись за баррикадой матрацев и подушек. Автомобиль поднял облако пыли и потащил его за собой, стреляя выхлопной трубой. Зенек повернулся к вилле.

— Э-э-э...— протянул он презрительно, поднимаясь наверх.— Миллионер! У него фабрика наждачной бумаги. Военные поставки! Чего только люди не выдумают.

— А почему они так спешат? — спросил обеспокоенный Коссович.

— Чего тут странного? Шофер завтра должен явиться в свою часть с машиной. Грузовик у него реквизируют. Этот тип заплатил ему за перевозку, не поверите, двести злотых. Две сотни.

Коссович промолчал. Сегодня эта женщина уже не показалась мне такой красивой, подумал он с сожалением.

— Значит, их дом теперь пустой?

— Да, полное безлюдье. А вблизи она ничего себе, но не бог весть какое чудо! Вы знаете, из-за чего ругались ее муж и этот ее хахаль? Из-за тысячи трехсот злотых. Меня даже не стеснялись! Этот пижон хотел немедленно их отдать, а толстяк не брал. Требовал в долларах или в золоте!

И Зенек вздохнул.

— Значит, уж точно — конец каникулам!

Вечером их посетило начальство. Неожиданно где-то совсем близко несколько раз прогудел клаксон автомобиля, и Адам, высунувшись из окна, узнал штабной «бьюик», уже не черный, а покрытый свежим лаком защитного цвета. Дверцы машины были широко распахнуты. А за забором, у дачной калитки, стоял, заложив руки за спину, полковник Клён-Савицкий с непокрытой лысой головой и нетерпеливо выкрикивал какие-то слова.

— Наденьте мундиры! Полковник! — предостерегающе крикнул Адам Зенеку и Матуле.— И наведите здесь порядок.

Он выбежал из дома. Споткнувшись на ступеньках, чуть было не упал и помчался по гравийной дорожке.

— Приветствую вас, пан полковник.— Это прозвучало не по уставу, не по-военному, а по-граждански. Клён поморщился.

— Ладно, ладно, открывайте! Или мы будем разговаривать через сетку?

Он тяжелым шагом направился к вилле, сшибая листья буков стеком, который неизвестно зачем держал в руке. Взволнованный Коссович следовал за ним.

— Я не спрашиваю, как вам здесь живется. Сразу видно, что у вас тут каникулы. Немец не сбежал?

— Упаси боже. Все в порядке.

— Вот и прекрасно. Я заехал только на пять минут. Зенек хорошо себя ведет? Не шляется? Где нам можно поговорить спокойно?

— Здесь, в кабинете.— Коссович показал дорогу.

Полковник вошел в занятую Адамом комнату, в которую задернутые занавески не пропускали света. Он сразу заметил беспорядок в открытом книжном шкафу.

— Развлекаетесь литературой? — спросил он язвительно.

— Любопытствую, что читал этот немец. Я имею в виду прежнего хозяина,— оправдывался Коссович, словно совершил какой-то проступок.— Это гитлеровец, он бежал в рейх, поэтому...

— Ладно, ладно,— остановил Адама Клён и стеком показал на кресло. Сам плюхнулся на диван.— Итак, слушаю. Как ведет себя наш, гм... так сказать... гость?

— Он наверху. Я его туда поместил. У него есть все, что нужно. И там всегда один из нас...

— Видите ли, подпоручик,— сказал Клён.— Сенсационные сведения нашего, гм... гостя, с которыми он к нам прибыл, как бы это сказать, представляются весьма подозрительными. Да и вообще...— И он махнул рукой.

— Признаться, пан полковник, я не понимаю, о чем идет речь, — сказал Адам, бессильный проникнуть в тайный смысл сказанного.

— Это неважно. Вам не обязательно понимать. А вот я обязан. Какой он, этот немец? Вы, наверное, с ним... беседуете?

— Постольку, поскольку это необходимо в нашем положении.

— Правильно. Лучше быть осторожным. У вас сложилось о нем впечатление?

— Это... человек скрытный, замкнутый.

— А еще, а еще?

— Он очень нервничает. И даже не старается утаить это.

— Вот как? — сказал полковник.— А что он говорит?

— Он не может примириться с тем, что мы тут сидим. Видно, он ожидал чего-то другого. Мне кажется, что он спешит действовать. Что он очень хочет быть... гм... активным. Разумеется, в антигитлеровском движении...

— Наблюдения интересные, толковые, надо сказать,— прервал полковник.— Я рад, что первые шаги в нашей службе вы делаете столь... хм... уверенно.

Коссович удовлетворенно кашлянул.

— Раз уж вы в курсе дела, сообщу вам некоторые новости,— сказал Клён, сгибая и разгибая свой стек, обшитый кожей.— Атташе немецкого посольства в разговоре с кем-то из нашей генеральной инспекции вооруженных сил сообщил, что в Берлине возмущены безответственными — так выразился этот немец, обратите внимание: безответственными! — действиями наших патрулей на границе. И как пример он назвал, слушайте внимательно, район Брашки. Вот именно, Брашки! Вы понимаете, что это значит! Да, да, аукнулся случай с нашим Гохманом... Это первая реакция немцев. Нервозная реакция, надо сказать. Ну а почему нервозная, настолько нервозная? А? И немецкое радио передало сообщение, что в этом районе, снова была упомянута Брашка, произошел возмутительный инцидент, спровоцированный поляками, и этот инцидент требует обширного комментария. Интересно, что будет в этом комментарии. Пока что они его еще не передавали.

Тут он вопросительно посмотрел на Коссовича, который хотел заговорить, но не решился.

— Ну, смелее, смелее...

— Не подтверждает ли реакция немцев, что Гохман...— начал с усилием Адам.

— Никаких преждевременных выводов,— сказал полковник.— Мы не знаем, где тут игра, а где нервная реакция. Не знаем правды! Мы должны докопаться до нее. Дезертир — это личность, требующая всесторонней проверки. Черт знает, что кроется за таким дезертирством.

— Можно ли в данном случае говорить о дезертирстве? Это скорее идейный противник гитлеровского режима.

— Ага, вы все еще рассуждаете наивно! Идейный противник! Оставим этот вздор журналистам. Или писателям,— вспылил Клён-Са-

вицкий.— А с точки зрения нашей службы как отличить идейного, по-вашему, противника от засланного шпиона? Как угадать, какая идет игра? Исходя из своего тридцатилетнего опыта, я лично считаю, что дезертир — тьфу, вообще... Не стоит выеденного яйца. Никаких иллюзий! Никаких преждевременных выводов. Идейный противник! Вы служите в нашем отделе...

— Я всего лишь переводчик.

— Не боги горшки обжигают. Я тоже начинал... Вы человек интеллигентный. И с ходу попали на такое серьезное дело. Запомните, Коссович: всяческие сантименты, иллюзии, политические теории — к черту! Повторяю: дезертир для нас — всегда личность подозрительная. Вы знаете, куда пробирались немцы во время первой мировой войны? Что там пресловутая Мата Хари! Адъютантом самого маршала Фоша был немецкий шпион! Эльзасцы якобы из любви к Марианне переходили на сторону французов! Толпами! А потом оказывалось, что это шпионы. Старые, избитые фортели. Понятно?

— Так точно,— неуверенно сказал Коссович.

— Очень рад. Я вас не забываю. Я заехал сюда, хотя мне было и не совсем по пути. Дело серьезное. И приобрело большое значение. Черт его знает, что за этим стоит! Глядеть в оба! Держать ухо востро! И наблюдать. Наблюдать, потому что этот Гофман...

— Гохман.

— Гохман, все равно. Я сразу, еще на первом допросе, почуял, что это ловкач. Будете с ним разговаривать — придерживайте... эээ... свой язык. А выводы успеем сделать. Еще выяснится, что за птица этот Гохман.

Клён встал с дивана, окинул взглядом кабинет инженера Задке, зевнул.

— В такое время отдыхать на даче — чистые каникулы, честное слово! Что еще? Если ничего, то мне пора.

И тут по привычке к военной дисциплине, из уважения к чину, может быть от страха перед ответственностью, Коссович, который колебался в течение всего разговора, вдруг сказал:

— Как раз вчера Гохман написал письмо и просил меня его отослать.

У Клёна на мгновенье забавно отвисла челюсть.

— И вы, значит, отправили это письмо? — прохрипел он.

Коссович смотрел на начальника, не зная, на что решиться. У него не было никакой уверенности в том, что он поступает правильно. Наверное, правильно. Наверное, это мой долг.

— Нет. Это письмо у меня,— сказал он.

Полковник облегченно вздохнул.

— Вы его читали?

— Так точно. Он дал мне письмо незапечатанным. И просил меня его прочитать.

— Кому и что он пишет? Дайте-ка мне это письмо...

— Немец просил меня,— сказал он с отвращением от того, что совершает нечто недостойное,— вложить этот конверт в другой и послать заказным в голландское посольство в Варшаве, атташе по культуре.

Клён словно бы не слушал его. Некоторое время он целиком был поглощен чтением письма. Лицо его выражало напряженное внимание. Наконец он тяжело вздохнул, облизал губы. Затем старательно засунул письмо в планшет.

— Мы его сразу же в отдел шифров, вот так, и посмотрим, что получится,— пробормотал он озабоченно и улыбнулся Коссовичу сердечно, по-отцовски.— Я вижу, что у вас есть на плечах голова. Молодец! Молодец! Хвалю, хвалю, заслужил, пан подпоручик.

Но тут же лицо его снова поскучнело.

— Вы слышали когда-нибудь об этом журнале или газетенке, ко-

торую упоминает в своем письме Гохман? — И с презрительной интонацией: — Как она там называется... «Замлюнг»?[1]

— Так точно,— сказал Адам.— Я читал о ней в немецкой прессе. Которая издается здесь, в Польше.

— А слышали вы, кто там заправляет?

— Кажется, сын Томаса Манна.

Клён пристально посмотрел на Коссовича, а затем выразительно пожал плечами.

— Всякие там разные либералы...

Он сделал паузу, похлопывая стеком по голенищу.

— Евреи и коммунисты? — дернула нелегкая Адама. Тут же он прикусил язык. Реплика была неуместной и вообще глупой.

Полковник глянул подозрительно. Тон Коссовича ему не понравился.

— Вот именно.— Он хмыкнул.— Евреи и коммунисты тоже. Писатели и разные там, как бы это сказать, обожаемые вами интеллектуалы. Хорошо, что это письмо попало в наши руки. В конце концов, вы же видите, что происходит в мире. В этой игре речь идет о нашей шкуре. Поэтому надо быть начеку. Кто знает, что кроется за каждым из этих слов. Дешифровщик поработает с письмом господина Гохмана. Я не удивлюсь, если это окажется аферой.

— Но содержание письма...

— Подумаешь, содержание! Я же говорю, что это может быть шифр.

Лицо его потемнело от забот. Хорошее настроение исчезло без следа. Он направился к двери. За дверью ему повстречался Зенек.

— Как дела, сынок, прохлаждаешься? — сказал он своему любимцу.— Не хватает мне тебя, но приходится оставить такого аса подпоручику Коссовичу. Смотрите, дело важное, глядеть в оба! Держать ухо востро!

И, спускаясь по ступенькам виллы тяжелым, размеренным шагом, добавил:

— Было бы время, задержался бы здесь у вас хоть на часок-другой. Тут можно отдохнуть. А сливы...

— Может, нарвать на дорогу? — крикнул Зенек, шагавший за Коссовичем.

— Хоть бы денек здесь отдохнуть... Но кто знает, кто знает...— вздохнул полковник.— Пусть дипломаты, наши и наших союзников...

— Кстати,— вмешался Адам.— Я бы хотел спросить, если разрешите, каковы виды на будущее?

Клён посмотрел на него искоса.

— Скажу вам по секрету. Я был с командующим армией на юбилее конной артиллерии. Генерал спросил об этом самого министра Бека. А тот без всяких колебаний ответил, что войны не будет...[2]

— Стало быть, все это...

— ...Проверка на крепость нервов! А как у вас с нервами, пан подпоручик? — спросил Клён и, не дожидаясь ответа, влез в «бьюик». Автомобиль тронулся с места. Адам со странным чувством недовольства собой запер калитку на ключ.

Коссовича снова терзал страшный сон. В роли призрака выступал объемистый том «Deutsche Wehrsprache» автор: майор в отставке Бруно фон Голодковский. Адам держал опротивевшую книгу в руках, испытывая муки филолога: его терзало сомнение, как перевести на польский язык кошмарные названия: Panzerspähwagen, Kampfpanzerspähwagen, Kleinkampfpanzerspähwagen, Rädderaupekleinpanzerkampfspäh-

[1] «Замлюнг» — литературный журнал, издававшийся Клаусом Манном в эмиграции в Амстердаме.

[2] Подлинный факт. *(Прим. автора.)*

wagen [1]. Слова растягивались, принимали гигантские размеры, становились уродливыми. Вдруг в отдалении начали появляться знакомые по страницам творения майора Голодковского уродцы — рисунки и схемы различных броневиков или, как их там, танков, а также гаубиц, пушек, гранатометов, человеческих внутренностей(?!), начали появляться аэростаты воздушного заграждения, а затем и самолеты (и среди них, о ужас! — Schulterdecker! Verspannter Doppeldecker! Fernaufklärung Anderthalbdecker) [2]. Дула орудий и гранатометов выплюнули траектории полета снарядов (линия прицеливания, угол прицеливания, линия дальности прицеливания). Пустынная местность закишела фигурками ожившей схемы: подразделение в атаке. Что это, схема танковой роты? Или, скорее, geschlossene Ordnung der Infanterie im Angriff? [3]

Когда зазвонил будильник, Адам сел на кровати и какое-то время не осознавал, где он находится: вначале ему показалось, что он в своей квартирке, потом — что он в комнате, снятой у пани Розенблатт. И лишь позже он сказал себе: я в Белюне, сегодня двадцать шестое августа.

Вечером после отъезда Клёна, все еще испытывая неприятные сомнения в правильности своего поступка, хотя все было сделано в полном соответствии с уставом, Коссович заглянул в спальню, где при немце дежурил Зенек. От скуки сержант нашел себе занятие: взгромоздившись на шаткий будуарный стульчик, который поддерживал немец, он завешивал розовыми клетчатыми одеялами створки окон.

— Так будет хорошо? — спросил он, когда Адам остановился на пороге комнаты. Зенек слез со стульчика, закрыл окна, взял мундир и поясной ремень.— Пойду посмотрю снаружи,— сказал он.— А вы, пан подпоручик, как только свистну, включите свет.

Адам подождал, пока в саду не раздался свист, затем зажег все лампочки люстры, вновь погасил их и, приоткрыв дверь, вышел на балкон.

— Полное затемнение, что надо! — прокричал снизу Зенек.

— Я остаюсь наверху! — ответил Адам.

В комнате сделалось душно, несмотря на то, что окна были закрыты совсем недолго. Коссович широко раскрыл дверь на террасу и уселся в кресло возле нее, боком к немцу. Он чувствовал себя уставшим. Жара, разговор с Клёном, эти панические настроения вокруг!

Внизу, за завесой листвы в сгущающейся темноте, засыпало местечко. Гохман вошел в ванную, зажег свет. Адам беспокойно шевельнулся в кресле — свет падал прямо на террасу, нужно было бы закрыть затемненные двери, но немец уже погасил свет. Гохман вернулся в спальню, тщательно развесил в темноте свои вещи на хрупком стульчике, на котором недавно Зенек занимался эквилибристикой. Потом тяжело присел на край кровати и замер.

Правильно ли я поступил, отдав письмо Клёну? Коссович перебирал в мыслях все «за» и «против». Имел ли я право промолчать о письме? Как перестать быть штатским человеком, перестать колебаться, копаться в себе и превратиться в офицера, исполняющего уставные предписания?

Его размышления прервал голос немца:

— Могу ли я спросить вас кое о чем? Сегодняшний приезд полковника имеет отношение к моему делу?

Адам ответил не сразу и довольно уклончиво:

---

[1] Бронированный разведывательный автомобиль, боевой бронированный разведывательный автомобиль, легкий бронированный разведывательный автомобиль, легкий бронированный разведывательный автомобиль на гусеничном ходу *(нем.)*.

[2] Высокоплан, расчалочный биплан, полутораплан дальней воздушной разведки *(нем.)*.

[3] Боевой порядок пехоты в наступлении *(нем.)*.

— Полковник заехал по дороге, ему нужно было кое-что сообщить мне.

Снова наступило молчание. Гохман снял очки и аккуратно положил их на ночной столик.

— Вы сказали полковнику о моем письме?

На этот раз Коссович не медлил с ответом:

— Разумеется. Я попросил, чтобы он отправил письмо в соответствии с вашей просьбой. Здесь, на этой провинциальной почте, было бы трудно найти нужный адрес.

— А телефонный справочник? — пробормотал недоверчиво Гохман.

— И все же... Впрочем, полковник сделает это лучше,— отрезал Адам.

— Не сомневаюсь,— выразительно произнес Гохман.

И снова молчание. Но полное какого-то недоверия, обиды. Так, во всяком случае, казалось Адаму.

Немец уже лег. В темноте его неподвижное тело в пестрой пижаме вызывало — неизвестно почему — мысль о смерти, катафалке. Время тянулось медленно. Матуля и Зенек внизу тоже уже притихли. Коссович боролся с сонливостью — чтобы не думать о неприятных вещах, он пытался сосредоточиться на своей повести, призвать на помощь Э. Т. А. Г. В такой, как сегодня, вечер, таящий в себе опасность, могло случиться любое романтическое приключение.

В 1805 году прусская Варшава все еще жила воспоминаниями о прекрасных временах короля Стася. Можно ли найти более романтическую обстановку, чем в Лазенках, которые так восхищали Гофмана? Лебеди плывут по блестящей, как зеркало, глади вод, Ян Собеский гарцует в сумерках по аллеям. В каждом уголке парка можно встретить тех, о ком Варшава говорила, пела, сочиняла стихи. Демоническая мадам Лейе, любовница короля и колдунья, которая дорого продавала ему тайны вечной молодости. Догрумова, отравительница, гроза магнатов. Импозантные, пленившие всю Европу Калиостро и Казанова. Толпа алхимиков, предсказателей, гадальщиков, фокусников, обольстительных распутниц, изворотливых сводниц, искателей приключений и алчных любителей золота. Адам мысленно раскладывал эти карты: король, дама, валет; тасовал их и раскладывал снова. Когда же я примусь писать?

— Могли бы мы завтра утром, в четыре сорок, выйти на террасу? — спросил вдруг немец, и воображаемая картина сразу развеялась. Коссович насторожился. Что бы это значило, черт побери?

— Объясните мне, пожалуйста, с какой целью в столь необычное время?

— С какой целью? — удивился немец.— Вы, наверное, знаете, что я...

Он не закончил, а Коссович нетерпеливо поторопил его:

— Что вы... Что именно?

— Гитлер нападет завтра в четыре сорок пять. На всем протяжении границы.

Что он такое говорит? Не ослышался ли я? — растерянно подумал Адам. Может быть, я плохо понял? Так вот какая это тайна!

Адам остолбенело смотрел на немца. Не верю, не верю, думал он, это не может быть правдой! Откуда ему знать? Такая точная дата — это тщательно оберегаемая военная тайна. Тайна? Но что такое военная тайна? Подобный приказ отдается после разных совещаний. Планы наступления вырабатываются в штабах разных уровней. Множество людей. Он представил себе карты, на которых нанесены направления ударов. Тысячи карт. Приказы, размноженные на машинках, тысячи приказов. Зашифрованные сроки. Кто-то должен заниматься всем этим. Чертить схемы, писать, шифровать. А еще связисты. Тайные канцелярии. Коды. Среди множества посвященных мог оказаться и Гохман.

Случайно или не случайно. Не было поэтому смысла спрашивать, откуда он знает. Более важным представлялся другой вопрос.

Они помолчали немного, прежде чем Адам выдавил:

— Но почему вы решились?..

— Я пытался это объяснить вам той ночью, когда мы ехали сюда. Я считаю, что родина,— снова это раздражающее Адама слово: «Vaterland»,— это понятие чисто этическое. Я так это понимаю. Не географическое. Во всяком случае, моя родина только там, где существуют моральные устои...

— Для поляков родина — это конкретное понятие. Это страна, деревни и города, люди. Это общность. В данном месте в данное время.

— И я так когда-то думал. Но потом моя страна заполнилась извергами. Преступление стало обычным явлением. Его даже возвели в ранг гражданского долга. Не может быть моей родиной страна, которой овладело кровавое безумие. Толкающая Европу, а может, и весь мир к катастрофе. Третий рейх. Если вы не можете этого понять, я не способен выразиться яснее.

И вдруг, отбросив спокойный тон, взорвался:

— Боже мой! Ведь нельзя же быть солидарным с преступниками только потому, что говоришь на том же языке, что и они!

Взрыв этот испугал Адама. Он чувствовал, что надо что-то противопоставить этой философии.

— Мы, поляки, понимаем этот вопрос иначе. Родина — это сумма нас всех. Сумма наших достоинств и наших пороков. Но в то же время она и выше наших достоинств и пороков. Это звучит несколько метафизически, но мы так это чувствуем.

У него не было сил продолжать разговор. Больше в этот вечер они не сказали друг другу ни слова. Когда Адам, закончив дежурство, спустился вниз, он долго не мог заснуть.

Проснувшись (26 августа, четыре утра), он долго собирался с мыслями, а потом почувствовал, что не способен спокойно оценить ситуацию. Война! Одно дело — думать о ней, другое — знать, что она начнется через три четверти часа. Он быстро натянул бриджи и босиком, полуобнаженный пошел в кухню и сунул голову под кран. Все более торопясь, посмотрел на часы — тридцать пять пятого, расчесал мокрые волосы. Зенек сел на кушетке, поставленной в гостиной у двери. Его пробуждение было тоже не из приятных. В полумраке Адам увидел на его лице красные полосы от подушки. Правая рука Зенека была под одеялом. Адам догадался, что в руке у него пистолет.

Шаги Адама разбудили Матулю, он вскочил и вытянулся по стойке «смирно». Здесь наверху было светлее, в комнату вступал день. Гохман, одетый, сидел на краю кровати, пиджак лежал возле него. На его лице не было следов сна — в эту ночь он не спал.

Коссович подошел к двери на террасу, сказал по-немецки «добрый день», Гохман ответил очень тихо. Солнце, точно огромный апельсин, висело между шпилем костела и крепостной башней.

— Без двадцати пять,— сказал Адам, повернувшись к немцу.— Выйдем на террасу.

Немец послушно встал, набросил на плечи свой ужасный, скроенный на какого-нибудь деревенского парня пиджак.

— Я готов.

Коссович пропустил его вперед и без всякой необходимости, потому что отсюда было прекрасно видно все разраставшийся диск восходящего солнца, жестом, который ему самому показался патетическим и достойным третьего акта какой-нибудь оперы, показал немцу на запад:

— Там.

— Да, конечно,— сказал Гохман.

Они стали вплотную к балюстраде.

— Еще минута...— вымолвил Коссович.

Утро было свежее, прохладное, а здесь, среди садов, и влажное. Как и в течение всего этого августа, нынешней ночью выпала обильная роса. Через час высохнет, опять будет жара и сушь, подумал Адам. Ни единого облачка, что за лето!

Раздался серебристый звон колокола, наверное в костеле, раньше я не слышал его, спал в это время, подумал Адам. Он чувствовал такое большое напряжение, что, несмотря на прохладу, вспотел и шея под воротником мундира стала влажной. Он провел по ней пальцем. Черт возьми! Что же дальше?

— Уже,— сказал он.— Теперь как раз точно...

Немец подтверждающе кивнул головой.

Где-то поблизости рассерженным голосом запел петух. В одном из соседних дворов старческий голос звал какую-то Юзьку. Адам напряг слух, уловил постукивание колес по булыжнику базарной площади и даже отдаленный шум проходящего вдалеке поезда. Машинально поднял руку и приложил к уху часы. Они тикали ритмично, внушая к себе доверие.

— Тишина,— сказал Коссович.

— Вы ничего не имеете против того, если мы постоим здесь еще немного? — глухо спросил немец. Он всматривался в побелевшие косточки своих кулаков, стискивавших перила балюстрады, и было видно, что ему многого стоит владеть собой, своим голосом, что он старается изо всех сил, чтобы его слова звучали спокойно и убедительно.— Видно, произошли какие-то изменения... по стратегическим или тактическим соображениям.

— Откуда мне знать?..— буркнул Коссович.

Они стояли рядом без движения, вглядываясь в пустое небо на западе. Местечко понемногу пробуждалось, первыми просыпались крестьянские дворы на склонах холма. Адам то и дело украдкой косился на часы и видел, как их большая стрелка отмеряет все новые пятиминутные отрезки.

Ничего не происходило, со стороны границы не доносилось никаких звуков. Предсказание Гохмана не исполнялось. Адам наслаждался своеобразным, горьким триумфом. Это было недоброе, враждебное чувство. Хитер этот стреляный воробей Клён. Он один с самого начала был уверен, что сегодня на рассвете ничего не случится. Что все это блеф. Он даже сказал что-то в этом роде: провокация...

Было без одной минуты пять.

Адам без слов вытянул руку и показал часы Гохману. Немец покивал головой и с обидой посмотрел ему в глаза.

— Еще десять минут, если позволите.

— Пожалуйста,— сказал Коссович.

Ровно в пять, как всегда, завыл гудок сахарного завода. Этот звук Адаму был известен, он будил его по утрам. Звук долетел с востока, со стороны местечка, и показался Адаму сигналом к окончанию бессмысленного ожидания.

— Вернемся в вашу комнату,— сказал он тоном приказа.

Гохман молча повиновался. Адам закрыл дверь на террасу, повернул ключ в замке. Немец сел на край кровати, пиджак сполз с его плеч. Он сгорбился и опустил голову в ладони. Этот жест казался фальшивым, комедиантским.

— Идите вниз спать, я останусь здесь,— сказал Адам Матуле и опустился в бездонное кресло. Капрал, щелкнув каблуками, повернулся кругом, тихонько, осторожно закрыл дверь, а затем шумно сбежал по лестнице. Коссович вглядывался в немца. Теперь надо быть особенно бдительным, подумал он. Если он перешел нашу границу с какой-то конкретной целью—шпион? диверсант? провокатор?— то может теперь решиться играть ва-банк. Если это профессионал.

Черт бы побрал мою деликатность! Он разозлился, встал с кресла и, даже не пытаясь быть вежливым, как обычно, сказал:

— Я прошу вас лечь. Думаю, что вы не спали этой ночью, разденьтесь и ложитесь. И прошу не ставить меня в глупое положение. Мы можем разговаривать только на нейтральные темы. Извольте рассматривать это как приказ.

■

Следующая вылазка Коссовича в город завершилась полным провалом. Белюнь вроде бы немного успокоился, исчезли толпы у магазинов, но стены всех административных зданий — что производило наиболее зловещее впечатление — были оклеены извещениями о мобилизации. Полицейские прохаживались по двое, с винтовками и в своих безобразных касках, с ремешками под подбородком. Перед резиденцией старосты формировалась длинная колонна резервистов. Вокруг нее носились несколько горластых унтеров. Пожалуй, все — и унтеры, и резервисты — были слегка под мухой. Обливались потом от жары. «Какой дурак построил их посреди площади, на самом солнцепеке, напрасно мучат людей»,— негодовал Адам. На тротуарах теснились женщины, их громкие стенания нарастали, возносясь над рыночной площадью. А в домах предместья торопливо заклеивали оконные стекла бумажными полосками. Уже со всех сторон смотрели окна, перечеркнутые крест-накрест.

На почте по-прежнему царила неразбериха, и в довершение зла начальник ушел на совещание к старосте. Помочь было некому. Служащие были измотаны и напуганы, даже служебное удостоверение Адама не произвело на них впечатления. Впрочем, удивляться нечему: с утра окошечки осаждала толпа крикливых клиентов. А число заказанных телефонных разговоров с Лодзью побило все рекорды. Пришлось бы дожидаться много-много часов. Никто из служащих и понятия не имел о прессе, которую начальник обещал откладывать для Адама. В киосках, разумеется, тоже не было свежих газет. Не было их уже второй день. Ченстоховская газета пятидневной давности давала на первой полосе фотографию похорон полицейского Швангля, застреленного немецкими диверсантами.— Газет не присылают, люди как в темном лесу,— сетовал инвалид-киоскер.— Видали, что творится на станции?

Все вместе взятое удручало. Адам, поддавшись мрачному настроению, возвращался на виллу господина Задке совершенно убитый. В саду у калитки его ждал Зенек, к тому же еще в застегнутом мундире. Объяснить это можно было только однозначно: Дед приехал и не застал меня на месте. Теперь влетит! Коссович подбежал, держась поближе к сетке, чтобы его не заметили из окна.

Зенек уже отпирал калитку. Он не скрывал волнения.

— О боже, что я пережил!

— Полковник?

— Ваша невеста...— Зенек трагически вздохнул.

— Что такое?

— Я же говорю. Панна Хелена Лось.

— Да что с ней?

— Приехала.

Адам на некоторое время лишился дара речи.

— А откуда же, черт побери, она взяла мой адрес? — наконец возмутился он.— И где она теперь?

— Войдите,— сказал Зенек.— Я запру калитку. Она в доме. Ждет вас.

— Что? — почти выкрикнул Адам и схватил Зенека за плечо.— Зачем ты пустил ее туда? Обалдел, что ли?

— Да, я обалдел,— угрюмо согласился Зенек.— Она мне у калитки такую сцену закатила... Уж лучше было впустить.

— Только этого не хватало.

— А впрочем, это племянница полковника Лося.

— Откуда знаешь?

— Мы проверяли, кто она и откуда, когда к вам в Лодзь приехала.

— Как?

— Да так. Сами слыхали,— Зенек переменил тон.— Вот я и думаю, раз уж приехала, ничего не поделаешь, пусть уж с нами остается. Особа, так сказать, надежная. Племянница самого полковника Лося из штаба армии.— И вдруг добавил с надеждой, не скрывая собственной заинтересованности: — Может, наше хозяйство на себя возьмет?

— Ты что? А если Дед узнает?

— Откуда узнает? Я ему не скажу, вы тоже не скажете. А ее... извиняюсь, а панну Лось так спрячем, что он ее никогда не увидит. Ну? Как вы считаете?

— Придумал тоже! — проворчал Коссович и бросился бегом к вилле.

Ворвался в холл, готовый сгоряча тут же, немедленно выдворить Хеленку. Она сидела в «сторожевом» кресле у двери, была в легком полотняном костюме, у ног ее лежал маленький несессер и зонтик.

— Вот видишь, я тебя нашла! Должна была найти! Не хочу, не могу без тебя...— Она смеялась в перерывах между поцелуями и обнимала его, совершенно не обращая внимания на Зенека, стоявшего позади Адама.— И думать не смей, что тебе удастся прогнать меня отсюда. Ах, негодяй! Почему я так люблю тебя?

Адам выпростал ее пальцы из своей шевелюры, смущенно обернулся. Зенек, потупившись, разглядывал носки своих шлепанцев.

— Тебе нельзя здесь оставаться ни минуты,— сказал Коссович.— Помилуй! Ты ума лишилась?

— Не суетись. Ты ничего не понимаешь! — воскликнула она и отступила на шаг.— В Лодзи все роют убежища...

— Кто дал тебе мой адрес?

— Сама его раздобыла. Сразу же после твоего звонка позвонила на почту. Мне сказали, что ты говорил из Белюня. Вот и приехала сюда.

— А как нашла нас тут?

— Порасспросила людей в ресторане. Официантка сказала мне, что армия реквизировала виллу этого немца. А киоскер добавил, что какой-то военный интересовался газетами, даже немецкими. Я тут же догадалась. А когда пан сержант подошел к калитке, я прямо спросила о тебе. Он был так любезен...

— Собирай свои вещи!

— Адам! Если ты заставишь меня уехать, покончу с собой.

— Знаешь ли ты, что по твоей милости я могу угодить в крепость? Если мой начальник...

— Не будь таким педантом. Нет хуже штатского в мундире. Дядя всегда это говорит...

Зенек многозначительно кашлянул у них за спиной.

— Пан подпоручик,— начал он тихо.— В случае чего, даже если бы... гм... вы скажете, что нам понадобились женские руки. Человека проверенного. Ведь у нас целое хозяйство.— И тут же поспешил заверить: — Но до этого не дойдет. Никто не узнает.

— Уже стакнулись? — со злостью спросил Коссович. Хелена лучезарно улыбнулась Зенеку. А сержант изобразил архиусердную мину.— Боже милостивый,— сказал Адам.— Лишь бы это не кончилось военным трибуналом.— И суеверно постучал по светлой обшивке стены.

— Держите свои вещички в чулане.— Зенек уже тянулся к ее несессеру.— Надоело мне три раза в день есть яичницу с колбасой.

— Пошли потолкуем с глазу на глаз,— сказал Коссович, ввел Хелену в кабинет и притворил за собой дверь.— Садись! — бросил рез-

ко. Себе пододвинул кресло. Увидел, что она действительно напугана. Каких трудов стоило ей сюда добраться, подумал он. Сумасшедшая! На все готова ради меня. Теперь Хеленке стоило только посмотреть ему в глаза, чтобы он окончательно размяк. Сжал обеими руками ее запястья.— Что ты вытворяешь, Хеленка? — произнес уже другим тоном. А она моментально уловила это и применила старый, испытанный прием: разревелась, как малое дитя.

— О боже! И это еще!—простонал Адам. А Хеленка ревела. Адам искал по карманам носовой платок. Пуще всего боялся он женских слез и истерик, ибо, наученный горьким опытом, знал, что у него в подобных случаях опускаются руки.— На, вытри глаза,— сказал он мягко.— Мы должны вместе обдумать, что в нашем положении... в нашем положении...

— Адам, ведь ты ничего не знаешь! — всхлипывала Хеленка.— Вчера я говорила с дядей!

— Зачем приехала? Нельзя было этого делать!

Он почувствовал, что проигрывает схватку, сдает позицию за позицией. Это я должен решать, подумал он. И еще раз попытался прибегнуть к властному тону, который присущ настоящему мужчине.

— Во-первых, ты возвращаешься в Лодзь! Не перебивай! По приезде немедленно укладываешься. И — домой. Понятно? Так будет лучше.

— Но я действительно...

— Пойми, что и мне будет лучше, проще, если буду за тебя спокоен. Сейчас пошлю Зенека, пусть разузнает. Насчет поезда или автобуса. Когда сможешь вернуться. Даже не пытайся прибегнуть к своим уловкам. Уже решено. И скажи честно, не юли. Мое назначение в Лодзь, а не в полк — твоя работа?

— Адам! Как ты можешь?

Она так скверно разыграла гнев, что у него не осталось ни малейших сомнений.

— Ты устроила? Ну, признавайся! Воспользовалась своим дядюшкой?

— Допустим,— уступила Хеленка.— И что? Допустим, что дядя, познакомившись с тобой, нашел, что твой интеллектуальный уровень...

— Перестань! — рассердился всерьез Адам.— Не дурачь меня!

— О боже! — тяжело вздохнула она.— Я просила его еще в марте, когда начали призывать. Мне не хотелось, чтобы ты попал в полк. Сам же рассказывал о гарнизонных девках в Пшемысле.

— И пристроила меня, нечего сказать! — воскликнул он с горечью.— А почему предварительно со мной не согласовала? Хочу ли я?

— Я говорила с дядей не о какой-нибудь конкретной должности. А о том, чтобы ты не прозябал в Пшемысле или Саноке. Состояние напряженности, война нервов, сказал дядя, может затянуться. Вот я и представила себе, как ты будешь до бесконечности томиться в полку...

— И втравила меня в историю,— перебил ее Адам.— По крайней мере теперь предоставь мне право решать. Ты возвращаешься в Лодзь!

— Когда?

— Чем скорее, тем лучше,— сказал он, отпустил ее руки, поднялся. Отворил дверь и увидел Зенека, сидящего в кресле у самого порога с таким безразличным видом, что его нельзя было не заподозрить в подслушивании.

— Сержант, у меня просьба,—сказал Коссович, подойдя к нему.— Надо выяснить, сможет ли панна Хелена более или менее сносно добраться до Лодзи?

— Когда?

— Как можно быстрее. Поездом или автобусом.

Хеленка стояла позади Коссовича. И вовсе не плакала. Обнаруживая истинно женское умение переключаться с одного настроения на другое, она уже сияла.

— Так или иначе, я устрою вам роскошный ужин,— объявила она.— Соблаговолите ли вы, пан сержант, сделать кое-какие покупки?

— Разумеется,—с готовностью откликнулся Зенек, и, как показалось Адаму, нахально и заговорщицки подмигнул Хеленке.

Когда за сержантом захлопнулась калитка, Хелена щелкнула задвижкой у входной двери и вернулась в кабинет. Огляделась, провела пальцами по запыленной крышке стола.

— Теперь скажи мне, как тебе пишется? Начал? — И без всякого перехода, словно бы безразличным голосом: — У него есть ключ от калитки?

— Нет. Почему интересуешься?

— Просто так. Значит, позвонит, когда вернется? А те, наверху? Часто спускаются вниз?

— Один из них спустится, но только после дежурства.

— Когда?

— Через четыре часа.

Только этого ей и надо. Не наклоняясь, она сбрасывает сандалии.

— Хеленка, что ты делаешь?

— Сейчас увидишь,— со смехом она расстегивает юбку, которая соскальзывает на пол.

— Тебя увидят голую с улицы.

— С какой улицы? Наплевать. Быстрее! Быстрее! — торопит она, увлекая его на ковер.— Сбрось рубашку! — С треском отрывается пуговица у воротничка. Поцелуи — жадные, от которых дух захватывает.— Когда ехала сюда, всю дорогу только об этом и думала! Разве я виновата, что меня постоянно тянет к тебе!

— Одно у тебя на уме,— попытался пошутить Адам.

— Разве это плохо? Ах, негодяй.

А потом, прильнув к его груди, вдруг забеспокоилась:

— Как думаешь, там, наверху, слышали?

Адам смотрел на потолок, бездумно улыбаясь.

— Теперь мне наплевать!

Мылась она в ушате, который Адам приволок из кухни, поскольку в ванную пришлось бы проходить через спальню. Хеленка бесстыдно совершала омывание и, вся в мыльной пене, распоряжалась: — Поливай, поливай! — Коссович безропотно ей повиновался. Вдруг она заявила без обиняков: — Адам, у нас будет ребенок. Поэтому я и приехала.

Коссович отставил кувшин, присел на корточки возле ушата.

— Если ты против, избавлюсь. Пани Розенблатт что-то предлагала... но я предпочла бы оставить...

— Идиотка! — возмутился он. — Что ты мелешь?

— Так чего же ты хочешь? Решай...

— Вылезай из кадки. И вот тебе полотенце.

— Вытри мне спину. Что же будем делать? Я так люблю тебя. Будет мальчик, я чувствую, сразу почувствовала...

У Адама шумело в голове, он был совершенно ошеломлен. Хеленка, когда он вытирал ее грубым полотенцем, как кошка, выгибала спину. Сдавленным голосом спросила:

— Какая я тебе больше нравлюсь — пыльная с дороги или чистенькая, как сейчас?

Зенек вернулся, навьюченный покупками, взмыленный и с подозрительно разрумянившимся лицом. Опять отведал вишневки Бачевского? Остановился в холле, так, чтобы видеть поправлявшую волосы Хелену.

— Автобусы уже не ходят. Один ремонтируется, а второй реквизирован,— сообщил он подчеркнуто громко.— А на станции такой... балаган, что даже ничего узнать не удалось. Ветка боковая, ходил единственный поезд до Лодзи, с пересадкой, но теперь весь состав предназначается для мобилизованных.

И, нагло ухмыляясь, добавил:

— Я бы свою невесту с такой оравой в Лодзь ни за что бы не отправил.

■

Под вечер к вилле подкатил мотоциклист. В первую минуту Адам подумал, что это Кубицкий, но из окна кабинета разглядел военный комбинезон и узнал сержанта-подхорунжего из штаба. Они встречались в занятом под «контору» здании напротив станции Лодзь-фабричная. А также на Юлианове, в штабе. Однажды подхорунжий вез туда Адама на своем «соколе» по узким и напоминающим о вавилонском столпотворении улочкам. Теперь он нетерпеливо гремел скобой калитки. Был черен от пыли, скалил в улыбке ослепительные зубы.

— Пакет для пана подпоручика! — доложил мотоциклист, вручая Адаму серый, с сургучными печатями конверт.— Что у вас тут слышно? Какие чудесные груши! Прямо-таки каникулы! У нас в Лодзи невесело: штурмуют магазины, аресты и вообще.

— Что значит «вообще»? — спросил Адам. Подхорунжий сразу же посерьезнел.

— Вам привет от капитана Вольского. Ходит с рукой на перевязи.

— Что с ним стряслось?

— Во время операции. Обнаружил склад оружия, а те... Просил передать, что ждет вашего возвращения. В связи с какими-то газетами. Я не совсем понял...

— Зато я понял.— Адам представил себе Вольского над ежедневной порцией газет, с рукой на перевязи, негодующего, рвущегося к оперативной работе.— Много арестов? — осведомился он, вскрывая конверт. Выудил из него листок и принялся читать, слушая одновременно рассказ о том, как лодзинская «двойка» вылавливает по ночам главарей местных гитлеровцев.

— Для вывоза изъятой у них нелегальной литературы требуются уже грузовики, эти сукины сыны совершенно обнаглели,— говорил с болью подхорунжий.— А утром, после операции, у нас трезвонят телефоны, Варшава вмешивается, всевозможные доброхоты, какие-то посольства, бог знает кто. За одного лодзинского фюрера ходатайствовал по телеграфу сам наследник шведского престола. Такие у них связи! И бывает, что наглых фрицев, упивающихся своей новой ролью великомучеников, приходится выпускать на свободу.

— Когда же начнется эта проклятая война? — мрачно подал голос Зенек.— У кого хватит терпения ждать?

— Существует мнение...—начал подхорунжий. Он уже не улыбался.— Вчера на рассвете в Тешинской Силезии немцы пытались занять пограничную станцию. Завязалось целое сражение. Каждую ночь открывают огонь по нашим пограничникам. Испытывают наши нервы.

— Так будет что-нибудь или нет? — допытывался Зенек.— Долго мы будем позволять, чтобы нас водили за нос? Я бы...

Адам уже успел ознакомиться с письмом. Только этого недоставало мне для полного счастья, подумал он неприязненно. Сказал связному:

— Вам придется, коллега, подождать здесь внизу. Побеседуйте с Зенеком.— Он щелкнул пальцем по бумаге, скрепленной подписью Клёна.— Сейчас я это улажу.— Набросил на плечи мундир, пошел на второй этаж, в спальню. Не глядя Гохману в глаза, подсел к туалетному столику, боком. Черт побери! И подумать только, что я отказался изучать юриспруденцию! Не по мне эта работа. Чувствую себя так, словно сижу на скамье подсудимых.— Мне поручено задать вам нижеследующие вопросы и запротоколировать ответы,— постарался он произнести официальным тоном. Аккуратно отвинтил колпачок вечного пера.— Итак, во-первых: состояли ли вы в национал-социалистской партии?

Немцу кровь ударила в голову, лицо потемнело, его бросило в жар, и он принялся вытирать платком виски, шею.

— Итак, состояли или не состояли? — поторопил немца Коссович.

— В марте прошлого года всех сотрудников нашего университета вынудили подать заявления...— сказал Гохман,— под угрозой...

Адам взглянул на него с сожалением.

— Записываю,— сказал он. —«Состоял в НСДАП с марта прошлого года». Верно?

Немец угрюмо молчал.

— А теперь второй вопрос,— досадливо проговорил Коссович. Гохман прервал его и заговорил с лихорадочной торопливостью:

— Пожалуйста, запишите еще и это: когда в результате психологического террора там, в нашем университете, я был вынужден подписать эту... бумажонку, я имею в виду их идейную декларацию, с того момента созревала у меня мысль, решение, убежденность, что больше мне нельзя... Существует прямая связь между принуждением, которому меня подвергли, и тем, что я нахожусь здесь, у вас. Обязательно это запишите.

Адам удовлетворил его просьбу, а затем спросил:

— Является ли ваш брат членом НСДАП?

Гохман снова вознегодовал:

— Надеюсь, что вы точно запротоколируете мой ответ. Очень прошу. Здесь, в Польше, с вами я, а не мой брат. Он нацистский бонза. С тридцать первого года. И близок к их руководству... В Берлине. Я не поддерживаю с ним никаких отношений. Мы всегда расходились во взглядах. Поэтому, пожалуйста, запишите... Я подчеркиваю, заявляю со всей категоричностью, что существенны только факты моей биографии. То есть существенны в данном случае...

Адам недовольно кашлянул.

— Все-таки прошу исчерпывающе ответить на заданный вопрос.

Немец снял очки, зажмурился.

— Ладно, пишите: мой брат служит в СС, в лейбштандарте. Если не поднялся еще выше по служебной лестнице. Что еще?

— Последний вопрос. И должен вас предупредить, прежде чем ответите: мы провели соответствующую проверку. Итак, советовались ли вы с кем-нибудь или консультировались с кем-либо относительно своего намерения перейти границу и сообщить...— тут Адам заглянул в шпаргалку Клёна, чтобы точнее сформулировать вопрос,— свои сенсационные сведения?

Гохман на сей раз помедлил с ответом, призадумался.

— Вы догадываетесь,— добавил еще Адам,— что в данном вопросе речь идет о лицах, инспирировавших ваши действия. Так это сформулировано.

— Вопрос об инспираторах представляется мне оскорбительным,— заявил немец.— После всего сказанного мною мой окончательный ответ таков: там, где нет уже никаких дорожных указателей, не остается ничего другого, как самому себе указывать путь. Я действовал один. Ни с кем не консультировался!

Адам запечатывал сургучом конверт с протоколом допроса и слушал болтовню подхорунжего, чьи сенсации были отнюдь не первой свежести. Так, какой-то фотограф поведал ему о своих злоключениях в варшавском Замке на приеме генерала Айронсайда, посланца английского премьера, верзилы, говорящего по-польски. Вот была задача! Как такого Кинг-Конга (впрочем, вполне благообразного) сфотографировать, чтобы маршал Рыдз не выглядел рядом с ним лилипутом?

История была в духе «великосветских сплетен», и Адам подумал с презрением: мне бы ваши заботы!

■

На следующий день после завтрака (Зенек купил молока, поэтому был кофе, а к нему ветчина, мед, булочки) Хеленка объявила, что выйдет на часок-другой. Подвела глаза, поправила прическу.

— В город? — удивился Адам.— Зачем?

— Погляжу, что с поездами. И вообще...

Она уже была в дверях. В летнем костюмчике, такая стройная. Действительно ли она ждала ребенка? Махнула ему рукой на прощанье. В окно Адам видел, что Зенек проводил ее до калитки. День снова был жаркий, без единого облачка. С террасы был виден опустевший дом напротив за оградой, на дороге валялась большая кукла без головы и рук. Картина печальная и тревожная. Адам поднялся на второй этаж и, как всегда досадуя, уселся в кресло у балконной двери. Выдвинулся в тюремные надзиратели, подумал с горечью. Немец смахивал на тяжелобольного, избегал его взгляда. Удивляться нечему. Ему выпала плохая карта. Проигрывает. Вчера, проводив подхорунжего, Адам заперся в кабинете с Матулей и подробно расспросил его о той ночи. Как это было? Ну, темень да туман. Вдруг слышу, у берега что-то забултыхалось. И что было дальше? Ну, сделал я знак ребятам из патруля, чтобы на своих местах оставались, а сам — вперед. Кустарник там у воды, осока, до самой трясины, стало быть, дополз я. И чувствую, не зверь это куролесит. Что было дальше? Ну, туман да темень... А я слушаю, поскольку в такую ночь на ухо больше надежды, чем на глаза. И слышу, что кто-то бредет, стало быть, по трясине. В нашу сторону... Дальше, дальше? Матуля морщит лоб. Думаю я, не иначе — человек! Прикидываю, на меня выйдет или нет. Я кумекаю, а немец прямехонько на меня прет.— Послушайте, Матуля, теперь говорите точно, как было! Вы его задержали? — Ну, на меня вышел. А я вскочил и как учили...— Хорошо, хорошо, очень ли немец испугался? Искал ли он встречи с польским патрулем? — Наверно, очень испугался. Так мне думается. Любой бы испугался.— Как полагаете, Матуля, хотел он встретиться с нашим патрулем? — Где там. Немец бы захотел?..— А о чем вы тогда подумали? Не задались вопросом: зачем он так поступил? — Некогда было думать. Сразу надо было вести в штаб батальона.— Очень он был взволнован? — В темноте не разглядел. Каждый бы волновался, верно? Так или иначе, напомните, пан подпоручик, что я его изловил!

Сидя в глубоком кресле, Адам смотрел на Гохмана и ломал голову: чего ради этот человек перешел на нашу сторону? Раздумья в тревожной тишине тянулись долго, а потом Коссович и сам не заметил, как впервые здесь, в Белюне, вдруг уснул на дежурстве. Разбудили его голоса, доносившиеся снизу. Хеленка вернулась из города. И было это прекрасное и веселое пробуждение после снов, которые не запомнились, но настроили Адама необычайно радужно.

Тут же наверху появился незваный Матуля. Воистину порядок в их группе был идеальный! Смена караула прошла без единого лишнего слова. Немец даже не поднял головы.— Есть сегодня отказывается,— шепнул мимоходом Матуля.— А наш харч хороший, паненка — мастерица стряпать! Только ему не по вкусу.

На лестнице Адам глянул на часы и поразился. Он проспал больше трех часов.

— Я уже собиралась тебя позвать,— сказала при виде его Хелена. Она была заметно утомлена жарой, ночь, вчерашний вечер и переезд из Лодзи тоже давали о себе знать.

■

— Мы должны поговорить с глазу на глаз.

Зенек демонстративно восседал в открытых дверях виллы. Уж слишком он подчеркивал свое безразличие к чужим делам. Адам был уверен, что сержант подслушивает. Ушки на макушке, подумал

злорадно Коссович и закрыл за собой дверь кабинета. Хеленка, разгоряченная, сбросила жакетик и блузку. Когда сел рядом с ней, «унюхал» (это ее выражение, как и другое: ты, Адам, нюхальщик. Действительно, он всегда придавал большое значение запахам), итак, «унюхал» запах пота и японских духов.

— Как с поездами? — спросил Адам и поцеловал ее в плечо.

— Я не была на станции.— Хеленка смотрела прямо перед собой, сидела подчеркнуто выпрямившись.

— Где же так долго пропадала? — удивился он.

— Была у ксендза.— Только теперь Хеленка посмотрела ему в глаза. Покорно, раболепно.— Я договорилась о нашем венчании.

Адам хотел что-то сказать, но промолчал. Снова посидели молча.

— Я долго ждала ксендза. Очень симпатичный. Седой. Какой-то величественный.

— У меня здесь нет метрики,— сказал со вздохом Коссович.

— У меня тоже нет. Я сказала об этом ксендзу.

— А затребовать телеграммой невозможно... На почте несусветный балаган.

— О господи! Адам! Кто теперь обращает внимание на формальности! Ксендз сказал, что освободится только завтра во второй половине дня. Сегодня освящает какие-то дары для армии рабочих здешнего сахарного завода. Потом венчает мобилизованных с повестками, которые уже выезжают. И крестит новорожденных, ведь отцам хочется при сем присутствовать. Викарий уже мобилизован. Я договорилась с ксендзом на завтра. На восемь часов вечера.

— А свидетели? — задумался Коссович.— Зенек и Матуля? Им нельзя отлучаться.

— Свидетелей беру на себя! — отрезала Хеленка.

— Завтра. В двадцать ноль-ноль,— капитулировал Адам.— Но с условием, что потом вернешься в Лодзь. А оттуда — домой.

— Дурачок! После венчания вернемся сюда на ночь,— заявила Хеленка.— А послезавтра, даю тебе слово, существовать буду только для него.

Она взяла руку Адама и положила ее на свой еще плоский живот.

— Буду думать о тебе и заботиться о нем,— сказала она и, разумеется, расплакалась.— Буду мужественной,— всхлипнула она, и ее слезы, черные от туши, закапали ему на рубашку.— Война! Что вынуждает людей делать такие вещи? И почему они не хотят быть попросту счастливыми?

— Министр иностранных дел Бек утверждает, что войны не будет,— сказал Адам.— В конфиденциальных беседах. А уж он, надо думать, информирован лучше всех. Гитлер только играет у нас на нервах.

— А женщины плачут,— добавила Хеленка. Она кротко позволила осушить себе слезы, размазать по щекам черные потеки.

Несмотря на усталость и отчаянное настроение, она постаралась, и обед в тот день был действительно отменный: суп рисовый с помидорами, зразы по-польски, груша в сиропе. Адам украдкой наблюдал, как Зенек угождает Хеленке, как старается угадать по глазам любую ее блажь. А его топорные комплименты? А куртуазность свыше всякой меры? К чему бы это? — доискивался Адам, пока шило само не вылезло из мешка. На пороге виллы Хеленка что-то растолковывала Зенеку.— Будет полный порядок,— заверил он.— Через час вернусь.

Адам стоял на дорожке, докуривая послеобеденную сигарету. Посторонился, чтобы пропустить Зенека, но сержант замедлил шаг, оглянулся. Хеленки уже не было в дверях.

— Вам не обязательно, пан подпоручик, дежурить возле этого типа вместе с нами. Справимся вдвоем с Матулей.

— А это почему же?

— Вы начальник, а мы здесь для того, чтобы выполнять приказы.— Зенек улыбнулся.— Раз уж приехала панна Хелена...

— И дальше будем дежурить втроем,— рассудил Коссович.

— Воля ваша, пан подпоручик,— сказал Зенек.— Я ведь от души...

— Весьма благодарен,— буркнул Адам.— Что еще?

— Вам немец в новинку, а мне, откровенно говоря, плевать на этого немца,— сказал Зенек.— Не стоит слишком волноваться из-за него... Наше дело — нести охрану. Как говорил Дед. То есть, извиняюсь, полковник.

— И что же из этого? — спросил Коссович.

— Это уже конец каникулам, пан подпоручик,— сказал Зенек.— Будет война, нет ли, вы теперь не с одним немцем столкнетесь. Из-за какого-то фрица в такое прекрасное время такую женщину, как панна Хеля, забывать...

Коссович вдруг почувствовал, что злость его улетучивается.

— Знаешь что, Зенек, поговорим как мужчина с мужчиной. Куда ты, собственно, гнешь?

— Я? Вы подозреваете, что я корысти ради?

— Мы уже немного знаем друг друга. Итак, говори смело! Чего хочешь? Ведь я вижу, как пляшешь вокруг панны Лось. С первой же минуты, как сюда приехала.

— Не верите, что я от всего сердца?

— Сердце сердцем, а корысть корыстью. Скажешь или я должен тянуть тебя за язык?

С минуту молчали, наконец Зенек заставил себя рассмеяться:

— Вы лучше, чем можно было подумать И в самый раз для нашей работы. А я, ей-ей, от всего сердца, но маленькая корысть тоже имеется.

— Валяй смело!

— Не знаю, как начать.

— Я помогу тебе,— сказал Коссович.— Речь идет о полковнике Лосе?

— О боже! — простонал Зенек и забавно закатил глаза.— Хотя бы одно словечко панна Хеля замолвила. Одно-единственное!

— Какое словечко?

— Чтобы меня перевели в какой-нибудь полк.— Зенека залихорадило, и он понизил голос до нервного шепота: — Вы понимаете? Дед уже довел меня до ручки! Собачья жизнь, он бы любого заездил. Зануда и привередливый. А в полку показать себя можно. Самостоятельная работа. А если что-нибудь начнется? Сами понимаете, пан подпоручик! Не то что Деда охранять. Я, боже избави, ничего против полковника не имею. Попросту, как говорится, у живого человека к живому делу душа лежит, верно? Одного словечка панны Хели будет достаточно. Ведь все зависит от полковника Лося.

— Надо было сразу так говорить.

— Смелости не хватало.

— Такой робкий? А по пьянке с грязью меня смешал.

— Не держите зла, пан подпоручик,— простонал Зенек.— Может, на коленях попросить прощения?

Он удалился сгорбившись, снедаемый сомнением относительно того, как поступит Коссович. На первом этаже они остались вдвоем, и Хелена сочла, что пора приступить к расспросам.

— Скажи, дорогой,— она вынула из рук Адама книгу и села так близко, что он почувствовал тепло ее бедра.— скажи, что это за история с немцем, которого вы держите на втором этаже под усиленной охраной?

— А откуда ты вообще взяла, что там есть какой-то немец? Я запретил ребятам...

— О боже, какой педант,— вздохнула Хеленка.— Кажется, человек умный, а еще не понял, что в Польше не бывает тайн.

— Я потолкую об этом и с Зенеком, и с Матулей,— проговорил Адам угрожающе.

— Мой дядя всегда утверждал, что именно штатские становятся самыми ревностными служаками, когда их призывают в армию. Пожалуй, это правда...

— Сто раз тебе говорил, что меня мало интересуют мнения твоего великого дядюшки.

— Ладно. Так что же это за история с немцем? Без тебя знаю, что он солдат и перешел на нашу сторону. Почему же вы с ним так обращаетесь? И делаете из этого какую-то псевдотайну?

— Псевдо?

— Конечно. По всему Белюню слух идет. А вы священнодействуете. Впрочем, какое мне дело.

Она рассмеялась. И слово за словом выведала у Коссовича почти все.

■

Ночью они мечтали о купании в реке нагишом — какая жалость, что ванная на втором этаже, вздыхала Хеленка, кожаный диван попросту обжигал и, как выяснилось, не был слишком удобным ложем для двоих. Наконец Адаму вспомнилась его лодзинская уловка, и он, как у пани Розенблатт, перебрался на пол, к окну, где немного продувало, сбежав от уже крепко уснувшей Хеленки. От ее жаркой груди, которая припекала ему спину.

Но уснуть не мог. Прислушивался. За окном стояла насыщенная звуками тишина, стрекотали цикады, просвистел вдали паровоз, выла собака. Ближе к саду тишина как бы сделалась гуще. Словно притаилась. Адам глянул в сумрак кабинета: едва вырисовывались контуры мебели, более светлым пятном выделялась фигура Хеленки на диване. Мои вещи лежат слишком далеко, прикинул он и прошел на цыпочках через комнату, сгреб мундир со стула, отыскал на ощупь поясной ремень с пистолетом.

И вдруг услышал совершенно отчетливо: за окном кто-то осторожно пробирался по дорожке.

Адам выхватил пистолет из кобуры, бросился к окну. Приоткрыл занавеску. Ночь была светлой, и он сразу увидел силуэт человека, который, пригнувшись, перебегал дорожку. Крикнул: — Стой, стой, стреляю! — Тут же сверху, с террасы, грохнул в тишине — точно пушка — пистолет Зенека. Адам, прицелившись в тень на дорожке, нажал спусковой крючок, но выстрела не последовало. Какого черта разряжал, выругал себя, рванул кожух пистолета назад, загнал патрон в канал ствола. Зенек выстрелил сверху еще дважды, прежде чем он произвел первый выстрел. В одних трусах выскочил в холл, куда уже сбежал по лестнице Матуля.

— Зенек наверху! — крикнул капрал.— Мне приказано...

— Останься здесь!

Коссович открыл входную дверь. Из глубины сада, от калитки, кто-то выстрелил, пуля облупила штукатурку над головой Адама — я голый, прекрасная мишень, сообразил он, прыгнул за дверь, выстрелил два раза. С террасы, сверху, палил Зенек; эхо стрельбы прокатилось по местечку, поблизости залаяли собаки.

И вот уже только лай нарушал безмолвие ночи.

— Матуля! — позвал Зенек.

— Возвращайтесь наверх! — приказал капралу Коссович. Вбежал в кабинет. Перепуганная Хеленка сидела на диване нагишом, прикрываясь простыней. Включила ночничок.

— Пресвятая дева! Что это было?

— Погаси лампу! Сейчас проверим.

— Боже милостивый! Не выходи.

Адам торопливо оделся. В холле ждал Зенек с карманным фонариком, отбрасывавшим на пол кружок света.

— Ну? — сказал Коссович.— И что теперь?

— Пойду погляжу к калитке.

— Пошли вместе.

— Нет. Прикрывайте меня и охраняйте вход в виллу.

Зенек погасил фонарик, открыл дверь и юркнул в темноту. Адам вышел следом, оперся о притолоку с пистолетом в руке, там, где стоял минуту назад. Пальцами левой руки нащупал на стене след от пули. Чуть промахнулся...

Блеснул фонарик Зенека, маленький кружок света обшарил дорожку, штакетник, железную калитку, потом скользнул вверх — по ветвям яблонь и слив — и снова по земле, по кустикам клубники, клумбам, грядкам.

— У калитки кровь. Кто-то из нас подранил гада,— сообщил Зенек, вернувшись к дверям.

— Кто это был?

— Черт знает... Может, воры?

— А может, не воры? Стреляли. В меня,— сказал не без гордости Адам.— Есть след, тут, над головой.

— Завтра осмотрим,— сказал Зенек.— Лучше войдем в помещение. По-моему, больше никто не сунется. Получили по заслугам. Но собака бы нам пригодилась.

Немного постояли в темном холле, прямоугольник двери, выходившей в сад, фосфоресцировал лунным светом.

— Ты когда услыхал?

— Когда кто-то полез через загородку. Но заметил гада только на дорожке, почти у дома.

— Как и я,— похвастался Адам.— Как думаешь, связано ли это с нашим немцем?

— Черт его знает. Скорее какой-нибудь бандюга. Может, узнал, что вилла пустая, Задке уехал...

Хеленка в темном кабинете уже плакала, стуча зубами от страха. Коссович сел рядом, почувствовал, как она дрожит, обнял ее.

— Чего испугалась? Нас трое, все вооружены. Это, вероятно, какой-нибудь воришка. Темные личности пользуются теперешним балаганом.

— Я... я... не знаю...— пролепетала Хелена.— Мне страшно, Адам! Я очень боюсь!

— Что ты говоришь? — сказал он мягко.— Постарайся взять себя в руки!

— Это свыше моих сил.

— Мы его прогнали. Жаль, что не видела, как удирал. И теперь ни он, ни его дружки не посмеют вернуться.

— Но я не этого испугалась. Я боюсь... Сама не знаю чего, Адам! У меня дурные предчувствия.

■

На рассвете Адам внимательно осмотрел следы крови у калитки. Постоял над ними, раздумывая, имеет ли нападение какую-либо связь с немцем, и вдруг разозлился, носком сапога разгреб песок, решил, что следует, разумеется, днем и ночью держать ухо востро, но не стоит драматизировать. Через местечко катится людской поток, сотни, может тысячи, резервистов, и не удивительно, что каким-то проходимцам вздумалось в этой обстановке попытать счастье.

В девять часов у калитки появился полицейский в сопровождении штатского. К ним вышел Зенек и быстро их спровадил.

— Спрашивали о стрельбе,— докладывал он Адаму о переговорах с гостями.— Я сказал, что сами справимся, поскольку он предлагал выставить пост на ночь. К чему? Чтобы было больше разговоров?

— Правильно,— согласился Коссович, которого неизвестно почему распирало от гордости после боевого крещения.— Сами справимся.

— Вчера ночью совершена кража со взломом в помещении «Стрелка». Похищено двадцать пять винтовок. Старых «Манлихеров».

— Немцы?

— А кто же еще?

Потом, словно по уговору, они уже никогда больше не вспоминали о ночном происшествии. Зенек снова отправился в город, то ли на разведку, то ли за покупками. По возвращении заметил вскользь, что можно бы при желании выменять бумажные деньги на серебряные. Мол, все так делают. Серебро, как говорится, всегда серебро. Адам притворился, будто не понимает, что предложение это адресовано ему.

Тогда Зенек переменил тему, принялся рассказывать, что видел несколько повозок с арестованными. Под охраной полицейских. С немцами, у которых было найдено оружие, как объяснили конвоиры. И с задержанными «на всякий случай» местными коммунистами, давно известными полиции.

— Красным всегда до всего дело, чего бы ни творилось на свете,— продолжал Зенек с кривой усмешкой.— Теперь их засадят вместе с немцами. С гитлеровцами. А известно, как они любят друг друга...

Воздух, как перед грозой, был насыщен томительным ожиданием, сгущалась зловещая атмосфера. Долго ли мне еще сидеть тут с этим немцем? — досадовал Адам. Хеленка была занята своими делами: готовила им очередной кулинарный сюрприз, потом загорала на топчане за домом. Адам испытывал желание побыть в одиночестве и поразмыслить. Отправляясь на очередной тет-а-тет с Гохманом, он неожиданно для самого себя принял решение:

— Напишите еще раз свое письмо.

— Зачем?

— Боюсь, что отправленное не дойдет до адресата. Надеюсь, вы понимаете: ситуация такова, что почта может работать с перебоями.

Гохман взглянул испытующе и, не говоря ни слова, принялся за письмо. И тут опять что-то встревожило Коссовича. Ибо сочинение письма — как это ни странно — и на сей раз подвигалось у немца со скрипом. Под неусыпным наблюдением Коссовича он несколько раз принимался сызнова. Что это? Обычный педантизм? Или Гохман воспроизводит письмо слово в слово? Лишь перед самым окончанием дежурства немец вручил Адаму как бы дубликат первого послания. Коссович спрятал его в карман. Потом в кабинете внимательно прочел. И что-то в этом письме ему не понравилось.

— Не знаю, что и делать с этой штуковиной,— говорил он позже Хеленке. Коссович счел, что меры по обеспечению секретности, о соблюдении которых он доселе заботился, после нападения действительно утратили всякий смысл.— Видишь, как это сложно,— растолковывал он.— Я предложил ему написать еще раз. А когда прочел, встревожился. Представь себе, что письмо, которое написано сегодня, является дословным повторением первого.

— Неужели даже сейчас нет для тебя ничего важнее?

— Но что означает совершенно дословное повторение? По-моему, всего, вплоть до порядка слов. Может, письмо зашифровано?

— Так не отправляй его. Не надоело тебе вечно все усложнять?

■

У калитки в клубах оседающей пыли остановился штабной «козел» — польский «фиат». Водитель прерывисто просигналил, с переднего сиденья неуклюже слез полковник Клён-Савицкий. Увидав его из окна виллы, Адам порадовался, что, поссорившись минуту назад с Хеленкой, запретил ей появляться в саду. Ведь Клён мог бы ее уви-

деть, и как бы с ним тогда пришлось объясняться? О господи! Хоть бы уж это был конец карантина!

Коссович едва узнавал своего начальника: Клён был увешан полевыми сумками, биноклем, пистолетом. Адам неловко и долго манипулировал ключом, чувствуя на себе взгляды полковника и восседавших истуканами на заднем сиденье «козла» незнакомых ему поручика и капитана. Наконец, открыв калитку, начал докладывать.

— Ладно, ладно! — прервал его Клён и махнул рукой.— Нет времени, мне чертовски некогда.

Он шагал с деланной молодцеватостью, демонстрируя свои тощие, кривые уланские ноги в нелепых новеньких обмотках. Что за маскарад, удивился Адам, взбегая следом за ним по лестнице. И подумал испуганно: только бы Дед не наткнулся на Хеленку!

Но опасения были излишни, полковник шел прямехонько к лестнице, ведущей на второй этаж.

— Он все еще наверху? — осведомился Клён, не понижая зычного голоса.

— Так точно.

Когда вошли в спальню, Гохман, развалившись на своем великолепном ложе, снова читал старую лодзинскую газету. Матуля, сидя у окна на краешке кресла, настороженно дожидался появления офицеров и, едва полковник переступил порог, вскочил, вытянулся в струнку и начал докладывать. Но и его Клён не пожелал слушать. Только махнул рукой и, не сняв пилотки, стал в ногах кровати.

Немец неторопливо сел. Аккуратно сложил газету и только потом поднялся: высокая худощавая фигура, черные брюки, босые ступни, белая рубашка с отстегнутым воротничком. И роскошные, пестрые, такие же, как и у Зенека, подтяжки. Поклонился сухо и неловко.

Полковник не ответил на поклон. Некоторое время присматривался к немцу.

— Ну как, господин Гохман,— спросил наконец приглушенным, деланно безразличным голосом.— Как себя чувствуете?

Немец сделал неопределенный жест сухой, узкой рукой.

— Не удивляюсь, нисколько не удивляюсь! — произнес Клён с певучим венским акцентом.— Пожалуй, и я чувствовал бы себя неважно на вашем месте.

Он подался вперед, держась обеими руками за спинку кровати, и продолжал все более язвительным тоном:

— Ну и как теперь расценивать ваше сенсационное сообщение? А?

— Не понимаю,— буркнул Гохман.— Однако...

— Разумеется,— перебил его полковник.— Но куда деть факты — вещь упрямую? А? Что вы о них думаете?

— Я прихожу к выводу, что, возможно, был умышленно введен в заблуждение.

— Значит, вы полагаете, что речь шла о том, чтобы ввести нас в заблуждение?

— Возможно...— согласился Гохман,— в известной мере.

С минуту тянулась неприятная пауза, затем немец сказал:

— Я еще раз прошу связать меня с нашей общественностью.

— А именно? Какую общественность вы имеете в виду?

— Центр политэмигрантов из рейха. Ведь таковой имеется в Польше? Кажется, в Катовице?

— Вы желаете установить с ним контакт?

— Я уже говорил вам.

— И вы в этом очень заинтересованы?

— Разве это удивительно?

— Подумаем,— проворчал Клён.— Подумаем и взвесим.— Его озабоченное лицо снова покрылось мелкими морщинками. Он резко

отвернулся, взглянул исподлобья на Коссовича, потом на Матулю, пробурчал: — Вот так, мои дорогие! — и двинулся к выходу. Уже в дверях вдруг остановился и бросил через плечо последний вопрос, на сей раз разгневанно и громко:

— Господин Гохман, почему во время нашей первой беседы вы скрыли свою принадлежность к НСДАП?

Немец побледнел, выпрямился и зашевелил губами, словно собираясь ответить. Полковник ждал. Прошла минута.

— Просто мое тогдашнее состояние...

Клён смотрел на него, криво усмехаясь.

— Сомнительно, чтобы в этой ситуации эмигранты из рейха согласились... Впрочем, ладно. Пошли, подпоручик.

Коссович последовал за ним, оставив Гохмана на попечение Матули. Полковник, словно избавившись от тяжелой ноши, сбежал по лестнице с юношеской живостью. Он помнил дорогу и в кабинет, без подсказки направился туда, бросил на стол пилотку и планшет, принялся в нем рыться. Вытащил сложенную вчетверо немецкую газету, развернул и расправил ее огромную страницу.

— Неприятное дело. Любопытное, но какое-то мерзкое,— сказал Клён-Савицкий, стараясь сохранить деловой тон.— Взгляните-ка, подпоручик.

На последней полосе газеты кто-то красным карандашом нарисовал большой круг. Но и без того в глаза бросился некролог, напечатанный жирным шрифтом. Адам склонился над столом и прочел: «26 августа 1939 года погиб, выполняя долг немца и солдата, наш светлой памяти друг и товарищ Эрнст Гохман, о чем извещает погруженная в траур его первичная организация НСДАП».

— Этим все объясняется,— нарушил молчание полковник.— Но есть кое-что еще. Нам удалось перехватить шифровку, что в районе Брашки перешел границу их человек. И необходимо перебросить его в Катовице.

Коссович еще раз прочел некролог.

— Признаться, я по-прежнему ничего не понимаю...— проговорил он растерянно.

— А что ж тут понимать? Все ясно как божий день. Налицо попытка внедриться в среду немецких эмигрантов. Вы заметили, как Гохман заинтересован в установлении контактов с ними?

Коссович разгладил рукой измятую газетную полосу и сказал, не отрывая глаз от обведенного красным кругом некролога.

— И все же, пан полковник, я кое в чем сомневаюсь.

— Все еще? Слушаю вас,— сказал Клён, не скрывая раздражения.

— Во-первых, разве немцы, подбрасывая нам агента, поместили бы в прессе этот некролог?

— О! — протянул Клён.— Порой правая рука не ведает, что творит левая. НСДАП? Абвер? Может, чего-то не согласовали. Кто знает?

— А во-вторых, наблюдая за этим человеком, я порой приходил к выводу, что это действительно идеалист. Один из тех, кто никогда не откажется от своих воззрений.

— Возможно. Именно такими и бывают гитлеровцы.

— Я не это имел в виду. Мне кажется, он по-настоящему ненавидит Гитлера...

— Вы доложили о своих сомнениях,— сердито перебил Клён.— Теперь извольте выслушать приказ. Еще сегодня вы доставите Гохмана в Брашку. Сдадите командиру батальона, тому самому, у которого мы принимали немца. Майор, как его... получит соответствующие указания. Согласно распоряжению министра внутренних дел, касающемуся лиц, нелегально переходящих границу, Гохман, или как там его, будет передан представителю отдела безопасности погра-

ничной охраны. Мы, военные, кончаем заниматься этим делом. А вы возвращаетесь в Лодзь. Это все. Вам понятно?

— Так точно,— тихо ответил Коссович.

— Мы кончаем игру. Немец должен быть в Брашке. Еще сегодня вечером. Понятно?

— Так точно!

— Собственно, у меня все. Разве что у вас, боже избави, имеются еще какие-нибудь вопросы?

Коссович не без труда набрался смелости:

— Позволяют ли известные нам факты утверждать однозначно, что он агент-провокатор?

— Эх, Коссович, Коссович,— вздохнул полковник и деланно улыбнулся.— Все это игра, несомненная попытка нас запутать. Я сразу почуял, откуда ветер дует...

— Но если немецкие газеты сообщили о его смерти...

— Что ж из этого следует?

— Значит, если немецкая печать опубликовала заведомо ложные сведения...

— Да где тут ложь? Я говорил вам, что немцы — мастера игры. Надо ли еще раз напоминать вам условия нашего союза с Францией и Англией, предусматривающие, что мы не будем провоцировать Гитлера концентрацией войск на границе? Между тем абвер в этой игре стремился как раз к тому, чтобы в ночь на двадцать шестое августа мы осуществили хотя бы на одном участке какую-нибудь перегруппировку. Чтобы демаскировали свои позиции. И кто его знает, к чему еще? Сейчас некогда забавляться разгадыванием головоломок. Завтра утром мы официально разоблачим эту ложь. Прошу лишь четко выполнять приказы.

— Еще один вопрос, пан полковник,— Коссович не уступал.— Что установлено нашим отделом дешифровки?

— Вы о чем?

— Относительно письма Гохмана...

Клён немного помолчал, потом раздраженно отмахнулся.

— Эх, совершенно запамятовал о нем. Впрочем, это уже не имеет никакого значения.— Он поморщился, заставил себя кое-как улыбнуться и бросил на прощание: — Выше голову. Кризис уже достиг кульминации и даже перевалил за предельную черту. Внешнеполитические акции наших союзников, наступательная тактика их дипломатии, ну и наша твердая позиция... Словом, Гитлер еще не встречал такого противодействия. И начинает колебаться. Гитлер — игрок, привыкший блефовать. Вы понимаете? А тут Англия нажимает, Франция в полной готовности.

Полковник вытер платком взмокшую шею. Газету сложил осторожно, с пиететом.

— Мы, разумеется, войны не боимся. Но чему быть, того не миновать,— сказал он со вздохом.— Между прочим, прелюбопытно было бы поглядеть, какие мины будут завтра у немчуры в Брашке, на пограничном мосту? Вот будет умора. Хотелось бы посмотреть. Но никому из нас нельзя при этом присутствовать. Понимаете, подпоручик? Мы спускаем это событие на тормозах. Так, маленькое локальное торжество. И абсолютно гражданское. Военные к нему отношения не имеют...

Коссович, понурясь, с головой, идущей кругом, постоял возле калитки, подождал, пока осядет облако пыли и «козел» исчезнет за поворотом. Повернул к вилле. Согласно распоряжению министра внутренних дел! — думал он с тяжелым сердцем. Это значит, что Гохман будет передан немцам. А вдруг, вопреки всему, это один из праведников?

На ступеньках у входа стоял Зенек — над головой его поблескивала медная дощечка с надписью: «Инженер-строитель Генрих Зад-

ке». Сержант снова преобразился в штатского — разве что в бриджах: пестрые носки, лакированные домашние туфли (где он только их выкопал?), белая шелковая рубашка, на фоне которой так броско выделяются его подтяжки павлиньей расцветки.

— Одевайся,— сказал Коссович,— ступай в город, лопни, а реквизируй для нас какую-нибудь машину.

Он уже научился отдавать распоряжения именно таким тоном.

— Машину? — сержант надул щеки и оттянул большими пальцами подтяжки.— Ну и ну,— это было произнесено крайне презрительно.— Все пять машин, какие были в округе, уже мобилизованы...

— Меня это не волнует,— сказал Коссович.— Бери за бока старосту, полицию, даже ксендза, если это тебе поможет. Но возвращайся с машиной.

— Будем дальше нянчиться с немцем? — спросил вполголоса Зенек.— Черт побери, до чего же мы мягкотелый народ!

— Еще будешь разговаривать?

— А вы все переживаете из-за этого немца?

— Марш в город! — рявкнул Коссович.

— Интересно, немцы бы очень переживали?..

Адам вспыхнул, а потом тихо произнес:

— Дело в том, что мы...— тут он показал пальцем на второй этаж.— Может, как раз он тот единственный...

— Верьте в чудеса! — Зенек фыркнул, как кошка. Сказал еще что-то, но Коссович уже не слушал его. Вошел в столовую, здесь было прохладно, в открытых дверях кухни ждала Хелена, как обычно в купальном костюме. На лице ее отражалась тревога.

— Уехали? Чего хотели от тебя? — спросила она вполголоса. Снова все в этом доме говорили вполголоса, все погружались в какую-то таинственность. Коссович тяжело сел, расстегнул мундир, забарабанил пальцами по крышке стола.

— Поди сюда, Хелька...

Она послушно приблизилась и сразу же разволновалась.

— Что это значит, Адам? — спросила не своим голосом.— Случилось что-нибудь плохое?

Коссович не смотрел ей в глаза. Вдруг ему показалось, что решение начальства, внешне касающееся лишь Гохмана, по каким-то еще непостижимым причинам бросило тень и на их частные, личные дела.

— Послушай, милая,— сказал он.— Я получил новый приказ. Мы реквизируем машину, если удастся и таковая найдется. И все, разумеется кроме тебя, должны будем на некоторое время уехать. И я не хочу, чтобы ты здесь, в этой вилле, оставалась одна. Впрочем, это и невозможно. Следовательно, надо тебе, пожалуй, возвратиться в Лодзь. Может, поездом?

— А ты?

— Я? Я получил приказ срочно явиться в штаб. Как можно быстрее. Скоро там буду. В самом деле.

Однако в голосе Адама проскользнула нотка, которая его выдала, и Хеленка, еще более напуганная, наклонилась к нему.

— А ксендз? Я же с ним договорилась! Адам, опять ерунда получается. Мы же все подготовили...

— Что поделаешь, милая! — вспылил он.— Разве я выдумал эти осложнения?

— Может, сходим сейчас в костел?

— О господи! — воскликнул он.— Неужели ты ничего не понимаешь? Как ты себе это представляешь? Неужели я оставлю здесь немца и отправлюсь в храм божий? Или взять его с собой, пусть будет нашим свидетелем?

— Если бы ты действительно хотел...

Он бросил красноречивый взгляд на потолок и тут же опустил глаза, но Хеленка все поняла.

— Повезете его? — спросила шепотом.

Он пожал плечами. Встал, принялся нервно прохаживаться между черными гданьскими стульями.

— Боже милосердный, страшно подумать! — сказала Хелена.

— Немцы ловко это разыграли. Втянули нас.

— А может, вы дали себя втянуть?

— Он состоит в НСДАП.

— Сам признался?

— Сначала скрыл. Потом признался. Утверждает, что его вынудили.

— Может, стыдился это сказать?

— Не знаю! Не знаю! Не знаю! — Адам совершенно напрасно вскипел.— Может, это шпион. А может, единственный праведник. Не знаю. И не обязан знать. Я крошечный винтик в гигантском механизме. Я обязан выполнять приказы. Неужели не понимаешь?

— Понимаю, конечно, понимаю. Больше, чем тебе кажется,— сказала она, подошла сзади и погладила его по голове.— Во всяком случае я отсюда — ни шагу. Подожду тут. По крайней мере не разминемся. Вы можете ехать назад через Белюнь. А в Лодзь я бы все равно не попала. Знаешь, что творится на станции? Автобусы тоже не ходят. Сам слышал.

Так они договорились, а потом в полутьме столовой долго сидели молча среди изваянных в черном дубе сцен из «Нибелунгов». Каждый думал о своем, словно вдруг что-то между ними разладилось. Адама донимала мысль о том, что произойдет вскоре там, на мосту в Брашке. А если мы совершаем ошибку? Я начитался Арнольда Цвейга, его споров об унтере Грише! Чувствовал, что это несерьезно, не по-мужски, повторял слова Клёна-Савицкого: справедливость в годину войны видоизменяется и служит иным, нежели обычно, целям. Но верно ли это, думал он, ведь существует же глубочайшее и бесхитростное чувство справедливости. Что-то является либо добром, либо злом. Почему именно меня черти втравили в эту историю?

Через два с лишним часа к вилле подъехал автомобиль. Затрубил сигнал.

Это был Зенек, торжествующий, поскольку справился и с этой, совершенно неосуществимой миссией и каким-то чудом раздобыл полуторку, на правом борту которой красовалась надпись: «Рышард Гегель, купля, продажа...» Чем торговал Рышард Гегель, трудно было дознаться, ибо остальную часть надписи прикрывали плакаты, призывающие жертвовать в фонд национальной обороны. Но даже эта полуторка, потрепанная и не внушающая доверия, была в Белюне великолепной добычей.

За баранкой сидел какой-то толстяк в расхлестанном мундире, с багровой физиономией любителя пива. Зенек выскочил из кабины, вбежал в сад и, сложив ладони рупором, выкрикнул:

— Можем ехать!

В спальне, весь осыпанный солнечными бликами, просеянными сквозь занавеску, сладко спал Матуля в глубоком кресле у окна. А Гохман уже облачался в свой отвратительный синий костюм. Как он догадался, что ему предстоит путешествие?

— Мы должны ехать? — спросил он, когда Коссович встал в дверях. Адам не ответил, обратился к Матуле, который проснулся перепуганный, как после зловещего сна.

— Собирайтесь побыстрее, — приказал Коссович. — Берите все вещи. Через пять минут выезжаем.

— Слушаюсь! — гаркнул исполненный усердия капрал. Он струхнул, ведь подпоручик застал его спящим — как бы там ни было — на боевом посту, и с подчеркнутой торопливостью бросился из спальни за ранцем.

Гохман держал в руках галстук, купленный Зенеком в Брашке,

последний крик моды, и поглядывал на него в нерешительности. Теперь, когда он был гладко выбрит, умыт, в чистой белой рубашке, стало еще заметнее, до чего же лицо его почернело, щеки запали, а глаза горят лихорадочным блеском. Гохман решил не повязывать галстук, сунул его в карман. Взглянул на Коссовича, который продолжал стоять в дверях. И задал вопрос — не прямо:

— Похоже, что по моему делу принято наконец решение. Вам что-либо известно об этом? Можете что-нибудь мне сообщить?

— Я должен доставить вас в тот городок, откуда брал.

Немец взглянул ошеломленно, на лице его отразился страх.

— Что это значит? Что за этим кроется?

Адаму это дорого стоило, но он выдержал его взгляд.

— Должен ли я ожидать наихудшего? — очень тихо спросил Гохман.— Запомните, пожалуйста. Я никогда не буду жалеть о содеянном.— Сказав это, он заволновался: — Эти чудовища, Гитлер и его приспешники... они обрекли себя на эту войну. Их ограниченность, их мораль хищников...— Он не договорил, наклонился за чемоданом.— Я готов.

Эпилог

Хелена стояла в дверях виллы, низкое, заходящее солнце золотило ее волосы, эффектно подсвечивало загорелые ноги и руку, которой она махала им вслед. Адаму она показалась красивой как никогда. К счастью, с улицы, из кабины «форда», не было видно выражения ее лица. Поэтому ему могло казаться, что она улыбнулась и что это обыкновенное расставание.

Было пять часов пополудни. Поездка в Брашку и назад должна была занять не более двух часов. Условились, что через два часа Хелена спустится в местечко и подождет его возле костела. Когда вернутся — жаль, что Матуля останется в Брашке, они привыкли к нему, и Адам охотно пригласил бы его вторым свидетелем,— состоится процедура бракосочетания, укороченная по договоренности с ксендзом, как в военное время. Хотя войны еще не было.

Коссович ждал в кабине, пока Гохман и Зенек с Матулей взгромоздятся в кузов полуторки с доской-скамейкой. Вся эта команда выглядела чудно и даже подозрительно. Нас запросто могут принять за переодетых диверсантов, подумал Адам и крикнул: — А теперь вперед! — Водитель, из недавно мобилизованных, замызганный, как и его машина, и неустанно бранящийся, включил мотор. Поехали.

— Как долго ехать до Брашки? — поинтересовался Коссович.

Водитель дергал ручку переключения скоростей, шестеренки скрежетали упрямо и жалобно.— Долго ли? — взбеленился он.— Одному богу известно! Я собирался ставить эту колымагу на капитальный ремонт, а ее реквизировали. Предупреждал, что не годится, так меня же еще заподозрили...

Водитель не договорил, как бы снова задетый проявленным к нему недоверием. Адам искоса взглянул на багровую физиономию толстяка, от которого разило пивом и потом. И ему расхотелось продолжать разговор.

Он надеялся, что поездка — всего двадцать километров — не будет длительной. О других вариантах не допускал и мысли: боялся.

Двигались строго на запад, к снижающемуся над лесами диску солнца, волоча за собой громадную тучу известковой пыли. Машина была при последнем издыхании, застревала у любой горки. Пассажиры, кроме Гохмана, выпрыгивали из кузова на песчаную дорогу, из кабины вылезал Адам. Древний «форд» приходилось подталкивать, пот заливал глаза, пыль оседала на мундирах, лицах, волосах. У Зенека забавно побелели брови, точно он невзначай поседел. Адам отплевывался грязью, которая забивала рот. На гребне небольшой высотки, измочаленные, они вскакивали на свои места. «Форд» бес-

шабашно набирал скорость. И вдруг спускал баллон. Барахлил карбюратор. Садился аккумулятор... Останавливались часто, и перерывы в движении невозможно было предотвратить. Зенек бесился и препирался с шофером. Адам помалкивал, понимая, что перебранка бессмысленна. Им овладевало отчаянье, и он не осмеливался взглянуть на часы. Кроме того, было стыдно перед немцем. То и дело вспоминалось оскорбительное «polnische Wirtschaft»[1]. Впрочем, не только поэтому избегал встречаться глазами с Гохманом, который выглядел тяжелобольным. С наступлением темноты при очередной поломке Адам светил карманным фонариком в открытую пасть капота. К счастью, о фонарике он не забыл. Купил его в Белюне. Из-за этих иллюминаций им все чаще приходилось предъявлять документы и объясняться с полевой жандармерией, патрулями воинских частей, затаившихся в лесах, и головными дозорами пехоты, которая совершала марш-броски. Сколько тут было теперь войск! Вся пограничная полоса превратилась в район концентрации. Мы этих дней не тратили понапрасну, думал Адам без особой радости.

Последние пять километров автомобиль тянула пара гнедых, выклянченная у какого-то интенданта. Ездовой, капрал-обозник, восседал на капоте, как на облучке, понукая раскормленных лошадок, громко щелкая кнутом, и во все более крепких выражениях требовал, чтобы шофер тормозил на спусках, иначе лошади переломают ноги. Усталый Адам сидел в кабине и любой ценой старался не пасть духом. Надо думать о чем-то приятном! Наконец ему удалось вызвать воспоминание о последних именинах Хеленки: двадцать второго мая они отправились в Бжуховицы, да как шикарно! В нанятом на целый день такси, новеньком «шевроле». В Стрыйском парке цвели магнолии, Хеленка вздыхала: «Господи, какая красота будет за городом!» Действительно, весна творила чудеса, в Бжуховицах на южных склонах гор распускалась сирень и черемуха. В знакомом трактире они ели цыплят и салат из свежих огурцов со сметаной. Запивали мозельским. Хеленка нечаянно опрокинула полный бокал на жестко накрахмаленную скатерть. На десерт был торт, кофе и фирменная наливка из черешни. Адам преподнес Хеленке изящную серебряную пудреницу, купленную у ювелира в пассаже Андреолли. На склоне дня, ласкавшего весенним теплом, среди развалин древнего форта, они вспугивали ящериц, которые грелись на кучах щебня. Ящерки тоже смахивали на ювелирные изделия. У Адама они, конечно, ассоциировались с золотыми змейками из рассказа Э.Т.А.Г.

До чего же я был тогда счастлив, беззаботен, верил, что повезет во всем, удивлялся он теперь. Словно ничего плохого с ним никогда не могло случиться. От этой горькой мысли воспоминание потускнело, исчез солнечный образ Хеленки, с жадностью объедавшей ножку цыпленка. Тщетно попытался он припомнить, о чем тогда говорили. Ведь было сказано много слов, шутливых и сердечных. Ничего из этого не запомнилось. Отблеск солнца на белых стенах древнего форта тоже померк. И снова вокруг была прежняя тьма. Запах пота, бензина и пива, все новые бутылки которого извлекал водитель из тайников кабины. За ветровым стеклом маячили в сумраке конские зады, а между ними спина ворчливого капрала-ездового.

Путешествие в Брашку продолжалось.

В местечке царило образцовое затемнение, ни в едином окне не горел свет. Но всюду в темноте чувствовалось присутствие людей, их силуэты проступали в сумраке у каждых ворот, на каждом дворе. Проехали лабиринтом закоулков, патрули то и дело светили им в глаза тусклыми синими фонариками. Наконец остановились у школы.

Адам вылез из кабины. Он был в ярости и отчаянье. Поймал себя на черной мысли, что, может, за этой кошмарной ездой кроется саботаж? Что за человек этот водитель? Но едва так подумал, сам же

[1] Польское хозяйство *(нем.)*.

себя одернул: психоз, заключил он, впадаю в военную истерию. Надо держаться. Ничего не случилось. Утром будем в Белюне. Резким, бодрым голосом отдал приказания:

— Зенек, проследи, чтобы машина была отремонтирована. Матуля, веди немца в штаб!

Сам вышел первым и в дверях канцелярии наткнулся на майора Вильчинского — тот был в выгоревшем на солнце хлопчатобумажном обмундировании и с каской в руках. Эта каска крайне обескуражила Коссовича.

— Все знаю,— майор поздоровался и тут же приказал Матуле подождать вместе с немцем рядом, в классе.— А вас, пан подпоручик, прошу на два слова. Вы ужинали?

Вильчинский показал на открытую дверь канцелярии. Адам прошел первым, за ним майор. Окна были завешены, моргала старомодная керосиновая лампа с закопченным стеклом. Вильчинский старательно закрыл за собой дверь, предложил гостю стул. Сам присел на уголок письменного стола.

— Хотите перекусить?

— Куска не проглочу. Спасибо.

— И что дальше? — спросил Вильчинский странным тоном.

Коссович пожал плечами.

Майор постукивал пальцами по своей каске, которая бренчала, как кастрюля.

— У нас осложнение,— сказал он.— Чиновник из староства, обещанный вашим шефом, не явился, и я сомневаюсь, дождемся ли мы его вообще. Дороги забиты, машин не хватает, вы понимаете...

Адам не понимал, но все-таки кивнул утвердительно.

— А я должен проследить, чтобы немец был передан завтра тем, с другого берега.

Услыхав это, Коссович ужаснулся, что ему грозит новое препятствие к возвращению в Белюнь.

— Мне приказано...

— Знаю, знаю,— перебил его Вильчинский.— Вы должны передать его мне.

— Да, именно вам.

— Ничего не попишешь. Немца я распоряжусь препроводить в здание таможни,— сказал майор.— Пока еще в гражданской одежде. Полковник приказал переодеть его в форму вермахта завтра, непосредственно перед... Мне не хочется держать его здесь.— Вильчинский стыдливо поморщился и на мгновение, несмотря на свой возраст, показался Адаму совсем мальчишкой.— Я суеверен. Считаю, что близкое соседство с обреченным...— Он не договорил.

— Так вы полагаете... он обречен? — тихо спросил Коссович. Вильчинский не торопился с ответом.

— Судя по всему... Это — человек конченый...

— Что они с ним сделают? — спросил Адам, чувствуя, что к горлу подкатывает ком.

— Все зависит от того, какая у них ситуация, у этих проклятых немцев,— сказал майор.— Ведь это педанты и в вопросах подобного рода. Видите ли, я именно отсюда, из Брашки, ушел когда-то к силезским повстанцам. Чтобы изучить немцев. И изучил. Они работящи. Дисциплинированны. Аккуратны. Беспощадны. И, знаете ли, у них вообще своеобразное, малопонятное нам, полякам, отношение к законам. Ведь они, в сущности, обожают беззаконие. И тем больше оно им по сердцу, чем искуснее приправлено каким-либо их же законом. Следовательно, если у них введены чрезвычайные законы, то его расстреляют. Если нет — получит двадцать пять лет крепости. Так некогда наказывали. Одно несомненно: наверняка предстанет перед судом. Возможно, получит и право на апелляцию. Но, по-моему, тут попахивает мертвечиной.

— Значит, по-вашему, он не их агент?

— Нельзя отбрасывать и эту возможность,— Вильчинский словно бы засомневался.— Нельзя исключать.— Он помолчал и осведомился без особого любопытства: — А по-вашему, что это за человек? Ведь вы близко с ним познакомились за эти дни?

И Коссовичу показалось, что Вильчинский с трудом скрывает то ли недоверие, то ли презрение. Вспомнилось его словечко: «штабисты». И то, что строевые офицеры всегда питают подобные чувства к «двойке».

— Что вам сказать? — произнес он, заикаясь.— Человек как человек.

— А откровенно? — не унимался майор.— Мы говорим с глазу на глаз.

Адам — как это ни странно — ощутил неприязнь к Гохману. Ведь из-за него попали в переплет. И вдобавок, черт побери, я же должен теперь давать ему характеристику.

— Знаю только, что человек он весьма толковый,— тянул Коссович с прямым ответом.— И кто знает, возможно — хитрый. Часто складывалось впечатление, что в ходе наших бесед он вел какую-то игру! Причем всегда был несколько высокомерен, как со школьником.

— Но полковник Клён-Савицкий, насколько я его знаю, не потерпел бы такого тона,— засмеялся майор.

— Да, это верно... Полковник сразу почуял в нем...

Тут Коссович умолк, но Вильчинский моментально подсказал ему:

— Агента?

И Адам закончил:

— Полковник заподозрил игру. Попытку манипулировать нами. И что в этой игре сознательно или сам того не ведая участвует Гохман. И не собирался попадать впросак.

— Слава богу, что я избавлен от необходимости копаться в таких сложностях. Высок порог для наших ног. Мне достаточно моих здешних информаторов — мужичков и торгашей. А от вашего таинственного Гохмана несет-таки, по-моему, мертвечиной... Не люблю. Первая жертва будущей войны. Точнее, одна из первых.

— Войны? — простонал Коссович и украдкой постучал по крышке стола. Вильчинский заметил это.— Ведь что-то там в мире якобы произошло. И опасность взрыва...— заговорил сбивчиво Адам.— Разве полковник вам не рассказывал?

— Он был здесь, был.— Майор вздохнул и поморщился, что могло означать только пренебрежение.— Я наслушался от него о новой фазе дипломатического наступления. Вы это имели в виду? Германия, дескать, морально сломлена. И все это лишь блеф с ее стороны. Что голос Англии сыграет решающую роль. Полковник распространялся об этом с полчаса. И знаете, как я потом поступил? Посадил группу лучших моих саперов в здании таможни. Приказал им: ни на секунду не отлучаться от моста, от заложенной взрывчатки. С таким расчетом, чтобы мы успели взорвать мост, если немцы нападут. Это все, что мы можем сделать.

— Пан майор! — едва вымолвил впечатлительный Коссович.

Вильчинский отложил на минуту каску, которую не выпускал из рук, снял выгоревшую пилотку, вытер платком шею.

— Да, да, вот именно, если немцы нападут,— повторил он. И это недвусмысленное утверждение, исключающее какие-либо иные толкования, успокоило его.— Знаете, что моя собственная, здешняя, локальная, контрабандистская разведка донесла мне? Что немцы с утра в темпе разбирают противотанковые заграждения на своих коммуникациях, ведущих к границе.

— Может, это результат дипломатической активности, о которой говорил полковник Клён-Савицкий?..

— Плевал я на дипломатию! —вспыхнул Вильчинский.— Я солдат.

Устранение противотанковых ежей, по моему разумению, может означать только одно.

— Они хотят иметь подходы к границе?

— Атакуют не сегодня-завтра. А дипломатические переговоры лишь подтверждают мои опасения.— Кровь ударила ему в голову, он не сдержался и с излишней запальчивостью отрезал: — Ваш шеф либо предается иллюзиям, либо сам не верит в то, что говорит.

Вильчинский понял, что пересолил. Зарапортовался. Спрыгнул со стола. Как это ни странно, но постоянная напряженность и чувство ответственности словно убавили ему лет. Он стоял теперь перед Адамом, широко расставив ноги, держа каску за ремешок.

— Вот ношусь с ней ради примера...— пояснил смущенно майор.

— Если отложу, то же самое сделают мои офицеры, потом унтерофицеры. Жарища... Вот и таскаюсь с этим горшком... Кстати, пан подпоручик, вы желаете присутствовать при передаче немца?

— Боже избави! — искренне воскликнул Адам. Вильчинский принадлежал к тем людям, которым он был склонен вполне доверять.

— Я уже уведомил через связного на мосту немецкую сторону. Вместе с полковником мы составили коротенькое письмецо, которое должен вручить немцам гражданский чиновник, если, конечно, явится. Что на нашей стороне оказался немецкий гражданин такой-то и такой-то, как велел сформулировать ваш шеф. И что мы не видим оснований его задерживать. Полковник Клён-Савицкий радовался, что письмо получилось — комар носа не подточит. Время передачи также назначено лично паном полковником, а именно: восемь часов. Да, еще кое-что, к вашему сведению. Полковник сказал, что возвращается в Лодзь и что, возможно, ему удастся организовать журналистов. И отправить их из Лодзи самое позднее в четыре часа утра. Но на всякий случай надо иметь в запасе время. Поэтому назначил в восемь. Спектакль будет отменный.

— Но я не хочу его видеть,— безразлично произнес Коссович.

— Нисколько этому не удивляюсь,— согласился Вильчинский.

Больше он ничего не сказал, так как в канцелярию вошел без стука Зенек — лицо в черных полосах, мундир перепачкан. Увидав майора, мгновенно подтянулся и весьма ревностно доложил о своем прибытии, а затем попросил разрешения обратиться к подпоручику Коссовичу. Оказалось, что у автомобиля, этой чертовой дохлятины, реквизированной у белюньской фирмы «Рышард Гегель, купля, продажа...» (неведомо чего), что у этой рухляди... (на слове «рухлядь» Зенек споткнулся, хотел добавить какой-то эпитет, но его, видимо, смутило присутствие Вильчинского) совершенно разладилась коробка скоростей, ремонт которой займет всю ночь.

—Так, может, лучше вернуться на лошадях? — закончил он свой невеселый рапорт, и в голосе его прозвучала странная нота.

— На лошадях? Вы в своем уме? — возмутился Коссович.— Забыли, что завтра утром мы должны быть в Лодзи?

— Тогда придется ждать,— сказал упавшим голосом Зенек.

— На худой конец, господа, вернетесь послезавтра. Может, вместе с обещанными журналистами,— проворчал Вильчинский.

Все планы рушились. В Белюне ждала Хелена. Тревожные мысли о ней приводили Коссовича в отчаяние. Только этого не хватало! И чего ради принесло ее сюда, к самой границе?!

— Зенек! —вскочил он со стула.— Одна нога здесь, другая там! Стой у водителя над душой, выжми из него семь потов.

— И что это даст? — с нескрываемой яростью процедил сержант сквозь стиснутые зубы.

— Зенек,— умоляюще сказал Адам. Он думал теперь о Хелене. Только о Хелене.— Ты же знаешь и понимаешь сам... Прошу тебя... Ты сумеешь нажать лучше меня...

— Ну ладно, ладно... Сделаем что получится,— сказал сержант.

Надсадные мольбы Адама не понравились ему. Он обратился к майору: — Докладываю о своем отбытии.— Вышел. А Вильчинский, затягивая ремешок каски, предложил:

— Если желаете, пан подпоручик, можем пройтись вдоль границы. Но, пожалуй, вы слишком устали. Отложим до утра. Советую выспаться. Хотя бы здесь, на этой тахте. Боюсь, что скоро трудно будет выкроить и часок для сна.

Бабка Северина говаривала, что на новом месте сны бывают особенные, со значением, вещие. Адам вытянулся на тахте, закрыл глаза. Уснул мгновенно. Приснился ему прошлогодний поход по раскаленным от зноя вершинам Черной горы. Он шел первым по тропе, вьющейся вдоль края полонины, слышал за спиной шаги Хелены, ее дыхание и время от времени брошенное ею слово. Проходя по этому маршруту год назад, они жарко спорили о чем-то (ох уж эта Хелька с ее радикализмом, который она переняла у Галины Гурской!), и было им хорошо и весело, а теперь, во сне, не было ничего — ни хорошего, ни веселого. Адам ощущал сковывающую его усталость и одновременно страх, что они едва тащатся. Неоглядные просторы вокруг, вначале солнечные и сверкающие зеленью, заметно темнели, вершины Поп Иван и Хаверля затягивали тучи. Вдруг на каменистой тропе возник силуэт всадника, забавно трусившего навстречу — трюх-трюх, трюх-трюх, он приближался, высокий, тощий мужчина на маленькой гуцульской лошадке. Адам подумал: что он тут делает? Всадник походил на гротескного Дон Кихота в стиле Шагала. Адам уже различал бородатое, худое, испуганное лицо, грязный, засаленный сюртук и рубашку без воротничка. А также презабавную допотопную шляпу-котелок. Еврей, этот гуцульский Дон Кихот, на своей навьюченной лошадке поравнялся с ними в тот момент, когда грянул далекий раскат грома и внезапный порыв ветра хлестнул им в лица песком. Тот же самый бродячий торговец, что и год назад, осенило Адама, но что ему теперь нужно от нас? Я не намерен ничего покупать. О боже, ведь это Польдек Кахане! Всадник жестикулировал, кричал что-то на непонятном языке, показывал почти черной рукой на вершину Хаверля, и Коссович вдруг понял, что Польдек о чем-то предостерегает его. В этом глубоком, мучительном бреду, глядя в мертвые, оловянные, с красными, воспаленными веками глаза друга, Адам Коссович подумал с ужасом: господи, что значит, если снится испуганный еврей во время грозы? Почему они мне постоянно снятся? Хорошо это или плохо?

■

Разбудил его Зенек. Коссович различил во мраке глаза сержанта, их дикое выражение. Прежде чем услыхал первые слова, сообразил, что случилось. В панике вскочил на ноги.

— Началось? — пробормотал, затягивая поясной ремень поверх расстегнутого мундира.

— Майор велел припрягать лошадей к автомобилю,— Зенек тяжело дышал ему в лицо,— и убираться отсюда!

Здание гудело от гомона, восклицаний, громко отдаваемых приказов. Проспал! — подумал Адам, потянувшись за полевой сумкой. Все еще томил его зловещий сон. Дверь канцелярии была распахнута в темные сени, где царила суматоха. По всей школе, по коридорам, во всех направлениях топали тяжелые шаги. Перекрывали друг друга окрики. Пронзительные, ввинчивающиеся в мозг свистки. В канцелярию ворвался как буря Вильчинский. В каске, с болтающимся на груди биноклем. Замер на секунду.

— Вы еще здесь? — выкрикнул он срывающимся голосом.— Убирайтесь немедленно!

Майор бросился к телефону и, задыхаясь от возбуждения, прохрипел какое-то кодовое наименование.

— Что видишь? Докладывай, что видишь? К чертям туман! Должен увидеть! Ослеп, что ли?

Внезапно вскинул глаза, умолк с полуоткрытым ртом, уставившись в потолок.

Возгласы, топот подкованных солдатских сапог, хлопанье дверей, тяжелый галоп по лестницам — весь этот шум, наполняющий здание, до сих пор как бы накладывался на далекий, монотонно вибрирующий, металлический гул. Теперь в этом однообразном звуковом фоне возобладал новый, более громкий оттенок, напоминающий стенание. Даже стекла задребезжали. Что это такое? — успел подумать Адам. Все происходило с головокружительной быстротой. Он еще не застегнул мундира, дрожали пальцы, пуговицы не попадали в петли. А в небе, высоко-высоко, заревели моторы. До чего же быстро приближаются! — такова была первая мысль. Чересчур быстро даже для самолетов!

Гул превратился в порыв урагана, и на местечко обрушились удары, град ударов. Со звоном посыпались оконные стекла, распахнулись и судорожно застучали пустые рамы. Осыпающаяся известка, превращенная взрывной волной в пыль, взметнулась удушливым облаком. Дом дрогнул, на секунду половицы ушли из-под ног.

— Взрывай! Слышишь меня? Взрывай! — полулежа на столе, кричал в телефонную трубку Вильчинский.

Адама отшвырнуло к стене, на голову ему полетели тетрадки со шкафа, свалился на пол глобус и ящик с какими-то стеклышками. Вспышки и разрывы крушили Брашку, вскипевший воздух рвал занавески, не давал отдышаться. Казалось, огневой вал вот-вот накроет школу. Кто-то поблизости вопил дурным голосом.

— Мамонька родная! — рыдал в глубоком шоке совершенно обезумевший Зенек прямо в ухо Коссовичу. Они пали на колени и пытались подняться, шатаясь, как пьяные.

— Огонь! Задействовать все огневые средства! — вопил Вильчинский, сидя на корточках у стола.— Я перехожу на НП. Что, что? Сейчас...

Он бросился к дверям и перекричал оглушительный грохот:

— Из таможни спрашивают, что делать с вашим немцем?

Адам поднялся с пола. Протер кулаком запорошенные пылью глаза. Разведывательная игра! Тактический просчет! Если бы здесь был сейчас Клён-Савицкий! Немец хотел нас предупредить, он знал, он один знал наверняка. Наивные, прекраснодушные кретины: небось да авось — вот и вся наша польская философия. И самодовольство: мы, дескать, хитрее!

Адама качнуло, он оперся о стену, схватил за плечо Зенека и почувствовал, как немеют ноги от страха, который овладевает людьми, захваченными врасплох. Заставляя себя принять решение, подумал: господи, да мы еще вдобавок и не дрейфим!

— Заберем его! — крикнул в глубь сеней, вдогонку Вильчинскому.— Будем в таможне через пять минут!

В коридоре столкнулся с каким-то офицером, здесь было темно, клубилась густая пыль, уже розовеющая от зарева. Выбежал из школы, волоча за собой Зенека. Сержант вырывался.— Пусти, зараза! — взвизгнул он не своим голосом.

На пороге у них захватило дух от горького, ядовитого смрада, которым тянуло из воронок. Проулок пылал, как и все местечко, от первого залпа занялось столько соломенных крыш, рухнуло столько домов, и эта внезапность, и мысль, хлещущая, словно кнутом: перебежчик говорил правду. Просто вторжение было отложено!

— За Гохманом! — крикнул он в лицо Зенеку.— Быстрее!

— Рисковать жизнью ради какого-то немца?

Адам яростно махнул рукой, сжал кулак и погрозил сержанту. От стены к стене они побежали в сторону реки. Брашка гудела, как

подожженная куча хвороста. Зенек отставал. Адам выхватил из кобуры пистолет.

— Давай вперед.

Вдруг ему показалось, что именно от этого — успеет ли он вызволить Гохмана из таможни — зависит многое, может быть все. Надо было что-то спасать. Что? Самого себя, свое достоинство, уважение к собственным принципам. В мгновенном озарении увидал, как забавлялся в отгадку: шпион или диверсант? И пробовал гадать на кофейной гуще: будет война или нет? Глупость, вопиющая глупость — Клён, разговорчики с ним! Подумал и о немце: единственный праведник. До чего же я был слеп. Но теперь не допущу, не допущу! — твердил он про себя. Сомнений уже не было. И страха. Только всепоглощающая одержимость.

— Думаешь, я боюсь? — оскалил зубы сержант.

Пригнувшись, они промчались мимо искромсанного осколками костела, спотыкаясь о груды обвалившейся штукатурки, ныряя в слоистый дым. Снова — гул на прежнем вибрирующем фоне. Зловещее завывание в вышине приближалось, росло. Они упали в канаву как раз в тот миг, когда снаряд угодил в соседний дом и земля под ними забилась в конвульсиях. На Брашку обрушилась новая лавина огня.

Ведь я же знал, что так будет, в отчаянии подумал Адам. Для Брашки, для этих соломенных крыш, для нас и всей Польши сейчас что-то кончается и уже никогда не будет так, как было.

Ближайший дом, деревянную под соломой хатенку, разнесло вдребезги, только брызнули пылающие ошметки. Все заглушала канонада. Душил дым пожарищ и смрад тротила. Еще гремели последние взрывы, а уже поднялся крик, вой, стон, отчаянно заревела напуганная скотина. Затем послышалась сухая, прерывистая трескотня автоматического оружия. Проскочили запруженную людьми небольшую рыночную площадь. Из домов посыпали евреи — старики, женщины, дети. Черный поток устремился в узкую, ведущую на восток улочку — под грохот, плач и истошные причитания. По щербатому покрытию площади носились сломя голову во всех направлениях группы солдат, полицейские, пограничники. С окраины потянулся деревенский люд со своей живностью. Сквозь густую толпу скакали галопом воинские упряжки. Ошалелые коровы, низко опустив головы, волочили за собой веревки. Ржали отбившиеся, испуганные лошади. Сколько времени прошло после первого залпа? Обозные и санитарные повозки беспощадно прокладывали себе дорогу. Ездовые, стоя с вожжами в руках, хлестали лошадей и людей. Адам заметил, как полевая кухня, дымящаяся, влекомая парой обезумевших от страха коней, давит пеших, брызжет кипящей кашей, утюжит лежащих на земле, и, наконец, ударившись в кучу камней, отскакивает назад и, калеча лошадям ноги, опрокидывается в какой-то котлован. Всюду — возле домов, посреди площади, на дороге — тела убитых.

Стало темно. Над Брашкой распростерлось облако дыма. Значит, так выглядит война. Началось. Перебежками, от одной забитой людьми подворотни к другой, они добрались до синагоги. Адаму мешала бежать полевая сумка, но он не мог ее бросить. Кончились строения местечка. Дальше — привоз, плоская луговина, покрытая засохшей грязью, смешанной с навозом. За ней — белое здание таможни в огне. Пробитое снарядом и подожженное, оно еще стояло. Дальше дымились обломки взорванного пограничного моста. Саперы выполнили свой долг. Теперь мы все должны... Каждый из нас...— думал Адам, стараясь перевести дух. Надо исправить ошибки. Плоды бездумности, пассивности. Сейчас, именно сейчас. Они оба припали к стене. У Зенека подкосились ноги, и он присел на корточки. Адам смотрел из-за угла на отделяющую их от цели луговину. По шее стекали струйки пота. Держись, повторял он мысленно, держись!

Открытое пространство впереди полнилось немолчным, визгливым

посвистом пуль, ружейно-пулеметной пальбой, над низко стелющимся дымом и космами тумана, пригнанного восточным ветром, то ближе, то дальше взлетали о чем-то сигналившие ракеты.

— Пресвятая дева! Ну и псих навязался на мою голову! — скулил Зенек. Он с трудом встал, расстегнул штаны, помочился.

— Я первый, ты — за мной,— выкрикнул Адам.— Ну, живо! Давай!

Коссович рванулся вперед. Как еще было далеко! Замелькали обрывки мыслей: не выйдет! Мой отец... К чему это? Веление рока? Он бежал, пригнувшись, с сердцем, подкатывающим к горлу.

Вот и привоз. Под ногами соломенная труха, навоз, мусор. И тут они угодили словно в ловушку, проглядев сгоряча какой-то рассыпавшийся бочонок. Адам упал на жухлую траву, в мертвом пространстве: еще далекая, пылающая таможня все же загораживала его. Комедиант! Нелепый Дон Кихот! К чему это? Давал о себе знать инстинкт самосохранения. Адам пробежал еще шагов двадцать. Из последних сил. Зенек отстал. Вероятно, подался в тыл, пройдоха. Наконец — таможня. Адам подбежал к выгоревшей изнутри коробке в тот момент, когда рушилось потолочное перекрытие. Его осыпало искрами. Оглянулся. Вокруг — лица солдат, таможенников, какой-то офицер.

— Я за немцем!

— Так забирай его! — рявкнул в ответ офицер.

— Плывут! Плывут! — завопил кто-то рядом.

Адам напряг зрение. За стеной, где они сидели, за полуразрушенными, догорающими строениями и лозняком виднелась река, которая охватывала их широко разлившимся полукружьем. И по всему водному зеркалу шустро скользили черными пятнышками переполненные понтоны, противоположный берег кишел ими, некоторые уже подплывали к польской стороне.

— Отходим! Огонь по переправе! — закричал офицер. Вскочил на ноги. Высокий, худой, длиннорукий, и замахал над головой Адама пистолетом, напоминая ветряк с вертящимися крыльями.

Коссович, который все еще не мог отдышаться после пробежки, заметил у стены Гохмана в его жалком синем костюме. Немец лежал ничком на земле, рядом со своим чемоданом. Неужели мертв? — подумал Коссович. Зачем я бежал сюда, идиот! Бросился к нему, рванул за плечо, Гохман сел. Он был без очков, черен от копоти, белки глаз, выделявшиеся как у негра, краснели в отсветах пожара.

— Эта отсрочка на несколько дней...— бормотал он.— Эта отсрочка, непостижимо...

Между тем Адам вдруг почувствовал, что знает, как следует действовать. Избавился от страха, обрел твердость. Так надо, подумал он. Откуда-то взялся Зенек. Не удрал, а я осудил его! Сержант возник из клубов дыма с окровавленной физиономией. Утирался обеими руками. Заглянул в глаза Адаму, подхватил немца слева.

— Бери справа и айда назад! — крикнул он.

Адам сделал это, Гохман, ошеломленный, а может и контуженный, не отдавал чемодана. Зенеку пришлось вырвать его из рук немца и отбросить. Защитники таможни по одному перебегали открытое пространство. Везло лишь некоторым. Многие полегли на унавоженной глине привоза. Чуть впереди Коссовича, неуклюже пригибаясь, бежал высокий офицер; когда получил очередь в спину (Адам слыхал, как она проверещала в воздухе, словно стая скворцов), высоко вскинул руки, точно сдавался.

Ему бы помочь! — подумал Адам. Но продолжал тащить немца. От натуги было горько во рту. В отчаянном броске они достигли спасительного угла синагоги, потом перебежали за горящую хату, прислонились к стене, задыхаясь от усталости и дыма. Только бы малость отдышаться.

Вверху, у них над головой, над пламенем пожаров, шли немецкие эскадрильи.

— Началось, как я говорил, в четыре сорок пять! — Немец был оглушен, кричал срывающимся голосом.— Я ранен в ногу.

Он действительно истекал кровью. На черной штанине, облепляющей голень, расползалось жирное пятно. Понтоны, понтоны, думал Адам с ужасом. Сейчас они будут здесь.

— Берем его,— сказал сержанту и поднял немца.

— Мать твою...— простонал Зенек. И он был ранен. Размазывал кровь по лицу.— Плохо вижу.

— Бежать можешь?

— Сматываемся отсюда.

Они пробежали метров пятнадцать по совершенно опустевшей, деревенской с виду улочке, сопровождаемые зловещим посвистом пуль. Сзади уже те, с понтонов, думал Адам. Поверху ревело пламя пожаров. Дым смыкался черным сводом, гулко пылали дома по обеим сторонам улочки. Огонь рвал в клочья обветшалые соломенные кровли, всплески его касались черной тучи, застилавшей небо. Адам спохватился, что потерял пистолет, которым минуту назад размахивал. Немец со стонами волочил одеревеневшую ногу. Коссович подхватил его поудобнее.

— Чего ради надрываемся? Надо оставить его и спасаться,— скулил Зенек.— Что с моими глазами? Не вижу.

Это мое дело, подумал Адам, дело чести, ну и шут же я гороховый, кретин.

— Я им займусь,— заявил он решительно.— Беги!

Обожженное лицо горело, глаза слезились. Теперь будет по-другому. Такие, как мы... Кончилось время... Вдруг он уяснил, что Вильчинский, конечно же, контратакует, не даст переправившимся овладеть местечком. В этом Коссович был убежден. Того и гляди, начнется контратака, не очутиться бы между двух огней.

— Ах, зараза, как мне досталось,— приговаривал жалобно Зенек. Вытирал рукавами кровь со лба, бровей, щек. Забросил себе за шею левую руку Гохмана, и они вдвоем поволокли его посередине улицы. Превосходная цель, немцы нас скосят, думал Адам.

Однако удалось пробежать и эту улочку, пуля их миновала, выскочили на рынок. И все старания оказались тщетными.

На рыночной площади, то затеняемой завесой удушливого дыма, то озаряемой рыжими отблесками все выше взмывающих столбов пламени, немецкие солдаты разоружали поляков — нескольких пограничников, заблудившегося полицейского, с дюжину солдат. Немцы были оперативнее! Как они сюда проникли? Адам все еще не мог перевести дух. Тупо смотрел на этих «кнехтов», на черные горшки их касок.

Они уже были окружены. Их обступили молодые, ловкие парни с невиданными доселе пистолетами-пулеметами на груди.

— Hände hoch! [1]

Всех обыскали. Адам впервые в жизни подвергся этой унизительной процедуре. Присоединили к группе пленных. Появился какой-то лейтенант, совсем еще юный, в фуражке с черным околышем, на котором серебрился череп. Пальба отдалялась, еще ухали ручные гранаты.

Но Брашка была уже в руках немцев.

— Что я говорил? По твоей глупости! — ахнул Зенек.

— Я не мог иначе!

— Интеллигент паршивый...

Сержант выхватил из кармана индивидуальный пакет, обмотал себе голову, бинт вскоре пропитался кровью.

— Что с ним теперь? — спросил он и кивком показал на Гохмана, который сидел на бровке тротуара. Штанина его была разорвана, виднелась рана, обильно кровоточащая, но не опасная. Пуля повредила сухожилие, понял Адам. Наклонился, расстегнул планшет, который теперь только мешал ему. Начал копаться между томиком Э.Т.А.Г. и

[1] Руки вверх! *(нем.)*.

тетрадью. К черту немецкий романтизм! Наконец нашел индивидуальный пакет. Наложил Гохману повязку и заодно шепнул ему на ухо:

— Молчите, не выдайте себя ненароком. И передайте мне свои документы, но так, чтобы никто не заметил.

Гохман выполнил просьбу, и Адам сунул его бумажник в карман.

Лейтенант, нервно куривший сигарету, вдруг встрепенулся. Рявкнул: — Встать, los, los! [1]

И тут Адам решил, что пора действовать. Надо было сделать несколько шагов. Он подошел к офицеру. Поставил все на одну карту, на свой безупречный немецкий язык.

— Герр лейтенант,— сказал он.— С нами гражданский. Раненый. Он может быть свободен? Штатский ведь. Не солдат.

— Maul halten! Abtreten! [2] — завопил, словно не понимая, немец. Адам пригляделся к нему, озаренному кровавыми отблесками. Все верно: тевтоны, крестоносцы, пруссаки, пресловутое немецкое остервенение — Tollwut — и бомбардировка Калиша, Бельгия и прочие зверства прошлой войны. Но чтобы молодой, респектабельный офицер кричал без причины пленному! — Abtreten ! Maul halten... — снова выкрикнул лейтенант взвинченным, срывающимся голосом. Адам вернулся на свое место. Кончилась какая-то эпоха, теперь его подхватывал мутный поток непредвиденных событий. А Зенек переживал это на свой лад, ругался громко, отчаянно.

Нога за ногу поплелись назад, к реке, той же самой улочкой, которая в действительности была коротенькой, хоть совсем недавно казалась длиной в километр. Синагога уже догорала. Привоз был снова небольшой площадкой, запросто перебросишь камнем.

Когда добрались до таможни, немецкие саперы уже укладывали на руинах взорванного Вильчинским моста — новый, из готовых металлических плит. Действовали они невероятно слаженно, поразительно быстро. А за рекой накапливались впервые увиденные им настоящие немецкие танки. Нетерпеливо ревущие на высоких оборотах, готовые к броску. Картонные танки, с горечью подумал Адам.

Они все еще брели в хвосте колонны втроем: Гохман, волочивший ногу, и поддерживавшие его Зенек с Коссовичем. Вдруг возле них очутился капрал Матуля.

— Вот и кончилась для нас война,— пробасил он над ухом у Адама. И сплюнул черную слюну.— Вот так. Отвоевались мы, верно?

— Ты откуда? — удивился Зенек. Каждый шаг отдавался болью в раненой голове, лицо его, вымазанное сажей и кровью, страдальчески морщилось.

— Как это откуда? — вспыхнул Матуля.— Все мы пропали из-за этого немца. Когда приехали вчера, майор Вильчинский велел отвести его к реке. Караулить велел, вот и докараулились. Я видел, как вы прибежали.

Чуть позже через неширокую реку и по молниеносно наведенному мосту, перекрывавшему изуродованные фермы взорванного Вильчинским мостика грузоподъемностью в пять тонн, хлынула на восток подлинная лавина боевой техники. Сначала шли танки. Адам знал эти чудовища по описаниям, благодаря своей работе над переводом «Deutsche Wehrsprache» майора в отставке Бруно Голодковского. Panzerspähwagen. Kampfpanzer. Leichterpanzerwagen. Мощные и быстроходные, они не были ни макетами, ни обшитыми картоном легковушками. Река лежала в глубокой впадине, дно изобиловало ямами, но танки преодолевали такую преграду на большой скорости, гораздо уверенней и быстрее, чем польско-французские «рено», знакомые Адаму по маневрам. Съезжали вниз и, взревев двигателями, взбирались, ускоряя бег, на другую, более крутую сторону, чтобы сразу же ринуться вперед.

---

[1] Двигай, двигай! *(нем.)*.

[2] Молчать! Убирайся! *(нем.)*.

■

Потом шла мотопехота, огромные бронетранспортеры, многоосные, груженные целыми взводами. И эти машины узнал Адам как читатель труда проклятого майора в отставке, а также по газетным фотографиям. А еще по «совершенно секретным» справкам и кинохронике: ведь я видел их на параде, на Унтер ден Линден, сидел тогда с Хеленкой в ложе, мы целовались, и мне было наплевать на немецкие танки и войну... Все мы думали: как-нибудь пронесет!

Пленные сидели у раскаленной от пожара стены, которая грела им спины. Солнце подымалось все выше. Начинался чудесный сентябрьский день. Группа незнакомых между собой людей — солдат, полицейских и пограничников — угрюмо молчала. Были среди них смелые, неподдающиеся. Наверняка были и трусы. Каждый по-своему думал о будущем.

Адам твердил про себя, что это инерция первого удара. Ведь это еще не поражение. Нас застали врасплох, пытался он объяснить самому себе. Кого застали? Меня? Командиров взводов? Вильчинского? Генералов? Или Матулю с Зенеком? Все, все знали, что так будет. Вся Европа. Мы прятали головы в песок. Две недели назад Бек заверял командующего армией, что войны не будет! В Кракове несколько дней назад — сильные, сплоченные, готовые — мы праздновали очередную годовщину похода первой кадровой роты. Клён всем морочил голову.

Опасно было поддаваться подобным мыслям. Они могли ввергнуть в отчаянье. И это вечное беспокойство о Хеленке! Он тщетно гнал прочь дурные предчувствия. С ненавистью смотрел на вступление вражеских войск и думал: еще не конец, еще не вечер! Сколько войн пережило человечество? Сколько было таких походов? Туда и обратно? Вдруг возникло отрадное воспоминание об одной покупке, осуществленной перед отъездом в Лодзь у антиквара Бодека. Старик, давно знавший семейство Коссовичей, приберег нечто особенное для «пана профессора»: гравюру Лебо Entrée des Français dans la ville de Varsovie, le 28 Novembre 1806[1]. До чего же пышное и веселое было это entrée! Наивная картинка! В толпе, приветствующей Наполеона, Адам представил себе молчаливого, отнюдь не веселого Э.Т.А.Г., который именно в Варшаве пережил entrée вражеской армии.

Такие мысли — и в такой момент! — а вот принесли облегчение. Надо опамятоваться. И взять себя в руки! Война только начинается! Посижу в плену. Не я один. Несколько месяцев. А хоть бы и дольше, если это будет вторая мировая война. Надо крепиться.

Он, как это ни странно, чувствовал себя больше, чем прежде, ответственным за судьбу Гохмана. Значит, немец все-таки хотел нас предупредить! Он один все знал. И предупреждал нас. Какие это были разговоры! Как с глухими. Он свое, а мы свое. Мертвечиной попахивает...— припомнились слова майора. Теперь мы должны реабилитироваться. Мой черед!

Высоко в небе возвращались на свои базы немецкие самолеты. Земля содрогалась под гусеницами стальных колоссов, двигавшихся совсем рядом по дороге.

— Влипли...— сказал Зенек и поморщился от боли.— Только и радости что Дед не будет помыкать мною.

Гохман сидел между ними с закрытыми глазами. Адам шепотом условился с ним, чтобы тот притворялся, будто не понимает немецкого. Симулируйте контузию, шоковое состояние. И держитесь поближе ко мне. Это — единственный шанс. Коссович надеялся убедить конвоиров, что Гохман — гражданский и его можно отпустить. Пусть, мол, ковыляет в госпиталь.

[1] Вступление французских войск в Варшаву 28 ноября 1806 г. *(франц.)*.

Горстку пленных караулили все те же солдаты и офицер, так охотно вопивший: «Maul halten!» Но ведь раньше или позже придут другие. Адам ждал их, сочиняя мысленно целую речь.

Но вышло по-другому.

Сначала в местечке поднялась стрельба. Прозвучало несколько пулеметных очередей. У Коссовича екнуло сердце. Вдруг это наши, очертя голову, по-польски басшабашно, ворвались в самую гущу немецких колонн? Сорвиголова Вильчинский? Старый воин, рубака? Но в немецких колоннах не обнаруживалось никакой тревоги, регулировщики на переправе не обратили ни малейшего внимания на стрельбу. Коссович прислушивался. Поблизости, где-то в центре местечка, выстрелы утихли. Еще рвали воздух последние залпы. Что это могло означать? Потом из злосчастной улочки, что вела к рыночной площади, выкатился какой-то диковинный открытый автомобиль, напоминающий амфибию, а за ним мотоцикл с коляской, на которой был установлен ручной пулемет. Автомобиль, крутнувшись на лугу, лихо выписал восьмерку, словно на показе шоферского мастерства, мотоциклист следом за ним повторил маневр и тоже остановился, нацелив пулемет на группу пленных у сгоревшего здания.

— Что за нечисть...— простонал Зенек, заслоняя глаза рукой: он был контужен, но все-таки видел.

— Вероятно, наш конвой,— предположил Адам.

Из машины выскочили два офицера в длинных и очень свободных плащ-накидках. На фуражках поблескивали очки-консервы, напоминающие глаза стрекозы. За ними неуклюже выбрался штатский в пыльнике и шляпе, надвинутой на уши. Стали далеко от стены, все еще обжигающей спины пленников. Офицерик, которому так нравилось кричать «Maul halten!», подбежал с докладом. Затем последовал общий разговор, сопровождаемый жестикуляцией.

— Что-то мне тут не нравится,— сказал Зенек.— Голос у него вдруг сделался прежним, обычным, уже не хриплым и жалобным. Явный признак, что он чем-то глубоко встревожен.

Офицеры в длинных, словно на вырост, плащах и штатский направились к пленным.

— Встать! — скомандовал один из приезжих. Пленные неторопливо зашевелились.

— Становись!

Прошла минута, пока построились. Несколько солдат, полицейский и пограничники выполнили приказ еще без опаски, кое-как, вяло — они еще не знали законов этой войны. Ведь они были пленными, для них война некоторым образом как бы кончилась.

Тройка приезжих медленно, шаг за шагом, проследовала вдоль строя, последним — штатский. Шаря глазами из-под полей шляпы по лицам, он выудил из шеренги скупым, но властным жестом сначала Матулю (кивок головой и брошенное вполголоса: этот!), потом Коссовича (наверняка этот), затем Гохмана (лишь какая-то многозначительная гримаса, некое подобие улыбки) и, наконец, Зенека.

— Отойти в сторону! — скомандовал все тот же офицер. Гохману пришлось помогать, сделали это Матуля и Зенек.

Коссович, сознавая бессмысленность своего поступка, пересилил себя и загородил дорогу одному из офицеров.

— С нами гражданский,— заговорил он по-немецки со своим великолепным венским акцентом.

— Я вижу,— отозвался вполне любезно офицер.— Ну и что?

— Надо отпустить его домой, он ранен...

Офицер перекинулся красноречивым взглядом со штатским в пыльнике, потом улыбнулся и учтиво ответил:

— Не беспокойтесь, подождите. Сейчас все выяснится.

А офицерику, любителю «Maul halten», крикнул:

— Увести! Быстро!

Этот теперь лез из кожи вон. Из остальных поляков сформировали походную колонну, и, возможно, первая в этой войне горстка пленных двинулась в сторону рыночной площади. Они удалились, понукаемые хриплыми, исполненными усердия окриками юного офицерика. У стены сгоревшего здания осталась только эта четверка, столь случайно объединенная волею судьбы. Прямо против нее стоял мотоцикл с ручным пулеметом, рядом с ним оживленно беседовавшая группка: два офицера в странных плащах, со стрекозиными глазами очков-консервов на фуражках. И этот штатский в пыльнике.

— Узнаете его? — громко спросил Зенек.— О боже! Ведь это Кубицкий, заготовитель скота! Мать его... Где у меня были глаза? Господи, почему же не дано мне было прозреть и шлепнуть его...

— Что он нам может сделать?..— взволнованно прошептал Адам.— Гаагская конвенция...

Гохман тихо рассмеялся. Адам взглянул на него с досадой. Один из офицеров что-то крикнул, но Адам не разобрал его слов. А Гохман, не обращая внимания на окрик, выпрямившись, совершенно преобразившись, произнес громко, отчетливо:

— Das beste wäre nie geboren sein...[1]

— Что вы говорите? — ужаснулся Коссович.— Почему? — И опять мелькнуло воспоминание: он с Хеленкой на скамье в парке, старая цыганка шепелявит: «Отец твой славен, слава ждет тебя». Хотел постучать по дереву, но Хеленка сказала: ты должен избавиться от вздорных предрассудков. А нынешний сон? Черный Дон Кихот с Гуцульщины. Польдек. Его dies irae, его день гнева. Конец игры.

И тут он заметил условный знак, который офицер подал мотоциклистам. Солдат, сидевший в коляске, отвел затвор ручного пулемета. Бред. Это невозможно. Такого не бывает.

Вспышка из дула. Пули первой очереди пригвождают Адама к стене.

Когда пулемет умолк, оба офицера и штатский приблизились к обгоревшему зданию. Матулю пришлось добивать из парабеллума. Потом штатский обыскал расстрелянных, обшарил их карманы и все найденные документы отдал офицерам, идущим за ним по пятам. Один из них заинтересовался планшетом Адама. Вытащил томик Гофмана. Тетрадь от Гепперта. Молча показал другому. Тот пренебрежительно махнул рукой. Штатский наклонился, взял Гохмана за ноги и оттащил в крапиву. Командир группы кивнул исполнительному мотоциклисту, тот ловко снял притороченную к борту автомобиля канистру и облил труп бензином. Отбежал в сторону. Офицер произнес громко: — Конец! — и метким щелчком пульнул окурок сигары в крапиву. Другой офицер бросил в пламя планшет Адама.

Брашка догорала. Был первый день, почти что первый час второй мировой войны.

■

[1] Лучше было бы никогда не родиться... *(нем.)*

ТЕД ХЬЮЗ

Новые стихи

Перевод с английского ***АНДРЕЯ КИСТЯКОВСКОГО***

Посвящение

Шесть лет воскресает утрами мама
В дядюшкином лице, когда он говорит,
Что да, мол, он выпил бы чашечку чая.

Я вижу перед собою матушкино лицо
Под дядиной плешью. Ее пухлые руки,
Дрожащие чуть заметней, чем шесть лет назад,
Негромко постукивают его чашкой по блюдцу.

Восьмидесятилетние, живые и любящие —
Все те же: непостижимые, живые и любящие.

Дядюшка, возрождающий то, что ушло,
Пока его клетки пытаются возродиться,

И воздух, снабжающий легкие кислородом,
Вынужденный к тому же еще и звучать,

Исподволь пробуждают уснувший ландшафт:
Ясное небо и дымные трубы,
Бессмертие смертных радостный ад
И светлые гимны над чернью пашен, —

Наследие памяти,
сокровище языка,
Бесследно меркнущее при свете дня:

Баснословная рыба — раз в жизни поймаешь,
У поверхности, выдохлась, глаз как стекло,
Но леска тонюсенька и почти перетерлась...

В любое мгновение — резкий рывок —
И все утонет в темном потоке...

Переводы стихов печатаются с разрешения издательства „Faber & Faber".
© Ted Hughes. 1979. Ted Hughes. 1980.
О новых книгах Теда Хьюза см. статью В. Скороденко «Бессмертье смертных...», с. 189.

Новогоднее возбуждение

на третий день
Обретает погоду себе под стать.
Давление подымается. Льдистое небо
Выметено буранами. Тонкие ветки —
Те, что не крепко прильнули к стволам,—
Взвихриваются в небо. Опавшие листья
Мчатся по́ снегу, как отважные мыши.
Скрипят суставами на ветру дома,
Тая и серебрясь. Багровеют поля.
Все взбудоражено. Блещут окна.
Грузно ворочаясь под прессом воздуха,
Тщатся приникнуть к луне моря.
В искристой круговерти тонет земля.
Каждый обломанный бурями сук
Чертит свой собственный круг. Холмы
Нежатся в солнечной свежести ветра.
Слитно гудит плотинами речка,
Словно старинная фабрика. Люди
Так осторожно шагают по снегу,
Будто под настом — гулкая бездна,
В которой ярится свирепый ветер.
— Ну и ветрище! Ведь он, проклятый,
Чуть не втянул меня ночью в трубу! —
И звонкое эхо веселого смеха
Катится по хрусткому насту,
Как шляпа.

Память

Твоя твердокаменная, в ветхой майке спина —
Мускулистая и мосластая, как у старого жеребца,—
Низко склоненная над тюком овцы
Во время стрижки,
То потела, то подсыхала,
Когда ее обдували промозглые сквозняки
В темной пещере овечьего хлева,
А ты, с раскаленно-багровым лицом,
С барабанно-гортанным фейерверком проклятий,

С тлеющей сигаретой, прилипшей к губе,
Так что на ней сохранялся пепел,
Уверенно управлялся с живым тюком —
То нежно и бережно, то яростно или резко.

Ты работал споро — как матерый шахтер,
Который,
Не думая о своих ладонях,
Рушит переднюю стенку забоя,—
Лысый склонившийся над шерстистой овцой
И уютной искоркой тлеющей сигареты.

А потом, распрямившись с усталым «ох!»
И отпустивши овцу на покой,
Ты отрывал от губы бычок
Лопатообразной, засалившейся рукой
И прикуривал от него свою новую сигарету.

Март, необыкновенное утро

Пчелы в безмолвной голубеющей мгле.
Пчелы на солнечном языке летка.
Блестки подснежников. Коршуны в вышине,
Словно бы намертво скрепленные магнетизмом,
Сонно замерли с распростертыми крыльями
На необозримой парной орбите.
Светлая тишина. Пригревшийся скот.
У подножия пологого холма, на дубу,
Изредка и негромко каркает ворон.
Бережно вспарывает синеву самолет.
У овечьих кормушек подсохла грязь.
И отпущены дуреть на волю ягнята.

Вспухшая, больная водянкой земля
Медленно выкатывается к целебному солнцу
После опасной и мучительной операции,—
Голая, с обнаженными ранами,
Заслоненная от холодного ветра
Солнечным светом, она
Дремлет, обессиленно улыбаясь.

Пока мы живем, и смеемся, и ждем,
И знаем —
Она не умрет.

Мотоцикл

Он стоял всю войну в сарае —
Ржавый, под бельевой веревкой,
В грохоте бомбежек, пришибленный
Превосходством военных машин.

А потом бои завершились,
И солдаты, сдавши оружие,
Разбрелись по родным городишкам,
Чтобы каторжно налаживать жизнь
В камерах своих мирных комнат
И карцерах служебных контор,
В летнем содоме курортов
И субботнем бедламе танцзалов.

Автобус казался им тряским грузовиком,
А начальник конторы — эсэсовским палачом;
Пыль дорог и дым городов,
Безвкусное пиво и безвкусица магазинов
Осточертели им хуже боев:
Войной они были сыты по горло,
А мизерной мирной жизнью — до подбородка.

И вот к нам пришел молодой человек.
Он купил мотоцикл за двенадцать фунтов,
Тут же завел его, покопавшись в моторе,—
Пробудил от бессмысленной шестилетней спячки,—
Послушал, как он работает, и остался доволен.

А ровно через неделю,
Туманным утром,
Он спасся:

Вмазался в телеграфный столб
На прямом участке шоссе у Свинтона.

Кедр

Пастырь из чужедальних земель
С грозным неистовством проклинал
Реки, равнины и вереск.

Предрекал бездонную тьму
Омутам торфяных болот.
Обличал облака и ветер.
Яростно громил небосвод
Ослиной челюстью пустоты.

А когда он переводил дух —

Когда лишь прозрачные капли
Защищали его,—
В этот миг
Он, замолчав, ощутил,
Что земля и небеса содрогнулись.

Молниеносно преображенный
На мгновение
новый пророк
Громоподобно вскрикнул.

Краунпойнтские пенсионеры

Старые лица, древние корни.
Местная память.
Плоские кепки, темные трости,
Блестящие кругляши набалдашников.

А над ними жаворонок в бескрайней голубизне.

Карта их жизни, как равнинный пейзаж,
Уходит в седую даль.
Их беседа струится словно река,
Медленно текущая вспять.
Церкви и фабрики на ее берегах
Одна за другой исчезают.
И только их родовая память
Неподвластна всесильному разрушителю.

Арфисты умолкшего царства —
Мощи их ссохшихся ликов,
Созвучные друг другу, как струны,
Завораживают, словно древняя музыка.

Дикарские, прихотливые вариации,
Отзвуки позабытых мелодий,

Доставшихся им по наследству,—
Песнопения здешних земель,
Озвученных их праотцами.

Трудно струится ручей.

Дремотно ткет паутинку
Летящий в Америку самолет.

Беседу лелеет ветер.

Утес венчальный

Святая святых — вершинный храм:
Корона из скал — глубинный костяк —
Обнаженный хребет земли.

Суетливая паства небес.
Недвижимая паства холмов.
Ни единой случайной черты.

Наэлектризованы шорохами
Обручальные камни,

И брак утвержден
Восклицательным знаком —
Темным перстом
Скалы.

Ты стоишь на холме
С многоцветным венцом,
С венцом облаков
И звезд
Над челом.

И отныне впредь
Ярко-черная тень
Перста, вознесенного ввысь,
Указует на тебя небесам.

Отныне впредь
Твой череп открыт
Пристальному взгляду луны.

Футбол в Слеке

По просторному лугу овальной долины
Снуют упругие, в ярких майках парни
И упруго прыгает кожаный шар.

Вот шар взлетел, и цветастые парни
Брызнули вверх, чтоб достать его головами,
Но он улетел под напором ветра,
И парни пружинисто устремились вслед.

Вот шар завис над зеленым лугом,
И ввысь взметнулся призывный вопль,
И шар покорно ринулся вниз.

Ветер из огненных прорех в небесах
Сгрудил над лугом темные горы,
Смешал сумасшедшие краски,
И вскоре
Долину залил бранчливый дождь.

Волосы слипались; быстрые ноги
Стали дробить луговое море,
А звонкие, радостные, умытые крики
Весело заглушили брюзжащий дождь.

Истово-синие склоны долины
Бессильно сникли под прессом Атлантики,
Однако неистово-рьяные нападающие
Рванулись к летящему вдоль ворот вратарю.

А пылающий глаз, приоткрывши тучи,
Вперился в луг слепящим зрачком.

Крылатые на рассвете

Две крылатые тени под рассветной звездой.
Внизу, как угли, мерцают тетерева.
Роса дробит розоватый свет.
И в пригоршне пенится петушиное пенье.

Крылатые силуэты летят к земле,
Скользя навстречу своим теням.
Дрыгаются у зайцев лапы.
И ограбленно тускнеют бекасы.

Говорливый поток прорицает им изобилие,
А солнечный свет заливает землю.

Крылатые силуэты скользнули к земле.
Мелькнули скрюченные вороньи когти.
И грянула война —
пронзительный вскрик
Рикошетной дробью раскатился по крышам.

Лежит безжизненный темный комок
Под черной, взметнувшейся к небу тенью.

С головы упало перо.
Полная пригоршня опустела.
В горле заглохла песня.

Стихотворения из цикла «Прометей над пропастью»

I

Он висит над пропастью,

Успокоившись,

Потому что это случилось.

Сквозь ребра вклинивается в скалу синева —
И гордость не отгородит, и мольба не отмолит.

Глаза — безрассудные стражники,
А рассудок — всего лишь глаз.

Однако он радуется — словно орел
В бескрайних просторах под кровавой зарей,—

Потому что
Иначе не будет,

Не было

И быть не могло.

Впервые,
спокойный,
беспомощный,
Титан ощутил свою мощь.

VII

Прометей,

Схваченный в середине пути
И повешенный меж землею и небом,

Проглотил украденный дар.

Цепи — или цепкие корни,—
Протянувшиеся с холодной земли,
Всасываются в раскаленную плоть,
Пробуя горящие кости.

А ограбленное, обозленное солнце
Вырастило яростного стервятника.

Но вскоре солнце, насытившись, расцвело,
А земля обагрилась шафраном.

Прометей, утратив свободу,
Украсился цветами блаженства —

Стенаниями земли и солнца,—

Взращенными холодеющим человечеством.

XI

Прометей над пропастью

Вспоминал свой сон —

Он спеленут цепями в безопасном убежище,
А космические пифоны, Море и Небо,

Бьются за Землю — всесильную драгоценность,
И расклепанная молотом шляпка гвоздя,
Которым он пригвожден к скале,—
Лишь трепетный мотылек у него на груди.

Его руки и ноги не должны рвать цепей,
Однако он опасается глянуть на мотылька —
Опасается утратить страданье блаженства.

Дивное сновидение —
блаженный мир,
Где печени дано исцелиться.

Но сейчас он вернулся в реальную жизнь
С цепями,
небом,
землей
и стервятником.

XVI

Прометей прикован,

Потому что украл,—
Но он далек от людей и не может им рассказать,—
У земли перегной, а у неба огонь.

Он жертвует свою плоть —
Ежедневная дань,—
Чтоб людей миновала чаша сия.

Он висит на цепях,
Распятый
под небесами,
Вдалеке от людей и не может сказать им,

Что они ничего не должны.

XVII

Не бог — лишь ветер в цветах.

Не цепи — лишь нервы и сухожилия.

Не стервятник — лишь багровое пламя,

Слово —
Ошметок солнца,—

Схороненное навеки неизреченным,
Пожизненная, бессмертная рана,

Кровоточащий безмолвием звук.

■

МЕДЖА МВАНГИ

Тараканий танец

ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА

Перевод с английского В. РАМЗЕСА

Пролог

В «Дакка-хаузе» не бывает зари. Новый день настает сразу, без предупреждения; его приход подобен подземному толчку или внезапному взрыву, грохот которого затихает лишь к ночи.

Все жильцы в силу укоренившейся привычки просыпаются еще затемно. Большинство вскакивают, не успев толком уснуть, в тщетной надежде оказаться первым под струей ледяной воды в единственной на весь дом душевой. Многие встают чуть свет, не управившись накануне с нескончаемыми домашними делами: чтобы починить поломанную дверь или расшатанный табурет, запаять прохудившуюся кастрюлю или таз, подмести в комнате, привести в порядок одежду. Другие же — несметная безликая масса — запускают на всю мощь приемники, решительно поворачиваются на другой бок и спят до тех пор, пока очередь в душевую не схлынет.

Так вот, задолго до пробуждения соседних домов вдоль Грогэн-роуд «Дакка-хауз» безотчетно включается в процесс существования. Чадят сковородки; постоянное зловоние чуть ли не со свистом бьет из переполненных мусорных баков и выгребной ямы во дворе.

■

Дазмен Гонзага проснулся от детского плача: отродье Водяного снова надрывало глотку. Весь мир словно сговорился против несчастного механика, в довершение всех бед боги наградили его умственно отсталым потомством. Ребенок не говорил, не ходил, не играл. И хотя вечно таращил глаза и двигал зрачками, пытаясь понять, что к чему, весьма сомнительно, чтобы в его размягченном мозгу что-нибудь запечатлевалось. Когда уродец упражнял легкие, оставалось лишь уши затыкать. Плач был какой-то неестественный — ржавый, сиплый скрежет, словно бы из преисподней. И только доведенная до отчаяния мать разбирала, воет ли младенец от голода, от страшного своего недуга или же от мучительных усилий наладить связь с внешним миром. Подобно мужу, несчастная женщина была робкой и замкнутой, никогда не заговаривала с соседями.

Отпрыск Водяного орет для того, подозревал Дазмен Гонзага, чтобы поддержать традицию «Дакка-хауза»,— каждый жилец должен вносить посильный вклад во всеобщий бедлам.

Тото, насвистывая, влетел в комнату — он уже постоял под холодным душем — и с грохотом захлопнул дверь. Когда бы он ни ложился, просыпался всегда бодрым, и Гонзагу это бесило. Тото был среднего роста, худощавый, энергичный малый. Каждое утро, вскочив с постели, он принимался напевать и боксировать с воображаемым противником, пока не вспоминал про ненавистную работу. Тогда он поспешно оде-

© Meja Mwangi, 1979.

вался и убегал на службу. В данный момент, мурлыча приставший к нему дурацкий мотивчик, Тото облачался в костюм.

— Если ты не можешь не петь с утра пораньше,— сердито бурчал всякий раз Дазмен Гонзага,— пел бы что-нибудь осмысленное.

— Например? — задорно спрашивал Тото.

— Ну, скажем, гимн.

— Я ни одного не знаю.

— Вспомни хотя бы государственный.

— В жизни его не слыхал.

— Тогда заткнись и не мешай мне думать.

— Охота тебе напрягать мозги в такую рань!

— Я размышляю о том, что́ я делаю в этой дыре.

— Ты в ней живешь, приятель. Жи-вешь!

Обычно их разговор на этом и кончался. Но, как вскоре предстояло убедиться Дазмену, сегодняшний день был не таким, как другие.

— Я хочу есть,— заявил Тото,— просто умираю от голода.

— А я так уже умер,— простонал Дазмен, поворачиваясь на другой бок.— Голод безвременно свел меня в могилу.

Он натянул на голову одеяло, но все равно слышал, как Тото расхаживает по комнате, с вызовом напевая все ту же дурацкую мелодию.

— Что у нас на завтрак? — спросил Дазмен.

— Керосин кончился,— отозвался Тото.

— Так я и знал! — Поднявшись на локте, Дазмен через прореху в занавеске выглянул во двор.

Субботнее августовское утро было ярким и солнечным. Абсолютно никакого предлога, чтобы не идти на работу, однако ночью он твердо решил прогулять. Ему до смерти надоело снимать показания счетчиков на автомобильных стоянках. Пусть переводят его снова на водомеры. Он дошел до точки — при виде автомата ему делалось дурно. Они преследовали его по ночам. Ему мерещились целые их полчища и цифры, цифры. Сотни тысяч цифр. Сны были просто сумасшедшие. Тараканы скакали и отплясывали в темных и пустых закоулках его мозга, строили ему рожи.

— У тебя сегодня выходной? — спросил Тото, надевая пиджак.

Дазмен покачал головой. Он снова попробует попасть на прием к начальнику отдела. Пусть переводит Гонзагу на прежнее место, не то и свихнуться недолго.

— Деньги есть? — спросил он.

Тото кивнул.

— Хочешь одолжить мне фунт?

— Не очень-то.

— Тогда два.

— Дазмен, ты и без того должен мне пятерку,— напомнил Тото.— Вот и возьми из нее два фунта, а мне верни разницу.

Тото включил радио. Оно было постоянно настроено на волну «Клуба завтракающих», так что стоило утром лишь нажать на клавишу — и в ту же секунду блюдо из рекламы кукурузных хлопьев готово! Радио перекрыло долетавшие снаружи звуки, добавив к общей какофонии собственное пакостное блеяние.

— Что происходит? — спросил Дазмен.— Ты сам не раз бывал на мели, как каждый из нас.

— Тебе завидно или поплакаться охота?

— Сам не знаю,— ответил Дазмен.— Я что-то плохо соображаю.

Тото поглядел в зубчатый осколок зеркала. Худощавый, моложавое лицо — не поверишь, что ему стукнуло тридцать В это субботнее утро Тото было немного не по себе из-за крупной попойки накануне, однако в осколке зеркала он выглядел превосходно.

— «Спешу на свидание с ангелом!» — пропел он, смахнул щеткой волоски с лацкана спортивного пиджака и шмякнул об стол ладонью с двумя фунтовыми бумажками — для Дазмена.— Когда ты намерен начать со мной расплачиваться?

— Скоро. Дай закурить.

Тото швырнул ему сигарету на кровать, Дазмен поймал ее, но она выскользнула и упала на пыльный пол. Дазмен был значительно крупнее Тото, производил впечатление неуклюжего тугодума и увальня. Он чувствовал себя дурно, а выглядел и

того хуже. От усталости под глазами набрякли мешки, в уголках пухлого рта залегли складки.

— Дай-ка огня,— сказал он.

— Никогда у тебя ничего нет,— заворчал Тото, метнув ему серебряную газовую зажигалку.

Дазмен повертел ее, пристально разглядывая, в огромных ладонях, потом прикурил. Верно, думал он, у меня и в самом деле никогда ничего нет.

— Где ты ее стянул?

— Я ее не стянул.

— Я считал, что ты получаешь гроши, как и все мы,— Дазмен вернул зажигалку хозяину.

— Гроши и вши,— пошутил Тото.— Я ее не купил, это подарок друга.

Дазмен потянулся и плотоядно зевнул. Нельзя пить не закусывая, на пустой желудок.

— А как насчет парочки сигарет, чтобы мне тут скоротать утро? — сказал он.

Тото бросил ему всю пачку.

— Смотри не забудь купить керосин!

Тото ушел, хлопнув дверью. Их совместное существование протекало легко и непринужденно — как в армейской казарме. Каждый жил своей жизнью, и лишь изредка они сходились за кружкой пива. Единственное, что их связывало, была квартирная плата, которую они отдавали Тумбо Кубве.

Дазмен откинулся на подушку и уставился на таракана, совершавшего рекордный марш-бросок по потолку к трещине на противоположной серой стене. В комнате было как никогда пыльно и до одури душно. Диктор, ведущий «Клуб завтракающих», надсаживал свой бесцветный голос, тщетно тужась походить на кого-то из американских негров — исполнителей музыки «соул».

Дверь с грохотом распахнулась, Дазмен вздрогнул от неожиданности. В комнату, задыхаясь, ввалился Тото.

— Машина! — ловя ртом воздух, выпалил он.

— Какая машина? — Дазмен, точно ужаленный, сел на кровати.

— Твоя... она... иди... увидишь.

Гонзага впрыгнул в брюки, схватил рубашку и помчался вслед за Тото, на ходу застегиваясь. Оба оказались на улице одновременно. Машина была на прежнем месте. Стоя рядом с Тото, вдыхая тяжелый аккумуляторный запах, идущий от гаражей, и щурясь под ярким солнцем, Дазмен разглядывал свою колымагу. Вроде бы все нормально, только вот чересчур осела, словно бы «перебрала» с утра пораньше.

— Какие-то мерзавцы сняли колеса,— произнес Тото фальцетом.

Дазмен не верил своим глазам. В самом деле, колес нет. Он прислонился к кабине и в ярости замолотил кулаком по крыше. Безысходность и отчаяние душили его, он не мог вымолвить ни слова. Тото перевел взгляд с дружка на машину и пожал плечами.

Мартышкины дети, ворюги с Грогэн-роуд! Вот и до него добрались. Дазмен кожей чувствовал: его машине конец, отъездилась. Уже полгода, как она на приколе, в подвешенном состоянии — между дорогой и свалкой металлолома. Он тем временем вкалывал как дьявол, снимал показания с миллионов ненавистных счетчиков и копил, копил на ее ремонт. Теперь все, дни ее славы ушли безвозвратно. И не придумаешь, как собрать деньги на полный комплект колес.

Дазмен Гонзага приобрел подержанный «триумф» у того самого белого, который потом уволил его из отеля «Саншайн». Всего за четыре тысячи шиллингов — прямо-таки даром, хотя пришлось менять ржавую подвеску и продранные сиденья, на что ушло еще две тысячи. Два года она бегала, не требуя особых затрат и не доставляя ему хлопот, до тех пор пока его не прогнали со службы в отеле. Тут ее словно подменили. Будто бы в знак протеста она впала в необъяснимое уныние, внезапно сделалась капризной и ненадежной. Каждые сто метров ломалась, из нее сыпались детали, стоившие столько, что Дазмен просто не мог наскрести денег на их замену.

Дазмен упрямо цеплялся за свой автомобиль. Он верил в него. То был символ его прошлой жизни, о которой не стыдно вспоминать. Если «Дакка-хауз» оскорблял его достоинство, то машина исцеляла уязвленное самолюбие. Даже утратив подвижность и пылясь у дома, она вселяла в него гордость: среди обитателей «Дакка-хауза»

он — единственный владелец автомобиля. Но самое главное — она залог того, что он не на век здесь, в этой трущобе. Пока она у него есть, он верил, что настанет день, когда он покинет эту дыру. Он приехал сюда на стареньком «триумфе» и на нем же уедет отсюда. Расстаться с ней — значит не только изменить прошлому, но и отказаться от надежды на лучшее будущее.

Эти мысли проносились в его голове, пока он, словно окаменев, глазел на машину, ставшую жертвой мародеров.

А Грогэн-роуд жила обычной жизнью. Толпы людей, толкаясь, спешили по своим вечным делам; оставленные хозяевами машины покрывались коростой пыли; масло, бензин и вода капали с них на мостовую. Проезжавшие грузовики месили жирную смрадную грязь, брызги залепляли заспанные покрасневшие глаза. Вид машины без колес никого не удивлял, он был привычным для Грогэн-роуд...

Прежде чем отправиться в городской совет на прием к начальнику отдела по поводу своего перевода, Дазмену надо еще было сочинить деловое письмо администрации отеля «Саншайн» с напоминанием о том, что по суду ему причитается с них компенсация за незаконное и несправедливое увольнение.

На составление письма ушло почти все утро. Он отчаянно пытался сохранить хоть и непримиримый, но вежливый тон, однако ненависть к ним была столь сильной, что ему не удалось удержаться от ядовитых замечаний. Все это время за окном не умолкали дети Сукумы Вики, охотившиеся на крыс в мусорных баках. Из них вырастут убежденные истребители грызунов...

■

У входа в «Пракаш-хауз» маячил старый привратник в защитного цвета униформе, выставляя на всеобщее обозрение новенькую пластмассовую каску и увесистую дубинку. Таких стражей по всему городу несметная армия, они еще лютее своих хозяев. Не надейся войти в подъезд, если костюм на тебе не от самого дорогого портного, если ты не вылез из лимузина и вообще не тянешь по виду на президента компании. У привратников с сонными глазами обострено шестое чувство, они безошибочно определяют тех, кто ищет работу, чуют их за километр и ничего, кроме презрения, к ним не испытывают.

Лифты в ратуше, как обычно, бездействовали, пришлось взбираться по лестнице на четвертый этаж, где помещалось Управление водопровода и канализации. Сколько раз поднимался он по этим ступеням, добиваясь приема у начальника по одному и тому же вопросу! На каждой площадке знакомые плакатики: «Осторожно, скользкий пол!» Куда ни посмотришь, всюду таблички и стрелки: «Входа нет», «Посторонним вход запрещен», «К бухгалтерии», «В отдел жалоб», «Мужской туалет», «Склад», «К чертовой матери». А на дверцах опочивших лифтов было начертано: «Не работают. Поднимайтесь по лестнице». Просто и доходчиво!..

На площадке третьего этажа Дазмен остановился перевести дух. В свои тридцать пять он чувствовал себя стариком, заношенным до дыр, как единственные башмаки. Дазмен, несмотря на более чем зрелый возраст, еще не успел жениться, а ведь скоро из него песок посыплется. Его без малого двухметровый скелет выпирал из-под кожи, как говорится, мяса и на один шампур не наберется. Одежда, некогда сидевшая на нем безупречно, теперь свисала и топорщилась, придавая ему сходство с отправленным на пенсию огородным пугалом. Голубая «водолазка» выцвела, потеряла упругую эластичность и висела мешком. Линялые джинсы сели на два дюйма и не прикрывали костлявых лодыжек.

Нужный ему человек помещался в конце тускло освещенного коридора за дверью с табличкой «Начальник Управления водопровода и канализации. Посторонним вход запрещен!»

За дверью — комната для посетителей и секретарши. Ее стол был задвинут в дальний угол, большущий плакат над ним гласил: «Босс не всегда прав, но он всегда босс». На низеньком столике лежали груды старых номеров «Экономик ревю». Два жестких стула предназначались для посетителей. Эти стулья вызывали в Дазмене столь сильное отвращение, что он предпочитал дожидаться своей участи, стоя на ногах. Секретарше обычно требовалось немалое время, чтобы заметить его присутствие. У этой женщины был мощный бюст, хмурая складка на переносице и голос острее битого бутылочного стекла. Терпеливо ожидая признаков ее благосклон-

ного внимания, Дазмен гадал: заготовлена ли эта отталкивающая гримаса специально для него или же так встречают здесь всех.

У секретарши начальника отдела чувства юмора было примерно столько же, сколько у таракана, попавшего под струю инсектицида. Ей потребовалось целых пять минут, чтобы заметить Дазмена, который устало переминался с ноги на ногу. Она велела посетителю сесть на один из столь ненавистных ему стульев и продолжала печатать. Подчиняясь команде, он сел, закурил сигарету и в отместку отказался замечать пепельницу из консервной банки на журнальном столике. Пепел падал на натертый пол. К тому времени, когда она еще десять минут спустя скомандовала ему пройти в кабинет босса, пол вокруг его стула покрылся тонким сероватым налетом. Она либо не заметила этого, либо ей было все равно.

Дазмен встал, потянулся и устало зевнул, потом понес свой скелет в кабинет начальника. Великий человек был занят тем, что копался в ящиках письменного стола, с напряженным вниманием заглядывая в конверты. Не удостоив посетителя и взглядом, он велел ему садиться, а сам продолжил розыски.

Начальнику отдела было сорок пять лет, его большое круглое тело напоминало гигантский муравейник. И хотя ростом он был ниже Дазмена, весил он раза в три больше за счет подбородка, щек, живота и огромного зада. Голова тыквой, седеющие волосы отступили к затылку, открыв полированный черный шар лысины, гладкой, как зеркало или начищенный башмак. То был стреляный воробей. Дазмен давно утратил иллюзии, будто босс и в самом деле причастен к работе столичного водопровода и канализации. Однако со всеми жалобами жители шли к этому беспомощному толстяку: больше обращаться не к кому! Дазмен был уверен: где-то за спиной босса прячется специалист, который и делает за начальника всю работу.

В кабинете стоял еще один стул, тоже жесткий, специально чтобы просители не засиживались. Сев на него, Дазмен закурил новую сигарету и приготовился к долгому ожиданию.

— Ну?! — произнес наконец начальник, швырнув конверты в ящик и с треском его задвинув.

Он поднял голову, и на круглом лице засияло выражение доброжелательства, отразилось стремление быть полезным. Дазмен знал, насколько этот вид обманчив.

— Могу быть чем-нибудь полезен? — Босс пустил в ход усталую, нетерпеливую улыбку, она озарила его лик лишь на одно мгновение и тут же погасла.

— Меня зовут Дазмен Гонзага.

— Да?

— Я записан к вам на прием.

— Записан,— рассеянно повторил босс,— постойте, постойте. Дазмен, Дазмен Гонзага. Напомните-ка, по какому вопросу. Видите ли, столько всяких дел в моих умелых руках, что кое-что иногда не удерживается, проскальзывает между пальцами. Подскажите же, намекните хотя бы на цель вашего визита.

— Насчет работы,— ответил Дазмен без церемоний.

— Ну конечно, теперь я вспомнил,— в голосе начальника не было и сотой доли того энтузиазма, каким дышало его лицо.— Я-то было решил, что вы один из тех, кто приходит жаловаться, что с них берут больше положенного. Должен вам сказать, эти людишки точно гвоздь в диване. В последнее время наша бригада контролеров несколько переусердствовала в должностном рвении, в результате к нам буквально хлынул поток незваных гостей. Обратили внимание на толчею у бюро жалоб?

Дазмен кивнул.

— Некоторые из этих ублюдков торчат в коридоре с восьми утра. Такие упрямцы, прямо удивительно! Требуют встречи с самым главным, то есть, как вы понимаете, со мной, работать стало совершенно невозможно. Служащий бюро жалоб достаточно компетентен, незачем этим крохоборам ломиться ко мне. Понимаете, что я хочу сказать? Меня все это так злит, что я готов сгоряча кого-нибудь уволить!

Дазмен беспокойно заерзал на стуле.

— Однако,— продолжал босс,— я, кажется, отклонился. Итак, я догадываюсь, что вы работаете у нас. Правильно? В каком качестве, мистер...

— Гонзага,— подсказал Дазмен.

— Да. Гонзага. Кем вы у нас работаете?

Дазмен заколебался, не зная, чего ждать: вдруг и впрямь уволит...

— Я... контролер счетчиков,— промямлил он упавшим голосом.

— Ага, один из моих парней,— воскликнул великий человек, протягивая потную мясистую ладонь.— Должен сразу заметить, что я горжусь тем, как вы справляетесь с порученным делом. Сердце мое наполняется радостью при виде толп абонентов у входа в бюро жалоб. Это свидетельство того, мой друг, что мы с вами не зря едим свой хлеб. И когда они уходят от меня с чувством удовлетворения, я осознаю всю меру своей ответственности и вашей неослабной преданности долгу. Только на таких основах можно руководить общественным учреждением. Если бы все шло без сучка и задоринки, эти ублюдки не имели бы случая убедиться в том, сколь трудна и важна моя работа. Это дало бы моим врагам — а их, представь, не так уж мало — повод отдать мой пост своему родственнику или же иностранцу. Они давно под меня подкапываются. Тебе понятно или же все это чересчур сложно для твоего понимания?

Он сделал паузу, чтобы несколько раз жадно глотнуть воздух. Дазмен продолжал медленно кивать, открыв от изумления рот.

— Так,— продолжал начальник, сверкая воспаленными с похмелья глазами.— Я обязан сразу же заявить, без обиняков: в тот день, когда в бюро жалоб не обратится ни один заявитель, я вас всех уволю! Как тебе это понравится?

— Не очень,— сказал Дазмен, ошеломленный красноречием начальника.

— Я и не ожидал, что ты подпрыгнешь от радости, но из моих слов явствует, какое значение я придаю вашей работе. Однако я, кажется, снова отклонился. Так что же я могу для вас сделать, мистер...

— Гонзага.

— Да, Гонзага. Откуда у тебя такое имя? Гонзага!

— От матери.

— Прямо смех, чего только не придумают родители! Нарекут каким угодно прозвищем и не спросят, нравится тебе оно или нет.

— Мне мое нравится.

— А если бы нет? Что бы ты делал?

— Поменял бы.

— Да, это как будто разрешается. Забавно, мне почему-то никогда в голову не приходило... Это ведь прекрасная мысль! Пойми меня, я лично против них ничего не имею, однако должен сказать, что матерям не хватает чувства меры. Взять хоть, к примеру, мое имя — Кименде. Кто в здравом уме наградит ребенка таким бременем? Господи, спаси и помилуй! Кименде! Поверишь ли, оно ничего не означает. Никто не верит. Заставляют повторять два, а то и три раза по буквам и тут же забывают. За все годы, что я работаю в муниципалитете, мэр ни разу не обратился ко мне по имени. Он полагает, что оно звучит неприлично. Кименде! Наверно, моя родительница была навеселе, когда ей эта глупость пришла в голову. Впрочем, я опять, кажется, отклонился. Чего же ты от меня хочешь?

— Прошу перевода,— без лишних слов сказал Дазмен.

Начальник отдела склонил круглую голову набок и задумчиво почесал лысину. Налившиеся кровью глаза косились на Дазмена через массивный письменный стол. В тускло освещенных коридорах отдела водопровода и канализации поговаривали, будто начальник вечерами пропадает в ночном клубе «Кутилы», где распутничает и напивается до бесчувствия, а днем отсыпается в своем кабинете.

— Позволь, позволь,— пробормотал он,— мы ведь уже на эту тему беседовали, не так ли? Так или не так? Да, я твое дело помню. Ты добивался перевода на стояночные автоматы, верно?

— Об этом шла речь полгода назад,— сказал Дазмен.— Теперь я хочу назад, на водомеры.

— Объясни! — Начальник откинулся в директорском кресле, обошедшемся в десять тысяч шиллингов, и, закрыв глаза, приготовился слушать. В голове его снова застучало — с похмелья и от усилий сосредоточиться.

— Все-все? — спросил Дазмен.

Великий человек кивнул и, не открывая глаз, принялся массировать виски, стараясь унять боль.

Дазмен открыл было рот, но заколебался и пожал плечами. С чего начать? У его жизни нет ни начала, ни конца. Всякий раз, размышляя над своей судьбой, он не мог поверить, что все это действительно случилось с ним и что вся эта история продолжается по сей день. Его жизнь состояла из сплошной цепи катастроф, подстере-

гавших его на всем пути. Рассказы об этом вызывали на лицах слушателей странное выражение, и впоследствии они явно стремились избегать его. Трудно поверить в столь трагический рок. Да-да, сплошная трагедия, иначе не назовешь...

Дазмен попытался в нескольких словах изложить свое дело. Он поступил в муниципалитет после того, как был несправедливо уволен из отеля «Саншайн». Он согласился на должность контролера счетчиков по двум причинам. Во-первых, никакой другой работы нигде и в помине не было. Во-вторых — и это позитивная причина,— в муниципалитете признавали его способности и обещали перевести на место клерка, как только появится вакансия в финансовом отделе. Таково было устное соглашение между ним и нанимателями. Те, однако, не потрудились ему сказать, что вакансия может появиться лишь в том случае, если кто-нибудь из сотрудников умрет, уйдет на пенсию либо будет уволен. Большинство же постов было занято молодыми, здоровыми мужчинами, которые в обозримом будущем и не помышляли покидать службу в муниципалитете. Скорее Дазмен отправится на небо, чем это случится. Дазмену ничего не оставалось, как снимать показания счетчиков, причем делал он это с усердием, граничащим с фанатизмом. В результате счетчики начали мерещиться ему в самых невероятных местах. Он упомянул недавнее появление, впрочем довольно мимолетное, стояночного автомата у входа в засорившийся туалет.

— Что-что? — Начальник вдруг очнулся и, широко распахнув глаза, недоверчиво уставился на Дазмена.

Несколько недель назад Дазмен проснулся рано утром и поглядел в окно, чтобы определить, кто из соседей устроил выволочку жене в столь неподходящее время. И тут его взору предстал стояночный автомат, игриво прислонившийся к стенке у входа в коммунальную уборную. Дазмен протер глаза и снова посмотрел в окно. Автомат никуда не исчез и выглядел столь же естественно, как на оживленной центральной улице. Решив, что он сходит с ума, Дазмен мгновенно натянул брюки и выскочил наружу. Когда же он очутился во дворе, автомата и след простыл. Соседей тоже не было видно, один лишь Сукума Вики, пожилой зеленщик, показался на пороге своей комнаты.

В Дазмене постепенно нарастала ненависть к стояночным автоматам: безмозглые железяки — они не заслуживают и сотой доли уважения, которым пользовались трудолюбивые водомеры, без устали работающие под землей и не путающиеся под ногами.

— Ты лучший контролер в моем отделе,— сказал босс, выслушав Дазмена.— Должен прямо заявить, без обиняков: второго такого у меня нет.

— Я ненавижу стояночные автоматы,— сказал Дазмен, не повышая тона.

— И я тоже,— как эхо, подхватил начальник.— Выходит, нас двое.

— Чего двое? — не понял Дазмен.

В течение нескольких секунд начальник был погружен в глубокие раздумья, потом вскинул голову, и его взор засветился прозрением.

— У меня для тебя добрая новость,— в его голосе сквозила энергия и бодрость.— Я назначаю тебя старшим контролером.

— Это еще что за птица? — спросил Дазмен.

— Десятник,— пояснил босс,— что-то вроде инспектора. Видишь ли, ты мне нравишься. Хоть ты и не моего племени, но человек хороший. Работаешь усердно, инициативно. Видишь, со мной можно договориться. Я не буду отыгрываться на тебе за то, что твои соплеменники хотят отдать мой пост белому. Я ведь тебе про это рассказывал, верно? Они завидуют мне, потому что подчиненные во мне души не чают. Кроме того, я преуспевающий бизнесмен. Мне доподлинно известно, что они подсылали ко мне наемного убийцу. Но не робей, я не стану мстить тебе, потому что я человек разумный и добрый христианин. Мне отмщение, говорит господь. А дьяволу — дьяволово.

Дазмен потряс замороченной головой и закурил сигарету. Его ни капельки не интересовали интриги городских властей.

— Я переговорю с мэром,— начальник вошел в раж.— Ты должен стать моим новым десятником.

— А что стряслось со старым? — невзначай спросил Дазмен.

— Я уволю ублюдка.

— За что?

— Чтобы отдать эту должность тебе. Ты согласен или нет? Так или иначе, он редкостный бездельник. И его родичи хотят меня скинуть. Я ведь тебе про это говорил, верно?

Дазмен, потеряв всякую надежду что-нибудь понять, повесил голову. То ли ему предлагают взятку, чтоб он остался, то ли это бред сумасшедшего.

— Я не хочу повышения,— устало сказал он.— С меня довольно стояночных автоматов, сыт ими по горло. Неужто не ясно, видеть их не могу, черт бы их побрал!

— Лучше тебя работника нет,— твердил своё великий человек.— Счетчики вызывают в тебе эмоциональный отклик, значит, ты способен на большие свершения и трудовые подвиги. Я люблю тех, кто не жалеет сил, как я сам. Я не могу тебя отпустить. Никогда! Будешь у меня работать. Труд — это смысл жизни, слышал такое изречение? Не слышал? Так или иначе, все остальные — тупицы.

— Я тоже с приветом,— Дазмен ухватился за последний шанс быть отвергнутым.

— Что-что? — переспросил начальник.

— Ненормальный.

— Ты в этом уверен?

— Вне всякого сомнения.

— Я весьма огорчен,— начальник устало уставился на него заплывшими глазами.

Дазмен прищурился, но глаз не отвел, стараясь придать своему облику признаки тихого помешательства.

— Значит, ты совершенно в этом уверен? — переспросил босс.

Дазмен кивнул и высокомерно ухмыльнулся.

— И что же, это больно?

Дазмен ответил не сразу. Как определить то, что у него внутри? Отражаются ли нескончаемые ссоры демонов на его физическом самочувствии?

— Нет,— сказал он,— точнее, да, но не очень.

— Как жаль,— вздохнул босс.

— Ничего серьезного.

— Ты поправишься.

— Если вы дадите мне перевод.

— А к врачу ходил?

— Нет, говорят же вам, все, что мне нужно, это...

— Обязательно сходи к врачу,— перебил начальник.— Так, сейчас прикинем. Ну конечно же, доктор Бейтс. Слышал о нем? Нет? Не важно, это лучший специалист в городе, да что там в городе — во всей стране! Кончил Кембридж. Великолепный психиатр. Ну, понятно, он белый, но ведь и среди них бывают порядочные люди. Не то что самовлюбленное дерьмо у нас тут, в муниципалитете. Итак, доктор Бейтс!

Он написал имя и адрес на листочке и подал его через стол Дазмену.

— Не горюй,— сказал он.— Уверяю, он тебе понравится, я и сам частенько к нему обращаюсь.

Босс заметил, что Дазмен помрачнел.

— Да нет, не думай, со мной ничего серьезного,— поспешил добавить он.— Иногда появляются несильные боли во всем теле. Вот что, отправляйся на Стандарт-стрит, покажись ему, сегодня же... нет, уже не успеешь. В понедельник, с самого утра. Он умница, выпускник лучшего медицинского факультета во всем мире. Оксфорд, когда-нибудь слыхал? Нет? Не важно. Все равно сходи.

— Но...— начал возражать Дазмен, однако начальник остановил его.

— Бесплатно,— замахал рукой босс, как бы подталкивая Дазмена к двери.— Ему платит за нас муниципалитет, он пришлет счет сюда. Твое здоровье — моя величайшая забота.

— Но я не...— открыл рот Дазмен, и снова босс не дал ему договорить.

— Даю тебе недельный отпуск на лечение,— услышал Дазмен.— Кем-нибудь тебя на это время заменю. Ты должен прийти в норму.

Он поднялся, застегивая широченный пиджак на животе: знак, что разговор окончен. Настало время обычной субботней попойки, которая, если верить слухам, продлится до самого понедельника. Босс решительно выпроводил Дазмена из кабинета и запер за ним дверь.

■

Поднимаясь по лестнице в «Дакка-хаузе», Дазмен был уверен, что вот-вот умрет голодной смертью. Он забыл, когда последний раз ел, и как будто никто не собирается спасать его от гибели.

Детки Сукумы Вики только что прикончили очередную гигантскую крысу на усеянной мусором лестнице. Они взяли за правило убивать по одному грызуну в день в свободное от школы время и не просто убивали их, а забивали камнями и палками, пока на полу не оставалось лишь кровавое пятно.

Наблюдая за тем, что они вытворяют с дохлой крысой, Дазмен знал: со временем их пока что безобидный садизм и кровожадность найдут иной выход. Если эти крохи выживут в «Дакка-хаузе» и, достигнув определенного возраста, вольются в отряды уличного правосудия на Ривер-роуд, страшно подумать, какая участь ожидает воров!

На длинной деревянной скамье у двери Мганги сидела хмурая группка ожидающих приема пациентов. Они приходили сюда со всех концов города, чтобы спросить совета у колдуна и заручиться его помощью, чтобы фортуна стала к ним добрее.

Двор был заставлен сотнями старых бутылок всевозможной формы и цвета. Чупа на Дебе сортировал свою недельную добычу. Он был жилистым старичком, никак не меньше шестидесяти, с впалыми щеками, темными остекленевшими глазками и белой, как хлопок, густой шевелюрой. Уже давно его мучила боль в ногах, передвигался он медленно, страдая при каждом шаге. От таскания тяжелых мешков с бутылками и хламом плечи его ссутулились.

Чупа на Дебе промышлял не одними бутылками. Совершая ежедневный обход городских свалок, он собирал отслужившие свой век предметы: железки, годные на переплавку, старые газеты, которые выменивал у него на миску похлебки Сукума Вики, чтобы заворачивать в них овощи; прохудившуюся обувь, шедшую нарасхват среди обитателей «Дакка-хауза»; изношенную до дыр одежду, которая, если подлатать, еще годилась на то, чтобы срам прикрыть.

С дальнего конца двора, из комнаты Магендо, донеслись музыка и женский смех. «Только и умеешь, что смеяться да любить»,— припомнились Дазмену слова модной песенки. Как-нибудь ночью он подстережет Магендо, этого гангстера, и посчитается с ним...

В окно Дазмену была видна кучка начищенного до блеска металла: детали его машины, которые спас Водяной и приготовил к продаже на Грогэн-роуд.

Условились, что с каждой проданной детали Водяной получит десять процентов комиссионных, а остальное отдаст Дазмену.

■

Дазмен Гонзага уснул под утро. Всю ночь он мучительно копался в себе и заснул абсолютно убежденный, что, когда проснется, мир полетит в тартарары. Неважно, как именно это произойдет. Он и так зажился, хватит с него, пора и честь знать. Дазмен надеялся лишь на счастливый случай, на внезапные перемены, на последний шанс начать все заново, на другой улице или даже в другом городе. Каждую ночь, перед тем как погрузиться в неизменные кошмары, он предлагал пари тараканам, что не видать им завтрашнего дня и что его, Гонзагу, они видят в последний раз. Мир к утру погибнет, рухнет в преисподнюю. Тараканы выслушивали его тираду молча, а мыши пищали на потолке, давясь от хохота. Вопреки всем предчувствиям, «Дакка-хауз» наутро оказывался на прежнем месте, прямо как бельмо в глазу, на той же старой улице, в том же городе и той же стране. И Дазмену надо было вставать и отправляться снимать показания все тех же проклятущих счетчиков.

■

И снова ад разверзся на Грогэн-роуд. Все имеющиеся у жильцов радиоприемники, проигрыватели, магнитофоны и другие производящие шум приспособления были запущены на полную громкость, завывали на разные причудливые голоса. Ребенок Водяного еще не орал, зато Чупа на Дебе дубасил молотком по цинковой кастрюле, это было ничуть не лучше.

«Дакка-хауз» имел долгую историю, куда более пеструю, чем любой другой дом на Грогэн-роуд. Его стены выдержали самые немыслимые переделки. Он по сей день

крепко стоит на ногах, в то время как многие его сверстники исчезли с лица земли или же оседают и рассыпаются на куски. Этот факт является живым свидетельством высокого искусства мастера — старого Качра Самата, ныне коротающего свой век в роскошном особняке в тихом и зеленом пригороде. «Дакка-хауз» был цветком его юности, плодом его трудов. Он построил его собственными руками и назвал в честь родного города на реке Ганге, до которого отсюда многие тысячи миль, целый Индийский океан.

Вместе со многими своими земляками Качра Самат приплыл в Кению на строительство колониальной железной дороги. Страна была тогда дикой, необжитой пустыней, где белый человек пытался установить хоть какой-то порядок. Разбросанные по всему этому пространству туземцы не проявляли интереса к строительству, которое должно было облегчить белому человеку их закабаление. Когда все полторы тысячи километров дороги были сооружены, тысячи индийских кули, привезенных на трудоемкие работы, оказались без дела в чужой стране. Чтобы они не скучали, белый человек, пока сам готовился к новым свершениям в недрах темного континента, предоставил индийцам льготы для занятия торговлей, отвел большие участки земли под лавки и склады. Индийцы охотно пустились в коммерцию, преуспели в этом и обосновались в Кении уже более или менее прочно. Началось это давно, в те времена городские улицы были всего лишь грязными глинистыми проселками, а река на задах Грогэн-роуд — чистой и прозрачной; в свежей воде плескалась рыба и скользили ужи, над ней порхали стрекозы, на берегах гнездились птицы и дикие утки. Старые индийцы еще помнят времена, когда в этом болоте удили рыбу.

Качра Самат строил дом не для того, чтобы пускать жильцов. Он возводил его своими руками для собственной семьи. В те далекие дни в городе не было доходных домов. Тогда «Дакка-хауз» насчитывал всего один жилой этаж. В торговом помещении внизу менялись хозяева, пока наконец там не обосновалась мастерская, специализирующаяся на подержанных машинах и краденых запчастях. А до нее здесь сначала торговали индийским текстилем, потом был книжный магазин, фотография, сапожная мастерская, бакалейная лавка и уж только после нее автомастерская. Главным образом по причине удаленности от центра этот дом миновала участь, худшая, чем гибель, постигшая большинство бывших индийских владений на Ривер- и Грогэн-роуд,— их превратили в бары и дома терпимости новые хозяева-африканцы.

В верхнем этаже «Дакка-хауза» было пятнадцать комнат, предназначавшихся для многочисленного семейства Качра Самата, его близких и дальних родственников. Здание было построено в виде латинской буквы «L», двери и окна комнат выходили во двор.

Шли годы, и жизнь становилась привольнее, из Индии приезжали все новые земляки и навсегда селились в Африке. Вдоль реки и по всей долине вырастали как грибы каменные дома. Нужно было лишь отрыть яму и воткнуть фундамент в плодородную африканскую землю. Почти как в сказке возникла улица, точь-в-точь такая же, как улицы в Дакке или Дели. По доброй колониальной традиции ее назвали в честь прославленного английского полководца. В то время не было еще городской канализации, и иммигранты просто выливали нечистоты вниз по крутому берегу в реку. Вот отчего река на задах Грогэн-роуд превратилась в сточную канаву. Рыба вымерла, диких уток съели туземцы, только еще приобщавшиеся к городской цивилизации, а ужи и стрекозы подевались невесть куда. От реки днем и ночью шло зловоние. Вредоносные комары жужжали над Грогэн-роуд, а город все разрастался.

На холме вокруг всемогущей ратуши и судебных палат возникали новые улицы. Оттуда тоже вниз по склону потекли испражнения. Грогэн-роуд стала еще зловоннее. Пришлось передвинуть более фешенебельные лавки повыше, на только что отстроенную Ривер-роуд. На их месте вдоль Грогэн-роуд пооткрывались мастерские. Улица приобрела новый облик, воздух наполнился гарью и пылью, вся округа провоняла машинным маслом и аккумуляторами. На поросшем кустарником пустыре между Грогэн-роуд и рекой дни напролет жгли на кострах старые покрышки.

Затем улица подверглась еще одной напасти.

Времена были уже не те, все менялось на глазах. Некоторые законы, принятые, когда строилась железная дорога, с целью сохранить различия между слугой и господином, теперь устарели и даже, как поговаривали, сделались негуманными. Ныне отменялся запрет представителям определенных рас селиться в наиболее привлекательных и благоустроенных районах. Живите где хотите, коли есть у вас на это деньги.

Белые, индийцы, африканцы — все равно. И сразу стали модными пригороды, где до этого жили одни только белые. Согласно стремительно меняющимся социальным стандартам жить на Грогэн-роуд и в километровом радиусе от нее стало дурным тоном. Многие первооткрыватели обесчещенной улицы переехали на зеленые лужайки и свежий воздух бывших заповедных пригородов. И тогда на Грогэн-роуд хлынули первые африканцы.

Съехав и переведя с незадачливой улицы свои предприятия, большинство индийцев уступило тамошнюю свою недвижимость идущим в гору африканским бизнесменам. Но Качра Самат, с присущей преклонным годам сентиментальностью, держался за «Дакка-хауз» до последнего. Для него это была как бы часть родины, единственная связь с Индией, с прошлым. Нет, он и мысли не допускал о продаже.

Перевезя свою семью в пригороды, Качра Самат сдал торговое помещение на первом этаже старому приятелю и земляку, который пока еще не преуспел настолько, чтобы помышлять о новых кварталах. Жилые комнаты наверху арендовали две индийские семьи за восемьсот шиллингов в месяц. С помощью сыновей, делающих первые шаги по пути, проторенному отцом, Качра Самат управлялся в мануфактурной лавке на Виктория-стрит. Шли годы, и он все дряхлел; сыновья сменили его у руля расширяющегося дела. На только что отстроенной тогда Гавернмент-роуд открыли филиал, и чтобы заплатить за помещение, решено было в конце концов расстаться с «Дакка-хаузом».

Так обветшавший «Дакка-хауз» попал в руки ловкого африканского бизнесмена.

Тумбо Кубва одним из первых африканцев продрал глаза после долгой спячки, на которую обрек колониализм туземцев. Едва он смекнул, куда дует ветер перемен, сулящий крупную удачу, он поднял мятые паруса и пустился в плавание по бурным волнам биржевых игр и инвестиций. Шаря глазами по Грогэн-роуд, он остановил свой взор на детище Качра Самата и сразу оценил возможности, таящиеся за скромным потрескавшимся фасадом «Дакка-хауза». Бетонные стены, испещренные подтеками и пятнами, сулили тысячи легких шиллингов. Нужно было лишь поднатужиться, а недостающую сумму занять в возникших недавно кредитных компаниях, лишенных расовых предрассудков.

Он уплатил Качра Самату наличными, ибо даже в те далекие времена ни один нормальный индиец не принял бы подписанный африканцем чек. Как только купчая была оформлена, Тумбо Кубва запустил колеса на полный ход. Он дал индийским семьям два месяца сроку на подыскание другого жилья. Их восемьсот шиллингов — жалкие гроши по сравнению с тем, что Кубва собирался выколачивать из своего приобретения. Индийцы умоляли его не выселять их, но им было не по карману платить новую цену, которую он заломил, так что пришлось съехать. В тот же день Тумбо Кубва привел бригаду плотников, штукатуров и водопроводчиков, набранную из безработных на перекрестках и в низкопробных пивных. Кубва никогда не платил за то, что можно получить обманом. Он обратился к этому сброду с зажигательной речью. Их следовало приструнить, приучить к дисциплине. У Кубвы было множество идей и планов, были инструменты. От работяг же требовался только их труд. Заплатит он им столько-то и ни цента больше.

Началась работа, жилое помещение перекраивалось. Просторные комнаты делились на две при помощи картонных перегородок. Каждая комната стала самостоятельной единицей с неким подобием окна и отдельным входом. За нее можно было брать не меньше трехсот шиллингов в месяц. Из старых обрывков сделали проводку, в каждой клетушке была теперь лампочка на потолке и выключатель. После этого рекрутированная рабочая сила была перекинута во двор.

В двух кухнях сняли полки, водопроводные трубы и поделили их на клетушки, где едва помещалась койка и керосинка. Ванную комнату между уборной и душевой тоже оборудовали под жилье — чугунная чаша пошла в утиль. Для жильцов на внешней стене душевой был установлен единственный на всех кран.

Бригада строителей уложилась в кратчайший срок; теперь вместо пятнадцати комнат «Дакка-хауз» насчитывал тридцать отдельных клетушек, включая бывшие кухни и ванную, плюс одна уборная, одна душевая и один водопроводный кран. Каждая келья едва превосходила по размерам товарный контейнер. Кроме этих переделок «Дакка-хауз» не претерпел никаких изменений. По-прежнему отваливалась закопченная штукатурка, по-прежнему текла кровля, разбитые окна никто и не подумал застеклить.

Тумбо Кубве не пришлось рекламировать сдаваемые внаем помещения. Потенциальные квартиросъемщики загодя прослышали о новом дерзновенном африканском проекте. Еще не кончился ремонт, а они уже приходили поглазеть, выражая страстное желание числиться среди соискателей, и вносили задаток в размере месячной платы. Их взносы в основном и покрыли расходы по перестройке. Блокнот Кубвы был испещрен именами записавшихся в очередь, против фамилий была проставлена внесенная каждым сумма.

На следующий день по завершении работ Кубва отпер все двери, распахнул главный вход, и внутрь хлынул людской поток. Жильцы ринулись в комнатушки, а Тумбо Кубва довольно ухмылялся. Господь был к нему милостив. В первый же месяц «Дакка-хауз» легко, без шума принес ему восемь тысяч шиллингов, в десять раз больше того, что получал с двух индийских семей Качра Самат. Кубва был на седьмом небе. Ведя машину к своей загородной вилле, он возносил хвалу всевышнему, чувствуя себя совершенно счастливым человеком.

Дазмен был среди первых африканцев, поселившихся в «Дакка-хаузе». Тото присоединился к нему несколько месяцев спустя. Он только что кончил учебу и искал в городе работу. Школьный аттестат и юношеский энтузиазм — вот и вся его тогдашняя амуниция.

■

Если кто и мог помочь Дазмену Гонзаге выйти из штопора, то этим человеком безусловно был рекомендованный шефом доктор Х. С. Р. Бейтс. Только врач способен осознать, какими опасностями чревата работа, которая тебе не по нутру. От нее гнил мозг и притуплялись чувства, она разрушала организм, как медленно действующий яд. Только высокообразованный специалист сумеет подтвердить, что такое дело, как снятие показаний счетчиков,— не для Дазмена. Он был рожден для важных свершений в области национального строительства, управления экономикой, интеллектуального труда.

Блондинка в приемной доктора Бейтса заставила его прождать пять минут, пока она не кончит стучать на громоподобной электрической машинке. Других посетителей в просторной, обставленной дорогой мебелью приемной не было. На журнальных столиках были разложены свежие номера «Тайма», «Ньюсуика», «Бизнес таймс», различных научных и медицинских изданий.

Ровно в десять часов она взглянула на него поверх очков и кивком велела проследовать в кабинет доктора Бейтса, который уже ждал первого в этот день пациента.

Он был высокий, тощий, сутулый, с нездоровым цветом кожи. Реденькие волосы начали седеть на висках. Он уставился на Дазмена внимательными голубыми глазами сквозь едва держащиеся на носу роговые очки.

— Доброе утро! — прогромыхал он низким басом, неожиданным в столь тощем теле.

— Доброе утро,— ответил Дазмен. — Я Дазмен Гонзага из...

— Как поживаете, Дазмен?

— Очень...

— Садитесь, садитесь. Мистер Кименде мне звонил насчет вас.

— Да ну? — удивился Дазмен.

— Он мой добрый знакомый,— грохотал доктор, потирая руки. — Чувствуйте себя как дома.

Дазмен, не придя в себя от изумления, опустился на указанный стул. Начальник звонил?! Не может быть! Наверно, не он сам, а его секретарша.

Разделявший их стол был пуст, если не считать двух пепельниц и портсигара. Пол был застлан ковром цвета морской волны — от стены до стены. Одна стена вся была в книжных полках, за стеклом рядами стояли сотни справочников и научных журналов. На низком столике, в высокой вазе из тонкого стекла — свежие гвоздики. В углу поблескивала хромом новенькая кушетка для осмотра больных, обитая мягкой черной кожей. Рядом — стол на колесиках, на нем набор всяких медицинских инструментов и приспособлений.

На фоне роскошного кабинета индийский доктор Патель выглядел бы удручающе и нелепо; все равно что поставить холодильник последней модели в «Дакка-хаузе». Заведение настолько отличалось от презренной клиники на Хасрат-роуд, что Дазмена охватило беспокойство.

— Как ваше самочувствие, Дазмен? — спросил доктор с напускной жизнерадостностью.

— Так себе,— ответил Дазмен.

Ни одному белому не удастся снова его околпачить, он не поверит улыбкам до ушей и презрительным холодным глазам. Он на них уж нагляделся! Один такой тип улыбался ему каждое утро целых два года, потом всучил ему никуда не годную машину и в довершение всего прогнал со службы. Нет, Дазмен до конца своих дней не улыбнется белому!

Кабинет доктора Бейтса находится на двенадцатом этаже здания, имеющего репутацию самого высокого, самого современного и самого дорогостоящего в Африке. Из окна открывается вид на весь город, вплоть до африканских трущобных локаций Иерихон и Иерусалим, лежащих в дымке на сухих и голых равнинах. Из другого окна видны раскидистые деревья и зеленые кусты фешенебельных вилл тех самых пригородов, где Дазмен провел большую часть своей жизни и оставил немало сил, снимая показания водомеров. Как ему хотелось туда вернуться! Разглядывая вид из окна кабинета доктора Бейтса, можно вообразить себя на крыше мира.

— Хотите кофе, Дазмен? — спросил доктор.

Неслышно, точно привидение, в кабинет вошла секретарша. Она остановилась у порога, выжидательно потирая руки и улыбаясь без всякой к тому причины. Она была невысокой и пухленькой — все на месте. Для белой весьма даже привлекательна.

— Черный или с молоком? — спросила она.

— Черный, как я сам,— сказал Дазмен.

Он вовсе не хотел вогнать их в смущение. Ответ вылетел сам собой — потрепанную книжечку с таким названием ему пытался всучить оборванный книготорговец на Ривер-роуд. Оба белых покраснели и поспешили спрятать смущение за белозубой улыбкой и холодным взглядом.

— И мне без молока,— сказал секретарше доктор.

— С сахаром? — спросила она Дазмена.

Дазмен утвердительно кивнул. Женщина вышла и почти сейчас же вернулась с двумя дымящимися чашками.

Доктор глотнул кофе, вынул из ящика стола блокнот, ручку, досье в черной обложке и разложил все это перед собой. Из нагрудного кармашка темно-синего костюма извлек крахмальный платок. Протерев им стекла, доктор снова водрузил очки на нос.

— Итак, Дазмен,— он вновь оскалил зубы,— у нас будет доверительный, задушевный разговор. Расслабьтесь, ни о чем не думайте и... — он указал на портсигар,— курите, если хочется. Что касается меня...

Из другого ящика появилась на свет трубка и жестянка с табаком. Он пододвинул Дазмену настольную зажигалку, а рядом с собой положил коробку спичек.

Терапия доктора Бейтса основывалась на глубокой и неколебимой вере в то, что деньги, женщины и власть, величайшие побудительные факторы человеческого прогресса, являются в то же время основной причиной всех умственных расстройств, возникающих у особей мужского пола. Эта теория никогда еще его не подводила: он мог при помощи тщательно отобранных вопросов поставить диагноз, выбрав из тысячи и одного синдрома единственно верный.

Он снова отхлебнул кофе и, набив трубку, принялся энергично ее раскуривать, пока табак не разгорелся, затем опять приложился к чашке с кофе. Можно было приступать. Он откинулся на спинку кресла и заглянул пациенту прямо в глаза.

— Итак,— заговорил он наконец,— начнем с того, что вы мне что-нибудь о себе расскажете.

— Что, к примеру? — поинтересовался Дазмен.

— Что угодно. О доме, о семье, о работе. Ваши мечты, надежды — что-нибудь в этом роде.

Дазмен почесал в затылке, взъерошив волосы для того, чтобы усилить впечатление о тяжести своего нездоровья, открыл портсигар, достал дорогую сигарету, небрежно закурил, сделал несколько быстрых затяжек и одобрительно закивал. У доктора прекрасный вкус и достаточно денег, чтобы вкус этот удовлетворять.

— Что в голову придет? — переспросил Дазмен. — Или все подряд?

— Все, что душе угодно,— улыбнулся доктор Бейтс. — Первое, что вспомнится.

Дазмен снова умолк, задумавшись. Были вещи, о которых он и рад бы поведать доктору, однако делать это никак нельзя. Скажем, про то, что он твердо решил убить Магендо, бандита и гангстера, чтобы отомстить за жену Водяного. Нет, про Магендо он доктору не скажет.

— Ну, так,— начал наконец Дазмен.

Он выложил доктору Бейтсу почти все. Дазмен говорил, а доктор делал пометки в блокноте. Рассказал про работу, про то, как лишился места в отеле «Саншайн»; живописал доктору Грогэн-роуд и «Дакка-хауз», сопровождая свой подробнейший рассказ красноречивыми жестами. Таким образом доктору был представлен обтрепанный зеленщик Сукума Вики, его супруга, их босоногие дети с заскорузлыми пятками. Бейтс познакомился с застенчивым и робким Водяным; с почтенным улыбчивым домовладельцем Тумбо Кубвой, членом муниципального совета и предпринимателем; со старьевщиком Чупой на Дебе; с мышами, тараканами и бессловесной безликой массой.

— Говоря о бессловесных и безликих,— перебивая Дазмена, спросил доктор Бейтс,— кого конкретно вы имеете в виду?

Этот термин ввел в обращение напарник Дазмена Тото применительно к семидесяти пяти процентам обитателей «Дакка-хауза», о которых было известно либо крайне мало, либо ничего. То были самые обычные люди, жившие ничем не примечательной жизнью. У них не было никаких заметных черт и особенностей в характере, внешности и роде занятий. Они так и останутся в тени до самой смерти. Почти ни у кого из них не было имен, кличек, лиц и голосов. Ничего хоть сколько-нибудь запоминающегося. Дазмен не сталкивался с ними неделями, хотя ни на миг не мог отвлечься от их незримого присутствия в «Дакка-хаузе». Они напоминали о себе сухим покашливанием, громкими вздохами под окном. Он ненавидел их за это их свойство присутствовать и отсутствовать одновременно; они были реальны, но нереальны; живы, но мертвы.

Когда Дазмен умолк, доктор тяжело и громко вздохнул, выбил пепел из чашечки трубки и вновь набил ее табаком.

Он был выпускником Оксфорда и Кембриджа — лучших медицинских факультетов в мире, как утверждают англичане. И вот впервые в его долгой и блистательной карьере он не находил слов, не мог придумать уместной первой фразы.

Раскурив наконец трубку, он прямо-таки присосался к ней. Дазмену показалось, что это длилось целую вечность, он подумал было, что с доктором происходит что-то странное, но вот он наконец прочистил горло и протрубил:

— А что, собственно, побуждает вас полагать, будто вы безумны?

— Это не я так считаю,— негромко ответил пациент. — К этому выводу пришел мой босс, когда я рассказал ему о призраке стояночного автомата возле нашей уборной. Он убежден, что только безумцам может померещиться такое.

— А какого мнения вы придерживаетесь? — спросил доктор Бейтс.

— Я для того и пришел к вам, чтобы узнать правду.

Доктор Бейтс на миг задумался.

— Вам когда-нибудь проверяли зрение? — спросил он.

— С глазами у меня все в порядке.

— Откуда вы знаете?

— Потому что они мои,— сказал Дазмен. — Я вижу ими вас, и... в своих глазах я уверен.

Откуда доктору Бейтсу знать, что в глубине души Дазмен испытывал укоренившуюся неприязнь к специалистам! Он ни за что бы не пришел сюда, не будь надежды на то, что Бейтс проявит сочувствие и ускорит перевод Дазмена на водомеры или же на обещанную ему давным-давно конторскую должность.

— Как у вас с женщинами? — последовал очередной вопрос.

— Это не имеет отношения к делу.

— Напротив, самое прямое,— возразил доктор. — Поверите ли, большинство заболеваний и проблем у мужчин так или иначе связано с женским полом. Некоторые мудрые философы полагают, что девяносто девять процентов мировых проблем порождаются женщинами.

— Я считаю себя нормальным, вполне здоровым африканским мужчиной,— отчеканил Дазмен,— и не позволяю женщинам причинять мне зло, кроме самого необходимого и неизбежного.

Доктор Бейтс кивнул и углубился в чтение конфиденциальных сведений, хранящихся в черном досье. Он нахмурился, потом снова закивал, начал говорить сам с собой. Перед ним явно необычный пациент!

— Возвращаясь к вопросу о стояночных автоматах, — сказал доктор, глядя в упор на сидевшего по другую сторону огромного письменного стола Дазмена. — Вам не приходило в голову, что у вас своего рода мания мужского естества?

— При чем тут стояночные автоматы? — недоуменно спросил Дазмен.

— Самая непосредственная связь,— ответил специалист. — Очевидная зависимость. Когда вы... э... смотрите на женщину, что вам при этом видится?

— Понятное дело — женщина!

— А когда вы смотрите на... обнаженную женщину?

— Я не глазею на голых. Это неприлично. Мы не разглядываем чужую наготу.

— В таком случае как же вы...

— Гасим свет!

Доктор Бейтс в отчаянье замотал головой. Во всем, что происходило, не было решительно никакого смысла.

— Почему вы так ненавидите того... мужчину, что живет в ванной?

— Водяного?

— Как его настоящее имя?

— Другого имени у него нет... Я хочу сказать... не слышал никогда... все его так зовут.

— И вы его ненавидите?

— Да.

— За что?

— Он мне не нравится, вот и все,— неуклюже объяснил Дазмен. — Можно еще сигарету?

— Конечно, пожалуйста.

Дазмен закурил, про себя отметив, что битый час отвечает на абсурдные вопросы, не имеющие никакой логической связи.

Белый человек отряхнул пылинки с синего костюма и вновь раскурил трубку. Он начинал злиться.

— Он действует мне на нервы,— решил признаться Дазмен.

— Кто?

— Водяной.

— Чем? — Доктор ловко закинул догоревшую спичку в пепельницу.

— Не знаю,— затягиваясь дымом, ответил Дазмен. — Так или иначе, от одного его вида у меня начинается зуд. Наверно... дело в том, что я никогда не встречал такого чудака: согласился жить в ванной комнате с женой и дефективным ребенком! Я хочу сказать... ну, в общем, вы понимаете, что я имею в виду.

Доктор отрицательно потряс головой.

— Почему,— спросил Дазмен,— почему человек должен жить в замшелой ванной и еще платить за это? Как такое позволяют?

— Кто, по-вашему, может это не позволить?

— Ну, тот, кто за это отвечает,— сказал Дазмен. — Правительство... или, к примеру, арбитраж.

— Вы их известили об этом случае?

— Нет.

— Почему же?

— Все это пустая трата времени,— махнул рукой Дазмен. — Мы туда писали, я и Сукума Вики, тот старый зеленщик, о котором я уже рассказывал. Я по его просьбе составляю жалобы в муниципальный совет по поводу непосильных налогов на мелких, полунищих уличных торговцев и притеснений, которые они терпят со стороны полицейских. Не далее как вчера мы с ним отправили очередное прошение. Ни разу никто на письма не ответил, и я не стану больше их писать.

— Очевидно, у чиновников уйма дел,— объяснил доктор. — Не мне вам объяснять, что нехватка приличного жилья вызывает различные нарушения порядка.

— Вы, доктор, меня не поняли,— перебил его Дазмен. — Положение куда более серьезное, чем может показаться. Вам бы самому пожить в «Дакка-хаузе»! Нас всех там обирают, и Водяной лишь один из многих. Вам этого никогда не уразуметь.

— Я так не считаю,— сказал доктор Бейтс. — Иногда вы как бы ставите себя на его место?

— Я бы не смог жить в ванной,— уверенно ответил Дазмен.

— Почему?

— А с какой такой стати?

— Он-то живет.

— Я же вам только что все объяснил!

Доктор пожал плечами, пыхнул трубкой, задумался.

— Во-Водяной не единственный, кого вы ненавидите,— наконец изрек он, словно бы сделав важное открытие. — Как зовут того второго, зеленщика?

— Сукума Вики?

— Да, этот Сукуна Мики...

— Сукума Вики.

— Пусть так, почему... за что вы его невзлюбили?

Причин для неприязни к старому торговцу зеленью у Дазмена было множество, начиная с мешковатых вельветовых штанов с подозрительно оттопыривающимися карманами и толстых армейских фуфаек, купленных на барахолке в Кариакоре. Дазмен боязливо обходил стороной тележку зеленщика и опасливо поглядывал на его мужеподобную супругу: она сама была размерами с дом, а при этом умудрялась помещаться внутри «Дакка-хауза»! Но как объяснить все это щеголеватому и деловитому доктору Бейтсу!

— Не то чтобы я его ненавидел, этого Сукуму Вики,— продолжил он исповедь,— но знаете, как бывает, одни люди тебе нравятся, другие нет.

Рассказывать доктору все без утайки было бы нечестно по отношению к зеленщику. Такие вещи белым знать не положено Да они бы и не поняли никогда.

Дазмен нервно хохотнул. Доктор же небрежно кивнул, подавая знак, что хорошо понимает Дазмена, и снова напустил на себя глубокомысленный и сосредоточенный вид. Он полистал худосочную историю болезни Дазмена, медленно обретавшую некий законченный вид и форму. Пока что, кроме конфиденциальных сведений, переданных начальником, и рассказов самого пациента, в ней не было ничего существенного — лишь отрывочная информация, извлеченная из бессвязных и неожиданных ответов Дазмена.

— Я хочу кое-что добавить,— снова вызвался Дазмен.

— Пожалуйста,— вскинул на него глаза доктор.

— В самом деле,— он облизал пересохшие губы,— я действительно не выношу вонючих уборных, плесени в ванных комнатах, еще мышей и... — темнокожий лоб прорезали сосредоточенные складки,— и тараканьих танцев.

У доктора Бейтса отвисла челюсть, голова закружилась, он судорожно старался ухватить суть всей этой бредовой болтовни, одно-единственное словцо, способное пролить какой-то свет на этот не знавший аналога в его долгой терапевтической практике случай. Слова ничего не означали. Видно, он ошибся в Дазмене, этот человек и впрямь совершенно и необратимо безумен.

— Еще засоренные унитазы,— добавил пациент.

— Конкретно... — Доктор проглотил комок, стараясь скрыть свою растерянность. — Что вы имели в виду, говоря о тараканьих танцах?

— Только то, что сказал,— трезво ответил Дазмен. — Тараканы танцуют, вы поди и не знали? Когда хотят поразвлечься. В «Дакка-хаузе» они пляшут дни и ночи напролет. Я ненавижу их.— Помолчав, Дазмен добавил: — И думаю, они платят мне тем же.

— Вы так думаете? — Доктор выколачивал пепел из трубки в большую пепельницу, потом — в который раз за это утро — протирал свои огромные очки, не находя нужных слов. — Неужто? — пробормотал он.

Он пристально вглядывался в Дазмена, ища скрытые симптомы слабоумия. Но дыр, через которые мог бы улетучиться рассудок, в голове больного не обнаруживалось.

— В самом деле, люто их ненавижу! — подтвердил Дазмен.

— Почему... — Доктор ловил ртом воздух. — За что вы их ненавидите? — Более хитроумного вопроса ему в голову не пришло.

— Потому что они грязные ублюдки и ворюги, вот почему,— ответил Дазмен. — За что мне их любить? Можно подумать, что вы тараканов обожаете!

— Да нет, я бы не сказал,— доктор смущенно поправил галстук.

— Вот видите! Значит, вы меня понимаете,— торжествующе заявил Дазмен.

Доктор пожал плечами, покачал головой, надел очки и вновь стал набивать трубку. Дазмен — крепкий орешек, за один сеанс с ним не управишься. Время шло быстро, а они все топтались на месте. Пока что доктор мог лишь с некоторой долей вероятности утверждать, что Дазмен, наряду с другими болезнями, страдает от застарелого душевного расстройства, которому еще не дали научного названия, в просторечии же оно определяется так: «Все обрыдло!» Лечить такие случаи совсем непросто: необходимо разобрать больного до винтика, затем вновь его собрать — по совершенно новой схеме.

Пациенту назначаются упражнения по глубокому самоанализу, и если диагноз подтвердится, наружу вылезет вся ущербная суть данного индивида или хотя бы одна случайная нить, способная привести исследователя к эпицентру поражения. Загадка в том, с чего начать терапию. Одно удачное суждение, высказанное на стадии предварительной консультации, может дать толчок процессу самовосстановления; если же врача не озарит, курс лечения может затянуться и не дать осязаемых результатов.

— Вы бы могли... ну... — сказал он неуверенно пациенту,— перебить, уничтожить их.

— Засорившийся унитаз? — с обидой переспросил Дазмен.

— Я имею в виду... танцующих тараканов.

Дазмен с грустью покачал головой.

— Вы... вы не понимаете,— сказал он мрачно,— просто ничего не понимаете.

Теперь Дазмен уже не сомневался: он никогда не получит ни одного искреннего ответа на многочисленные вопросы, что одолевают его с того самого дня, как он въехал в «Дакка-хауз» и встретился с Водяным. Например, кем тот был до того, как стать Водяным? И кем станет, если ему надоест быть Водяным? Кто он на самом деле? Кончится ли когда-нибудь его нынешнее прозябание? Что скрывается за этим смиренным черным лицом? Что он говорит жене, когда остается с ней наедине в ванной комнате? Занимаются ли они любовью? Целует ли он ее, ласкает, обещает ли шепотом в один прекрасный день увезти из опостылевшей ванной комнаты в нормальное жилье, предназначенное для человека? На самом деле, что он ей говорит? Говорит ли вообще с ней... играет ли со своим дефективным потомством? Задается ли когда-нибудь вопросом, почему это им одним приходится жить в ванной рядом с провонявшей уборной? Их ребенок мальчик или девочка? Вот вопрос вопросов, и как получить на него ответ, если на младенце всегда латаное-перелатанное рубище, лишенное каких-либо указаний на половую принадлежность?

— Вернемся к тому, с чего начали,— предложил доктор Бейтс. — Кого еще вы ненавидите?

— Стояночные автоматы.

У доктора медленно возникла на губах снисходительная улыбка, похожая на ту, что появилась у начальника отдела, когда Дазмен упомянул в разговоре с ним таинственный счетчик у входа в уборную. Улыбка внезапно исчезла, уступив место глубокомысленной и мрачной мине; он взялся раскуривать трубку, которая успела погаснуть, несколько раз сосредоточенно затянулся.

— Мой босс их тоже ненавидит,— добавил Дазмен.

— Ненавидит кого?

— Стояночные автоматы.

— Откуда это вам известно?

— Он сам мне сознался. И вообще, если вас интересует мое мнение, шеф — самый что ни есть законченный псих. Правда, что он ваш пациент?

— У меня контракт с муниципалитетом,— осторожно ответил доктор Бейтс, пожимая плечами.

— От чего вы его лечите?

Доктор покачал головой. Он и сам хотел бы это знать. Он наблюдал мистера Кименде по поводу целого набора хронических нервных расстройств, возникших на почве легкой формы шизофрении. Как он ни бился, доктору не удавалось разубедить мнительного пациента в том, что его подчиненные интригуют против него, сговариваются его скинуть и что мэр собирается посадить на его место белого специалиста.

— Почему,— спросил доктор Дазмена,— вы ненавидите стояночные автоматы?

— Я же вам сказал,— Дазмен, прищурясь, взглянул через стол на доктора: ну и улыбка, так улыбаются лишь плотоядные.

— Расскажите снова,— попросил доктор.

И Дазмен заговорил о призраке, возникшем у стены уборной. Он рассказывал медленно, неторопливо.

Доктор изучающе поглядел на Дазмена, прежде чем вновь углубиться в черное досье. Полистав страницы, он опять поднял глаза.

— Здесь говорится, что вам вменяется в служебные обязанности снимать показания стояночных автоматов. Ну... а к чему это сводится?

— Надо следить, чтобы все аппараты работали,— ответил Дазмен,— сообщать об их неисправностях. Еще выписывать квитанции на штраф. Вот такая дребедень.

Пока что доктор Бейтс никак не мог приладить к этому пациенту свою теорию о деньгах, женщинах и властолюбии. В цепи недоставало тысячи звеньев. Третий ингредиент, стремление повелевать, в данном случае начисто отсутствовал.

— Итак,— он вчитывался в досье,— я хочу докопаться до сути. Здесь написано — и вы это подтвердили,— что мечтаете о деньгах, женщинах и испытываете неприязнь к стояночным автоматам. Расскажите... поподробнее, как именно вам грезятся женщины?

— Как и любому мужчине. Сами знаете...

— Вы имеете в виду... — В глазах доктора зажегся огонек.

— Да-да.

— Всегда?

— Всегда.

— Ну,— доктор потер усталые глаза,— а как насчет денег?

— Обычное дело, доктор. Мне снятся выигрыши в лотерее, клады; снится, будто я вдруг разбогател, а потом разорился. Вот, все в этом роде. Или у меня в кармане миллион, меня останавливают на улице грабители и обирают до нитки.

— А что потом... после того, как вас ограбили?

— Ничего. Я возвращаюсь в «Дакка-хауз», и все надо мной смеются.

— Кто именно смеется над вами?

— Все, безликая масса и еще мыши, тараканы.

— Почему?

Дазмен пожал плечами. На самом деле все куда сложнее. Правда заключалась в том, что всякий раз, когда ему снились деньги, это было так или иначе связано с отъездом из «Дакка-хауза» — куда-то далеко, в фантастические края,— но куда точно, оставалось не ясно. Когда он возвращался в «Дакка-хауз» с пустыми руками, сгорая от стыда, все обитатели высыпали во двор и своим хохотом будили его.

— Ну а как же все-таки насчет стояночных автоматов? — спросил доктор Бейтс. — Какая тут связь?

— Я вижу их в кошмарах,— ответил Дазмен. — Они преследуют меня, грозят расправой.

— За что?

— Не знаю,— ответил Дазмен искренне. — Может, за то, что я их ненавижу.

— А почему вы их ненавидите?

— Потому что и они ко мне относятся не лучше.

Тень разочарования мелькнула на обветренном лице доктора. За миг до этого ему почудилось, будто он докопался до истины. Теперь все надо начинать сначала, информации чересчур много, а толку никакого. С этим черным такая морока, на каждом шагу подстерегают бездонные ямы.

— А бывает так, что вам одновременно грезятся женщины и стояночные автоматы? — раздался очередной вопрос. — В одном и том же сне?

— Никогда.

«Тогда, черт побери, что же тебе снится?» — думал доктор. Он перечел сделанные им записи. У пациента лишь неярко выраженные признаки психопатии, зато четкие симптомы мегаломании, впрочем, это ничего не проясняло. Теперь доктор дописал: «Фаллический комплекс отсутствует!» В задумчивости он несколько раз подчеркнул последнюю запись и поставил увесистое многоточие. Черт возьми, где же тут собака зарыта?

— Нет, женщины во сне приходят ко мне одни,— пациент говорил искренне, без тени притворства. — А стояночные автоматы снятся вместе с деньгами.

Снова здорово! Доктор записал в блокноте: «Деньги» — и поставил несколько птичек.

— Скажите,— спросил он теперь,— какая ваша самая заветная мечта в жизни?

— Что вы имеете в виду?

— Ваша жизненная цель, если позволительно об этом спросить. Полагаю, она у вас есть?

Дазмен пожал плечами и потянулся за сигаретой.

— Не знаю, док,— сказал он.— Они у меня меняются, как времена года. В данный момент, сплю я или бодрствую, все мои помыслы направлены на то, как бы выбраться из «Дакка-хауза».

— Почему?

— Я же вам говорил,— от огорчения Дазмен повысил голос,— только что все растолковал.

— Хорошо,— сказал доктор, хотя ровным счетом ничего не понимал. — Хорошо. Скажите, если вы выедете из «Дакка-хауза», то куда?

— Не знаю,— ответил Дазмен.— Там должно быть просторно, много зелени, свежий, здоровый воздух, как... как в пригородах, где я каждый день бывал по работе. Но мне до сих пор неясно, где мой новый дом, потому что я просыпаюсь, прежде чем до него доберусь. Случается что-то страшное... кто-то хлопает дверью, и я просыпаюсь на Грогэн-роуд.

Он жадно затянулся сигаретным дымом, доктор зашелестел бумагами, жуя черенок трубки и стараясь прийти хоть к какому-нибудь умозаключению.

— Вы, очевидно, догадываетесь,— наконец прочистил горло доктор,— что ваши работодатели требуют от меня подробный отчет о вашем... душевном состоянии. И, должен сознаться, за то время, что мы провели здесь вместе, я не смог э... выяснить первопричину ваших проблем. Должен признать, что вы держались открыто, легко шли на контакт, и я за это весьма вам признателен, но... как будто... ничего серьезного у вас нет. Был бы рад вам помочь, поэтому приходите-ка снова через пару-тройку дней, скажем... в среду?

Дазмен кивнул.

— Отлично,— доктор сделал пометку в календаре.— Однако на всякий случай я бы... э... посоветовал вам обратиться к окулисту за рецептом на очки и еще... заведите себе постоянную подругу. Вы, я уверен, понимаете, что я имею в виду.

— В этом отношении у меня нет проблем,— сказал Дазмен. — Правда, доктор, с дамами у меня порядок.

— Заведите новую — это рекомендация врача! — расхохотался доктор, но Дазмен даже не ухмыльнулся. — Теперь перейдем к более серьезным вопросам. Я набросал вчерне заключение для ваших работодателей. Здесь немного, я вам быстро прочту, а вы мне скажете, соответствуют ли мои выводы тому, что мы успели обсудить.

Дазмен ввинтился в стул и стал слушать, ни разу не прервав специалиста. В самом деле, заключение не было пространным, в него как будто ничего не попало: ни Грогэн-роуд, ни «Дакка-хауз», то есть основные улики по иску Дазмена Гонзаги к муниципалитету. Следовало написать гораздо больше, полнее, подробнее, изложить не только его собственные перипетии, но и бедствия окружающих Дазмена людей. Если бы доктор сумел передать в своей справке всю гамму чувств, ее можно было бы разослать в копиях высшим городским инстанциям, пусть те обратят внимание на жизненные тяготы сотен таких же бедолаг, как Дазмен, зависящих от прихоти Тумбо Кубвы и всех прочих кровопийц, эксплуататоров и толстосумов. Дазмен только покачал головой, зная, что правдивого отчета от таких специалистов, как доктор Бейтс, ждать не приходится. Разве они могут что-нибудь понять?!

Прочтя написанное на одном дыхании, доктор Бейтс завершил свои изыскания так: «Практически нормален, но страдает от слабых приступов ксенофобии и... ненавидит работу».

Дазмен закурил еще одну дармовую сигарету. Он пропустил мимо ушей добрую половину того, что бубнил доктор, а вторая половина показалась ему совершенно бессмысленной. Мягко говоря, восторгаться тут нечем. Этот отчет ни ему, ни кому другому ничего не прояснит. В нем не сказано, что Дазмен сумасшедший, но и обратное не утверждалось. Доктор постарался выглядеть объективным, однако выводы его были довольно шатки, и Дазмен уловил их двойственность.

— Ну, что вы скажете? — Доктор желал услышать его мнение.

— Не знаю,— честно ответил Дазмен.— Я не понял мудреных медицинских словечек... но было бы точнее написать, что я ненавижу свою нынешнюю работу... а не работу вообще.

— За что именно вы ее ненавидите?

— Она мне не подходит.

— Чем?

— Тем, что связана с проклятыми стояночными автоматами.

— А что в них дурного? — В уголках рта доктора от усталости легли жесткие складки.

Дазмен поджал губы и покачал головой. Все перед глазами закружилось, лоб стал горячий, снова наползала безумная головная боль, путая мысли, пожирая его целиком. Он медленно, задумчиво потер виски.

— Я вам объясню, в чем дело,— наконец заговорил он.— В муниципалитете воспользовались мои безвыходным положением. Мне позарез нужна была работа. Они взяли меня контролером счетчиков и пообещали перевести на конторскую должность, если дело у меня пойдет. Заметьте, твердо пообещали, на этих условиях мы и сошлись, без всяких «но».

— Вы контракт подписывали? — перебил доктор Бейтс.

— Разве на то, чтобы говорить друг другу правду, нужен контракт? — Дазмен раздраженно повысил голос. — Они дали мне честное слово. И начальник тоже обещал. Я им поверил, они своего слова не сдержали, сказали, что я замечательный работник, такой усердный контролер, что неразумно переводить меня на работу, с которой каждый дурак справится. Слышали такую дикость? Я, мол, и навоз за обе щеки уписываю, зачем же скармливать мне пирог? Понятно вам или нет? Они нарушили соглашение, внушили мне фальшивые надежды. — Он провел пятерней по своим жестким волосам. — Вот я и возненавидел стояночные автоматы. И никогда не смогу изменить к ним своего отношения. Пожалуйста, доктор, сделайте доброе дело: велите им сдержать слово или пусть хотя бы переведут меня на прежнюю должность!

Доктор вздохнул, потер веки и задумался. Было уже почти время обеда. Он внезапно вскинул глаза.

— В городе миллион жителей,— негромко произнес он. — Из этого числа только сорок процентов имеют хоть какую-нибудь работу. Вы когда-нибудь задумывались... как вам повезло, что имеете постоянную должность?

— Только об этом и думаю все время,— ответил Дазмен. — Сделайте мне еще одну любезность, доктор. Напомните Кименде, что он сам дал мне отпуск по болезни. А то, чего доброго, забудет и возьмет на мое место кого-нибудь из своих соплеменников.

Последовала холодная многозначительная пауза.

— Я упомяну это в разговоре с вашим нанимателем,— доктор захлопнул досье.— Вы богу молитесь?

Вопрос был совершенно неожиданным, вне всякой связи с предыдущим разговором. Он повис в воздухе, заблудившись на полпути между своим источником и тем, кому предназначался.

— Что, простите? — Дазмен решил, что ослышался.

— Богу молитесь?

— Нет, а почему вы об этом спрашиваете?

— Так, пришло в голову. — Доктора вдруг осенило, что в пациенте явно сидит дьявол, и если его изгнать, это было бы решением всех проблем.

Дазмен выпрямился на стуле.

— Неужто мои дела настолько плохи, доктор?

— Нет, дела вообще никогда не бывают чересчур плохи.

— То есть как? Пожалуйста, говорите на понятном мне языке.

— Яснее, чем так, я изъясняться не умею.

На этом цирковое представление завершилось, у Дазмена возникло чувство, будто он по уши увяз в липкой каше.

— Можно напоследок задать один вопрос, доктор?

— Конечно, отчего же нет, спрашивайте на здоровье.

— Где вы живете?

— Но зачем вам это?

— Мне сдается, что вы не в состоянии меня понять и никогда не поймете. Сколько вам платят за мое лечение?

— Почему вы спрашиваете об этом? — Доктор Бейтс больше уже не улыбался.

— Потому,— сказал Дазмен ровным, мрачным голосом,— потому что вам платят ни за что! Вы мне помочь не можете. За все то время, что я проторчал здесь, вы не изрекли ни одной понятной мне фразы, и я не уверен, что вам понятны мои слова.

— Об этом судить еще рано,— доктор Бейтс поправил галстук, который внезапно стал его душить.— Подобного рода терапия требует длительного времени, иногда на нее уходят годы. Когда вы придете сюда в следующий раз, можно будет сказать с уверенностью, зря или не зря вы тратите свое драгоценное время.

Ему нужно было перестроиться, обдумать новую линию поведения, новый план атаки. Дазмен налетел на него как ураган, необходимо отдышаться, прийти в себя.

Дазмен поднялся, протянул специалисту руку. Зубы доктора как-то потускнели, все лицо сделалось таким же холодным, как глаза.

— Итак, до среды,— напутствовал его доктор.

■

Тумбо Кубва был респектабельным и набожным человеком; во всем же, что касалось денег, он был истым порождением дьявола. Он водил свое семейство на молебны, устраиваемые на пыльных пустырях Кариокора и забытой людьми автобусной остановке у «Таскер-хауза»,— повсюду, где звучало слово божье, переходя из рук в руки подобно фальшивой монете. Он не пил спиртного, не курил, и его единственным развлечением, помимо ежедневных инспекций своих все разрастающихся владений, были воскресные баптистские собрания. Он не пропускал ни одного и следил, чтобы домочадцы от них не отлынивали. Иногда в хорошую погоду они несли слово божье в африканские трущобы, призывали к любви и братству, сулили праведникам царствие небесное. Слушали проповеди, исповедовались в грехах, клеймили дьявольский промысл, воровство, пьянство и блуд. Каждый пожнет плоды собственных трудов: кто сеет крапиву, соберет гигантские кактусы; господь нашлет на ослушников мор.

Подобно рачительному фермеру, Тумбо Кубва сеял без устали — и пожинал деньги.

Когда индийцы покинули пришедшие в упадок кварталы вдоль Грогэн- и Ривер-роуд, Тумбо Кубва налетел, как когтистый стервятник. Он сразу оценил скрытые возможности этих домов. Используя бесчисленные связи, он брал ссуды в банках и скупал недвижимость. Пятиэтажный жилой дом на Хасрат-роуд переделали под бар, закусочную и комнаты внаем. Магазин тканей на первом этаже был превращен в мясную лавку, где командовал его брат Кичва Кубва. Впоследствии, когда его богатство приумножилось — пансион буквально осыпал его деньгами,— «Центральная мясная лавка» была отдана внаем седовласому доктору Пателю К. Пателю, открывшему там частную клинику.

Тумбо Кубва редко поднимался наверх в грязные, перенаселенные комнаты. Пансионом управлял Кичва Кубва, ежедневно он собирал по тридцать шиллингов с девиц и передавал выручку брату. Тумбо Кубве не пристало ступать в узилище порока. Он был богобоязненный человек. Господь сам накажет своих слуг, кто зарится на чужие шиллинги; ко времени второго пришествия их деньги будут отобраны у них и возвращены законным владельцам. А у кого ничего нет, те не заслуживают, чтоб им дано было. Это господь в доброте своей сделал так, что для смертных открылись дома с девицами. Доходы с них налогом не облагались, поскольку публичные дома не дозволены законом, и Тумбо Кубва, будучи человеком высоконравственным, не мог объявить во всеуслышание о подобных своих предприятиях.

Он проповедовал, что землю унаследуют смиренные, а беднякам воздастся сполна на небе. Пища в его закусочной была несъедобной, зато безумно дорогой. Как и большинство африканских бизнесменов в то время, в погоне за деньгами Тумбо Кубва не утруждал себя заботами о качестве продуктов и санитарных нормах.

Он сеял деньги и сторицей пожинал их.

Перестроив «Дакка-хауз» и сдав конурки, он поступил особенно рачительно и мудро. И пожинал теперь тучную ниву: сотни бездомных братьев и сестер во Христе

были рады-радехоньки стряпать, есть и спать в этих клетушках, пользоваться общей провонявшей душевой и единственным вечно засоренным унитазом.

Едва завершилась перестройка, как в «Дакка-хауз» вселились жильцы. То был поистине день «вселенского» хаоса. Домовладелец собрал плату вперед, пообещав комнату каждому, кто сможет наскрести нужную сумму. Оказалось, что число внесших задаток намного превышает количество конурок в «Дакка-хаузе». Народ валом валил: приходили пешком, прикатывали на велосипедах, толкали перекошенные тележки со скарбом, вроде той, что кормит Сукуму Бики. Некоторые подъезжали на такси, косоглазых дребезжащих фургончиках «мататy», нагруженных доверху всяким хламом — колченогими стульями, расшатанными столами, продавленными кроватями, прохудившимися тазами и кухонной утварью, дырявыми тюфяками, из которых сыпались на Грогэн-роуд, усеивали лестницу клочья джута и обрывки шнура. Ветхие одеяла цеплялись за дверные ручки и с треском расползались надвое. Люди стекались сюда со всех концов города — бурлящая бездомная толпа. Они метались из комнаты в комнату, словно голодные коты по бачкам с мусором, торопясь захватить ту, что получше. Кого здесь только не было: мужчины в заношенном тряпье, кое-как одетые женщины, детишки со вздутыми животами, выпиравшими из-под лохмотьев; темнокожие немытые карапузы, из носа вечно капает; красные, воспаленные глаза — свирепые и хитрые, как у шелудивых дворняжек. Поистине то был исход обездоленных; сотни нищих устремились в каморки «Дакка-хауза».

Тумбо Кубва пребывал в полном восторге, даже подпрыгивал на кривых ногах от возбуждения. Взобравшись на ящик, он решил провести экспромтом политический митинг и открыть его своей речью. Магендо, примчавшийся сюда ранним утром одним из первых, посоветовал Тумбо Кубве заткнуть дурно пахнущую пасть, приберечь свое красноречие до выборов и отворить наконец чертовы комнаты. Слушатели горячо поддержали это предложение. Подчиняясь воле большинства, король трущоб слез со своей импровизированной трибуны и достал большую связку ключей.

И тут его восторг сменился растерянностью: он понял, что просто не в силах справиться с толпой. Уже и без того будущих жильцов было с избытком, а шли все новые и новые, выстраиваясь в очередь на лестнице. Для тех, кто жил в тесной лачужке с близкими и дальними родственниками, то был редчайший случай обзавестись наконец собственными стенами. Те, кто ютился в картонных развалюхах вдоль реки, были настроены решительно и целеустремленно. Им как-никак выпала возможность переселиться в городские условия, с электричеством, водопроводом и канализацией. Но домовладелец не мог угодить всем. Их было слишком много, тех, кто внес задаток. Кубва заикнулся было о жребии или же тайном голосовании, в ответ будущие жильцы обвинили его в кумовстве и трайболизме, хотя его родственников в очереди не было, и пригрозили его кастрировать.

В конце концов, как и обычно, когда организационный механизм выходит из строя, все перепуталось и воцарился полный кавардак. Люди рвались в комнаты, тесня и топча конкурентов. Страсти накалялись, удары сыпались направо и налево, щедро и совершенно бесплатно, кое-кто решил воспользоваться случаем, чтобы свести личные счеты. Кто первый втащит в комнатенку свои пожитки, тому она и достанется — куда проще! Возникшая ситуация давала заметное превосходство холостякам: Магендо, Дазмену и Чупе на Дебе, не обремененным ценным имуществом. Им было достаточно втащить наверх собственные скелеты.

Пришлось срочно вызывать полицию, чтобы навести порядок и спасти Тумбо Кубву от разъяренной толпы. Он вернул задаток тем, кому жилья не хватило, пообещав, что приобретет еще один дом наподобие «Дакка-хауза» и пустит в него тех, кому на сей раз не повезло. Кое-кто из особо крикливых пригрозил подать на него в суд за мошенничество, но Магендо, захвативший комнату для себя, сумел убедить склочников, что нет подходящего закона, предусматривающего подобный казус, и вообще какого черта, им ли затевать тяжбу с Тумбо Кубвой! У него такие связи и возможности, он всех их в два счета упрячет за решетку. Жалкие бродяжки без постоянного местожительства, за их жизнь никто и ломаного гроша не даст. Не то что вечное заключение — им по пять пожизненных сроков навесят! Эти аргументы не внушили слушателям особой нежности к Магендо, но суть дела до них дошла. Подобрав вещички, они поплелись назад к реке заново возводить картонные домики.

Дазмен Гонзага оказался среди первых африканцев, поселившихся в «Дакка-

хаузе». Он прикатил на своем «триумфе», нехитрое имущество легко уместилось в багажнике. Кое-как втащив его наверх, он ухитрился в последовавшей неразберихе занять комнатенку. Тото подселили к нему значительно позднее, когда черные тараканы и мыши уже были здесь старожилами, а уборная захлебнулась, издав последний вздох.

Магендо водворился здесь одновременно с Сукумой Вики. Весь его багаж состоял из туго набитого чемодана. Дорогую мебель с черного рынка, стереофонический радиоприемник и газовую плиту с баллонами — единственную в «Дакка-хаузе» — он завез позднее. В первый же день, когда бунт во дворе был подавлен, Магендо предложил Дазмену купить у него наручные часы, побожившись, что они не краденые.

Вслед за Магендо вселился бутылочный коммерсант — старый Чупа на Дебе. Скатанный тюфяк под мышкой да два мешка со стеклянной посудой — вот и весь его скарб.

Среди первых счастливчиков был и Водяной.

С самого начала он стал раздражать Дазмена. Задолго до того, как ищущие пристанища обнаружили бывшие кухни, Водяной наткнулся на ванную и решил, что она тоже предназначается для жилья. Ванная, в отличие от комнаты, не находила вожделеющих поклонников; и вот, пока остальные толкались и ссорились за конуры попросторнее, механик и его жена с ребенком тихонько прошмыгнули через двор и обосновались в ванной. И не успели еще все комнаты обрести постояльцев, как механика уже окрестили Водяным.

Лишь от Дазмена не ускользнуло вселение семейства Водяного. Он с изумлением наблюдал за тем, как муж и жена втискивались в узкую клетку: сначала затащили упиравшиеся вещички, затем залезли сами — душой и телом. Дазмен долго сидел у окна и разинув рот глазел, как супруги вталкивали в дверь свое шаткое ложе. Он сидел так без малого час, а они все бились с кроватью, заносили ее то одним краем, то другим. В конце концов пришлось отпилить ножки: Дазмен готов был биться об заклад: им ни за что не поместиться в ванной, она же не резиновая! Однако он проиграл пари: на его глазах дух восторжествовал над материей! И чудо это совершили простые мужчина и женщина, к спине которой выцветшей шалью был прихвачен младенец. Они добились своего... разместились в ванной!..

Существует, убедился Дазмен со временем, некая вариация закона джунглей. Как гиене, по пятам следующей за львом, в конце концов перепадает ее доля, так и отверженные в конечном итоге урывают что-нибудь из стиснутых когтей баловней судьбы. Все роскошные и не столь роскошные автомобили, превращаясь в урочный срок в металлолом, оказываются в руках, никогда не вертевших баранку; и те могут делать с ними что захотят: развинтить на части, искалечить, перекроить в более полезные предметы. Механики с Грогэн-роуд берутся за перекройку с похвальным рвением и даже злобной мстительностью. Они кромсают машины, как своих заклятых врагов, разрывая их на части с садистским ликованием.

Дверь нового обиталища Водяного открывалась наружу. Вся площадь пола была теперь занята кроватью. Стало быть, находиться в комнате можно было, лишь взобравшись на это ложе. Остальное имущество: одежда, посуда и деревянные ящики, используемые как стулья,— хранилось под кроватью. Жена Водяного готовила на угольной жаровне во дворе, у стены уборной. Ели они также снаружи; помыв алюминиевые тарелки и ржавые ложки, она складывала их в картонный ящик под кроватью. Затем она купала ребенка в подогретой на жаровне воде. После этого в жаровне гасился огонь, ей давали остыть и прятали от посторонних глаз: оставь ее на ночь во дворе — кто-нибудь из соседей непременно утащит. Опускалась ночь, густая и липкая, как разогретая смола; в заболоченной реке квакали лягушки; за каменным забором на дворе у индийцев лаяли собаки. Семья Водяного совершала вечернюю молитву, потом они забирались на кровать и запирали дверь. Окна не было, и воздух поступал в конуру через оставшуюся от старых времен небольшую вентиляционную решетку над дверью.

Водяной вставал по утрам одним из первых в «Дакка-хаузе», задолго до того, как соседи решались высунуться на утреннюю стужу, успевал принять душ. Его семья ела лишь раз в день — вечером, он привык обходиться без завтрака. Облачившись в промасленный синий комбинезон, он отправлялся в мастерскую под открытым небом. Жена убиралась в доме и вывешивала проветрить постельные принадлежности на скрипучей веревке. Потом готовила бутылочку с молочной смесью для малыша

и около одиннадцати отправлялась в городской парк, где проводила день в тени узколистных джакаранд. Невозможно же торчать безвылазно в их жалкой конуре!

После долгой, грязной и изнурительной работы муж заходил в парк за женой и ребенком. Семья возвращалась домой; готовили ужин, ели, мыли посуду и укладывались на ночь. Еще один день прожит — и слава богу!

Сотни связанных с Водяным вопросов вызывали недоумение Дазмена. Откуда он взялся в городе, что будет с ним дальше? Где его родичи, братья, сестры, дядья и племянники? Почему они позволили, как допустили, чтобы родная их кровь и плоть ютилась в душном закутке? Да и знают ли они, что он так бедствует? Где его отец и мать? Живы ли они? В каком он возрасте? Сколько лет его верной жене и дефективному ребенку? Где он выучился на механика? У кого он служит, сколько зарабатывает, дорого ли платит за свои хоромы?..

■

Тото заметно изменился за последние несколько недель.

— Брось ты шляться к своему знахарю,— негромко посоветовал ему Дазмен.

— Мганга — не знахарь,— отозвался Тото.— Он астролог.

— Незачем к нему таскаться,— Дазмен словно сам себя в чем-то убеждал.— Он превратил тебя в полную развалину. Ты был нормальным, толковым парнем, с тобой интересно было разговаривать. А теперь о тебе этого не скажешь. Помешался на звездах и вверил свою судьбу шарлатану.

— Он не шарлатан,— возразил Тото,— и моя судьба по-прежнему в моих собственных руках.

— Тогда что же с тобой стряслось? Тебе наплевать на обиженных судьбой!

— Просто до смерти надоело слушать твои жалобы, опостылело пережевывать вселенские пороки и несправедливости. Конечно, мне жаль Водяного и других бедолаг, но, черт возьми, чего ты от меня хочешь? Может, уступим ему нашу комнату?

— Я этого не предлагал.

— Нет, не предлагал. Но все, что ты говоришь, я уже много раз слышал. Если не Водяной, то Тумбо Кубва. Не можешь, черт тебя дери, выкинуть весь этот мусор из головы? Пока ты не заработаешь столько же денег, сколько намолотил наш домохозяин, ты для него — просто куча навоза!

— Неправда.— Дазмен сел.— У меня больше собственного достоинства, чем у этого борова.

— И много тебе пользы от твоего достоинства?

— Оно придает смысл моему существованию,— отпарировал Дазмен.— Если бы каждый жилец «Дакка-хауза», в том числе и ты, не утратил самоуважения, мы бы этого Тумбо Кубву обыграли со счетом 10 : 1 в его же собственную жульническую игру.

— Господи, да нам его никогда не одолеть!

Дазмен откинулся на подушку, на некоторое время задумался, потом снова сел на кровати и, загибая пальцы на левой руке, стал излагать Тото по пунктам свою программу.

— Во-первых,— и это основа основ — объединить обитателей нашей вонючей крысиной норы во имя общей цели — сплотиться против Тумбо Кубвы.

— Значит, ты затеваешь против него бунт? — ввернул Тото.— Собираешься выпустить ему кишки?

— Никаких зловещих козней я не строю,— Дазмен покачал головой.— Собираюсь только поговорить с ним, это будет долгая и серьезная беседа. Заставлю его снизить квартплату, покрасить стены, отремонтировать унитаз, извести мышей и вообще соблюдать санитарные нормы. Если все мы будем держаться друг за друга, не станем платить ему, тогда у него не будет выбора и он уступит.

— А как насчет фараонов? — Голос Тото был исполнен сарказма.

— Каких еще фараонов?

— Полиция. Неужто ты думаешь, что Тумбо Кубва станет тратить время на переговоры с тобой?

— Но ведь это будет мирная забастовка. Не станет же полиция бросать гранаты со слезоточивым газом в комнаты! Обратимся за посредничеством к чиновнику из

жилищного отдела муниципалитета, добьемся урегулирования вопроса. Другими словами...

— По-моему, ты рехнулся,— Тото полез за сигаретой.— То, о чем ты толкуешь, называется революцией.

— Я хоть словечком обмолвился о революции? — воскликнул Дазмен, и на его лице отразилась боль.— Видишь, ты сам несешь какой-то бред. Впрочем, ничего удивительного, раз ты веришь жулику, который бормочет «вуду-юду» и гадает на куриных косточках.

— Мганга не гадает на куриных косточках, он предсказывает судьбу по ладони.

— А ты никогда не задумывался, отчего это такой замечательный волшебник ютится в «Дакка-хаузе»?

— Потому что его собственные звезды к нему неблагосклонны.

— Что ты хочешь сказать?

— Это значит, что он никогда не сможет разбогатеть.

— В таком случае гадал бы вам бесплатно.

— Так это не делается,— Тото вывернул карманы наизнанку, но сигареты так и не нашел.— Судьбу не обманешь.

Дазмен достал две сигареты, одну швырнул Тото. Оба закурили.

— Ну, а как же с Водяным? — спросил Дазмен.

— Что как?

— Почему его звезды обходятся с ним так подло? Я его ненавижу;— процедил он сквозь зубы.

— Кого?

— Водяного.

— Черт возьми, за что?

Дазмен покачал головой. «Ненависть» — пожалуй, чересчур сильно сказано. Но как еще назвать это, когда при одном виде доходяги тебя одолевает стыд и ты прячешь глаза? Есть какая-то неуловимая причина, упорно не поддающаяся пониманию. Дазмен давно, но безуспешно ломал голову над этой загадкой. Может, дело в том, что Водяной — механик, а механики из мастерских под открытым небом с недавних пор стали худшими врагами Дазмена. Они «раздели» его машину и в конце концов вынудили расстаться со всем своим прошлым за двести шиллингов. Есть еще одно веское обстоятельство: Водяной поселил свою преданную супругу и младенца в ванной комнате возле помойки. Мужчины так не поступают. Жена у механика хорошенькая; стирает его замасленную одежду, наводит чистоту в их конуре, готовит на всю семью. Мысль убегала в различных, еще не исследованных направлениях. Дазмен мог испытывать неприязнь к Водяному еще и потому, что тот, как и Сукума Вики, не бывает пьян в день получки и в отличие от других не колотит жену. Дазмен не доверял трезвенникам. Может ли взрослый, здоровый мужчина, в своем рассудке, не пить и при этом не свихнуться?

Да, Водяной не пил и не колотил жену, но его конура была такой же закопченной, как другие комнатенки; домовладелец даже соглашался с мыслью — дальше этого не шло,— что недурно бы все их побелить. По этому поводу между Дазменом и Тумбо Кубвой то и дело вспыхивали ожесточенные перепалки...

■

Дазмен повернулся с бока на спину и уставился в набухший потолок. В комнате было душно: за окном пекло послеполуденное солнце. По серому простору потолка прошмыгнул таракан и исчез в трещине на штукатурке. Вскоре он появился вновь, уже с приятелем. Они повисли над Дазменом, наблюдая за ним; тщетно посылал он им телепатические команды сгинуть.

Запах гниющих отходов заполонил комнату. Утром из призрачной дымки во дворе чудодейственным образом материализовались рабочие и на глазах у безнадежных скептиков «Дакка-хауза» взялись за починку унитаза. Но уже к полудню капризный агрегат снова засорился и вонял пуще прежнего. Скрипела веревка для белья, натянутая между дверным косяком уборной и крюком, вбитым в каменную стену над окном Дазмена. В мастерской на первом этаже кувалдами били по железу так, что весь дом ходил ходуном.

И снова Дазмен увидел стояночный автомат, на этот раз у стены ванной. То не был плод больного воображения, в чем его пытался убедить Тото. Нет, самый настоящий автомат. Дазмен даже его потрогал, пощупал, не удержался и понюхал. Для того чтобы совершенно развеять какие-либо сомнения, он решил попробовать опустить в него монетку. Но пока ходил к себе за мелочью, проклятая штуковина испарилась, взяла и растаяла в воздухе. Тото, который все еще валялся в постели, не поверил Дазмену — рассказывай, мол, сказки своему доктору Бейтсу. Но Дазмен знал теперь: он не болен. Он околдован.

Околдован! Еще одна версия, достойная тщательного рассмотрения. Но кем и за что? Мало ли кем — одной из тысяч фурий за малейший, пустяковый проступок либо вообще безо всякого повода. Кто-нибудь из соседей по «Дакка-хаузу» это подстроил. Все они как гремучие змеи — могут отравить своей злобой любого, яда хватит на тысячу таких, как Дазмен. Это мог быть Сукума Вики: Дазмен, задолжав зеленщику, перестал покупать у него гнилую капусту; или Водяной, потому что сам должен Дазмену и не хочет отдавать; наконец, любой из безликой массы — за то лишь, что он не такой, как они...

■

— Так больше жить нельзя! — воскликнул Тото.

— Я с тобой совершенно согласен,— кивнул Дазмен, усаживаясь на кровать.

— Завтра не забыть бы про крысиный яд,— продолжал Тото.— В комнате становится слишком тесно для всех. Вопрос стоит так: либо мы, либо они.

— Только, пожалуйста, меня в это дело не впутывай,— заявил Дазмен.— Либо ты, либо они. Кто бы ни победил, я здесь остаюсь.

— Необходимо организовать наш быт,— заявил Тото.

«Как это сделать? — размышлял про себя Дазмен.— С чего начать? Столько дел ждет, чтобы ими занялись! Решить, за что взяться прежде всего — труднейшее дело!»

— Как нам к этому подступиться? — вяло спросил он вслух.

— Начнем с того, что предпримем хоть какой-то шаг.

— Давай подметем пол! — предложил Дазмен.

— Ночью пол не метут — это дурная примета.— Тото стал раздеваться.

— Тогда наведем порядок на кухонном столе.

— Ты с ума сошел! Кто этим занимается в первом часу ночи!

— Так когда же мы начнем организовывать наш быт?

— Завтра,— ответил Тото.— Завтра, завтра — не сегодня...

Завтра — это всегда надежнее, чем сегодня. Подворачивается возможность найти другое занятие и отложить решительные шаги на потом. Конечно, завтра во всех отношениях лучше, чем сегодня. Тем более что Дазмена никогда не покидала искренняя надежда на то, что завтра вообще не наступит.

Но точно назло Дазмену завтра всегда наставало. Оно приходило каждое утро с такой точностью, как автобус на Иерихон, таща за собой очередной груз неприятностей и оставляя его у дазменовского порога.

■

— Если вы кого-то безотчетно ненавидите,— поучал доктор Бейтс,— то узнать причину нетрудно: надо взять и выяснить отношения с тем самым человеком.

Дазмен начал с Водяного. Сидя на двух перевернутых алюминиевых ведрах во дворе, они впервые побеседовали по душам, выложили друг другу все начистоту. Говорил, впрочем, один Дазмен, а механик только слушал, выражая свои чувства легким покачиванием головы. Жена Водяного готовила ужин, а их младенец лежал на кровати, жуя обезображенную куклу с русыми волосами — того же цвета и фактуры, что у секретарши доктора Бейтса. У целлулоидного пупса, которого Чупа на Дебе отдал за миску похлебки, не было ни рук, ни ног.

Водяного повергали в смятение идеи и прожекты Дазмена. Он слушал со все возрастающим страхом, как тот излагал свой план действий. Зажигательные речи Дазмена так его заворожили, что он не мог сказать «нет», но и «да» пока не говорил. Когда, наконец, пожав друг другу руки, они расстались, Дазмен так и не разобрался, за что же он презирает Водяного, хотя чувствовал, что его гнев обоснован. Разве

можно подружиться с человеком, не имеющим собственного мнения, никогда не говорящим ни «да», ни «нет»!..

У Дазмена звучал в ушах гулкий голос доктора Бейтса: «Если ненавидишь человека и не знаешь за что, лучше всего выяснить причину с ним самим». Неужто это и в самом деле единственный способ? Доктор Бейтс не имеет ни малейшего понятия о том, что говорит, а еще берется судить... В «Дакка-хаузе» обитают какие-то нелюди, да еще мыши с тараканами.

Но Дазмен не собирался отступать, сдаваться без сопротивления.

После Водяного он взялся за Сукуму Вики. Плешивый зеленщик слушал внимательно, втайне надеясь, что в конце нежданного визита Дазмен вернет ему долг. Он был куда более приветлив и покладист, чем Водяной, даже выразил как будто бы искреннее восхищение планами Дазмена. Все шло хорошо до тех пор, пока Дазмен не упомянул Тумбо Кубву. Тут разносчик овощей сразу сник. Он бы и слушать не стал, но деваться некуда — Дазмен словно тисками сжал его локоть и вырвал у старика обещание присоединиться к воле большинства.

В конце беседы Сукума Вики не удержался:

— Как насчет пяти шиллингов? — спросил он тем же дружелюбным, товарищеским тоном, в духе которого был выдержан весь их разговор.

— Да что ты, в самом деле, старина! — В голосе Дазмена засквозило отчаяние.— Деньги тебе дороже свободы! Хочешь, чтобы я еще и приплатил тебе в придачу?

— Ты не так меня понял,— сказал Сукума Вики.

Он настороженно оглядел двор: никто как будто их не слышал.

— За овощи,— старик понизил голос до шепота.— Килограмм помидоров, полкило лука и шпината.

Дазмен что есть силы хлопнул себя кулаком по лбу, выругался отборной бранью: обложил сначала «Дакка-хауз», затем проклял весь род человеческий и под конец себя самого за то, что живет среди таких подонков. Может ли взрослый человек думать о гнилых помидорах на пятерку, в то время как Дазмен излагает ему грандиозный план, сулящий экономию в сотни шиллингов! Что за непростительное скудоумие!

— Я уже тебе говорил и повторю снова,— обратился он с горечью в голосе к зеленщику.— Не ел я твоих вонючих овощей, потому что ты мне продал сплошную гниль. А платить ни за что — не в моих привычках. Вот только домовладельцу зря плачу — единственное исключение, да и то скоро с этим покончим. Тебе все понятно?

■

Настал черед обратить внимание на бессловесную и безликую массу. Некоторых Дазмен никогда как будто раньше не видел, иные казались смутно знакомыми. Они-то все его хорошо знали и слушали с почтением. Сами же либо отделывались несколькими фразами, либо ничего не говорили. Все сходились на том, что было бы замечательно, если бы за жилье с них брали не так много, однако дальше этого не шли. У Дазмена сложилось впечатление, что, хотя они и не прочь платить поменьше, но когда дело дойдет до прямого столкновения, все, не задумываясь, его бросят одного на пыльном дворе, оставят лицом к лицу с драконом.

— Не сидите сложа руки, не поддавайтесь хандре,— наставлял его доктор Бейтс.— Что-нибудь делайте, предпринимайте!

С кем делать-то, с горечью думал Дазмен. С тенями? Глупый доктор Бейтс, ни черта не понимает!

Гонзага стоял посреди двора, лелея свое презрение, и тут с улицы появился Магендо, таща чемодан с краденым барахлом.

— Хочешь купить импортные рубашки? — спросил он Дазмена.

— Нет,— отрезал Дазмен.

— Английские, самого высшего качества,— не отставал Магендо.— Такие уже больше не ввозят и...

— Мне они не нужны,— оборвал его Дазмен.

— Может, тогда брюки? Немецкая шерсть, в магазинах ничего похожего не сыщешь. Их импорт запрещен правительством, но я все-таки...

— Ничего мне не надо. Неужели непонятно?

Магендо пожал плечами, плюхнул на землю свою тяжелую ношу; внезапно на его роже заиграла широченная улыбка.

— Я слышал, ты планируешь... мятеж против Тумбо Кубвы,— сказал он.

При других обстоятельствах Дазмен на месте расправился бы с бандитом. Но в нынешней ситуации ему важно было заручиться поддержкой всех жильцов «Дакка-хауза» — и злодеев и праведников.

— Кто тебе сказал? — Дазмен даже заставил себя улыбнуться.

— Один малюсенький тараканчик! — Двор затрясся от громкого беззаботного хохота Магендо.

— Что ж,— кивнул Дазмен.— Кто-то должен сделать первый шаг, не так ли?

— Золотые слова! — Магендо закивал слишком уж энергично.— Но я вот что тебе скажу: старому Тумбо твоя затея ох как не понравится!

— А она и не должна ему нравиться! — ответил Дазмен.— Мы на это не рассчитываем.

— Понятно.— Улыбка Магендо стала еще шире.— И когда же вы начинаете платить по-новому?

— Скоро. Может, уже с конца нынешнего месяца.

— Отлично,— закивал бандит.

Он вытащил пачку самых дорогих сигарет — в обычной продаже их не бывает — и угостил Дазмена.

Когда вся эта история будет позади, думал Дазмен, закуривая, я и в самом деле тебя прибью, смешливый ублюдок!

— Скажи-ка,— спросил Магендо,— значит, ты устроишь забастовку? Меня так и разбирает любопытство. Мятеж!.. Господи, давно я так не смеялся! Что же, заставишь Тумбо Кубву подать в отставку с поста домовладельца? Или же планируешь всю эту канитель с плакатами, пикетами и прочей дребеденью? Честно, я что-то не пойму: ты вздумал не платить и в то же время продолжать здесь обретаться?

— Потерпи — увидишь!

— Ага, потерплю,— закивал Магендо, подхватывая чемодан.— Потерплю...

— Ты с нами или нет? — спросил Дазмен.

— Кто это «мы»?

Дазмен обвел рукой двор и весь «Дакка-хауз».

— Мы все тут заодно! — воскликнул он.

— Вот оно как,— кивнул Магендо.— Зараза быстро распространяется.

— С нами ты или нет?

— Я вот как тебе отвечу,— сказал Магендо.— Я не против вас.

— Черт, нельзя ли пояснее? — Дазмен от раздражения повысил голос.

Снисходительная улыбка на лице Магендо еще расплылась, стала вдвое шире.

— Куда уж яснее,— сказал он.— Когда полиция начнет вышвыривать вас поодиночке на улицу, точно дохлых крыс, я не стану им помогать. Однако если к концу всей этой заварухи вы уцелеете, то я, конечно, буду на вашей стороне.

Он ушел к себе в комнату, оставив Дазмена размышлять над своей последней фразой. Магендо высказал вслух то, что хотели заявить ему безликие, не открывая рта. Простая арифметика: если ты выиграешь, то мы с тобой, а проиграешь... так один!

Только зря они думают, что Дазмен Гонзага такой осел, чтобы гибнуть в одиночку. Нет, их ждет большой сюрприз, он втянет их в эту историю по самую макушку, скрутит по рукам и ногам, они у него не вырвутся. Дазмен идет на риск не из любви к человечеству. Он делает это ради себя и их заставит — ради них самих!

■

Голова Дазмена пульсировала тяжелыми ударами, колокола слились в непрерывный оглушительный звон.

— Что это? — спросил он, заметив две большущие картонные коробки за дверью.

— Мой новый стереокомбайн,— промычал Тото с набитым ртом.— Можешь его распаковать, если в течение дня твое безумие тебя хоть ненадолго оставит. Поставь его куда-нибудь, где хватит места.

— Ты его купил?

— Не украл же, в самом деле! — ответил Тото и через секунду добавил: — Будешь есть?

— Нет.

— Ты же голодный.

— Нет, не могу. Надеюсь, что ты не впутался в какую-то аферу!

— Ну а хоть бы и так!

— Конечно, я не должен вмешиваться...

— Вот именно! — перебил Тото.— Черт возьми, Дазмен, напряги один только раз свои мозги. Ты же меня знаешь как облупленного, разве я вор? Я купил эту машину; если она и краденая, меня это не касается. Живи и жить давай другим — это же и твой девиз; или забыл, внезапно заделался святошей?

— Ты хоть не у Магендо это купил? — спросил Дазмен.

Тото пожал плечами.

— Знаешь, он не такой уж негодяй. Просто бесится, когда ты обзываешь его вором.

— Он и есть вор! — воскликнул Дазмен.

— Вполне возможно,— сказал Тото.— Но пойми же ты, пожалуйста: те, кто занимается этим делом, не любят, чтобы объявляли вслух их профессиональную принадлежность. Это совсем не то, что, скажем, чистильщик обуви, механик или даже мусорщик. Коллеги Магендо — народ очень чувствительный и легкоранимый.

— Однако полицию все равно долго дурачить не удастся,— сказал Дазмен.— У них собачий нюх, чуют любую заваруху за две недели вперед и загодя готовятся погреть на ней руки. Если запахнет уголовщиной, они сразу тут как тут, навалятся на тебя, как самосвал дерьма. Вот погоди — сам убедишься. Знаешь поговорку — у вора век короткий, всего сорок дней. Магендо, может, продержался уже сто и сорок, но все равно его песенка спета. Погоди — убедишься сам!

— Тебя послушать, ну прямо начинающий уличный проповедник с Ривер-роуд,— неприязненно сказал Тото.— Все, что я делаю и чем занимаюсь вне этой комнаты,— сугубо мое личное дело. Верно? О'кей?

— Так-то оно так. Просто хотел тебя предупредить. Вспомнишь мои слова, когда законники обрушатся на тебя, словно стая злобных стервятников.

Дазмен закрыл глаза, и от тяжелых мыслей на лбу пролегла складка. Прошло несколько томительных минут, прежде чем он снова их открыл.

— У меня страшное похмелье,— сказал он.— Вчера я был мертвецки пьян.

— Поешь чего-нибудь.

— Нет, сейчас не могу. Может, попозже.

— Черт возьми, старина, ты же себя угробишь.

— Это мое личное дело.

— Не повторяй, как попугай, за мной! Не хочешь говорить — тогда заткнись, но только не неси ерунды. Сам псих и хочешь, чтобы я рехнулся?

■

Следующий день оказался для Дазмена хлопотным. С утра он засел за текст петиции. У него был немалый опыт по части составления жалоб и прошений, долгое пребывание на посту личного секретаря Сукумы Вики не прошло даром: он исписал горы бумаги, излагая претензии зеленщика к муниципалитету. Но теперь ему предстояло создать нечто куда более значительное, нежели перечень невзгод и притеснений, выпадавших на долю старого разносчика. Речь шла об убедительном и аргументированном заявлении в высший орган, ведающий контролем над квартирной платой. Тут требовался совершенно иной подход. Петиция имела адресатом домовладельца Тумбо Кубву, а ее копии будут направлены в муниципалитет и арбитраж. После множества неудачных вариантов Дазмен наконец вывел:

«Мы, нижеподписавшиеся, будучи законными и правомочными арендаторами «Дакка-хауза», что на Грогэн-роуд, в сей час указанной даты настоящим...»

После полуофициального зачина шло существо дела. Дазмен дал подробное описание комнат, указав их размеры. Он провел тщательную подготовительную работу, выяснив, что площадь большинства закутков не достигает санитарного минимума, введенного городскими властями. Он отметил отсутствие надлежащей вентиляции.

Стены красили последний раз больше пятнадцати лет назад, крыша в дождливый сезон во многих местах протекала. Мусор почти никогда не вывозили, потому что Тумбо Кубва отказался нанять дворника, который выставлял бы бачки на улицу, откуда их забирали мусоровозы муниципалитета. Единственная уборная, которой пользовались все жильцы «Дакка-хауза», превратилась в клоаку, потому что домовладелец прогнал уборщицу и велел квартирантам самим за собой подтирать.

Затем Дазмен перешел к главному, самому яблоку раздора — квартирной плате. В ходе проведенного негласного расследования выяснилось, что Грогэн-роуд включена в район, где муниципалитетом осуществляется контроль над домовладельцами. Никто из них не имел права брать больше ста шиллингов за комнату, равную той, что занимал Дазмен. Однако хозяева доходных домов вдоль всей улицы драли с жильцов сколько им вздумается, а Тумбо Кубва превосходил всех своей непомерной наглостью. Дазмен привел в качестве примера случай с Водяным. Он пространно живописал общее аварийное состояние дома и завершил послание энергичным призывом пересмотреть ставки квартплаты. Он воззвал также к Тумбо Кубве, к его чувству справедливости: пусть займется ремонтом своей собственности, в противном случае...

Последний параграф содержал хоть и завуалированную, однако весьма решительную угрозу, сформулированную таким образом, чтобы у адресатов не оставалось сомнений относительно последствий, если в течение ближайшего месяца не будут приняты необходимые меры. Дазмен трижды перечел текст и остался им доволен.

Теперь оставалось составить список тех, кто поставит под ним свою подпись. Будучи человеком нетщеславным и бескорыстным, Дазмен не поставил своего имени на первом месте. Эта честь была оказана Водяному. Дазмен не питал наивных иллюзий относительно затеваемого им дела. Путь к справедливости долог и тернист. Тумбо Кубва пустит в ход все имеющиеся в его арсенале средства. Он нашлет ярость и гнев всевышнего на дерзких квартирантов; обвинит зачинщиков в «политической агитации», чтобы вызвать симпатию и сочувствие к себе со стороны властей; наверняка обратится в полицию. Вне всякого сомнения, первым подвергнется допросу тот, кто стоит во главе списка. Показания остальных будут во многом зависеть от того, что скажет первый. Но Водяной вряд ли вообще что-нибудь им скажет. Он маленький робкий человечек, рта никогда не открывает, боится ненароком кого-нибудь обидеть. Поэтому наиболее безопасно — начать с него.

Самое трудное впереди — как уломать остальных жильцов. Дазмен начал с более податливых, руководствуясь тем, что упрямцы скорее согласятся, увидев несколько чьих-то автографов на документе.

Прежде всего Гонзага подступился к Магендо. Тот внимательно выслушал еще раз, как Дазмен излагает свою стратегию. Потом взял в руки бумаги и внимательно изучил их, зачитывая отдельные фразы вслух, склоняя голову набок, как бы переваривая тот или иной пункт. Потом одобрительно кивал и читал дальше. Дойдя до списка участников протеста, он не сдержал лукавой улыбки.

— Я вынужден отдать тебе должное,— заявил он, возвращая Дазмену бумаги.— Все очень толково изложено. Где это ты только научился так здорово рассуждать? Черт, ты почти меня убедил. Вижу, ты и впрямь готовишь хозяину сюрприз.

Дазмен не придал значения саркастическим ноткам.

— Тогда подпиши,— он протянул Магендо шариковую ручку.

— О, нет, нет, не так быстро,— Магендо разразился своим гулким, безудержным хохотом.— Этого не было в контракте.

— В каком еще контракте?

— В таком, знаешь ли... уговоре,— туманно сказал гангстер.— Тот факт, что я тебя выслушал, еще не означает, что я поощряю и поддерживаю подобную разновидность фантастической дури. Нет, сэр, ни в коем случае!

— Но я же только что объяснил,— воскликнул Дазмен,— для успеха дела мы должны вовлечь в него всех квартирантов до единого.

— Это мне ясно,— Магендо закурил сигарету.— Но я не намерен быть первым.

Будучи старым спекулянтом и уголовником, Магендо прекрасно овладел тактикой выживания. Один из запретов гласил: никогда ничего не подписывать, какой бы невинной бумажка ни казалась с первого взгляда; петиция Дазмена была далеко не безвредна.

— В моем деле,— сказал он Дазмену,— мы никогда не ставим на того, кто может проиграть, пусть даже ставки пустяковые, а выдача сулит быть огромной.

— Мы не намерены проигрывать. Это в наши планы не входит.

— Естественно,— с пониманием кивнул Магендо.— Вот что я тебе скажу, давай так договоримся. Сколько у тебя имен в списке?

— Сорок,— ответил Дазмен.

— Ага, сорок. Так вот, если ты уговоришь двадцать, всего двадцать из этих парней расписаться, можешь твердо на меня рассчитывать — я буду двадцать первым. Тогда у тебя будет абсолютное большинство голосов, чего, как известно, достаточно, чтобы управлять даже всей этой сволочной страной. Всего на один голос больше, чем у ближайшего соперника.

Дазмен задумался. Ишь чего захотел! Двадцать голосов — чересчур жирно. Нет, на это рассчитывать не приходится.

— Обещаешь? — спросил он гангстера.

— Даю честное слово! — ответил Магендо.

Затем Дазмен принялся за Водяного. Механик сидел на пустом ящике у входа в свою конурку и играл с пускающим слюни чадом. Его жена чистила и нарезала овощи, готовя ужин. Сбоку у дверей были сложены железяки, оставшиеся от дазменовской машины, прикрытые на случай дождя замасленной джутовой мешковиной. От первоначальной груды осталось совсем немного. Водяной почти все распродал по мастерским вдоль Грогэн-роуд.

Дазмен подавил испепеляющее его искушение спросить, когда Водяной вернет ему долг. Не хотелось смущать механика в присутствии всего его дружного семейства. Вопрос вызовет у Водяного очередной приступ застенчивости, и с ним будет невозможно обсудить более важную проблему квартирной платы.

— Привет,— начал Дазмен.

— Привет,— нервно отозвался механик. Он не привык к визитерам.

Чтобы его успокоить, Дазмен потрепал младенца по курчавой головке, улыбнулся хозяйке дома. Ребенок витал где-то далеко и даже не заметил прихода Дазмена, а женщина ответила робкой улыбкой и отвела глаза.

— Извини за беспокойство,— продолжал Дазмен, испытывая неловкость.— Помнишь наш разговор в прошлый раз?

— О машине? — испуганно спросил Водяной.

— Нет, не об этом,— Дазмен присел на корточки рядом с механиком.— О бойкоте квартирной платы.

Водяной кивнул и проглотил ставший в горле комок мрачных предчувствий. Его жена захлопнула дверь комнаты, чтобы сохранить в тайне их кричащую бедность, встала, уступая Дазмену ящик, на котором сидела.

— Ничего, мне и так удобно,— отказался Дазмен.— Я на одну минутку. Вот у меня тут проект петиции, каждый, кто хочет, может внести свои поправки и дополнения. Пробеги его при мне, ладно?

Механик взял протянутые ему бумаги той рукой, что была свободна,— другой он держал ребенка,— покрутил их, не зная, что с ними делать. Он разглядывал исписанные листки, явно ничего не понимая. В последовавшей за этим тягостной тишине Дазмен внезапно сообразил, что механик не в состоянии понять тот язык, которым документ составлен.

— Хочешь, я прочту тебе? — спросил он.

Механик кивнул.

Дазмен огласил петицию, опуская целые фразы, не доступные пониманию его слушателя, и делая ударение на тех местах, которые не могут не вызвать у Водяного душевный отклик. Но несмотря на все принятые Дазменом меры предосторожности, вид у Водяного к концу чтения был ошеломленный и потерянный.

— Видно, ты не слишком обрадован,— заметил вслух Дазмен.— Хочешь, чтобы я что-нибудь добавил или развил?

Механик покачал головой.

— У тебя есть замечания по тексту?

— Нет,— простодушно ответил Водяной с прежним выражением лица.

— Отлично,— воскликнул Дазмен.— Как видишь, к меморандуму подколот список жильцов этой крысиной норы. Мы хотим, чтобы каждый поставил свою подпись

на этом листке бумаги в подтверждение того, что все изложенное в документе есть коллективный голос всей нашей исстрадавшейся общины, а не затея безумца-одиночки.

У Водяного задергался кадык.

— Так, если тебе не трудно,— Дазмен протянул собеседнику шариковую ручку,— будь добр, распишись напротив своей фамилии...

— И что дальше? — спросил механик.

— В каком смысле?

— Домовладелец...

— Ах, он,— Дазмен ободряюще заулыбался.— О нем не беспокойся. Ни тебе, ни кому другому он ничего не сделает. Если все мы будем заодно...

— А что, если он вызовет полицейских? — Голос у Водяного подрагивал от страха.

— Никаких полицейских! — заверил его Дазмен.— Наша акция будет носить мирный, благопристойный характер. Никакой политики тут нет. Поверь мне, в день, когда мы выступим против тирании своего домовладельца, на Грогэн-роуд не будет ни одного фараона.

Водяной, однако, не очень-то приободрился. Он помнил еще первый налет полисменов, когда будущие жильцы взбунтовались при заселении перестроенного «Дакка-хауза». Он перевел взгляд с Дазмена на свою жену. Дазмен не мог видеть, какой она подала ему сигнал — для этого ему пришлось бы обернуться. Механик покачал косматой головой, сначала медленно, а потом затряс ею как заведенный.

— Что это должно значить? — сурово спросил Дазмен.

— Я не могу,— сказал он, задыхаясь от смущения.

— Почему?

Водяной посмотрел на младенца, которого держал на руках, потом уперся взглядом в притворенную дверь своего похожего на тюремную камеру жилища и беспомощно пожал плечами. «Дакка-хауз» — первый каменный дом за всю его жизнь. Никогда до этого не знал он нынешних удобств: водопровод, электрическое освещение, душ. Если их выбросят из «Дакка-хауза», ему с семьей придется возвращаться в лачугу из гофрированного железа и картона, что растут как грибы на другом берегу реки. Ни в мыслях, ни словом, ни делом он не может обречь своих близких на такую участь.

— Послушай, старина,— Дазмен старался его урезонить.— В жизни каждого человека бывает момент, когда необходимо принять решение, осмелиться на какой-то поступок. Не ровен час, Тумбо Кубва нас опередит и еще повысит плату. Об этом ты не подумал? От силы месяца три — и он это сделает. Ну пусть шесть-семь месяцев. А сможешь ли ты платить новую цену? Нет! Черт возьми, ты прекрасно знаешь — с тобой он советоваться не станет. Так что же будет, когда он в очередной раз это сделает? Ты со своим семейством, во всяком случае, вылетишь на улицу. Неужто совсем ничего не понимаешь, старина? Это наш единственный шанс добиться упорядочения квартирной платы. Только так мы получим гарантию, что в один день не останемся без крыши над головой.

— Но моя жена, ребенок...

— Хорошо, это я понимаю,— прервал его Дазмен.— Но пойми и то, что я говорю: никого из-за этой бумаги из дома не выселят. Она абсолютно законна, оправданна и разумна. Мы призываем принять меры, квартирный арбитраж нас поддержит. Все, чего мы хотим, так это справедливого к себе подхода и человеческих жилищных условий. Что во всем этом преступного? Выходит, ты согласен, чтобы твоя жена и ребенок жили возле уборной до конца своих дней!

— Ты... ты не понимаешь,— механик запнулся, его свела судорога от болезненной застенчивости.

— Все я прекрасно понимаю,— Дазмен возмущенно повысил голос.— Ты, как и все остальные, думаешь только о себе! Что, у тебя одного жена с ребенком? Он подрастет и пожелает узнать, почему ты допустил, чтобы он рос в ванной! Есть ли у тебя на это ответ?

— Но... мой случай особый.— На его лице читалась прямо-таки физическая боль.— Наш ребенок... взгляни на него. Он никогда не сможет вести нормальный образ жизни, сам о себе позаботиться.

— Что ты называешь нормальной жизнью? — Голос Дазмена прерывался от возмущения.— Живешь в норе, точно зверь! Да ты еще глупее, чем мне раньше казалось. Или, может, я недостаточно ясно все тебе разжевал? Ясно или не ясно?

Водяной кивнул.

— Тогда подпиши, черт бы тебя побрал! — Он придвинул бумаги механику под нос, которым тот все время шмыгал. Он-то надеялся, что с Водяным договориться будет легче простого.

Водяной чуть заметно покачал головой, все его лицо при этом задергалось, капельки пота бисером проступили на лбу и на щеках. Он озирался, точно загнанная газель, взгляд его метался с Дазмена на собственную жену. Он снова, более отчетливо, покачал головой. Дазмен резко обернулся к женщине, но та спрятала от него глаза.

— Поди, считаешь себя мужчиной! — напустился Дазмен на Водяного.— А сам позволяешь ей за себя думать. Кто тут у вас глава семьи? Да ты просто-напросто кочан капусты! Мне не нужен в списке подкаблучник, который рот открывает лишь по бабьей подсказке.

Дазмен поднялся. Разве можно мириться с жалким прозябанием на помойке?! А с дефективным ребенком на руках терпеть все безропотно — это уж совсем ни в какие ворота!

— Я тебя вычеркну! — пригрозил Дазмен сидящему на ящике механику.— И чтобы в понедельник заплатил мне все до цента, или же возвращай мою машину! Мне таких, как ты, союзников не нужно. Вот увидишь — когда мы победим, ты получишь коленкой под зад, будешь лететь отсюда до угла Ривер-роуд!

Жена Водяного поднялась с ящика, вошла в комнату и затворила за собой дверь. Ребенок издавал негромкое блеяние, но не плакал. Водяной уставился на свои драные ботинки — лишь бы не встретиться взглядом с Дазменом.

Кое-кто из безликих оставил свои занятия и с любопытством наблюдал за ними.

— И не обманывай себя зря,— предупредил механика Дазмен.— Если мы проиграем дело, все равно с тобой обойдутся так же, как с нами.

Сомнений больше не было: Дазмену, увы, придется посчитать кое-кому ребра, чтобы наставить «Дакка-хауз» на путь праведный. Кулаки все-таки остаются самым убедительным доводом, самым верным средством сплочения единомышленников...

С Сукумой Вики поладить оказалось куда легче. Хотя сначала и он упирался, но Дазмен напомнил ему о бесчисленных письмах и заявлениях в городской департамент розничной торговли, составленных ими вместе, и зеленщик сдался. Какая разница — одной жалобой меньше, одной больше! Все равно от них нет проку. Внезапно Сукума Вики воспылал энтузиазмом. Любое действие, направленное против муниципалитета, могло рассчитывать на безоговорочную поддержку разносчика. Он по сей день не получил ответа ни на одно из своих многочисленных писем. Налоги на розничную торговлю за последнее время дважды повышались; Сукуму Вики трижды арестовывали за отсутствие выправленного по всем правилам патента.

— Как ты считаешь, нельзя ли тут ввернуть и насчет моих дел? — спросил он Дазмена.

— Нет, не в этот раз,— ответил тот.— Так только запутаем дело. Надо бить в одну точку — квартплата и санитарное состояние дома. Пожалуйста, подмахни вот здесь.

В указанном Дазменом месте он запечатлел свое имя. Именно запечатлел — точнее не скажешь; сначала лизнул кончик карандаша, потом, склоняя голову вправо и влево, внимательно изучил поверхность листа; прежде чем коснуться самой бумаги, несколько раз для пробы прочертил закорючки и загогулины в воздухе и уже потом только занялся возведением своей подписи. Его считали одним из немногих грамотных жильцов «Дакка-хауза», однако то, что он начертал, никто, кроме него самого, разобрать бы не мог.

Следующим в списке Дазмена шел Чупа на Дебе. Как всегда, он сидел в своей смрадной комнате и разбирал очередную партию хлама, собранного за день. По обыкновению, он встретил гостя весьма прохладно и с ходу предложил ему перегоревший электрический утюг, который починить уже нельзя, и сковородку без ручки. Дазмен это предложение отклонил.

— Садись,— Чупа на Дебе указал на заваленный старьем тюфяк, где и сам располагался.

— У меня нет времени рассиживаться,— ответил Дазмен.— Как-нибудь в другой раз.

— Чем могу служить? — спросил старик.

— Я насчет квартирной платы.

— Сядь,— повторил Чупа на Дебе.— Нехорошо разговаривать с порога. Знаешь, ко мне не часто кто-нибудь заходит.

— Знаю,— кивнул Дазмен.

Он расчистил себе место на мешковине и сел на край тюфяка, вставив ступню в дверной проем. Старик был занят делом, а Дазмен тем временем докладывал, как продвигается затеянное им предприятие. Дазмен отчасти был даже рад тому, что собиратель бутылок его не слушает; особо хвастаться нечем: всего две подписи, остается еще больше трех дюжин — самых твердолобых ублюдков. Когда он наконец умолк, сказав в заключение, что от Чупы на Дебе только требуется поставить свою закорючку, старик поднял глаза и спросил:

— А насколько он снизит плату?

— Не знаю,— признался Дазмен.— Это решат городские органы. Лично я считаю, что наши клетушки не стоят и сотни шиллингов в месяц.

— Хорошо бы вообще плату отменили,— сказал старик.— С каждым разом наскребать на это деньги становится все тяжелее.

— Что верно, то верно,— подтвердил Дазмен, задумавшись над тем, сколько же бутылок надо сдать, чтобы внести месячную плату Тумбо Кубве.— Поглядим, как пойдет дело. Ну а теперь вот здесь надо расписаться...

Чупа на Дебе внезапно вскинул голову, будто бы вспомнил нечто важное.

— Не могу,— сказал он грустно.

Дазмену стоило немалых усилий сохранить безмятежный вид, при том что сердце камнем пошло ко дну.

— Ты должен это сделать! — сказал он ровным, уверенным голосом.— Все обязаны подписать документ.

— Не могу,— повторил старик.

— Ну нет, только не это. Ты не станешь меня подводить! — В Дазмене медленно поднималась ярость.— Я на тебя рассчитывал, полагался на твою мудрость. Если ты не подпишешь, то и остальные откажутся. Сделай это ради меня! Ведь мы же друзья, верно?

Старик пожал плечами.

— Вот здесь,— Дазмен протянул бумаги.

— Я не могу,— Чупа на Дебе снова застучал молотком.

— Что значит — не можешь? — в сердцах закричал Дазмен.— Гляди на меня, не стучи, когда с тобой разговаривают! Почему не можешь?

— Не умею я писать,— подняв глаза, объяснил старик.

Оба уставились друг на друга. Дазмен никогда не задумывался над тем, что и такая проблема может возникнуть.

— Задал ты мне задачу,— вздохнул Дазмен.

— Это уж точно.— Чупа на Дебе вновь пожал плечами, не отрываясь от своей работы.— Если б я умел писать, молодой человек, то зарабатывал бы на жизнь другим способом.

— А ты уверен, что не умеешь? Даже собственное имя не знаешь, как пишется?

— За всю свою жизнь я и одного дня в школе не был,— пробормотал старик.

— Ну и ну,— снова вздохнул Дазмен.— А что... ага, придумал! Ты хотя бы ручку в пальцах удержишь?

— Никогда не пробовал.

— Вот и настало время попробовать. Учиться никогда не поздно Ручка — такой же рабочий инструмент, как любой другой. Как... как вот этот молоток. А ну-ка, держи.

Старик снова поднял глаза. Его мозолистая правая рука медленно потянулась вперед и нерешительно ухватила ручку.

— Вот так?

— Не совсем так, все же это не молоток. Вот здесь, согни пальцы... так, так.

Тяжелые, заскорузлые пальцы старьевщика сомкнулись на шариковой ручке.

— Расслабь пальцы,— наставлял Дазмен.— Не жми так сильно. Еще чуть-чуть... вот так, хорошо. А теперь поставь тут вот знак... свою подпись, любую закорючку — какую хочешь.

Чупа на Дебе только слегка поколебался, потом сделал пометку против своей фамилии, нечто среднее между буквой «х», крестом, размазанной свастикой и знаком зодиака «Рыбы». Дазмен уставился на это чудище: не бог весть что, однако лучше, чем ничего, он и такого не ожидал.

■

То субботнее утро на Грогэн-роуд выдалось особенно жарким. «Дакка-хауз» уже давно пробудился, и жизнь в нем текла своим чередом, по заведенному порядку, с таким шумом, что стены менее фундаментальной постройки давно бы обвалились. Гаражи открывались рано, лязг и грохот металла обволакивал всю улицу тяжелой и густой звуковой завесой.

Водяной ушел на работу в свою мастерскую под открытым небом, Чупа на Дебе уже обходил пригородные помойки, просеивая их и таким образом зарабатывая себе на жизнь. Но по причинам, которые стали известны жителям «Дакка-хауза» лишь потом, Сукума Вики не отправился, как обычно, со своей тележкой на оптовый рынок.

Тараканы уснули после продолжавшегося всю ночь пира с танцами — это тараканье действо и раздражало Дазмена, и в то же время зачаровывало. Он наблюдал, как они отплясывают на пыльном полу, на кухонном столе, повсюду, где могла уместиться пара этих тварей. Они шли друг за дружкой, описывая точные окружности, не меняя ни скорости, ни направления. То был дурацкий, бессмысленный танец, который, несмотря ни на что, доставлял тараканам несравненное наслаждение. Дазмен множество раз наблюдал за ними и раньше, гадая, что это: свадебный обряд либо некая врожденная непреодолимая тупость, заставляющая их повторять без конца бег по кругу, игнорируя при этом весь остальной, огромный и разнообразный мир. Временами он жалел, что не может объясниться с ними, спросить, отчего же они такие болваны, ради чего топчутся в этой абсурдной, не доступной разумению пляске.

Тото мурлыкал и насвистывал, одеваясь перед уходом на работу. Сегодня у него была веская причина радоваться жизни. Если ничего не сорвется, в понедельник утром он станет гордым владельцем автомобиля.

Дазмен отжимался на полу, обливаясь потом. Сделав упражнение пятьдесят раз, он рухнул на пол, потом поднялся, отряхнул брюки.

— Пока не забыл,— сказал он, доставая все те же свои бумаги,— ты мне обещал свою подпись.

Тото, прежде чем сказать что-нибудь, долго изучал трехстраничный документ.

— Ты, стало быть, считаешь всю эту затею реальной,— наконец вымолвил он негромко.

— Иначе я не стал бы тратить на нее время,— ответил Дазмен.

— Не знаю, не знаю,— посерьезнев, сказал Тото.— Вроде бы полное безумие и в то же время мировая идея; не пойму никак.

— Подпиши — и вся недолга,— Дазмен протянул ему ручку.— Остальное предоставь мне.

— Ну а что думают другие на этот счет?

— Большинство вообще ничего не думает,— ответил Дазмен.— Но они пойдут с нами за компанию, я на это надеюсь. Водяной наотрез отказывается подписать, боится, что нас всех за это вышвырнут на улицу.

— Оказывается, он мудрый человек. А кто это поставил крестик за Чупу на Дебе?

— Он не умеет писать,— объяснил Дазмен,— в отличие от большинства соседей. Магендо подпишет только в том случае, если я наберу двадцать других подписей. Он желает играть наверняка, без риска. Он мне твердо обещал, если, конечно, его слову можно верить.

— Поверь мне, его слово недорого стоит,— сказал Тото, пересчитывая подписи.— Тебе не хватает трех. К кому ты еще не обращался?

— К некоторым из безликих, и знахаря пока что решил не трогать.

— Мганга — астролог, а не знахарь,— поправил Тото.— Я берусь доставить тебе его подпись.

— В этом нет нужды,— покачал головой Дазмен.— Я не хочу компрометировать нашу затею связью с колдовством. Подпишись, а я уж сам как-нибудь доведу дело до конца.

Тото расписался напротив своего имени размашисто и крупно, потом пересчитал имена в списке и недоуменно покачал головой.

Дазмен забрал у него бесценный документ. Он принял решение: те, кто не захочет добровольно сражаться за лучшую долю, подвергнется принудительной мобилизации. Им надо вправить мозги — не понимают собственной выгоды!

— Знаешь,— Тото вывязывал узел галстука,— раньше ты был солидным человеком, Дазмен. Усердный контролер счетчиков. Тогда ты мне нравился. Я и сейчас к тебе неплохо отношусь, хотя ты совсем свихнулся.

— Что ты имеешь в виду?

— То, что ты уже не тот примерный служащий, каким я тебя знал.

— Ты уже говорил это,— заметил Дазмен.— Тебе впору пойти в компаньоны к доктору Бейтсу. Этот ублюдок точь-в-точь как ты — кружит на одном месте. Кстати, Бейтс как раз составляет сейчас заключение о моей вменяемости.

Тото надел пиджак, поправил галстук, глядясь в осколок зеркала, одернул рукав, смахнул с лацканов невидимые пылинки и спросил:

— Эта затея с квартплатой, на какой день ты назначил свою стачку?

— Во-первых, стачка не моя,— ответил Дазмен,— а всех квартирантов, включая и тебя.

— Когда? — переспросил Тото.

— Мы дадим домовладельцу месяц на раздумья и по истечении указанного срока перейдем к действиям.

— Знаешь, ничего безумнее я никогда не слыхал.

— А платить за эту собачью будку триста шиллингов — не безумство?

Тото кивнул.

— Сколько, по-твоему, платили индийцы, снимавшие раньше все это помещение? — спросил Дазмен, озирая стены.— Наверно, стоило бы упомянуть это в петиции.

— Ни гроша,— ответил Тото.— Это же был их собственный сарай. И в те времена тут было не так уж скверно.

— А теперь — только посмотри, в каком все состоянии,— воскликнул Дазмен.— Штукатурка потрескалась, половицы рассохлись, крыша протекает...

— Вообще-то лучше всего было бы пол накрыть ковром,— помолчав, сказал Тото.— От стены до стены. Напомни мне на будущей неделе.

— У тебя есть такие деньги?

— Скоро будут,— высокомерно сказал Тото.— Сегодня вечером у меня важная деловая встреча. Мы занимаемся импортом и экспортом. Деньги вот-вот потекут рекой, только успевай тратить.

— Что это все-таки за бизнес? — вскинул глаза Дазмен.

— Бизнес что надо! — Тото последний раз прошелся щеткой по башмакам.— А главное, прибыльный, приносит большой доход. Мне давно уже пора было о себе подумать, верно?

— Это случайно не уголовщина?

— С чего ты взял? Откуда у тебя, Дазмен, такие незрелые идеи?

— Мне сдается, что Сукума Вики тоже пустился в незаконные махинации.

— В какие именно? — Тото внезапно насторожился.

— Контрабанда слоновой кости.

Дазмен видел, как Сукума Вики куда-то торопился с завернутой в мешковину поклажей, смутно напоминавшей слоновьи бивни. Дважды он слышал подозрительное позвякивание груза, что взваливал на плечо разносчик зелени. Наверняка слоновая кость. Каждый, у кого есть голова на плечах и нужные связи, занимается контрабандой бивней, загребая на этом миллионы. Сукума Вики проявил себя куда более сообразительным, чем Дазмену представлялось поначалу. Он только прикидывается безмозглым ослом, внешность-то обманчива.

— Все это чушь,— отмахнулся Тото.— У него не хватает ума даже на то, чтобы жену иногда поколотить.

— При чем тут его жена! Какое она имеет отношение к слоновой кости?

— Эх, дружище,— пояснил Тото.— Чтобы быть контрабандистом, прежде всего нужны смелость и хитрость. В «Дакка-хаузе» один Магендо на это тянет.

Тото направился к двери.

— Пожелай мне удачи.

— Всего наилучшего!

Дазмен включил новенький стереофонический проигрыватель, приобретенный Тото. Чудовище загрохотало, заполнив комнату ритмом «соул», так что даже стены зазвенели, как воздух в туго накачанном футбольном мяче.

Надо бы подмести пол, да нечем — метлы в хозяйстве не оказалось. Оставив дверь приоткрытой, Дазмен отправился на поиски. На углу Грогэн-роуд и улицы Скачек была крошечная лавка, где торговали всякой всячиной. Лавка принадлежала горбуну с горестным лицом, земляку Качра Самата, который каким-то образом отстал от поезда, увозившего всех уважающих себя индийцев в пригородные виллы. Он был из той малочисленной и жалкой горстки азиатов, которой суждено умереть в нищете на Грогэн-роуд. Дружелюбный и приветливый старикан, он, как и доктор Патель, жил в этой городской низине уже столько лет, что африканцы, унаследовавшие его вместе с рассыпающимися зданиями, давно считали его своим.

Как назло, сегодня метел в продаже не оказалось; Дазмен купил сигарет и поспешил назад.

На том месте, где когда-то ставил машину Дазмен, стояла тележка Сукумы Вики. Сукума Вики как раз спускался по лестнице, в обнимку с грузом, обернутым в мешковину,— точно таким же, как и за день до этого. Заметив Дазмена, старик переполошился и вроде бы собрался повернуть вспять, к себе в комнату.

— Привет,— окликнул его Дазмен.

— Привет.— Сукума Вики переложил свою ношу на плечо, подальше от дазменовских глаз.

— Что же ты не торгуешь сегодня овощами? — спросил Дазмен.

— Сегодня суббота,— ответил разносчик, хотя никогда не устраивал себе выходных, даже по праздникам.

Его жена с детьми уехала до понедельника к родне в деревню.

— Значит, отдыхаешь, так, что ли?

— Ага.

— Чем же сегодня промышляешь, если не овощами?

— Ничем.

— А что это ты тащишь?

— Ничего.

— Не отпирайся, это бивни!

— Нет,— смутился Сукума Вики,— ничего такого.

— Слышал поговорку: вор живет лишь сорок дней?

— Нет,— быстро сказал Сукума Вики.

— Это сущая правда,— заверил старика Дазмен.— А на сорок первый... Бац! Суд идет!

Сукума Вики горестно вжал голову в плечи, потом повернулся и, не дожидаясь дальнейших расспросов, засеменил по Грогэн-роуд сбывать свою слоновую кость.

Дазмен занялся тем, что вписал недостающих квартирантов «Дакка-хауза» в состав своей армии протеста. Теперь было ясно как день, что этим людишкам придется помогать даже против их воли. Недостаточно только разъяснить, что хорошо, а что плохо для них. Придется выворачивать им руки.

Достав список имен, он разложил листки на кофейном столике, закурил сигарету и принялся скрупулезно изучать каждую фамилию. Задача, стоявшая перед ним, была не из легких. Как, например, подделать подписи тех, кого не знаешь? Дазмен начал с того, что представил себе лица безликих. Стараясь изо всех сил, он соединял по отрывочным деталям профили и характеры соседей, которые пока не расписались под «Манифестом «Дакка-хауза». Кроме Чупы на Дебе, уже заявившего о своей непоколебимой приверженности идее, остальные жильцы были относительно грамотны. Стало быть, поддельные подписи будут здорово отличаться от настоящих. Мелкий конторский клерк, поди, расписывается стремительной и заносчивой завитушкой, примерно так, как это делает Тото. Официант из бара царапает свое имя небрежно, а заводской рабочий будет долго пыхтеть, выводя каракули; получится нечто похожее на крестик Чупы на Дебе, только с иным наклоном — слева направо. Большинство из них не сумеют и за тысячу лет дважды расписаться одинаково или же узнать собственную закорючку через минуту. Самым большим утешением для Дазмена было сознание того,

что, как бы дело ни повернулось, Тумбо Кубва не станет сличать с оригиналом и выяснять подлинность более чем сорока неразборчивых автографов.

Почти полтора часа корпел Дазмен над подделыванием почерков, меняя нажим и наклон, перекладывая перо из правой руки в левую.

Дазмен еще раз перечитал текст петиции. Чем чаще он это делал, тем довольнее оставался своим творением. Написано в филигранном стиле, но разит цель, как кувалдой! Если квартирный арбитраж эта ода оставит равнодушным, то дело не в художественных просчетах. Он снова пробежал взглядом по именам, сравнил их с поставленными рядом подписями; по здравом размышлении стер подделанную им подпись Магендо. Если дойдет до выкручивания рук, Магендо первый заявит, что лично он ничего не подписывал.

Дазмен вернул бумаги в потайное хранилище. Он недурно сегодня поработал. Он смочил волосы под краном во дворе, расчесал их деревянным гребнем с неровными зубьями и стряхнул перхоть со лба. Потом сел на кровать и в который раз пересчитал свою наличность.

Гигантский таракан выполз из-под кровати и, плотоядно зевнув, направился к мусорным бачкам, стоящим во дворе: там можно отыскать хоть что-нибудь съестное. Дазмен не стал его трогать; разумные поступки следует поощрять. Хорошо бы, чтоб его собратья последовали этому примеру и эмигрировали из их с Тото комнаты...

Во дворе с шумом захлопнулась чья-то дверь, донеслись гулкие шаги по цементу. Выглянув в окно, Дазмен заметил направлявшегося на улицу Магендо с тяжелой дорожной сумкой на плече. Дазмен поспешно вылез из кровати.

— Магендо,— позвал он с порога.— Можно тебя на секундочку?

— Конечно,— Магендо остановился, опустил сумку на землю.— У меня много дел, но... если друг о чем-то просит... я на все готов.

Дазмен пошел назад в комнату и вернулся с бумагами.

— Вот, взгляни на это.— Он протянул гангстеру документы.

Магендо довольно долго любовался дазменовской работой.

— Очень хорошая рука,— похвалил он.

— Помнишь наш уговор? — спросил Дазмен.— Тут больше чем двадцать.

— Вижу,— кивнул Магендо.

— Не хватает только подписи Водяного, колдуна, ну и, конечно, твоей.

— Так-так,— кивнул Магендо, недоверчиво изучая подписи.

— Рассчитываю к вечеру иметь две недостающие,— солгал Дазмен.

— Мганга ни за что не подпишет это,— сказал Магендо.— Ему вообще нельзя писать — дурно влияет на его чары. А это что такое?

Он ткнул пальцем в крестик напротив имени Чупы на Дебе.

— Старик, что собирает бутылки,— пояснил Дазмен.— Он не умеет ни читать, ни писать, поэтому поставил против своей фамилии такой знак.

— Мне это по душе,— задумчиво кивнул Магендо.— В этом что-то есть, чувствуется стиль. Нет, в самом деле! Внешняя абстрактность придает дополнительный смысл и выразительность. Куда лучше, чем все эти неразборчивые каракули — точно курица лапой нацарапала.

— Больше пятидесяти процентов, твое условие соблюдено,— Дазмен протянул бандиту шариковую ручку.

— Как тебе удалось обработать этих придурков?— Магендо предложил Дазмену сигарету и сам закурил.

— Я растолковал им суть дела,— ответил Дазмен.

По понятиям Дазмена, воры и домовладельцы стоят на самой нижней ступени человеческого общества. Он продолжает презирать Магендо и не переменит отношения к нему; когда вопрос с квартирной платой будет улажен, Дазмен предложит бандиту выйти во двор и посчитается с ним за жену Водяного.

— Я готов был биться об заклад, что они все от тебя попрячутся под юбки жен, лишь бы в эту историю не ввязываться,— сказал Магендо.

— А вышло иначе, они вступили в единоборство с действительностью,— сказал Дазмен.— Ну а теперь подписал бы и...

— Я до сих пор не понял,— Магендо будто не замечал шариковой ручки, протянутой Дазменом,— как ты думаешь все это дельце обстряпать. Ты объяснил этим чурбанам, на какой риск они идут? Что это может кончиться для них тюрьмой или выселением?

— Они все понимают,— снова покривил душой Дазмен.— Ни одно прогрессивное начинание не обходится без риска. Ну, как насчет тебя самого? Ты же слово дал.

— Помню,— сказал уголовник.— Я по-прежнему считаю всю эту затею безумной, однако не хочу войти в историю как ублюдок, загубивший революцию.

Он взял ручку и двумя аккуратными штришками поставил против своей фамилии крестик, затем вернул Дазмену ручку и листок. Дазмен своим глазам не поверил.

— Что это такое? — закричал он.

— Моя подпись,— рассудительно сказал Магендо.

— Да как ты можешь!

— А почему бы и нет? Этому бутылочному маньяку можно, а мне нельзя!

— Он не умеет писать, а ты умеешь.

— Какая разница? — пожал плечами бандит.— Я же тебе сказал, мне очень нравится крестик, высокохудожественный, почти что универсальный знак, куда более символичный, чем другие закорючки на твоем листике. Двусмысленность — вот в чем его величайшая сила. И в то же время какая простота! А ты и впрямь надеялся, что я поставлю собственную подпись под этой ерундой?

— Ты мне дал слово,— пригорюнился Дазмен.

— И я его сдержал,— с достоинством ответил Магендо.— Ты хотел, чтобы я как-то обозначил свое участие, так? Вот и получай.

Дазмен почувствовал себя одураченным и униженным. Он силился побороть свой гнев: если сейчас ударить Магендо, то, войдя в раж, он не остановится, пока не убьет бандита.

— Ты, Магендо, низкий ублюдок! — зашипел он.— Хуже последнего пресмыкающегося... Мы с тобой никогда не поладим, никогда!

— Зато мы едины духом,— съязвил Магендо, поднимая сумку.— Я тоже хотел бы увидеть здесь кое-какие перемены. Однако, когда весь этот цирк начнется и фараоны примутся за расшифровку подписей, многие в «Дакка-хаузе» пожалеют, что обучены грамоте. Бог — свидетель!

Он заковылял к лестнице, оставив Дазмена одного посреди двора.

— Не смей ко мне больше обращаться! — крикнул ему вдогонку Дазмен.— Двуличный ворюга!

— Как тебе будет угодно,— Магендо рассмеялся, и его гулкий, беспечный хохот эхом раскатился по лестнице. Дазмен до боли сжал зубы, длинно выругался про себя. Не станет он ждать и откладывать сведение счетов с уголовником! Сегодня же ночью до него доберется.

Он долго сидел неподвижно, раздумывал — принять или не принять душ, потом разделся, обвязался полотенцем и неохотно поплелся к душевой.

Дазмен вышел из душевой как раз вовремя: во двор ввели Сукуму Вики в наручниках. Его конвоировал детектив в штатском. Дазмен замер у двери душевой, не спуская глаз с попавшего в беду соседа. Сукума Вики был совершенно спокоен и хладнокровен. Детектив снял с него наручники, и зеленщик отпер свою дверь. Затем его снова заковали, и два других полисмена занялись обыском в его комнате. Вскоре они появились на пороге с точно таким же свертком из мешковины, какой Сукума Вики волочил куда-то утром. Не удостоив Дазмена ни словом, полисмены с поклажей и Сукумой Вики отбыли со двора.

Дазмен словно остолбенел. Он не мог поверить своим глазам! В глубине души он сомневался, что Сукума Вики действительно торгует слоновой костью, но теперь его предположения подтвердились. Нельзя судить о человеке по внешнему виду. Многие только прикидываются простачками. Магендо — не единственный подпольный делец «Дакка-хауза». Король капусты и слоновой кости, видать, попал в серьезный переплет. Контрабанда слоновой кости считается тяжким преступлением. За такое его упекут надолго. Настала полоса неудач для капустного вора. Магендо — следующий. Сорок дней промелькнут — не заметишь!..

От перепалки с Магендо, а затем от созерцания Сукумы Вики в обществе фараонов у Дазмена во рту остался очень неприятный привкус.

Он быстро оделся и вышел из дома. Грогэн-роуд была пустынна, зато на всей протяженности пыльной Ривер-роуд бары были битком набиты. От рева проигрывателей вся улица ходила ходуном. Пьянчуги мотались туда-сюда сквозь засаленные двери.

Кто-то пел, другие орали что-то несвязное. У витрин лавок топтались зеваки. Словно электрический ток пропустили по улице, она пульсировала, билась в предсмертных конвульсиях, испуская духовитый аромат денег.

Дазмен направлялся в сторону «Клуба гурманов». Больше идти некуда; если повезет, он встретит Чэрити, она утешит его, поможет забыться.

■

«Клуб гурманов», работающий круглые сутки, был до того забит, что трещал по швам. Мужчины волнами нахлестывали на длинную стойку, требуя еще и еще выпивки и жареного мяса; потом, отхлынув в противоположный край зала, теснились у входа в туалет.

Как обычно, Чэрити искренне обрадовалась, увидев его. Они заказали еще пива и забились в темный уголок, подальше от толпы. Чэрити не закрывала рта. Повезло ей — обзавелась постоянным дружком. Дазмен тоже был доволен. Пусть Чэрити и профессионалка, но с ним бизнесом не занимается. Они совсем сблизились и понимали друг друга, с подобного рода женщинами у мужчин редко такое бывает.

Они пили до полуночи. В первом часу ночи Дазмен позвал ее домой. Денежный вопрос они никогда не обсуждали. Как настоящий муж, он отсчитывал ей наутро столько, сколько мог себе позволить. Будучи разумным человеком, Дазмен старался не давать ей повода для обид и неудовольствия.

Он обвил рукой ее талию и повел в сторону Ривер-роуд.

Такое впечатление, будто кто-то в эту ночь повернул рубильник и выключил на этой улице жизнь. Все лавки давно позакрывались. Спали музыкальные магазины и забегаловки, где в дневное время жарят шашлыки; заперты крошечные африканские закусочные, где хлеб нарезают тоньше папиросной бумаги. Разошлись по домам чистильщики обуви, оставили свои рабочие места нищие и попрошайки. Не видно и зевак, карманников, бродяжек. Ривер-роуд была тиха и мертва, на ней хозяйничали пыльные ветры, бездомные собаки, кошки и заблудившиеся пьяницы.

Индийские собаки безумно залаяли, когда Дазмен и Чэрити приблизились к забору. На асфальте осталось грязное жирное пятно от машины Дазмена: Водяной оттащил кузов в мастерскую, и из него нарезали жаровни и бочки. Они медленно поднялись по захламленной лестнице. Весь дом спал, а Тото еще не вернулся. Теперь раньше понедельника не явится — все зависит от того, сколько денег принесло ему его новое предприятие.

Дазмен кинул пиджак на кровать и начал стаскивать башмаки. Чэрити, сев на кровать, расчесала волосы, заплела их на ночь в косички. Дазмен подошел к двери, чтобы запереть ее, но тут она с треском распахнулась, и в комнату ввалилось трое здоровенных гнусного вида ублюдков. Чэрити едва сдержала крик. Дазмен метнулся было за своей тростью, но один из троицы его опередил. Он послал Дазмена увесистым ударом в нокдаун — и тот снова очутился на кровати. Потом они подняли его и пригвоздили к стене.

— Полиция!— один из детективов сунул Дазмену под нос удостоверение и тут же влепил ему пощечину.— Руки вверх, повыше, еще выше, если жизнь тебе дорога.

Дазмен узнал пришельцев, двое из них днем сцапали Сукуму Вики. Дазмен вздохнул с облегчением. Его просто-напросто с кем-то перепутали.

— Вы, ребята, ошиблись дверью,— сказал он им.— Он живет не здесь.

— Кто не здесь живет?— спросил один, в то время как вся троица переворачивала комнату вверх дном.

— Тот, кого сегодня забрали. Торговец слоновой костью — за стеной. Вы ошиблись дверью.

— Заткнись и сядь,— приказал старшой.

Дазмен опустился на кровать рядом с Чэрити. Он знает полисменов: они не любят, когда им перечат, даже если они и неправы. Попридержи язык, делай, что тебе велят. Полисмены раскрыли чемоданы, и нарядная одежда Тото полетела на пол. Они распарывали чехлы на поролоновых матрасах, выстукивали стены и пол, разыскивая тайник. Перебрали посуду, заглянули в бумажные пакетики с сахаром и чаем и нашли там сотни две худых, голодных тараканов. Те, что покрупнее, устав глодать дазменовские ботинки, перебрались на помойные баки во дворе, вступив в борьбу за выживание с кры-

сами, одичавшими кошками и бездомными дворнягами. В эту ночь они не танцевали — вот какая выдалась ночка...

— Здесь ничего нет, инспектор,— наконец сказал один из полисменов.

— А что вы рассчитывали отыскать?— спросил Дазмен.— Говорят вам, вы попали не туда.

— Ладно, где это?— спросил инспектор.

— Соседняя дверь!— с готовностью ответил Дазмен.

— Перестань кривляться. Где это?

— Где что?

— Вопросы тут задаю я!— прорычал инспектор.— В участке тебе быстро развяжут язык. Заговоришь как миленький!

По его знаку на Дазмена и Чэрити надели наручники.

— Отпустите ее,— попросил Дазмен.— Она-то вовсе ни при чем.

— А кто при чем?

— Черт возьми, откуда же я знаю, что вам надо?

— Пошли.— Они вытолкали их во двор, один из полицейских запер дверь, другой достал электрический фонарик и заглянул брезгливо в баки с мусором, обыскал и душевую. Когда же дошла очередь до засоренной уборной, он только заглянул внутрь и тут же захлопнул дверь.

— И здесь ничего,— доложил он.

— Где-то должно быть,— сказал инспектор.— Свяжитесь с участком, пусть пришлют еще людей. Надо обыскать каждую комнату в доме.

— Каждую комнату!— Дазмен ушам своим не верил. Мыслимое ли дело — обыскать весь «Дакка-хауз»!

— Слушаюсь, сэр,— констебль отдал честь и, едва не растянувшись на неровном полу, стал по стойке «смирно».

— Пошли,— приказал инспектор.

Центральный полицейский участок был заполнен до краев обычным для конца месяца уловом — пьяницы, карманники, налетчики, драчуны с изодранными физиономиями и в окровавленной одежде; полуголые проститутки, не поделившие клиентов.

Дазмена и Чэрити встретили по первому разряду. Инспектор растолкал чернь и представил свою добычу дежурному констеблю для регистрации. Чэрити стала негодовать, когда ее записывали, но Дазмен держался спокойно, помалкивал, полагая, что произошла ошибка, которую вскоре исправят. Чэрити заставили снять туфли, парик «афро», отобрали у нее часы и сумочку и повели на допрос.

— Имя?— хмуро спросил Дазмена дежурный констебль.

— Дазмен Гонзага.

— Адрес?

У подъезда со скрежетом затормозила патрульная машина, и констебль не расслышал ответа Дазмена. Все повернули головы и выжидательно уставились на дверь. Стремительно вошел агент Особого отдела, пиджак на нем был расстегнут и виднелся револьвер под мышкой.

— Улизнули!— выпалил он инспектору, потом огляделся по сторонам и при виде сборища всякой нечисти нахмурился. Те, на кого падал его взгляд, виновато отворачивались.

— Улизнули?— инспектор повысил голос.— Что это значит?

— Их нет,— нерешительно пояснил детектив.— Мы проверили всюду. Дом в Вестленде пуст, в нем следы поспешных сборов. Мы позвонили в охрану аэропорта, проверили списки пассажиров, улетевших вечерними рейсами. Те, кто нам нужен, полчаса назад вылетели в Лондон самолетом компании «Бритиш эйруэйз».

Инспектор в досаде хлопнул себя по лбу.

— Свяжитесь с Интерполом,—велел он.—Сами знаете, что в таких случаях делать.

— Слушаюсь, сэр!

— Представьте им всю информацию,— продолжал инспектор.— И фотографии тоже, если они у нас имеются.

— Имеются, сэр.

— Ну и отлично.

Детектив поспешил выполнить приказ начальства.

Дазмена впихнули в камеру, бросили ему подстилку и одеяло и оставили одного. Единственным источником света была тусклая лампочка в коридоре, двумя камерами

дальше. Дальние углы камеры были погружены в темноту, и Дазмен не мог разглядеть, что там. Он расстелил тюфяк и одеяло, потом отступил на шаг, поглядывая с опаской на свое ложе. Хотя он устал и очень хотел спать, но не осмеливался лечь; Дазмен знал, что его, с позволения сказать, «постель» кишит сотнями клопов и блох, которые только и ждут, на кого бы накинуться. Они еще более изголодались, более прожорливы и более нахальны, чем тараканы и мыши с Грогэн-роуд. Клопы бодрствовали, готовясь к припозднившейся трапезе.

Он прислонился к перекладинам решетки на двери, где было чуть-чуть светлее, и задремал стоя. Начав оседать, очнулся и застучал подошвами по полу, чтобы не спать. Ему надо все хорошенько обдумать. В камере было холоднее, чем в душевой на Грогэн-роуд, от параши несло ее содержимым и хлоркой. В конце концов он все-таки уснул стоя. Ему приснилось, что он дома, в «Дакка-хаузе». Медленно скользя по решетке, Дазмен шлепнулся на пол и громко выругался.

Обыскивать «Дакка-хауз»? Это же чистейшей воды безумие!

Чэрити, видать, уснула. Притихли и ее соседки — ни стонов, ни жалоб на судьбу. Дазмен слышал теперь только храп из камеры, куда запихнули всех пьянчуг и дебоширов. Где-то в отдалении изредка проезжали машины. Он снова привалился всей тяжестью тела к решетке и смежил веки.

Обыскивать «Дакка-хауз!» Эта мысль его не покидала. Он пытался вообразить, что же они найдут: пыль, тараканов, мышей, крыс, башмаки, изношенные много лет назад, кочерыжки кукурузных початков, грязное нижнее белье, колченогие стулья, помятые кастрюльки, сковороды, алюминиевые кружки, бутылки... Они раскопают затерянный, ни на что не похожий мир: туземные снадобья Мганги, склад контрабандных товаров у Магендо, болты и гайки Водяного, несметные богатства Чупы на Дебе... им не дойти своими скудными умишками, зачем все эти горы бутылок, старой обуви и просто ненужного хлама... Нет, черт возьми, им этой загадки не одолеть! Обыскивать «Дакка-хауз»! Пусть ищут, посмотрим, что им это даст...

■

Через несколько минут он проснулся от шагов и шума в коридоре. Мимо его камеры, тяжело и неуклюже ступая, сержант провел Сукуму Вики. Дазмен сквозь прутья решетки схватил зеленщика за рукав и притянул к себе.

— Попался, сын бешеной суки!— завопил он с победным восторгом.— Теперь ты им все скажешь, старая задница! Я с тобой никаких дел не имел!

Сукума Вики как будто и не удивился внезапному наскоку. После всего, что приключилось с ним за последние шестнадцать часов, он уже, наверное, ничему и никогда не удивится. Зеленщик несколько секунд молча разглядывал Дазмена, но в густом полумраке так и не смог узнать соседа. Вид у него был измученный, его терзал голод, в голове звенело от побоев — ему изрядно досталось на допросе.

— О чем это вы толкуете? — спросил он едва слышно.— Я и так уже рассказал вашим людям все без утайки.

— Осталось только сказать им правду. Ты, жалкий куриный помет, ворующий слоновую кость. Скажи им, что я никогда не был твоим сообщником.

— Какая слоновая кость?— Сукума Вики понял, что угодил в хитроумно поставленный капкан. Из него теперь выудят новые признания.

— О чем это вы?— взмолился он.

— О слоновой кости, плешивый вор! О бивнях!

— Какие еще бивни?

— Сам прекрасно знаешь!— Дазмен стукнул старика о прутья решетки.— Если не скажешь правду... я тебя убью!

— Кто вы? — Сукума Вики щурил глаза на тень в камере, стараясь вспомнить, чей это знакомый голос.

— Только не прикидывайся, будто меня не знаешь,— свирепо прошипел Дазмен.— Ты должен все им выложить!

Сукума Вики, тускло поблескивая лысиной, щурил глаза, тщетно силясь вспомнить, кто этот человек, потом покачал головой. Он никогда не курил и не пил спиртного, вел праведную жизнь: торговля зеленью не давала средств даже на самые невинные развлечения. Так было до последнего времени.

— Отпусти, рубашку порвешь. Я тебя впервые в жизни вижу.

— Отлично,— Дазмен врезал ему кулаком в плечо.— Так им и скажи. Меня это вполне устроит.

Он повернулся к сержанту.

— Слышали?— заорал Дазмен.— Слышали, что сказал этот истребитель слонов? Он никогда меня раньше не видел. Теперь вы можете выпустить меня отсюда. Ведь вы слышали его, верно? Повтори же, капустный червь, повтори!

— Отпусти мою рубашку,— захныкал Сукума Вики,— я тебя не знаю.

Сержант сгреб старика, затолкал в свободную камеру и запер там. Потом, громыхая щегольскими армейскими ботинками, приблизился к Дазмену.

— Черт возьми, кто ты такой?

— Дазмен. Мы с вами с недавних пор знакомы.

— Советую тебе, Дазмен, не совать нос в мешок с чужой картошкой! — Дав заключенному мудрый совет, сержант гулко затопал по коридору.

— Дазмен! — позвала Чэрити.— Почему ты не сказал мне, что занимаешься контрабандой слоновой кости?

Он решил не отвечать. Девицы из бара совершенно не ориентируются в ситуации, подумал он. У Дазмена постепенно коченели ноги, холод начинал пробирать его до костей. Он поплотнее завернулся в рубашку, проклиная тот день, когда злая судьба свела его с Сукумой Вики.

— Ты, Сукума Вики, вонючая куча мусора! — констатировал он во всеуслышанье.

— Дазмен! — наконец-то Сукума Вики его узнал.

— Не смей ко мне обращаться!

— Дазмен,— в голосе Сукумы Вики зазвучала тревога.— Это ты порядочных людей избиваешь?

— Я тебя вообще прибью, если не скажешь им правды,— пригрозил Дазмен.— Когда я выберусь отсюда, то убью еще и Магендо. Но начну с тебя. Даю слово!

Сукума Вики на некоторое время умолк.

— Тебе что, драки доставляют удовольствие? Не можешь не трогать других? — спросил он наконец голосом, исполненным укоризны.

— Никакого удовольствия,— отозвался Дазмен.

— Тогда зачем ты это делаешь?

— Чтобы привести некоторых болванов в чувство.

— Я еще могу понять, если у тебя чешутся руки на Магендо и таких, как он,— снова подал голос Сукума Вики из своей камеры.— Но чем тебе насолил Водяной? Бедняга и мухи не обидит... к тому же у него больной ребенок. Отчего в тебе столько злости?

— Оттого! — распалился Дазмен.— Пусть ведет себя как мужчина, пусть сражается вместе со всеми.

Сукума Вики опять некоторое время задумчиво молчал.

— Нет, никогда я тебя не пойму,— сказал он громко, чтобы Дазмен расслышал.

— Ты вообще ничего не способен понять! — закричал в ответ Дазмен.

Дазмен зевнул. Жаль, что пиджак не дали взять из дома, было бы теплее. Сукума Вики, оказывается, совсем не так невинен. Странный, диковинный мир нас окружает.

— Слоновая кость,— несколько раз повторил вслух Сукума Вики, будто только что впервые услышал это словосочетание и теперь заучивает. Произнося его на разные лады, он явно забавлялся. Наконец зеленщик заорал что было силы:

— Слоновая кость, господи, слоновая кость!

Он взорвался истерическим смехом. Те, кто смеялся вместе с ним, сразу умолкли, и старик гоготал теперь соло. Кончилось это громкими, исполненными муки рыданиями. Он бился головой о чугунные перекладины дверной решетки, пока вконец не ослабел и не уснул. Во сне он позабыл, где находится, и храпел так же громко, как и на Грогэн-роуд.

Дазмен снова попытался уснуть. Примерно час он то дремал, то пробуждался, пока знакомый, напоминающий пушечную канонаду топот сержантских ботинок вновь не раздался в коридоре. За ним семенил почти голый мужчина, громко насвистывая в такт сержантскому шагу. Мотивчик показался знакомым. Дазмен мгновенно вспомнил, где раньше его слышал: на замусоренной лестнице «Дакка-хауза».

— Магендо! — окликнул он полураздетого арестанта, идущего вслед за конвоиром.

Магендо, как по команде, замер на месте, и мотивчик, медленно испустив дух, скончался на его губах. Так останавливается проигрыватель, когда в сети отключают

ток. Он заглянул во мрак дазменовской камеры и, теряясь в предположениях, склонил голову набок.

— Ты назвал меня по имени? — Он ткнул себя самого в грудь.

— Да это я. Ты что, явился сюда в исподнем?

— Проклятые фараоны даже не дали мне нарядиться по такому торжественному случаю,— весело ответил Магендо.— Откуда ты знаешь, как меня зовут? Мы что, знакомы?

— Кончай валять дурака. Может быть, ты не знаешь Дазмена Гонзагу?

Только тут Магендо его узнал. Он отступил на шаг, и лицо его точно озарилось светом. Раздался громоподобный хохот, который Дазмен так ненавидел.

— Ба, кого я вижу! — выговорил он между взрывами смеха.— Наш доморощенный Че Гевара собственной персоной! Значит, начал-таки свою революцию без меня?

— Что это тебе так весело? — резко спросил Дазмен.— Меня задержали по ошибке. В отличие от тебя я не вор!

— Вор? — Магендо по-прежнему ухмылялся до ушей.— Я тебе не раз говорил, что мне не нравится это слово. Оно не... ты понимаешь, что я хочу сказать... оно дурного тона.

— Двигай,— окликнул отставшего Магендо сержант.

— Я просто объяснял ему, что здесь все равны,— сказал Магендо. Сержант затолкал его в камеру по соседству с той, где сидел Сукума Вики.— Невиновен до тех пор, пока вина не доказана. Верно, сержант?

На обратном пути полисмен снова остановился у камеры Дазмена.

— Любопытно! Ты, оказывается, знаешь каждого, кого привозят! — В его голосе было неподдельное удивление.

— Не знаю и знать не желаю,— рявкнул Дазмен.— Всех ненавижу!

Сержант обругал его и, качая головой, потащил прочь свои неподъемные ботинки.

— Я тебя предупреждал, воровская душа,— закричал Дазмен Магендо.— Кончились твои сорок дней.

— Не спеши меня отпевать,— отозвался Магендо.— Лучше скажи, что ты сам тут делаешь. У тебя в комнате, видать, кое-что нашли?

— Ты хочешь сказать,— Дазмен был сражен этим известием,— ты хочешь сказать — они и впрямь устроили обыск в «Дакка-хаузе»?

— Все перетрясли! — Магендо снова трубно загоготал.— Где же ты был?

— Меня сцапали еще до того,— пояснил Дазмен.— Я уже здесь от них слышал, что они собираются камня на камне не оставить — так инспектор приказал.

— Камня на камне, говоришь? — Магендо и не думал унывать.— Дом словно побывал в зоне землетрясения. Если бы ты только видел!

— Что они искали? — спросил Дазмен.— И нашли ли?

— Не знаю,— ответил Магендо.— Но отыскалось многое такое, чего им видеть было совсем необязательно. А ты не знаешь, что им нужно?

— Слоновая кость,— внезапно выпалил Дазмен.— Сукума Вики занимался ее незаконным вывозом.

— Ничтожество, женатое на слонихе? — изумился Магендо.

— Это он храпит в соседней от тебя камере.

— Черт меня возьми! — выругался Магендо.— Чего хорошего ждать от старого клоповника — «Дакка-хауза»! Как только угораздило зеленщика? Я готов был поспорить, что ни у кого из соседей на это не хватит ни смелости, ни мозгов. А у этого полоумного в последнюю очередь. Я не верю. Ты ничего не путаешь?

— Я сам видел,— ответил Дазмен.— Почему тебя привезли нагишом?

Магендо взорвался таким хохотом, что Дазмен заскрежетал зубами.

— Они нагрянули в самый неподходящий момент. Подонки, никакой чуткости! У меня был в гостях шестнадцатилетний цыпленочек, ты ее видел. И тут ворвались эти клоуны из Особого отдела, с пистолетами наготове, как в дешевом ковбойском фильме, и давай обыскивать мою комнату. Я предложил им прийти утром и принести ордер, как положено, а сейчас я, мол, занят. Тогда они сказали, что им ничего не стоит сначала переломить мне руки и ноги, а потом уже приступать к обыску, так что перечить им было бессмысленно. Они нашли у меня вещи, которые якобы принадлежат кому-то другому. Знаешь, их же ни в чем не убедить. Я говорю, дайте хоть одеться, я же не нудист, но они повезли меня сюда в чем был. Видел бы ты наш «Дакка-хауз»: вывернут наизнанку, будто грязные носки. Двери нараспашку, весь хлам выкинут во двор. Такой видик, словно в каждой комнате взорвалось по бомбе. Они, видно, бросили всех полисме-

нов Кении на эту операцию. Того странного типа, что живет в ванной комнате с женой, заставили вытащить кровать во двор, чтобы им сподручней было обыскать его клетку. Травы и снадобья Мганги рассыпали по всему двору. Чупе на Дебе велели выставить наружу все бутылки, по одной; можешь мне поверить, старика это не слишком обрадовало.

— Он на эти бутылки молится,— заметил Дазмен.

— Да, и мне так казалось. Как это он умудряется жить на винную посуду? Мне этого не понять. Кто у него покупает этот мусор?

— В городе немало людей, которые только и могут себе позволить один мусор,— отозвался Дазмен.

— Не представляю, как это меня угораздило поселиться среди таких безумцев!

— Ну, эту проблему полиция теперь помогла тебе решить,— съязвил Дазмен.

— Ты так думаешь? Посмотрим,— ответил Магендо.

— Я тебя предупреждал, помнишь?

— Помню, помню,— признал бандит.— Я было даже подумал на миг, что это ты их навел... понимаешь... иначе откуда бы им знать, что именно в эту ночь у меня на руках окажется такая огромная партия товара! Но обнаружив и тебя здесь... кстати, что стряслось? Тумбо Кубва пронюхал про твой заговор? Только не думай, что это я ему накапал. Я не способен на такую низость. Да и мне идея забастовки была по душе. Самое время сказать «нет» этим ублюдкам!

— Я и сам толком не знаю, за что меня,— не кривя душой, признался Дазмен.

— Завтра узнаешь. Ты здесь первый раз?

— Первый.

— Ну, не психуй. Не так уж тут страшно, как может показаться.

— А тебе не впервой?

Магендо снова разразился хохотом.

— В нашем деле,— сказал он,— без этого никак не обойдешься. Но я никогда не прощу ублюдкам того, что моя бедная крошка осталась там одна, в разгромленной комнате.

■

Тото привезли через час и посадили в камеру к Дазмену. Он сопротивлялся, последними словами поносил грубияна сержанта, возмущался тупостью блюстителей закона. Судя по его виду, он побывал в жаркой схватке, однако на этот раз победа досталась не ему. Он был пьян, одежда порвана в клочья; похоже, он еще не осознал, что находится в камере полицейского участка. Лишь когда упорные поиски кровати не дали результата, Тото учуял неладное и снова разразился ругательствами в адрес сержанта. Дазмен велел ему заткнуться и укладываться спать.

— Это ты, Дазмен? — Шатаясь, Тото подошел вплотную к другу и прислонился к нему.— Какого черта ты здесь?

— Сам не знаю,— ответил Дазмен.— Спроси Сукуму Вики.

От Тото несло пивом и табаком; он едва стоял на ногах. Схватившись за решетку, он громко рыгнул.

— Все тут,— продолжал Дазмен,— и Сукума Вики, и Магендо. А теперь и ты. Наверно, привезут еще кого-нибудь из «Дакка-хауза». А я так и не знаю, почему я здесь.

— Зато я знаю,— пробормотал Тото,— знаю, зачем меня упрятали в эту яму: для защиты моих же интересов и моей безопасности. Защищаю собственные интересы. Они от меня не услышат ни слова.

— Сукума Вики все выложит.

— О чем?

— Они подозревают, что мы вместе с ним занимались контрабандой слоновой кости.

— Смех да и только! — Тото прыснул.— У этого зеленщика не хватает смелости задать трепку своей паршивой слонихе. Я в два счета все устрою, и нас отпустят.

— Как это? — вяло поинтересовался Дазмен.

— Как? — Тото был абсолютно в себе уверен.— Ты меня спрашиваешь как? Иди-ка сюда и слушай.

Они отошли в дальний угол камеры, где была кромешная тьма.

— Вообрази,— зашептал Тото.— Только представь — двести тысяч шиллингов. Почти четверть миллиона. Ну как, здорово?

Дазмен задумался, конечно, сумма огромная. Тото, решил Дазмен, свихнулся.

— Думай, думай! — подбадривал Тото.

— Я думаю.

— Теперь веселей на душе?

— Нет,— признался Дазмен.

— А зря! Потому что все они мои; можно сказать, у меня в кармане, я их заработал. Понимаешь, что это значит?

— Что ты сошел с ума.

— Это значит — к черту «Дакка-хауз»! Начинаем новую жизнь. Я уже оплатил машину, о которой тебе говорил. Помнишь, я приторговывал ее у одного белого?

— Нет, не помню.

— Он друг Джоан.

— А кто такая Джоан? Тоже белая?

Тото нетерпеливо затряс головой, поковылял вслед за Дазменом к решетке.

— Как ты мог забыть? — возмутился он.— Джоан, я тебе о ней рассказывал!

— Нет.

— У тебя башка дырявая! — возмутился Тото.— Я же рассказывал про эту молоденькую англичанку. Мы познакомились в банке два месяца назад. Она... ну ладно, об этом потом. А с ее другом у нас деловые отношения. Это он мне машину продал. Я ее оставил на стоянке у клуба «Лунный свет». Бандюги из Особого отдела, схватившие меня в клубе, не позволили сюда на ней прикатить. Не машина, а игрушка! На будущей неделе я переезжаю с Грогэн-роуд, буду жить в Вестленде с Джоан. Мы решили пожениться.

— Ты и Джоан?

— Ага.

— Она белая?

— Ага.

— На кой черт? — всполошился Дазмен.— Ты же ее совсем не знаешь.

— Ну и что с того?

— А откуда у тебя двести тысяч?

— Какая разница? — закричал Тото.— Главное, что они у меня есть!

— Это же огромная сумма,— сказал Дазмен,— прямо-таки куча денег!

В соседней камере ворочалась, дергалась и стонала Чэрити, подвергшаяся атаке голодных тюремных клопов.

— Это Чэрити там, за стенкой,— Дазмен вернулся к зарешеченной двери.

— Кто такая Чэрити? — сонно спросил Тото.

— Моя «клубная женушка» из «Гурманов».

— А как вы оба здесь оказались? — Тото потянулся, шумно почесываясь.

Клопы отчаялись дождаться, когда Дазмен ляжет на подстилку, и отправились на охоту.

— Нас подозревают в том, что вместе с Сукумой Вики мы занимались контрабандой слоновой кости,— повторил Дазмен.— Здесь уже весь «Дакка-хауз», не хватает только Водяного. Они даже не дали мне надеть пиджак, и я теперь мерзну. Как только нас отпустят, я убью Сукуму Вики!

— Не беспокойся,— подбодрил его Тото.— Утром я кое-куда позвоню и устрою, чтобы нас освободили под залог, найму адвоката. Все это мелочи, пустяки. А теперь не мешай мне спать.

Он сполз на пол и задремал, прислонившись спиной к стене.

■

Проснулся Тото иным человеком. Дазмен, сидя на полу и прислонясь спиной к дверной решетке, наблюдал за его пробуждением. Только что взошло солнце, прогоняя мрак, придавая новые очертания камере, подстилкам и смердящей параше. Дазмен не сводил глаз с Тото. Сначала дружок поперхнулся собственным языком, закашлялся, подняв голову, потом шумно зачесался, открыл глаза и увидел решетку. Лицо его застыло, стало пасмурным, глаза потускнели, лишившись жизнерадостного блеска, что был в них накануне. Он посмотрел на Дазмена, потом на решетку, снова на Дазмена.

Наконец Тото встал на ноги, подошел к двери, пощупал перекладины и прутья. Глаза его наполнились грустью.

— Где я? — не своим, каркающим голосом спросил он.

— В Центральном полицейском участке,— сообщил ему Дазмен.

— Полиция! — Слово, сорвавшись с его запекшихся губ, покатилось по камере. Медленно в памяти выстроились события предыдущей ночи.— За что?

На этот вопрос Дазмен не мог ответить.

Явился надзиратель. Первым делом он заставил Тото вынести парашу, потом вручил каждому по метле и велел подмести и вымыть пол в камере. Дазмен решительно отказался подчиниться: у них нет никаких законных оснований его здесь держать, и он отныне с ними не сотрудничает! Тото пришлось мести и драить пол одному. Впервые за все их знакомство Дазмен созерцал дружка за подобным занятием, однако это было слабым утешением.

К тому времени, когда принесли спитой чай и черствый хлеб, оба уже потеряли всякий аппетит. Их пайки отдали рецидивистам, сидящим в одной из соседних камер. Тото потребовал, чтобы ему разрешили созвониться с адвокатом. Ему ответили, что нынче воскресенье, но он стоял на своем. Дазмен не мог поверить, что у Тото собственный адвокат, однако в конце концов его повели под конвоем в контору к телефону. Тото отсутствовал почти час, Дазмен тем временем вышагивал из угла в угол камеры, переговаривался с Чэрити через стенку, пытаясь убедить ее в том, что он не вор. Тото вернулся на неверных ногах, его лицо внезапно постарело, глаза утратили всякое выражение. Надзиратель запер за ним дверь камеры, он уставился в дальнюю стену, все его тело конвульсивно задергалось.

Дазмен долго его разглядывал и наконец спросил:

— Что стряслось?

— Ничего,— едва слышно проскулил Тото.

— Что значит «ничего»?

— Они сбежали.

— Кто это «они»?

— Все... сбежали!

Дазмен сделал круг по камере.

— Кто они? — потребовал он ответа, в голосе его сквозила тревога и мрачные предчувствия.

— Все! — Тото едва сдерживал слезы.— Джоан, мистер Бенсон и остальные. Драпанули в Европу с моими деньгами,— его голос треснул, дрогнул.— Оказывается, они все заранее знали, сукины дети! И успели убежать. Убежать, убежать, убежать!

— Кто тебе это сообщил? — спросил Дазмен.

— Инспектор показал мне сегодняшние газеты.— Тото, всхлипывая, глотал слезы.— Как один улизнули. В газетах расписано все в подробностях.

Дазмен долго молчал, Тото продолжал всхлипывать. Сердце разрывалось при виде плачущего друга — словно обиженный ребенок. Внезапное прозрение отравленной стрелой пронзило Дазмена.

— Скажи, Тото, каким бизнесом ты занимался со своими белыми знакомыми?

Тото тяжело вздохнул и покачал головой.

— Чеки,— он глотнул густой и горький комок.— Дорожные чеки, аккредитивы.

— Поддельные?

Тото кивнул.

— Краденые. Они их где-то раздобыли, а я выдавал по ним наличные деньги.

— Кто они?

— Джоан и мистер Бенсон,— ответил Тото.— Я знал этих двух, но были еще и другие. Я только платил по чекам. Остальное делали они сами. Обещали, что все будет о'кей. Чеки настоящие, только паспорта фальшивые. Поэтому полиция мне ничего вменить в вину не сможет — это они мне все так объяснили, а я, дурак, поверил. Эта сучка меня околдовала. Еще я так мечтал вырваться с... Грогэн-роуд. Вот где у меня наш «Дакка-хауз», Дазмен! Сыт я такой жизнью по горло.

— И я тоже, дружище,— сказал Дазмен, продолжая метаться по камере.

— На прошлой неделе,— руки Тото задрожали,— на прошлой неделе случилось самое главное. Мы прикарманили без малого полмиллиона долларов. Это, как оказалось, совсем нетрудно. Четверо белых по очереди приносили чеки, каждый раз предъявляя другой паспорт. Моя задача заключалась в том, чтобы производить с ними расчеты, не очень-то разглядывая эти паспорта. Вчера мы поделили нашу выручку, и я купил машину.

Он по-прежнему неотрывно глядел в пространство, лицо его избороздили старческие морщины.

— Сколько же ты огреб? — спросил Дазмен.

— Двести тысяч. А машину купил у друга Джоан. Его зовут Хоггарт Бенсон.

— У тебя должно еще остаться немало, хватит на адвоката.

При этих словах Дазмена Тото совсем скис, зарыдал, забился головой о стену камеры.

— Ни гроша, Дазмен! — взвыл он.— Ни цента! Я отдал свою долю Джоан на хранение и...— Он вывернул свои карманы наизнанку.— Пусто. Она меня ограбила.

— О господи! Даже от тебя я не ожидал подобной дурости! Ну разве можно быть таким балбесом! — Дазмен развернулся и в сердцах заехал кулаком в стену. Он дубасил по стене, пока рука терпела и не заломило в затылке.

— Мы же собирались пожениться,— объяснил Тото, все еще всхлипывая.

— Пожениться?! — заорал Дазмен.— Жених и невеста! Двести тысяч шиллингов у нее в кошельке, зачем же ей еще такой чурбан? Дьявол! Каким зельем она тебя опоила, что ты так развесил уши? Я всегда держал тебя за неглупого парня. Тебя же вокруг пальца обвели!

Тото застонал, снова забился головой о стену, высекая искры из глаз; на лице и шее надулись вены.

— А я! — не унимался Дазмен.— Я-то здесь при чем? Зачем меня втягивать в эту кучу дерьма? С какой радости? Скажи ты мне, умник, что я здесь делаю?

Тото затряс головой, глаза были красные, опухшие, полны слез.

— Знаешь,— Дазмен кивнул и понизил голос,— меня как раз об этом инспектор спрашивал. Теперь я знаю и выложу все без утайки. Ты и эта картофельная башка Сукума Вики поможете мне выбраться отсюда. Я не дам себя вовлечь, мое дело — сторона. Против меня нет никаких улик и... О господи!.. Какой же ты болван, отдать шлюхе такое богатство на хранение! Нет, мне это, наверно, снится, сплю и вижу кошмар... сейчас проснусь в «Дакка-хаузе», и все будет хорошо.— Дазмен зачастил, голова у него раскалывалась, он лишался рассудка.— В понедельник я вернусь к своим стояночным автоматам, и все будет замечательно! Я их так люблю, мои славные, бессловесные, невинные автоматики... И... о боже! — двести тысяч!

— А как же я, Дазмен? Что теперь со мной будет? — как бы издалека донесся до сознания Дазмена вопрос Тото. Он все еще всхлипывал, как убитое горем дитя.

— А что ты! — Дазмен повернулся на каблуках, став к нему лицом к лицу. В его глазах вспыхнул зверский огонь, он готов был ударить Тото.

— Что они теперь со мной сделают? — причитал Тото.

— Ты! — Дазмен задохнулся от злобы.— Ты! Пусть делают что хотят! К черту! Сам себе яму выкопал. Отделают тебя на славу. Обманывать своего хозяина — самый страшный проступок; полицейские за это по голове не гладят. Сумасшествие — делиться тысячами с посторонними, неизвестными лицами, доверять свою долю белой шлюхе, которая заранее запаслась билетом на самолет! Да такое слабоумие хуже дурной болезни! Тебе отсюда не вылезть. Господи... полмиллиона досталось неизвестно кому! Знаешь, когда тебя в конце концов отпустят, ты даже не будешь достоин поселиться в «Дакка-хаузе». Законники, впрочем, заживо сдерут с тебя кожу и вывернут ее наизнанку. Господи... полмиллиона долларов!

— А что будет с моей машиной?

— Какой еще машиной?

— Той, что я купил. Я оставил ее на стоянке у входа в «Лунный свет».

— Ну и что? — рявкнул Дазмен.

— Они мне ее отдадут?

— Отдадут? — Дазмен закричал, будто его режут.— Господи, только послушайте его... держи карман шире! Боже всемогущий, выбросил полмиллиона и хочет, чтоб ему оставили дерьмовую машину! — Дазмен обхватил руками раскалывающуюся от

боли голову.— Я-то почему здесь? — Он кричал и кричал, пока уши не заболели от собственного крика, рикошетом отскакивающего от стен камеры.

Он кричал, как животное, как бешеный зверь. Тото забился в дальний угол, перепуганный до полусмерти. Дазмен на некоторое время забыл о его существовании. Когда же снова его взгляд нащупал Тото, он метнулся на собравшегося в комок дружка, словно раненый буйвол в жажде мести.

Привлеченный шумом надзиратель застал Дазмена с вылезающими из орбит глазищами верхом на распластанном Тото. Дазмен душил свою жертву. Подоспели полицейские, и Дазмена кое-как удалось оттащить, надеть наручники и пересадить в другую камеру. Дазмен сопротивлялся, кричал, на губах его выступила пена.

Тото срочно увезли в больницу без сознания; его кожа начала уже заметно сереть.

■

«Полиция раскрыла гигантский подпольный валютный синдикат с миллионным оборотом. Интерполу будет направлен ордер на задержание двух преступников, которые, как полагают, покинули Кению с огромной суммой денег, украденных в различных банках страны. Речь идет о супружеской паре Хоггарте и Джоан Бенсон, проживавшей в Вестленде. Они, как предполагается, сделали пересадку в аэропорту Каира и вылетели рейсом компании «Эр-Индиа» в дальневосточном направлении. Некий мистер Мохамед Ахамед Абди, двадцати семи лет, он же Тото Мохамед Ахамед, проживавший на Грогэн-роуд, на предварительном слушании дела под председательством члена Верховного суда Тафлайна признал себя виновным. Согласно предъявленному обвинению, в период между июнем и августом сего года обвиняемый в сговоре с отсутствующими в суде преступниками присвоил обманным путем в Коммерческом банке, где он состоял на службе, более пятисот тысяч долларов с помощью поддельных аккредитивов.

На суде обвиняемый Мохамед Ахамед Абди заявил верховному судье, что его заманила в ловушку Джоан Бенсон и ее сообщники, назвать которых он не смог. В последний момент, прихватив награбленное, белые мошенники бежали из страны, предоставив обвиняемому отдуваться за всех. Ему и Дазмену Гонзаге, также проживавшему на Грогэн-роуд, предъявлено обвинение в скупке краденого имущества. Оба обвиняемых снимали одну комнату в доходном доме «Дакка-хауз», который, по выражению прокурора, является логовом уголовников. При обыске в их комнате обнаружены предметы одежды, стереофоническая аппаратура и пластинки на сумму, превышающую две тысячи фунтов. Часть вещей, как стало известно, украдена из магазина «Вестерн электроникс» на Кимати-стрит две недели назад.

Дазмен Гонзага, служащий муниципалитета, занимается снятием показаний стояночных автоматов. Он не признал себя виновным. Доктор Бейтс, специалист по психоанализу, вызванный в качестве свидетеля, показал, что в качестве консультанта, нанятого муниципалитетом, он наблюдал обвиняемого и может засвидетельствовать, что Дазмен Гонзага страдает психической неуравновешенностью, которая, если ее не излечить, может перерасти в тяжелый недуг. Доктор Бейтс рекомендовал поместить Гонзагу на исследование и лечение в психиатрическую клинику «Матхари» на период, который определит суд. Второй обвиняемый, Мохамед Ахамед, признался, что приобрел все названное выше краденое имущество, зная либо имея основания подозревать, что оно добыто незаконным путем. По поводу бурного инцидента, имевшего место в камере полицейского участка, где находились оба задержанных, мистер Мохамед Ахамед принес извинения своему соседу по комнате и попросил судью освободить Дазмена, явившегося невинной жертвой обстоятельств. Сам Мохамед Ахамед будет содержаться под арестом в ожидании приговора, который должен быть вынесен в ближайшую пятницу. Молодых людей с подобными наклонностями, заявил судья, следует примерно наказать в назидание остальным за постыдные и бесчестные проступки, наносящие немалый ущерб работодателям.

Еще один квартирант стяжавшего дурную славу «Дакка-хауза» в тот же день был взят под стражу, хотя и не признал себя виновным в торговле краденым. Установлено, что обвиняемый Магендо Кали хранил в своей комнате одежду и электронную аппаратуру стоимостью в несколько тысяч фунтов. Эти предметы, как предполагается, попали к нему незаконным путем. Одновременно был приговорен к тюремному заключению сроком на четыре года мистер Сукума Вики, торговец овощами с Грогэн-роуд, так как

его уличили в незаконном владении шестью стояночными автоматами, являющимися собственностью муниципалитета. В обвинительном заключении указывалось, что в один из дней на прошлой неделе подсудимый был задержан при попытке продать три таких автомата общей стоимостью свыше трехсот фунтов мэру нашего города. Во время обыска, проведенного в «Дакка-хаузе», полицейские обнаружили еще три подобных же автомата под кроватью обвиняемого. Подсудимый ранее показал под присягой, что он не крал стояночные автоматы, а лишь подобрал их на обочинах, после того как они были сбиты неопознанными автомобилями.

Прося о снисхождении, Сукума Вики, впервые преступивший закон, напомнил, что на его попечении находятся жена и шестеро детей. Он пытался продать автоматы, намереваясь на вырученные деньги купить супруге новое платье, а также оформить патент на розничную торговлю, так как срок действия предыдущей лицензии истек.

Его супруга, Вута Вики, присутствовавшая в зале суда с двумя детьми, разразилась плачем, когда был объявлен приговор. Служителю пришлось ее вывести».

■

Рекомендация доктора Бейтса относительно помещения Гонзаги в психиатрическую клинику не возымела последствий. Дазмен сумел втолковать мистеру Кименде, начальнику отдела водоснабжения, что незачем ему зря валяться в больнице, поскольку он совершенно исцелился. Для вящей убедительности Дазмен согласился принять смехотворное предложение о повышении его в должности без перевода на другое место. Кименде и доктор Бейтс были счастливы услышать, что Дазмену больше уже не чудятся стояночные автоматы во дворе; несколько суток в полицейской камере в компании клопов и блох подействовали чудодейственно — избавили его от приступов неукротимой ненависти к тараканам и к «Дакка-хаузу». Но по-прежнему ему не по душе было вышагивать под жарким солнцем от одного стояночного автомата к другому и выписывать квитанции на уплату штрафа. Поэтому, как и прежде, он устраивал себе «сиесты» без ведома и соизволения начальства.

Доктора Бейтса обуяло радостное волнение: и в случае с Дазменом ему сопутствовал полный успех. Вот свидетельство его высокого профессионального мастерства! Однако ликование по поводу исцеления Дазмена было непродолжительным, ибо паранойя Кименде быстро прогрессировала. Несчастный шеф отдела даже в бары ходил теперь с обнаженным кинжалом на случай внезапного нападения врагов. Однажды он предпринял атаку на самого мэра, который, по убеждению Кименде, велел уже заготовить приказ о его увольнении. В конце концов бедняга заперся в своем кабинете с годовым запасом провизии и наотрез отказался кого бы то ни было впускать, опасаясь, что коридор и приемная уже наводнены белыми заморскими специалистами, только и ждущими случая занять его кресло. Четыре дня он продержался в своем забаррикадированном логове, облегчаясь в корзину для бумаг, пока наконец запах сделался невыносимым. Мэр вызвал полицейских, и те взломали дверь. Затворника вытащили на свет божий согбенным старцем, он кричал и скулил что-то невнятное.

Двумя аккуратными росчерками своего могущественного пера доктор Бейтс отправил своего самого преданного пациента в «Матхари» — центральную психиатрическую клинику.

Его пост отдали белому старикану, который долгие годы проработал в канализационном хозяйстве Лондонского муниципалитета. Здравомыслящего и знающего дело африканца на место начальника Управления водопровода и канализации сыскать не удалось. Величайшая ирония заключалась в том, что бесценное место Кименде в конечном итоге досталось именно тем, от кого он его оберегал, лишившись в результате рассудка.

■

По ночам Дазмен сидел в одиночестве в своей комнате и слушал, как негромко плачет жена Сукумы Вики за стеной. Таяли отложенные на черный день накопления; тень голода и крайней нужды замаячила над ней. Она стенала как безутешная вдова; не знала, что ей делать, когда кончатся последние деньги. От страха за завтрашний день она таяла на глазах. Иногда сквозь плач она ругала себя за то, что приставала к Сукуме Вики, требуя новое платье. До поздней ночи она бормотала, разговаривая

сама с собой. Ее терзало отчаяние, мучили угрызения совести; она горько винила себя в приключившейся трагедии и в то же время проклинала тот день, когда решилась выйти за человека, способного попасться на краже стояночных автоматов. Если бы он ограбил банк, она им гордилась бы. Но автоматы! Господи, какая глупость!

Она обратилась за поддержкой к детям, рассказала им все без утайки и велела высказать свои суждения. Отцовские деньги скоро кончатся, нечем будет платить за обучение в школе, за комнату, не на что покупать еду. Что же ей делать, что сказать домовладельцу?

Дети недоуменно смотрели на мать круглыми, как автомобильные колеса, глазами, не зная, чего она от них ждет, реветь им или погодить. Старшему было всего девять лет, а младшему — три года. Потом как по команде они отправились к помойке на ловлю крыс: ничего другого они пока не умели.

Видя, в каком плачевном состоянии она оказалась, Дазмен остановил Вуту Вики во дворе и вернул ей пять шиллингов, которые с незапамятных времен задолжал ее супругу и побожился никогда не возвращать. Она уставилась на купюру как на чудо.

В один яркий, солнечный день Дазмен получил нежданное письмо. В конверт был вложен чек на десять тысяч шиллингов — отель «Саншайн» заплатил в конце концов неустойку за незаконное увольнение. В письме приносились извинения за проволочку. Кроме того, новый управляющий, мистер Чача, предлагал Дазмену, если он пожелает, вернуться на свой прежний пост. Чеку Дазмен был рад чрезвычайно. Что же до приглашения на работу, Дазмен решил его всесторонне изучить и взвесить. Когда-то он уже работал под началом Чачи; в те времена ненавистный мистер Уайтхед следил за тем, чтобы среди сотрудников не возникали распри на племенной основе. А вдруг самого Чачу уволят, понизят и на его место придет новый Уайтхед? Как это отразится на нем, Дазмене?

Ему доставило несказанное удовольствие отвергнуть их предложение. Он написал длинное, резкое письмо, осудив в нем администрацию за расистское отношение к африканским служащим, что, в частности, проявилось в факте его увольнения; досталось и самому мистеру Чаче за лизоблюдство и заискиванье перед шелудивыми белыми шавками. Это было его последнее послание к ним, и Дазмен составил его в суровых, но пристойных оборотах. Отправив письмо, он решил кутнуть. Повод подходящий — не каждый день выпадает случай послать крупнейших воротил гостиничного бизнеса к такой-то бабушке!

Лежа на кровати и слушая причитания верной подруги Сукумы Вики, Дазмен и сам пригорюнился. Ему недоставало храпа Сукумы Вики, его вечного покашливания. В комнате было одиноко без Тото. Семь лет каторги без пива и женщин несомненно угробят беднягу. Теперь, когда Магендо не действовал ежечасно на нервы, Дазмен даже к нему испытывал некоторую жалость. В газетах писали про Магендо, что это особо опасный, давно разыскиваемый преступник. Если он им так сильно был нужен, недоумевал Дазмен, что же они не искали его в «Дакка-хаузе»? Магендо вроде бы не прятался.

Мысль о том, что Тото — незадачливый жулик и вор, постоянно бередила Дазмена. Он всегда считал его достаточно развитым и смышленым молодым человеком. А этот дуралей доверил свою выручку женщине, да еще белой! Дазмен готов был разреветься от стыда. Неужто нет границ человеческой глупости? Еще этот Сукума Вики, предлагающий ворованные стояночные автоматы муниципалитету! Ну как можно дойти до такой дури!

Каждую ночь Дазмен ворочался без сна, пугая старых скептиков-тараканов тем, что завтрашний день никогда не наступит. Бессонница играла с ним в такие игры, от которых нормальный человек давно бы рехнулся. Сегодня — это не сегодня, а вчера. Вот-вот с криками ввалится домой пьяный и избитый Тото... А вот Магендо: точно джинн, скользит бесшумно по темному двору, возвращаясь с очередного дела... Сукума Вики перестал храпеть, кашляет, поворачивается, чтобы обнять свою слониху... Игра эта так захватила Дазмена, что подчас ему даже слышались звуки и голоса: Тото с грохотом карабкается по лестнице; Магендо крадется по «Дакка-хаузу». Однажды — Дазмен готов был поклясться в этом — он слышал, как кто-то голосом Сукумы Вики шепчет ласковые слова жене отбывающего срок зеленщика.

Зайдя как-то домой в обеденный перерыв, Дазмен не увидел детей Сукумы Вики на их «площадке для игр» — среди мусорных баков. Тряпица, заменявшая занавеску в их окне, тоже исчезла. Озадаченный этим, Дазмен заглянул внутрь. В комнате бы-

ло так же пусто, как в день, когда Сукума Вики впервые переступил ее порог. Никто из соседей не видел отъезда семейства.

В тот же день, ближе к вечеру, пожаловал Тумбо Кубва за податью. Он прочитал на первых полосах газет о трех злодеях из «Дакка-хауза» и впал в уныние: его недвижимость называют воровским притоном! Дазмен попытался убедить хозяина, что такую старую шлюху, как «Дакка-хауз», опозорить невозможно. Однако на дряхлую трущобу так и посыпались напасти. Прохудилась раковина под краном; сотни литров воды текли по лестнице, грозя затопить каморку Водяного. Все расстроилось и пошло не так.

— Она уехала с моими деньгами,— пожаловался Тумбо Кубва на Вуту Вики.

Дазмен промолчал о тележке. Торопясь улизнуть от домовладельца, который был пунктуален, как автобус на Иерихон, женщина бросила на Грогэн-роуд «выезд» своего мужа, привязанный цепью к фонарному столбу, словно сторожевая псина. Дазмен знал, что тележка стала на прикол надолго, цепь успеет проржаветь и распасться на части, прежде чем другой зеленщик смекнет, что она ничья и приберет ее к рукам.

— Никому в наше время нельзя верить,— сетовал Тумбо Кубва.— Квартиранты сбегают не расплатившись!

Дазмен помалкивал. Тумбо Кубва нравился ему еще меньше, чем «Дакка-хауз». Если он когда-нибудь отсюда уедет, то поступит точно так же.

— До меня доходят всякие слухи,— продолжал Тумбо.— Говорят, что ты сеешь тут смуту.

— Кто говорит? — спросил Дазмен.

— Говорят, ты бранишься последними словами даже при детях.

— Кто говорит? — повторил Дазмен.

— Они просили не называть имен,— ушел от ответа домовладелец.— Тебя боятся. Просили передать, что им не нравится, когда их называют ворами, трусами, проститутками в присутствии их жен, мужей и детей.

— Что же они сами мне об этом не скажут?

— Боятся тебя.

— Передайте им,— негромко сказал Дазмен,— пока они живут и думают, как гниды, и даже внешне на них походят, я буду называть их гнидами.

Дазмен находился в благодушном настроении. После работы он принял душ, плотно поужинал и расслабился. В этот момент в нем не было особого ожесточения против Тумбо Кубвы или же безликой массы, хотя мнения своего о них он не изменил. Он был великодушен, потому что судьба в последнее время тоже была к нему благосклонна.

Тумбо Кубва прочистил горло.

— Еще я слышал, что готовится стачка,— сказал он, предварительно получив с Дазмена положенное.

Дазмен вскинул глаза, на его губах появилась лукавая ухмылка. Он отложил задуманную акцию до той поры, пока в «Дакка-хауз» не въедут новые жильцы вместо Тото, Магендо и Сукумы Вики, чьи подписи утратили теперь всякую силу. Лишь обработав новоселов, Дазмен сможет сделать новый конструктивный шаг, однако борьба против Тумбо Кубвы не должна затихать ни на день.

— Правда ли то, что я слышал?

— Кто вам сказал?

— Я этого не могу открыть.

— Тогда зачем меня спрашивать?

— Потому что,— домовладелец собрался с духом,— тебя называют зачинщиком мятежа. Мне известно, что ты собираешь подписи на петиции в муниципалитет, силой принуждаешь жильцов расписываться.

— Я ведь только что заплатил, что с меня причитается, не так ли? — сказал Дазмен.

Тумбо Кубва кивнул. Это единственная комната, куда хозяин дома входил без опасений. В других было либо невероятно тесно, либо их обитатели не проявляли особого радушия. Дазмен среди тех немногих, кто никогда не прячется в день сбора платы, не просит дать отсрочку еще на месяц; платит без проволочек и жалоб. Поэтому Тумбо Кубва очень огорчился, узнав о ведущей роли Дазмена в готовящемся бойкоте. Теперь не оставалось никаких сомнений в его виновности.

— Я бы не советовал делать столь опрометчивый шаг. Разве ты не знаешь о правительственном запрете на забастовки?

— Это касается промышленности. Иное дело, когда они направлены против жульничества.

— В нашем случае это что, по-твоему? — Голос Тумбо Кубвы повысился на пару октав, он переходил к обороне.— «Дакка-хауз» и есть мой промысел. Я не стану сидеть сложа руки и смотреть на то, как его превращают в прах и пускают по ветру. Я не щадил живота, чтобы все это заработать, и не отдам своего без боя.

— Никто на чужое добро не зарится,— сказал Дазмен.— Жильцы лишь требуют справедливости. Как любят говорить парни в парламенте, доставляйте товары, за которые уплачено! Добрый христианин, респектабельный бизнесмен, член муниципалитета и человек из народа, вы должны понимать, что если кто-то платит в срок приличную квартплату, то вправе претендовать взамен на приличное жилье — чистое помещение, уборную в нормальном состоянии; чтобы не было грызунов и насекомых, чтобы хоть изредка красили стены — ведь все это, в сущности, пустяки.

— А ты не видел, как живут у других хозяев в городе? — закричал Тумбо.

— Не будем отвлекаться от «Дакка-хауза»,— сказал Дазмен.

— Ты кто, профсоюзный вожак?

— Нет, я рядовой квартирант, добивающийся справедливости.

— Справедливости? — Тут Тумбо чуть не задохнулся.— Справедливости! Да ты псих, что ли?

— Может быть,— ответил Дазмен,— иногда я и сам не знаю.

Потное лицо домовладельца исказилось от злости. Он затараторил, пуская пузыри, слюни летели во все стороны.

— Справедливость! — кипел он.— Вот что, молодой человек, послушай моего совета. Если хочешь прожить долго и счастливо, не суй нос в чужие дела, а тем более в чужую политику. Если я еще услышу, что ты разводишь агитацию в моем доме, выброшу тебя на улицу вместе с твоей справедливостью!

Он подтянул широченные штаны, все время сползавшие с живота, и заковылял к двери.

— Справедливость! — обернулся он с порога.— Что ты знаешь о справедливости?

— Что ее трудно сыскать,— ответил Дазмен.

Домовладелец, хрипя, выскочил во двор; лестница тряслась, будто в приступе ярости, пока по ней скатывались его грузные телеса.

Через несколько дней он вернулся. За его машиной катил пикап. Двое грузчиков, не сказав никому ни слова, вытащили из комнаты Магендо все вещи, которые полиция в ней оставила. Имущество бандита пойдет с молотка, чтобы возместить недоимку, причитающуюся за полтора месяца.

В комнату Магендо въехал служащий страховой компании по имени Бен. Этот забулдыга наотрез отказался подписать дазменовский «манифест».

■

Последние крохи дазменовской машины исчезли с порога Водяного, и в тот же вечер механик уплатил Дазмену две тысячи шиллингов старыми, замызганными купюрами. Водяной объяснил, что его босс наконец отдал деньги за сиденья, детали и железный лом. Пока Водяной стоял у двери, хмурясь непонятно отчего, Дазмен пересчитывал купюры.

— Это все мне? — спросил он с сомнением.

Водяной кивнул.

— Все?

— Больше выручить я не смог,— робко сказал механик. — Жестянщики пока еще не рассчитались за кузов. Обещают недели через две, когда пристроят...

— Ты взял себе десять процентов комиссионных? — спросил Дазмен.

Механик боязливо кивнул.

— Спасибо тебе,— сказал Дазмен.— Я знал, что ты порядочный человек. Но, бог свидетель, я хочу сказать, черт... На такую сумму я не рассчитывал.

Водяной улыбнулся не без гордости, слегка кивнул и повернулся, собираясь уходить.

— Возьми-ка,— Дазмен протянул ему двести шиллингов.

Механик смущенно поглядел на деньги и, отказываясь, замотал головой.

— Купи своей жене пару туфель,— велел Дазмен.— Что-нибудь поприличнее. Ты оказался еще честнее, чем я думал... я знал, что ты честный, но... словом, это твоей жене на туфли.

— Тут слишком много.

— Выбери что получше. Пусть она станет как... как белая дама.

Улыбка вдруг исчезла с лица Водяного. Впервые за всю историю «Дакка-хауза» он не отвел глаза, посмотрел прямо на Дазмена, и они поняли друг друга без слов. Потом Водяной повернулся и пошел к себе.

Однако через несколько минут он снова замаячил на дазменовском пороге.

— В чем дело? — спросил Дазмен.

Механик заколебался, пожал плечами, прочистил горло.

— Петиция,— сказал он.— Она еще у тебя?

Дазмен кивнул.

— Ты...— заикаясь, заговорил Водяной,— ты меня не вычеркнул, как грозился?

— Нет, я забыл... вернее, я и не собирался вычеркивать; знал... я имею в виду... надеялся, что ты передумаешь.

Водяной облизнул губы и проглотил комок.

— Я подпишу,— сказал он.

Дазмен был ошарашен и не сразу пришел в себя.

— Ты уверен, что хочешь это сделать?

— Да.

— Тебя никто не заставляет. Все другие расписались, и этого вполне достаточно.

— Я тоже хочу,— повторил механик.

Внутри у Дазмена что-то зашевелилось — он это явственно ощутил. Он поднялся с кровати и, порывшись в высокой стопке журналов на кофейном столике, достал свой «манифест». Бумага чудом уцелела, в то время как многие ценные вещи, включая транзисторный приемник, бесследно исчезли после полицейского налета на «Дакка-хауз».

— Ты отдаешь себе отчет в том, что все мы можем оказаться на улице, если эта затея даст осечку? — спросил он Водяного.

— Я понимаю,— с расстановкой произнес механик.

— Снова может нагрянуть полиция,— предупредил Дазмен.

— Я больше их не боюсь.— В голосе Водяного появился странный, неведомый ранее дерзкий оттенок.— После того, как они обошлись с нами во время обыска...

— А как они с вами обошлись? — спросил Дазмен.

— Заставили среди ночи поднять младенца и вытащить кровать во двор.

— В самом деле? — возмутился Дазмен.

— Хотели обязательно пошарить под кроватью.

— Бессердечные скоты, сукины дети! — выругался Дазмен.— Ну и как, смогли вы ее вытащить?

— Что поделаешь, ничего другого не оставалось,— ответил Водяной.— Наш ребенок мог подхватить воспаление легких и умереть. Тогда до меня дошло, на чьей я стороне. Если они так поступают с нами, что толку быть паинькой?

Его лицо потемнело от горечи. Должно случиться что-то из ряда вон выходящее, чтобы взрослый мужчина не сдержал слез. Его разбудили среди студеной ночи, выгнали во двор в одних ветхих трусах. На жене была рваная нижняя юбка, а больной ребенок — голышом на ледяном ветру. Водяной от жалости к себе и близким готов был умереть.

Во дворе для их кровати уже не было места — все загромоздили бутылки Чупы на Дебе. Старьевщика тоже заставили очистить свою конуру, он был ни жив ни мертв. Полисмены оглядели с порога его жилище, ничего не нашли и позволили ставить бутылки на место. На эту работу ушла вся ночь. От усталости Чупа на Дебе проспал двое суток кряду, так что соседи даже переполошились — уж не умер ли? На третье утро он выполз из своей берлоги и отправился собирать очередную партию бутылок.

— Тогда-то,— продолжал свой рассказ Водяной,— я вспомнил, что ты мне сказал, когда я отказался подписать бумагу. Что все равно нам всем несдобровать, если твоя затея провалится. Спасибо, что не вычеркнул меня.

Дазмен пожал плечами, отыскал шариковую ручку и подал ее Водяному. Механик нетвердой рукой присоединил свой голос к голосам Чупа на Дебе и безликих.

— Я понял,— сказал он напоследок,— что приходит время, когда человек должен сам за себя постоять.

Дазмен снова пожал плечами, испытывая смущение и неловкость, не зная, как реагировать на внезапную перемену настроения Водяного, не зная, как себя держать и что говорить. По правде сказать, он не думал, что механик когда-нибудь изменится, ему было нелегко с ходу приспособиться к новому, толково мыслящему и рассуждающему Водяному.

— Ты себя ни в чем не вини,— сказал ему механик,— мы сами все хорошенько обдумали, прежде чем пойти на риск.

— Мы? — переспросил Дазмен.

— Я и моя хозяйка. Мальчик у нас не говорит, но...

Водяной долго не мог подобрать нужных слов, только выразительно разводил руками.

— Я понимаю,— сказал ему Дазмен, радуясь, что не расписался в свое время за механика.

Он уставился на подпись Водяного. Похоже на то, как сам Дазмен расписывается, очень похоже. Куда более решительный росчерк, чем у Магендо или даже у Тото.

— Где это ты так научился? — не скрывая изумления, спросил Дазмен.

— Я ходил в сельскую техническую школу,— смущаясь, ответил механик.

Ну и ну, изумился Дазмен, в жизни бы не подумал!

— Меня исключили задолго до окончания курса,— добавил Водяной.

— За что?

— Одна девушка от меня понесла.

Дазмен удивленно улыбнулся.

— Теперь она моя жена,— поспешил все объяснить Водяной.

Сказав больше, чем когда-либо говорил кому-нибудь из соседей за всю свою жизнь в «Дакка-хаузе», Водяной совсем растерялся. Но страха он больше не испытывал; он никогда уже не будет бояться. Вернув Дазмену ручку и не прибавив ни слова, он пошел назад в свою комнату.

На следующий день Водяной с согласия Тумбо Кубвы переехал с семьей в комнату Сукумы Вики. Покончив с переездом, неумело расправив плечи, он подошел к двери Дазмена походкой человека, впервые выпрямившегося во весь рост.

— Что стряслось? — спросил Дазмен. Валяясь на кровати, он листал журналы.

— Моя хозяйка просит тебя сегодня с нами поужинать,— сказал механик.— Теперь, когда нам площадь позволяет...

Дазмен начал было отнекиваться, но механик прервал его.

— Пожалуйста, не отказывайся,— горячо попросил он.— У нас и места хватит, и еды. Она очень огорчится, если ты не придешь. Она сегодня приготовила особое блюдо. Специально для тебя. Хочет поблагодарить за туфли.

Дазмен вздохнул. Он уже и забыл про свой подарок, даже еще не видел их. Раз ты стал такой щедрый и делаешь презенты, сказал он себе, то мирись с вытекающими из этого последствиями.

— Спасибо,— сказал он.— Передай ей, что я принимаю приглашение.

■

Семейство Водяного принарядилось по столь торжественному поводу. Хозяин дома надел все самое лучшее — вылинявшую коричневую рубашку с закатанными рукавами и штаны с аккуратными заплатками. На его супруге было новое кримпленовое платье яркой расцветки, белая косынка на голове и туфли из искусственной кожи. Они матово блестели, как металл; она очень гордилась ими. Дазмен смутился, увидев, какой неподдельной радостью наполнил все ее существо столь скромный подарок.

Кримпленовое платье было приобретено на те же деньги, о чем механик и сообщил Дазмену, как бы извиняясь за самоуправство.

— Мы и сынку купили новую одежду,— лучась от счастья, добавила супруга.— Ведь денег было так много.

— Спасибо,— не к месту брякнул Дазмен.

Она поднесла ребенка, чтобы Дазмен мог полюбоваться его новым костюмчиком —

белоснежная матроска с голубым воротником и синими манжетами, со скрещенными якорями на груди. Дазмен неуклюже выразил свое восхищение и попытался, впрочем без всякого успеха, рассмешить малыша.

Когда сели к столу, Дазмен пожалел, что не оделся получше, идя в гости. На нем была его повседневная сбруя — выцветшая водолазка и джинсы в пятнах, едва закрывавшие лодыжки.

Хозяйка подала *угали* с овощным салатом и говяжий рубец, пожаренный с помидорами, луком и перцем. Сама она была так взволнована, что есть не стала, кусок не полез бы ей в горло. Она только подавала мужчинам, потом робко переключилась на другие хозяйственные дела. Она никогда не заговаривала первая. Очень хорошенькая женщина; расставшись с прежней норой, она теперь прямо расцвела.

Ребенок лежал на спине и что-то бессвязно бубнил.

Когда Дазмен поблагодарил хозяйку за вкусное угощение — давно ничего такого есть не доводилось,— ее лицо засияло. Дазмен очень порадовался за них обоих. Только теперь она стала женщиной в полном смысле слова, настоящей хозяйкой дома, пригодного для жилья. Есть где наводить чистоту и порядок, где проводить дни, принимать гостей. Они с механиком — поистине счастливая пара.

Лежа без сна, с приятной тяжестью в животе, прислушиваясь к свистящему дыханию сынишки Водяного, не привыкшего пока к свежему воздуху, Дазмен вдруг спохватился — он до сих пор не знает настоящего имени Водяного.

Впрочем, это не имело значения, ибо он знал теперь кое-что поважнее: их ребенок — мальчик, а его отец — мужчина!

Теперь их трое — Чупа на Дебе, Водяной, Дазмен.

Борьба за снижение квартирной платы пойдет дальше точно по намеченному плану. И вся полиция мира не поможет Тумбо Кубве!

Послесловие

Первое знакомство советских читателей с творчеством молодого, но уже завоевавшего известность кенийского прозаика Меджи Мванги (род. в 1948 г.) состоялось в 1977 году, когда журнал «Иностранная литература» опубликовал его повесть «Неприкаянные». Через два года издательство «Прогресс» выпустило роман «Улица Ривер-роуд», в том же 1979 году в «Иностранной литературе» была напечатана статья о его творчестве.

И вот перед нами новое произведение Мванги, главы из которого публикует журнал. И тематически, и художественно «Тараканий танец» тесно связан с «Ривер-роуд». Эти книги образуют своего рода дилогию о жизни социальных низов Найроби. Тематическое единство подчеркнуто не только сходством судеб героев, их принадлежностью к одному поколению и социальному слою, но и единством места действия — ведь Грогэн-роуд, на которой расположен пресловутый «Дакка-хауз», идет параллельно Ривер-роуд, так что герои двух романов, можно сказать, соседи.

Сюжетное строение книг сходно — на фоне многих второстепенных персонажей резко выделяются образы двух центральных, характеры которых объемно и полно раскрываются автором. В «Ривер-роуд» это Бен Вачира и его приятель Очолла Оньянго; в «Тараканьем танце» — Дазмен Гонзага и его сосед по комнате Тото. Есть общее и в прошлом героев, и в чертах их характеров, и в сегодняшнем времяпрепровождении. Разница только в том, что Дазмен и Тото еще не пали так низко, чтобы жить в самодельной хижине на берегу реки. Они — «счастливчики», потому что у них есть комната в трущобном, но все-таки настоящем доме и постоянная работа.

Если в предыдущем романе героям из социальных низов противостояли белые и индийские богатеи, то «Тараканий танец» убеждает в том, что в освободившейся от колониального гнета Кении и африканская буржуазия не теряла времени даром. Купивший у индийцев «Дакка-хауз» Тумбо Кубва без зазрения совести дерет со своих соотечественников три шкуры за крошечные каморки и притом ведет себя так, будто он их облагодетельствовал. Писатель дает этому персонажу краткую, но исчерпывающую характеристику: «Кубва никогда не платил за то, что можно получить обманом». Образ этого в самом точном смысле слова мироеда,— пожалуй, серьезное достижение для молодой африканской прозы.

Именно с Тумбо Кубвой, с этим всесильным владельцем доходных и иных, еще более сомнительных домов, решается вступить в конфликт Дазмен Гонзага. Собственно, до настоящего конфликта дело дойти не успевает, но вызов зарвавшемуся нувориишу все-таки брошен.

Дазмен и его приятель Тото очень напоминают Бена Вачиру из «Ривер-роуд». Если бы они познакомились в одном из питейных заведений на Ривер-роуд, то наверняка бы подружились, ибо они представляют собой один социальный тип. Глубоко и не без оснований неудовлетворенные своим положением в обществе, они стихийно восстают против системы, нередко точно изобличая ее пороки, но парадоксальным образом выход видят лишь в рамках все той же системы — вполне беспочвенные мечты разбогатеть или сделать карьеру, иными словами, выбиться в люди.

Кстати, Тото, как и Бен, пытается добыть богатство противозаконным путем и, как и тот, оказывается неудачливым аферистом. Внешне, во всяком случае вначале, более законопослушен Дазмен. Возмущаясь вопиющей несправедливостью, он все же готов решать свои проблемы законным путем. Собственно, история становления Дазмена как личности и составляет основное содержание романа «Тараканий танец». Стихийное недовольство героя всем и вся постепенно и непросто обретает конкретную направленность. Как и все персонажи Мванги, Дазмен, скажем прямо, малообразован. Он видит контраст между нищетой и богатством, понимает, что плата за каморку в трущобном «Дакка-хаузе» непомерно высока, искренне удивляется, как Водяной безропотно ютится с женой и больным ребенком в бывшей ванной. И все же... И все же главными врагами Дазмена очень долго остаются кишащие в «Дакка-хаузе» тараканы и стояночные автоматы, с которых он снимал показания.

Путь подобного героя к самопознанию и к пониманию реальных отношений в окружающем мире всегда нелегок. Труден он и для художественного изображения. Но писатель находит неожиданный и остроумный сюжетный ход: безумный чиновник муниципалитета Кименде, которому Дазмен жалуется, что ему везде мерещатся стояночные автоматы, направляет того к своему врачу-психоаналитику англичанину Бейтсу. Конечно, Дазмен психически совершенно здоров — он просто переутомлен и находится в состоянии, близком к стрессу, в чем повинна не только отупляющая работа, но и «проклятые» вопросы, постоянно мучающие Дазмена. Но разве процветающий психоаналитик, никогда и близко не подходивший к «Дакка-хаузу», может ответить хотя бы на один такой вопрос пациента: «Почему человек должен жить в замшелой ванной и еще платить за это? Как такое позволяют?»

Писатель точно раскрывает сложную диалектику характера своего героя. Дазмен даже скорее не любит Водяного, нежели сочувствует ему. Своей покорной безропотностью Водяной его раздражает. Сходные чувства вызывают у него и те обитатели «Дакка-хауза», которых Тото окрестил «бессловесными и безликими»: «Почти ни у кого из них не было имен, кличек, лиц и голосов. Ничего хоть сколько-нибудь запоминающегося. Дазмен не сталкивался с ними неделями, хотя ни на миг не мог отвлечься от их незримого присутствия в «Дакка-хаузе». Они напоминали о себе сухим покашливанием, громкими вздохами под окном. Он ненавидел их за это их свойство присутствовать и отсутствовать одновременно; они были реальны, но нереальны, живы, но мертвы».

Рабочие на стройке в «Ривер-роуд» были не людьми, а обладателями рук. Но им повезло — удалось получить постоянную работу. Большинство же обитателей «Дакка-хауза» перебиваются случайными грошовыми заработками. У них не только нет лица — никому не нужны даже их руки

Может показаться удивительным, что мотивом, побуждающим Дазмена к социальной активности, становится вовсе не сострадание к «бессловесным и безликим», а ненависть и презрение к ним. Объяснение этому парадоксу обнаруживается в диалогах Дазмена с психоаналитиком Бейтсом. Вообще для композиции «Тараканьего танца», в котором почти нет развития действия, сцена с психоаналитиком имеет ключевое значение. Исходя из клинической практики психоанализа, доктор просит Дазмена рассказать о себе, о том, что его волнует. Он привычно старается выстроить картину болезни. Но у него ничего не получается, ибо он ищет скрытый, фрейдистский смысл в откровенном признании Дазмена: «...я действительно не выношу вонючих уборных, плесени в ванных комнатах, еще мышей и... тараканьих танцев».

Жизненный опыт Дазмена никак не накладывается, даже не соприкасается с жизненным опытом доктора Бейтса, и говорят они как глухие — каждый о своем.

Однако тщетные попытки Дазмена растолковать доктору свои проблемы дают поразительный результат. Дазмен смог сформулировать себе самому то, что его лишало покоя, и диагноз поставлен не медицинский, а социальный: «Если бы доктор сумел передать в своей справке всю гамму чувств, ее можно было бы разослать в копиях высшим инстанциям, пусть те обратят внимание на жизненные тяготы таких же бедолаг, как Дазмен, зависящих от прихоти Тумбо Кубвы и всех прочих кровопийц, эксплуататоров и толстосумов».

Конечно, после визита к психоаналитику никакого магического исцеления не произошло — доктор Бейтс такой же шарлатан, как и колдун Мганга, услугами которого пользуется Тото. Просто Дазмен понял, что бедным и обездоленным никто не поможет, кроме них самих. Его идея объявить в «Дакка-хаузе» забастовку — всем как один отказаться вносить квартплату, пока Тумбо Кубва не наведет в доме хоть элементарный порядок,— при всей ее простодушности разумна. Это первый шаг на пути к объединению «бессловесных и безликих», к тому, чтобы они почувствовали себя людьми. Но легко себе представить, как велико оказывается удивление и разочарование Дазмена, когда тот обнаруживает, что его затея с забастовкой не находит поддержки, а составленную им петицию никто не хочет подписывать. Не так-то просто убить в себе раба, если тебя держали в рабстве и унижении не одну сотню лет.

Думается, в романе «Тараканий танец» верность правде жизни достигает такой высокой степени обнажения социальных язв, что начинает казаться, будто писатель сознательно сгустил краски; что ж, может быть, это и так. Тогда это удачный художественный прием, позволяющий писателю очертить тот заколдованный круг: зловонная грязь трущоб, где под ногами шмыгают мыши, а тараканы исполняют свой бесконечный танец, изнуряющий труд, приносящий жалкие гроши, дурман питейных заведений на Ривер-роуд,— из которого тщетно ищут выхода герои книги. И все же она не оставляет тягостного впечатления. Этому способствует последовательная гуманистическая позиция автора, отчетливо выраженная в романе. Он всегда ненавязчиво, но определенно дает почувствовать свое отношение к тому или иному событию, поступку и мыслям персонажа. Мванги с успехом пользуется иронией; зачастую образы его грубоваты и жестки, но они рождены самой жизнью, и потому невеселые остроты «от автора» всегда попадают в цель.

Капиталистический путь развития не принес процветания получившим политическую независимость странам Азии и Африки. И тысячу раз прав Нгуги: «Капитализм, даже в пору своего расцвета, не смог создать равенства и гармонии человеческих отношений в Европе и Америке. Почему же некоторые думают, что он может оправдать себя в Африке?..» [1]

Честного и умного писателя-реалиста Меджу Мванги крайне беспокоит повседневная практика современного неоколониализма, проявлениям которого в Кении несть числа. Те, кто сегодня получил власть, как и европейские колонизаторы, нисколько не думают о благе страны.

Дазмен Гонзага — настоящий патриот своей прекрасной и многострадальной родины. Он мог бы стать плечом к плечу с еще двумя героями Мванги — Фрэнсисом Бэркеллом и Джоном Кимати — егерями, белым и африканцем из романа «Часовые саванны», остросюжетного повествования, опубликованного, кстати, в том же 1979 году. Они смело вступают в неравный бой с мощным гангстерским синдикатом, контролируемым американской мафией. Конечно, Дазмен пока не вырос в настоящего борца за истинную справедливость и счастье для миллионов своих соотечественников, но у героя, как и его создателя, еще все впереди...

Важно, что все трудности и поражения не убили ни в том, ни в другом веру в конечное торжество добра.

ГЕОРГИЙ АНДЖАПАРИДЗЕ

---

[1] Нгуги Ва Тхионго. Избранное. М., «Прогресс», 1977, с. 319.

■

Литературные иллюстрации

ВИЛЬЯМ ХАЙНЕСЕН

Башня на Краю Света

ПОЭТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ-МОЗАИКА О МЛАДЕНЧЕСКОЙ МЛАДОСТИ

Перевод с датского Т. ВЕЛИЧКО

Недоумки

Отец больше не плавает, он расстался с морем и будет теперь помогать дяде Хансу, маминому брату, вести дела в Торговом доме Рёмера, потому что это — «колосс на глиняных ногах».

— Что такое колосс на глиняных ногах?

Мама пускается в объяснения, тут одной фразой не отделаешься, приходится начать издалека, потому что история эта «довольно запутанная», такое уж «стечение обстоятельств». Однако постепенно кое-что для тебя проясняется...

При жизни твоего Прадеда Торговый дом Рёмера был крупнейшим предприятием в стране. Ему принадлежало тридцать два рыболовных баркаса и две фрахтовых шхуны. Дед твой по матери, Амальд Рёмер, в честь которого тебя нарекли Амальдом, еще кое-как «сводил концы с концами». Но потом он умер, брат же его Проспер «совсем ни на что не годен, разве только картошку перебирать». А что до твоего дяди Ханса (он у мамы единственный брат), так «бедняжке Хансу», что греха таить, тоже серьезности недостает, силы характера: ему уже скоро двадцать пять лет, а он знай себе гуляет да дурачится, только время попусту растрачивает вместе со своими дружками — Селимсеном, Кайлем и Платеном. Они разъезжают верхом по окрестным горам либо плавают между островами на красивой белой яхте дяди Ханса под названием «Нитуш».

Но теперь за дело возьмется Отец, и уж он-то сумеет навести порядок, он как-никак капитан, ему не привыкать распоряжаться и командовать.

■ ■ ■

И вот Отец принимается наводить порядок.

Отец — крупный и плечистый, с суровым лицом, упрямым взглядом и большущим обветренным носом. Теперь дяде Хансу и его дружкам не придется больше сидеть в Рёмеровской конторе, потягивая вино и распевая «Коль родился я на свет, так уж поживу».

Однако фабрика по-прежнему в их распоряжении.

Фабрика — самое большое здание во всем городе, но она стоит пустая. Дело в том, что она «себя не окупала», и хозяин, богатый шотландский фабрикант, продал ее Торговому дому Рёмера, а сам уехал обратно в Шотландию. Было это еще при жизни Деда. С тех пор фабрика «простаивает», но теперь Отец думает со временем снова ее открыть.

Пока же она продолжает пустовать.

Правда, в одном из ее помещений нередко собирается множество людей — это бывает, когда дядя Ханс и его друзья устраивают там концерты и балы или же представляют комедию.

Селимсен — художник и ходит в широкополой шляпе, у него красивые пышные усы с закрученными кверху кончиками. Кайль — фотограф и носит редингот и желтые

Окончание. Начало см. в № 3.

кожаные перчатки. Еще его называют Лейтенантом, но тетя Нанна утверждает, что лейтенантом он сроду не бывал, а был лишь кадетом, это все просто бахвальство, он ведь ужасный хвастун. Мама зовет его Сердцеедом, а Отец презрительно именует Ветрогоном.

И наконец, есть еще Платен. Платен говорит по-датски, странным образом коверкая слова, потому что он швед. Это веселый толстяк с курчавой шевелюрой и бородой, в съехавшем набок галстуке; он очень музыкален, играет на виолончели (и играет, по маминым словам, превосходно). Фон Платен — настоящее его имя, что указывает на благородное происхождение. «Вполне допускаю, что он барон,— говорит Отец.— Но что он при всем том недоумок, это-то уж совершенно точно. Недоумки они все, вся их шатия!»

— А что это значит — недоумки?

На твой вопрос Отец не отвечает, он сидит за столом нахохлившийся, погруженный в свои мысли и не всегда отвечает на вопросы. Тетя Нанна прикладывает к губам два пальца — это значит, что, когда Отец ест, лучше помалкивать и не мешать ему думать, у него и так голова разламывается от всяких забот.

Через подвальное окно, которое не закрывается, можно проникнуть внутрь большого запутанного здания фабрики со множеством залов. В этих залах, стены которых сложены из грубых холодных скальных камней, потолки высокие, но темно, как в подвале, даже днем, потому что окна длинными рядами тянутся наверху, под самой крышей. Здесь царит гнетущий полумрак, точно в пещере Горного короля. В некоторых залах есть большие раковины, водопроводные трубы, какие-то чудные машины, в других составлены порожние ящики и бочки, навалены кучи измятых полосок жести и прочего хлама, а еще здесь есть кочегарка с высокой паровой машиной, которая стоит без дела и ржавеет. Но некоторые просторные помещения — совсем пустые, такие пустые, что, даже когда ступаешь на цыпочках, шаги отдаются эхом.

И наконец, есть фабричная контора. Здесь стоит огромный темно-зеленый несгораемый шкаф, до того тяжелый, что его не смогли никуда перенести, а в углу — солидный шотландский камин, сооруженный из разноцветных камней и сверху накрытый мраморной плитой с извилистым узором. Вдоль стен — скамьи с кожаной обивкой. Но на красивых темных обоях проступили белесые пятна сырости, а под высокими окнами, выходящими на море, никогда не просыхает лужа.

Ханнибал, подобрав ноги, уютно устраивается на одной из пристенных скамей и закуривает сигарету.

— Красота здесь, верно? Вот здесь они это все и проделывают!..

— Что проделывают? Кто?

— Наш с тобой дядя Ханс с Селимсеном, ну и эти...

— Кто эти?

— Кто-кто, девки!

— Какие девки?

Ханнибал, задрав голову к потолку, пускает кольца дыма.

— Нет, всё, больше ничего не скажу, я не ябеда и не сплетник! И наш с тобой дядя — он ведь в общем хороший малый. А тебе еще рано знать такие вещи. Но мне-то все про них известно!

И тут Ханнибал слово за слово все же кое-что выбалтывает, но выражается столь странно и замысловато, что толком у него ничего не разберешь. Все это так или иначе касается дяди Ханса с его друзьями и каких-то девиц и женщин.

— Шхуна-то эта, здоровая такая и красивая, да знаешь ты ее! Видал, как она округлела?

Ханнибал вычерчивает в воздухе дугу над своим животом.

— Это Селимсен ее раздул! Девок — их как воздушные шары раздувать можно. А потом они — бах! — и лопаются. Опять же Роза-Куколка, ее-то ты уж точно знаешь. С этой наш дядя крутит. Его девка. Он ей и деньги дает, и одежду дарит. Ну ладно, я и так слишком много сказал. А наш дядя — он парень хороший, спору нет. Но ведь Розе-Куколке только еще шестнадцать стукнуло. Интересно, что скажет ее мамаша, Фина-Башмачиха? Хотя она, может, даже обрадуется. А может, она сама заколдовала нашего дядю, да, да, некоторые так и считают. Я только знаю одно: я бы на его месте таким дураком не был. Я бы не связывался с Розой-Куколкой!

На лице Ханнибала появляется мина атамана, вид у него делается взрослый и строгий.

— А Кайль, фотограф-то этот,— нахал и свистун, будь он хоть сто раз лейтенант. Вот у кого девок много, ты даже не представляешь! Чуть ему какая приглянется — готово дело, они ему сами на шею вешаются, и наша с тобой тетя Нанна тоже! Зато Платен — ни-ни, он только днем сюда приходит. Платен не простой человек, как эти все, он поважнее нашего дяди, наверно, даже поважнее твоего отца. Потому что Платен — барон! И притом ужас какой богатый! С ума сойти можно — у него в Швеции собственный рудник! Но только он спился, за это его сюда и выслали, и всех прав лишили. Ну вот, но он приходит на фабрику только играть, больше ни за чем. Погодика... слышишь?

Ханнибал, прислушиваясь, поднимается со скамьи.

— Это он и есть! Пойдем!

Глубокие глуховатые тоны доносятся из дальнего пустого зала. Сквозь щель в неплотно закрытой двери хорошо виден Платен, который сидит на складном стуле,

склонившись над своей виолончелью,— видны его пальцы на грифе и снующий по струнам смычок. Вот он слегка поворачивается — теперь видны его борода, и брови, подсвеченные лучами из окошек под потолком, и его улыбающийся рот. Он сидит и восторженно улыбается, как будто здесь есть еще кто-то, с кем он приятно и весело проводит время. Но он совсем один.

— Зачем он приходит сюда играть — совсем один?

— Затем, что здесь музыка звучит красивее, чем в домишке мадам Мидиор, где он живет. А бутылку у него видишь? Он ее всегда при себе держит, иначе у него белая горячка начинается.

— А что это — белая горячка?

— Такая штука, от нее умереть можно.

Платен играет и играет, звуки волнами плывут от его большой красно-коричневой виолончели, полные какого-то мягкого света и глубокой, самозабвенной радости. Низкие тоны проникают тебе в грудь, заставляя все внутри дрожать.

Платен сидит в полумраке сырой каменной пещеры, улыбается и блаженствует один-одинешенек.

Он недоумок.

Недоумки они все. Недоумки, недоумки.

■ ■ ■

Тебе трудно примириться с тем, что твой дядя Ханс тоже недоумок. Ты любишь дядю Ханса, он всегда такой добрый и веселый и всегда затевает что-нибудь интересное и увлекательное.

Он берет тебя с собой кататься на красивой белой яхте «Нитуш». Там он моряк — в фуражке с блестящим козырьком или в непромокаемой клеенчатой шляпе-зюйдвестке. А когда он отправляется на верховую прогулку по горам, то натягивает узкие рейтузы и кожаные гамаши. Когда же устраивают концерт в фабричном зале и дядя Ханс, помахивая белой палочкой, дирижирует женским хором «Идун», то на нем черная «фрачная пара». Собравшиеся хлопают в ладоши, а дядя Ханс кланяется и с улыбкой указывает рукою на хористок, как бы говоря, что успех принадлежит им. Наконец, когда представляют комедию, никто не может лучше дяди Ханса заставить публику покатываться со смеху или же проливать слезы умиления.

Но Отец недоволен дядей Хансом и грубо распекает его, не смущаясь присутствием других людей.

— Ты, видно, никогда не повзрослеешь! Думаешь, можно всю жизнь в игрушки играть. Но не зря говорят: повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить!

А дядя Ханс молчит, он даже не пытается оправдываться, и вид у него ничуть не злой и не обиженный.

Только потом, когда Отец уходит, ты слышишь, как дядя Ханс говорит Маме:

— Мне-то, собственно, всегда нравился как раз этот самый кувшин, который ходит по воду, вместо того чтоб стоять на полке со сладким сиропом внутри!

■ ■ ■

Однако же самый главный из всех недоумков — это, несомненно, дедушка Проспер, который только и делает, что стоит возле утиной запруды да кормит своих уток.

Через сад, окружающий дом «Память об Андреасе», бежит ручеек. Он стекает с гор, струится по зеленому царству лугов, а добежав до сада, сначала скрывается в густых зарослях красной смородины, но затем вновь показывается — вот в этом-то месте дедушка Проспер и устроил свою утиную запруду.

Утиную запруду дедушки Проспера отгородили от сада высоким забором, «чтоб не видеть всей этой пачкотни»...

Дедушка Проспер приходится Маме дядей по отцу. Он малорослый, почти что карлик, но у него пышные седые усы. Выглядит он вообще довольно комично, ибо вдобавок ко всему носит дымчатые очки и почти всегда ходит в высоких резиновых сапогах.

Лоб у дедушки Проспера изрезан длинными морщинами, как у человека, которому много приходится думать, но все его думы только об одном: об утиной запруде да об утках.

— Бедный дедушка Проспер, жалко его. Ты уж, пожалуйста, будь с ним поласковее и не вздумай над ним смеяться.

У дедушки Проспера есть «мастерская» в подвале дома «Память об Андреасе», там стоит стол, заваленный разноцветными бумажными обрезками и заставленный баночками с клеем, а на стене висит фотография старика с бакенбардами — это отец дедушки Проспера, Старый Рёмер, твой Прадед. Взгляд у Старого Рёмера жесткий, но в то же время он словно бы втайне потешается над своим немыслимым сыном по имени Проспер.

Дедушка Проспер любит кормить своих уток. Станет у запруды с мешком, полным хлеба, и принимается их скликать, называя каждую по имени,— у него все утки имеют имена: Крякушка и Брякушка, Малена Большая, Малена Старая и Малена Крохотуля, Утик, Мутик и Хохлатик — и как уж их там еще зовут. Утки подплывают и смотрят на дедушку Проспера одним глазом, повернув голову набок и учтиво кланяясь.

В прачечном подвале есть большая раковина с проточной водой, в ней плавают желтые утята дедушки Проспера, которые еще недостаточно подросли, чтобы можно было выпустить их в запруду, где их подстерегает здоровенный котище Сортирный Фредрик (так дедушка Проспер окрестил этого прожорливого ворюгу-кота, умеющего и плавать, и нырять). К утятам дедушка Проспер питает особую нежность, просто души в них не чает, для них он часто играет на своей цветастой глиняной флейточке окарине.

Яйца, снесенные утками дедушки Проспера, берут на кухню и варят их или жарят яичницу — для него самого, потому что больше никто не любит утиные яйца. Но часть яиц он выдувает, а потом обклеивает цветными и золотистыми бумажными полосками или же вырезанными из бумаги фигурками и вешает на стену, чтобы использовать как подарки ко дню рождения либо просто как «памятные презенты».

В погожие вечера дедушка Проспер усаживается возле утиной запруды в плетеное кресло и раскуривает свой длинный чубук. Одет он при этом в шлафрок и ермолку, на ногах вместо резиновых сапог вышитые домашние туфли, и он сидит, «наслаждается жизнью». А по временам он листает старую детскую книжку с картинками под названием «Большой Бастиан» и тогда тихонько клохчет в усы, попыхивая табачным дымом,— наслаждается жизнью и чувствует себя на седьмом небе.

■ ■ ■

А как же Б а б у ш к а — она тоже относится к недоумкам? Может, да, а может, и нет.

— Бабушка такая н а и в н а я.

— Что значит наивная?

Мама, которая гладит белье, на миг застывает в раздумье.

— Наивная? Ну, это когда человек считает, что все вокруг хорошие и добрые. И когда он сам слишком добрый. И позволяет другим водить себя за нос.

Мама и тетя Нанна продолжают обсуждать друг с другом, как бедная Бабушка «всю жизнь позволяла водить себя за нос».

А ты краем уха слушаешь их разговор, возясь со своей игрушечной шхуной «Кристиной»: у нее отскочила дощечка с названием, и ты пытаешься приклеить ее птичьим клеем, взятым у дедушки Проспера. Отдельные необычные выражения застревают у тебя в памяти, и потом ты все время возвращаешься к ним раздумывая над их смыслом.

Твой дед по материнской линии, которого звали, как тебя, Амальдом,— этот самый дед был «порядочный щеголь». И «вертопрах». И «кутила». А бедняжка Ханс, к несчастью, уродился в него. И вдобавок он был «волокита», «юбочник» (тут ты навострил уши!).

— Да, да, Нанна, это т а к. Он за первой встречной юбкой волочился. А мама, разумеется, ни о чем не догадывалась. Продолжала его боготворить. Да и не она одна, кстати сказать. В нем было о б а я н и е. Отца все всегда боготворили. Так же, между прочим, как теперь Ханса!

■ ■ ■

Итак, твоя Бабушка н а и в н а я (чудесное новое слово, хотя, пожалуй, чуточку грустное!) и «позволяет водить себя за нос».

Бабушка — маленькая и худенькая, очень близорукая, но когда она усаживается за фортепьяно и тонкие пальчики ее начинают бегать по клавишам, то просто невероятно, какие чудесные звуки извлекает она из громоздкого инструмента и как она, глядя через свои очки, ухитряется разобраться во всех этих черных кружочках, удивительных вилочках и шпильках, которыми испещрены старенькие нотные листы.

(В ту пору ты еще не знал, что твоя Бабушка получила серьезное музыкальное образование у себя на родине, в Копенгагене, и что ей в свое время прочили «музыкальную карьеру».)

По субботним вечерам к Бабушке часто приходят дядя Ханс и его друзья, и они вместе поют и музицируют. А иногда кроме них приходят Перевозчик со своей трубой и двое его сыновей со своими скрипками, да еще Платен со своей виолончелью. Это бывает, когда они готовятся к концерту в фабричном зале. На закрытой веранде дома «Память об Андреасе» собирается многочисленное пестрое общество. Сюда же приходят разучивать свои партии мужской хор пастора Эвальдсена и женский хор дяди Ханса «Идун».

Тогда Бабушка по-настоящему «расправляет крылья», но при этом нередко до того устает, что в перерывах валится в кресло-качалку п о л у м е р т в а я и, чтобы привести себя в чувство, нюхает свой флакончик с ароматическими травами.

Тихонько покачиваясь, она впадает в забытье, но мгновение спустя — уже на ногах, глаза за очками блестят, и снова она недоумок среди других недоумков.

За круглой откидной доской стоящего в столовой бюро прячется бабушкин кукольный театр. Это работа ее отца. Он был трубач в Королевском театре в Копенгагене, и его миниатюрный, изящно раскрашенный и позолоченный макет «как две капли воды похож на Королевский театр». А расставленные по сцене разноцветные картонные фигурки — это все известные актеры и актрисы, которых Бабушка в детстве и в юности не раз видела и о которых она может рассказывать без конца: фру Хайберг, Фистер, Анна Левинсен, Херольд — и как уж их там всех звали.

Кукольный театр — это сокровище, до которого никому не разрешается дотрагиваться, но можно сколько угодно рассматривать его и слушать бабушкины рассказы о том, кого изображают фигурки на сцене и что они делают. Если это опера, Бабушка играет на фортепьяно и надтреснутым, но прочувствованным голосом исполняет арии и речитативы.

Бабушка сама мечтала стать певицей, однако судьба распорядилась иначе.

Но одна из фигурок на сцене кукольного театра (эту тайну Мама открыла тебе позднее, когда Бабушки давно уж не было в живых) изображает самое Бабушку! И порою, когда Бабушка остается вечером одна в комнате, она принимается переставлять фигурки и, воображая себя оперной певицей, поет арию Керубино из «Свадьбы Фигаро».

А порою Бабушка сидит в кресле-качалке, уйдя в свои мысли, такая притихшая и отрешенная, что сама начинает походить на картонную фигурку. В такую минуту лучше ее не тревожить — пусть себе дремлет и грезит.

— А о чем Бабушка грезит?

— О королевском Копенгагене, о королевском дворце и королевском парке. О королевской площади и королевском театре...

Маленькая певица

И вот тете Нанне исполняется восемнадцать лет.

Тот день по вполне определенной причине так глубоко врезался тебе в память, что ты даже дату запомнил: седьмое апреля 1907 года. Ведь именно тогда ты впервые оказался в одной компании с Меррит.

День рождения тети Нанны совпадал с днем рождения ее сестры Кайи, которая была ровно на два года старше. Двойной семейный праздник, который справляли в бабушкином доме, всегда бывал особенно веселым и торжественным, приглашали, как правило, много гостей, пели, танцевали, иногда разыгрывали детский спектакль.

Это Бабушке пришла тогда в голову мысль позвать маленькую Меррит, чтобы она спела для гостей. Бабушка давала уроки игры на фортепьяно, и одиннадцатилетняя Меррит, младшая дочь штурмана Свенссона, которая тоже стала бабушкиной ученицей, совершенно очаровала ее прекрасным музыкальным слухом и в особенности звонким певческим голосом.

И Девчонка-Глазелка из церкви оказалась вдруг совсем рядом — вот она стоит у рояля и поет, голосок у нее как мелкий белый песочек, струящийся между пальцами (так тебе представлялось); одета она в голубое платье, в распущенных каштановых волосах — синие ленты, и нет в ней ни тени смущения, хотя взоры всех присутствующих устремлены на нее.

Вещи, которые она тогда пела, тоже сохранились у тебя в памяти, и ты без труда можешь восстановить их названия: вначале старинный романс из времен бабушкиной молодости «Как покойно в лесу», затем «Колыбельную Аладдина» Хайсе и в заключение арию Керубино из «Свадьбы Фигаро» (правда, только ее начало). Это был коронный номер, и его пришлось повторить на бис. Все восторженно хлопали в ладоши, у Бабушки глаза сияли от радости, а дядя Ханс поднял маленькую певицу на руки, отнес ее в столовую, где уже стояли на столе два высоких круглых миндальных торта, каждый с фигуркой танцовщицы на верхушке, и усадил на почетное место — между двумя виновницами торжества...

— А эта малявка, между прочим, порядочная задавака! — сказала про нее тетя Нанна, когда мы вернулись домой.

Ясный морозный вечер в канун нового 1974 года, и я (Амальд Престарелый, Отживший Свой Век Воспоминатель) только что возвратился с одинокой экскурсии под усеянным звездами небосводом.

Я брал с собой корабельную подзорную трубу Отца, а цель моей экспедиции во вселенную состояла в том, чтобы выследить комету, о которой последнее время так много говорят и пишут.

Комету поймать, увы, не удалось. Но взору предстало столько всего другого, поражающего воображение и радующего сердце. Все эти сияющие очи ночного неба, которые ты узнал и полюбил еще в младые годы,— они и ныне дарят тебя своею близостью, с ними тебе в мире уютно, как дома! Семь верных негасимых фонарей Большой Медведицы, проглядывающих сквозь буйные пенные вихри северного сияния! Да, Большая Медведица все так же реет в вышине, непреходящая в веках, и ее грандиозный космический полет имеет лишь одно назначение: приветствовать тебя и веселить тебе душу, придавая бренному земному мигу твоего бытия ореол вечности!...

Вот так сидишь и раздумываешь, в радостном нетерпении оттачивая карандаш над листком блокнота и стряхивая сор в заполненную пеплом пепельницу.

В радостном нетерпении — о да, и на то есть причины: ведь мы приближаемся в нашем повествовании к невообразимо, несказанно счастливой поре...

Ах, как т а к о е описать?

Что ж, начнем хотя бы с того, что на дворе лето, самый разгар головокружительного лета, и нас со всех сторон обдают его дивные запахи и звуки.

Запах травы, и мха, и всех полевых цветов, запах хлеба, молока и торфяного дыма, скотного двора и сена и вечерний запах высохшего белья, разложенного для отбеливания на лугу.

Переливчатый свист кроншнепа в полдневный час и гортанная свирель вальдшнепа в сумраке ночи — и дребезжащие тоны старого бабушкиного фортепьяно!

И сквозь это все — всплески неистовой влюбленности, младенческий, только пробуждающийся, еще робкий и задавленный Эрос. Но какой безудержный, какой необузданный!

Ибо то головокружительное лето прошло всецело под знаком Меррит!

Мост Жизни

Отец с Матерью отправляются на «Кристине» в Шотландию и тетю Нанну тоже берут с собой.

Решено, что ты и Младший братишка переберетесь на это время к Бабушке и девочка по имени Ютта будет приходить смотреть за Братишкой. Бабушке самой некогда, она привязана к своему фортепьяно и ученикам, а две твои тети, мамины сестры Кайя и Мона, не могут оставить работу в торговом заведении Рёмера...

■ ■ ■

Ютта жила неподалеку от Бабушки, в низком и длинном, дочерна просмоленном доме, средь зеленых холмов, где колыхались на ветру обильные травы и кивали головками цветы, в самом сердце этого головокружительного лета. При доме были сенной сарай и хлев со стойлами коров Звездочки и Пеструхи и коня Юпитера.

Луговые угодья Юттиного отца тянулись вверх от садовой изгороди дома «Память об Андреасе» до большой наружной каменной ограды, за которой начинались предгорные вересковые пустоши. На этой зеленой каменистой полоске земли были свои холмы и низины, громоздились большие скальные глыбы с верхушками, поросшими вереском и черникой, здесь протекал и бурливый ручей, на берегу которого можно было лежать в траве и смотреть в медленно плывущее над головою облачное небо, забывая обо всем на свете, растворяясь в лазурных безднах и в веселом журчанье бегущей с гор воды.

Через ручей в одном месте был перекинут мосток, которым служила просто узкая доска. По ней нужно было суметь пройти, сохраняя равновесие. «Жизнь или смерть!» — кричали мы тому, кто, раскинув руки, переходил ручей, и поэтому за неказистым мостком закрепилось название М о с т Ж и з н и.

Этот Мост Жизни я до сих пор вижу иногда во сне, да что во сне, я и бодрствуя могу при воспоминании о нем совершенно отрешиться от действительности и вновь ощутить то щекотание внутри, какое я испытывал, когда, находясь «между жизнью и смертью», балансируя, шел по узкому мостку, который вел не куда-нибудь, а всего лишь на другой берег ручья,— мостку, в котором и проку-то вроде не было: ведь можно было легко, не замочив даже ног, перепрыгнуть через небольшой каменистый поток или уж во всяком случае перейти его вброд.

Однако он б ы л там, этот Мост Жизни, он существовал. Возможно, доска когда-то оказалась лишней, ее некуда было деть, и тогда — отчего бы не сделать мосток — ее перебросили через ручей, который, кстати, в дождливую погоду вздувался иногда до размеров настоящей речки.

А как мы любили наш мосток и как он притягивал нас к себе!

Мы ходили по нему, и сидели на нем, и лежали поперек него на животе, глядя вниз, туда, где маленькие форели, замерев, едва пошевеливали плавниками в прозрачной буровато-золотистой воде и где мошкара после дождя роилась и плясала над мшистыми камнями.

Некая мелодия навсегда слилась для меня с Мостом Жизни, музыкальная пьеска в минорной тональности, на мгновение, однако, модулирующая в мажор, чтобы затем снова вернуться в минор — подобно тому, как в ненастный день ненадолго перестает лить дождь, выглядывает солнышко и мошкара заводит свои пляски.

Мост Жизни! Какая-то мрачная и по-особому торжественная символика чудится в этом названии. «Глядите, я иду по Мосту Жизни — не иду, а лечу!» Ведь это занимает совсем немного времени, раз-два и готово — и ты уже здесь, стоишь меж камнями на другом берегу. Раз-два и готово — вот как она коротка, жизнь.

Тогда так не думалось — тогда тебя окружала еще зеленая вечность! Так ощущается это теперь, когда Мост Жизни пройден и навек остался позади, а ты стоишь — удивляясь и недоумевая — в окружении серых, поросших лишайником камней на другом берегу, в стране, укрытой вечернею тенью.

(Очень может быть, что об этой ничтожной и невзрачной доске рассказано слишком уж пространно — но ах как трудно остаться немногословным, ведя репортаж из рая!)

Меррит

Ютте двенадцать лет, но она для своего возраста очень высокая, настолько, что кажется тебе почти взрослой, хотя ты только на три года младше. У нее светлые волосы и маленькие светлые глаза, а рот все время приоткрыт, так что видны крупные передние зубы. Она очень добрая и славная, но говорит мало, а когда говорит, то слушать ее всегда немного скучно.

Но вот однажды приходит М е р р и т.

Да, однажды приходит Меррит, и все вдруг становится совсем иным...

Меррит — подруга Ютты, они ровесницы, но Меррит меньше и тоньше, зато глаза у нее гораздо больше. И у Меррит они не светлые, как у Ютты. Но и не темные. Они у нее зеленые. Большие зеленые глазищи-всевиделки. Да, потому что Меррит так много всего видит. И знает она много всего, и умеет много, и говорит тоже очень много.

— Сегодня утром, рано-рано, когда еще никто, кроме меня, не встал, знаешь, что я видела? Огромную радугу! Мы с ней были совсем одни. И она была так близко, что можно было ее потрогать! Показать тебе маленький кусочек радуги? Я его поймала! Он у меня вот здесь, в руке!

Она достает граненую стеклянную пробку и держит так, чтобы солнце светило сквозь нее,— и вот он, пожалуйста, кусочек радуги, у нее в горсти!

— Я и солнце могу поймать!

Она берет осколок зеркала, подставляет его солнечным лучам — и пожалуйста, маленькое солнышко пляшет по ее животу, по груди и шее, запрыгивает ей в рот: кажется, будто она его глотает.

— Я и дождь могу нагнать!

И Меррит принимается дуть в полый цветочный стебелек, который она в одном месте рассекла ногтем. Слышится тоненький свист, но дождя никакого нет.

— Ну и что ж, что нет, скоро будет. Видишь, небо уже потемнело!

И немного погодя начинается дождь.

А Меррит сидит и не уходит, вымокнет так вымокнет — это ведь ее собственный дождь.

Но ливень быстро кончается, и солнце, еще не закатившееся, хотя уже вечер, светит на мокрую траву, а от нагретых замшелых камней вдоль берега ручья поднимается пар. Неподалеку стоит в воде рослый пегий жеребец Юпитер.

Юпитер, наш добрый друг, который весь день усердно трудился, стоит неподалеку в ручье и пьет в свое удовольствие — надувается так, что в брюхе у него булькает и клокочет. Напившись он степенно выходит на берег и на минуту замирает на зеленом ковре как вкопанный будто погрузившись в глубокое раздумье.

А потом ни с того ни с сего опрокидывается на спину и начинает кататься по траве, с пронзительным ржанием скаля длинные зубы. Его огромный телесного цвета живот со вздувшимися жилами колышется из стороны в сторону, мохнатые бабки вскидываются к небу а кроткие, смиренные глаза Юпитера исступленно косят, сверкая вывороченными белками... вот это зрелище так зрелище!

И — локоть Меррит, вонзившийся тебе в бок, ее шепот прямо тебе в ухо:

— Видишь у него висюльку?

— Чего-чего?

— Ну висюльку у него между задних ног! Чудная такая штуковина!

Разумеется, ты видишь эту черную висюльку, что выглядывает из волосистой кожной складки.

Но Юпитер очень скоро вновь поднимается на ноги и, стряхнув с себя горячечное наваждение, как ни в чем не бывало мирно и степенно щиплет траву.

Меррит, однако, не унимается:

— А знаешь для чего она нужна?

Ну конечно... кто ж этого не знает.

— Да, но не только для того, о чем ты думаешь, а еще он, как увидит кобылу, так эта висюлька начинает расти, и тогда он берет и прыгает на кобылу, я сама как-то раз видела, не здесь, а в другом месте, и потом знаешь, что получилось? Потом у этой кобылы родился маленький жеребеночек, такой хорошенький, просто прелесть! А ты и не знал, что так бывает? Конечно не знал, ты вообще еще очень многих вещей не знаешь! Ведь ты же, Амальд,— сказать, кто ты такой? Ты у нас дурачок-глупышок!

■ ■ ■

Вот такая была Меррит, и вначале у тебя совсем не вызывали восторга ни ее зеленые глазищи, которые умели не только распахиваться и глазеть но и превращаться в длинные щелочки, полные лукавства и насмешки, ни ее острые локти, доверительно толкавшие тебя в бок.

Младший братишка тоже не слишком жаловал Меррит, и только она соберется «тиснуть-чмокнуть» его, как он вырывался и с криком убегал к Ютте. Да и сама Ютта не всегда бывала рада своей подруге: при появлении Меррит в глазах у нее мелькало подчас странно досадливое выражение, как будто она хотела сказать: «Ну вот, явилась, теперь прощай мир и покой».

И тетя Нанна недолюбливает Меррит, называет ее сорвиголовой и воображалой.

А вот Бабушка очень любит Меррит за то, что у нее «прекрасные способности», она «такая музыкальная» и «поет, как ангелок».

Иногда ты сидишь у Бабушки в гостиной и листаешь какую-нибудь книжку с картинками, между тем как Меррит проворными пальцами играет на пианино свои гаммы, а рядом сидит Бабушка с указкой и в очках. Когда урок кончается, бывает, что Бабушка приносит чай и печенье а иной раз читает вам что-нибудь вслух из книги под названием «Сокровищница сказок».

В одной из сказок повествуется о двух феях, доброй и злой, и добрая фея в твоем воображении невольно отождествляется с Юттой, а злая — с Меррит.

Добрая фея — светлая, как Ютта, у нее маленькие кроткие глаза и крупные передние зубы, для которых рот ее немного маловат. У злой феи — глаза зеленые и то сужаются в длинные щелочки, полные какого-то непонятного веселья, то распахиваются и неприятно глазеют.

Но однажды ночью тебе снится, что злую фею схватили и заперли в мрачном подвале в наказание за ее злодеяния — она сидит там одна-одинешенька, глазея своими глазищами в темноту, похожая одновременно на Одинокую деву Эссемёдль и на Девчонку-Глазелку Меррит.

И тебе становится жаль злую фею.

Девочка-кобылка

По взгорьям разбросаны сиротливые избушки. В одной из этих избушек живет здоровенный чернявый человек по прозванию Дидрик-Силач. А еще его называют Дидрик-Кобылятник. Живет он совсем один, и никто с ним не знается.

Дидрик-Силач был в заключении, сидел в каталажке Старого форта.

— А за что его туда посадили?

Этого Ютта не знает или не хочет об этом говорить. Зато Меррит, которая знает все на свете, может рассказать и о том, за что Дидрика держали под арестом в Старом форте.

— За то, что он женихался с кобылицей!

Ютта, фыркнув, пригибает голову и прячет лицо за спину Младшего братишки. Но глазищи Меррит остаются серьезны.

— Ничего тут смешного нет. А знаешь, Амальд, почему его за это посадили? Очень просто: ведь если бы его кобылица ожеребилась, у нее бы родился ужасный уродец. Тролль! Конечно, а что ж ты думаешь, откуда берутся тролли?

— Да ну тебя, Меррит, замолчи!

У Ютты такой вид, будто ей стыдно за свою подругу.

Меррит, однако, и не думает молчать, она еще много чего знает про Дидрика-Силача и его кобылицу. Когда стало известно, что он взял себе в возлюбленные кобылицу, то к нему пришли и хотели ее отобрать, а он вскочил на нее верхом, ускакал в горы и там оставил ее пастись — в такой дали от людей, что никто не мог ее отыскать!..

Но и это еще не все.

Меррит:

— Амальд, поди-ка, что я тебе скажу! Знаешь, что было дальше?

Ютта принимается тихонько напевать.

— Перестань, Меррит, ты просто хочешь напугать Амальда!

— Ничего подобного, он ни капельки не боится, верно, Амальд? Смотри, а то я могу не рассказывать, хотя я еще кое-что знаю.

Ютта:

— Правда, Меррит, не надо, пожалуйста.

— Нет, а все-таки я расскажу, ты только послушай, Амальд! Представляешь, у этой Дидриковой кобылицы в самом деле родился жеребенок — там, в горах,— но какой! Жутко страшная девочка-кобылка с человечьим телом и лошадиной головой! И знаешь, она и сейчас живет в горах, многие видели ее там и слышали, как она ржет! Ее видели даже у Дидрикова дома, она иногда прибегает по ночам повидаться с отцом и поесть у него картошки. Потому что она ужасно любит картошку.

■ ■ ■

Вот такая была Меррит. А там хочешь верь ее рассказам, хочешь не верь.

Но ведь Дидрика-Силача она не выдумала — вон он ходит, окапывает картошку возле своего дома, здоровенный и угрюмый, и кто его знает, по виду от такого чего угодно можно ожидать. А однажды вечером сверху, с холмов, доносится удивительно тоненькое и нежное лошадиное ржание. Может, конечно, это настоящая лошадь, а может, девочка-кобылка, дочка Дидрика, спустилась с гор, чтобы повидаться с отцом и полакомиться его картошкой.

Тетка-с-чашкой

И много еще других необыкновенных людей живет в летнем царстве зеленых лугов...

Как-то вечером большая ржаво-красная луна висит над окутанными туманом вересковыми пустошами за наружной каменной оградой.

Туманная луна не бросает на землю тени, она, как огромное голое лицо, выступает из серой мглы.

— Смотри, Амальд, вон идет Тетка-с-чашкой!

Тетка-с-чашкой возвращается домой, неся торф. Она трусит мелким шажком, кирпичи торфа подпрыгивают в решетчатом коробе у нее за спиной, а на шерстяном шнурке, которым она подпоясана, болтается маленькая синяя чашка. Тетка никогда с ней не расстается, за что и получила свое прозвище.

Меррит сидит и держит тебя за руку, пока Тетка ковыляет мимо с торфяным коробом и синей чашечкой.

Тетка-с-чашкой старая-престарая, ей уже, наверно, больше ста лет. Живет она в маленькой обросшей травою каменной хижине, у самой калитки наружной ограды, за которой начинаются пустоши. Вместе с нею живет Дядька-с-чашкой, только он ей не муж, а брат. Дядька-с-чашкой моложе Тетки-с-чашкой, но все равно уже такой старый, что у него даже рожки на голове выросли. Но он еще может резать торф. А Тетка-с-чашкой тоже еще бодрая и подвижная, она помогает ему раскладывать и сушить торфяные кирпичи и потом собирать их в кучи.

— А знаешь, почему они оба такие крепкие, хотя уже совсем старики? Потому что пьют воду из красного железного источника, который бьет наверху, в пустоши. Если пить красную воду каждый день, можно прожить больше ста лет, это источник молодости!

— Но почему же тогда все не пьют из красного источника?

У Меррит и на это готов ответ:

— А потому что от красной воды люди не только долго живут, но еще и память теряют. Тетка-с-чашкой и Дядька-с-чашкой все на свете перезабыли. Не помнят, кто они и сколько им лет, имен своих и то не помнят. Так и зовут друг друга — «ты» да «ты», а по имени никогда.

Экка из Колодезного дома

Это, стало быть, Тетка-с-чашкой. А еще есть Экка из Колодезного дома.

Экка приходится Ютте теткой. Она живет в добротном и красивом доме на взгорье, имеет собственный земельный надел и держит корову и кур.

Одета Экка всегда в черное, потому что она вдова и носит траур по своему покойному мужу Бендику.

Воду Экка берет из небольшой запруды, сделанной в протекающем по ее усадьбе ручье. Эту прекрасную, аккуратно выложенную камнями запруду построил Бендик. Ее называют Колодцем, поэтому-то дом Экки и окрестили Колодезным домом.

Экка выносит свое белое постельное белье в поле и расстилает на траве, чтобы оно хорошенько отбелилось.

В этом во всем ничего необычного нет. Необычное начинается дальше, и рассказала о нем опять-таки Меррит, ведь она столько всего знает.

Так вот, по ночам, когда белое постельное белье Экки лежит на зеленой траве, является одинокая тень Бендика и видит, как это белье в сумерках светится.

— Ну и что, Меррит?

— А Экка знает, что Бендик пришел, она это сразу чувствует. Но что толку-то, все равно же он мертвый! И все-таки Экке очень хочется, чтобы он вошел в дом, пусть хоть и мертвый.

— Ну и он входит?

— Погоди, ты слушай. Не боишься? Нет, правда, это ж у т к о страшно. Ой, Амальд, сядь вот тут поближе, а то мне самой страшно рассказывать!

Вечер стоит хмурый, трава шелестит от сильного ветра, вода в Колодце у Экки подернулась мелкой черной рябью. Глазищи Меррит широко распахнуты.

— Ну вот, представляешь, однажды Экка приносит белье с улицы домой и хочет погладить, но надо же сперва его потянуть, а ей не с кем, она и придумала привязать простыню одним концом к дверной щеколде. И вот, только она потянула, смотрит, а в дверях стоит Бендик и держит простыню за другой конец, помогает ей тянуть! А м а л ь д!

— Ну чего ты?

— Ой, Амальд! По-моему, он сейчас здесь!

— Кто? Бендик?

— Да. Потому что мы так много про него говорим!

И Меррит приникает к тебе, ты чувствуешь губами ее холодные волосы, она дрожит от страха и не смеет поднять глаза.

— Амальд, ты что-нибудь видишь?

— Что вижу?

— Е г о!

— Да н е т здесь никого!

— А я тебе говорю, он з д е с ь! — Она с криком вскакивает с места.— Бежим!

И вы со всех ног мчитесь через поля вниз по склону холма.

■ ■ ■

Но Экка с ее Колодезным домом никак нейдут у тебя из головы.

В сумерки Бабушка зажигает свечи на пианино. Приходит Меррит и садится играть свои гаммы. Одна гамма не похожа на другие — когда ее слышишь, внутри так странно что-то трепещет.

— Почему она такая, а, Меррит?

— Какая такая?

Ты пытаешься объяснить, но словами это выразить трудно.

— Нет, но я понимаю, что ты хочешь сказать, правильно, она в самом деле т а к а я. У нее даже есть свое название... как же она называется?

Это знает Бабушка: «мелодическая минорная гамма».

Мелодическая минорная гамма пронизана сумерками, и когда ее слышишь, сам собою приходит на память дом Экки и Колодец, в темной воде которого отражаются

бегущие по небу тучи. Тучи, печаль и траур заполняют его глубь. А когда белье Экки лежит на траве и в сумерках светится, является Бендик, стоит и смотрит на расстеленные простыни и наволочки, такие бледные и печальные...

Но вот однажды вечером раздается звон церковных колоколов.

— Это звонят в честь Экки.

— А что, Экка умерла?

Нет, Экка не умерла. Это звонят свадебные колокола. У Экки будет новый муж.

И теперь не печаль, а радость заполняет Колодец Экки. И все простыни, пододеяльники и наволочки в постели, где Экка спит со своим новым мужем, красиво отбелены, гладко отутюжены и светятся радостью и уютом.

Но снаружи, под печальными ночными тучами, блуждает бледная тень Бендика, такая безмерно одинокая...

Нескладный зверюга

Это, стало быть, была Экка из Колодезного дома. Но есть и еще множество удивительных людей, вещей и призраков, о которых без конца может рассказывать Меррит.

И есть самое страшное из всего: Нескладный зверюга.

— Амальд, неужели ты о нем никогда не слышал?

— Нет. Что еще за зверюга?

Меррит неуверенно мнется, будто это не так-то просто объяснить.

— Ну, это такое существо... оно елозит. Знаешь, что значит елозить?

— Знаю, черви елозят. И улитки.

— Верно, но Нескладный зверюга — не червь и не улитка. А тоже елозит. И всегда он где-нибудь под боком. Пропадет ненадолго, забудешь про него — а он вдруг откуда ни возьмись опять рядом. И опять елозит, елозит. Ой нет, наверно, лучше про него не говорить!

— А ты сама его видела, Меррит?

— Еще бы, конечно!

— Но какой он все-таки из себя?

Меррит внезапно выпрямляется и широко распахивает свои глазищи.

— Вот слушай! Он весь скользкий, слизистый, как рыбина. А глаза такие странные — розоватые и запухшие. И он все время плачет, стонет, вздыхает. До того он разнесчастный! Поэтому он и льнет, и жмется к кому-нибудь. Он ведь зла никому не желает. Просто ему страшно и очень хочется, чтоб его утешили. Но он до того омерзительный на вид, что все от него шарахаются. И поэтому он ужасно одинокий и его ужасно жаль. Можно только богу за него молиться: милый боже, сжалься над Нескладным зверюгой, сделай, чтоб он не был таким несчастным. И не дай ему придушить меня или задавить насмерть. Аминь.

У Меррит слезы блестят на глазах, а сам ты тоже едва не плачешь, растроганный жалкой участью бедного уродливого и одинокого Зверюги.

И тут ты вдруг чувствуешь, как ее острый локоть вонзается тебе в бок:

— Амальд! Ну какой же ты все-таки дурачок-глупышок!

Кладбище

Мчатся тучи, мчится ветер, мчится с гор ручей, быстро мчится головокружительное лето — скоро оно промчится, и наступит осень.

В летнем царстве лугов трава уже не зеленая, она цветет, выкинув вверх красно-фиолетовые метелки. Сенокос в самом разгаре, отец и дядя Ютты день-деньской машут косами, мать и другие женщины и девушки ворошат сено, а вечером сгребают его в копенки. И на покосе вырастает целый карликовый городок.

Ютта и Меррит тоже помогают убирать сено.

Но однажды ты видишь Меррит, у ручья, она сидит одна, притулившись между большими камнями, и плетет венок из одуванчиков, ромашек и других поздних летних цветов. Это венок на могилу ее сестры, которой сегодня должно было исполниться пятнадцать лет.

— Меррит, а как звали твою сестру?

— Ее звали Меррит — как меня. Она умерла до того, как я родилась, и мне дали ее имя. Мама говорит, я на нее очень похожа. Может, я — это вообще она!

— Нет, Меррит, ну как же может быть, что ты — это она?

— А вот так! Может, ее душа перешла в меня. И тогда понимаешь, что получается? Получается, что я лежу мертвая в земле и я же вот она — стою здесь.

— Но тогда, значит, ты — это два человека сразу. Разве так бывает?

— Бывает, сколько угодно. Очень даже много таких людей, которые сразу два человека. Да хотя бы все эти женщины, которые ходят с ребенком в животе!

Голос у Меррит веселый и лицо радостно оживленное, но она не улыбается, потому что на кладбище улыбаться нельзя.

— Так, а теперь положим венок вот сюда. Амальд, пожалуйста, подожди минуточку, я только прочитаю «Отче наш»!

Меррит становится на колени перед могилой, складывает ладони у груди и низко опускает голову. В траве еще виднеются кое-где взъерошенные синие головки ва-

сильков. День пасмурный и ветреный, похоже, что собирается дождь. Ветер обдувает могильные холмики и кресты, словно обмахивает их метлой и пыльной тряпкой, торопясь закончить генеральную уборку.

Меррит прочитала молитву. Она поднимается с колен и осеняет могилу крестным знамением.

— Мир праху твоему, милая Меррит!

Странно и жутко слышать, как она произносит над могилой собственное имя: а что, если это и правда, она, живая Меррит, лежит в земле мертвая? Ужас и жалость, сменяя друг друга, пронизывают тебя, обдавая то холодом, то жаром, тебе нестерпимо хочется взять ее за руку, назвать по имени, хотя бы просто дотронуться до нее, чтобы почувствовать, что она еще живая.

Потом мы медленно бредем к выходу, разглядывая по дороге могилы и каменные надгробия. Узкие проходы между семью окаймленными дерном могилками Стекольного мастера аккуратно посыпаны белым ракушечным песком, в котором тоненько посвистывает ветер, на каждой могилке — деревянный крестик.

— Амальд, а вон там похоронен часовщик Девичий глазок. Видишь ангела у него на могиле? Он с крыльями, а улететь не может: на каменных крыльях разве улетишь. Оттого у него и вид такой печальный. Правда ведь, у него просто ужас какой печальный вид?

— Угу. А почему этого часовщика так звали?

— Девичий глазок? У него, конечно, было и настоящее имя. Но все почему-то звали его так Может, у него глаза были необыкновенно красивые. А может, он на девушек заглядывался... Ой, что это я, господи, прости мне мой грешный язык, на освященной земле — и такое болтаю!

Возле одной старой осыпавшейся могилы растет огромный куст терновника. Весь он такой корявый, что кажется, будто он корчится от боли и отчаяния. Меррит поспешно проходит мимо, словно боится, как бы он не вонзился в нее когтями.

У калитки она опять творит крестное знамение.

— Покойтесь с миром!

И мы выходим за кладбищенскую ограду.

— Амальд, а знаешь кто похоронен под тем корявым кустом?

— Знаю. Самоубийца.— (Это всем известно.)

— Верно, а знаешь, как его звали?

— Нет, как?

— Храпке! Кошмарное имя, да? А знаешь, как с ним было... Пошли, спрячемся в саду у твоей Бабушки, я тебе расскажу про этого Храпке.

В углу сада стоит открытая беседка, мы забираемся в нее и усаживаемся на скамейку Здесь холодно и ветрено. Но из дома стремительно льются горячие фортепьянные пассажи.

И Меррит рассказывает про несчастного самоубийцу. Это страшная история про злых людей — хорошо хоть Бабушка играет что-то веселое, мажорное.

Самоубийцы — они ведь не могут попасть в царствие небесное, им приходится оставаться на земле и быть привидениями до самого дня Страшного суда. Вот Храпке и живет под своим терновым кустом на кладбище. И летом, если приглядеться, можно в темной гущине ветвей увидеть его глаза А зимой он должен прятаться в землю вместе с черными жуками, дождевыми червями и сороконожками.

— Ну что, рассказать тебе еще или ты боишься? Да нет, не так уж это страшно: если б это было сейчас, а то когда-то давным-давно Ну слушай: когда Храпке умер и его похоронили, он как только стемнело, вышел из могилы и явился к своей жене Эмме. А Эмма эта была ужасно зловредная тетка: она и кормила его плохо, и белье ему стирать не хотела, а когда он напивался пьяный, то била его по голове метлой.

— Она его убила?

— Да нет, он же сам себя убил Но знаешь, в каком виде он ей явился? Большим черным пауком! Знаешь, бывают такие большие пауки, которые быстро-быстро ногами перебирают! И вот Эмма как увидела, что такой паук бежит по кухонному столу, бац — и всадила в него хлебный нож. А в кладовке вдруг как з а в о е т!

— Почему в кладовке?

— Потому что Храпке в кладовке повесился! Ну вот, и на полу там появились брызги крови.

— Ну а дальше, Меррит?

— Тогда Эмма взяла тряпку и вытерла с пола кровь А потом швырнула эту тряпку в огонь Швырнула и сказала такие слова...

— Какие слова?

— Ой, нет, не могу, боюсь. Как-нибудь в другой раз... Амальд!

— Ну?

— Амальд, проводи меня домой, а то мне теперь страшно одной мимо кладбища идти! Пошли! И возьми меня, пожалуйста, за руку!

— Да ну, за руку как то чудно!

— Ну тогда бежим бегом! Только ты рядом беги!

И мы бежим всю дорогу без передышки, пока не оказываемся у дверей дома штурмана Свенссона. Здесь мы останавливаемся, запыхавшиеся, и с трудом переводим дух.

— Ладно, теперь слушай, какие Эмма сказала слова, когда швырнула в огонь тряпку с кровью! Не боишься? Иди, я тебе на ушко шепну.

И ты чувствуешь ее губы у самого своего уха и слышишь быстрый шепот:

Сгинь, как дым в вышине,
Стай, как воск на огне,
Скройся, нечисть злая,
В пламени сгорая,
Трик-трак —
Да будет так!

Поцелуй

Меррит знает еще много-много всего.

Но потом настает время, когда она уже меньше рассказывает сама и с бóльшим удовольствием слушает твои рассказы обо всем, что знаешь ты...

Немало есть и такого, что знаете вы оба.

Меррит, к примеру, знакома с Перевозчиком, который в погожие вечера сидит у своего дома и трубит в трубу. А уж о Премудрых девицах она знает все до капельки. Знакома ей также и Фина-Башмачиха, но вот про большую черную птицу, которая наведывается к Фине по ночам, она ничего не знает. Меррит ничего не знает и про бочку с мертвецами, которая есть у Старого поэта.

— Кошмар, неужели это правда? И ты видел собственными глазами, что в ней лежат мертвецы?

— Ага, и еще там есть голова мертвой девушки, а Ханнибал хотел, чтоб я ее поцеловал!

— Ой, Амальд, замолчи! И ты поцеловал? Не может быть!

Тут ты рассказываешь, как Старый поэт отнял у вас голову и упрятал ее в свою бочку, а потом про разбойничью пещеру Ханнибала в подвале пакгауза возле бухты Пунтен и про петарду, которая там хранится и которой можно взорвать весь дом, стоит только поднести к фитилю зажженную спичку. И Меррит ужасается, и распахивает свои глазищи, и сжимает твою руку.

А ты втихомолку радуешься и гордишься, что заставил ее ужаснуться...

Однажды вечером ты рассказываешь ей об Эссемёдль, Одинокой деве, той, что время от времени является тебе во сне и увлекает тебя за собою в ночные полеты.

Меррит слушает, раскрыв рот и широко распахнув глазищи.

— Ну и как же, Амальд? Куда вы с ней летите?

— Никуда, просто парим и все.

— А она тебя целует? Или ты ее?

— Нет, зачем?

— Ну, раз уж вы с ней паритe вдвоем!

— Но она же мертвая.

— Ой, правда, Амальд! А если б она была живая?

— Ну и что?

— Тогда бы ты стал с ней целоваться?

— Не знаю...

— Еще бы тебе знать, ты небось и целоваться-то не умеешь! Давай я тебя научу!

И ты чувствуешь, как ее холодная рука обнимает тебя за шею, а ее горячее дыхание ударяет тебе в лицо, и ощущаешь губами ее губы, не горячие, но и не холодные, чуточку липкие, они подрагивают, вызывая слегка неприятное чувство — как если бы ты дотронулся до червяка ..

— Амальд, ну прижмись же ко мне! Когда целуешься, надо друг к другу прижиматься! Вот так! — А потом низким, глухим голосом: — Мы с тобой парим, парим... у-у-у! Ты летишь вдвоем с твоей Девой! — Но вот ее рука уже ерошит тебе волосы: — Ну что, понравилось? А до этого ты никогда не целовался с девочкой? Да что я спрашиваю, конечно нет: ведь ты же у нас — сказать кто такой? Чудила — смешнуля — щенуля — щенок!

Ты молчишь, пытаясь вникнуть в смысл этого невероятного словесного построения, скорее всего не слишком для тебя лестного, но, возможно, и не такого уж обидного — она произнесла это ласковым голосом, добродушно ткнув тебя локтем.

И однако же, ее снисходительное «щенок» немножко огорчает и задевает тебя: это все потому, что она года на два или на три старше...

■ ■ ■

Но какой ты ни есть, щенок — не щенок, а первый поцелуй вошел в твою жизнь, и с ним вошло нечто новое, неизведанное что останется в ней навсегда, перевернет и преобразит ее так, что все, все станет иным.

И поныне, спустя долгий человеческий век, ты отчетливо помнишь время и место, где свершилось это столь ничтожное и столь значительное событие.

Оно произошло у ручья, близ того самого Моста Жизни, субботним вечером. Ибо когда ты вернулся в бабушкин дом, Младший братишка барахтался в лохани и Ютта мыла и терла его, а в гостиной Бабушка разучивала псалом с мужским хором пастора Эвальдсена («Всякое дыхание да славит господа»).

И когда ты в тот вечер лег в постель, ты увидел на западе, низко над горизонтом, Вечернюю звезду — она сияла ровным немигающим светом, как маленькая лу-

на... а ты лежал и мечтал, чтобы Эссемёдль пришла и увлекла тебя за собою в долгий, долгий ночной полет, но только чтобы на этот раз она тебе явилась в образе Меррит.

Ивовая роща

Высоко на взгорье, в изгибе старой, седой каменной ограды, там, где кончалось зеленое летнее царство, росло несколько истерзанных ветрами карликовых ив средь моря травы и щавеля с крупными сочными листьями. Здесь можно было спрятаться, уединившись от всех, чувствуя себя словно бы в другом мире.

Здесь ты лежал в траве, тоскуя по Меррит, когда ее не было рядом.

Разлучались вы редко, обычно всего на два-три часа в день, но однажды вы не виделись несколько дней кряду, потому что у нее заболела мама и ей пришлось «смотреть за домом».

При воспоминании о тех нескончаемо долгих, томительных днях и сейчас еще щемит сердце, ты и сейчас слышишь шепот ветра в траве и листве Ивовой рощи — звук, подобно мелодической минорной гамме тающий в себе тихую жалобу, но вместе и нечто совсем иное: ни с чем не сравнимую радость, смятенное, хмельное, безудержное упоение первой влюбленности — чувство, которое словами не выскажешь, но для которого музыка всегда умела находить счастливое выражение в своих бессловесных сердечных вздохах.

Теленок

И вот сено убрано и осенний ветер порывисто свищет в сенном сарае Юттиного отца, где окошки и двери раскрыты настежь.

Настает удивительная пустынная пора, когда выкошенные луга лежат, щетинясь куцей отавой, последние перелетные птицы улетели и на потемневшем вечернем небе опять уже начали загораться звезды и северное сияние.

Вот и конец этому лету...

А в один прекрасный день приходит конец и Мосту Жизни: отец Ютты придумал-таки, на что употребить добротную доску: он решил приспособить ее для фонаря. Фонарь сооружают у нижней калитки, выходящей на проселок, чтобы вечером было не слишком темно подниматься от дороги к дому.

И Мост Жизни превращается в Фонарь Жизни — разумеется, именно так окрестили мы этот керосиновый фонарь, бросавший красноватый отсвет на выбеленную деревянную калитку и замшелые камни ограды.

■ ■ ■

Но вот новое событие: отелилась корова Пеструха, и Меррит без ума от черненького теленочка, которого Пеструха ласково лижет и охорашивает, раздувая ноздри и нежно помыкивая.

Меррит растрогана чуть не до слез.

— Нет, ты только послушай, какую она песенку поет своему сыночку!

— А почему сыночку, Меррит?

— Потому что это бычок, что ж ты, не видишь, у него висюлька между задними ножками! А на лбу белая звездочка — значит, счастливый будет. Слушай, как бы нам его назвать, а? Звездочка — нет, это девичье имя. Может, Счастливчик? Или просто Теля? Нет, ты погляди, теперь он сосет свою маму! Ой, ну до чего ж проголодался!

Ютта:

— Сосать-то ему недолго придется, сегодня да завтра — вот и все.

— Как, а потом?

— А потом его забьют.

— Забьют?

— Ну да, а иначе он все молоко у Пеструхи высосет.

Вид у Меррит обескураженный, от восторга не осталось и следа. Глазищи распахнуты и полны отвращения.

— Забьют, а потом, что же, съедят?

Ютта в ответ кивает.

— А как же Пеструха? Что она скажет, если у нее отнимут ребеночка и убьют? Она же ошалеет, разъярится, взбесится!

— Да нет, она быстро все позабудет.

Меррит отворачивается.

— На месте Пеструхи я бы твоего отца насмерть забодала, пусть бы он только попробовал убить моего ребенка! Поддела бы его рогами да зашвырнула куда подальше — поделом бы ему было! Фу, до чего вы гадкие!

И Меррит выбегает из хлева, громко хлопнув дверью.

Ютта по-взрослому качает головою.

— Нашла из-за чего разозлиться! Это надо же такое придумать! Отца бы она насмерть забодала!

У Ютты слезы выступают на глазах, крупные передние зубы влажно блестят.

— Сказать тебе, Амальд, кто такая эта Меррит? Ведьма она, самая настоящая! Отец мой тоже так про нее говорит, и это п р а в д а! Знаешь, что она раз сделала? Сама себе волосы подожгла! Да, да, представляешь?

— Как это, зачем?

— Не понравилось ей, что мать ее взбучила. Причем за дело, Меррит сама виновата была. Вот такая она! Ее родители ох как с ней мучаются! А теперь она, видите ли, надулась и осерчала, потому что теленка забьют! Вот дура-то!

— Как ты думаешь, куда она ушла?

— Не знаю, да ну ее, не все ли равно. Ушла — и на здоровье! Небось сидит сейчас где-нибудь одна и гадость какую-нибудь замышляет, может, дом наш хочет поджечь! А что, с нее станется...

■ ■ ■

Но Меррит нигде не видно.

А на дворе холод, мозглый ветер пронизывает насквозь, черные воро́ны скачут по блеклой стерне, сотрясая воздух тягучим карканьем. У ручья, в том месте, где раньше был мосток, остались в траве блеклые вмятины от концов доски, а наверху, в Ивовой роще, истерзанные ветрами деревья желтеют и желтеют, на оставшихся листьях щавеля сидят черные улитки и прогрызают в них дыры.

И тебя вдруг захлестывает печаль, глубокая, безмерная печаль оттого, что нет больше Моста Жизни, и оттого, что теленочка Пеструхи убьют, и оттого, что Меррит хотела сама себя поджечь. И еще оттого, что скоро зима с ее вечной теменью, а может быть, скоро уже Конец света и день Страшного суда — тот, что придет, когда его меньше всего ждешь, «как тать ночью»...

И раз уж ты здесь один, отчего бы не дать волю своей печали и не поплакать всласть..

Ты упал ничком на сырую траву, убитый горем, и, зарывшись лицом в рукава фуфайки, предался тихим слезам.

Но сквозь мрак отчаяния словно пробивался слабый лучик — как свет фонаря в кромешной тьме, или как огонь далекого маяка, или как робкое сияние восходящего месяца,— и ты шептал в мокрый рукав фуфайки:

— Меррит, Меррит.

■ ■ ■

Потом долгое время проходит без Меррит.

То есть ты иногда видишь ее, но она-то словно совсем тебя больше не видит. Или, вернее, видит, но как-то не замечает, даже когда вы при встрече перекидываетесь несколькими словами.

У нее мысли заняты другим. А у тебя по-прежнему почти все мысли о ней одной.

И чем больше она от тебя отдаляется, тем больше ты о ней думаешь и мечтаешь о том, чтоб она к тебе вернулась и стала такой, как прежде,— как тогда у ручья, возле Моста Жизни, в разгар головокружительного зеленого лета.

Концерт

Бабушка и Меррит обе очень заняты, идут приготовления, затевается что-то необычайно интересное. Каждый день после обеда в доме «Память об Андреасе» играют и поют, разучивают и репетируют. У тети Кайи от этого болит голова, и она затыкает уши ватой.

— Право, жалко девчонку. Мама совсем ее замуштровала! Приспичило ей сделать из этой пигалицы вундеркинда, концертную певицу — это, видите ли, «будущая Енни Линд»!

Концерт устраивается в помещении фабрики. Вырученные деньги пойдут в пользу Тетки-с-чашкой и Дядьки-с-чашкой, этих двух стариков, которые никак не умрут, а жить им не на что.

Петь будет не только Меррит, но и дядя Ханс, и женский хор «Идун», и мужской хор пастора Эвальдсена. Кроме того, должен быть оркестр, «живые картины» и другие интересные выступления. И все это требует участия Бабушки с ее фортепьяно, так что ей теперь просто дохну́ть некогда.

Но Бабушка полна энтузиазма.

— Если, бог даст, все пройдет удачно, это будет совершенно бесподобное представление, каких у нас еще не бывало!

Фабричный зал украшают флагами и гирляндами. В одном конце сооружается сцена, и на нее взгромождают старое бабушкино пианино, которое притаскивают из дому. После переноски расстроенный инструмент приходится заново настраивать, но с этим отлично справляется Перевозчик, ведь «у него такой прекрасный слух».

Меррит с нотной папкой в руках стоит у ворот бабушкиного сада.

— Ты, наверно, ужасно волнуешься, да, Меррит?

Она бросает на тебя холодновато-вопросительный взгляд, словно не может взять в толк, о чем ты спрашиваешь.

— Волнуюсь? Ах, ты про концерт? Да ну! Я же не первый раз, привыкла. А ты, Амальд, тоже придешь нас послушать?

Нет, Меррит стала такая невозможно чужая и взрослая, что ты ощущаешь себя совершенным молокососом и дурачком.

Но тут на лице ее появляется вдруг улыбка и глаза теплеют.

— Амальд, поди-ка, что я тебе на ушко скажу!

И ты чувствуешь ее губы и ее дыхание у своего уха.

— Я жутко боюсь! И обидно мне ужасно! Знаешь, почему: твоя тетя Кайя говорит, что у меня голос как у глиняной свистульки!

— У какой еще глиняной свистульки?

— Ну, вроде той, на которой твой дедушка Проспер играет своим уткам, знаешь, маленькая такая цветастая дуделка.

Тебе очень хочется сказать что-нибудь в утешение, но это не так-то просто.

— Ну что ты, Меррит, не обращай внимания.

— Да ясно же, Кайя мне просто завидует. А лейтенант Кайль знаешь, что говорит? Он говорит, я пою, как жаворонок!

— Конечно, Меррит, и правильно!

— Ой, ну надо мне бежать, у нас сегодня опять репетиция!

И Меррит машет тебе по-взрослому, двумя пальцами, вновь сделавшись чужой и недоступной.

■ ■ ■

Среди бабушкиных вещей, хранящихся на чердаке ее старого дома «Память об Андреасе», я (Амальд-Повествователь, Оживляющий Прошлое) нашел недавно (роясь в поисках чего-то совсем другого) большой выцветший плакат с полной программой того достопамятного концерта, в котором Меррит дебютировала как певица перед широкой публикой. Эта изящная афиша была изготовлена художником Селимсеном — каллиграфически выписана готическим шрифтом и украшена наклеенными засушенными цветами.

Программа воспроизводится мною ниже вместе с карандашными пометами Бабушки, указывающими исполнителей (здесь в скобках):

1. Пролог.
(Директор школы Берг)
2. «Восславим все тобою сотворённо», мелодия народная.
«Дания, Дания, слово святое», муз. Вайсе.
«Жизнь моя — волна морская», шведск. нар. песня.
Мужской хор.
3. «Принцесса сидела в своем терему», «Повергну все к твоим стопам», муз. Х. Кьерулфа.
Тенор в сопровождении хора, поющего без слов.
(Ханс)
4. Интермеццо из оперы «Сельская честь» Масканьи.
Труба с фортепьяно.
(Перевозчик)
5. Комическая увертюра № 1 Келера Белы.
Камерный оркестр.
(Скрипка и виола: сыновья Перевозчика. Флейта: переплетчик Ольсен. Виолончель: Платен. Труба: Перевозчик. Барабан и кастаньеты: трактирщик Берентсен)
6. «Конь ты мой буланый», муз. Эдв. Грига.
«Колыбельная Аладдина», муз. Хайсе.
Сопрано.
(Меррит)
7. Картина I: Саул и Давид.
(Директор школы Берг и лейтенант Кайль)
8. Картина II: Встреча Стэнли с Ливингстоном в Африке.
(Селимсен и бухгалтер Дайн)
9. Картина III: Южноютландские девушки.
(Дочери судьи — Минна и Енни)
10. «Андрокл и Лев» Драхмана. Декламация.
(Пастор Эвальдсен)
11. Ария Керубино из оперы «Свадьба Фигаро» Моцарта.
Сопрано.
(Меррит — и это, бесспорно, был гвоздь программы!)
12. Жонглирование и фокусы — 18 трюков.
(Кайль)
13. «Тише, друзья, Бахус уснул», муз. Бельмана.
«Ах, как ужасно живот разболелся», муз. Вайсе.
Женский хор «Идун».
14. «Мир сойди на нашу землю», муз. Вайсе.
Смешанный хор.

И уж заодно, для полноты картины, бабушкины комментарии на оборотной стороне афиши:

«О боже, наконец-то наш концерт позади! И в целом все прошло вполне удачно, а кое-что было просто великолепно, хотя, конечно (как это всегда бывает!), и огрехи были почти что во всем, иной раз даже довольно досадные, однако же до скандальных провалов не доходило.

Ханс пел, пожалуй, слишком душещипательно (увы, он, несомненно, был уже под хмельком!), а хор гудел чересчур громко. Перевозчик исполнил свой номер на трубе, как всегда, премило. Комическая увертюра, что греха таить, получилась так себе, играли слишком шумно и не очень ровно, ну и — конечно же! — случился конфуз: хлипкий стул не выдержал тяжести Платена — он ведь такой грузный — и развалился под ним, а сам Платен чуть было не упал навзничь вместе со своей виолончелью под ужасающий треск ломающегося дерева, но Кайль и Перевозчик, слава богу, успели его подхватить, так что и он, и его инструмент остались целы и невредимы. Но, само собой, поднялась страшная суматоха, в зале, естественно, послышался смех, и пришлось нам все начать с самого начала.

Живые картины, благодаря стараниям Селимсена, выглядели очень красиво, но и здесь не обошлось без неудач: Царь Саул, которого исполнял школьный директор, чья представительная фигура отлично подходила для этой роли, расчихался и не мог остановиться. Это, конечно, вызвало смех, но Бергу следовало отнестись к этому спокойно и добродушно, вместо того чтобы бросать в зал оскорбленные взгляды! Зато Стэнли и Ливингстон оба были замечательно хороши, можно сказать, безукоризненны, а декорации джунглей и «дикари» (рёмеровские пакгаузные рабочие и рыбаки) выглядели очень «похоже»! Дочери судьи тоже очаровательно выступили в роли южноютландских девушек, а чтение пастора Эвальдсена было необыкновенно волнующим!

Но прекраснее всех была, несомненно, моя малышка Меррит! Многие прикладывали к глазам платки во время исполнения «Колыбельной Аладдина», а в арии Керубино она — подумать только! — не моргнув глазом справилась со всеми модуляциями и лишь в одном месте чуточку сплоховала (нижнее «ре» в конце прозвучало глухо).

Аплодисментам и восторгам не было конца! После концерта пастор Эвальдсен подошел и пожал нам руки (мне и родителям Меррит!), сказал, что Меррит, с ее музыкальной одаренностью, может далеко пойти. Как бы я желала, чтобы его предсказание сбылось. Обеим нам поднесли чудные цветы (Меррит и мне). И еще Меррит получила дивный подарок: Платен преподнес ей золотой перстенек со смарагдом (подумать только, настоящий смарагд!).

После концерта был общий стол с пуншем, но я вынуждена была рано уйти, потому что устала смертельно».

■ ■ ■

В эту минуту, переписывая строки бабушкиных комментариев, я словно наяву ощущаю тот пряный ф и м и а м, который плавал в огромном и довольно холодном фабричном зале, где состоялся незабываемый дивертисмент.

Фимиам этот был одним из замечательных изобретений художника Селимсена, который хотел с его помощью приглушить неистребимый запах рыбы и ворвани, пропитавший все насквозь в заколдованном замке, некогда бывшем фабрикой по изготовлению рыбных котлет. Для этого в зале расставили кадильницы, то бишь бочонки разного вида и калибра, обернутые цветной бумагой и наполненные вереском, сухим мхом, померанцевыми корками, лавровыми листьями и прочими горючими веществами, вкупе испускавшими весьма своеобразный аромат, который многим казался неприятным и раздражающим, но нас, детей, настраивал на необыкновенно праздничный лад. А если одновременно воскресить в памяти звучавшую там музыку, все вместе предстает передо мною так живо, что живее и быть не может: украшенная флагами сцена, выступающие во всем параде мужчины в крахмальных воротничках, директор школы Берг и бухгалтер Дайн — один во фраке, другой в визитке, Бабушка — в старомодном, однако не лишенном очарования наряде с чем-то вроде небольшого турнюра.

Ну и, конечно, Меррит — Меррит в белом летнем платье (тоже старомодного покроя, извлеченном без сомнения, из бабушкиного гардероба), с синими лентами в волосах, с какой-то потерянной улыбкой в широко распахнутых глазищах... и трепет, мурашки по спине, когда так хорошо знакомый голос, вознесшись до пения, тем самым обратился в нечто совсем и н о е, что имело касательство уже не только ко мне, не только к Ютте или Младшему братишке, но к целому собранию внимательно и изумленно слушавших его чужих людей, да что там — ко всему нашему городу.

То было сродни превращению, какое происходило с Ханнибаловым змеем, когда он, оторвавшись от земли, взвивался под облака и затевал свою удивительную поднебесную игру в лазурной вышине...

■ ■ ■

Подарок Платена — колечко с изумрудом — я увидел уже на следующий день, когда встретил Меррит в бабушкином саду. Зеленый камень походил на глаз — он не сверкал, в нем жарко тлел сонный огонек, свет которого будто шел откуда-то издалека или с большой глубины.

— А знаешь, что Платен сказал? Он сказал, что это кольцо — старинный талисман, оно приносит счастье и исполняет желания, но можно задумать только одно желание в жизни, и поэтому лучше пока подождать.

— Тогда ты лучше подожди.

— Конечно, я ничего и не задумываю. Амальд, а ты раньше видел когда-нибудь драгоценный камень?

— Нет.

— Ну вот, а теперь ты видел. Ладно, мне некогда, я пошла.

И, помахав мне по-взрослому двумя пальцами, она скрылась за садовой калиткой.

Когда я, Амальд Престарелый, сегодня около двух часов пополуночи погасил лампу у себя на письменном столе, небо за окном было ясное, звездное, чем так редко балует нас нынешний дождливый и слякотный январь, и вид Сириуса, который стоял низко над морем, величественный, сияющий тысячью лучей, привел меня, как уже не раз бывало прежде, в несказанный восторг.

О, это блистающее, как алмаз, полночное солнце морей, что шлет нам свой трепетно-страстный привет из дали времен и пространств,— все многоцветье спектра живет в его экстатическом сверкании, от жгуче-леденистой зелени до ярко-кровавого багреца, а в тихую погоду, такую, как была сегодня ночью, он во всей своей светозарной красе глядится в океанские волны.

■ ■ ■

Для звезды и для человеческого глаза время — неодинаково, но есть у них тайное место свидания за пределами времени, и никогда смертный человеческий глаз не получал подарка драгоценней, чем свет Сириуса, этой звезды всех звезд.

Лунное затмение

Потом наступила зима, которая войдет в летопись твоей жизни как «зима, когда было лунное затмение».

Короткие темные дни. Впрочем, нет, далеко не все они были темные, порою выдавались дни такие светлые, что приходилось даже опускать жалюзи на окне классной комнаты, где фрёкен Гуделун вела уроки развития наблюдательности, иначе солнце светило ей прямо в глаза, когда она сидела у себя на кафедре.

На этих уроках развития наблюдательности нас до той поры знакомили лишь с жизнью далекой страны Дании, откуда приехала наша учительница: датские деревни с их церквами и прудиками, буковые леса с изобилием птиц, Кронборг и другие роскошные старинные замки, королевский Копенгаген с его башнями и шпилями — все это мы видели на больших свитках с картинками, которые развешивались по стенам. Но в один прекрасный день на кафедре у фрёкен Гуделун появился вдруг г л о б у с, чудеснейшая игрушка, тотчас приковавшая к себе наши взоры! Гул восторженного удивления пронесся по классу, когда учительница подтолкнула рукой большой зелено-голубой шар и он закрутился на подставке, точно волчок. Она подождала, пока он остановится. А потом произнесла загадочные и навеки врезавшиеся в память слова:

— Ну вот, дети, перед вами не что иное, как Земля, то самое небесное тело, на котором мы живем!

О том, что Земля — шар, ты, конечно, слышал и раньше, но это как-то не доходило до сознания, а тут ты, можно сказать, увидел это воочию: вот она, Земля, шар, парящий в пространстве и описывающий гигантские круги вокруг Солнца, которое тоже шар, только гораздо больших размеров, во столько же раз больше Земли, во сколько апельсин больше горошины.

Да, то были знаменательные, эпохальные слова, и, однако же, мы, маленькие земляне, поначалу приняли их просто за шутку, ибо учительница наша была веселая и не лишенная лукавства особа, которая имела обыкновение выводить нас из состояния рассеянной невнимательности, отпуская забавные и неожиданные замечания. Но в таких случаях всегда можно было заметить смешинки у нее в глазах. Теперь же их не было.

Она опять подтолкнула рукою глобус, приведя его во вращение, на этот раз более медленное. А потом продолжала спокойным и мягким голосом:

— Видите, вот так и вертится наша Земля, одновременно совершая полет вокруг Солнца, и все мы летим вместе с нею, и ты тоже, Амальд! Да, да, я ведь по глазам вижу — ты думаешь, я вас дурачу смеха ради. Но если ты не веришь, что Земля — шар, то можешь сегодня в одиннадцать часов вечера выйти на улицу и удостовериться, что это правда! Потому что сегодня вечером будет л у н н о е з а т м е н и е!

И тут учительница принимается объяснять, что это за штука — лунное затмение, рисует на доске красивые окружности и прямые линии, но потом на полпути останавливается с каким-то странно безнадежным выражением в глазах и стирает все нарисованное.

— Нет, невозможно требовать, чтобы вы в вашем возрасте хоть что-то здесь поняли, да это и ни к чему. Но вы все-таки выйдите посмотреть на затмение Луны, если небо вечером будет ясное, в чем я почти не сомневаюсь,— вы увидите явление, которое очень редко можно наблюдать.

■ ■ ■

— А Земля — это шар?

Мама бросает на меня озабоченный и чуть встревоженный взгляд.

— Почему ты вдруг спрашиваешь об этом, сынок? Да, конечно, Земля — шар. Хотя я плохо во всем этом разбираюсь. Знаю только, что шаром ее сделал господь бог, когда он создавал мир. Но спроси лучше папу.

Отец кивает и кладет ручку пером на край чернильницы. Потом вместе со стулом немного отодвигается от большого письменного стола, потягивается и позевывает. Это означает, что он в хорошем расположении духа и решил «передохнуть».

— Земля-то? Шар, вне всякого сомнения. Который вертится вокруг своей оси, и поэтому у нас есть день и ночь. Да еще бегает вокруг Солнца, и поэтому у нас есть разные времена года.

Он добродушно посмеивается, хмыкая носом, и ерошит тебе волосы, как будто сказанное им — все-таки не более чем пустопорожняя болтовня и шуточки.

— Ты, Амальд, по-моему, так и не можешь поверить, что Земля — шар! Но сегодня вечером, около одиннадцати, если погода будет ясная, ты сам увидишь, что она круглая, когда тень от нее упадет на Луну! Иди, я покажу тебе, как это получается. Только дай мне какой-нибудь шарик — мяч или клубок шпагата!

— А апельсин можно?

— Прекрасно, давай апельсин. И еще возьмем вот эту пепельницу.

Он ставит круглую желтую пепельницу на ребро и сдвигает немного в сторону зажженную настольную лампу.

— Вот смотри, лампа — это будет Солнце, а пепельница — Луна, а здесь, стало быть, наша Земля, этот апельсин. Солнечные лучи падают на Луну, и от этого она светится. Но Земля катится, катится по своей дорожке, и вот тень от нее падает на Луну, понимаешь, так что становится видно, какая эта тень круглая. Но все это мы, надеюсь, лучше увидим вечером прямо в натуре.

И отец ставит Солнце на место, снимает с неба Луну, выбивает свою трубку о ее желтую поверхность и щелкает по апельсину:

— Ну-ка, Амальд, очисть да съешь эту Землю, пока суд да дело!

■ ■ ■

И вот наступает вечер, и в ясном небе восходит рыжая Луна — все идет как по-писаному.

С крыльца, ведущего на веранду бабушкиного дома, удобно наблюдать небо над морем. Покамест не видно никакой тени на ярком диске Луны, отражающемся в подвижной, изборожденной течениями воде. Нынче день рождения дедушки Проспера, и в столовой тетя Нанна и ее сестры поставили на стол золоченые чашки и большой желтый бисквитный торт. Тесто замешано на невероятном количестве желтков от утиных яиц, а верх торта украшен взбитыми белками, и в их пене плавает целая флотилия разрезанных на половинки абрикосов, похожих на маленькие яркие лунные диски. Это творение дедушки Проспера. Сам он, развалившись в кресле-качалке, бодро попыхивает длинным чубуком и улыбается с довольным видом в предвкушении торта.

Что-то слишком уж долго оно не начинается, это лунное затмение.

Бабушка садится за фортепьяно — дверь на крыльцо растворена, и пламя свечей пляшет на сквозняке,— она играет бравурную пьесу («Рондо» Шуберта — и когда ты воскрешаешь его в памяти, вся эта сцена более чем полувековой давности вновь оживает перед тобою: теплая комната с накрытым для шоколада столом, леденящее дуновение пустынного лунного неба — и пронзительная, щемящая тоска в груди, оттого что зажженные свечи на фортепьяно напомнили тебе о Меррит!).

Но вот на небе начинает наконец что-то п р о и с х о д и т ь!

Отец стоит на крыльце веранды и не отрываясь смотрит в подзорную трубу.

— Ага, вот теперь поглядим! Видите, земная тень начинает понемножку пожирать Луну!

Тетя Нанна (которая от холода стучит зубами):

— Брр, в самом деле!

Мама (кутаясь в светлую шаль):

— О боже! Действительно неприятная картина.

Ты чувствуешь, как ее рука ложится тебе на плечо. Домашний запах ее шерстяной шали смешивается со студеным дыханием моря. У Луны такой вид, будто ей очень хочется убежать от земной тени, да слишком она неповоротлива — чудовищная тень уже настигла и придавила ее.

Мама сжимает тебе руку, зябко передергивает плечами, неприятно ей смотреть на эту тень от Земли, просто отвратительно.

Все мы стоим, уставившись на небо. То, что там п р о и с х о д и т, вселяет страх, походит на убийство. А между тем это ничто, всего лишь игра, вроде невинной игры, какую затевает в поднебесье Ханнибалов змей. Только игра несравненно большего размаха, такая грандиозная, что возникает мучительное ощущение пустоты в голове и в груди, во всем теле, до самых ног, упирающихся в землю — в Земной ш а р, свободно парящий в пространстве...

Отец (каким-то, чудится тебе, чужим и полным смутного ужаса голосом):

— Вот видишь, Амальд, вот тебе доказательство того, что Земля — шар!

Лунное сияние стало удивительно сумрачным, зловещий серый свет заливает каменные ступени крыльца и обращенные вверх сосредоточенные лица.

И тут происходит вдруг нечто неожиданное, повергающее в изумление даже Отца, который ошеломленно восклицает:

— Ого, видали!

Длинная огненная полоса внезапно прочертила небосвод, словно сверху, из звездного мира, метнули вниз чудовищное копье, чтобы защитить Луну от земной тени...

Младший братишка (приплясывая от восторга, ликующим голосом):

— Ну все, сейчас взорвемся!

Отец:

— Какая звезда упала — роскошное зрелище!

Мама (сдавленным голосом):

— Так это была просто звезда? Но тогда, значит, можно задумать желание! Слышишь, Амальд, задумай скорей какое-нибудь желание!

Младший братишка (поспешно):

— Хочу, чтоб у меня был слон!

Отец (расхохотавшись):

— Слон! Почему бы и нет?

Но потом опять воцаряется молчание, угнетенное, боязливое молчание, а мрачная земная тень продолжает надвигаться на Луну, медленно, но неумолимо — точно судьба.

И ты стоишь ошалелый, перепуганный, но вместе с тем завороженный происходящим, с живейшим ощущением головокружительного полета, будто с бешеной скоростью мчишься на санях то вниз по отвесной горной круче, то над жадно разинутой пастью бездны. Объявший тебя ужас столь беспределен, что переходит в восторг, в не сравнимое ни с чем тихое торжество без конца и края!

Мама (которой больше невмоготу смотреть на истязания, каким подвергается Луна):

— Амальд, вон Плеяды, видишь? А на самом верху — Млечный Путь!

Младший братишка:

— А почему он называется Млечный? Молоко оттуда льется, что ли?

Мама:

— Нет, ну что ты, просто он белый, как молоко.

Отец:

— Это все звезды. Миллионы земель и солнц! Миллиарды!

Мама (голосом более низким, чем обычно):

— Это дыхание божие!

Ты с нетерпением ждешь, что скажет на это Отец. А вдруг он скажет: «Знаешь, Эльса, кто ты есть? Ты недоумок». Но он ничего не говорит, и Мама повторяет необычным, низким и взволнованным, чуть ли не угрожающим голосом:

— Дыхание божие, да. Могучее дыхание Создателя, Творца.

Дедушка Проспер (который попыхивает чубуком, пуская в просторы небес синие облачка дыма):

— Полно вам мешаться в небесные дела, займемся-ка лучше своими. Луна — просто круг зеленого сыра, а Солнце — круг сыра эдамского, это мы знали еще детьми и знали, что Земля — круглая плюшка. А все это вместе — легкий ужин доброго старого господа бога.

■ ■ ■

В конце концов померкший диск Луны снова загорелся, чудесная светящаяся дуга выступила из мрака — тоненький серп молодого месяца, который благополучно вырос в полумесяц, а затем и в круглую, ослепительную, словно начищенную до блеска, полную луну.

Смерть Платена

Вот и прошла «зима, когда было лунное затмение».

А после нее наступила «весна, когда все стало по-иному».

Не все, разумеется. Как обычно, светит солнце и льет дождь, блестит и жемчужно пенится море, приходят в гавань и уходят корабли. Свищет ветер меж крышами и оградами в трабяном царстве Оттиного отца, роится и пляшет после дождя мошкара над журчащим ручьем. И однако, ничто не осталось таким, как прежде.

«Прежде» и «давно» уже вошли в твою жизнь. Когда-то давно Меррит сидела на зеленом взгорье и дула, нагоняя дождь. Когда-то давно мы парили, раскинув руки-крылья, над Мостом Жизни. И давно — уж это-то действительно было давным-давно, на заре времен,— стояла на самом Краю Света Башня. Теперь нет больше Края Света, где кончается Мир, ибо Мир — это шар и он нигде не кончается. Но вместо туманной Бездны, где дух божий носился над водою, появилось нечто еще более ошеломляющее: полное звезд Мировое Пространство, Вселенная, где Земля плавает вокруг Солнца, а Луна — вокруг Земли.

Когда дует ветер и по небу одна за другою мчатся тучи, то можно, особенно под вечер, почувствовать, как плывет Земля.

В такой вот «плавучий» вечер ты встретил Меррит, она держала под мышкой нотную папку и направлялась к Бабушке:

— Амальд, пошли со мной! Я тебе сыграю ту г а м м у! Ну, помнишь? Нашу!

— Ах, т у!

— Ну да, а потом ты проводишь меня домой, а то, ты знаешь...

Меррит распахивает свои глазищи. Она подходит совсем близко и дотрагивается до моей руки, я чувствую у себя в ухе ее дыхание.

— Платен ужасно тяжело болен, он может умереть сегодня вечером!

Мы идем мимо домика мадам Мидиор, где живет Платен. Свет горит в окошке его спальни в мансарде. Ты как-то раз заходил туда, чтобы передать ему сумку от дяди Ханса (сумку, в которой что-то плескалось). Платен лежал одетый на кровати, грузный и оплывший, нос у него был с синеватым отливом, ласковые глаза слегка навыкате и белки все в красных прожилках. Спаленка у него крохотная, с цветастыми обоями на наклонных стенах, пододеяльник тоже цветастый. Платен тогда весело тебе подмигнул.

— Чудненько, мой мальчик! А глаза у тебя точь-в-точь как у твоего дяди, добрые и ясные,— можешь радоваться! Иди-ка сюда, выпьем с тобой по рюмочке!

Он поставил на стол два бокала, налил в один что-то жидкое и прозрачное, а в другой — густое и красное и добродушно ткнул тебя в бок:

— Б у д е м з д о р о в ы!

Плечо Меррит у твоего плеча, ее приглушенный до шепота голос:

— Может, он уже умирает, как раз сейчас, в эту минуту! А твой дядя и Селимсен сидят у него, чтоб помочь, когда он будет умирать!

— Как это, помочь?

— Нет, ну просто побыть с ним рядом, подержать его за руку...

Бабушка, задумавшись, неподвижно смотрит прямо перед собой.

— Да, ужасно это все, печально. Платен такой превосходный человек. Но слабохарактерный, ах, до чего слабохарактерный!

Свечи на пианино зажжены, и пальцы Меррит бегают вверх и вниз по белым и черным лесенкам гамм, а ты сидишь и листаешь одну из бабушкиных книг с картинками, не глядя на эти картинки. Ветер за окном воет и плачет, тучи, налитые черною тьмой, мчатся по бледному сумеречному небу, и во рту у тебя солоно от чувств, теснящих грудь. Не от жалости к больному Платену — нет, совсем от другого. И это другое — Меррит, Меррит, которая играет н а ш у гамму, между тем как Бабушка сидит с отрешенным видом, глаза за очками закрыты, а мысли витают, должно быть, где-то далеко...

Когда мы по дороге домой проходили мимо дома мадам Мидиор, из открытого окна мансарды доносилось тихое пение: «Коль родился я на свет, так уж поживу».

Меррит остановилась, прислушиваясь.

— Значит, он еще не умер. А м а л ь д!

— Да?

И ты чувствуешь, как ее холодная рука обвивает твою шею, а горячая щека прижимается к твоей щеке. Всего на миг — и вот она уже толкает тебя локтем, дергает за фуфайку.

— Ой, пошли, мне надо скорей домой!

■ ■ ■

В ту ночь ты долго не мог уснуть, лежал и думал о словах, сказанных Платеном, когда вы вместе пили у него в мансарде, вспоминал сладкий вкус малинового сока. Однако не из-за этого ты так истерзал свою подушку и омочил ее слезами. Нет, совсем из-за другого. И это другое была о н а.

И тоны мелодической минорной гаммы бегали вверх и вниз по своим лесенкам, а ты лежал и шептал ее имя в горячую и влажную наволочку.

■ ■ ■

Платен, однако, умер лишь несколько месяцев спустя. Он умер в самый длинный день года. Умер утром, до полудня, как раз когда шхуна «Кристина» бросила якорь на рейде и стояла, красуясь своими мачтами и реями и своим позолоченным носом, а солнце сияло во всю мочь, и Рёмеровские рыбосушильные площадки на Круглине белели от вяленой трески.

Он умер, как раз когда мы, мальчишки, играя в Робин Гуда, бегали и стреляли из самодельных луков на взгорье, в полях возле Колодезного дома Экки.

Экка вышла из дому и стала смотреть вниз, на город.

— А ну-ка, ребятишки, гляньте, как там флаг на Рёмеровской мачте, поднят или приспущен?

— Приспущен.

— Ну, стало быть, Платен умер...

И тогда мы прервали свою игру, потому что умер Платен.

Эрик Аугуст фон Платен — так звали этого умершего человека. Экка принялась рассказывать о нем, сокрушенно, плаксивым голосом. Родом он был из знатной и невероятно богатой семьи, но его лишили всех прав и взяли под опеку, потому что деньги у него в руках не держались, он, бедняга, проматывал их, не умея совла-

дать с пагубной страстью к вину. Вот он и приехал сюда, приплыл на «Кристине» и поселился у мадам Мидиор, которая получала немалую плату за то, что присматривала и ухаживала за ним. Пьянствовал он беспробудно, однако ж человек был добрый и обходительный. Под конец он заболел, но доктор ничем уже не мог ему помочь, потому что у него все внутренности были разъедены спиртным. Тогда позвали Фину-Башмачиху, и она стала поить его какими-то травяными отварами, от которых ему и правда полегчало, да только ненадолго. Когда ему делалось получше, в хорошую погоду он любил сидеть в плетеном кресле перед домом мадам Мидиор. Сидит, помахивает своей белой тросточкой и заговаривает с людьми, что идут мимо... И всегда-то он был веселый, бодрый. Упокой, господи, душу его...

■ ■ ■

Попозже к нам домой пришел дядя Ханс, он рассказал о последних минутах Платена, и слезы ползли по его носу, пока он рассказывал. Платен заснул под его пение — заснул под его пение последним сном. Дядя Ханс спел его любимую песню, «Жизнь моя — волна морская», и тогда Платен сказал: «Прощай, Ханс, я ухожу в свои обои!»

Это были его последние слова.

Да, вот такие удивительные слова. И как раз в то время, когда он испустил дух, Селимсен, направляясь к дому мадам Мидиор, увидел, как белое облачко поднялось над крышей — облачко, по форме напоминавшее человека с воздетыми кверху руками...

Отец:

— Ну, разумеется.

Мама:

— Почему «разумеется», Йохан?

— Да потому, что Селимсен, конечно, не преминул н а л и з а т ь с я по случаю такого дня!

■ ■ ■

Потом зашла мадам Мидиор в мантилье с черными блестками, от нее исходил аромат лаванды, и ромом от нее заметно попахивало. Она заливалась слезами и держала дядю Ханса за руку.

— Какой был человек Платен — золото! Добрая, кроткая душа.

Мадам Мидиор достает вышитый платок, в который что-то завернуто,— это брошь в виде золотого веночка с синим камнем посредине. Она поворачивает камень к свету, чтобы было видно, как он сверкает.

— Настоящий сапфир. И он подарил его мне...

А потом мы, мальчишки, побежали к устью реки, где столяр Йохан на солнцепеке возле своей мастерской обстругивал доски для гроба Платену. Здесь же стояли Премудрые девицы, Рикке-Испанка и другие женщины и девушки, они переговаривались жалобными голосами:

— Такой был добрый и милый человек, да только слабохарактерный, ах, слабохарактерный.

— Пропойца несчастный, вот кто он был.

— Нет, Рикке, не надо так про него говорить, теперь, когда он предстал пред господом богом.

■ ■ ■

Вечером в саду у Бабушки собралось много народу, сидели с рюмками в беседке, поминали покойного. Дядя Ханс с Селимсеном пели «Жизнь моя — волна морская», а потом Селимсен пошел в дом к Бабушке и попросил ее сыграть траурный марш. (Бабушка заиграла Мендельсона, и когда сумрачные, горестные звуки, дрожа, полились из растворенного окна, ты забился в цветущие смородиновые кусты, чтобы спрятать от всех свои слезы.)

Потом наступила ночь, хотя клочья плывущих в вышине облаков все еще рдели, освещенные солнцем.

Но на борту «Кристины» матросы играли на гармонике, оттуда слышались и девичьи голоса — там танцевали и гуляли вовсю, несмотря на то, что Платен умер.

Мама затворила окно.

— Т ы, Йохан, мог бы все же позаботиться, чтоб сегодня этого не было!

Отец стоял, заложив большие пальцы в проймы жилета, с потухшей трубкой в зубах.

— Право, не стоит так сокрушаться из-за того лишь, что этот несчастный ш а л б е р наконец-то достиг своей цели.

— О какой ц е л и ты говоришь, Йохан?

— Вот об этой самой — упиться до смерти. Будем надеяться, что это по крайней мере послужит уроком твоему шалопаю-братцу!

Ты украдкой взглядываешь на Маму, видишь боль в ее глазах, и острая жалость пронзает тебя, жалость, которой ты в то же время немного стыдишься.

Каденция в Ивовой роще

Платена хоронили ветреным воскресным днем, светило солнце, и по небу плыли кучевые облака. Летний ветер трепал кладбищенскую траву и кусты, раздувал подол пасторского облачения — пастору приходилось, как чопорной девице, придерживать его рукою,— а псалмопение долетало до слуха волнами и то звучало оглушительно громко, то вовсе стихало, уносясь в глубокую синь за оградой кладбища. Напоследок женский хор дяди Ханса исполнил шведскую песню «Жизнь моя — волна морская».

Многие прослезились, а сам ты вынужден был изо всех сил стиснуть зубы, чтобы не выдать душевного волнения. Но причиною твоего горя был все же не столько Платен, сколько нечто совсем другое. Ибо как раз в тот день ты узнал, что Меррит скоро уедет. Ее отцу, последнее время плававшему капитаном на «Кристине», предстояло теперь стать капитаном другого судна, гораздо больше «Кристины», которое ходит в Вест-Индию, и жена и дочь должны были переселиться вместе с ним в Копенгаген.

И однако, тогда ты еще не успел по-настоящему осознать, что вот-вот разлучишься с Меррит и ваши с ней пути разойдутся, быть может, навсегда. После похорон ты побрел по полям к Ивовой роще; там ты лег на траву и, глядя в плывущее над тобою небо, предался... да, чему же ты предался?

■ ■ ■

Некоему наслаждению с примесью страдания — так можно бы, пожалуй, это назвать, бросив на прошлое старчески умудренный взгляд; воистину справедливы слова, что единственная по-настоящему счастливая любовь — это любовь несчастная.

Но тогда ничего такого, конечно, не приходило тебе в голову. Тогда голова твоя была полна жаркими мечтами и прекрасными грезами: «...Видишь, вон она идет, в летнем платье, с ветром в волосах». (Правдоподобно, хотя и не совсем, ибо она уже стала игрушкой в руках м и ф а!)

«Меррит! Ты пришла?»

«Да, ведь я так и знала, что т ы здесь!»

И она садится рядом на траву, улыбаясь, но глаза у нее красные, заплаканные. Ты берешь ее руки в свои.

«Меррит! Я так и знал, что ты придешь!»

(Ах, тут все ложь, сладкая ложь, которая, подобно украденному плоду, успевает увянуть еще до того, как ею насладишься.)

«Амальд! Ну, поцелуй же меня. Вот так! У-у-у... ты паришь, паришь вдвоем с твоей Д е в о й!»

(Это уже не совсем ложь!)

И вот мы парим летним днем в предвечерний час, под нами волнуются луга, кивая головками бесчисленных цветов, дальше, за лугами, шелестят вереском темные пустоши... мы летим на запад, туда, где раскинулось вскипающее пеной бескрайнее море. (А тут вдруг весь этот вымысел разом перерос в правду, да, в правду, ибо теперь он достиг сверхреальных масштабов Поэзии!)

И вот уже море под нами властно ревет, всемогущее, безбрежное, а я смотрю в ее зеленые глазищи и л ю б л ю ее. И мы летим дальше, в разверстую пасть пустынного вечернего неба над морем, а быть может, еще дальше, в вечность, в царство смерти, да, быть может, нам лучше никогда, никогда не возвращаться назад, но... но...

— А м а л ь д? Это т ы тут лежишь?

Открыв глаза, ты встречаешь смеющийся взгляд тети Нанны. Позади нее стоит фотограф Кайль. Оба они по-прежнему одеты в траур, как были на похоронах, но лицо тети Нанны ярко пылает. У Кайля через плечо висит на ремне фотографический аппарат.

Ты смотришь на них в совершенном замешательстве, тебя так и подмывает вскочить и пуститься наутек.

— Нет, нет, Амальд, не вставай, мы как раз хотели сделать несколько снимков, пока погода хорошая, а у тебя такой забавный вид — лежишь тут один-одинешенек и размышляешь!

Слышится щелчок — и ты увековечен со всеми твоими сердечными муками.

На этом и кончились томные мечтания, словно ветер, налетев, порвал их в клочья, и они растаяли в небесной синеве.

Но они еще вернутся, они будут преследовать тебя долгие годы — как запавший в память обрывок мелодии, который в тебе живет, и порой ты улавливаешь его звучание и забываешь обо всем на свете — ничто не существует для тебя в такой миг, лишь эта мелодия, ибо все остальное (включая и так называемую реальную и непреложную действительность!) отдаляется и исчезает без следа...

Последнее слово всегда остается за Поэзией.

Отплытие в пасмурный день

Теперь уместно будет коротко описать сцену горького расставания с Меррит, как она разыгрывалась в серой постановке реальной действительности.

Здесь тоже дует порывистый ветер, но солнца нет, стоит обыкновенный хмурый и дождливый день, туман низко клубится меж скалами, чайки кричат скрипучими голосами, пахнет брезентом и мешковиной от серых тюков с рыбой, которые переправляют на борт «Кристины» в забрызганных солью лихтерах.

Еще здесь есть облупленная зеленая шлюпка. И Перевозчик, который сидит, держась за весла, и ждет, понурый и печальный, без трубы.

А вот и Меррит наконец появляется вместе со своей матерью, обе в серо-зеленых накидках с капюшонами. Чемоданы и прочий багаж погружают в шлюпку, и наступает минута прощания с друзьями и знакомыми. У Меррит какой-то непривычно загнанный и жалкий вид в этой чересчур просторной накидке, болтающейся на ее худенькой фигурке, она прощается со всеми второпях, не успевая ни улыбнуться, ни всплакнуть, впрочем, на мгновение лицо ее искажается гримасой боли — это когда она обнимает и целует Бабушку. Потом очередь доходит до Ютты, которая стоит и ревет на глазах у всех,— ей тоже достается поцелуй да еще сестринский шлепок по спине. Далее следуют Мама, тетя Нанна, Младший братишка... и наконец очередь доходит до тебя — мимолетная улыбка: «Прощай, Амальд». И на этом все кончается, и больше не было н и ч е г о, решительно ничего. Или все-таки... Неужели совсем-совсем ничего? Может, хотя бы тайная искорка в глазах, почти неприметная и, однако, драгоценная, как алмаз?..

Нет, ничего абсолютно.

Шлюпка отчаливает от берега и, медленно отдаляясь, скрывается за пеленою измороси под прощальные взмахи рук и платков.

■ ■ ■

Серая туманная фигурка среди других туманных силуэтов в скользящей вдаль по волнам лодке — неужели это была Меррит, чудодейка Меррит, та, что могла поймать солнце и зажать в ладони радугу, та, что раскинув руки в стороны, танцуя, проходила по Мосту Жизни, та, что подарила тебе первый в твоей жизни поцелуй?

Нет, это была не она.

Настоящая Меррит никуда не уезжала, она осталась там, на взгорье, в летнем царстве зеленой травы, она и ныне в сумерки сидит и играет мелодическую минорную гамму при зажженных на пианино свечах.

Она — Одинокая дева, что увлекает тебя за собою в головокружительные полеты на Край Света.

Она стала тем, чем в конце концов становится все: Мифом и Легендой, Тоскою и Болью и — в своей сокровенной сути — глубоким, потаенным, неувядаемым Счастьем.

Паровая машина

Фабрика должна быть снова пущена, там теперь толчется мастеровой и рабочий люд, негодное проржавевшее оборудование убирают, вместо него устанавливают новое. Никак не могут решить, что делать со старой громоздкой паровой машиной: утопить ее в море или вывезти из страны и продать как железный лом, а покамест, чтобы от нее избавиться, машину погружают на некое подобие огромных саней, и мощная конная упряжка отвозит ее на Круглину.

Здесь, на берегу, ее сгружают и ставят на попа — в обыденном окружении серых, поросших лишайником скал она выглядит диковинным чужеродным телом. В большом паровом котле есть внизу «очистное отверстие», через которое можно залезать внутрь. Холодный металлический свет просачивается в машину сверху, создавая внутри нее фантасмагорические сумерки — зловещее освещение, в котором, однако, есть что-то до странности притягательное.

Так и стоит здесь этот огромный цилиндр — уже не паровая машина, а нечто иное, не имеющее ни имени, ни смысла, нечто такое, что может лишь присниться во сне. Нечто, отдаленно напоминающее Башню на Краю Света, хотя Башня, конечно, куда величественней. Вернее сказать, б ы л а величественней: ее ведь больше не существует.

Да, Башня на Краю Света утрачена безвозвратно, ее больше нет — да ее, собственно, никогда и не было! Потрясающая, головокружительная мысль, от которой в одно и то же время так легко и так печально на душе. Оттого-то стоишь ты, сиротливый, окаменелый, в сумрачном чреве старого негодного парового котла... между тем как снаружи клубится туман над ревущею бездной, где дух божий по-прежнему носится над водою (ибо уж этому-то никто помешать не может!). Здесь, внутри, жутко и одиноко, ты готов громко кричать от ужаса, и все же ты медлишь бежать отсюда к свету дня, к действительности... медлишь до тех пор, пока тебе не делается н е в м о г о т у дольше терпеть, ты сжимаешься в комок, жестоко страдаешь и напоследок чуть не умираешь от страха. И только тогда ты с воплем облегчения выскакиваешь из машины и оказываешься на воле, в море дневного света, охваченный ликованием, как душа, которая вырвалась из-под власти тьмы, выкарабкалась из могилы...

Не удивительно ли — вновь очутиться на ярком солнце, под голубым небом, слышать крики чаек и видеть, как их крылья молнией сверкают в воздухе, отбрасывая быстро бегущие тени на скалистые берега! В открытых сушильнях на другой

стороне Круглины рыбаки стаскивают с рыбных навалов тяжелый брезент и рогожи, ведь погода для сушки прекрасная и нужно поскорее разбросать рыбу на солнце. А смотритель Антон наставил свою подзорную трубу на залив, в который входит тяжело нагруженный рыболовный баркас.

Но прежде чем вернуться домой, в город, тебе непременно нужно еще раз поиграть в эту жуткую игру с заточением в башне! Тебе нужно еще раз, сжавшись от ужаса, постоять внутри, в металлических сумерках, мучая себя до тех пор, пока тебе не станет совсем невмоготу, чтобы потом с восторженным хохотом вырваться опять на солнце, на свободу.

■ ■ ■

Должно быть, это, если подумать, дурацкая игра, и возможно, что ты как раз тот, кем тебе меньше всего хотелось бы быть: ты тоже недоумок.

Вот Младший братишка — дело иное, уж его-то никак не назовешь недоумком: у него «светлая голова», он уже знает наизусть таблицу умножения, и теперь Отец обучает его умножению двузначных чисел. А ты все еще не можешь осилить эту несчастную таблицу, не говоря уже о хронологической таблице с датами рождения и смерти королей. И ты прекрасно видишь, что Отец твой боится, как бы из тебя не получился недоумок и шалбер вроде дяди Ханса. Потому что когда он выкраивает время и принимается в который уже раз растолковывать тебе устройство мира, ты сидишь, уставясь на его трубку и большущий нос, и ясный смысл его слов никак не доходит до твоего недоумочного сознания.

Ведь если Земля — шар и люди живут на ней со всех сторон, то почему же никогда не приходится слышать, чтобы кто-то упал с нее вниз?

— Да потому, что верх и низ для каждого места и момента времени — свои! В Мировом Пространстве не существует никаких «вверх и вниз», а есть только «наружу и вовнутрь».

А потом дальше — про Луну и Солнце, Приливы и Отливы. И про яблоко Ньютона...

Собственно, почему яблоко, а, например, не груша? И почему Ева сорвала с Древа Познания и дала откусить Адаму опять-таки яблоко, а не грушу? И когда дети похожи на родителей, то говорят: «Яблочко от яблоньки недалеко падает». Нет чтобы с грушами сравнить — все только яблоки да яблоки.

Мама кивает, склонившись над гладильной доской, действительно, предпочтение почему-то отдается яблокам.

Но тут твои мысли перескакивают с ньютонова яблока, к которому вообще-то придраться невозможно, на колумбово яйцо, которое знаменитый путешественник сумел поставить стоймя, просто-напросто стукнув его острым концом о стол. Называется решение задачи — это же обман?

Да уж, Мама с тобой согласна. Тут примерно та же история, что с узлом Александра Македонского.

— С каким узлом?

И Мама рассказывает про гордиев узел, который Александр Македонский взял и разрубил мечом, вместо того чтобы распутать. Это ведь тоже вообще-то обман.

Ну, а если взять Землю, которая вертится и свободно плавает в воздухе,— разве это все не смахивает на обман? Потому что где же тогда небеса господни и где же сам господь бог?

На сей раз в тупик, похоже, заходит Отец, который только морщит лоб и уклоняется от ответа.

Потом он с отрывистым смешком поднимается с места и молча стоит, смотрит в окно, засунув руки в карманы брюк.

■ ■ ■

Но ведь и в самом деле есть среди людей светлые головы, а есть недоумки. Светлые головы работают головой, они определяют, что должно делаться и как следует браться за дело. У них уйма всяких забот и хлопот.

Недоумки же, напротив, ко всему на свете относятся легко и беззаботно, хоть и путаются под ногами, мешая жить и себе и другим. У них только и дела что песенки распевать да дуть в трубу или пиликать на скрипке, а то уток кормить и обклеивать разноцветными бумажками выдутые утиные яйца.

Или же лежать и грезить, стонать во сне, а потом рассказывать, какие им снились кошмары, и рассуждать, что бы это все значило: «к добру оно или к худу».

Художник Селимсен записывает свои сны в особый «Ночной журнал» и ведет учет, какие сны сбылись, а какие — нет.

Все это дурость, достойная презрения. В этом полностью согласны друг с другом Отец и бухгалтер Микельсен (про которого Отец говорит, что «у него, слава богу, голова на плечах есть»). Того же мнения и Числитель со Знаменателем. Числитель и Знаменатель — прозвища бородатых братьев-близнецов, которые приходят играть в карты с Отцом и бухгалтером Микельсеном. Оба они преподают навигацию и относятся к числу самых светлых голов в городе, сверкая гладкими лысинами и высоко подняв брови, они сидят и посмеиваются в усы над изъянами этого мира.

Но в бога они не верują.

— А что же будет с Числителем и Знаменателем в День Страшного суда?

Мама со вздохом устремляет взгляд в пространство.

— Не спрашивай меня об этом, сынок, откуда мне знать. Я только знаю, что для господа бога Числитель и Знаменатель — не более чем песчинки на морском берегу.

Изгнание

Для Отца настает по-настоящему горячее, хлопотное время. Все чаще случается, что он «входит в раж», так что даже Мама его побаивается.

Теперь, когда фабрику вновь собираются пустить, не может быть и речи о том, чтобы устраивать там концерты да балы.

Команда шалберов — еще одно название, придуманное Отцом для дяди Ханса и его друзей. Противное словечко, это самое шалбер, грубое, ругательное, бр-р-р. Самый большой шалбер — Кайль, «и уж я позабочусь, чтобы он прекратил свои ухаживания за нашей Нанной!»

— Да, но с ней-то что тогда будет?

Отец не сразу находится, что ответить.

Мама (со вздохом):

— Жаль бедную Нанну. Она так влюблена в своего Кайля.

Отец:

— Влюбленность недолговечна и скоро проходит. Это мыльный пузырь, и больше ничего. Дом на этом не построишь. А вот смотритель Дебес — дело верное, с ним бы она не прогадала. Чем он плохая партия? Вдовец и пока еще в цвете лет и сил.

Мама со слабой усмешкой качает головой.

Молчание.

Отец (негромким голосом, постукивая по столу костяшками пальцев):

— Я не потерплю, чтобы этот вертопрах Кайль увивался около Нанны! Неужели она не способна понять, что он просто-напросто селедка бескостная! Она ведь благоразумная девушка. Да и эта дурацкая история с Харри, казалось бы, могла ее чему-то научить. Я с ней сам серьезно поговорю!

И отец имел с тетей Нанной серьезную беседу с глазу на глаз, а Мама в это время на кухне ломала руки.

Отец (после беседы):

— Ну вот, я же знал, что твоя сестра — благоразумная девушка, с ней обо всем можно договориться. Она держалась просто прекрасно.

Но на следующий день тетя Нанна опять, как когда-то, спряталась от всех, запершись у себя в комнате, и не отвечала ни на стук в дверь, ни на мамин зов.

■ ■ ■

Художник Селимсен тоже вертопрах и шалбер; написанный им портрет дяди Ханса, в глубоком раздумье сидящего у моря на камне, Отец в насмешку называет «Бездонная бочка и море».

Мама (пылая):

— Но это прекрасная картина, Йохан! Настоящее произведение искусства!

— Весьма возможно, что это произведение искусства. Но от этого Селимсен не перестает быть свиньей!

Отец раскуривает трубку. Руки у него дрожат.

— Бедняга Платен, он все-таки был самым приличным из этой шатии. По крайней мере хоть с бабами не путался и девок не совращал!

Мама (умоляюще):

— Но ведь Ханс тоже не такой!

Отец мрачно смотрит в сторону. Потом берет Маму за руку и шепчет ей что-то на ухо, а она сидит и качает головою, приоткрыв рот и закрыв глаза.

Маме, несмотря ни на что, хотелось купить написанный Селимсеном портрет дяди Ханса на берегу моря, и Отец на это согласился. Но в тот день, когда Селимсен принес ему картину, в конторе, где они были одни, что-то произошло. Отец пришел к обеду с побагровевшим лицом и все время угрюмо молчал.

На следующий день и Селимсен, и Кайль отбыли на «Кристине» в Копенгаген. Их снабдили деньгами, платы за проезд с них не взяли, а задолженность их Торговому дому Рёмера была списана.

Отец (с жестким отрывистым смешком):

— Ну вот, Эльса, изгнание состоялось. С этими я разделался. Но остается еще Ханс — наш несчастный судолаз.

Судолаз

Да, оставался еще дядя Ханс, которого Отец намерен был «вытащить из трясины» и «сделать из него приличного человека».

— Что такое судолаз?

Мама на тебя не смотрит, у нее словно нет никакой охоты говорить про судолаза.

— Ну, это... на судне... на корабле...

— Но что он делает-то на корабле? Снасти крепит?

— Да нет.

— В камбузе помогает?

— Нет.

— А что же?

Мама крутит головой.

— Да так просто, ничего он не делает. Это... ну вроде как корабельное привидение, дух, предвещающий недоброе, или как уж его назвать.

Судолаз. Новое слово, не поймешь, смешное или зловещее. «Но почему же дядя Ханс — судолаз?» — хочется тебе спросить, но ты удерживаешься, потому что видишь: для Мамы этот разговор мучителен.

Да и вообще дело, по-видимому, не только в том, что дядя Ханс судолаз и шалбер, «пустой» человек. Похоже, что он совершил какой-то ужасно предосудительный поступок. Но какой?

Ханнибалу это прекрасно известно, но он мнется и толком ничего не говорит.

— Ябедничать и сплетничать я не охотник, сам знаешь.

Однако молчать он тоже не охотник и поэтому все же роняет кое-какие туманные слова, об истинном смысле которых ты можешь лишь догадываться.

Одно тебе ясно: тут замешана Роза-Куколка. И вполне вероятно, что в этой истории не обошлось без колдовских проделок Фины-Башмачихи, кто ее знает.

■ ■ ■

Мама (однажды вечером, когда ты, потея над арифметическими задачами, выбился из сил и засыпал, уронив голову на стол):

— Нет, Йохан, от всех этих строгостей проку не будет! Он только возненавидит тебя — вот и все!

(Слово «возненавидит» разом заставляет тебя очнуться, в первое мгновение ты думаешь, что речь идет о тебе, но потом понимаешь, что Мама говорит о дяде Хансе; и ты остаешься сидеть в той же позе, навострив уши.)

Отец:

— Прошу тебя, Эльса, не вмешивайся в это.

Молчание. Отцовские шаги взад и вперед по комнате.

Мама:

— Ты же видишь, Йохан, в каком он состоянии.

Отец (остановившись):

— Что ты имеешь в виду?

Мама молчит.

Отец:

— Так все-таки что ты имела в виду?

Мама (срывающимся голосом):

— Я хочу сказать... Амальд! Иди к себе, сынок, и ложись, все равно ты сидишь спишь!

И ты лег спать, полный глухой тревоги и тяжелых предчувствий.

Мама (в письме к своей сестре Хелене в Копенгаген):

«...То, что происходит с Хансом, ужасно нас всех удручает и в особенности мне просто надрывает душу, ты ведь знаешь, как я его люблю. С тех пор как уехали Селимсен и Кайль, он совсем осиротел, так непривычно видеть его одиноким, ему теперь слова молвить не с кем, разве что с Мамой, но с ней он, понятно, не станет откровенничать, да она и сама никогда не была к этому расположена, так что все их разговоры вертятся, должно быть, вокруг музыки да «прежних дней». А сестер своих он, я думаю, немного стыдится из-за этой досадной истории с Розой-Куколкой, дочерью Фины-Башмачихи. Ты, верно, помнишь ее маленькую, она еще стояла всегда у калитки Фининого сада, такая нарядная, беленькая и розовенькая,— стояла и сосала палец. Говорят, будто она уже на пятом месяце беременности, и Йохан очень решительно настаивает, чтобы Ханс не увиливал от ответственности и женился на девушке, а Ханс не хочет.

С Йоханом он вообще больше почти не говорит, вместо разговора получается, что говорит один Йохан, и мне больно видеть, как Ханс буквально корчится, слушая его пусть справедливые, но зачастую слишком уж едкие и колючие слова. В конторе Ханс, кажется, совсем перестал бывать, бродит целыми днями один как перст или же отправляется куда-нибудь на своей яхте, и тогда я еще больше за него беспокоюсь: он ведь всегда был ужасно неосторожен с этой своей лодкой, а сейчас и подавно.

Ну и короче говоря... да, а что до его внешности, так его теперь тоже не узнать, он ведь отпустил усы и бороду. Можешь себе представить, как мне тяжело, когда мы с ним остаемся наедине: так хочется хоть чем-нибудь ему помочь, но он и от меня таится, а стоит мне коснуться истории с Розой, и вовсе прячется в свою скорлупу и молчит.

Вдобавок у него вошло в обычай исчезать на всю ночь — где он пропадает? Возможно (и хочется надеяться), что он проводит время с Розой, но возможно, что

и нет, однажды утром наш управляющий пакгаузами нашел его на полу в так называемой «Рюберговой спаленке» на чердаке Зеленого пакгауза — он лежал там вдребезги пьяный и продрогший, тогда как раз стояли холода. Такое ведь не раз случалось и с нашим отцом, ты, верно, помнишь! Ах, я страшусь самого худшего...»

Ночь злых бед

Октябрь, дни все короче, штормовой зюйд-вест, погода анафемская.

В городе, ослепленном, оглушенном, бушует пенная метель, причалы и рыбосушильные площадки затоплены водой; во многих местах кипенно-зеленые с жемчужными гребнями волны докатываются до домов и превращают улицы в бурные потоки. И даже в полдень темень такая, что с трудом можно различить очертания расснащенных рыболовных судов, которые, стоя на рейде, треплют и рвут свои якорные цепи. Если цепи не выдержат, ничто не спасет корабли от гибели при этом дующем с моря штормовом ветре.

Спаленка на чердаке Зеленого пакгауза битком набита мужчинами в долгополых шинелях и ушастых шапках, они толпятся у окна: отсюда, из Спаленки, лучше всего видно море, и Отец не отрываясь смотрит в свою длинную подзорную трубу. Все громко переговариваются, стараясь перекричать шум ветра и прибоя. То и дело слышатся названия кораблей, находящихся в особо угрожаемом положении,— «Онли систер», «Самбэрг хед», «Риэлист», «Гуд вумэн» (это все британские суда, купленные в Шотландии).

На просторном Парусном чердаке так сильно воет и свищет ветер, так оглушительно хлопают ставни, что мы с Младшим братишкой, вместо того чтобы кричать, объясняемся знаками, пытаясь при посредстве свисающего сверху каната приступом взять одну из поперечных балок кровли. Весь деревянный остов огромного строения жалобно стонет, кряхтит и скрипит; расстеленный на полу парус время от времени начинает биться в страшных судорогах.

Наконец мне удается взгромоздиться на балку. Здесь, под самой крышей, я лежу на животе и, словно господь бог с небес, озираю грандиозный ландшафт чердачного пола, а Младший братишка продолжает подпрыгивать, все более ожесточаясь и распаляясь оттого, что никак не вскарабкается ко мне наверх, где, по его глубокому убеждению, сосредоточено в этот миг высшее счастье и блаженство жизни.

Но вот что-то п р о и з о ш л о — мужчины один за другим торопливо выскакивают из Спаленки и с грохотом сбегают вниз по лестнице... приходится спуститься на землю и выяснить, что там еще приключилось в мире. А приключилось недоброе, шлюп «Гуд вумэн» перетер якорный канат и идет ко дну!..

Жутко было видеть, как этот ладный свежевыкрашенный корабль беспомощно летит по волнам прямо к берегу и в конце концов низко кренится набок, сраженный, с силою притиснутый к скале, ощетинившись косо торчащими вверх мачтами. И, пожалуй, еще ужаснее было видеть перекошенное лицо Отца — он стоял с раскрытым ртом, обнажив два ряда крупных зубов в широкой ухмылке, но то была ухмылка ярости и боли, а в глазах у него блестели слезы...

С моря донеслись резкие звуки, будто гулкая пальба,— это треснул и переломился бушприт корабля. Но темнота так сгустилась, что почти невозможно было различить несчастный шлюп, уже переставший быть кораблем.

Лишь под утро шторм начал стихать. На рассвете стали видны жалкие облупленные остатки изуродованного корпуса «Гуд вумэна», без мачт и бушприта, с раздробленным носом и обнажившимися шпангоутами. Вокруг покачивалась на громадных валах всевозможная корабельная утварь, а высоко на берегу, между домами, валялись обломки затонувшего судна вперемешку с водорослями, морскими губками и дохлой рыбой.

Лишь немногое удалось спасти с потерпевшего крушение корабля, который «не ушел от своей судьбы» и теперь лежал, опрокинувшись и намертво заклинившись между обросшими морской травой скалами, килем в сторону открытого моря, так что с берега через щели и пробоины в изувеченной палубе можно было заглянуть в пустую внутренность корпуса.

Штормовая ночь причинила и другие беды, один лихтер и два небольших баркаса постигла та же судьба, что и злосчастный шлюп, а на Круглине с одного из складских помещений сорвало и унесло крышу. Но все это было ничто в сравнении с катастрофой, разразившейся в ту же ночь у отвесных скалистых берегов южной части острова, где крупное иностранное судно потерпело крушение и пошло ко дну— со всем экипажем и со всем скарбом.

Как выяснилось впоследствии, этот безжалостный удар судьба нанесла голландской торговой шхуне «Моркеркен»; но тогда об этом не было известно, и вообще ничего не было известно до тех пор, пока обломки затонувшего судна и первые трупы погибших моряков не начало прибивать к берегу.

В дни и недели, последовавшие за штормом, к берегу прибивало все новые и новые обезображенные трупы, их зашивали в мешковину и складывали на церковной паперти.

То было мрачное время: темные дни, протяжный колокольный звон, бледные лица. Первых вынесенных морем утопленников провожала в могилу многолюдная толпа, в следующий раз похоронная процессия заметно поредела, а во время послед-

них двух погребений, в дождливую, слякотную погоду, на кладбище, кроме пастора и могильщика, было лишь шестеро мужчин, которые несли покойников, но в числе этих шестерых были и Отец, и Микельсен, и оба преподавателя навигации, пожелавшие отдать неизвестным погибшим морякам «последнюю почесть».

Судьба

С у д ь б а — поистине самое удивительное из всех слов. Судьба — самое зловещее из всего, что только есть, зловещего. «Судьбы людские неисповедимы». «От своей судьбы не уйдешь». Многих «преследует злая судьба».

Такая злая судьба преследует детей сапожника Герлака, все происходит, как в свое время с детьми Стекольного мастера: нежданно-негаданно на них обрушивается напасть, и они умирают, спасения нет, ибо «в них сидит чахотка», чахотка — их судьба. Она не сразу их настигает, эта злая судьба,— она стережет, притаившись за углом. Сапожниковы ребятишки скачут и пляшут, играют и дерутся, как другие дети, и на вид ничем от других не отличаются, но потом на них вдруг нападает кашель, и «все становится понятно». Напасть извела уже троих старших детей Герлака, а теперь и четвертая, десятилетняя, девочка прикована к постели и дожидается с в о е й судьбы.

Но сын Герлака Карл-Эрик, которому одиннадцать лет, все еще бегает и играет в игру «Птичка, лети ко мне» вместе с другими детьми, как будто все обстоит благополучно.

Птичка, лети ко мне,
Птичка, лети ко мне! —

дружно, хором поют ребятишки, и песенка эхом отдается меж домов. Но тебе вдруг слышатся не веселые голоса играющих детей, а совсем иные, жалобные голоса — это умершие братья и сестры зовут Карла-Эрика из своих могил.

— Ну зачем ты без конца об этом думаешь, Амальд, не надо. Детей этих взял к себе господь бог, и им у него хорошо, намного лучше, чем было на земле.

— Тогда для чего же нужно, чтоб они сперва жили на земле, болели и мучились?

— Должно быть, в этом есть какой-то смысл, только нам, людям, не дано его понять.

А что, если в этом нет никакого смысла? И что, если нет никакого бога? Вопросы, которые ты не смеешь задать даже самому себе, но все же задаешь,— и душа твоя цепенеет от горя и ужаса

Высокий дом сапожника Герлака стоит в Ступенчатом тупике — одном из переулков, круто поднимающихся от берега вверх. Под самой крышей, с той стороны, что смотрит на море, в маленькой чердачной комнатушке лежит Леонора, больная сестра Карла-Эрика, и в сумерки можно увидеть, как за красной занавеской зажигается свет. Узкий острый фронтон черной башней вырисовывается на фоне меркнущей вечерней зари.

И тогда вечер одевается в траур, в нем прячется печаль, печаль и судьба, печаль и судьба. И на ум тебе невольно приходит Нескладный зверюга, о котором рассказывала Меррит. И это диковинное создание со скорбными молящими глазами, елозя, подбирается все ближе и ближе к тебе в густеющих сумерках...

И тогда так отрадно увидеть Луну восходящую из-за моря! Нет, ты только погляди, какая огромная, какая багровая поднимается она на востоке из-за темного горизонта! На мгновение облака скрывают ее, но она тотчас вновь показывается, высунув довольную румяную физиономию из-под облачных пуховиков,— лежит себе полеживает в своей гигантской постели, будто разнежилась и ленится встать. Однако чуть погодя она, оторвавшись от уютного ложа, пускается в свое одинокое грандиозное странствие из конца в конец ночного неба, выспавшаяся и жизнерадостная. А какая круглая, какая круглая!

И наша Земля тоже такая же круглая. И Солнце тоже. И все они, Луна, Земля и Солнце,— все они кружатся друг возле друга, точно играя в чудесную волшебную игру на просторах небес.

Алмазы средь тьмы

Низкое небо, серые сумрачные дни.

Не все они беспросветно серые — иные таят в себе редкостные краски. Плывущие по небу облака отсвечивают ржаво-красным и оливково-зеленым, илисто-бурым и каменно-серым. А свет бывает порою гагачье-синий, с желтоватым отливом, как свежезакаленная сталь. Или, случается, выглянет на миг заходящее солнце и обдаст море и истерзанную непогодой землю тлеющим запредельным багрянцем.

Как раз в то время у тебя появилась собственная комната — чердачная каморка с наклонной стеной. Долгие годы она служила кладовкой, но теперь ее освободили, покрасили и оклеили обоями, а пол застелили новым линолеумом. (У этого линолеума был пронзительный запах, от которого и сейчас при одном воспоминании свербит в носу,— злосчастный запах тоски, граничащей с отчаянием, однако не без тай-

ного привкуса сладострастного упоения этой тоской — да, да, таков, именно таков был этот воздух ранней юности!)

У окна — обшарпанный и покалеченный, но солидный старинный письменный стол с чернильницей и подстилкой из промокательной бумаги, под наклонной стеной — железная кровать; на случай холодной погоды есть керосиновая печурка. В крышке ее пробиты отверстия, и когда она топится, в темноте расцветает на наклонной стене роскошный висячий сад. Еще здесь есть железный умывальник с тазиком и мыльницей и книжная полка, а над полкой — отрывной календарь и выцветшая, замаранная морская карта бассейна Северного моря. Висело здесь также зеркало, но его ты снял и поставил в угол, повернув к стене,— кто в состоянии изо дня в день терпеть вид собственной унылой физиономии с красными прыщами на лбу....

Комнату эту тебе выделили с тем, чтобы ты без помех, в удобной обстановке мог учить уроки, тихо и мирно расти и набираться сил, точно луковица гиацинта в сером сумраке под своим бумажным фунтиком.

И вполне вероятно, жизнь твоя действительно протекала бы тихо и мирно, если бы дело было лишь во внешних условиях и неведомые вулканические силы не будоражили и не сотрясали тебя непрестанно изнутри — беспокойные сны, причудливые видения, тревожные и бесформенные мысли, которые ожесточенно бились, стремясь вырваться из оков собственной незрелости.

Отрывной календарь на стене с его крупными трезвыми цифрами выглядит будничнo и безобидно, но ведь он, быть может, таинственный сообщник самой Судьбы! Все дни держит он в своих руках. В пачке еще не оторванных его листков скрывается будущее.

Вдобавок на оборотной стороне этих листков тоже что-нибудь напечатано — стихи или пословицы, и коль скоро в голову втемяшилось, что в них заключены предуказания Судьбы, они обретают некую магическую силу. Сердце твое колотится, когда ты однажды вечером принимаешься листать календарь, чтобы найти день своего рождения. одиннадцатое июня, и посмотреть, какую судьбу предскажет этот оракул тебе самому. На обороте листка — строфа стихотворения, что-то такое про «страх» и «смерть», тотчас замечаешь ты и в последний момент начинаешь колебаться: не лучше ли закрыть календарь, и пусть он держит свою тайну при себе. Но пока ты колеблешься, глаза успевают прочесть выпавшие тебе строки:

Объял меня безумный страх,
И мнится, Смерть стоит в дверях.
Ужель последую за ней
Я в царство мрака и теней!
Влекусь во тьму от света дня —
Мой боже, поддержи меня!

(Х. К. Андерсен)

■ ■ ■

Мама (которая, подвязав волосы клетчатым посудным полотенцем и засучив рукава, замешивает пирожное тесто из муки и яичных желтков):

— Но ведь это прекрасные стихи, Амальд! Ты должен радоваться, что тебе достались такие строчки! И не думай ты без конца о судьбе. Все в руках божиих. Господь вершит людскими судьбами.

— И злыми тоже?

Мама бросает на тебя беспокойный взгляд.

— Амальд, ты же любишь читать, тебе бы стоило почаще читать Библию. В слове божием всегда найдешь утешение и наставление для души.— Мама внезапно умолкает, будто засомневавшись.— Но ты, конечно, не читай все подряд, там много такого, чего ты пока не поймешь. Почитай Книги Моисеевы и притчи Христовы.

— А чего мне не стоит читать?

— Ну, например, Откровение Иоанна Богослова.

— Почему?

Мама морщит нос.

— Потому что оно тебе будет просто непонятно. Его вообще никто не понимает.

— А про судьбу в нем написано?

— Да, про судьбу всего мира, какой она будет в самом конце...

Это звучало весьма заманчиво, ты тотчас накинулся на Книгу Откровения, и тебя затянули, засосали ее кровожадно разверстые бездны с их загадочными морскими чудовищами, трубящими ангелами, несметными людскими толпами и устрашающими чашами гнева.

Случилась странная вещь: разумеется, ты ужасался и содрогался, но несмотря на это тебе нравилась Книга Откровения, эта самая ошеломляющая, самая неистовая из всех сказок мира,— более того, читая и перечитывая этот заколдованный библейский текст, ты им увлекся и полюбил его. Душераздирающие видения внушали тебе не один лишь страх, но и нечто вроде самозабвенного восторга, какой охватывает, когда разражается грозная буря либо когда ее сменяет звонкая тишина и отбушевавшее море наливается покойной бездонной синевой глядящихся в него небес.

Чувство ни с чем не сравнимой праздничной радости навсегда соединилось в твоем сознании с изображением святого города, который будет царствовать во веки веков и в котором так светло, что нет нужды ни в Солнце, ни в Луне. А названия драгоценных каменьев, которыми украшены стены города, ты и сейчас еще помнишь в том порядке, в каком они там перечислены,— помнишь куда лучше таблицы умножения или имен и дат жизни королей: Сапфир, Халцедон, Смарагд, Сардоникс, Сердолик, Хризолит, Берилл, Топаз, Хризопраз, Гиацинт, Аметист — чудесные слова, из которых ты тогда знал лишь смарагд (его ты видел у Меррит) и сапфир (у мадам Мидиор), ну и еще гиацинт — правда, лишь как название цветка...

— А что такое сардоникс?

— Понятия не имею. Спроси лучше у Бабушки!

— А хризолит? И аметист?

— Аметист — это такой фиолетовый бриллиант. Нанна, покажи ему твой аметист!

Тетя Нанна приносит брошь с синевато-фиолетовым камнем. Он горит в предвечерних лучах сумрачного зимнего солнца, улыбаясь тебе своим кротким глазом.

— Только он, к сожалению, поддельный. Этот аметист — просто из стекла.

Бабушка знает, конечно, много разных драгоценных камней, хотя и не все, а те, которых не знает, она отыскивает в толстой книге, стоящей у нее на полке. И постепенно каждый из этих редкостных каменьев приобретает собственный цвет и блеск, так что ты ясно видишь перед собою основания стен Святого города во всей их волшебной красе: синие сапфиры, зеленые смарагды и голубовато-зеленый берилл, желтые топазы и красные сардониксы, оливково-зеленый хризолит и халцедон, в сероватом глазке которого тлеет в глубине золотистый огонек.

И с душою, все еще полной этим сверкающим великолепием, ты возвращаешься в унылый сумрак своего убогого обиталища, где тебя ожидают смятенные думы и невыученные уроки и где маленький отрывной календарь с угрозою смотрит на тебя со стены, кичась своим провидческим даром...

Мудрец в Башне

А еще у тебя были сны — в ту темную пору они расцвели как никогда прежде, ночные сны и дневные грезы, некоторые из них еще и сейчас не совсем отцвели, как вот, к примеру, сон про Мудреца в Башне!

Башня твоего Мудреца стоит хотя и не на Краю Света, но все же где-то в отдаленном и недоступном месте на широкой круглине Земли. Это сон о Башне-Мечте, отрадный и утешный сон наяву, греза, которой ты предаешься с томлением и сладкой болью.

Башня-Мечта стоит на вершине скалы. Здесь всегда высокое небо и всегда ярко светит солнце, а в круглой башенной комнатке сидит Старый мудрец со своими книгами и рукописями.

Винтовая лестница ведет из этой комнатки наверх, под купол башни, откуда можно смотреть на звезды в большую подзорную трубу.

Какое-то имя все же должно быть у Старого мудреца. Тихо Браге — вот прекрасное имя.

Тихо Браге порою несладко приходилось, пока он жил на Земле. Из рассказов фрёкен Гуделун на уроках истории ты знаешь, что он был вынужден покинуть родную страну, оставив два своих чудесных замка, Небесный и Звездный, и поселиться среди чужих людей в далеком краю. Зато теперь ему хорошо в его поднебесной башне...

Известно также, что у Тихо Браге был серебряный нос.

Когда на землю спускается ночь и в небе загорается множество чудесных созвездий, Мудрый старец стоит у открытого окошка под куполом башни и наводит на них подзорную трубу, с наслаждением вдыхая чистый ночной воздух своим серебряным носом, который поблескивает в мерцающем свете бесчисленных звездных солнц.

Он похож на Старого поэта, по сути дела, они двое — одно и то же лицо, у них одинаковые серебристо-белые бороды и одинаковые черные кустики бровей, уползающие высоко на лоб, когда они впадают в глубокое раздумье. И оба они удалились от мира с его суетой и маетой и посмеиваются как над сумасбродством недоумков, так и над высокомерной самонадеянностью светлых голов.

Старый мыслитель и звездочет стоит у окошка своей одинокой башни и внимает Гармонии Сфер (есть нечто, носящее такое название,— нечто вроде мелодической минорной гаммы). Мудрец так умен, что просто-напросто знает все на свете, почти как господь бог, но все же немного по-иному — ведь он не далекий и непостижимый Дух, а такой же, как все мы, человек: он смеется и что-то тихонько напевает, пьет чай, а может, даже пиво и после обеда ложится отдыхать, что ему совершенно необходимо, если он накануне не спал допоздна.

Ах, все-то он знает, все понимает, Старый Мудрец, ему не нужно, лежа в постели, вздыхать и зарываться лицом в подушку, решительно ничего не понимая и не зная, как быть.

Ты в таком восторге от этой грезы о Тихо Браге, что не можешь не рассказать о ней Младшему братишке. Но Младший братишка — ему уже десять лет, и он тоже ходит в школу — не тот человек, с которым можно говорить про сны. Он по-

глядывает на тебя искоса и пристает со всякими вопросами, сбивающими тебя с толку:

— А какой высоты эта гора, на которой стоит башня?

— Гора высокая, очень высокая.

— Ну а все-таки, сколько в ней футов?

— Тысяч восемьдесят, или нет, наверно, девяносто, а может, даже сто тысяч.

— Ничего себе, а как же туда взбираться?

— А зачем взбираться? Сидишь там и сиди.

— Всегда, что ли?

— Всегда.

— А еду как же туда доставляют и всякие другие вещи?

— На воздушном шаре.

— А если воздушный шар лопнет, или загорится, или если шторм его унесет?

— В той стране штормов не бывает.

— Ну хорошо, а кто дает деньги на расходы? Ведь такое ужасно дорого должно стоить! Об этом-то ты подумал, Амальд?

И Младший братишка с безнадежным видом качает головой, неохота ему больше тебя расспрашивать.

Сон про Северный Магнитный Полюс

Это, стало быть, греза про Мудреца на вершине горы. Добрая греза, она и ныне, спустя человеческую жизнь, нет-нет и оживет у тебя в душе, как какая-нибудь старая, дорогая сердцу мелодия (Сицилиана из Концерта для флейты Баха, которую сын Перевозчика Ханс как раз в ту пору часто играл вместе с Бабушкой!).

Затем был еще сон про Северный Магнитный Полюс. Это сон-кошмар, однако не самый ужасный, потому что у него счастливый конец.

О Северном Магнитном Полюсе как-то говорили при тебе Отец с Микельсеном, это то странное место в Северном Ледовитом океане, на которое указывают стрелки всех компасов. Но в твоем сне Северный Магнитный Полюс — огромный кратер во льду, такой глубокий, что доходит чуть ли не до огненной сердцевины Земли, и этот кратер втягивает все внутрь себя, засасывает тем неодолимей и безжалостней, чем ближе к нему находишься.

Все стремительней несет тебя по воздуху сквозь бури и метели над просторами северных морей к вечным льдам и расцвеченным северным сиянием небесам полюса, пока ты не достигаешь рокового места, где полет кончается и тебя с чудовищной силой засасывает вглубь.

Там, на самом дне, протекает горячий бурный поток, над которым клубится пар, и, подхваченный его водами, ты мчишься в неизвестность, насмерть перепуганный, однако исполненный какого-то сладострастного нетерпеливого ожидания. Вода горячая, но не обжигающая, как раз подходящая для купания, а диковинные рыбы, исчадия дьявола, которые кишат вокруг, плывя вместе с тобою по течению, походят на русалок с рыбьими хвостами и рыбьими головами, тело же у них — человеческое, женское. Плавно извиваясь и выделывая в воде изящные фигуры, они не спускают с тебя плотоядно выпученных рыбьих глаз и улыбаются тебе полуоткрытыми рыбьими ртами.

Но вот русло начинает сужаться, течение делается все стремительнее, и наконец поток с оглушительным грохотом втягивается в темную щель в скале, такую тесную, что тебе в нее не проскользнуть. И ты застреваешь и чувствуешь, как грубые корявые края ее царапают тебе голову, а острые зубцы впиваются в щеки. Ты висишь беспомощный, объятый страхом, но вдруг до твоего слуха долетают взрывы звонкого, эхом отдающегося смеха, в котором будто слились воедино тысячи девичьих голосов, и тут тесная щель начинает расширяться, стены ее раздвигаются, и, окровавленный, изнеможенный, но с ощущением несказанной свободы ты вновь мчишься, подхваченный потоком, и вода в своих ласковых объятиях несет тебя обратно навстречу свету и ясному дню...

Сон про женщину, висящую между небом и землей

Ну вот, это сон про Северный Магнитный Полюс.

А еще был сон про висящую женщину — Висячую деву, тоже незабываемый, хранимый памятью по прошествии стольких лет.

Висячая дева висит между небом и землей, полулежа на скате крыши. Она висит в неудобной позе, но ничего не делает, чтобы не упасть; ее не заботит, что ноги свесились за край крыши и она легко может сорваться и полететь в пропасть. Голову она приклонила к слегка приподнятому правому плечу, а бедро ее покоится на расслабленной кисти правой руки. Закинутая вверх левая рука словно остановилась на полпути, разжатые пальцы вяло повисли над плечом. Полушария грудей вздымаются над тонким, просвечивающим покрывалом, которое кажется насквозь промокшим и плотно облегает ее живот. Остальная часть тела полностью обнажена.

У Висячей девы и лицо какое-то расслабленно обвисшее, веки наполовину опущены, нижняя губа полуоткрытого рта слегка отвисла, повязка на волосах, тоже будто намокшая, свисает с головы.

(Так выглядела Висячая дева на картинке — вырванном из книги пожелтевшем листке, найденном тобою на полке в одной из тумб письменного стола, и было это, как ты позднее установил, изображение изваянной Микеланджело знаменитой фигуры «Утро» с надгробия Лоренцо Медичи.)

Первый твой сон об этой необычной женщине был ужасающе страшным и никогда не изгладится из твоей памяти. Ты летишь над землей, что так часто бывает во сне, паришь меж высокими гребнями крыш, и вдруг перед тобою на скате крыши с красивым резным карнизом — Висячая дева с томным меланхолическим лицом, вяло разбросанными руками и обмякшими громадами ног. Она делает досадливое движение, как бы желая сказать: «Ах, оставьте меня в покое!», но тебя словно чьи-то невидимые руки решительно, не отклоняясь от цели, несут прямо к ней в объятия — и происходит нечто жуткое: все ее обвислое тело содрогается, она начинает скользить, медленно съезжает через край крыши и летит вниз, в бездонную глубь, и сам ты вместе с нею проваливаешься в зияющую бездну, охваченный каким-то наглым и бесшабашным восторгом...

После этого взволновавшего и растревожившего тебя сна ты долго мучишься тайным стыдом, и в то же время образ исполинской Висячей девы всецело завладевает твоим воображением, ты вновь и вновь достаешь старую картинку и впиваешься в нее жадным взором, разглядываешь все во всех подробностях: унылое, безвольное лицо с сонливым взглядом и вялым полуоткрытым ртом, расслабленные, бессильные руки, рельеф ее могучего тела с куполообразными возвышенностями грудей, с одинокой впадиной пупка средь пустынной равнины, с загадкою скрытого от глаз лона, таящего в себе нечто непостижимое, но властно влекущее, клад, сулящий блаженство и вместе отталкивающий...

Сон про Обитель плача

Кроме снов, о которых здесь столь обстоятельно рассказано, были еще по-настоящему злые, леденящие душу сны; застигнутый ими врасплох, ты каменел, точно под взглядом Медузы Горгоны. Один из таких снов с особой силой врезался тебе в память. Здесь нет уже и в помине шутливых, комических деталей — лишь ужас и боль...

Холодный, промозглый зимний день клонится к вечеру, меркнет небо, на дорогах — слякоть, в воздухе кружатся, медленно оседая, хлопья снега. То, чему суждено было произойти, уже произошло, и люди расходятся по домам. За густой снежной завесой видны лишь их движущиеся тени, тем не менее ты отчетливо ощущаешь их п о д л и н н о с т ь, чувствуешь живое дыхание, паром выходящее у них изо рта и ноздрей, холод, сковавший их кожу, волосы, ногти, жар у них в крови и во внутренностях, соленый вкус слез у них в глотке. Ты почти всех их знаешь — это люди из окружающей тебя будничной жизни: Перевозчик со своими сыновьями, Премудрые девицы, Фина-Башмачиха с Розой-Куколкой, Ханнибал со своей матерью Анной Дианой, художник Селимсен, тетя Нанна и фотограф Кайль... и все они с совершенно одинаковым, холодным и усталым выражением лица тоскливо смотрят куда-то в пространство, не замечая тебя, идущего в противоположном направлении.

Но вот процессия путников редеет. Напоследок ты остаешься совсем один, и тут до твоего слуха долетают рыдания из О б и т е л и П л а ч а. Они слышатся все явственней, но сумрак уже такой густой, что ты лишь смутно различаешь очертания похожего на церковь черного дома, из которого несутся протяжные звуки стенаний и плача.

И ты стоишь, окаменев, и вслушиваешься в эти зовущие, молящие звуки, которые то усиливаются, то стихают и в конце концов, нарастая, сливаются в некое подобие скорбного и жалобного хорового пения, вначале трогательного и полного завораживающих гармоний, но вскоре переходящего в дикий бессмысленный вой на высоких дискантовых нотах, режущий слух, совершенно невыносимый.

Тут сон внезапно обрывается, и ты просыпаешься, мокрый от пота, в мучительной растерянности и смятении — будильник бешено трезвонит, и ты выпрыгиваешь из постели и зажигаешь свет. На дворе темное декабрьское утро, но небо усыпано яркими звездами.

И снова ты на земле, в буднях и обыденности; но долго еще, весь этот день и следующие за ним дни и ночи, смущает твой покой этот сон, от которого невозможно просто отмахнуться как от ничего не значащей чепухи, который пришел к тебе как символ, чтобы остаться с тобою навсегда.

■ ■ ■

Символ — чего?

Об этом ты много с тех пор размышлял. Быть может, символ бессмысленной судьбы, судьбы-краха. Во всяком случае, этот потрясший тебя и навсегда запавший в память сон-кошмар приснился тебе в тот переломный момент жизни, когда понятие Судьбы впервые всерьез отложилось в твоем сознании и занесенный у тебя на глазах острый и неотвратимый меч ее лишил тебя твердой веры в то, что рука, держащая его рукоять, вершит волю всеблагой и всеправой власти...

Часовщик Ламбертсен

Бог не сидит больше на своей площадке на вершине скалы и не чертит священные письмена на каменных плитах-скрижалях; он уже не носится облаком над водою в великой бездне за краем света. Где же он теперь?

Везде и всюду. В небесах и на Земле, в тебе, во мне, в наших сердцах и в наших мыслях. Он — дух. Так возвещают пастор со своей церковной кафедры и учитель Сколум на уроках священной истории.

— Что такое дух?

Мама опускает шитье на колени и минуту сидит с затуманенным взором, глядя прямо перед собой.

— Право, Амальд, я и сама не знаю. Да и незачем нам, по-моему, ломать над этим голову. Я верую, что бог добр и милосерд и всегда нас поддержит и защитит, надо только искренне молиться — и он услышит.

Но есть люди, которые не молятся и не веруют, не только Числитель и Знаменатель, но и, к примеру, часовщик Ламбертсен.

— Да, конечно, но не копайся ты в этом, сынок. Не до́лжно нам мешаться в дела господни. Все как-нибудь устроится, и с часовщиком Ламбертсеном тоже все будет хорошо, вот увидишь.

Может, однако, ничего и не устроится. Может, часовщик Ламбертсен — пропащий человек. По крайней мере Премудрые девицы утверждают, что он осужден на погибель. Они пришли в гости, сидят и пьют шоколад из золоченых чашечек.

— Бедный, бедный часовщик Ламбертсен, загубит он свою душу, коли не обратится в истинную веру до наступления дня Страшного суда.

У девицы Луисы, старшей из сестер, прилип к подбородку кусочек шоколадной пенки. Младшая сестра, Матильда, заботливо отирает ей рот кончиком салфетки.

— Да, страшно подумать, что его ждет. Чтобы ввержену быть во тьму кромешную на вечные времена! Ох-ох-ох...

Мама (как-то просительно качая головой):

— Да, но если господь бог заставил часовщика Ламбертсена усомниться в вере, то, должно быть, он все же вложил в это какой-то добрый, хотя и сокрытый от нас, людей, смысл. Не так ли?

Девица Луиса (запальчиво):

— Бог тут ни при чем, он дал нам свободу воли, свободу выбора. Всему виною злая воля часовщика Ламбертсена. Он сам не желает веровать. Он ведь слышал благую весть, знает что и как. Не язычник какой-нибудь. Сам и виноват в своем несчастье.

О да, Луиса, разумеется, права. Мама кивает со странно обескураженным видом.

А у девицы Луисы опять шоколадная пенка прилипла к подбородку. Она сидит и вздыхает, неподвижно уставив глаза в пространство. Потом бросает на Маму вкрадчивый и озабоченный взгляд.

— Но скажите, дорогая фру Эльса, а как же... Вы только, пожалуйста, не обижайтесь, что я спрашиваю, просто к слову пришлось! А как же ваш-то супруг, Капитан?

Мама (встревоженно):

— А что такое?

— Да Капитан ведь совсем в церковь не ходит — кое-кто полагает, что он тоже безбожник, как Ламбертсен!

Мама:

— Амальд, иди-ка к себе наверх, пора тебе садиться за уроки, сынок!

■ ■ ■

И ты идешь к себе в комнатушку, сидишь, удрученный, и смотришь, как падают с карниза над окном дождевые капли. Они наливаются и растут, пока не вырастают настолько, что неизбежно должны упасть.

Капли — это судьбы. Высоко в облаках сидит господь бог, и по его воле капают капли и вершат судьбы.

И ты все смотришь, как капают капли-судьбы, пока тебя не охватывает нестерпимая тоска. И тогда ты выходишь под дождь и бредешь по улице, где со всех крыш капает и капает.

Часовщик Ламбертсен сидит, как обычно, у окна своей мастерской с карманными часами в руках и с зажатой в глазу трубочкой окуляра. Край высокого крахмального воротничка врезается ему в подбородок. Как он только выдерживает этот воротничок! Но, стало быть, выдерживает, он носит только такие воротнички. Что ж, дело его.

Часовщик Ламбертсен рассматривает через увеличительное стекло тонкий часовой механизм — как бог, когда он проникает взором в глубь человеческого сердца. Но часовщик Ламбертсен не верует в бога. Он не желает. Он богоотступник, такова уж его несчастная судьба.

■ ■ ■

Отец (за ужином, язвительно сощурив глаза):

— Старина Ламбертсен, сама добропорядочность, да чтобы в преисподнюю? (Злой смешок в бороду.) Ну, отмочили старые дурынды, потеха с ними!

Обыденность

На взгорье, в Ивовой роще, деревья и кусты стоят голые и смотрятся в озерцо дождевой воды, образовавшееся под ними,— там, где трава и листья щавеля летом колышутся на ветру.

Только что прошел дождь, и капли падают с черных ветвей и рисуют круги на воде. Круги стремительно, толчками, расходятся и обращаются в ничто. Они возникают и исчезают, а встречаясь, торопливо перетекают друг в друга. Ты не устаешь следить за чудесной игрой дождевых кругов и, глядя в прозрачную воду, словно освобождаешься от придавившей тебя мучительной тоски. Но всего на мгновение, а потом ты вновь подпадаешь под власть безграничной печали и стоишь, одинокий и беззащитный, средь пустынного дня, в окружении плачущих ивовых ветвей.

■ ■ ■

Глубоко было отчаяние юных лет, глубоко и безымянно, ибо не было еще слов, чтобы его излить. Но зрелище резвой игры дождевых капель на зеркале воды — как это ни странно — способно и ныне навеять тебе болезненные воспоминания о нешуточной тяжести гнетущей, безысходной кручины младых дней...

Существовала, однако, спасительная Обыденность — в ней всегда можно было найти утешение, к ней ты постоянно возвращался, нередко поспешал бегом, с бешеной прытью, точно в порыве безудержной влюбленности.

Обыденность — это сегодня, вчера, каждый день.

Обыденность — это дым, в полдень вьющийся изо всех труб и уносимый ветром.

Обыденность — это серая кошка, перебегающая дорогу.

Обыденность — это тарелки на столе и руки, держащие нож и вилку. Обыденность — это запах мыла и щелока, запах пара от белья, поднимающийся из прачечного подвала, это запах дегтя и смолы от лодки, которую чинят, запах карболовой пропитки от нового забора, это запах торфяного дыма и рыбных отбросов, гниющих водорослей и раскуренных трубок.

Обыденность — это рыбак Сигвал с красным, обветренным лицом, который вышел из нужника и застегивает штаны, угрюмо поглядывая на бегущие по небу тучи над морем. Обыденность — это низенький лавочник Ханс Ольсен, который смотрит на качающиеся чашки весов, зажав между пальцами две картофелины.

Обыденность — это парализованная, но неизменно веселая и довольная Юлиана-Звонариха, которая сидит на всегдашнем своем месте, у окна в Кофейном доме, между двух отполированных до блеска костылей, и с улыбкой качает головою, потешаясь над мирской суетой.

Обыденность — это когда люди говорят: «Подумать только, как интересно, на этот раз у них девочка родилась, а то ведь одни мальчишки были». Или: «Нет, ну до чего директоршу-то разнесло, Бергову жену, не приведи господи». Или: «Да, такого кофейку, как у Поулины-Кофейницы, больше нигде не отведаешь!» Или: «Стало быть, старик Росенмайер преставился? Ну что ж, всем нам эта дорожка уготована».

Игла мастера-парусника, лупа часовщика, шило сапожника, молот кузнеца, рубанок столяра. Колыбельная песня в сумерках из приоткрытого окна. Сладкий зевок, раскатистый смех. Нежное перешептывание двоих, сидящих в обнимку на берегу под завесою тьмы. Клетчатые пододеяльники, шлепанцы под кроватью, беззаботное похрапывание и сонное причмокивание под стук дождя по оконному стеклу...

Такова Обыденность во всем своем ничтожестве и могуществе. Она не обольщает умением разгадывать тайны, она лишь предлагает свой добрый надежный ритм. Она — как желанный роздых во время долгого, полного неожиданностей странствия в пугающие неизвестностью края.

Ею никого не удивишь — ведь она так обыденна, однако все ее знают, все ей преданы и любят ее.

Сегодня, одиннадцатого февраля 1974 года, я сижу в своем скромном приюте у раскрытого окна и, очарованный несказанной красою этого послеполуденного часа, гляжу на мир.

Солнце стоит низко на юге над буро-золотистым морем, а на востоке тронутые снегом вершины скал вздымаются в жемчужное небо, почти сливаясь с ним и будто паря в воздухе. От земли исходит нежный кисловатый запах мха и сырости, а в воздухе роится и пляшет мошкара! Но барометр падает, и с океана, говорят, надвигается западный шторм.

Такой вот тихий, дышащий весною час в самом сердце зимы принимаешь как редкий, прекрасный дар, тем более драгоценный, что ты ведь знаешь — это нечто эфемерное и капризное... Эфемерное и капризное, как самый дар жизни, невольно приходит на ум: еще немного — и вся эта фата-моргана исчезнет, точно лопнувший мыльный пузырь.

P. S.

Исчезнет, да,— для меня, Амальда Престарелого, чьим трюкам с балансированием на Мосту Жизни, похоже, скоро уже конец, но не для тебя, молодой читатель: ведь ты еще покамест, раскинув руки, с колотящимся сердцем, выделываешь па своего рискованного, но радостного танца на узенькой дощечке над пропастью!

Веста

Вот и близится к концу это короткое жизнеописание — серия высвеченных беглым лучом картинок детства и отрочества Амальда; мы с вами находимся уже на краю этой мозаики из избранных фрагментов, в которой сделана попытка выхватить из тьмы и запечатлеть кусочек человеческой жизни. Осталось только рассказать мрачную историю о двух гадких колдуньях, в один прекрасный день выступивших на сцену, что стало причиною многих роковых злоключений, но вместе с тем и источником нового ценного жизненного опыта...

Последнее время Ханнибала не видно, в школу он больше не ходит, он уже взрослый и плавает юнгой на одном из каботажных суденышек. Но сегодня он свободен от вахты и получил увольнительную. Он стоит, поджидает тебя у ворот школьного двора, и ты тотчас замечаешь по его виду, что он чем-то взволнован и ему не терпится с тобой поделиться.

Мы спускаемся в бухточку Пунтен — здесь произошли кое-какие изменения: «разбойничьей пещеры» в подвале старого пакгауза больше не существует, но Ханнибал нашел себе новое убежище, гораздо лучше прежнего, на чердаке одного лодочного сарая тут же, неподалеку.

— Посмотришь, Амальд, какая у меня там красотища. Но только сперва дай мне слово держать язык за зубами — чтоб никому ни гугу про то, что увидишь! Обещаешь?

Ханнибал поглядывает на тебя этак с форсом.

— Понимаешь, Амальд, какое дело, у меня там девушка сидит, невеста моя, я с ней недавно обручился! Девчонка, я тебе скажу, шикарная! Зовут Веста. Она сидит, меня дожидается, и я тебе сейчас ее покажу, но только не вздумай потом с нами торчать — глянешь на нее и живенько смывайся, договорились?

В треугольной чердачной каморке не продохнуть от едкого сигаретного дыма. Веста сидит на чем-то вроде кушетки — Ханнибал соорудил ее из сдвинутых вместе ящиков, накрытых новеньким половиком. Увидев, что Ханнибал пришел не один, Веста вскакивает и набрасывается на него:

— Да ты что, Ханнибал, зачем ты его-то с собой приволок?

— Тише, тише, не кричи. Это мой лучший друг, верный до гроба, да вдобавок родня мне — двоюродный брат.

Лицо Весты проясняется и добреет; Ханнибал подсаживается к ней и начинает щекотать ее под мышками, а она смеется, повизгивая от приятности.

Веста старше Ханнибала, ей уже скоро шестнадцать лет. Она долговязая и худенькая, с мелкими красивыми зубками, заставляющими тебя вспомнить мертвую голову, про которую Старый поэт сказал, что это голова девушки.

— Веста, покажи-ка ему твои глаза!

Веста раскрывает глаза во всю ширь — один глаз у нее синий, а другой карий.

— Ну что, Амальд, ты когда-нибудь такое видал? Ясно, не видал, таких глаз больше ни у кого нет, только у нее. А вот, погляди-ка!

Ханнибал вдруг рывком задирает на Весте свитер — он подскакивает вверх, точно штора, которую дернули за веревочку, но Веста так же стремительно тянет его вниз, толкает Ханнибала коленкой, и тому приходится убрать руки. Оба они хохочут — покатываются со смеху.

— Ничего, Веста, он все равно в и д е л! Правда ведь, Амальд?

— Что я видел?

— Да ну тебя, не прикидывайся!

Веста сидит с закрытыми глазами, приоткрыв рот,— у нее сил больше нет смеяться.

— Ой, ну ладно, Амальд, уходи, ты и так уже долго сидишь, правда, Ханнибал?

— Да, Амальд, уходи, а то Весте хочется поскорей...

Ты не слышишь, чего хочется Весте, потому что она, обхватив голову Ханнибала, зажимает ему рот рукой.

И ты второпях выскакиваешь на улицу и минуту стоишь, ослепленный солнцем и яркими бликами на воде и потрясенный, ошеломленный увиденным. Потому что ты и правда видел, хотя все произошло так мгновенно, что будто ничего и не было. Ты все-таки успел их увидеть — два живых шара с красными пятнышками посредине.

— Эй, Амальд! — раздается веселый голос у тебя за спиной. Это Харриэт, рыжеволосая веснушчатая дочь Числителя, она улыбается тебе, выставив крупные зубы.— Ты что, ждешь Ханнибала?

— Нет.

Она тычет большим пальцем вверх, указывая на чердачное окошко сарая.

— Но ты у него был? Не знаешь, Веста сейчас там?

Глаза у Харриэт темные, зеленовато-синие, как бериллы. Ты ошеломленно смотришь на ее груди, которые выпячиваются под вязаной жакеткой. Они у нее больше, чем у Весты.

— А Амальд? Ты чего не отвечаешь?

— Угу.

— Чего «угу»?

— Там.

Харриэт с добродушным удивлением покачивает головой, улыбаясь тебе беррилловыми глазами.

— Господи ты боже мой, до чего у тебя чудной и потешный вид!

И она мчится дальше.

На пути греха

Проходит некоторое время, полмесяца, быть может, месяц.

Темные зимние дни накануне солнцеворота, у тебя в комнатушке, как и в душе твоей, какой-то тягостный полумрак-полусвет, душераздирающая двойственность: с одной стороны, мучительная внутренняя смута, порождаемая растущим неверием в милосердие и всемогущество бога, доходящая порою до открытого сомнения в его существовании, с другой же стороны, жадное влечение к соблазнам этого мира, к манящим чудесам взрослой жизни, к распаляющим воображение мистериям любовной страсти.

И вот в один прекрасный день с тобою происходит опять одна из этих случайных, в сущности, обыденных и заурядных историй, которые тем не менее запоминаются как экстраординарные и знаменательные события, надолго сохраняющие свою важность.

Суббота накануне сочельника, вечереет. Ханнибал собирается в свое тайное убежище на чердаке лодочного сарая.

— Амальд, идем со мной, у нас для тебя кое-что есть!

— Что у вас есть?

— А вот увидишь.

— Нет, ты сперва скажи что! У Весты что-нибудь?

— Нет, при чем тут Веста, говорят тебе, идем!

— Да ну, мне что-то неохота.

— Эх ты, неохота, просто ты еще маленький и трусишь — так и скажи!

Чтоб тебя заклеймили как труса — ну нет уж, и ты плетешься следом за Ханнибалом, полный тревожных предчувствий, но одновременно в сердце у тебя будто горит и буйно брызжет искрами бенгальский огонь.

В тесной чердачной каморке темно, хоть глаз выколи, но из темноты слышится фырканье и хихиканье; кроме Весты здесь определенно есть еще одна девушка, а может, и несколько.

Ты стоишь в нерешительности на верхней ступеньке узкой лестнички, растерянный и смущенный. И вдруг чувствуешь, как кто-то хватает тебя за руки и тянет к себе — это не Ханнибаловы грубые лапы, а чуть влажные гибкие девичьи руки, они упорно пытаются вытащить тебя наверх из люка. На миг мелькает мысль о бегстве, но нет, ты не решаешься вырваться из этих тонких настойчивых рук и, была не была, переступаешь порог — сердце твое гулко колотится, дыхание перехватило.

Но тут Ханнибал зажигает рождественскую свечку, из темноты выступают лица, тени расправляют широкие крылья на корявых досках наклонной стены, и негромкий, но веселый и торжествующий трехустый смех приветствует твое появление — смех Ханнибала, Весты и Харриэт, это е е руки вытащили тебя из люка в полу. Она улыбается тебе ласковыми берилловыми глазами.

Ханнибал сидит на самодельной кушетке, обхватив Весту за талию.

— Ну вот! А теперь можно потушить, нам такой яркий свет ни к чему!

Он задувает свечку.

— Харриэт, ты уж его приласкай, а то он знаешь как боится темноты!

— Ничего он не боится! Правда ведь, Амальд?

И ты чувствуешь дыхание Харриэт у своего уха. Ее руки у себя на шее. Ее шепчущие губы у своей щеки. Терпкий запах ее волос. Легкое прижатие ее груди к твоей куртке. Слышишь ее сюсюкающий голосок — она говорит с тобой, как с котенком или ягненком.

— Амальд! Ну что ты, это же я! Что такое, Амальд? Ты от меня уходишь?

Ты осторожно снял ее руки со своей шеи и отодвинулся, потому что в с а м о м д е л е боишься, ты готов расплакаться от постыдной робости и застенчивости.

Фырканье с кушетки.

Веста:

— Он что, хочет удрать?

Ханнибал:

— Я же говорил, что он боится. Он еще ни разу в жизни не целовался с девчонкой.

Ах б о ю с ь — как бы не так! И вдруг весь твой страх как рукой сняло: ты хватаешь Харриэт за руки, притягиваешь к себе ее тоненькое тело и принимаешься целовать — шею, глаза, губы, все лицо, так что она чуть не задыхается.

— Амальд! Перестань! Слышишь, не смей! Разве так можно!

Голос Ханнибала из темноты:

— Ага, кажется, дело пошло на лад! Молодец, Амальд, так держать!

Судорожно хватая ртом воздух, ты засовываешь руку под кофту Харриэт и сжимаешь ее грудь, продолжая целовать ее в губы, бурно, неистово, без остановки.

— Ой, да перестань же! — На этот раз голос ее звучит не приглушенно, а в полную силу, почти негодующе.— Разве так можно! Пусти! Ты же меня задушишь!

И ты разом отпускаешь ее и отталкиваешь от себя. Тебя бьет дрожь, в глазах стоят слезы, ты с огромным трудом сдерживаешь подступившие к горлу идиотские рыдания.

Харриэт (тяжело дыша, жалобным голосом):

— Ханнибал, зажги свечку!

— Да что с вами такое, черт дери?

Ханнибал соскакивает с кушетки, но прежде чем он успевает чиркнуть спичкой, ты выбираешься через люк на лестницу и поспешно спускаешься вниз, испугавшись, как бы они не заметили, что ты чуть не ревешь. На душе у тебя точь-в-точь как после того сна про Висячую деву: ты не знаешь, куда деваться от стыда и ужаса, от гадливого отвращения к самому себе.

Под проливным дождем ты торопливо шагаешь по безлюдным портовым переулкам домой, тихонько прокрадываешься к себе наверх и бросаешься на постель, раздавленный горем и раскаянием, но вновь и вновь завороженно вспоминая восхитительный аромат ее волос, кожи, ее дыхания и податливую округлость ее грудей у тебя в ладони. Грустный напев звучит в ушах, в голове вертятся две строки из старинного псалма, знакомого тебе с младенческих лет:

Тебя мы молим, боже, помоги,
Нас от пути греха убереги.

— Амальд! Ты уже в постели? Что с тобой, ты не захворал?

Это Мама. Она подходит и садится к тебе на кровать, прикладывает ладонь к твоему лбу. Ты весь сжимаешься от ее ласк, впервые в жизни ты мысленно посылаешь ее ко всем чертям.

— У тебя что-нибудь болит?

— Ничего у меня не болит.

— Может, ты поужинаешь?

— Спасибо, я не хочу.

— Хм.

Это ее глухое «хм» — ты чувствуешь, что̀ оно означает. Оно означает, что Мама каким-то таинственным образом знает все, обо всем догадалась. Она со вздохом поднимается и больше ни о чем тебя не расспрашивает.

— Спокойной ночи, Амальд, выспишься, и все у тебя пройдет.

■ ■ ■

Нет, ничего не прошло, стало только хуже.

Ты вынужден разыгрывать утомительную комедию, чтоб никто не заметил, что̀ с тобой творится, и ты избегаешь встречаться взглядом с видящей тебя насквозь Мамой. Быть может, Харриэт все разболтала, быть может, постыдная история известна уже всему городу.

В сочельник — день был темный, мглистый — ты отправляешься на пристань в поисках Ханнибала. Он как раз только что доставил на берег шкипера и механика со своего моторного баркаса и идет домой, неся на плече парусиновый мешок.

— Вот удачно, что я тебя встретил, Амальд, мне надо поговорить с тобой о важном деле.

— О каком же?

— Насчет Харриэт. Давай присядем здесь, на бревне!

Ханнибал сбрасывает мешок наземь. На лице у него — мина атамана, вид до того серьезный и властный, что у тебя мурашки ползут по спине.

— Вот что, Амальд, сперва ответь мне: что ты такое с ней сделал?

— Как это, сделал?

— Ну, то есть, ты что, щ и п а л ее, ц а р а п а л до крови?

— Я? Нет.

— Ну, может, ты к у с а л ее или что?

— Да не кусал я ее. Почему ты спрашиваешь? Разве у нее кровь текла?

— Я не говорю, что кровь текла. Но что-то такое ты с ней сделал, раз она лежала на полу и плакала, когда ты ушел. Ну ладно, может, конечно, она плакала просто из-за того, что ты удрал. И с чего ты удрал-то? Она же в тебя знаешь как втюрилась, по уши! Ясно тебе? И ты теперь не вздумай ее бросать, возьми и о б р у ч и с ь с ней, как я с Вестой. Но только смотри, будь осторожней, не наделай глупостей, а то она говорит, ты из тех парней, с которыми женщине о п а с н о иметь дело.

— Что значит опасно?

— То и значит: парень забавляется да тешится, а она, глядишь, ребеночка с ним нагуляет — вроде того, как у нашего дяди с Розой-Куколкой вышло. Я про него худого сказать не хочу, но с девками он, ну ей-богу, ведет себя как последний дурак.— Ханнибал встает и закидывает мешок на плечо.— Ты пойми, Амальд, я тебя для твоей же пользы хочу п р е д о с т е р е ч ь, а то ты ведь многого в жизни не знаешь, тебе еще учиться да учиться. Ну так вот, можешь, если хочешь, приходить ко мне на чердак с Харриэт, но только обещай вести себя прилично, а не как голодный волк. Договорились? Да или нет? А? Ты чего молчишь?

— Ладно.

— Ну слава богу, наконец-то. Ты, Амальд, заруби себе на носу: я отвечаю за вас обоих — за тебя и за нее, а я от ответа никогда не увиливаю. И потом ты учти: Харриэт девушка порядочная и очень х р а б р о поступает, что приходит к нам на чердак, потому что ее папаша Числитель ужас какой строгий, представляешь, он иногда разозлится, так прямо шваброй лупцует ее и ее брата! Ну ладно, слушай, давай мы встретимся вечером на третий день рождества — ровно в восемь в нашей каморке, хорошо? Харриэт тоже придет, я сам ей скажу, так что ты сможешь с ней объясниться и попросить прощения!

Юные страдания

В сочельник вечером ты, улучив момент, выскользнул из дому и взобрался на крышу к Стекольному мастеру, откуда удобно было наблюдать за освещенными окнами в доме Числителя на Ступенчатой улице. Притаившись в траве, ты навел на окна отцовскую подзорную трубу в надежде хоть мельком увидеть Харриэт, но увы, ничего не было видно, кроме путаницы силуэтов за пожелтевшими шторами с овальными трафаретными изображениями замка Росенборг и Круглой башни. А ты все сидел на крыше, дрожа от сырого, пронизывающего ветра с моря, поглощенный мыслью о том, что скоро вы снова встретитесь и, быть может, обручитесь, как Ханнибал с Вестой.

На третий день рождества после полудня у тебя созрело твердое решение нарушить уговор с Ханнибалом. Однако когда наступил вечер, ты все же, не удержавшись, прокрался в бухту Пунтен, спрятался там в укромном уголке и стал смотреть на чердачное окошко лодочного сарая.

Вечер был тихий и теплый, таяло, на рейде стояло судно рыболовного надзора «Нептун», его фонари и огни отражались в темной воде. А Харриэт, наверно, сидит в Ханнибаловой каморке и ждет тебя. Может, даже плачет от тоски — все-таки нехорошо, жалко ее. Ты живо представил себе, как Веста с Ханнибалом смеются над ней, «обманутой и брошенной».

Ну и кончилось тем, что ты со сладостным чувством жалости в сердце, хмелея от безудержных надежд, шмыгнул в лодочный сарай и словно в угаре стал взбираться вверх по узкой чердачной лесенке...

Ханнибал был один.

Он сидел на кушетке, понурив голову и раскорячив ноги, с потухшей сигаретой в зубах. На столе стояла зажженная свечка, пламя ее трепетало от ветра, задувавшего в открытый люк, и гигантская тень Ханнибала в неистовстве металась по наклонной стене.

— Да закрой же люк, вот болван!

— А они еще не пришли?

Никакого ответа.

— Но сейчас ведь уже больше восьми.

Молчание. Лишь слышно, как волны плещутся о берег.

— Как же так, а я думал...

— Дурак ты набитый, потому и думал!

Ханнибал закурил сигарету, подобрал ноги, лег и принялся пускать в потолок облачка дыма.

Потом он заговорил, медленно, осипшим и бесцветным голосом, как будто ему безразлично, дойдут до тебя его слова или нет:

— Понимаешь, Амальд, Харриэт — ладно, она просто кошка блудливая и вдобавок соплячка, школьница, ну и дьявол с ней, плевать мы на нее хотели. Можешь только радоваться, что не успел с ней обручиться, это бы просто дурость была. А вот Веста — это дело другое, она уже взрослая девушка, и мы с ней (тут голос Ханнибала слегка дрогнул)... мы ведь с ней кровь смешали, как тогда с тобой, помнишь!.. Но только, Амальд, я тебе рассказываю все как есть, потому что верю, что ты мне настоящий друг и не проболтаешься.

Долгое молчание. Шум волн. Вдалеке всплески воды под ударами весел. Еще дальше — слабые звуки музыки из танцевального зала Общества трезвости.

Ханнибал приподнимается на локте и сквозь клубы дыма неподвижно смотрит в мигающее пламя рождественской свечи.

— Знаешь, куда они отправились? Догадаться не трудно. На танцы. Я с н о т е б е? А сюда приходить они и не собираются. Сюда они больше никогда не придут.

— Ну почему, с чего ты взял?...

Ханнибал жестом прерывает тебя.

— Веста сама мне сказала. Амальд, ты тайну хранить умеешь?

— Да.

— Тогда я открою тебе свою распроклятую тайну: между мной и Вестой все кончено. Она заходила сюда вчера вечером — то есть она даже наверх не поднялась, стояла внизу и кричала через люк, что между нами все кончено и мы расстаемся навечно. А знаешь почему? Потому что она без памяти врезалась в одного матроса с «Нептуна». Он там помощник кока, поваренок. Я его хорошо знаю. Свистун и задавака. И к тому же мозгляк. Я бы ему с одного удара голову в живот вогнал, да я, может, так и сделаю. Или взорву их обоих!

Ханнибал швырнул на пол дымящийся окурок и придавил его башмаком. Потом сел опять на кушетку и, мрачно понурившись, спрятал лицо в ладонях. Слышно было, как он тихонько хлюпал носом. Внезапно он вскочил, словно принял наконец бесповоротное решение. Взобравшись на кушетку, он достал из-за стропила под скатом крыши продолговатый сверток, упрятанный в старый мешок. Это была петарда.

— Она у тебя еще цела?

— Конечно.

— И там внутри настоящий порох?

— А то что же, черт дери! Или я, по-твоему, враль и хвастун?

— Да нет, Ханнибал, но...

Ханнибал отрывисто хохотнул — горько, без улыбки.

— Вот уж никогда не думал, что от этой штуки не поздоровится ей!

— Как это не поздоровится, Ханнибал? Ты что, правда решил ее взорвать?

— Взорвать? Кого, Весту? Сегодня, сейчас? Вот сказанул, ну и балда же ты!

— Но ведь ты говоришь, что ей не поздоровится! Это же твои собственные слова!

— Мои слова? Что ты, да я бы никогда не смог ничего такого сделать. Я ведь ей зла не желаю. Я ей желаю только добра.

Ханнибал сидит с петардой на коленях и поглаживает грозную бомбу ласково, как котенка.

— Нет, знаешь, честное слово, я ей совсем зла не желаю, ни вот столечко. Только добра!

— Ну и как же теперь, Ханнибал?

Ханнибал снова становится на кушетку и осторожно засовывает петарду на прежнее место.

— Я и ему тоже зла не желаю. Этому поваренку-то! Я им обоим желаю только счастья.

Ханнибал опять сидит на кушетке, уткнувшись лицом в ладони.

Молчание и странные придушенные всхлипывания.

Потом он снова поднимается и, воздев руки, с угрозой потрясает кулаками. На лице его в этот миг — старая, привычная мина атамана.

— Понимаешь, Амальд, мой единственный верный друг! Человек, который стоит перед тобой,— он мог бы, если б только захотел, разнести в клочья, стереть с лица земли их обоих, да что там их — весь этот дом собраний Общества трезвости, где они сейчас танцуют и веселятся, даже не подозревая... Но он этого не сделает, потому что никому не желает зла, ни одному человеку! Смотри же, Амальд, не забудь мои слова. Когда я умру, когда я, может, буду уже лежать на дне морском, тогда ты вспомни, что я тебе сегодня сказал. Обещаешь?

— Да, Ханнибал, обещаю.

— Ну хорошо, Амальд, спасибо. А теперь идем отсюда. Пошли!

— Куда?

— Пошли, пошли!

■ ■ ■

Веселая танцевальная музыка и многоголосый гомон несутся из открытых окон освещенного дома собраний Общества трезвости. В тени у крыльца двое пьяных по очереди прикладываются к бутылке.

— Сюда, Амальд!

Ханнибал залез на изгородь, с которой можно дотянуться до стрехи небольшого сарая и, раскачавшись, вскарабкаться на его крышу. Отсюда хорошо видны окна переполненного танцевального зала. Мы лежим на животе, спрятавшись в сухой зимней траве, лежим, как в засаде, затаив дыхание, и смотрим. Танцующие пары одна за другой проплывают мимо распахнутых окон. Почти все здесь нам знакомы — все, кроме заезжих матросов. Но ни Весты, ни Харриэт не видно.

Ханнибал (шепотом):

— Их здесь вроде и нет, а? Небось уже ушли и амуры разводят. Ой, нет! Гляди-ка, вон они!

— Где?

— Да на крыльце же, черт возьми! Вон, видишь, вниз спускаются!

Ага, теперь и ты их заметил в толпе снующих вверх и вниз парней и девушек: все верно — Веста и Харриэт, каждая со своим матросом. Сойдя с крыльца, они на минуту останавливаются. Матросы угощают девушек сигаретами. Лицо Харриэт в ярком свете вспыхнувшей спички, берилловые глаза!..

Ханнибал (сдавленным, шипящим от сдерживаемой ярости голосом):

— Вот, полюбуйся на них, каковы стервозы! Нет, ты погляди на Весту-то, прямо из кожи вон лезет, сука гулящая!

Веста со своим поваренком, взявшись под руки, поспешно скрываются в потемках.

Но Харриэт — с нею не так-то все гладко, она не хочет идти со своим матросом, она упирается, вцепившись рукою в изгородь.

Сердце колотится и трепещет, готовое выпрыгнуть у тебя из груди. Нет, Харриэт не хочет. Он ее тянет, а она не поддается...

Но, увы, она все же поддается. Матрос крепко ухватил ее под руку, и она за ним идет, не пытаясь больше сопротивляться, бессильно мотая головой... точно тростник, клонящийся под порывами ветра.

Ты шлешь им вслед злые заклинания: хоть бы они встретили Числителя! Хоть бы он наподдал как следует этому матросу, увел домой свою дочь и взгрел ее хорошенько шваброй!

— Амальд, скорей! В погоню!

Мы спрыгиваем с крыши и крадемся по пятам за двумя парочками, которые направляются к пристани. Потом дальше — к Старому форту. Матросы обнимают девушек за талию. Вот Веста с помощником кока останавливаются — он прижимает ее к себе, он целует ее, прямо посреди улицы, под фонарем, долгим и нежным поцелуем!

Ханнибал резко останавливается; с него довольно.

— Постой, Амальд! Идем лучше вот сюда!

И он исчезает в узком темном проходе между двумя лодочными сараями, стоит и судорожно втягивает воздух, даже не пытаясь больше скрыть слезы.

— У-у, шлюха проклятая! А туфли небось м о и носит, блудливая тварь! Я же все деньги ей отдал, какие скопил, чтобы она купила себе эти туфли! Туфли, да еще

две пары чулок, да бюстгальтер, и это не считая половика — ну, знаешь, для кушетки! Бюстгальтер-то ей за каким дьяволом понадобился, интересно знать? Не такие у нее пышные груди, чтоб в футляр их закладывать! Я ей сразу сказал, так она на меня окрысилась! С этого ведь все и началось — да, из-за такой вот ерунды!

Ханнибал разражается жутким рыдающим смехом.

— Ну погоди у меня, гадюка! Погоди немного, увидишь, что будет! А ты, Амальд, ступай лучше домой. Мне сейчас нужно побыть одному!

— Но ведь...

— Сказано, ступай! Тебе что. Ты-то не был обручен. Ты ничем не рисковал. Не раскошеливался на подарки. У вас ничего и не было, так, манная каша на воде. Ладно, Амальд, все, проваливай, больше я повторять не буду!

И ты уходишь, а Ханнибал остается один в темном закоулке. Ты с содроганием слышишь, как он, перестав наконец сдерживаться, громко рыдает в одиночестве.

Взрыв

О том, что дальше произошло с твоим другом в тот злополучный третий день рождества, ты услышал на следующий вечер из уст самого Ханнибала, рассказу которого ты внимал с глубокой печалью и искренним негодованием.

Твой бедный друг долго стоял в темном закоулке, и отчаяние боролось в его душе с безудержной жаждой мести, но потом он наконец принял решение и направился прямо к Старому форту, где изменщица Веста и ее матросик, тесно обнявшись, сидели на скамье.

— И понимаешь, Амальд, я, конечно, мог подкрасться к ним сзади и оглоушить этого мерзавца. Но это бы было трусливо и подло, а ты знаешь, какой я человек, я никогда не позволю, чтобы про меня говорили, будто я нападаю из-за угла, и поэтому я подошел и крикнул: «Ха!»

Они перепугались, этот поваренок вскочил и таращится на меня как дурак. Я и говорю: «Вот что, Веста, ступай-ка ты отсюда, нам с ним надо с глазу на глаз переговорить». А она нет, не уходит и все, ну и тогда я бросился на него и повалил наземь, но я тебе скажу, ничего глупее я сделать не мог, да-да, ты послушай: Веста, она совсем ополоумела, вцепилась мне в волосы и давай их рвать, лицо мне царапать, а я, конечно, в драку с ней не лезу, бабу я еще в жизни пальцем не тронул, ты меня знаешь, хоть она, конечно, шлюха бесстыжая, а все равно — просто повернулся к ней спиной, ладно, думаю, пусть бесится. Ну вот, а этот паршивый поваренок очухался, подобрался ко мне сзади и сбил с ног, и они как набросятся на меня вдвоем, а Веста, волчица кровожадная, выдрала клок травы вместе с землей и мокрой грязью-то прямо меня по лицу, все глаза залепила, я совсем ничего не вижу, лежу, а они вдвоем пинают меня и топчут. Но самое страшное даже не это, самое страшное — слова, которые Веста сказала мне напоследок, знаешь какие? «Так, говорит, тебе и надо, псих ненормальный, ты, видать, в отца уродился, такой же бесноватый, как Ханс-Тарарам, и кончишь, как он, в одиночке, это уж точно!»

Ханнибал тяжело перевел дух и с мученическим выражением потряс головой.

— Да, вот что я услышал от нее на прощанье, от моей дорогой невесты, после того как надарил ей столько подарков — ну, ты знаешь! Что ж. Я только одно могу сказать: слава богу! Слава богу, что я наконец-то ее раскусил! И если она опять ко мне придет, а она еще придет, она ведь такая, да все они, бабы, такие,— если она ко мне придет, когда наблудится досыта с этим своим тупоумным мозгляком-поваренком, то (и тут Ханнибал приложил руку к сердцу) вот здесь ворота будут уже на запоре!

Он вскочил с самодельной кушетки, торопливо скатал половик и приподнял крышку одного из ящиков.

— Смотри! — Он сунул руку внутрь.— Фейерверки! Вместе ходили покупать, я и она, когда все еще было хорошо. Собирались весело отпраздновать Новый год! Ты глянь, тут и ракеты, и бенгальские огни, и шутихи, я на это больше десяти крон истратил, черт дери! Но теперь не видать ей этих огоньков как своих ушей, теперь мы с тобой без нее новогодний салют устроим, ты да я! И знаешь что, мы и петардой бабахнем! Видишь, я для нее новый фитиль купил, а то старый все-таки ненадежный. Гром будет! Весь город так и подскочит!

— Погоди, Ханнибал, но где ж ты собираешься взорвать эту бомбу?

— Ага, у тебя даже голос дрожит, и правильно, потому что это будет ужас что такое. Но ты не бойся, я ведь никому зла не желаю, а ей и подавно. Мы возьмем все наши игрушки и пойдем на Круглину, сперва эти фейерверки подожжем, а напоследок у нас петарда тарарахнет! Хорошо, Амальд? Ты рад? Амальд, ты почему не отвечаешь? Разве ты не рад?

— Конечно, рад.

■ ■ ■

Потрясающие события, о которых будет здесь рассказано в заключение, произошли в ночь под новый 1914 год (тот самый год, кстати сказать, когда наш легкомысленный современник на высшем уровне кайзер Вильгельм Второй развязал недоброй памяти мировую войну!).

Вначале все выглядело вполне празднично и многообещающе (в обоих случаях!). Дул легкий морозный бриз, на вершинах холмов вокруг города и на песчаных отмелях и мысах у темной воды полыхали яркие новогодние костры, а ракеты огненными дугами прочерчивали ясное, звездное небо. Ханнибал со своими друзьями и соратниками разбойничьей поры прикатили к берегу на Круглине старую смоляную бочку, и теперь она с шипением и потрескиванием горела, разбрызгивая каскады искр и испуская сладковатый запах, между тем как шутихи весело вспыхивали на скалах, а ракеты взмывали в воздух и рассыпались над морем вихрями огненной пыли. Петарда лежала у нас в старой паровой машине, приберегаемая для самого торжественного момента: в полночь она должна была взорваться внутри цилиндра и разнести всю машину на мелкие кусочки.

У тебя как-то странно сосало в животе, когда ты залезал внутрь этой осужденной на смерть машины, где горела одинокая рождественская свечка и устрашающий серый сверток с белым привеском-фитилем лежал на ящике, дожидаясь рокового часа. Вход сюда всем остальным был воспрещен, исключение (да и то всего лишь на минутку) было сделано для Карла-Эрика (Ханнибал: «Раз ему отпущена такая короткая жизнь, надо, чтоб он хоть побольше всего успел увидеть»).

Ханнибал взглянул на свои часы.

— Через каких-нибудь двадцать—тридцать минут здесь не останется никакой паровой машины. Ничего не останется, может, только несколько железных осколков, а может, и их не будет. А грохот раздастся такой жуткий, что в городе все затрясутся от страха! И в обморок многие попадают!

Карл-Эрик не отваживается влезть в машину, он сидит на корточках снаружи, возле очистного отверстия, просунув внутрь только голову и руки.

— А кто же подожжет фитиль? А, Ханнибал? Ты сам?

— Да нет, конечно, ты подожжешь, Карл-Эрик! Гайдук ты у меня или не гайдук?

Карл-Эрик, бледнея, отодвигается от машины, но Ханнибал уже схватил его за фуфайку и не пускает.

— Вот дурачок-то! Ясно, я с а м запалю фитиль! Хорошо же ты обо мне думаешь, фу! Ты хоть раз в жизни видел, чтобы я вел себя как какой-нибудь бесстыжий поваренок? Говори: да или нет?

— Нет, не видел,— с готовностью бормочет Карл-Эрик, но все же вырывается и исчезает в темноте...

И вот наступает полночь, знаменательный миг смены годов — ощущение такое, словно что-то огромное расправляет в вышине могучие крылья над объятым тьмою миром. На лице Ханнибала — мина атамана, суровыми окриками он отгоняет всех от паровой машины, приказывая спрятаться в надежных укрытиях за пакгаузами рыбосушильной площадки.

— А ты, Амальд, можешь вообще-то остаться и смотреть в очистное отверстие — если ты, конечно, не б о и ш ь с я, потому что это ужасно опасная штука. Ну как, остаешься?

— Да.

Ты стоишь на коленях, заглядывая внутрь машины и дрожа от нетерпеливого ожидания: вот Ханнибал чиркает спичкой и подносит ее к фитилю...

Теперь прочь — опрометью, сломя голову,— а в носу у тебя странное щекотание, запах катастрофы и конца света.

— Сюда, Амальд! Ложись на землю!

Мы лежим на дне глубокой скальной расщелины.

— Рот не закрывай, а то барабанные перепонки лопнут!

И ты раскрываешь пошире рот и совершенно отчетливо слышишь, как сердце твое задушенно квакает где-то в самом горле. Быть может, настал последний час, Час Бездны, Час Светопреставленья... и, словно в кошмарном сне, возникает перед твоим мысленным взором б а ш н я, призрак той старой Башни на Краю Света, и одинокое облако в пустоте над бездной, гигантский лик бога с гневными очами...

Однако великий гром всеобщей погибели что-то никак не грянет.

Ханнибал:

— Черт возьми! Фитиль, что ли, потух? Или в чем там дело? Может, порох слишком старый, силу потерял?

Из города слышатся выстрелы и гулкие хлопки, но это все смехотворные игрушечные петарды, самые обыкновенные, какие продаются в лавке.

Ханнибал чуть не плачет, голос его дрожит:

— Фу ты, вот уж не ожидал!

— Погоди, может, еще бабахнет. Тлеет, тлеет, а потом как взорвется.

— Надо пойти посмотреть!

— Нет, давай лучше еще немножко обождем!

Мы лежим и ждем, Ханнибал вздыхает тяжко и удрученно.

— Мы же в и д е л и, что фитиль загорелся! Правда ведь? Ты ведь тоже видел, что он загорелся и почернел? Значит, это все-таки порох силу потерял!

— А он что, очень старый?

— Еще бы не старый. Он же у меня с тех пор, когда еще отец был жив.

Ханнибал откидывается назад и сидит, прислонившись к стене расщелины, бессильно свесив руки и глядя в небо, где несколько ракет прорезают темноту и рассыпаются. Лицо у него бледное и страдальческое, какое-то почти стариковское.

Но вот он рывком поднимается на ноги.

— Пошли!

Ханнибал выпрыгнул из расщелины и шагает прямо к паровой машине. Ты не решаешься последовать за ним. В бледном свете звезд ты видишь, как его тень крадучись приближается к красному пятну очистного отверстия. Круглое светящееся пятно похоже на восходящую луну, только-только оторвавшуюся от горизонта.

Вот он садится на корточки перед машиной. Вот он влезает внутрь. Ты дрожишь от напряжения и ужаса, цепенея, прилипаешь к холодному камню. А вдруг как раз с е й ч а с-т о это и произойдет!

Но нет, пока ничего не происходит.

Значит, все провалилось. Ну и слава богу!

— Амальд!

Голос у Ханнибала прерывающийся и жалобный.

— Амальд! Ну где же ты? Черт тебя возьми, чего теперь бояться-то? Все кончено, ничего у нас не вышло! У тебя спички есть?

— Есть, а зачем?

— Сигарету закурить. Я свои все исчиркал.

Ханнибал стоит внутри паровой машины, прислонившись к ее ржавому корпусу, потный, с почерневшим лицом и странно безжизненным взглядом, незажженная сигарета свисает у него с нижней губы. Рождественская свечка почти догорела. Петарда лежит на своем ящике в ворохе бумажных клочков, обгорелых спичек и закрученных спиралью обрывков шпагата. Сверток пропорот ножом, из него высыпалось несколько черных зернышек, похожих на поджаренные кофейные бобы.

Ханнибал закуривает сигарету. Глубоко вздыхает.

— Что, Ханнибал, действительно все сорвалось?

Он кивает с убитым видом, жадно затягиваясь и утопая в облаках дыма.

— Может, порох отсырел?

— Нисколечко. Просто он старый. Черт бы его побрал.

— И поэтому он не воспламенился?

— Да вроде он даже чуточку загорелся. Но не по-настоящему. Так, чепуха какая-то.

— А по-моему, оттуда дым идет!

— Дым? А, да, правда. Но это все н е т о.

— Ханнибал, не трогай его, слышишь!

— Да ничего не будет. Ты же видишь, пакет-то продырявлен. Это просто бумага дымится.

Ханнибал вытаскивает из ножен свой кинжал и принимается ковырять им в слабо дымящемся ворохе бумаги.

— Да нет. Это здесь бумага чуть-чуть тлеет...

И тут вдруг — вот оно наконец!

Не великий гром, нет. Просто сухой треск, фырканье и шипенье, целый дождь искр, которые больно колют лицо, тучи удушливого дыма...

И в последнее мгновение — наружу через очистное отверстие: дыхание перехватило, лицо и руки жжет нестерпимо...

И голос поперхнувшегося дымом Ханнибала:

— Чуть было мы с тобой не влопались!..

И затем глубокая тишина и тьма. И голоса во тьме. А напоследок один лишь пустынный гул, понемногу стихающий.

Щедрая тьма

После той роковой и незабываемой новогодней ночи настала новая и столь же незабываемая пора — жизнь во тьме или, уж во всяком случае, в глубоком сумраке, ибо ты лежал в больнице, держа на глазах повязку со льдом...

Тем не менее та пора, когда оглядываешься на нее теперь, пробуждает почти исключительно светлые воспоминания, нередко испытываешь даже какое-то особое удовольствие от одного лишь запаха йода или карболки и уж тем паче от аромата ромашкового чая, паром которого тебе почему-то назначено было дышать.

Кроме запахов были еще звуки. Стук шагов, звяканье стекла, металла и посуды, неугомонная, благодетельная больничная суета, мягкие и повелительные голоса сестер милосердия и доктора Метце. И Ханнибала, ибо он лежит с тобою в одной палате с ожогами головы и рук, но несмотря на это голос его, хотя и сильно охрипший, приобрел какое-то новое, радостное, даже ликующее звучание. А также другие голоса — множество голосов, которые ты слышишь в часы посещения и которые тоже все звучат немного по-новому, они как будто чудесным образом сделались чище, ярче, и из-за этого их словно впервые по-настоящему открываешь для себя. В самую первую очередь, конечно, голос Мамы, который (ты прекрасно это слышишь) звучит уж очень, сверх всякой меры успокоительно и ободряюще (вероятно, все-таки есть опасность, что ты ослепнешь!) И однако же, тебе больше по душе этот полный любовного притворства голос, чем односложное «хм» и «н-да» Отца — единственный способ, каким он выражался все то время.

Затем были еще звуки внешние, достигавшие слуха в тихие минуты между сном и бодрствованием: плеск волн о берег неподалеку от больницы, удары весел по воде, скрежет талей и блоков, лязг якорных цепей, хрипучий, но зычный гудок парохода «Мьёльнер», бой часов на церковной колокольне по ту сторону бухты... звуки из светлого мира, который ты пока не видишь, но который должен скоро вновь восстать из

тьмы, потому что, как тебе постоянно ободряюще твердят, само зрение у тебя не повреждено и ты опять будешь видеть, надо только немножко потерпеть!

И еще одно незабываемое ощущение — ласковые руки, прикасающиеся к тебе во тьме, всё щедро даримое ими богатство! Руки твоей матери, лежащие на твоих руках,— дар, драгоценней солнца и луны! И не только они — руки сестры милосердия Метты, уверенно, но мягко приподнимающие тебе веки, чтобы закапать в глаза жгучие, но целительные капли...

Потом настает день, когда тебя забирают домой, и ты лежишь в своей родной чердачной комнатушке, по-прежнему во тьме, или, вернее сказать, в полутьме — окно завешено зеленым занавесом.

А на дворе весна. дни все светлее, из скворечника под крышей несется неумолчный галдеж и истошный писк голодных скворчат первого выводка. И тетя Нанна приходит к тебе с букетиком крокусов, подносит его к твоему носу, и ты вдыхаешь исходящий от прохладных лепестков благостный аромат земли, дождя, в о л и...

Что же еще?

Серо-зеленые сумеречные дни и черные ночи.

Ожидание.

Но тебе ведь, наверное, невтерпеж было лежать, и ты не знал, куда деваться от скуки? Ты ведь, наверное, страшился и впадал в уныние, тебя одолевали грустные мысли?

По всей вероятности, так оно и было, но такое почти не сохранилось в памяти, ибо человек, ожидающий, что свет и жизнь вернутся к нему, живет бок о бок со счастьем, и огромность его надежд почти не оставляет места для печали. Все и всяческие беды и горести на время сами собою отодвигаются, подспудно накапливаясь, чтобы позднее найти себе выход„— только н е т е п е р ь, не в этот заповедный час светлых ожиданий.

■ ■ ■

Кстати сказать, у тебя не было недостатка в развлечениях и увеселениях, о которых ты и ныне вспоминаешь с благодарностью: музыка и чтение вслух, сыгранная в четыре руки Мамой и Бабушкой внизу, в гостиной, увертюра к «Немой из Портичи»— и курьезным образом сплетающиеся с нею в твоем сознании книги: «Большой Бастиан» и «Дети капитана Гранта» прочитанные тебе вслух дедушкой Проспером и тетей Нанной. А однажды под вечер к тебе потихоньку прокрался Младший братишка и принес тазик с двумя живыми мальками форели, пойманными в ручье, и когда он зажег запретную спичку. перед тобою, точно сновидение, возникли крохотные рыбешки, все в красных пятнышках с ясными хрустальными глазками — они стояли в прозрачной воде и чуть пошевеливали своими темными плавничками...

Свет

Весна принесла свет. Возвращала его тебе шаг за шагом. Первые вожделенные свидания с живым миром ты устраивал себе самовольно, тайком — приподнимая занавеску, совсем немножко и всего на миг... но глаз успевал в головокружительном озарении уловить проблеск бездонной синевы неба, белое облако, даже птицу!

Но вот настает блаженное время, когда занавески уже на вполне законном основании начинают понемногу отодвигать в сторону, с каждым днем чуточку дальше, пока ты, наконец, вначале под защитою темных очков, а затем и открыто подставляя глаза свету, не выходишь на волю, в воскресший мир — мир дня, ветра, дождя и солнца, мир будущего и мир вечности.

Густой снегопад и плотная темень, такая непроницаемая, что я (Амальд-Летописец), глядя в окно своей башни, не могу различить ни единого огонька, хотя знаю, что в этот мартовский вечер город освещен всеми своими фонарями и лампами...

Я уже, можно сказать, кончил свои записки о том, что скопилось на сердце и просилось на бумагу, и теперь сижу, просматриваю написанное, чтобы проверить, не упущено ли по забывчивости что-нибудь существенное, а для этого я раскопал старый бабушкин семейный альбом — весьма импозантный фолиант, вздувшийся, точно река в половодье, от обилия вставленных в прорези и просто вложенных в него фотографий, в большинстве своем наклеенных на твердый картон с золотым обрезом, как диктовала тогдашняя мода. Переплет, от которого исходит сердцещипательный аромат лаванды и свершившихся судеб, обтянут плюшем, украшен потускневшей металлической розеткой и снабжен замочком, износившимся и давно уже не действующим. На собранных здесь многочисленных портретах (значительная часть которых помечена именем фотографа Кайля) можно увидеть почти всех, кто фигурирует в этой моей мемуарной повести, но удивительно, что многие лица на снимках выглядят совсем иначе, чем они мне запомнились.

■ ■ ■

Вот хотя бы лицо Отца. На всех четырех альбомных фотографиях он предстает человеком мягкого, чуть ли не смиренного нрава. Есть снимок, где лицо его выражает миролюбие и покладистость, граничащие прямо-таки с простодушной глуповатостью. А ведь он был крутой и норовистый человек, нередко бесцеремонно самовластный, вну-

шавший не только уважение, но и страх своим подчиненным и всем, с кем он был связан деловыми отношениями, а также и своим близким, даже Маме!

Тем не менее, как это ни странно, он пользовался расположением и даже любовью у своих работников, которых всегда держал в струне.

Отец поставил себе целью в жизни возродить пришедший в упадок Торговый дом Рёмера, этой цели он добивался с ревностным упорством, и мало-помалу ему удалось осуществить задуманное, хотя и не в полной мере, ибо предприятие так и не стало тем, чем оно было во времена моего Прадеда. Однако отец достиг этого дорогой ценой, лишив и самого себя, и окружающих немалой доли счастья и душевного мира.

Подобно многим деспотам идеалистического склада, Отец не был человеком, радевшим прежде всего о собственной выгоде. Его нельзя отнести к корыстолюбивым и алчным дельцам. В своих жизненных привычках он был до крайности прост и непритязателен, вставал всегда спозаранку, ходил чаще всего в допотопном, не знавшем сносу бушлате поверх светлого свитера, а любимым его блюдом была отваренная соленая рыба, обильно приправленная горчицей, с картофельным гарниром. Единственная роскошь, которую он себе позволял, это стаканчик-другой ромового грога в субботние вечера, когда он сидел за карточной игрой со своими верными друзьями и советчиками — Числителем, Знаменателем и бухгалтером Микельсеном, а по временам также смотрителем маяка Дебесом. К наружному блеску и почестям он относился с подозрительностью и неприязнью и дважды, насколько мне известно, отвечал отказом на предложение занять почетный консульский пост.

Однако пружиною деятельности Отца было, разумеется, отнюдь не то непреодолимое и самоотверженное желание облагодетельствовать ближнего, которое наивные души нередко приписывают капиталистам его типа, но некий дух неуемной предприимчивости и сопутствующее ей безудержное властолюбие. Тонким знатоком человеческой души Отец никогда не был, и его стремление главенствовать и командовать окружающими подчас выливалось в жестокую несправедливость, как это было, например, по отношению к тете Нанне, которую он упорно желал «пришвартовать» к пожилому смотрителю маяка Дебесу. (Из этого, однако, ничего не получилось, Смотритель остался вдовцом, а тетя Нанна так и не вышла замуж.) Но самые тяжкие, роковые последствия отцовское самовластие имело для бедного дяди Ханса, которого он посредством строгого обхождения рассчитывал превратить в положительного трудолюба вроде себя самого. Ему и в голову не приходило, что Ханс по природе своей был полнейшей его противоположностью: музыкально одаренный молодой человек, мечтатель и фантазер, в некотором роде эстет; сам же Отец не испытывал особого влечения ни к книгам, ни к музыке. Когда дядя Ханс однажды заикнулся, что хотел бы отправиться в Копенгаген, чтобы попытаться «сделать артистическую карьеру» (в чем он, несомненно, имел шансы преуспеть!), Отец отреагировал на это лишь громким презрительным смехом да ядовитым замечанием — мол, в таком случае ему (Хансу) стоит для начала пройти курс обучения у дядюшки Проспера.

Плохие отношения между Отцом и его молодым шурином постепенно настолько ухудшились, что они совсем перестали друг с другом разговаривать. Но потом в один прекрасный день дядя Ханс вдруг резко изменил поведение и, как говорится, «явился с повинной головой», после чего всем стало ясно, что Капитан и на этот раз сумел настоять на своем и выиграл сражение.

В этих нескончаемых раздорах между Отцом и дядей Хансом Мама держала скорее сторону дяди Ханса, в особенности что касалось одного из пунктов разногласий, а именно отношения к Розе-Куколке. Но лучше, пожалуй, привести здесь собственные высказывания Мамы в одном из ее писем к сестре Хелене в Копенгаген:

«Любезная сестра!

Пишу тебе опять с тяжелым сердцем, и виною тому невыносимо натянутые отношения между нашим братом и моим мужем. Хоть бы ты помогла мне добрым советом в моей нужде! Я ведь уже рассказывала тебе об этой Розе-Куколке, семнадцатилетней дочери Фины-Башмачихи, с которою Ханс забавлялся, играя в любовь, и для которой это плохо кончилось. Так вот, Йохан требует, чтобы Ханс всенепременно на ней женился, ибо «долг мужчины — отвечать за свои поступки и их последствия, как бы это ни было неприятно», что́, вообще говоря, конечно, правильно. Но так ли уж это правильно в случае с Розой-Куколкой? Все дело в том — поверь, мне трудно называть вещи своими именами, и, возможно, ты усмотришь в моих словах высокомерие и фарисейство! — но эта бело-розовая девчушка с неподвижным кукольным взглядом, она ведь, бедняжка, действительно психически неполноценное существо, она не только не умеет читать и писать, но даже и устно изъясняется с трудом и, право, нередко реагирует на происходящее, как пяти-шестилетний ребенок! При всем том, что слабодушие Ханса и его непростительные заблуждения и в самом деле способны вызвать негодование,— разве не очевидно, что для него, совсем еще молодого человека, было бы без преувеличения трагедией, окажись он на весь остаток своих дней прикован к такой женщине, как эта несчастная несмышленая Кукла! Другое дело, что он, разумеется, не может просто от нее отступиться, но обязан позаботиться о ней и содержать на свои средства ее и ребенка. Йохан же этого всего не понимает или, вернее, не хочет понимать. Он называет нас (меня и Ханса) неженками и трусами и считает, что «Ханс, который осушил столько сладких кубков, должен испить до дна и эту несладкую чашу» и тем самым научиться уважать собственное достоинство и стать «взрослым мужчиной»!

Но самое страшное, что таким манером он при создавшихся обстоятельствах легко может довести Ханса до отчаяния, и тот — долго ли до греха — не пожалеет самого

себя. Ты, конечно, понимаешь, о чем я говорю, так что пусть тебя не удивляет, что я ужасно несчастлива, живу в постоянном страхе и молю господа, чтобы он вразумил Йохана, да и Ханса тоже, их обоих. Однако покамест мольбы мои, к сожалению, тщетны. Напиши же мне несколько строк, любезная сестра, и, если можешь, дай добрый совет!»

■ ■ ■

Роза-Куколка — ее фотография тоже есть в старом альбоме — благородным овалом лица и невидящим, отрешенным взглядом похожа чуть ли не на святую, и ее можно бы, пожалуй, назвать писаной красавицей, если бы не рот, большой и невыразительный, с простовато оттопыренными губами.

После того как дядя Ханс подчинился воле своего зятя и сочетался браком с дочерью Фины-Башмачихи, отношения между ним и Отцом как будто улучшились и появилась надежда, что установятся наконец-то мир и лад. Дядя Ханс вернулся к своей работе в конторе Торгового дома Рёмера. Работа, которую он выполнял весьма умело и с необыкновенной легкостью, состояла главным образом в ведении обширной корреспонденции со средиземноморскими странами, закупавшими почти всю экспортируемую фирмой рыбу, а также с Данией и Англией, откуда выписывались все обычные ходовые товары.

После венчания, которое прошло без лишнего шума, новобрачные поселились в «Мельничном доме», старом и малоудобном, но вполне приличном,— в свое время он был построен королевским торговым управителем, действительным статским советником Рюбергом и находился в устье Мельничной речки, при впадении ее в Западную бухту, среди старых рёмеровских пакгаузов; вокруг дома был сад с высокими кленами.

О совместной жизни дяди Ханса и тети Розы совсем ничего неизвестно, за исключением разве того, что у каждого из них была своя спальня. Мама ласково опекала молоденькую невестку и пыталась, но, по-видимому, совершенно безуспешно сблизиться с нею и найти общий язык. Роза не отличалась умением готовить еду или вести домашнее хозяйство, зато садовыми работами занималась с превеликим рвением и усердием. Мама приставила к ней двух расторопных работников, чтобы они вместе привели в порядок старый запущенный сад, долгое время остававшийся без присмотра. Фина-Башмачиха тоже охотно в этом помогала, и скоро ревень, капуста и морковь дружно взошли в огороде, а розы, маки и красные лилии — в парадной части сада, так что тетя Роза могла посвятить себя прополке, которая, после плетения венков, была ее самым любимым занятием.

Ребенок, которого ждала тетя Роза, так и не появился на свет; зародившийся в ней плод покинул ее чрево вскоре после свадьбы — если только этот плод вообще когда-либо существовал, ибо злые языки (да и не только злые, кстати сказать) утверждали, что Роза-Куколка никогда и не была в положении, что это всего лишь фокус-покус, ловко подстроенный Финой-Башмачихой. Некоторая бесформенность, ставшая заметной в фигуре Розы, происходила будто бы просто-напросто от особо толстой нижней юбки, которую матушка напяливала на нее! Наводило на подозрение также и то, что при якобы происшедшем у нее выкидыше не присутствовали ни акушерка, ни врач, а только Фина и одна из ее близких приятельниц (Рикке-Испанка).

■ ■ ■

Брак дяди Ханса с Розой продолжался всего около полугода. С его фотографии той поры смотрит на нас бородатый юноша с лицом, отмеченным печатью покорности судьбе и самоиронии, но еще без следов отчаяния, которое вскоре сломит его,— отчаяния, которое приведет к тому, что жизненный путь его резко оборвется.

Никто никогда не узнает, можно ли говорить о самоубийстве или же это была просто отчаянная попытка бегства. Быть может, и то и другое вместе? Достоверно установлено лишь, что в это злополучное плавание, которое стало для него последним, дядя Ханс взял кое-какой провиант, а также что при нем было по меньшей мере две тысячи крон в английских банкнотах, когда он однажды прекрасным июньским утром, при легком северном бризе вышел из бухты на своей белой яхте «Нитуш».

В самом этом зрелище ничего необычного не было — дядя Ханс почти все свободное время проводил на борту своей яхты, когда погода этому благоприятствовала, а частенько уходил на ней в море и при достаточно сильном ветре, ибо постепенно превратился в настоящего морского волка, чье умение разбираться в ветрах и течениях признавали даже старые рыбаки и бывалые моряки.

В яхте «Нитуш» не было закрытых помещений, но на корме имелись подпорки и ободья для крепления парусинового навеса, который мог служить некоторой защитой от дождя и водяных брызг. Управляющий пакгаузами Антон, который в тот день поднялся чуть свет и случайно видел, как отчаливала от берега яхта дяди Ханса, слегка удивился, что навес, несмотря на ясную погоду, поднят. И еще ему бросилось в глаза, что яхта взяла курс на юг, в открытое море...

Дяде Хансу не суждено было вернуться с этой морской прогулки. Много дней подряд велись поиски пропавшего судна, но все было напрасно, и о судьбе дяди Ханса ничего неизвестно, если не считать того, что один из рёмеровских рыболовных баркасов, «Онли Систер», спустя три недели обнаружил «Нитуш», перевернутую кверху килем, где-то посредине между островом Судерэ и Шетландскими островами. Море в тех местах было тогда довольно бурным — бушевал летний шторм с силою ветра в десять-одиннадцать баллов и с громадными волнами.

■ ■ ■

После печальной кончины дяди Ханса тетя Роза некоторое время продолжала жить в Мельничном доме вместе со своей матерью. Позднее она по настоянию Отца была принята в нашу семью. Отец вообще постоянно проявлял заботу о вдове своего шурина. За столом ей выделили место по левую руку от него. Он относился к ней с добротою и вниманием, и она до конца дней оставалась по-детски предана ему.

■ ■ ■

Ах, эти лица, что глядят на меня из своего колумбария — с пожелтевших, покрытых пятнами страниц старого альбома,— им так не хочется быть забытыми, раствориться в небытии, и, право, все они, кого ни возьми, заслуживают торжественной эпитафии! Но где-то надо поставить точку — пусть это будет здесь.

■ ■ ■

В заключение, однако, в качестве своего рода envoi [1] несколько слов о лице дедушки Проспера.

В сущности, красивое мужское лицо, и, если ничего не знать, вполне можно подумать, что оно принадлежит человеку, склонному к глубоким философским размышлениям о той полной противоречий opera semiseria [2] жизни, в которой все мы, хотим мы того или не хотим, являемся актерами.

Дедушка Проспер прожил долго, почти до девяноста лет. Он охотно фотографировался и встречается в альбоме то на групповых снимках (где он непременно оказывается на переднем плане), то сам по себе, на «кабинетных портретах», на которых он выглядит личностью в высшей степени серьезной и респектабельной, я бы даже сказал, значительной, ибо дедушка Проспер обладал удивительной способностью изображать из себя человека, облеченного доверием и несущего на своих плечах бремя тяжелой ответственности.

На некоторых из этих фотографий на груди у него красуется серебряный крест — это медаль «За заслуги», награда, которой он удостоился за то, что во время королевского визита в наши края в 1907 году преподнес королю Фредерику Восьмому восемь богато и затейливо разукрашенных утиных яиц.

Эпилог

Я закрываю старый альбом с фотографиями и гашу свою лампу.

Все тот же снегопад и густая темень.

И от этого — головокружительное ощущение вневременности, выпадения из привычной цепи времен.

Сегодня — 29 марта 1974 года, свидетельствует календарь. Но ведь это, в сущности, случайность, что мы пишем 1974, а не 1874, или, к примеру, 1174, или же просто 74, да почему бы даже не 7474 или любой другой год, другое время, в какое капризным силам, вершащим людскими судьбами, заблагорассудилось бы выпустить в мир бренную и беспомощную человеческую снежинку!

Такие вот думаешь думы, сидя в своей темной башне на краю света и жизни и в праздном изумлении созерцая безмолвно роящуюся лавину снегопада.

■ ■ ■

Итак, это все?

Нет, еще не все: ты сидел, сидел, глядя в окно,— и тебя сморил сон. Да, так уж получилось: не в силах долее противиться, ты отдался блаженной дреме и окунулся в загадочную, полную лукавства стихию сновидений.

И что же тебе приснилось? Ну конечно, что ты опять ребенок. Но ах, какой странный — будто подкинутый троллями подменыш: уродливо сложенный, не по годам рассудительный, со слезящимися глазами и изрезанным скорбными морщинами лбом, а ясноглазые, беспечные и дерзкие дети, с которыми тебе так хотелось поиграть (чтобы снова, в последний раз, ощутить счастливую юную остроту их жизненного ритма), смеялись над тобою — без всякой злости или презрения, нет, просто снисходительно. И тогда ты тоже засмеялся в ответ, покорно, быть может, чуть горько, и удалился в свой мрачный резерват — туда, где тебе теперь место, ушел обратно в темень и тленность, под сень милосердного снегопада...

■ ■ ■

Ну теперь-то уж все?

Ах ты господи, нет! Вот еще что: когда я очнулся от своего легкого забытья, снегопад уже кончился и меж медленно плывущими грядами облаков сияли над бескрайним простором моря звезды — чудесный белый кристалл Капеллы, рыжий топаз Альдебарана, веселая девичья стайка туманных Плеяд, вечно юный резвый Орион со своим сверкающим поясом — вся волшебная небесная свита весны. А вдали, на горизонте, мерцал свет родного маяка, смертный огонек средь мириад бессмертных, но в этой глубокой, напоенной радостью весенней ночи — тоже звезда средь прочих звезд.

[1] Отсылка *(франц.)* — последняя строфа, содержащая обращение к особе, которой посвящено стихотворение.

[2] Полусерьезная опера *(итал.)*.

Критика

АЛЕХО КАРПЕНТЬЕР СЕГОДНЯ

Произведения знаменитого кубинского писателя Алехо Карпентьера пользуются в нашей стране широкой популярностью. Значителен вклад Карпентьера в мировую культуру.

Писатель активно сотрудничал и в «Иностранной литературе», начиная с публикации в 1960 году его эссе, специально написанного для журнала,— «Значение Льва Толстого для Латинской Америки». Ряд его произведений в русском переводе впервые увидел свет на страницах нашего журнала. В этом номере своими мыслями о творчестве Карпентьера с читателем делятся известные советские литературоведы С. Мамонтов и Ю. Дашкевич.

С. МАМОНТОВ

ОСУЩЕСТВИТЬСЯ В ДРУГИХ И С ДРУГИМИ...

Революция и интеллигенция в творчестве Алехо Карпентьера

На одной из улиц Парижа есть ничем не примечательный внешне кинотеатр с непритязательным названием «Нормандия». Но стоит переступить его порог — и вас охватит трепетное чувство благоговения: мемориальные надписи на стенах фойе говорят о том, что в этом помещении — где когда-то было кафе — «собирались и мечтали» Ленин, Горький, бывали здесь и Хемингуэй, Валери, Пикассо, Мальро и десятки других представителей интеллигенции разных стран, среди них и кубинец Алехо Карпентьер. Так, на небольшом клочке французской земли перекрестились судьбы мыслителей, писателей и художников, которых знают и любят миллионы людей во всем мире. Если вообразить себе некий вечно живой, не знающий границ интернационал передовых деятелей культуры — а он действительно существует, вдохновляя массовые социальные движения современности против империализма и войны,— то недавно ушедший от нас крупнейший романист, литературовед и музыковед Алехо Карпентьер занимает в нем видное место.

ХУДОЖНИК И ЕГО ОПЫТ

Карпентьер стоит в ряду наиболее читаемых мастеров слова наших дней. Он представляет первую страну Латинской Америки, успешно строящую социализм. Один из критиков метко назвал Карпентьера «человеком-мостом». И в самом деле, он — не только «человек-мост» между классическим наследием прошлого и социалистической культурой нового мира, но и между культурами разных континентов и эпохами: Европой и Америкой, Америкой и Африкой, эрой великих географических открытий и нашими днями с их заботами — все эти общечеловеческие реальности нашли отражение в его многочисленных, связующих время и пространство произведениях.

Широта карпентьеровского взгляда на мир, тесная связь писателя с латиноамериканской, европейской — в том числе русской,— а также африканской культурами, легко объясняются его происхождением и биографией. Хоть он по праву и считается кубинским, а шире — испаноамериканским классиком, его родители не были ни кубинцами, ни испанцами. Отец — француз, а мать — русская, познакомились еще в начале века в Швейцарии. Не находя себе места в «одряхлевшей» Европе, отец Карпентьера мечтал поселиться в «какой-нибудь новой стране, где все еще впереди», и с 1902 года молодая франко-русская чета обосновалась на Кубе, только что получившей формальную независимость. А Куба, так же как и многие другие страны Карибского бассейна, еще со времен работорговли стала одним из очагов новой, так называемой афроамериканской культуры по ту сторону Атлантики. На этом «культурном перекрестке», в преддверии грядущего социалистического века, и родился в 1904 году Алехо Карпентьер.

Еще подростком, под влиянием родителей, Карпентьер серьезно увлекся музыкой. Его отец — профессиональный архитектор, построивший в Гаване большое количество зданий, много времени уделял музыкальному самообразованию, а мать и бабушка были превосходными пианистками. Помимо музыки в семье господствовал дух французской и испанской классической литера-

туры. Находила живой отклик и национальная культура острова, формировавшаяся в русле «афроамериканизма». Мать будущего писателя близко познакомила его и с русской классикой, в частности с творчеством Чехова и Гоголя. Одновременно юный Алехо увлекается песенно-танцевальным фольклором кубинских негров и даже пишет ряд стихотворений и либретто для двух балетов на афрокубинские темы.

Симпатии и интерес к жизни угнетенного негритянского населения неизбежно привели молодого Карпентьера в ряды революционно настроенной молодежи. Он сближается с будущими основателями Компартии Кубы — Рубеном Мартинесом Вильеной, Хулио Антонио Мельей, Хуаном Маринельо, а в 1927 году по обвинению «в коммунизме» попадает в тюрьму, где пишет свой первый роман из жизни кубинских негров «Экуэ-Ямба-О!». После условного освобождения и нелегального выезда из страны Карпентьер до 1939 года живет в изгнании во Франции, работая в области музыкальной критики, драматургии для театра и радио, а также сотрудничая в ряде литературных периодических изданий. Кульминационным событием предвоенных лет в его жизни стал Второй Международный конгресс писателей в защиту культуры, проходивший в охваченной национально-освободительной войной Испании, на котором Карпентьер (а вместе с ним Николас Гильен, Хуан Маринельо, Феликс Пита Родригес) представлял кубинскую интеллигенцию.

С 1939 по 1945 год писатель живет в Гаване, затем поселяется в столице Венесуэлы Каракасе, много путешествуя и целиком отдавшись журналистике, литературе и музыковедению — его второй профессии. Лишь в 1959 году, после победы Кубинской революции, Карпентьер возвращается на родину, активно участвует в построении нового общества. Он вице-президент Национального совета по культуре, директор Национального издательства Кубы, один из организаторов Союза писателей и деятелей искусств Кубы (УНЭАК), депутат Национальной ассамблеи народной власти, а с 1968 года — министр-советник по вопросам культуры кубинского посольства во Франции,— этот пост Карпентьер занимал до своей скоропостижной смерти в Париже весной 1980 года.

БЫТЬ РЕВОЛЮЦИОНЕРОМ — ЗНАЧИТ УЛУЧШАТЬ СУЩЕЕ

В условиях острой идеологической борьбы, которой охвачен современный мир, никто, даже открытые враги Кубинской революции, не отваживались упрекать Карпентьера в ненависти им «завербованности», она — увы! — нередко просто синоним плохой литературы. Ибо его высшая завербованность состояла в том, чтобы быть первоклассным мастером слова и этим орудием познавать и улучшать мир. «Писать — это способ действовать»,— говорил Карпентьер, никогда не отождествляя, однако, искусства с политической пропагандой.

Тонкий художник-эрудит Алехо Карпентьер страстно отстаивал преобразующую, социально-критическую функцию литературы. В то же время он отнюдь не принадлежал к довольно распространенной на Западе (да и не только на Западе!) породе интеллигентов-«ниспровергателей», которые видят долг писателя и сущность писательского труда лишь в вечном нонконформизме, в критике устоев всякого общества, независимо от его характера и конкретного исторического момента. Однако предоставим слово самому Карпентьеру: «Кто-то писал, что интеллигент — это тот, кто говорит «нет». Эта достаточно несложная идея приобрела оттенок, типичный для любого общего места... Ибо систематическое «нет», превратившееся в манию отказа, в навязчивую гордыню «не давать себя вовлечь», в ряде случаев становится столь же абсурдным, как и возведенное в абсолют «да»... Ответы «да» или «нет» зависят от принципов, и важно не ошибиться в их выборе. От следования принципам зависит наше будущее, жизнь тех, кто сопровождает нас в наших трудах в Царствах земных» [1].

Среди революционных деятелей культуры можно найти убежденных хранителей и защитников непреходящих духовных ценностей и «вечных бунтарей», сторонников решительного, порой самого радикального их «обновления». Карпентьер, несомненно, тяготел к первым. Ему была особенно близка замечательная ленинская мысль: «Марксизм завоевал себе свое всемирно-историческое значение как идеология революционного пролетариата тем, что марксизм отнюдь не отбросил ценнейших завоеваний буржуазной эпохи, а, напротив, усвоил и переработал все, что было ценного в более чем двухтысячелетнем развитии человеческой мысли и культуры» [2]. И при жизни Ленина, и в наши дни особую роль в «переработке» и «усвоении» классического наследия выполняет прогрессивная интеллигенция, роль которой в современном мире неуклонно возрастает. В условиях общего кризиса капитализма она численно растет, все теснее связывает себя с революцией, оказывает заметное влияние на средства массовой информации и, будучи одним из важнейших факторов интернационализации культуры, все успешнее преодолевает барьеры национальной разобщенности.

«Великий труд человека на этой земле состоит в том, чтобы стремиться улучшить сущее»,— не уставал повторять Карпентьер, считая революцию естественным инструментом преобразования действительности. История для него — прежде всего созидание, сохранение лучшего, а не бесконтрольное разрушение, часто порождаемое невежеством. А невежество, говорил Карпентьер, возникает тогда, когда люди не желают знать и не любят своего прошлого. «Правда состоит в том, что мы движемся вперед не лицом: мы движемся спиной, глядя в минувшее, которое с каждым оборотом Земли обогащается на двадцать

[1] А. Карпентьер. «Общественная роль романиста» в кн. «Кубинская публицистика». М., «Прогресс», 1981, с. 338.

[2] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, с. 337.

четыре часа, прибавляемых к предыдущим» [1],— писал он.

ДВЕ РЕВОЛЮЦИИ — ДВА ВИДЕНИЯ РОМАНИСТА

В обширном наследии писателя [2] тема революции и судеб интеллигенции в ней — одна из ведущих. Но особенно ярко она воплощена в двух произведениях, которые, по мнению многих критиков, являются лучшим из всего созданного Карпентьером: «Век Просвещения» (1962) и «Весна священная» (1978) [3]. Их успех неудивителен, ибо в конечном счете личный опыт самого писателя и бурное время, в которое он жил, стали главным исходным материалом в работе над художественным текстом. Осмысляя сущность революционного процесса — со всеми его неизбежными издержками — и роль в нем персонажей-интеллигентов, часто выступающих как alter ego автора, Карпентьер берет два величайших, хотя и неравнозначных момента в истории человечества: французскую буржуазную революцию XVIII века и Великую Октябрьскую социалистическую революцию в России 1917 года, победа которой определила судьбы современного мира и его собственной родины — Кубы.

Оба романа отличаются широким охватом событий, населены большим количеством персонажей, в том числе исторических; их действие протекает на обширных пространствах, а в качестве главных героев выступают молодые люди из образованной, материально обеспеченной среды, внутренне близкие самому автору. И хотя в обоих произведениях есть и остросюжетность, и достаточно откровенная любовная интрига, не они составляют основное содержание этих книг. Карпентьер признавался, что его по-настоящему увлекали лишь исторические темы, «движение крупных человеческих масс», а не превратности любви его персонажей. И в «Веке Просвещения», и в «Весне священной» две духовные родины автора — Европа и Латинская Америка — представлены в неразрывном единстве, как сообщающиеся сосуды революционных идей, колыбель общей богатейшей культуры. На этом, пожалуй, и кончается сходство между обоими произведениями. В остальном, и самом главном, они образуют своеобразную антитезу: такую же, какая существует между революцией буржуазной и революцией социалистической, между Карпентьером, не знавшим практики строительства социализма на Кубе, и Карпентьером — активным участником этого строительства. Отсюда — и различное видение событий, описываемых в обеих книгах, и диаметрально противоположная их тональность. Первая книга — это прежде всего роман-разоблачение, роман-осуждение, заметно тронутый пессимизмом, не закрывающим, однако, исторической перспективы («слова не падают в пустоту», «люди могут заблуждаться, но идеи пробивают себе дорогу»). Вторая — роман-утверждение, роман-исповедь в верности революционным идеалам, проникнутый верой в их непреходящую ценность и неразрывную связь с мировой культурой.

РЕВОЛЮЦИЯ, НЕ ОПРАВДАВШАЯ НАДЕЖД

Заголовок романа «Век Просвещения» содержит скрытую иронию. Не столько о просвещении, сколько о жестоких и кровавых событиях повествуется на его страницах, рисующих последствия распространения идей буржуазной революции в заморских владениях Франции на рубеже XVIII—XIX веков. Объединяющим центром повествования является Куба, а многие эпизоды книги развертываются во Франции и Испании. Блестящее изображение исторической и природной среды Карибской Америки на заре независимости испанских колоний, строго документальное описание событий, прекрасно очерченные характеры, стройное развитие сюжета, насыщенного приключениями, сценами насилия, человеческой солидарности — таковы некоторые внешние приметы этого эпического романа, имеющего большой философский подтекст. Всем содержанием своей книги автор дает нам понять, что XVIII век — «век Просвещения» — завершается сначала взлетом чистых революционных идеалов, а затем оргией крови и торжеством дорвавшихся до власти буржуа. Правда, исторический скепсис романа несколько смягчается его эпиграфом из «Зогара» [1]: «Слова не падают в пустоту». Этот эпиграф сам Карпентьер объясняет так: «Когда лозунги французской революции, казалось, были во Франции сведены на нет термидорианскими репрессиями, ее идеи продолжали распространяться и давать плоды в Америке, и многие из них на Кубе» [2].

Ирония, сарказм, недвусмысленное осуждение крайностей и «перехлестов» французской буржуазной революции при поверхностном чтении книги местами могут быть поняты как неприятие автором революционной практики вообще. Недаром по этому поводу один из студентов Нью-йоркского университета даже обратился в 1972 году к Алехо Карпентьеру с письмом, где просил автора «Века Просвещения» разъяснить свое отношение к марксистской идеологии, ссылаясь на мнение своего профессора, известного историка латиноамериканской литературы Э. Андерсона Имберта. Ответ Карпентьера был однозначен и категоричен: «Вы можете передать Вашему профессору, что я — марксист по своим взглядам, по своей деятельности и по тем обязанностям, которые я выполняю в повседневной жизни. А что касается моего творчества, то я очень скоро опубли-

[1] "Recopilación de textos sobre Alejo Carpentier". La Habana, 1977, p.24.

[2] Карпентьером написаны романы и повести: «Царство земное» (1949, рус. пер. 1962), «Потерянные следы» (1953, рус. пер. 1964), «Век Просвещения» (1962, рус. пер. 1968), «Погоня» (1956, рус. пер. «ИЛ», 1974, № 8), «Превратности метода» (1974, рус. пер. «ИЛ», 1977, № 9, 10), «Концерт барокко» (1974, рус. пер. «ИЛ», 1982, № 4,) и др., большинство из которых вошло в двухтомник: «Алехо Карпентьер. Избранные произведения». М., «Художественная литература», 1974.

[3] Роман «Весна священная» вышел в свет в издательстве «Радуга», М., 1982.

[1] Одно из произведений средневековой религиозно-мистической литературы.

[2] "Recopilación de textos. . .", p. 31.

кую роман объемом более шестисот страниц (имеется в виду «Весна священная».— *С. · М.),* где наряду с утверждением подлинной Революции, какой является революция на Кубе, я выражу (без поучений и проповедей) свои марксистские идеалы так, что они не вызовут никаких сомнений» [1].

Во Французской буржуазной революции зоркий взгляд Карпентьера-историка и философа обнаруживает ряд социально-психологических черт, которые он не приемлет и которые принципиально чужды революционной практике рабочего класса. Это и политический экстремизм, и продажность политических лидеров, и их настороженное отношение к людям умственного труда, и массовое выдвижение демагогов в государственной жизни и культуре, и подозрительность ко всему «иностранному», и пропагандистское манипулирование общественным сознанием. Устами старого типографа Лёйе, печатавшего правительственные документы, Карпентьер так говорит о политических деятелях той эпохи: «...к каким только уловкам ни прибегают при пропаганде высоких идеалов, чтобы создать иллюзию, будто идеалы эти воплощены в действительность, хотя на самом деле этого не произошло, ибо самые лучшие намерения до сих пор приводили к самым неожиданным и ужасным последствиям» [2].

ТРИ ПЕРСОНАЖА — ТРИ ПОЗИЦИИ

Наиболее ярким воплощением «ужасных последствий» французской революции в романе «Век Просвещения» является метаморфоза Виктора Юга. Это едва ли не один из наиболее впечатляющих в современной литературе образов буржуазного интеллигента, ставшего волей судьбы профессиональным «политиком»: для него важны уже не идеи, а сам процесс их распространения и насаждения, независимо от содержания, даже ценой бесчисленных человеческих жизней. Это ему принадлежит весьма многозначительная и на первый взгляд такая невинная фраза: «О Революции не рассуждают, ее делают». Он и «делал» ее при всех обстоятельствах и всеми способами: начав с пламенной пропаганды «свободы, равенства и братства», первым привез в Америку гильотину и пустил ее в ход, выполняя декреты Парижа об отмене рабства и религии в колониях, а позднее сам восстанавливал это рабство, а вместо религии насаждал робеспьеровский культ «Верховного существа»; он же в конце головокружительной карьеры стал губернатором Гвианы, где находилась знаменитая политическая каторга, где закончили свои дни многие его бывшие соратники по борьбе. Словом, это был человек, который держался «на плаву» при всех режимах и с одинаковой легкостью и усердием проводил в жизнь идеи якобинства, деятелей термидора, бонапартизма и— можно подозревать — последующей Реставрации. В ходе революции его состояние перевалило за миллион ливров. И все же Карпентьер характеризует Виктора Юга отнюдь не однозначно: «...его историческая деятельность — мужественная, честная, героическая на первом этапе, соглашательская, противоречивая, корыстная, а иногда даже циничная на втором этапе — рисует нам образ человека необыкновенного, поведение которого было отмечено трагической двойственностью» [1].

Примечательнее всего то, что Виктор Юг — реально существовавшее лицо. Карпентьер был первым, кто, опираясь на довольно скудные печатные и архивные сведения, собранные во Франции и на Антильских островах, сделал Виктора Юга литературным персонажем. При этом вся фактографическая канва жизни Юга самым тщательнейшим образом выверена автором по историческим источникам. И уж совсем удивительна история, связанная с Виктором Югом и рассказанная Карпентьером в послесловии ко второму изданию знаменитого романа: в Париже его отыскал один из дальних потомков антильского революционера и познакомил с фамильными бумагами, которые не только подтвердили многие факты биографии Юга, «домысленные» автором (что Юг был масоном, некоторое время жил в Гаване и любил женщину, действительно носившую имя София!), но и свидетельствовали о том, что предок самого Карпентьера по отцовской линии встречался с Виктором Югом. Взятый из жизни образ Виктора Юга, его блестящая социально-психологическая обоснованность помогают лучше понять роль субъективного фактора в истории. Читатель воочию видит, как некогда горячее сердце и высокий ум этого революционера-интеллигента, человека во всех отношениях незаурядного, не выдержав испытания властью, становятся орудием контрреволюции.

Но, конечно, о роли и месте интеллигенции в освободительном движении на Антилах нельзя судить лишь по духовной эволюции Виктора Юга, хотя он как нельзя лучше иллюстрирует известный марксистский тезис об интеллигенции как прослойке, в целом выражающей интересы господствующего класса и находящейся у него на службе. Кроме этого типичного представителя ранней буржуазной интеллигенции, продающего свою волю и ум поднимающемуся классу, в романе действуют и интеллигенты другого типа — племянник и дочь гаванского негоцианта Эстебан и София,— образы которых по мере развития сюжета все больше противостоят Виктору Югу.

По признанию самого Карпентьера, Эстебан во многом воплощает второе «я» писателя на этапе, предшествовавшем победе Кубинской революции. Совпадают даже день и месяц рождения автора и его рефлектирующего персонажа: 26 декабря — дата, которую Карпентьер сознательно приводит в самом начале книги. При первой встрече с Югом молодой кубинец Эстебан сразу же становится его пламенным сторонником и помощником в трудной и опасной деятельности профессионального «политика» той поры. Но когда буржуазная революция начинает развиваться

[1] «Casa de las Américas», 1981, №125, p. 71.
[2] А. Карпентьер. Избранные произведения, т. II, с. 166.

[1] А. Карпентьер. Избранные произведения, т. II, с. 362.

по собственным законам, независимым от идеалов и воли Эстебана, он открыто критикует ее и спорит со всемогущим и страшным в своем прагматическом фанатизме Югом. «Нечего и говорить, что подобного рода дихотомию, установившуюся между Виктором Югом и Эстебаном, можно было не раз наблюдать в истории (и особенно часто — в Латинской Америке)»,— замечает по этому поводу Карпентьер [1]. Эстебан, по мысли автора,— интеллигент в онтологическом смысле слова и как таковой с твердостью и достоинством, хотя и безуспешно, выполняет миссию «облагораживания» и «гуманизации» одного из руководителей французской буржуазной революции, приехавшего в Карибскую Америку,— Виктора Юга. Когда же его кумир вырождается в тюремщика и прислужника Наполеона, Эстебан переживает глубокий идейный кризис. Верный высоким идеалам, вместе с Софией он, как можно предположить, гибнет от пуль французских оккупантов на баррикадах Мадрида в день народного восстания 2 мая 1808 года.

Образ Софии, наиболее полнокровный женский образ романа,— еще одна «модель поведения» интеллигенции в революционном процессе. София не только сильный, незаурядный человек, но и настоящая женщина. Она гораздо менее рационалистична, чем Юг, менее склонна к рефлексии, чем Эстебан, и, по словам автора, более, чем они, «способна почувствовать и понять глубинные силы, которые движут революцией» [2]. Она готова идти с Виктором Югом до конца и отрекается от него, лишь убедившись в его полном отказе от революционных идеалов. София отнюдь не отождествляет революцию с судьбой и моралью любимого человека. Ее вера в революцию остается неколебимой даже тогда, когда многим кажется, что революция погибла. Не в пример Эстебану, заблудившемуся в лабиринтах абстрактного гуманизма, она приемлет революцию целиком, со всеми издержками и эксцессами, утверждая: «Великие завоевания человечества всегда достигались ценою страданий и жертв» — и вкладывая в эти слова вполне конкретную и осознанную ненависть к прогнившему колониальному обществу.

РЕВОЛЮЦИЯ ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ

Сам заголовок романа — «Весна священная» (позаимствованный у одного из балетов Игоря Стравинского с разрешения композитора) легко может быть прочтен как «Революция священная», на что, в частности, указывает и латиноамериканская критика [3]. На этот раз Карпентьер стремится не просто нарисовать, но воспеть революцию, создать гимн обновлению мира, величественную, многоцветную «фреску современной эпохи».

К своему, по выражению автора, «самому политическому, решительно и безоговорочно революционному роману» Карпентьер шел нелегким путем. Прежде всего сыграла роль его приверженность к известной теории «исторической дистанции». Действительно, «большое видится на расстоянье», и, органически объединив в своей книге две революции — русскую и кубинскую, Карпентьер хотел взглянуть на них уже с высоты опыта наших дней. Он неоднократно признавался, что в начале революционного процесса на Кубе, когда события развивались с головокружительной быстротой, обгоняя самое смелое воображение, ему было трудно понять их общечеловеческую значимость.

В книге Карпентьера перед читателем проходит немало городов Европы и Америки — Валенсия, Баку, Петроград, Лондон, Париж, Гавана, Мадрид, Нью-Йорк, Каракас и вновь Гавана, где живут, страдают и борются многочисленные персонажи книги, и прежде всего главные — русская эмигрантка, балерина Вера, и ее друг, а впоследствии муж, кубинец Энрике. Повествование ведется попеременно — то от лица Энрике, то от лица Веры. В их индивидуальных судьбах отражается полувековая история Кубы, победа революции в России, быт эмиграции, народно-революционная война в Испании, вторая мировая война, вступление повстанцев Фиделя Кастро в Гавану, разгром наемников на Плайя-Хирон и другие важнейшие события истории начала 60-х годов нашего века.

Современная философия, культура, политика, поэзия, живопись, музыка, архитектура, наконец, любовь — вся гамма интересов представителя передовой интеллигенции Карпентьера находит отзвук на страницах книги. Выходец из богатой аристократической семьи, Энрике проделывает путь от избалованного юнца до солдата Революции, сначала в республиканской Испании, позднее — на Кубе в рядах «милисианос» на Плайя-Хирон. Вера, в свою очередь трудно и мучительно, в течение десятилетий преодолевает психологию своего класса и уже в зрелом возрасте приветствует Кубинскую революцию. Оба приходят к революции благодаря широкой культуре, высокому нравственному чувству, горячему стремлению служить освобожденному народу: она — в качестве балетмейстера, он — в качестве архитектора, строителя новой Кубы. Роман «Весна священная» по содержанию и духу можно сравнить с трилогией Алексея Толстого «Хождение по мукам» —и русский и кубинский авторы пишут о путях (и перепутьях) лучшей части интеллигенции в эпоху ломки вековых устоев.

Тема судеб мировой культуры в XX веке (в тесной связи с революционными процессами) — одна из ведущих на страницах романа «Весна священная». Она находит отражение не только в форме размышлений, воспоминаний и «внутренней речи» его Веры и Энрике, «рядовых» интеллигентов нашего бурного времени, подхваченных вихрем революции, но и в многочисленных, живых образах выдающихся писателей, художников и артистов современности, с которыми эти герои, как и их демиург Карпентьер, встречались на трудных дорогах жизни. Здесь и Поль Робсон, и Диего Ривера, и Ле Корбюзье, и Андре Бретон, и Эрнест Хемингуэй, и, конечно

[1] "Recopilación de textos. . .", p. 30.
[2] Там же.
[3] См. "Enfoque internacional", 1979, №10, p. 38.

же, наши соотечественники — окружение Веры,— занесенные на Запад, как и она, октябрьской бурей: Анна Павлова, Сергей Прокофьев, Игорь Стравинский, Сергей Дягилев, если говорить лишь о самых известных. Естественно, Карпентьер не показывает их крупным планом (для этого не хватило бы романного времени), лишь упоминая в нескольких словах обо многих; однако их многочисленность и встречи с ними вымышленных персонажей — Веры и Энрике — создают своеобразный культурно-интеллектуальный фон романа и придают ему мемуарную достоверность.

Сравнивая романы «Век Просвещения» и «Весна священная», можно заметить и еще одну особенность: в первом из них почти не показаны связи главных героев с простым народом, фактическим творцом истории, да и сам народ изображен в виде анонимной, хотя и грозной стихийной массы. Другое в «Весне священной». У Энрике, и особенно у Веры, много друзей, последователей и учеников, общение с которыми в конце концов и приводит их к признанию революционных идеалов. Именно в единстве с народом, с его конкретными и ярко индивидуализированными представителями находят силы для борьбы Энрике и Вера, в противоположность Виктору, Эстебану и даже Софии.

Особая роль отведена в романе довольно обширной группе «проходных», второстепенных персонажей, которых также можно отнести, хотя порой и с определенной долей условности, к интеллигенции. Таков, например, первый муж Веры, французский коммунист Жан-Клод, погибший при защите Испанской республики; или трубач-мулат Гаспар Бланко, тоже коммунист, прототипом которого послужил друг Карпентьера, кубинский музыкант Хулио Куэвас; или друг детства Энрике, несостоявшийся художник, презирающий свой буржуазный класс — Хосе Антонио; или первая любовь Энрике — студентка-музыковед Ада из семьи немецких евреев, исчезнувшая в фашистских лагерях смерти. Эти персонажи, при всем несходстве характеров и политических симпатий, являются носителями нового мироощущения, уже несовместимого с прежним порядком вещей. И здесь нельзя не вспомнить известную мысль В. И. Ленина о социально-психологической роли интеллигенции — своеобразного, высокочувствительного сейсмографа общественных умонастроений различных социальных групп. Накануне первой русской революции 1905 года В. И. Ленин писал: «...интеллигенция потому и называется интеллигенцией, что всего сознательнее, всего решительнее и всего точнее отражает и выражает развитие классовых интересов и политических группировок во всем обществе» [1].

Пожалуй, у Карпентьера нет произведения, так полно вместившего внутреннюю эволюцию и внешние факты его собственной судьбы, как «Весна священная». На закате жизни писатель словно стремится подвести ее итог. Действительно, не только хронологические рамки романа (1914—1961), но и его «география» даже в деталях заставляют нас вспомнить жизненный путь писателя. Главный герой Энрике, история его нравственных исканий — во многом это и сам Карпентьер, и история его прихода в Коммунистическую партию Кубы.

Что касается Веры, то она в значительной мере списана с матери романиста, а также с другой русской эмигрантки из провинциального кубинского городка Баракоа (первоначально роман должен был называться «Русская из Баракоа»). Мать писателя до ареста сына в 1927 году считала себя антикоммунисткой, а потом... стала переводить на испанский язык советские романы. Застигнутая войной в Париже, она была арестована гестапо за антифашистскую деятельность сына, бежала в отряды французского Сопротивления и «завершила свой жизненный путь в Гаване, окруженная молодыми коммунистами, которым давала уроки русского языка, целиком связав себя с кубинским революционным процессом». Ну а Вера? Она тоже оказалась в эмиграции, среди врагов советской власти, тоже подолгу жила во Франции и, когда революция, от которой она спасалась всю жизнь, настигла ее наконец на Кубе, посвятила себя обучению детей кубинских рабочих и крестьян секретам балетного мастерства.

Для тех, кто интересуется сложной, часто трагической судьбой российской послереволюционной эмиграции на Западе с ее медленным, порой неполным выздоровлением от дурмана антисоветчины, книга Карпентьера представляет особый интерес. Русские люди, оторванные от Родины — а у Карпентьера это, как правило, интеллигенты,— показаны автором, кубинским коммунистом, с мудрым сочувствием и в то же время с ясной классовой оценкой их заблуждений и исторической неправоты. Без преувеличения можно сказать, что русская тема за всю историю литератур Латинской Америки никогда не находила столь заинтересованного и глубокого отражения, как в романе Карпентьера «Весна священная». Интерес к России — родине его предков — в конце жизненного пути дал новый импульс творчеству писателя.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Итак, в чем же общая — и главная! — мысль двух лучших романов кубинского классика? Революция и интеллигенция, интеллигенция и народ, народ и многовековая прогрессивная культура — вот понятия, которые нельзя ни противопоставить, ни разделить. Вообразим фантастическую ситуацию: герои обеих книг, София и Эстебан, Энрике и Вера — творения внутреннего «я» самого писателя,— встречаются в сегодняшней, помолодевшей Гаване. Они бы наверняка подружились и нашли общий язык. И вместе с нами и с Карпентьером сошлись бы на неоспоримой истине: подлинным интеллигентом может считаться лишь тот, кто стремится осуществиться в других и с другими. Ибо тот, кто больше знает, может и обязан больше сделать для блага живущих рядом людей, и если интеллигент изменяет революционному народу, он тем самым изменяет самому себе и вскормившей его культуре.

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 7, с. 343.

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ

НА УЛИЦЕ ЭМПЕДРАДО, В СТАРОЙ ГАВАНЕ

Заметки участника симпозиума, посвященного творчеству Алехо Карпентьера

Сорок первая страница, заложенная в пишущую машинку, так и осталась недопечатанной, последняя строка едва достигла половины листа... Внезапная смерть Алехо Карпентьера незадолго до полуночи 24 апреля 1980 года оборвала его труд над новым произведением. И уже никто не сможет прочесть задуманный им роман «Правдивая история» о выдающемся французском революционере, родившемся на Кубе, Поле Лафарге.

Близ пишущей машинки лежат книги, они были нужны знаменитому писателю для работы над романом: том опубликованных в Париже писем Карла Маркса, соратником и впоследствии зятем которого был Поль Лафарг, и труды В. И. Ленина, назвавшего Лафарга одним из «...самых талантливых и глубоких распространителей идей марксизма»[1]. Рядом — сочинения национального героя Кубы Хосе Марти, виднейшего перуанского марксиста Хосе Карлоса Мариатеги, произведения французских романистов — современников Лафарга (вспомним, что ему принадлежат литературоведческие очерки), справочники по истории религиозных верований (вспомним, что он — автор работ по проблемам атеизма), уже не говоря о написанном самим Лафаргом. На стенах — фотографии Алехо Карпентьера в разные периоды его жизни.

В соседнем зале экспонированы под стеклом произведения Карпентьера, в том числе — на многих языках мира (не скрою, приятно было увидеть двухтомник его избранных романов, повестей и новелл, выпущенный московским издательством «Художественная литература» и врученный нами ему лично в день семидесятилетия автора в декабре 1974 года в Гаване, а также его роман «Превратности метода», вначале напечатанный журналом «Иностранная литература», затем вышедший в издательстве «Молодая гвардия» отдельной книгой с предисловием автора данной статьи).

Выставка эта размещена в старинном дворце, некогда принадлежавшем графине де ла Реуньон, на улице Эмпедрадо, в сердце Старой Гаваны — того района кубинской столицы, что почти два десятилетия назад был восславлен Алехо Карпентьером в эссе «Город колонн», а недавно объявлен по решению ЮНЕСКО патримониумом, историческим заповедником международного значения. Между прочим, даже название этой узенькой улочки, скорее переулка, Эмпедрадо (в переводе с испанского: Мощеный) явно пришло из средневековья, когда мостовые тут, видимо, были еще редкостью; и от тех далеких времен сохранилась традиция с наступлением ночи перегораживать улицу цепью, дабы воспрепятствовать проезду нездешних,— традиция, соблюдаемая столь же свято, как раздающийся точно в девять вечера и тщетно призывающий к отбою неизменный пушечный выстрел из находящегося неподалеку форта Ла Кабанья, крупнейшей заокеанской крепости, выстроенной давным-давно испанцами для обороны города и порта от набегов английских и прочих пиратов.

Воздвигнутый в стиле барокко колониальной эпохи дворец графини стал в наши дни достоянием истории кубинской литературы, хотя в этом нет никаких заслуг ни сиятельной аристократки, ни ее родича дона Сантьяго де ла Куэста, графа де ла Реуньон, отошедшего в мир иной еще в первой половине прошлого века.

Раскроем роман Алехо Карпентьера «Век Просвещения» — будто машина времени переносит нас в этот дворец.

Да, по свидетельству писателя, именно в этих стенах развернулось действие первых и многих других глав замечательного произведения, известного и советским читателям. На страницах романа впечатляюще предстает все своеобразие дворца, мастерски воссозданное пером Карпентьера, непревзойденного певца барокко Латинской Америки.

Здесь, на улице Эмпедрадо, № 215, мы как бы встречаемся с трагическими тенями персонажей «Века Просвещения», обитавших в Гаване конца XVIII века. Тут жили трое молодых кубинцев — София, Эстебан и Карлос, связанные между собой родственными узами, ставшие на первых порах свидетелями, а позднее — в той или иной степени — участниками событий, вызванных на Антильских островах буржуазной революцией во Франции. Как раз сюда прибыл негоциант из гаитянского города Порт-о-Пренса по имени Виктор Юг, оказавшийся эмиссаром французской революции, в судьбе которого роковым образом отразились противоречия и превратности революционного процесса; пришелец вторгся в жизнь юных кубинцев, волей-неволей изменив и их судьбы.

Уже знакомы нам, впервые вступившим во дворец на Эмпедрадо, и эта обитая гвоздями, укрепленная массивными запорами парадная дверь под нависшим по всему фасаду балконом, перед которой остановился экипаж Карлоса, открывая своим появлением повествование в «Веке Просвещения», и эти изрядно выщербленные каменные плиты внутреннего двора — патио, по которым пробегала мечтательная София, и эти ажурные галереи второго этажа, опоясывающие патио, и легкие балюстрады с изящными колоннами, и перила крутой лестницы, и просторный салон, где висело полотно некоего неаполитанского живописца «Взрыв в кафедральном соборе» — «пророческий холст, нарушавший все законы пластики, чуждый всем художественным школам», магически притягивавший к себе вни-

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, с. 387.

мание Эстебана и претворившийся чуть ли не в лейтмотив романа...

А в довершение всего пишущему данные строки, находясь во дворце вместе с кубинскими товарищами, довелось как-то вечером быть очевидцем обрушившегося на Гавану тропического ливня, под порывами которого жалобно заскрипели жалюзи, застонала черепичная кровля, с нее низвергались в патио потоки воды, по галереям с шумом пролетали вихри — и в памяти всплывала картина разбушевавшейся стихии в «Веке Просвещения», словно предвестившей приближение тяжких испытаний в революционной буре и заставившей всех — Софию и Виктора Юга, Эстебана и Карлоса — начать было действовать сообща.

Под этим же кровом, спустя годы, вернувшийся из дальних странствий с Виктором Югом Эстебан встретил вышедшую замуж Софию, постигшую многое, ее брата Карлоса, ее мужа Хорхе,— встретились они на пороге нового столетия, чтобы, после смерти Хорхе, вновь разлететься по свету.

От дворца по улице Эмпедрадо весьма быстро можно дойти до набережной — в далекое время «Века Просвещения» тут, в гавани, стоял парусник, на котором в неведомые дали отбывала София, решившая вырваться из «постылого дома», из окружавшей ее среды — «в поисках лучшего». По всем признакам с этого места Эстебан безуспешно отговаривал ее от пути в неизвестное, не предполагая, что предстоит им быть вместе в Мадриде, вместе ринуться в бой на стороне испанских патриотов.

Восстановленный, наряду с другими историческими памятниками Старой Гаваны, бывший дворец графини де ла Реуньон ныне передан Центру культурного развития имени Алехо Карпентьера.

Центр был создан, как отмечается в декрете Совета министров Кубы, подписанном Фиделем Кастро и членом Политбюро ЦК Коммунистической партии, министром культуры Армандо Хартом Давалосом, «...поскольку Алехо Карпентьер лучшее в своем литературном труде посвятил отражению жизни народов Латинской Америки и сумел на передовой линии идеологической борьбы блестяще отстаивать прогрессивные и демократические принципы нашего времени... поскольку жизнь и творчество Алехо Карпентьера, отдавшего свой талант и свое перо служению Кубинской социалистической революции, должны быть широко известны всему нашему народу и всему миру... поскольку знаменитый писатель всегда был озабочен тем, чтобы общим достоянием стали новые ценности литературы и искусства Кубы и Латинской Америки, Карибского региона, и чтобы стимулировалось культурное развитие наших народов...».

Согласно этому же декрету № 98 от 7 октября 1981 года, Центру поручено, в частности, направлять исследования жизни и творчества Алехо Карпентьера, содействовать наибольшему распространению его произведений внутри страны и за ее рубежами, «способствовать созданию новых литературных ценностей путем предоставления стипендий, оказания материальной и иной помощи писателям», проводить литературные конкурсы, присуждать премии имени Алехо Карпентьера.

Возглавляемый Лилией Эстебан, вдовой писателя, и ее динамичным заместителем Омаром Гонсалесом, Центр имени Алехо Карпентьера начал развертывать активную деятельность — в прежде тихих покоях дворца на Эмпедрадо закипела жизнь.

В связи с исполнившимся двадцатилетием первой публикации романа «Век Просвещения» и днем рождения его автора в Центре состоялся большой международный симпозиум с участием кубинских и зарубежных литературоведов, широко освещавшийся в гаванской печати, по радио и телевидению. В дни симпозиума зал, в котором выступали его участники (быть может, в этом зале юный Эстебан, завороженный картиной «Взрыв в кафедральном соборе», размышлял о ее символическом значении для настоящего и будущего — о гибели старого и возникновении нового), был всякий раз переполнен: как-то особенно ощущалось, насколько близок людям, вне зависимости от их профессии и рода занятий, Алехо Карпентьер, национальная гордость кубинского народа (об этом говорили присутствовавшие на симпозиуме рабочие гаванских предприятий).

Эпический роман «Век Просвещения», естественно, стал кардинальной темой обсуждения. Подробному анализу произведения в разных аспектах и в общем контексте творчества писателя посвятили свои выступления и заведующая кафедрой имени Алехо Карпентьера Гаванского университета Грациэлла Поголотти, ее коллега Луиса Кампусано и литераторы, литературоведы, критики Луис Павон Тамайо, Сальвадор Буэно, Луис Суардиас, Амбросио Форнет, Сальвадор Ариас, Омар Гонсалес. Характерно, что во всех выступлениях сквозила одна мысль: «Век Просвещения» — не только выдающееся произведение исторического жанра в мировой литературе, но и произведение исключительное по актуальности своего звучания в наши дни; молодой кубинский исследователь Энрике Сольдевилья так и обозначил свой содержательный доклад — «Современность «Века Просвещения». Ганс-Отто Дилль, профессор Берлинского университета имени Гумбольдта, сказал о том, что героев романа можно найти среди борцов нынешнего антиимпериалистического, антифашистского движения на латиноамериканском континенте. С большим интересом был выслушан доклад видного знатока творчества Карпентьера, профессора венесуэльского Центрального университета Алексиса Маркеса Родригеса «Концепция революции в «Веке Просвещения». Было предоставлено слово и молодым кубинцам, изучающим литературное наследие Карпентьера.

Уроки Карпентьера, писателя-коммуниста, человека боевой страстности, не забываются. Симпозиум вновь подтвердил их необыкновенную жизненность, принципиальную важность. Вместе с тем отчетливо выявилось, в какой мере своевременно и весомо решение Коммунистической партии и правительства Кубы создать Центр культурного развития имени Алехо Карпентьера.

Алехо Карпентьер незримо, но приметно участвует в нынешней идеологической борьбе. Наши общие — с кубинскими друзьями — идейные противники столько раз предпринимали попытки бросить на писателя тень еще при его жизни и тем более не оставляют подобного рода поползновений теперь, когда физически его нет на поле битвы. Пускались и пускаются в ход тенденциозные толкования его произведений, прежде всего романа «Век Просвещения», с целью как-то «деполитизировать» писателя, как-то дискредитировать, оторвать его от сражающейся литературы, от социалистической Кубы, даже противопоставить кубинской революции.

В своем выступлении автор этих строк заявил, что советские люди всегда видели в Алехо Карпентьере искреннего и верного друга Советского Союза, советского народа, нашего соратника в борьбе за благородные идеалы гуманизма, демократии и прогресса, за мир на земле, против фашизма и империализма. Алехо Карпентьер предстает подлинным интернационалистом во всех своих произведениях. Докладчик огласил не публиковавшиеся на испанском языке высказывания Карпентьера на страницах «Иностранной литературы». Кроме того, были зачитаны адресованные выступавшему письма Алехо Карпентьера за многие годы, свидетельствующие о непоколебимой политической позиции писателя, его приверженности идеям марксизма-ленинизма, его любви к первой стране социализма, опровергающие всяческие домыслы. По просьбе руководства Центра имени Алехо Карпентьера с этих документов были сделаны ксерокопии, поступившие в распоряжение кубинских товарищей.

Поистине не перестаешь удивляться ограниченности, политической слепоте, злому умыслу некоторых «критиков» Карпентьера, обвинявших писателя и в «завербованности», и... в эрудиции, в энциклопедичности(!). Благодаря особой любезности Лилии («сообщницы Алехо», как сказал о ней Мигель Отеро Сильва: «Рядом с Лилией, на глазах Лилии были зачаты и созданы все крупнейшие произведения Алехо, рядом с Лилией он утверждал свою веру в человечество, крепли его революционные убеждения») автор статьи смог посетить в частной квартире Карпентьеров в районе Ведадо «святая святых» писателя — его рабочий кабинет и личную библиотеку, скорее напоминающую библиотеку ученого, путника по многим областям человеческого знания. Признаться, не могло не тронуть появление в руках Лилии первой изданной в Советском Союзе книги Алехо Карпентьера — его повести «Царство земное», вышедшей в свет более двух десятков лет назад с предисловием автора этой статьи,— Алехо хранил советское издание на полке около своего рабочего стола.

За этим рабочим столом — еще до публикации романа «Век Просвещения» — он писал, обращаясь к автору статьи: «...В ближайшее время в Париже выйдет мой весьма большой роман под названием «Век Просвещения»... Тема? Вы — первое лицо, которому я это поверяю, моя книга написана таким образом, что читатель не должен отдавать себе отчет о времени действия примерно до сто пятидесятой страницы (имеется в виду рукопись.— *Юр. Д.*), полагая, что он читает роман из современной жизни, тогда как здесь — французская революция на Антильских островах. Этой темы до сих пор никто не касался... И поверьте мне, она захватывает... Я узнал обо всем лишь пять лет назад... И узнав, полный энтузиазма, написал «Век Просвещения». Философия книги? Та же, что «Царства земного»: восхищение перед человеком — слабым, бедным, беззащитным, несчастным — в его извечной борьбе за создание лучшего мира, более справедливого, где он сможет найти самого себя (в своем величии, в чем боги ему отказывают как раз из-за страха перед его величием, которое время от времени их пугает, приводит в дрожь — прежде всего когда Прометей похищает у них огонь или Юрий Гагарин, прогуливаясь по звездным пространствам, снимает фотографии...)».

Великим тружеником, не щадившим себя,— таким Алехо Карпентьер остается в памяти всех его друзей.

Известный кубинский поэт Синтио Витьер был последним собеседником Алехо Карпентьера в тот день, 24 апреля 1980 года. В разговоре с Синтио восстанавливается напряженнейший — последний день жизни писателя. Утром он напечатал на машинке по-французски статью для одного парижского журнала о Гюставе Флобере — через две недели столетие со дня кончины романиста. В статье Алехо вернулся к давно занимавшему его факту: каким образом Хосе Марти, живший тогда, в 1880 году, в Нью-Йорке, смог два месяца спустя после кончины Флобера узнать о неоконченном романе «Бувар и Пекюше», оценить содержание еще не публиковавшегося произведения и написать о нем статью в американской газете «Сан»? Неутомимый исследовательский ум Алехо искал ключ к неразгаданной тайне — кто знал об этом романе? Эдмон Гонкур? Или Иван Тургенев, ближайший друг Флобера?.. Днем министра-советника посольства Кубы во Франции Алехо Карпентьера Вальмонта занимали вопросы проведения в Париже под эгидой ЮНЕСКО недели кубинской культуры. Вечером он долго беседовал о литературных делах с прибывшими из Гаваны на эту неделю своими друзьями, Синтио и его женой, поэтессой Финой Гарсиа Марруз. Простившись с ними уже в поздние часы, Алехо предпочел один пройтись по ночной авеню Сегюр, где находилась его квартира, неподалеку от посольства. Быть может — кто знает! — наедине, лишь со своими мыслями, среди парижской толпы он хотел подумать о Поле Лафарге, герое романа, над которым работал, или о двух девушках Клодомире и Лидии, отдавших свои жизни во имя победы революции на Кубе,— и о них он тоже хотел писать... Возможно, поэтому он поспешил к своим рукописям, наметкам — в последний раз...

Творческий подвиг Карпентьера живет в сознании молодых писателей Кубы и всей Латинской Америки. Наш друг и товарищ Алехо все дни как будто был и с нами в Культурном центре его имени, на улице Эмпедрадо, в Старой Гаване, которую он так любил.

Гавана — Москва

Критика

В. СКОРОДЕНКО

«БЕССМЕРТЬЕ СМЕРТНЫХ...»

Заметки о поэзии Теда Хьюза

Сегодня это имя — одно из самых известных в ряду британских поэтов «послевоенного призыва». Есть имена не менее значительные, не менее важные для поэтического процесса 50—60-х годов — например, Р. С. Томас, Филип Ларкин, Элизабет Дженнингс, Дональд Дэйви, Джон Уэйн, ряд других. Но, пожалуй, никто из них не вызвал в критике столько споров, не породил столько разноречивых оценок и не стал «героем» стольких статей и монографий, как Тед Хьюз (род. в 1930 г.). Признанный сначала в США, где его первые сборники «Ястреб под дождем» (1957) и «Люперкалии» (1960) удостоились престижных литературных премий, теперь он — лауреат Королевской медали за поэтические достижения (1974), непременный участник всех мало-мальски представительных поэтических хрестоматий и антологий [1].

За двадцать пять лет литературной деятельности Хьюз выступал в разных жанрах и для разных аудиторий — проницательным рецензентом работ по мифологии и этнографии и автором книг для детей, литературоведом и драматургом, переводчиком и составителем антологий. Но прежде всего он был и остается поэтом, причем большим, и, стало быть, создателем поэтической вселенной, которая существует и развивается по своим собственным законам. Об изменениях, какие она претерпела за все эти годы, можно судить по недавно вышедшему в Англии однотомнику избранных стихотворений Хьюза, составленному автором [2].

Однотомник открывается стихотворениями, давно ставшими хрестоматийными,— «Мысль-лиса», «Ястреб на дереве», «Ягуар», «Ноябрь», «Ветер»... Животные, ландшафт — таков, казалось бы, круг интересов молодого тогда поэта, отчетливо следовавшего в русле анималистской и пейзажной лирики, богато представленной в английской литературе. Однако бросалось в глаза, что в традиционном, по формальным показателям, «натуральном» мире Хьюза все обстоит не так благополучно, как у его предшественников. Забегая вперед, скажем, что этот мир по ходу творческой эволюции поэта все больше отступал в тень, которую отбрасывала на него смерть; на рубеже 70-х годов он скрылся в этой тени и снова вышел к свету в середине истекшего десятилетия.

Разобраться в далеко не простом явлении, каким предстает менявшееся от метафизики к диалектике художественное мировосприятие Хьюза (и отразившая это изменение творческая практика), и стремилась — с большим или меньшим успехом — англо-американская критика. Она объясняла и истолковывала его поэзию, вобравшую не только опыт изобразительных решений и выразительных средств, накопленный английской изящной словесностью, но и основательное знакомство автора с Дарвином и Гербертом Спенсером, антропологией, мифологией, фольклором, тотемизмом. Истолкования, как и следовало ожидать, бывали различными, подчас противоположными: ведь и предмет исследования никак нельзя назвать однозначным или предельно ясным. Настоящие заметки тоже отнюдь не претендуют на всестороннюю оценку поэзии Хьюза, будучи всего лишь одним из возможных вариантов ее прочтения.

Разговор о сложности поэзии Хьюза, о насыщенности и многослойности подтекста его стихотворений закономерно наталкивает на вопрос о причинах их популярности. Конечно, британцы привязаны к своему ландшафту, любят животных и ревниво следят за погодой, а все это с избытком имеется в стихотворениях Хьюза, чьи лирические сюжеты разворачиваются на родной почве в прямом и переносном значении слова. Еще важнее их форма — совсем не примитивная, но и лишенная нарочитой запутанности, рассчитанная на то, чтобы донести до читателей видение и мысль автора, причем мысль эта развивается в четких, можно сказать легко «узнаваемых» образах. Никаких зашифрованных, тайных смыслов, понятных лишь узкому кругу «посвященных», в поэзии Хьюза нет. Но самая существенная причина успеха его поэзии у широкой демократической аудитории скорее всего заключается в ее созвучности духу времени, в том, что она сумела выразить ощущение исторического момента и его конфликтности на своем языке.

Прямых откликов на социально-политические события у Хьюза нет, но ни один поэт крупного масштаба не существует вне современной ему истории. Романтические творения Байрона запечатлели духовную атмосферу в Европе первой четверти XIX века, и ее восприятие поэтом не менее

[1] Советский читатель имел возможность познакомиться с творчеством поэта 50-х — начала 70-х годов по переводам, опубликованным в книге «Из современной английской поэзии» (М., «Прогресс», 1976, с. 237—291).

[2] Ted Hughes. Selected Poems 1957-1981. — L., 1982, 238 p.

рельефно и недвусмысленно, чем обличительные инвективы и эпиграммы — его отношение к конкретным историческим лицам, политикам и временщикам. Упоенное прославление жизни, которую нельзя уничтожить, было ответом Дилана Томаса на развязанную фашистами бойню второй мировой войны. Это стало его формой высказывания о своем времени, и сказанное им получило гулкий резонанс у соотечественников, о чем свидетельствует общенациональная любовь к поэту, сложившаяся в те годы. Понимаемая в *таком* ключе, поэзия Хьюза тоже есть комментарий к современному — для автора — состоянию общественного сознания на Западе, к жестокости окружающей его социальной и политической действительности.

Лирика Хьюза, объединенная на страницах двух первых сборников и книги «Вудву» (1967), имела отчетливо натурфилософский уклон: ее метафорами были состояния неживой природы и формы жизнедеятельности одушевленной твари [1]. Это не скрадывало, однако, ни глубокого трагического подтекста, ни своеобразного гротеска, которые сообщало ей постоянное присутствие смерти, это подчас воспроизведенное «крупным планом», подчас оттесненное на второй, третий, десятый план, но обязательное и повсеместное memento mori:

Вопиет освежеванный заяц
Вися над кровавым прилавком
Вниз головой [2]...

Это из программного стихотворения в книге 1967 года, и его заглавие — «Этаны» — можно распространить на все почти творчество Хьюза до середины 70-х годов: зачатие, рождение, смерть — для него в полном смысле верховные этапы существования, самодовлеющие, замкнутые на самих себя и заключенные каждый в самом себе. При таком подходе смерть во вселенной Хьюза превращалась в венец и конец всего, делая это «все» тотальной бессмыслицей:

Дымная гарь Галлиполи,
Спрессовываясь в тяжкий смрад,

Навеки затыкает мне горло,
Туманит взгляд леопарда,
Укрепляет сон анаконды
И безумие землеройки.

(«Холдэрнесс. Майский вечер»)

Поэтому мироздание в целом не могло питать эстетический идеал поэта; эстетически прекрасным под его пером мог выступать какой-нибудь из этапов, взятый в отрыве от остальных, к примеру, высокая смерть, точнее — достойный уход из жизни,

Чтобы вписать своей горящей плотью
Учительное слово в небесах.

(«Мученичество епископа Фаррара». Перев. Н. Банникова)

Примечательно суждение Хьюза о поэте, близком ему во многих отношениях, но воспринимавшем мир по-другому,— о Дилане Томасе: «Его поэтическое ви́дение... было ви́дением целокупного Мироздания, где все — человек и атом, жизнь и смерть — равноценно и ничто не способно быть безобразным или дурным; где вся и все — жизненно необходимая часть единого бесконечного существования, которое Томас порой именовал Господом» [1]. Ви́дение Хьюза не было синкретичным, и в его поэзии жизнь из «единого бесконечного существования» превращалась в цепочку изолированных отдельных и весьма конечных существований — закономерная дань метафизике мышления.

Подобная панорама бытия — а к ней с полным правом приложимо гамлетовское «Распалась цепь времен...» — была достаточно жестока. Жестокой под пером Хьюза представала и вековечная война этих отдельных существований за место под солнцем. Тем более жестокой, что, на взгляд автора, она была неизбежной — продиктованной задачами выживания рода, вида, данной особи — и, следовательно, оправданной. В этой войне, ввергающей мироздание в хаос, каждое из творений природы было для поэта само совершенство хотя бы уже потому, что на фоне хаоса имело завершенный образ, цель и предназначение:

Ворон, насытившись, спит. Горностай
выходит на промысел.
Норы лучатся теплом. Над ними топочут
лапы
Сладостно ласковых пар.
Под охраной сторожких глаз в гнездах
теплятся яйца.

(«Холдэрнесс. Майский вечер»)

Смерть почти всегда бесцельна, безо́бразна, хаотична и посему безобра́зна. Жизнь же, напротив, прекрасна, значит, и все ее проявления, что не есть смерть, тоже прекрасны. Видимо, поэтому в поэзии Хьюза нередко эстетизировались и такие формы жизнедеятельности, как насилие, кровопролитие, уничтожение.

Основное философское противоречие авторского взгляда на мир как на антиномию между всеобщим хаосом и беспорядком — и упорядоченностью частных, единичных существований определило своеобразие стиля поэзии Хьюза. Кипение страстей и инстинктов, с одной стороны, и предощущение их бессмысленности в перспективе конечного исхода, с другой, переданы стихом, построенным на прихотливых свободных ассоциациях, резких интонационных сдвигах и сопряжении контрастных образов, на столкновении «телесной», «плотской», чувственной подчас до вульгарности лексики, живописующей разные физические действия и состояния, и слов «высокого ряда», архаизмов, обозначений абстрактных понятий и форм духовной активности: «вопиет освежеванный заяц»... «к себе прислушивается мышь»... («Папоротник», перев. С. Бычкова) или «у доблестных помыслов отгнивают корни»... («Оскопленные фабричные трубы»). В то же время поэту свойственны внутренняя дисциплина стиха, неуклонная логика и последовательность в движении метафоры,

[1] Обстоятельную характеристику этого периода в творчестве Хьюза см. в предисловии автора настоящей статьи к упоминаемому сборнику «Из современной английской поэзии», с. 21—27. *(Прим. ред.)*

[2] Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, стихотворения Хьюза даются в переводе А. Кистяковского.

[1] "New Statesman" (L), 21.II.1966, p. 783.

графическая выпуклость словесного рисунка, соразмерность высказывания и ритма в структуре строки, строфы, стихотворения.

Хьюза упрекали в приверженности к гротеску на грани гиньоля, в чрезмерном внимании к жестокости, и упрекали не зря. Но с равным основанием можно было бы упрекать в жестокости теорию эволюции и борьбы видов. Уместнее было бы говорить о бескомпромиссном стоицизме поэта, для которого жизнь в каком-то очень существенном плане — прелюдия к смерти. Однако дело не только в этом.

Про жестокость и насилие в жизни, про смертный удел живого поэты знали всегда, еще с догомеровских времен, но далеко не всегда превращали это знание в тему поэзии, в ее философскую подоплеку. Непредсказуемы пути и формы воздействия исторического момента на общую интонацию, содержание и суть поэзии, в этот момент создаваемой. И традиция для всякого подлинного поэта не менее важна и определяюща, чем сегодняшний день с его библейской «злобой». Тот же Хьюз не скрывает, что обязан отечественной поэзии, конкретным мастерам, в первую очередь Шекспиру, и отдельным школам и жанрам — поэтам-метафизикам, лирикам-анималистам. Но, думается, в связи с упреками в порой гипертрофированном интересе к насилию лучше всего предоставить слово самому поэту:

«У каждого общества — своя греза, и ею оно грезит; судя по тому, что показывает наше ТВ, сплошь пытки да казни, и если представить себе все население, не горстку невротиков-интеллектуалов, а всю огромную массу, каждый вечер застывающую перед своими экранами... с абсолютной непринужденностью, в каком-то наркотическом равнодушии... взирающую, как их греза перед ними раскручивается, если такова греза нашего общества, то, значит, мы создали не общество, но ад» [1],— говорил Хьюз в интервью 1970 года.

Метафору этого «ада» и его аналог поэт находил в живой и неживой природе и даже в венце творения — человеке. Жестокость и насилие, смерть и страдания, по его убеждению, не просто составная часть опыта человеческого, но пытки, назначенные природой, и самая страшная из них — знание о смерти. В стихотворении «Человек, желая познать свой путь, вопрошает каплю воды» автор говорил о высоком и низменном, написанном на роду человеку:

И ему предстояло, попав из мрака в сети
сознанья, блуждая, и путаясь,
Почувствовать свое подпирающее плечами
мир, чудовищное «я».
(Перев. Н. Банникова)

Приняв подобную концепцию бытия, Хьюз приходил к утверждению стоицизма и разумного волевого начала как единственных — для человека — путей противостоять вселенскому хаосу и перебороть в себе бунтующие первобытные инстинкты. Целостная личность, по Хьюзу,— человек, обладающий этими необходимыми качествами, неуклонно следующий избранной жизненной программе, что помогает ему добиться известного единства со средой. Обращаясь к прошлому, поэт находил идеал такой личности («Дик Несгибаемый», «Фотографии Уилфреда Оуэна», «Совершенство форм», «Мученичество епископа Феррара» и другие стихотворения).

Метафизическое миропонимание Хьюза последовательно отразилось в книгах 70-х годов: сборниках стихотворений «Ворон» (1970) и «Пещерные птицы» (1978) и в многочастном сюжетном поэтическом повествовании «Gaudete!» [1] (1977), крупнейшем явлении английской эпической поэзии после второй мировой войны. На замысел книги «Ворон» Хьюза натолкнула просьба американского графика Ленарда Баскина снабдить стихотворными заставками серию его гравюр с гротескными изображениями реально существующих и фантастических птиц. Заставки разрослись до стихотворений, составивших цикл — могучую и мрачную аллегорию, своеобразный миф со своей космогонией и эсхатологией. Уже приходилось писать о том, что этот цикл-миф — поэтический комментарий мастера к тотальной, на его взгляд, жестокости цивилизации и всего мирового хаоса, символом-воплощением которых является мир Ворона с его системой «негативных ценностей». Философский подтекст этих стихотворений — безысходность бытия, издевательская бессмысленность равно гибели и выживания. Любимая метафора автора, кровь, проходит тут все стадии изменений жизни: от первобытного бурления и подъема — через могучую пульсацию зрелости — до увядания и исхода в смерти, до превращения в собственную противоположность, в сухой «бескровик» всеобщего ядерного уничтожения.

Углубленный анализ ритуально-языческого прасознания человека и корней «темных» инстинктов дан в «Gaudete!». Антиномия между животно-биологическим и духовно-рациональным в человеке служит здесь двигателем сюжета, будучи положенной в завязку: некие силы с непонятной целью похищают приходского священника Лэма, заменив его двойником, сотворенным из бревна, и этот двойник справляет в приходе магические ритуалы, в которых христианская доктрина прихотливо сращена с оргиастическими языческими культами, в то время как настоящий Лэм, исполнив нечто, что ему надлежало исполнить, возвращен в этот мир и бродит по холмам и долинам, слагая то просветленные, то мрачновато-витийственные стихи (они даны в виде приложения).

На фоне дотошно выписанного пейзажа средней Англии (одних упомянутых в поэме растений хватило бы на солидный гербарий) мастерски прорисованы провинциальные типы — бывшего мэра, полковника в отставке, сельского врача, трактирщика, деревенского кузнеца и других, чья социальная сущность удивительно точно «схвачена» в их индивидуальных реакциях, оценках, поступках в связи с вспыхнувшей в приходе драмой страстей. Однако Хьюза интересует не социальный облик персона-

[1] Приведено по кн.: Faas, Ekbert. Ted Hughes: The Unaccomodated Universe. — Santa Barbara, 1980, p. 198.

[1] Радуйтесь! *(лат.)*

жей, являющийся, с его точки зрения, характеристикой вторичного порядка, а то первичное, основное, древнее, родовое, что объединяет участников драмы друг с другом и со всеми представителями homo sapiens. В рамках сюжета они действуют по-разному, однако стимул действия один — инстинкт рода, дремучий голос крови, заставляющий самца отбивать свою самку от притязаний другой особи. Кровь правит миром — эта мысль пронизывает, пропитывает все образы поэмы, громоздкие в своей языческой первозданности и подчас биологизированные до такой степени натурализма, какая выводит их за грань эстетически допустимого, как в символической сцене крещения в кровавом кратере на бойне или в описании кровавого ритуала с человеческим жертвоприношением в подвале церкви. Ни в одной книге Хьюза нет столь пластической картины разгула страстей и инстинктов, но нет и столь яростного, вытекающего из всей логики изображенного требования держать эти инстинкты и страсти в узде разума. В противном случае, свидетельствует развитие сюжета, утрачивается различие между человеком и его двойником — бревном, наделенным человеческим обликом.

В уже цитировавшемся интервью Хьюз говорил о некоем энергетическом потенциале вселенной, об энергии жизни, к которой человек волен, условно говоря, «подключиться»: «Если вы отвергаете энергию, то жизнь превращается для вас в одушевленную смерть. Если принимаете энергию, она вас уничтожает. Альтернатива? Принять энергию и найти способ обратить ее во благо, держать под контролем — отсюда ритуалы, механика религии». Но «Gaudete!» убедительно демонстрирует несостоятельность ритуала как формы контроля над высвобождаемыми стихийными силами. С другой стороны, столь же наглядно подчеркнуто единство человека и огромного космоса.

После «Ворона», знаменовавшего высшую степень разъединенности «этапов» бытия, метафизическая философия поэзии Хьюза в своем развитии пришла к тупику. За «Вороном» с его «бескровиком» уже нечему было быть — начиналось ничто. Чтобы продолжаться как поэту, Хьюзу было необходимо перебросить мостки по ту сторону ничто, уничтожения, смерти. От созерцания распада и дробления мысль Хьюза закономерно обратилась к поиску объединения, синтеза. Его вселенная уже не могла существовать вне диалектики жизни и смерти.

Сказать, что прежде такая диалектика напрочь отсутствовала в его творчестве, было бы неверно — и несправедливо: когда Хьюз любовался растением или животным, признавая их перлом творения, для него эстетически привлекательными были развитые формы жизни, достигшие совершенства, а это было возможно только путем обновления вида в череде поколений, то есть через смерть. Но в «целокупное Мироздание» процесс такого обновления у Хьюза не слагался, хотя его результаты сами по себе представляли замкнутые внутри себя совершенные микромиры:

К себе прислушивается мышь.
Паук ткет завещание свое.
И сетчатая оболочка
Правит твореньем при помощи речной
узды.

И средь них папоротник,
Он танцует важно, пернатый латник,
Вернувшийся к подножию гор,
В свое царство.
(«Папоротник»)

Размывание метафизического водораздела между жизнью и смертью по-настоящему пошло в «Песнях времен года» (1975), сборнике стихотворений о зверях, природе и погоде. Это были не лучшие, хотя и не худшие образцы анималистской и натурфилософской лирики Хьюза, однако в своей совокупности, подчеркнутой еще и «круговой» композицией книги, они передавали повторяемость и неизбежно-бесконечную смену природных циклов, времен. Тесное переплетение жизни со смертью, очевидно, смягчают гротескные интонации поэтической сюиты «Пещерные птицы».

Еще последовательней и непреложнее вечность как чередование жизни и смерти заявляет о себе на страницах наиболее крупных сборников Хьюза рубежа десятилетий — «Останки Элмета» (1979) и «Муртаун» (1980), откуда взяты стихотворения, публикуемые в этом номере журнала.

Безрадостна в целом книга-цикл стихотворений «Останки Элмета», этот почти бесстрастный реестр приметам оскудения и вырождения долины Колдера — некогда бывшей последним оплотом последнего же кельтского королевства Элмета, в свое время завоеванного англами, а много позже ставшей колыбелью промышленной революции в сфере производства тканей. «На протяжении всей жизни, с 30-х годов, я видел, как в этом краю отмирают фабрики и связанные с ними приходы. Агония последних пятнадцати лет завершилась концом, ныне они фактически мертвы, и состав укоренявшегося веками населения долины и прилегающих холмов быстро меняется»,— отмечал Хьюз в предуведомлении к этой книге. В ней, казалось бы, должны царить смерть, холод и запустение, но не царят — всего лишь присутствуют как составные элементы характеристики этого сурового края, возникающего перед глазами читателя на черно-белых художественных фотографиях, сделанных Фей Годвин и образующих с текстами Хьюза единое эстетическое целое.

С самого начала —«Посвящения»— минорная поэтическая сюита выливается в неистовое, вернее, истовое и убежденное славословие жизни, не только существующей здесь в постоянном соприкосновении со смертью, бок о бок с нею (так выносливые овцы местной породы спокойно пасутся в двух шагах от иссохшего каркаса своей издохшей товарки), но вырастающей из смерти и ее попирающей, способной воскрешать прошлое, умерший ландшафт:

Ясное небо и дымные трубы,
Бессмертье смертных, радостный ад
И светлые гимны над чернью пашен...

«Бессмертье смертных, радостный ад» — оксюморон и сам по себе примечательный, но для Хьюза имеющий еще и принципиальный смысл: он обозначает смену точки

зрения на роль и место смерти в мироздании. За отдельной биологической смертью поэт словно открывает для себя великую мистерию бытия, круговорот умирания и возрождения. Лейтмотив элметского цикла — преодоление смерти жизнью: мучительное, как всегда у Хьюза, нередко жестокое и эстетически отталкивающее, гибельное для «сейчас» и «здесь», но неоспоримое и торжествующее в философской перспективе упрямого, неискоренимого бытия.

Дистанцию между Хьюзом начала и Хьюзом конца 70-х годов демонстрируют два стихотворения, воссоздающие один и тот же близкий поэту реальный ландшафт — район Хептонстолла:

Черный город надгробий...
Жизнь тщится.
Смерть тщится.
Камень тщится.
Не истощится лишь дождь.

(*«Хептонстолл», сборник «Вудву»*)

Дни обрывает ночь.
Даже у величайших вчера нет завтра.
Усилия листвы бесполезны.

Держа нос по ветру, мир
Не способен оглянуться и оглядеться.

У доблестных помыслов отгнивают корни.
Все труднее терпеть любимую плоть.
Тлеют в земле священные кости.
А дух спасает себя одного.

И только перегной углубляется.

Как голодная старуха у прилавка с едой,
Крапива теснит все живое;
И будто ребенок, въевшийся в грудь,
К воздуху присосался шиповник;
А платан с отрубленной головой
Отрастил шесть трубчатых шей.

Этим трубам дано расцвести,
Только углубив перегной.

(*«Оскопленные фабричные трубы»*)

Схожие интонации, но разный взгляд на пейзаж: в первом случае он безнадежно и невосстановимо мертв, и подобный дурной бесконечности дождь, бессмысленно льющийся на надгробия, лишь усугубляет безжизненность общей картины; во втором — сама смерть превращена в лоно возрождения, она претворяет материю в перегной, наращивая который жизни дано восставать и цвести вновь, подобно ветвям-«шеям» усеченного платана. Суровое сопротивление живого дыханию смерти становится для Хьюза главным в облике многажды погибшего края, одухотворяет пейзаж — от неприкрытого костяка утеса до холодных каменных плит пасторского дома, в стенах которого три сестры Бронте, ставшие гордостью английской литературы XIX века, явили немыслимую волю к самоутверждению вопреки обстоятельствам.

В «Останках Элмета» человек и пейзаж впервые выступают у Хьюза в органическом — если и не до конца гармоническом — единстве. Речь не просто о том, что человек и природа — метафоры друг друга; это с самого начала было своеобразной и сильной стороной таланта, не изменившей поэту и в последних сборниках, о чем свидетельствуют стихотворения «Кедр», «Утес венчальный», «Март. Необыкновенное утро». Но тут человек естественно входит в природу, а через нее — во вселенную как ее неотъемлемая познающая часть.

Созданное Хьюзом до начала 70-х годов позволяло утверждать, что в послевоенной английской поэзии никто не дал так проникновенно, как он, ощутить единение малой твари с огромным миром. Прочитавшие «Футбол в Слеке» (и, добавим, многие другие стихотворения из «Останков Элмета» и «Муртауна») поймут, что это единение распространяется теперь и на человека, включенного в игру времен и стихий:

Волосы слиплись; быстрые ноги
Стали дробить луговое море,
А звонкие, радостные, умытые крики
Весело заглушили брюзжащий дождь.

Воспользовавшись формулой, вынесенной в заглавие знаменитого стихотворения Дилана Томаса, скажем, что в позднем творчестве Хьюза «смерть утратила власть над вселенной». Поэтому, вероятно, его уже не завораживает бьющая через край стихийная энергия жизни, как то было характерно для известнейших образцов его «звериной» лирики — «Ягуар», «Ястреб, устроившийся на ночлег», «Выдра» и другие, а любование совершенством хищника, выходящего на охоту, не мешает ему теперь параллельно отметить, как

Дрыгаются у зайцев лапы.
И ограбленно тускнеют бекасы.

(*«Крылатые на рассвете»*)

По той же причине личины смерти и все то, что напоминает о ее неизбежном, хотя и временном («перегной»!) всесилии, уже не внушают поэту брезгливого трепета перед неотвратимым не ввергают в безучастный гипноз бессилия За обликом смерти Хьюз распознает иные качества жизни.

Например, старость свободно входит в поэтический мир Хьюза и даже предстает в нем по-своему прекрасной Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить стихотворение «Знаменитый поэт» из первой книги, щедрое на эстетически отталкивающие эпитеты и сравнения. с помещенными в этом номере «Посвящением» или «Краунпойнтскими пенсионерами». Разумеется, и здесь, как и раньше,— никаких румян или грима, и здесь беспощадно зафиксированы горькие признаки дряхлости; но зато выявлена, обнажена высокая сопряженность старости безостановочному движению времени, для которого жизнь и смерть — одно. Точно раскрыта двойная природа памяти —«бесследно меркнущее» наследие индивидуального воспоминания:

В любое мгновение — резкий рывок —
И все утонет в темном потоке...—

(*«Посвящение»*)

и «родовая память», что «неподвластна тесильному разрушителю» («Краунпойнтские пенсионеры»).

На фотографиях из книги «Останки Элмета» действительно много останков — камней, руин, костей мусора, заброшенных строений, развалин; но и много простора и неба. Много света, и он высвечивает руины, надгробия и морщины на лицах, так оттеняет разоренный и скованный холодом ландшафт, что становится ясно: приметы смерти преходящи, свет извечен и негасим.

Искусство фотографа и слово поэта запечатлели здесь мгновенное проникнове-

ние в существо ландшафта, его самораскрытие в образах видимых и звучащих — то, что Джойс называл «епифанией», высшей ступенью художественного переживания-озарения. Зримый ландшафт, схваченный взглядом фотокамеры, и стихотворные размышления Хьюза далеко не всегда совпадают буквально. В отношении этой книги говорить о том, что поэт комментирует снимки, так же неправомерно, как и о том, что фотограф иллюстрирует стихотворения. И то и другое первично, берет начало из одного источника и впитывает неразложимый на составные элементы, тоже первичный и как бы запредельный свет, в котором бренное и смертное повенчано с нетленным и жизнью вечной; а память и материя бытия едины и переходят друг в друга, как в залитом сиянием навек остановленного мгновенья финале прекрасного фильма шведа Ингмара Бергмана «Земляничная поляна» (1957) — о бессмертии жизни на пороге человеческой смерти.

Выстраданное приятие «пути всякой плоти», ощущение смерти как оборотной стороны жизни переходят и в сборник «Муртаун», на страницах которого еще раз возникают чуждые прежнему Хьюзу мотивы вселенского обновления:

Вспухшая, больная водянкой земля...
Заслоненная от холодного ветра
Солнечным светом, она
Дремлет, обессиленно улыбаясь.
Пока мы живем и смеемся и ждем,
И знаем,—
Она не умрет...

(*«Март. Необыкновенное утро»*)

Многие стихотворения сборника были ранее опубликованы в документальной книге М. Морпурго «Круглый год» (1979), повествующей о сельских трудах и заботах на ферме в северном Девоне, где Хьюз жил и вел своего рода поэтический дневник. Конечно, не этот опыт открыл Хьюзу то, о чем он прекрасно знал с детства,— достоинство, благородство и скрытое величие труда человека на родной земле. Но, вероятно, не будет натяжкой сказать, что жизнь на ферме сыграла какую-то роль в том, что наблюдения, вызванные ими воспоминания и личное участие в сельских заботах, пройдя сквозь рассчитанно шершавые, огрубленные по-земному образы-слепки «деревенской» лирики Хьюза, перевоплотились в поэтическое утверждение труда как непреходящей жизнестойкой ценности, как оправдания существования человека (стихотворения «Память», «Руки»).

Рассматривая поэтические сборники Теда Хьюза в ретроспекции от конца 50-х годов, приходится невольно сводить сложную систему взглядов поэта и разветвленную метафорическую структуру его стиха к неким основным положениям и формам. Путь художника при этом, естественно, представляется несколько упрощенным, ведущим от живописания первозданного хаоса если не к классической гармонии, то, по крайней мере, к известной благостности мироистолкования средствами поэзии. На самом же деле никакой благостности у Хьюза нет, и диалектика отнюдь не снимает фундаментального противоречия его поэзии — между рациональным постижением неистребимости жизни и чувством личной обреченности смерти. Хотя понимание жизни — вопреки указанному противоречию — не оставалось неизменным у поэта, оно прошло путь от строго индивидуального, самозабвенно чувственного биологического существования, чей смысл в том и состоит, что оно существует, до вечной формы бытия «целокупного Мироздания». Итог, к которому приходит всякий большой поэт — при том, что каждый предъявляет к жизни и смерти свой счет.

Джон Донн:

Смерть приближает к нам небес сиянье,
И в тяжкий миг последнего дыханья
Глухие звуки в ритме невпопад
Гармонией сладчайшей прозвучат.

(*Перев. Б. Томашевского*)

Дилан Томас:

И смерть над ними навеки утратила власть.
Обнаженные мертвецы, они пребудут
навеки
Под ветром и в ожившем на луне человеке;
Их кости изглоданные окутает мгла,
И созвездия высветят во мгле их тела;
Они сходят с ума, но разум их светел,
Они тонут в морях, но облачаются
в ветер;
От страсти сгорают они, но не страсть —
Смерть навсегда над ними утратила
власть.

(*Перев. П. Грушко*)

Тед Хьюз:

Этим трубам дано расцвести,
Только углубив перегной.

Как бы там ни было, начав десятилетие нещадным всеотрицанием «Ворона», Хьюз завершил его утверждением из противоположного по интонации мифологического цикла — цикла о Прометее. По свидетельству самого поэта, приведенному в комментарии к однотомнику избранного (1982), он складывался параллельно со стихотворениями «Ворона»:

Прометей прикован,
Потому что украл —
Но он далек от людей и не может им
рассказать,
У земли перегной, а у неба огонь.

Он жертвует свою плоть —
Ежедневная дань,
Чтоб людей миновала чаша сия.

«Прометей над пропастью» — характерно «хьюзовское» прочтение древнего мифа: мучения как кара за жизнь, принесенную в ненужный дар «холодеющему человечеству». Но и эта трактовка не снижает объективной нравственной ценности дара-жертвы, в силу чего Прометей у Хьюза — все тот же «самый благородный святой и мученик в философском календаре», о котором писал К. Маркс [1].

В тревожное время 80-х годов бессмысленно гадать о дальнейшем творческом пути Теда Хьюза, пребывающего сейчас в расцвете таланта. Но красноречиво говорит за себя уже то, что поэт, по всей видимости, решил: наступил срок уравновесить мироторжество Ворона ценностями положительного порядка. И это обнадеживает.

[1] См. К. Маркс, Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., Госполитиздат, 1956, с. 25.

ДОПУСТИТЬ НЕЛЬЗЯ!

Размышления над страницами журнала «Кэнзэн литтерэр»

С обложки специального номера парижского журнала «Кэнзэн литтерэр», который озаглавлен «Война. Несколько тем для размышления», на читателя тупо уставилось каменное чудовище, угрожающе оскалив зубастую пасть.

«Надо ли удивляться, что темой этого номера выбран такой сюжет, как война? — спрашивает в передовой статье главный редактор журнала, известный критик Морис Надо.— Над большей частью планеты, над нами, европейцами, тяготеет страх, психоз страха... Наш ум неотступно преследует пламя ядерного пожара. Для нас оно соответствует концу света, апокалипсису».

Сегодня, когда агрессивно-авантюристическая политика Вашингтона поставила мир на грань катастрофы, для подобных мрачных настроений действительно имеется немало оснований. Вопрос о мире стоит в центре внимания общественности планеты, превратился в глобальную проблему. Угроза термоядерной войны впервые в истории поставила человечество перед роковым гамлетовским вопросом «быть или не быть?». Не однажды об этом предупреждали ученые-гуманисты XX столетия. «Существует опасность полного самоуничтожения человечества, которую нельзя сбрасывать со счетов»,— писал Альберт Эйнштейн.

В наши дни атомная угроза приобрела качественно новый характер. Империализм стремится решать внутренние проблемы за счет агрессивности внешней политики и реально угрожает всеобщему миру, подталкивая человечество к опасной бездне. Не секрет, что с 1946 по 1975 год высшие правительственные и военные инстанции США 19 раз обсуждали вопрос о применении ядерного оружия. Империалистические поджигатели войны в буквальном, а не фигуральном смысле слова играют с огнем. В августе 1945 года американский империализм принес в жертву атомному Молоху триста тысяч японцев. Теперь, в условиях беспрецедентной, навязанной им человечеству гонки вооружений, империализм, если случится непоправимое и разразится третья мировая война, способен разрушить цивилизацию, погубить жизнь на Земле.

Но сегодня возможности империализма диктовать свою волю миру резко сузились.

Проблема войны и мира находится в эпицентре идеологической борьбы современности. Буржуазная идеология в последнее десятилетие все откровеннее приспосабливала свои социальные теории, стратегические концепции и пропаганду к той политике конфронтации, которую проводят самые реакционные и агрессивные силы империализма. Предпринимается множество попыток фальсифицировать само содержание проблемы войны и мира в нашу эпоху, похоронить разрядку, расколоть единство и подорвать влияние движения сторонников мира, привлечь на сторону милитаризма и его человеконенавистнических идей широкие слои западной — особенно творческой — интеллигенции, заставить простых людей примириться с мыслью, психологически сжиться с тем, что мировая ядерная война неизбежна. Именно в этом политико-идеологическом контексте следует рассматривать разнообразные материалы, опубликованные на страницах журнала «Кэнзэн литтерэр». Умело скомпонованные, они преследуют очевидную цель: дать «пищу» для размышлений буржуазной интеллигенции Франции,—главным образом писателям — в конечном счете убедить их, что роль деятелей культуры в борьбе за мир ничтожна, а их призвание — заниматься «чистым» искусством.

Морис Надо уверяет читателей, что редакция, отбирая материалы, следовала девизу Спинозы «ни смеяться, ни плакать, но понимать», то есть придерживалась бесстрастной объективности. Чтение специального номера убеждает в обратном. В журнале помещена, например, рецензия на книгу французского автора Ива Эда «Завоевание умов», где приводится весьма откровенное высказывание крупного специалиста по изучению общественного мнения США Джорджа Гэллапа, хорошо раскрывающее суть буржуазной пропаганды. «Лучший и самый надежный принцип,— заявляет Дж. Гэллап,— которого следует придерживаться в идеологической войне, это руководствоваться правилами «войны горячей». В борьбе за завоевание умов писателей и деятелей культуры авторы журнала «Кэнзэн литтерэр» не брезгуют этими методами и поэтому подсовывают им в качестве темы для размышления тезис о «беззащитной Европе».

ЗЛОВЕЩИЕ «СЦЕНАРИИ»

Парижская газета «Монд» 7 сентября 1979 года поместила рекламную страницу, которая была посвящена выходу в свет французского перевода книги английского генерала Джона Хэккетта «Третья мировая война. 4—22 августа 1985 года». Обращенная в будущее реклама скрупулезно имитировала первую полосу газеты от... 6 августа 1985 года. «Третья мировая война началась»,— возвещает «шапка» полосы. Не менее хлестко подан и центральный материал, его заголовок гласит: «Наступление, начатое ночью 4 августа силами Варшавского Договора против ФРГ, расширяется». Но суть этой жутковатой и пошлой «шутки» раскрывается в заметке «Ночь 4 августа», где поставлены точки над «и»:

«Москва расценивает наступление танковых дивизий Варшавского Договора как превентивную акцию... Разумеется, официальное коммюнике о вступлении в войну прибавляет, что «Советский Союз прежде всего желает прочного мира».

Вот какие шуточки позволяет себе «Монд»!

Я вспомнил об этой циничной газетной провокации потому, что книгу генерала Хэккетта и по прошествии трех лет снова рекомендует для размышления автор журнала «Кэнзэн литтерэр», сотрудник Французского института международных отношений Жан Клейн в статье «Риск войны в Европе». С глубокомысленным видом Клейн у которого совершенно отсутствует галльский здравый смысл, анализирует различные варианты «советской военной угрозы», забывая, что даже буржуазные журналисты давно окрестили этот миф «ложью столетия». Излюбленный прием нагнетания лжи сводится к разработке и пропаганде всевозможных «сценариев» вооруженного конфликта на европейском континенте, где «нападающей стороной» непременно выступает Советский Союз.

Клейн с неподражаемой наивностью признает, что данный способ разжигания психоза страха перед «угрозой с Востока» пользуется «особой благосклонностью» у буржуазной пропаганды. Стоит внимательнее присмотреться к тем упражнениям, которым предаются, говоря его словами, «военные эксперты, одержимые стратегическими играми».

В основе «сценариев» будущей войны в Европе, утверждает Клейн, обычно лежат две схемы: «нападение с применением классического вооружения и превентивная акция ядерного типа». Первая схема «покорения» Западной Европы СССР разработана в книгах отставного бельгийского генерала Клоза «Европа без обороны» и французского полковника Доли «Шестая колонна» Эти «сценаристы катастрофы», словно профессиональные гадалки, выдвигают различные варианты судьбы «беззащитной Европы», судят да рядят, куда (на берега Рейна или Ла-Манша?) и когда (через два или три дня?) примчатся внезапно «красные танки».

Однако буржуазные средства массовой информации, как с прелестной непосредственностью замечает Клейн, «все-таки отдают предпочтение «сценариям» внезапной агрессии с использованием атомного оружия». Один из них предложил в книге «Мир конфликтов» французский генерал Пьер Галлуа, чья проникнутая паническим страхом перед «красной угрозой» статья, красноречиво названная «Запад готовит собственное военное и политическое поражение», представлена на страницах журнала «Кэнзэн литтерэр». Генерал Галлуа принадлежит к неисправимым пессимистам, он убежден, что «западная политическая и экономическая система обречена», а Западной Европе не избежать «советизации». Он выдвигает фальшивый тезис, будто Запад безнадежно отстал от СССР в военной области, попав в «ловушку» политики разрядки, которая якобы выгодна только Советскому Союзу и странам социалистического содружества, будто у США «недостаточно» стратегических ядерных вооружений. Короче, сам себя разрушающий Запад «беззащитен». И поэтому ослепленный антисоветизмом и антикоммунизмом генерал Галлуа пугает западноевропейцев своим бредовым «сценарием», чья суть сводится к тому, что Советский Союз первым способен нанести ядерный удар по Западной Европе, поставив НАТО и США перед совершившимся фактом и, таким образом, нанеся им, как он выражается, «поражение без битвы».

Странно, однако, что генерал Галлуа, говоря его словами, «полностью исключает гипотезу конфликта» с применением в Европе ядерного оружия. Он даже высказывает мысль, будто локальные конфликты не приведут к использованию атомных вооружений и тем самым мировая ядерная война невозможна в силу «огромности риска», нависшего над человечеством. Так почему мрачно настроенный генерал выдумывает свой «сценарий» катастрофы? Ответ на этот вопрос дать нетрудно: «стратегические изыскания» Галлуа рассчитаны на то, чтобы фальсифицировать миролюбивую политику Советского Союза и стран социализма, посеять страх среди западноевропейцев, убедить их, что безопасность Западной Европы зависит от США. Всему миру прекрасно известно, что СССР в одностороннем порядке принял на себя обязательство не применять первым ядерного оружия, что наша страна неуклонно выступает за превращение Европы в континент мира.

Общеизвестно, что не Советский Союз предлагает Западной Европе довооружиться, а США, в чьих стратегических концепциях она рассматривается как потенциальный «театр военных действий» и мишень ответного удара. Не Советский Союз, а США фактически саботируют переговоры в Женеве об ограничении ядерных вооружений в Европе. Для западноевропейцев не секрет — это хорошо знает и генерал Галлуа,— что между СССР и США, НАТО и организацией Варшавского Договора существует военно-стратегическое равновесие, ядерный «паритет», и Советская Армия, в отличие от мифического Зевса, не намерена похищать красавицу Европу.

Кстати, подтверждения этому можно найти и на страницах специального номера «Кэнзэн литтерэр». Даже Ж. Клейн делает в этой связи выразительное признание.

«Учитывая нынешнее соотношение сил,— пишет он,— не установлено, что армии Варшавского Договора способны одним ударом одержать верх над армиями НАТО, которые оснащены достаточным количеством современного оборонительного вооружения».

А другой автор журнала, Жак Вернан, в статье «Уроки войны на Мальвинах» прямо заявляет:

«Этот конфликт с очевидностью свидетельствует об абсурдности тезиса, согласно которому нестабильность в современном мире и угроза прибегнуть к силе вызываются идеологической борьбой и происками Советского Союза».

Но почему же в «сценарии» воображаемого ядерного нападения Советского Союза на «безоружную Европу» Клейн усматривает некую «педагогическую ценность» и призывает ответственных за безопасность Запада лиц «извлечь из него уроки»? Педагогика всегда была наукой жизни, ее никому не по силам превратить в «науку» ядерной смерти. Цель «педагогов» атомного апокалипсиса ясна: пугая западноевропейцев мифической «угрозой с Востока», они стремятся парализовать их волю к борьбе с не выдуманной, а вполне реальной опасностью ядерного катаклизма. Эти «педагоги» хотят обмануть народы. Именно об этом говорил на торжественном заседании, посвященном 60-летию образования СССР, Генеральный секретарь ЦК КПСС Ю. В. Андропов: *«Людей пытаются успокоить, приучить к мысли о ее (ядерной войны.— Л. Т.) приемлемости. Поистине надо быть слепым к реальностям нашей эпохи, чтобы не видеть: каким бы образом, где бы ни вспыхнул ядерный смерч, он неизбежно выйдет из-под контроля, вызовет всеобщую катастрофу».*

...И здесь снова необходимо вспомнить провокационную рекламную полосу «Монд». На ней помещена заметка «Танатос», что в переводе с древнегреческого означает «смерть».

«Итак,— читаем мы,— третий раз в в этом веке разверзлась пропасть. Безумие власти и жажда гегемонии открыли перспективы третьей мировой войны, имея конечной перспективой возможное уничтожение человечества. Цивилизации знают, что они смертны, но все происходит так, как если бы смерть была их логическим завершением...

Танатос возобладал над Эросом, влечение к смерти над инстинктом жизни. Человек устроен так, что иногда ему приходится сознательно, сохраняя ясность разума, делать выбор в пользу собственного полного исчезновения...»

Нет, не человечество делает выбор «в пользу собственного полного исчезновения»! Этот выбор противен самой природе жизни и человеческого разума: свидетельством тому — широчайшее движение народных масс против ядерной войны. Поэтому генерал Галлуа недоволен движением борцов за мир, презрительно называя его участников «наемными манифестантами». Генералу очень бы хотелось дезориентировать антивоенное движение в Западной Европе и, вместо борьбы за прочный мир, повернуть его на укрепление «европейской обороны». Поэтому средства буржуазной пропаганды вновь и вновь запугивают народы истрепанным пугалом «советской военной угрозы».

«Ослабле́ние военной угрозы невозможно без создания климата доверия в отношениях между государствами,— заявлено в Политической декларации государств-участников Варшавского Договора, принятой в Праге 5 января 1983 года.— *Это требует — наряду с развитием политического диалога, принятием соответствующих мер в экономической и военной областях — распространения правдивой информации, отказа от претензий на великодержавие, пропаганды расизма, шовинизма и национальной исключительности, от попыток поучать другие народы, как им устраивать свою жизнь, от проповеди насилия, раздувания военного психоза».*

«Кэнзэн литтерэр» — издание литературное, в основном пропагандирующее искусство, далекое от политики, элитарно-изысканное, если не заумное. Но удивительное дело — в объемистом специальном номере «Война» мы не найдем даже крохотной заметки об участии западноевропейских, в том числе и французских писателей в антивоенном движении. Сам этот факт есть выразительное свидетельство отсутствия «правдивой информации», попытка способствовать «раздуванию военного психоза», чему в итоге и призван служить тезис о «беззащитной Европе».

ДВУЛИКИЙ ЯНУС, ИЛИ ПОЛЕМОЛОГИЯ

В последние годы на Западе все бо́льшее распространение приобретают идеи так называемой полемологии, то есть особой науки о войне, которую разрабатывал французский социолог Гастон Бутуль, основавший в 1945 году в Париже специальный институт, имеющий статус частного учреждения.

«Войны, которые в XVIII веке были игрой королей, теперь превратились в катастрофу, а завтра станут катаклизмом,— заявлял он.— Без быстрого создания полемологии все остальные науки рискуют быть излишними».

Оставим в стороне чрезмерную самоуверенность этого заявления и посмотрим, в чем суть и каковы главные задачи полемологии.

На этот вопрос Гастон Бутуль незадолго до своей смерти в 1979 году ответил в интервью, напечатанном парижским журналом «Магазин литтерэр». Ученый настойчиво подчеркивал научность и объективность полемологии, исходя из постулата нерасторжимой связи проблем войны и мира.

«Отношение «война — мир», — писал он,— до сих пор остается загадочным социальным фактом».

Пока здесь нет ничего оригинального: социология, экономика, военная история, демография и т. д. давно занимаются этими проблемами.

Гастон Бутуль предлагает совершенно абстрактные, антиисторические и внеклассовые определения мира и войны. Состояние мира весьма наивно характеризуется как «процесс накопления и управления разными благами». В противоположность миру, война предстает «ускорением потребления во всех его формах, включая разрушение и... развитие систематического человекоубийства». Он призывал рассматривать проблему войны и мира более «научно и глобально, без предрассудков». Вместо социально-классового анализа столь сложного явления, как война, которая всегда отличается неповторимыми историческими особенностями, он пытался все свести к «воинственным импульсам» человека и «фатальным разрушительным стремлениям» общества. Как видим, эти посылки полемологии ничем не отличаются от психологических трактовок причин возникновения и природы войны, будь то «воля к власти» Ницше или «врожденная агрессивность» людей австрийского этолога Конрада Лоренца.

Созерцательный подход к изучению войны привел Бутуля к недооценке новых реальностей нашей эпохи: разделения мира на противоположные социальные системы и появления атомного оружия массового поражения. Правда, справедливости ради нужно отметить, что основатель полемологии усматривал в ядерном оружии причину «тревоги и психоза общей неуверенности», царящих в современном мире. И при этом он заявлял:

«Надо также иметь смелость поставить вопрос, является ли мир естественным состоянием?»

У марксистско-ленинской науки есть свой ответ на этот абстрактный вопрос. Фатальной неизбежности войны нет, мир может и должен быть спасен, стать естественным состоянием человечества. Но пока существует империализм, который несет всю полноту ответственности за две мировые войны, пережитых человечеством в нашем столетии, мир нельзя гарантировать с абсолютной уверенностью. Хотя это вовсе не означает, будто следует принять то смирение и покорность перед неизбежным, которые предлагал Гастон Бутуль, с грустью констатировавший: «Никто не может предвидеть того, что случится завтра».

Верно, предусмотреть всего не дано никому. И также верно, что главная опасность безудержной гонки вооружений сводится в том числе и к резкому возрастанию фактора случайности в возникновении возможной ядерной войны. Однако истиной остается тот факт, что миру угрожают вполне определенные социально-политические силы, то есть самые реакционные силы современного империализма. «Ястребов» XX века не усовестишь благими речами, на пути их геростратовских замыслов надо поставить непобедимый заслон сил, отстаивающих мир.

Гастон Бутуль полагал, что созданная им «чистая» наука о войне позволяет выработать некие «полемологические барометры», которые, основываясь на исчерпывающем исследовании всех явлений насилия в сегодняшнем мире и систематическом изучении военных конфликтов прошлого, «помогут распознавать накопление опасностей и смогут когда-нибудь способствовать тому, чтобы спасти мир прежде, чем будет слишком поздно». Какая наивная вера! Война не математика, чьи формулы и законы всеобщи и внесоциальны. Попытки Бутуля отыскать определение войны, основанное на строго научных параметрах, исключая всевозможные, как он любил говорить, «идеологические предрассудки», даже буржуазный журнал «Магазин литтерэр», где было посмертно опубликовано его интервью, назвал «иллюзорной затеей». Поэтому вывод французского ученого звучит так безнадежно пессимистически.

«Бесконфликтное общество, — писал он,— в котором отдельные люди видят образец идеального мира, существует только на кладбищах».

Таким образом, полемология попадает в порочный круг: если человек, с ее точки зрения, предстает «по сути своей конфликтующим существом», одержимым смутными импульсами агрессивности и иррациональности, а война — «физической или умственной эпидемией», то никаких «полемологических барометров», базирующихся на рационально-научных, всеобщих данных, отыскать попросту невозможно.

Символическим олицетворением полемологии Бутуль считал древнеримского двуликого бога Януса. Старческий лик этого бога был обращен в прошлое, а юношеский — в будущее, что, вероятно, дало французскому ученому основание назвать Януса «божеством предвидения». Янус — бог входов и выходов, дверей и всякого начала, «добрый созидатель» — призывался также при объявлении войны, что могло означать связь мира и войны. Врата посвященного ему храма на форуме для верующих раскрывались лишь с началом войны и запирались в мирное время. Эту мифологическую символику легко трактовать поразному. Может быть, Гастон Бутуль этой аллегорией хотел намекнуть, что войны, которые изучает созданная им полемология, должны навсегда кануть в прошлое и что в будущем, куда глядит юношеский лик Януса, им нет места. Но эту же аллегорию нетрудно истолковать как символ тщетности усилий полемологов: ведь если не наступит благословенное естественное состояние мира и разразится термоядерная катастрофа, то погибнет жизнь и цивилизация, не станет прошлого и будущего, а в настоящем «полемологическим барометром» просто некому будет воспользоваться.

Однако оставим мифологию. Теперь парижский Институт полемологии возглавляет Жан Поко́, пространную беседу с которым публикует «Кэнзэн литтерэр». Своему предшественнику Поко бросает упрек в том, что он не сделал всех выводов из анализа проблемы ядерной угрозы. В работе института полемологии новый директор намерен уделять больше внимания исследованию взаимоотношений политики и стратегии, хотя главным остается сбор данных о тех проблемах, которые создают в нынешнем мире разгул насилия и локальные войны в разных районах земли. По

сути же полемология не меняет фундаментальных позиций: чтобы искать путей к миру, повторяет Поко, сначала надо познать «механизмы» войн, конфликтов и кризисов.

В решении животрепещущей проблемы мира Поко признает примат политики, утверждая, будто «военная» война, освобожденная от политического контроля, ушла в прошлое. И тем не менее проблематика полемологии в его изложении крайне противоречива. Отмечая, что всякая мысль о войне сегодня прежде всего ассоциируется с ядерной угрозой и в условиях растущей гонки ядерных вооружений существует опасность потерять контроль над развитием международной ситуации, Поко совершенно неожиданно впадает в розовый, безосновательный оптимизм, когда заявляет, будто в наши дни «ядерная война не имеет значения, ибо она не произойдет». Он, оказывается, не верит, что в настоящее время широкие круги обшественности, к примеру, Франции или ФРГ испытывают подлинный страх перед угрозой войны, хотя считает американскую стратегическую «доктрину гибкого реагирования» «относительно опасной, так как она представляет собой источник гонки вооружений». Дань здравому смыслу отдает Поко, когда делает одно очень важное признание.

«Я думаю,— говорит он,— что с начала 60-х годов слишком многие эксперты отдавали бо́льшую часть своего времени изучению возможных «сценариев» советской агрессии против Запада, но мне кажется, что именно этот «сценарий» никогда не будет разыгран».

Казалось бы, эти высказывания свидетельствуют, что полемология сделала шаг вперед от поисков всеобщих «механизмов войны» к пониманию действительной сложности современной международной обстановки и признанию политических реальностей нашей эпохи. К сожалению, впечатление это обманчиво.

Если атомная война не разразится — этого мы от души желаем вместе с Жаном Поко,— что же тогда останется на долю полемологии? Бесконечно продолжать накапливать информацию о локальных войнах, терроризме, различных проявлениях насилия, грязной деятельности мафии и т. д. Заодно выдвигается задача — продвинуть работы по прогностике, то есть исследовать перспективы на будущее, искать путей к миру. Но полемология изменила бы самой себе, если бы прямо признала, что бороться в первую очередь необходимо с главным виновником войн в нашу эпоху — империализмом и его поджигательской политикой. А Жан Поко наивно утверждает, что нужно поставить вопрос, кто сегодня может быть «врагом».

«Рассуждения о мире,— пишет он,— не должны превращаться в его воспевание или ограничиваться утопией, суть которой сводится к вере в то, что, разрушив орудия войны, можно построить мир».

Воспевать мир — это благородный долг поэтов, но одними песнопениями войну не остановишь, это ясно всем. Обязанность народов — бороться с гонкой разоружений, воплотить в жизнь великий идеал человечества — добиться всеобщего и полного разоружения, устранить войну из жизни общества. И, как видим из рассуждений Поко, полемология отрицает этот идеал.

«Если хочешь мира, познай войну». Эта фраза стоит эпиграфом к журналу «Полемологические исследования». Однако она в современную эпоху неверна. Девиз сил, противостоящих в наши дни войне и милитаризму, иной: «Хочешь мира — борись за него!»

«Ирония истории», говорил Маркс, проявляется не только в социальной действительности, но и в развитии социальных идей. Пока полемологи «познают» войну, пентагоновские «ястребы» вовсю готовятся к новой мировой войне. Журнал «Тайм» сообщил, что в городе Ливермор, где находится научный центр, разрабатывающий новейшие средства ведения войны, состоялась репетиция «кнопочной войны эпохи компьютеров» под кодовым названием «Янус».

«Военная игра по проекту «Янус»,— пишет «Тайм»,— противопоставляет войска США вооруженным силам, смоделированным по образцу вооруженных сил русских».

А полемология продолжает отыскивать абстрактные «механизмы» войны и уверяет, будто у человечества теперь нет врага, угрожающего самим основам его существования. Что это — наивность кабинетных ученых или сознательная фальсификация проблемы войны и мира? Суждения Жана Поко убеждают в справедливости второго предположения.

Ж. Поко призывает «защищать демократию», хотя ей, по его же мнению, вроде бы никто не угрожает: согласно Поко, «врага» не существует. Обязательство Советского Союза не применять первым ядерного оружия он называет «не имеющим большого смысла». Жаль, что «полемологический барометр» не показывает исследователям «механизмов» войны, что эта важнейшая инициатива СССР есть воплощение политики мира в действии.

«Все теперь политика»,— констатирует Жан Поко. Да, это так, и никому не дано стать «над схваткой» двух идеологий и двух политик — социалистической и империалистической. Принципиальной и последовательной миролюбивой политике, которую предлагают всем государствам и народам планеты Советский Союз и страны социализма, нет реальной альтернативы, кроме всеобщей катастрофы, которую хладнокровно планируют стратеги «атомной смерти».

Журнал «Тайм», рассказывая об «игре» «Янус», пишет:

«Города превращены в руины. Леса объяты пламенем, которое изображается мигающими красными точками... Взрыв ядерной бомбы обозначила оранжевая вспышка. Затем распространившийся во все стороны белый круг показал, что он уничтожил войска противника...»

Вот какие «механизмы» отрабатывают пентагоновские убийцы!

Читатель вправе спросить, какое все это имеет отношение к литературе. Самое прямое. В наше суровое время писателю недостаточно просто осуждать войну. Мастера слова, все честные, озабоченные судьбами мира и цивилизации деятели культуры сегодня обязаны выполнить ленинский завет: разоблачать всякого рода «софизмы, которыми оправдывают войну». Полемология есть один из таких «софизмов».

Танатос, инстинкт смерти, как утверждал Гастон Бутуль, достигающий кульминации в человекоубийстве и самоубийственных импульсах человека, проявляющийся в агрессивности, присущ всем обществам. Это тоже «софизм». Социалистическое общество не подвержено «инстинкту смерти». Оно видит свой высший идеал в мире и сознательном созидании коммунистического будущего.

«Советский Союз будет делать все от него зависящее, чтобы обеспечить нынешнему и грядущему поколениям спокойное мирное будущее,— заявил Ю. В. Андропов.— Это цель нашей политики, и от нее мы не отступим».

МОДА НА АПОКАЛИПСИС

«Атака была молниеносной. В ракетной войне остаются всего секунды, если не доли секунды, чтобы ответить на нападение... Это ошеломляюще, это новая, неизвестная военным экспертам война».

Это свидетельство капитана Солта, который командовал английским эсминцем «Шеффилд», потопленным аргентинской ракетой во время конфликта на Фолклендских (Мальвинских) островах. Его приводит в статье «Обратный отсчет начался», которую публикует «Кэнзэн литтерэр», французский публицист Поль Вирилио, серьезно анализирующий другую важную тему, предложенную журналом для размышлений,— человек и «нынешняя революция в способах разрушения».

Величайшая опасность безудержной гонки вооружений, особенно ядерных, чревата тем, что малейшая случайность, технические просчеты и неполадки могут привести к самым трагическим непоправимым последствиям. И поэтому чрезвычайно возрастает роль фактора времени. «Быстрота — сущность войны»,— писал древнекитайский полководец и военный теоретик Сунь-Цзы. Стремительный прогресс военной техники, широкое применение в ней сложнейших электронных систем, создание так называемого «разумного оружия» «автоматизируют,— как пишет Вирилио,— не только средства разрушения, но прежде всего и главным образом ведение войны». Причем утрата контроля над современным изощренным оружием — это не просто страшные предсказания фантастов-мизантропов, а вполне реальная угроза. Поль Вирилио замечает, что автоматизация средств войны предваряет автоматизацию ее целей. «...Военная машина может внезапно превратиться в машину объявления войны «машину Страшного суда»,— пишет он.— Тогда исчезнет и выйдет из-под нашего контроля даже возможность какого-либо политического выбора между войной и миром». Эту ситуацию он называет апокалипсической и делает совершенно правильный вывод, что необходимо отказаться от нелепых мечтаний о военном превосходстве и безумной доктрины «первого ядерного удара».

Самое чудовищное в этих человеконенавистнических планах «компьютерной войны» то, что нынешние герострады стремятся выбить из рук человека его надежнейшее оружие — разум, лишить людей возможности решать свою собственную судьбу. П. Вирилио цитирует американского автора Эндрю Страттона, который пишет:

«Прогресс в области обмена ракетными ударами может свести на нет время, необходимое для принятия человеком решения вмешаться в эту систему».

Гонка вооружений и угроза ядерной войны, таким образом, лишают человека времени, нужного для трезвого, взвешенного подхода к принятию жизненно важных решений. Ведь «разумное оружие», говоря словами П. Вирилио, действует по принципу «выстрели и забудь». И эта «сверхскорость» современных систем ядерно-ракетного вооружения, подчеркивает он,

«лишая нас необходимого для размышления времени, тем самым окончательно отнимает у нас ответственность перед нашей судьбой».

Да, нависший над планетой кошмар ядерной угрозы действительно грозит отнять у человечества время — не только настоящее, но прошлое и будущее.

Цинизм апологетов ядерной смерти не знает границ. Они готовы сделать орудием разрушения даже мысль и слово. «Кэнзэн литтерэр» перепечатывает из парижской газеты «Либерасьон» заметку Д. Пиньона «Завтрашняя война», которая заслуживает того, чтобы привести ее полностью.

«Конструкторы военных самолетов рассматривают прямое, минуя экран радара, использование слова для связи с самолетом. Живого слова для пилота, который будет управлять самолетом. Искусственного слова для самолета, которое будет корректировать действия пилота... Но требования электроники, может быть, вынуждают идти еще дальше. Зачем терять несколько долей секунды на произнесение двух или трех слов? Техники вполне серьезно намерены спарить пилота с самолетом напрямую, минуя его чувства, подключить мозг пилота к бортовому компьютеру. Использовать лишь мысль пилота. Именно это военные называют биокибернетикой. Электроэнцефалограмма находит здесь уже не медицинское, а военное применение. Датчики, расположенные на голове пилота, улавливают электрические сигналы его мозга. Калькулятор сортирует сигналы и по электроэнцефалограмме опознает то решение, о котором подумал пилот. После этого речь идет лишь о том, что электронная аппаратура на борту заставит его выполнить это решение. Фирма «Дуглас» практически работает над биокибернетикой и предсказывает ее операционное применение в авиации через десять лет».

Такова зловещая мечта империалистических «ястребов» — полностью отключить человеческое сознание, сделать человека послушным роботом смерти.

Война, замечает другой автор журнала, Жан Шено, в статье «Схватка со временем», становится «электронной». «И эта электронная война стоит безумно дорого». Он приводит ошеломляющие цифры: по подсчетам английской газеты «Морнинг стар», денег, потраченных во время конфликта на Фолклендских (Мальвинских) островах, хватило бы на то, чтобы дать каждому жителю архипелага более чем по миллиону фунтов стерлингов. Гонка вооружений отнимает у человечества не только колоссальные материальные средства, но и растрачивает бесценные творческие и духовные силы тех людей, которые заняты разработкой новейших, все более губительных способов «научного убийства».

Атомное оружие массового поражения, стремительная техническая революция в военном деле, продолжающаяся по вине империализма гонка вооружений — таковы те новые реальности наших дней, те факторы мировой политики, все последствия которых должна ясно осознавать и современная передовая литература, если она хочет быть действенным инструментом мира. Хорошо сказал об этом известный французский прозаик Эмманюэль Роблес, отвечая на анкету журнала «Иностранная литература»:

«...Нынешние писатели должны неустанно разоблачать чудовищную бессмысленность войны и (если учесть ужасающую разрушительную силу современного оружия) неизбежность ее трагических последствий для человечества. Они равным образом (а может быть, и в первую очередь) обязаны изобличать глубинные причины, порождающие военную опасность».

ЛИТЕРАТУРА — УРОК МИРА

При чтении специального номера «Кэнзэн литтерэр» может создаться впечатление, будто журнал не желает предлагать в качестве темы для размышления художественную литературу, которая тысячами нитей связана сегодня с животрепещущей проблемой войны и мира. На его сорока страницах не найти не только статьи об антивоенном движении писателей, но и даже упоминания о писательских форумах, на которых обсуждалась роль литературы в деле защиты мира. Однако это не означает, что в журнале отсутствует определенная концепция роли литературы в освещении проблемы войны и мира. Она изложена в статье публициста, литературного директора крупного издательства «Сэй» Жака-Клода Гийбо, выразительно названной «Странная, скандальная, невыразимая тайна».

Ж.-К. Гийбо — специалист по «горячим точкам» планеты, он, по его словам, наблюдал восемь войн, в основном в развивающихся странах. «Тайна», о которой говорит французский публицист, заключена, оказывается, в том, что все без исключения люди «испытывают непристойное, гнусное наслаждение войной» и избавиться от этого не дано никому. Войну он понимает в духе полемологии, как «скрытую эпидемию», а не конкретно-социальное явление. Поскольку все люди заражены этим «наслаждением войной», постольку они не способны достичь «ясного понимания вещей», то есть разобраться в причинах войны и содействовать их устранению. Это «наслаждение войной» якобы присуще человеку от природы, и само по себе оно значит «согласие с войной», ее приятие. Чувство это фатально и неизбежно, по мнению Гийбо, люди не смогут от него никогда полностью избавиться. В борьбе с войной и ее угрозой, навязчиво подчеркивает Гийбо, не поможет ничто: ни «добродетельное возмущение», ни «обвинения», ни «пацифистский протест».

«Мы, мирные интеллигенты,— пишет он,— носим на себе войну, как стафилококк».

Что в этом случае выпадает на долю писателей? Гийбо призывает интеллигенцию — в том числе и творческую — не жаловаться на войну, не удручаться ею, не осуждать ее с точки зрения морали, а «равнодушно рассуждать о постоянстве войны». По существу, Гийбо предлагает литературе капитулировать перед войной, свалив всю ответственность на изначальное несовершенство человеческой природы, которую, мол, нельзя преодолеть. Французский публицист прямо признается, что эти идеи он почерпнул в полемологии Гастона Бутуля. Но приписывать человеку извечное «наслаждение войной» означает отвергать гуманизм и разум, отдавать людей в плен хаоса и неразумия, призывать писателей к трусливому смирению перед судьбой. Однако пусть Гийбо ответит французский писатель Андре Стиль, который сказал:

«Трусостью является именно приятие войны, а не страстное утверждение мира».

Сегодня, как никогда раньше, перед мастерами слова стоит грандиозная задача — сделать все, чтобы никто не оставался равнодушным в великом деле эпохи — борьбе за предотвращение ядерной катастрофы.

«Война начинается исподволь,— говорил американский писатель Уильям Сароян,— когда одни позволяют себе трусость, предательство, спекуляцию идеями и принципами, а другие терпят все это».

Мудрые слова! В наши дни необыкновенно возрастает просветительская роль литературы, призвание которой — разоблачать все софизмы, которыми оправдывают войну. Ее оружие в священной борьбе за мир — это бесстрашие правды. Литература должна способствовать тому, чтобы страх перед войной не превращался в безропотное, покорное смирение, ее долг — звать на борьбу за мир, служа идеалам мира, творчества и прогресса.

Летом прошлого года в Кёльне (ФРГ) состоялись Международные литературные дни «Интерлит-82» и писательский конгресс. Мастера культуры из 48 стран были

едины в стремлении поставить свои таланты на службу мира.

«Огромное достижение современной литературы по сравнению с предвоенной состоит в том,— писала тогда газета «Кёльнише рундшау»,— что ныне в мире нет писателя, который выступал бы за войну».

Действительно, все больше писателей, придерживающихся самых разных политических и эстетических взглядов, объединяются на платформе гуманизма и мира, понимая, что альтернатива миру сегодня — это всеобщее уничтожение. Но успокаиваться рано! Еще находятся писатели, которые хотят, чтобы разгорелась война. К их числу, например, принадлежит редактор парижского еженедельника «Фигаро магазин», небезызвестный мракобес Луи Повель. Прикрываясь демагогическими рассуждениями о необходимости восстановить чувство «европейского патриотизма», вернуть Западной Европе ее роль «центра и культурного двигателя мира», он желает, чтобы разразилась трагедия.

«В конце концов,— заявляет он,— Европа пережила не один кризис, не одно разрушение и выжила».

Этот «защитник» западной культуры обманывается сам и обманывает других. Если в Европе разразится ядерная катастрофа, то итогом этой трагедии станет гибель европейской цивилизации.

Борьба литературы за мир сейчас неотрывна от борьбы за очеловечивание жизни. Художнику слова, как воздух, нужны ясный разум и твердая воля, чтобы внушать людям сознание, что ядерная война уже не может быть продолжением политики, что она себя изжила. Мир выступает сегодня как высшая ценность гуманизма, как непременное условие сохранения жизни и цивилизации. Человечество устало существовать в условиях так называемого «равновесия страха». И это хорошо осознает передовая, чувствующая свою ответственность литература.

«Когда тиран Дионисий подвесил на лошадином хвосте тяжелый меч над головой своего гостя Дамокла,— пишет в книге «Во что я верю» известный французский писатель, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» Эрве Базен,— то сделал он это лишь на время пира! Нам же, обладающим теперь оружием, способным нас взаимно уничтожить, надо отказаться от его использования навсегда...»

В осуществление этой мечты народов литература может внести и вносит свой вклад. Поэтому писатели должны разоблачать мрачный фатализм, вселенский катастрофизм и безысходный пессимизм, которые пытаются внушить людям сторонники и пропагандисты ядерного апокалипсиса.

Голос совести и разума, литература способна найти такие слова, которые сумеют объединить людей, воспитать и закалить их волю к миру. Слову дано звучать набатом, предупреждающим человечество о грозящей ему опасности, оно властно разбудить равнодушных. Вспомним то решительное и страстное «нет!», которое сказал войне западногерманский писатель Вольфганг Борхерт — этот гениальный юноша, убитый фашизмом.

«Тогда последний оставшийся в живых человек начнет блуждать под палящим солнцем, с искромсанными кишками и зачумленными легкими, одинокий и бессловесный, под колеблющимися созвездиями, один среди необозримых общих могил, среди мрачных бетонных истуканов одичавших городов-гигантов, последний человек — изнуренный, обезумевший, хулящий, умоляющий; и его страшный вопль: ЗАЧЕМ? — заглохнет неуслышанным в степи, развеется в оскалившихся руинах, задохнется под прахом церквей, отпрянет от стен бомбоубежищ, захлебнется в луже крови — неуслышанный, безответный, последний животный крик последнего животного — человека.

Все это наступит завтра, быть может, завтра, а может, и сегодня ночью, может быть, ночью, если — если вы не скажете НЕТ».

Вся честная прогрессивная литература планеты во весь голос говорит сегодня гневное «нет!» ядерной смерти.

В начале прошлого года в приложении к газете «Монд» была опубликована замечательная статья «Воспитывать детей в мире». Корреспондентка газеты рассказала о том, что во Франции среди преподавательниц начальных классов родилась идея проводить с детьми «уроки мира». Она побывала на одном таком уроке, где дети обсуждали с учительницей сказку Поля Элюара «Ребенок, который не хотел расти». Маленькая героиня поэта Каролина, увидев однажды по телевизору войну, решила, что она не будет больше расти, чтобы не оказаться в жестоком мире взрослых. Какой глубокий символ! По существу, вся литература призвана быть великим уроком мира, преподающим людям основы добра и справедливости, доверия и творчества, созидания и любви.

«...Ядерной войны, — подчеркивал Ю. В. Андропов,— допустить нельзя — ни малой, ни большой, ни ограниченной, ни тотальной. Остановить поджигателей новой войны — нет сейчас задачи важнее».

Да, допустить нельзя!

ЛЕВ ТОКАРЕВ

◆

Публицистика

Ю. КАГРАМАНОВ

ЕВРОПА И «АМЕРИКАНИЗМ»

Старый миф о похищении Европы Зевсом, вероятно более чем когда-либо, может служить метафорой нынешних отношений между западноевропейскими странами и США. Разумеется, заокеанская держава в этой связи выступает в роли похитителя.

Казалось бы, вопрос не нов. Хорошо известно, что уже в первые послевоенные годы западноевропейские страны были поставлены в вассальные отношения к заокеанскому партнеру, чья экономическая и военно-политическая гегемония в западном мире была тогда неоспоримой. С тех пор соотношение сил изменилось как раз в пользу Европы: в значительной мере она наверстала свое отставание от США в экономической области, а в политическом плане проявляет бóльшую, чем прежде, самостоятельность. Так в чем же дело?

А дело в том, что в то время, как западные европейцы наращивали мускулы, они утрачивали собственную оригинальную физиогномику и становились похожими на американцев. Иначе говоря, страны Западной Европы утрачивали свою самобытность, свою национальную культуру, уступая натиску заокеанского образа жизни, заокеанской «массовой культуры». О том, как далеко зашел этот процесс, свидетельствуют, на примере одной страны, факты, собранные в книге французского публициста Жака Тибо «Колонизованная Франция». На пороге 80-х годов, делает вывод Тибо, стало очевидным, что в культурном отношении Франция «колонизована» Соединенными Штатами; другие западноевропейские страны, по мнению автора, «колонизованы» в еще большей степени, чем Франция. Если подобные утверждения и заключают в себе некоторый перебор, то, во всяком случае, доля истины в них безусловно есть.

Еще в шестидесятые годы «американизм» воспринимался его противниками в Западной Европе как внешняя угроза. Теперь же в нем видят скорее внутреннюю угрозу, настолько «американизированы» оказались, говоря научным языком, инфраструктуры общества и культуры. Быт, нравы, даже язык несут на себе глубокий отпечаток заокеанских влияний. «Американский образ жизни,— утверждает тот же Тибо,— изменил самые глубины французского общества, его воображение и его разум, его строй чувств и его мышление» [1]. Что это не пустые слова, подтверждает художественная литература и кинофильмы последних лет. Взять, к примеру, служащих транснациональной фирмы «Россериз и Митчелл-Франс» — героев романа Рене-Виктора Пия «Обличитель», знакомого читателю «ИЛ» (1978 г., № 11, 12). Кто они: французы или американцы? Еще, как говорится, вопрос.

Можно обратиться за свидетельствами к художественной продукции, публицистике и т. д. других стран Западной Европы. Для шведов, например, как пишет шведская писательница Сара Лидман, «...Джеймс Бонд и Коджек [1] стали необходимостью наравне с хрустящими хлебцами в повседневном рационе» [2]. В итальянском фильме «Распад» скромный провинциальный конторщик, прежде чем совершить какой-либо поступок, мысленно ставит себя в положение героя того или иного американского кинофильма, а потом уже «переводит» с языка фантазии на язык окружающей его реальности. В знакомой советскому читателю повести П. Хандке «Короткое письмо к долгому прощанию» герой, насмотревшись американских комиксов, даже собственные сны видит выстроенными аналогичным образом — разбитыми на коротенькие серии, по четыре картинки в каждой. И так далее — примеров найдется немало.

Особую озабоченность вызывает у западных европейцев их будущее — дети, молодежь. «Наши дети растут слишком похожими на их (американцев) детей» — подобные сетования можно услышать в любой точке западной части континента, от Исландии до Сицилии. Растущее поколение в силу ряда причин легко поддается воздействию американских и американизированных телепередач, кинофильмов, комиксов и т. д., легко усваивает стандарты «американского образа мыслей».

«Американцы...— пишет французский писатель А. Лану,— через свою прессу, песни, фильмы воздействуют на французскую молодежь... Это очень серьезно. Серьезнее, может быть, чем проекты американских штабов или их политического мозгового треста» [3]. Схожим образом устами одного из своих героев бьет тревогу итальянский писатель Л. Шаша: итальянское общество (конкретно речь идет о сицилийцах) начинает перенимать американскую систему

[1] J. Thibau. La France colonisée. P., 1980, p. 310.

[1] Детектив, герой американского многосерийного телефильма.

[2] «Запад вблизи». М., 1982, с. 780.

[3] «Чем жив писатель». «ИЛ», 1982, № 10, с. 215.

воспитания детей и тем самым «отдаляет их от себя», лишает «чувства» их традиционных прав (замечу, что в контексте речи «чувства» — не просто эмоции, но скорее та интуиция, которая создается опытом культуры) [1].

Многие молодые французы, констатирует видный французский социолог М. Крозье (о его книге «Американская болезнь» речь еще будет идти ниже), сегодня «больше американцы, чем сами американцы».

В распространении «американского образа мыслей» Лану (и не только он) не склонен видеть результат целенаправленной кампании, скорее это, утверждает он, «нечто вроде эпидемии». Вот тут писателю можно возразить: дело, на наш взгляд, не просто в «эпидемии». Хотя принципом культурного процесса в Соединенных Штатах является самотек — в строго определенных, заранее заданных берегах,— их внешняя культурная экспансия развивается как запланированная, тщательно продуманная акция. Кстати говоря, недавно в Париже вышла книга Ива Эда «Завоевание умов. Механизм американского культурного экспорта», где автор (судя по рецензии, опубликованной в буржуазной газете «Монд» [2]) приводит новые доказательства того, что культурная экспансия Соединенных Штатов — операция, разработанная соответствующими правительственными учреждениями, и что она развивается бок о бок с военно-политической экспансией.

Культурное наступление Соединенных Штатов, «тихое», но оттого особенно эффективное, чем дальше, тем больше тревожит западных европейцев. Не кто иной, как министр культуры Франции Ж. Ланг, выступая на второй всемирной конференции ЮНЕСКО по вопросам культуры, состоявшейся в прошлом году в Мехико, восклицал: «Почему мы миримся с таким вмешательством? Почему соглашаемся с таким обезличиванием? Долго ли мы будем бездействовать? Неужели наши государства, подобно решету, будут пассивно пропускать через себя всю зрелищную продукцию, которой их бомбардируют? Неужели наша участь — стать вассалами гигантской империи тех, кто заботится только о своей прибыли? Такой финансовый и интеллектуальный империализм больше не прибегает к захвату чужих территорий, во всяком случае делает это крайне редко. Он завоевывает сознание людей, подчиняет их образ мышления и образ жизни».

Столь резкое выступление на столь официальном уровне прозвучало, кажется, впервые.

Не случайно, что его автором явился именно французский деятель. Среди западноевропейских стран Франция — традиционный оппонент Америки и «американизма». Французы, пишет американский историк Д. Страус, всегда «реагировали на американскую угрозу более резким образом, чем другие (западные) европейцы»; стоя в основном на той же позиции, что и их соседи, они выражали ее «с особой ясностью и силой» [1].

С другой стороны, нельзя не отметить, что именно во Франции в недавние времена имели место и программные проамериканские выступления, получившие наибольший резонанс. Назову такие книги, как «Американский вызов» Ж.-Ж. Серван-Шрайбера (1967) и «Ни Маркс, ни Иисус» Ж.-Ф. Ревеля (1971). И сегодня поклонников «американизма» в этой стране более чем достаточно, что показала, в частности, дискуссия, развернувшаяся вокруг выступления Ланга.

Речь министра вызвала множество сочувственных откликов Ланг, писала в журнале «Нувель обсерватёр» журналистка К. Рибейро, «заговорил о зле, от которого почти все мы страдаем, убедительно выразив то, о чем сотни французских творческих работников думают слишком давно» [2]. Здесь необходимо напомнить, что уже многие годы «говорят о зле» французские коммунисты, занимающие наиболее последовательную позицию в вопросе о защите национальной культуры от заокеанского вторжения.

Но выступление Ланга вызвало и множество нападок. «Новый философ» Б.-А. Леви заявил, например, что «антиамериканизм», исповедуемый Лангом, представляет «набор банальностей» и есть не что иное, как результат будто бы искони свойственной французам ксенофобии. Писатель и теоретик «авангарда» Ф. Соллерс не усмотрел в американском культурном проникновении ничего дурного и даже выразил готовность «стать американцем». Другой литератор, А. Финкелькраут, отверг мысль, что Франция способна оказать сколько-нибудь эффективное сопротивление американскому вторжению; «никакая страна,— утверждал он,— даже наша, не в силах освободиться от чувства своей посредственности, возникающего при сравнении с Великим Заокеанским Сатаной» [3]. Некоторые довольно почтенные деятели культуры, не углубляясь в существо вопроса, реагировали на выступление министра в том духе, что если, дескать, по телевидению непременно надо смотреть какую-то чепуху, то лучше уж смотреть американскую чепуху, чем французскую.

Что касается «чепухи» (а она, как известно, тоже способна оказывать не чепуховое воздействие на умы и чувства), то такие предпочтения с определенной точки зрения понять можно. Производство «массовой» культурной продукции в США ведется с большим размахом и основательным знанием дела. Поэтому там, где искусство — промышленность, там у американцев приоритет, а западноевропейская соответствующая продукция выглядит второсортной. Другое дело, когда искусство является искусством в настоящем смысле слова, тогда промышленность не столько помогает, сколько мешает.

---

[1] Леонардо Шаша. Винного цвета море. М., «Прогресс», 1982, с. 353.

[2] "Le Monde", 31.VIII.1982, p. 1.

[1] D Strauss. Menace in the West. Westport. 1978. p. 282.

[2] "Le Nouvel Observateur", 1982, № 928, p. 12.

[3] Там же, 1982, № 926, p. 22.

Разумеется, в Европу из Соединенных Штатов попадает не только «массовая культура». В области литературы и искусства, а также науки за океаном создано немало значительного и подчас великого, что европейцами (нередко сперва именно европейцами, а потом уже соотечественниками) оценено по достоинству. Стоит назвать хотя бы имена Фолкнера и Хемингуэя (замечу, кстати, что полное собрание Фолкнера до сих пор издано только в Париже, в переводе на французский). И даже в отношении, скажем, Уолта Диснея или Луи Армстронга «за» перевесят «против». Даже то, что проходит по ведомству «массовой культуры», не все плохо: в груде мусора попадаются хотя бы скромные жемчужные зерна.

Но здесь речь идет не о тех американских влияниях, которые обогащают западноевропейскую культуру, а о тех, что обедняют ее.

Между тем американское культурное проникновение в Западной Европе не ограничивается экспортом соответствующей готовой продукции: фильмов, литературы и т. п. Теперь уже и собственная продукция западноевропейских средств массовой информации, самые принципы их деятельности все больше равняются на американские образцы.

Примером может служить проведенная несколько лет назад реорганизация французского телевидения. Суть ее сводится к дальнейшей коммерциализации этого, по общему признанию, важнейшего из средств массовой информации: принцип конкуренции программ ставится во главу угла, возрастает роль рекламы и т. п. (новое правительство попыталось остановить процесс коммерциализации, но о результатах его усилий пока судить рано). Тем самым еще больше подрывается воспитательное, учительское начало, заложенное в культурных традициях Старого Света. Вместо того чтобы вести «человека массы», следуют за ним — в тех узких пределах, куда его загоняют. В экономике это называется «маркетинг»: продукт «доводится» до потребителя, как бы идет навстречу его пожеланиям. Те же приемы рыночной торговли у средств массовой информации.

Коммерциализация культуры — процесс, общий для всего капиталистического мира. Основная причина его в том, что экономическая и социальная практика современного капитализма диктует чисто прагматический, инструментальный подход к эстетическим, этическим и другим ценностям. Идеалы и цели, отличающие высокую культуру, не имеют «спроса». Как сказал бы Салтыков-Щедрин, «нет запроса на благородные мысли». И все-таки до поры до времени Западная Европа находилась в более выгодном положении сравнительно с США: сила культурных традиций, инерция определенных институтов оказывали энергичное сопротивление фактору «спроса». Теперь это сопротивление заметно слабеет. Известный французский писатель и социолог Режис Дебре в своей недавно вышедшей книге «Интеллектуальная власть во Франции» показал, например, что средства массовой информации оттесняют такие традиционные центры культурной деятельности, как университет и издательство, и что сами они все больше подчиняются закону рынка, становясь одновременно монополизированным средством пропаганды на службе правящего класса.

Но вот на что нельзя не обратить внимание. Пока стандарты «американизма» вытаптывают столетиями ухоженные урочища, пока благородные шерифы, супермены, ковбои и прочие наглядные «доказательства» превосходства «американского образа жизни» покоряют большие и малые экраны западноевропейских стран, «Великий Заокеанский Сатана» начинает утрачивать тот «магнетизм», который порою притягивал к нему довольно разные категории западных европейцев. Экранные шерифы еще лучатся уверенностью и энергией, а реальная Америка замешкалась на распутье, не имея перед собой никаких четких перспектив.

Надо уточнить, что «магнетизм», о котором идет речь, складывался из разных компонентов, но самым существенным из них был тот, который создала научно-техническая революция. В послевоенные, трудные для Европы годы богатая и процветающая Америка представлялась купающейся в лучах научно-технического прогресса; многим тогда казалось, что только это — научно-технический прогресс — имеет значение, все же остальное не столь существенно. На волне НТР в Соединенных Штатах окончательно сложился и распространился по миру стиль мышления и деятельности, выдававший себя за единственно современный. Его отличительной чертой стала рациональность, понятая в узкотехническом смысле.

Замечу, кстати, что в те же послевоенные годы в Америке приобрел громадную власть человек малообразованный и косный, угрюмый и злобный мракобес — сенатор Джозеф Маккарти. Под предлогом борьбы с «происками мирового коммунизма» Маккарти развернул кампанию против любого рода инакомыслия и повел ее с такой поистине средневековой нетерпимостью, что она недаром вошла в историю под именем «охоты за ведьмами». За спиной Маккарти стояла дремучая американская провинция — понятие не столько территориальное, сколько социально-психологическое,— немедленно свирепеющая, когда кто-то или что-то угрожает или ей кажется, что кто-то или что-то угрожает ее благополучию.

Американские либералы обычно стремятся создать впечатление, будто маккартизм — это нечто такое, что неразрывно связано с особой Маккарти и что Америкой давно уже преодолено. На самом деле маккартизм как явление возник задолго до того, как Маккарти выступил на политической сцене, и продолжал существовать после того, как он ушел; только обычно он принимал не столь откровенные формы. Оживление маккартизма в сегодняшних США — очередное тому доказательство.

Соединенные Штаты — страна сложная и противоречивая, сплошь и рядом в американской действительности и в самом американском характере соседствуют черты на первый взгляд несовместимые. Но иногда выясняется, что несовместимость эта —

только кажущаяся. Так, культ рациональности и маккартизм — явления, если разобраться, не столь уж противоречащие друг другу: оба они так или иначе соответствуют американской традиции, имя которой антиинтеллектуализм и конформизм. Потому что и культ рациональности, как ни странно это может показаться, вовсе не чужд искони свойственного американцам недоверия к рефлексии. Ибо рациональность того типа, какой был пущен в оборот американскими университетами и «фабриками мысли»,— плоская, ползучая: она признает только «опыт» и не признает отвлеченную, «воспаряющую в метафизические высоты» мысль.

Американцы привыкли ставить себе в заслугу то, что всегда было их недостатком: невосприимчивость к метафизике [1] выдавалась, а нередко и сейчас еще выдается за свидетельство «трезвого», «реалистического» направления ума. Мысль, «воспаряющая в метафизические высоты», оставляла американцев равнодушными; величественные философские системы, завезенные «из Германии туманной», редко находили в США последователей или хотя бы тех, кто проявлял бы к ним какой-то интерес (даже такие свои писатели, как, например, Г. Торо или Г. Мелвилл, имели крайне ограниченный круг читателей). В этой стране было принято гордиться своим практицизмом (даже ее философы, в большинстве своем, поставили во главу угла однобоко истолкованный принцип «практики») и глядеть свысока на старую Европу, «погрязшую» в идеологических спорах, «отягощенную» своей многовековой культурой, нескончаемо бьющуюся над странными вопросами, именуемыми «вечными» и даже «проклятыми».

Научно-техническая революция, таким образом, лишь внесла некоторые коррективы в давно сложившееся положение вещей. К старым идолам «жизненно конкретного» и «практически полезного» добавились новые: идолы «научности» и «точности». К этому американскому капищу была приобщена и Западная Европа. Долгое время «энтээровская» Америка прельщала многих западных европейцев, видевших в ней только этот фасад целесообразности. Это касается также и части западноевропейской интеллигенции. Люди, морщившиеся от глупых американских фильмов, ждали всяческих благ, и не только материальных, от Америки деловой и науковооруженной. Авторы всевозможных «техноидиллий» пытались создать впечатление, что власть в Соединенных Штатах переходит к экспертам, которые будут управлять страной «по науке». Подобные утверждения казались особенно убедительными в пору президентства Дж. Ф. Кеннеди, когда стало принято привлекать к участию в управлении, на различных этажах власти, высококвалифицированных специалистов.

Но уже во второй половине шестидесятых годов образ Америки, управляемой «по науке», стал быстро тускнеть. Становилось очевидным, что никакие «эксперты» не в состоянии справиться с ее острейшими проблемами, такими, например, как проблема бедности. «Американский тип рациональности» обнаруживал свою неэффективность (или хотя бы недостаточную эффективность) даже в практическом смысле. Новый удар — особенно чувствительный оттого, что это был удар, нанесенный «изнутри», выходцами из привилегированного класса,— нанесла ему контркультура, лишний раз продемонстрировавшая его ущербность в духовном плане.

Между прочим, в книге Ревеля «Ни Маркс, ни Иисус» была сделана попытка (пользуясь выражением французского писателя, употребленным по другому поводу) сложить в одну корзину головы Робеспьера и Марии-Антуанетты — воздать хвалу одновременно Америке деловой, прогрессистской и ее «блудным детям», ставшим под флаг иррационализма и мистицизма. В их конфликте Ревель усмотрел залог будущего «обновления» Соединенных Штатов, страны, отличительным свойством которой, по его словам, является неистребимая «витальность», жизненная сила.

Минуло одно десятилетие, и теперь уже самый убежденный апологет «американизма» не станет утверждать, что «конфликт поколений» принес Соединенным Штатам какое-то реальное обновление. Контркультура лишь еще больше дискредитировала «американский тип рациональности». А мечты экспертов об «онаучивании» системы управления на различных ее уровнях окончательно развеялись в президентство Рейгана, по сути знаменовавшее возвращение к методам руководства «на глазок».

Итак, рыцари практической рациональности выбиты из седла или, во всяком случае, перестали воинственно трубить в рога. В свою очередь, контркультура в общем и целом потерпела еще большее фиаско. Из чего, однако, вовсе не вытекает, что она не оставила после себя никакого отпечатка. На взгляд американских исследователей этого вопроса, контркультура стимулировала некоторые существенные трансформации «американского характера». Традиционный активный индивидуализм в какой-то мере вытеснен более пассивным эгоцентризмом. Глубокие корни пустила потребительская психология, утратили былое значение такие вещи, как этика труда и сколько-нибудь последовательная гражданственность.

Перемены «на уровне личности» — самый существенный момент тех изменений, которые претерпевает американская культура в целом. (Культура — это ведь не что иное, как личностный «срез» процесса общественного развития.) Кризис культуры в США — прежде всего кризис традиционной для этой страны концепции личности.

А теперь обратим внимание, что в разноголосом хоре западноевропейских критиков «американизма» в самое последнее время довольно неожиданно зазвучали голоса тех, кто еще вчера не выдвигал против него никаких существенных возражений, даже более того, прямо или косвенно его пропагандировал.

Так, уже упоминавшийся М. Крозье долгое время выступал как один из апостолов «американского типа рациональности» и в особенности американских методов управления производством. А в новой своей книге «Американская болезнь» он приходит

[1] Здесь: в смысле учения о сущности мира, а не в смысле антидиалектики.

к заключению, что Соединенные Штаты стали «больным человеком» западного мира и что причина начавшегося упадка этой страны — в ее несостоятельности в плане культуры.

Соединенные Штаты, утверждает Крозье, утрачивают право на лидерство в капиталистическом мире, так как они лишились той жизненной энергии, которая еще совсем недавно была им свойственна. Их военно-политическая мощь по-прежнему очень велика, но она уже не может скрыть слабости тылов. К этому можно было бы добавить, что именно ощущение слабости тылов — одна из причин взятого Вашингтоном курса на «холодную войну» и наращивание вооружений. Не так ли в американских фильмах-вестернах «плохие парни», проигрывая, скажем, в перетягивании каната или в борьбе за сердце девушки, хватаются за оружие как за последний аргумент?

Но чем конкретно аргументирует французский социолог? По его мнению, научно-технический прогрессизм недооценил важность человеческого фактора, в нынешних условиях приобретающего первостепенное значение. «При «новой сдаче» (игральных карт.— Ю. К.),— пишет Крозье,— перед которой поставлен весь мир, самое главное — качества людей и умение их использовать». «Американская индустрия,— читаем в другом месте,— открывает для себя, с некоторым опозданием, что она уже не располагает теми человеческими ресурсами, каких требует от нее ужесточившаяся конкуренция, и что становится необходимой их переквалификация» [1].

Действительно, сами американцы сетуют на возрастающий дефицит таких человеческих качеств, как элементарная добросовестность и чувство ответственности. Нацию, прежде славившуюся своим трудолюбием, теперь отличает низкая, сравнительно с некоторыми другими, дисциплина труда. Между тем возрастающая сложность технических систем менее всего терпит, чтобы к ним относились спустя рукава; отсюда — эскалация технических сбоев и срывов.

Порча «человеческого материала», согласно Крозье,— основной симптом «американской болезни». Он признает, что и западные европейцы поражены теми же самыми вирусами эгоцентризма, возрастающей некоммуникабельности и т. д. Но это, пишет он, вопрос степени: у американцев деградация зашла слишком далеко; в отличие от европейцев они не имеют устойчивых культурных традиций, которые удержали бы их от сползания по наклонной плоскости.

Аналогичный взгляд развивает другой крупный французский социолог и теоретик менеджмента Ж. Брильман в своей книге «Модели культуры и достижения экономики». Брильман тоже указывает на качество «человеческого материала» как на важнейшее условие экономического развития. Между тем модель человека, на которого может сегодня полагаться индустрия Запада,— это «расчетливый и завистливый эгоист». Модель, утверждает Брильман, общая для западных стран, но наиболее законченную форму принявшая в США.

Оба социолога винят в сложившемся положении вещей американскую воспитательную систему, которую некритически переняли и западные европейцы: она ослабляет тягу к знаниям, поощряет «вседозволенность». Каковы бы ни были ее исходные идеалы, в конечном счете она переключает интерес с «ценностей труда» на «ценности досуга». Оба социолога, однако, отдают себе отчет в том, что педагогические порядки — только производное от системы культуры. На взгляд Крозье, основное зло— отрыв от культурных традиций; в наибольшей степени он характерен для homo americanus. Результат: американцы погрузились в «устрашающее одиночество». И это, подчеркивает наш автор, не только личная беда каждого из них: любые стороны личной жизни имеют отношение к той сфере индивидуальной человеческой деятельности, которая называется функционально-ролевой.

Сила культурных традиций, развивает свою мысль Крозье, в настоящих условиях приобретает исключительное значение даже в практическом плане. Вот почему западные европейцы приобретают определенные преимущества сравнительно с американцами: у них больше возможностей двигаться вперед, черпая из «резервуаров культуры». Но самый яркий пример в этом смысле показывают японцы: своими успехами в экономической области они обязаны не столько умению шагать в ногу со временем, сколько тому, что в своих традициях они сумели найти живую силу, которая помогла им выстоять в борьбе с конкурентами. Традиции эти, по словам Крозье, уходят в глубь веков, ко временам эпохи Хэйан и Камакура. Поэтому и «своими предприятиями они (японцы) управляют без американской торопливости, но в ритме медленного созревания, характерного для стиля мышления феодальной эпохи» [1].

Аналогичным образом и Брильман указывает на Японию как на пример общества, сумевшего в экономическом отношении вырваться вперед благодаря своим культурным традициям. Синтоизм, конфуцианство, дзен-буддизм и т. д.— вот где, пишет он, истоки таких качеств, как умеренность и скромность, большое самообладание и умение не выделяться среди себе подобных, привычка к субординации и некоторых других, позволивших японцам сделаться лидерами в экономическом соперничестве со странами Запада.

Особенно высоко ставит Брильман японскую систему школьного воспитания, прямо противопоставляя ее американской системе. По его утверждению, американские школы воспитывают разгильдяев, в то время как японские искусно прививают детям любовь к труду и к знаниям, а главное, воспитывают в них послушание.

В Западной Европе только у иезуитов Брильман находит педагогический идеал, близкий японскому. Его привлекает и такая сторона японских методов обучения, как их личностный характер: ученик непременно должен быть под началом учителя, «на-

[1] M. Crozier. Le mal américain. P, 1981, p. 259, 273.

[1] M. Crozier. Le mal américain, p. 278.

ставника-исповедника». И здесь, пишет он, «возможна параллель с ученичеством у иезуитов (утверждают, между прочим, что для того, чтобы стать генералом (главой ордена.— Ю. К.) иезуитов, совершенно необходимо какое-то время стажироваться в Японии)» [1].

Крозье, будто сговорившись со своим коллегой, тоже ставит в пример американцам иезуитов, только высвечивает у последних более широкий аспект их идеологии, а именно: их нравственную философию. Беда Соединенных Штатов, объявляет Крозье, в том, что у них отсутствует разработанная метафизика добра и зла; их идеология застряла на концепциях просветителей XVIII века, упрощенно представлявших себе человека как существо доброе по природе и предписывавших «доверие к другому». Американцам с их черно-белыми моральными представлениями и характерными срывами из идеализма в цинизм, полагает он, следовало бы подучиться у иезуитов их искусству нюансировки, их умению смотреть на вещи с точки зрения «грубого реализма», свободного как от идеализма, так и от цинизма.

Парадоксальная на первый взгляд попытка французских авторов (достаточно далеких от теологии и религиозных институтов) опереться на опыт иезуитов стоит того, чтобы в ней разобраться, ибо за ней встает проект серьезных преобразований в области идеологии и культуры.

Прежде всего о том, что означает «доверие к другому», о котором пишет Крозье. Оно означает главным образом то, что в Соединенных Штатах принципы капитализма были интернализованы, «овнутрены» глубже, чем в Западной Европе. Динамизм американского общества в определенной степени скрадывал классовые антагонизмы, а идеология «американизма» навязывалась, и, как известно, не без успеха, сверху вниз — небуржуазным слоям. Американцам внушалось, что каждый из них рано или поздно может стать собственником, и слишком многие из них слишком долго в это верили. Вот откуда относительная однородность образа мыслей, еще в недавние времена отличавшая Соединенные Штаты. И, конечно, «добро» в данной системе оценок — это «ценности» капитализма, а «зло» — все то, что им противостоит.

Европейская буржуазия никогда не находилась в таком блестящем положении, как американская, но зато опыт классовой борьбы научил ее гибкости, неизвестной за океаном. На уровне теории это лишний раз подтверждает апелляция Брильмана и Крозье к иезуитам. Что делает традицию иезуитов актуальной? Вспомним историю. Орден иезуитов появился в момент, когда средневековое общество переживало жесточайший кризис, принявший характер кризиса веры. Его выражением стала Реформация. Протестантизм обновил веру, сделав ее индивидуальной. Огонь протестантизма, раздуваемый энергией первоначального накопления, был, собственно, суммой огоньков, зажженных в груди каждого протестанта (как ни далеко ушли Соединенные Штаты от времен пуританства, их идеология, особенно в парадной своей части, выстроена в значительной мере на принципах протестантской этики). Иезуиты переключили внимание с проблемы веры на проблему организации, для них важно было сохранить здание, оболочку. На место авторитета веры они поставили веру в авторитет.

Такая позиция иезуитов объясняет их мораль. Хорошо известно, сколь мало щепетильны были они сами в этом отношении; знаменитый принцип «цель оправдывает средства» ославил их на столетия. Но это только одна сторона дела. Другая состоит в том, что они были весьма снисходительны к прегрешениям своей паствы — постольку, поскольку последние не угрожали существующим светским и церковным порядкам.

Снисходительность эта была вынужденной: иезуиты достаточно трезво смотрели на вещи и видели, что упадок религиозной (католической) морали — процесс необратимый; они стремились спасти целое и ради этого готовы были пожертвовать «частностями» и потому смотрели сквозь пальцы на те или иные провинности при условии, что провинившиеся, подобно малым детям, проявляют покорство и послушание. Зато всякое принципиальное непослушание преследовали с особенной нетерпимостью.

Иначе говоря, иезуиты отказались от того важного требования христианской доктрины, которое попытались спасти протестанты; а именно: что каждый человек обязан подчинять все свои поступки велениям нравственного долга. В этом плане нетрудно увидеть определенную аналогию между моралью иезуитов и традиционной японской моралью. У японцев существует «область обязанностей» и «область послаблений», свободная от жестких предписаний и норм. «Двойственность японской натуры,— пишет известный советский публицист В. Овчинников в книге «Ветка сакуры»,— проявляется в контрасте между суровым, бескомпромиссным подавлением личных порывов во имя долга и поразительной терпимостью к человеческим слабостям...» [1]

Ясно, какой урок хотели бы извлечь Крозье и Брильман из опыта иезуитов. Идеалы капитализма сегодня так же мало способны воодушевить массы людей, как и римско-католический бог в эпоху, когда появились иезуиты; следовательно, надо меньше полагаться на то, что идеалы эти «овнутряются» массами, и больше нажимать на опеку и принуждение, меньше уповать на искреннюю приверженность существующим порядкам и больше на дисциплину. И в то же время не следует мешать грешным земным существам «спускать лишние пары». Урок сей должен быть преподан в первую очередь американцам, так как именно их концепция личности обнаруживает в настоящее время полную несостоятельность.

Вера в идеалы капитализма в свое время делала удивительные дела. Это она вызвала к жизни рассыпной строй, который амери-

[1] J. Brilman. Modèles culturels et performances économiques. Boulogne-Billancourt, 1981, p. 273.

[1] В. Овчинников. Ветка сакуры. М., «Молодая гвардия», 1971, с. 76.

канские и французские революционные войска с замечательным успехом применили против неповоротливых линейных боевых порядков соответственно англичан и пруссаков. Общий энтузиазм превращал каждого солдата в самостоятельную боевую единицу. Те, кто покорял Запад в США, тоже шли, фигурально выражаясь, рассыпным строем, и у каждого «солдата» в ранце был «маршальский жезл», то есть миллионное состояние. Разумеется, «маршальский жезл» и даже менее скромные варианты «мечты об успехе» были чем дальше, тем больше иллюзиями, но иллюзиями работавшими (иллюзии, как известно, тоже нередко работают) и потому сохраненными как составная часть идеологии «американизма».

Вот с этими-то иллюзиями теперь призывают покончить — не потому, что они иллюзии, а потому, что они перестали работать, перестали быть «эффективными». Речь идет, таким образом, о том, что следует найти какие-то новые моральные стандарты, адекватные эпохе корпоративных организаций. Отнюдь нельзя сказать, что в самих США до сих пор не замечают, сколь иллюзорна в нынешних условиях старая «Американская мечта». Нельзя не заметить, что в реальной действительности традиционного индивидуалиста давно уже вытесняет «человек организации». Американские социологи описывают этот процесс эмпирически и обычно ностальгически, сожалея о том, что приходится расставаться с традиционными идеалами частного предпринимательства. Но в общественном сознании идеалы эти до сих пор занимают громадное место. Иллюзия частнопредпринимательской самоопорности, выступающая в разных обличьях, проявляет необычайную живучесть; несмотря ни на что, герой-одиночка остается популярнейшим героем американских фильмов, произведений «массовой литературы» и т. д.

По словам Крозье, идеологию «американизма» отличает негибкость, прямолинейность, а сейчас именно гибкость (не та гибкость, поясняет он, которая позволяет мгновенно применяться к обстоятельствам, а та, которая позволяет изменять или вносить коррективы в самые основы этой идеологии) является тем качеством, какое должны проявить американцы, если они хотят устоять в борьбе за выживание. Сегодня не Америка бросает вызов миру, а, наоборот, мир бросает вызов Америке, и чтобы суметь на него ответить, американцы должны «научиться учиться» у других.

Нельзя не отметить, что в рассуждениях этих отсутствует реальная картина расстановки сил в современном мире. Если уж прибегать к излюбленному буржуазными теоретиками понятию «вызов», тогда надо констатировать, что главный «вызов» современной эпохи — тот, перед которым капиталистическое общество поставлено самим фактом существования социалистической системы. И он отнюдь не ограничивается ареной промышленно-технических достижений; спор идет вокруг основ существования, таких, как образ жизни, мораль, культура. И всякие поиски идеологических «вариантов», идущие в буржуазном лагере, всякие призывы проявлять в этом отношении «гибкость» являются прежде всего — хотя об этом и не обязательно говорят открыто,— реакцией на успехи, которые одерживает передовая идеология.

Итак, мы видели, что оба социолога настаивают на том, что необходимо обратиться к «ресурсам культуры» Старого Света, но оба судят о культуре с индустриально-техницистской, прагматической точки зрения. Для них культура имеет значение лишь постольку (или главным образом постольку), поскольку она оказывает влияние на «ход игры» — рядом с такими факторами, как, например, наличие дешевого сырья или обеспеченность транспортом.

Проблема защиты национальных культур от наступающего «американизма» их нисколько не интересует. И Крозье и Брильман рассматривают вопрос о культуре «с высоты» интересов транснациональных корпораций, идеологами которых они являются по содержанию «позитивной» части их выступлений (а возможно, также и по должности: Крозье возглавляет парижский Центр социологии организаций, Брильман — Центр исследований по управлению).

Поскольку корпорации эти имеют определенную «прописку», они имеют и национальность, то есть являются американскими, французскими, английскими и т. д. Но у капиталистической монополии национальная принадлежность — понятие, как известно, специфическое. Тем более это относится к корпорациям транснациональным: они наилучшим образом демонстрируют истину о безразличии капитала к сферам своего приложения. Притом ТНК выступают не только как магнаты промышленности, но и как рассадники определенного стиля жизни, стиля культуры — они возникли в США, как и сами ТНК, но, распространившись по другим капиталистическим странам, как бы утратили свои национальные цвета. Так, в средние века церковная латынь и сама католическая церковь существовали как бы поверх («транс») местных языков и обычаев, поверх королевств и герцогств со всеми их специфическими местными особенностями.

«Транснационализация»,— пишет Ж. Тибо,— не только охватила нашу экономику. Она также покорила наши умы» [1]. В ее основе — дух голой деловитости, дух утилитаризма и прагматизма, завезенный из Соединенных Штатов. Но тот же дух утилитаризма и прагматизма повелевает ныне обратиться к той почве, на которой стоят ТНК, к ее, говоря языком археолога, культурным слоям. Оба француза видят в них средство укрепить порядки капитализма. Неудивительно, что оба они озабочены в первую очередь судьбой капитализма в целом: все капиталистические страны объединяет общность стратегических интересов.

В то же время между строк книг Брильмана и Крозье проглядывает некоторое злорадство европейской буржуазии: самоуверенные янки, вчера еще смотревшие на своих партнеров сверху вниз, сегодня начинают скользить по той же наклонной плоскости, по какой давно уже скатывается Англия. А навыки эффективной организации

[1] J. Thibau. La France colonisée, p. 219.

производства, столь выгодно отличавшие заокеанских партнеров, перестали казаться их неотъемлемым преимуществом — западные европейцы, а также японцы (японцы особенно) добиваются результатов таких же и даже лучших. И японские и западноевропейские монополии начинают теснить американцев на мировом капиталистическом рынке.

Для французских социологов начавшийся упадок Соединенных Штатов означает не то, что американская модель капитализма в целом оказалась несостоятельной, а только то, что она нуждается в некоторых исправлениях и дополнениях. В основе же своей она будто бы вполне хороша и жизнеспособна. Более того, Крозье, скажем, порою отпускает весьма неумеренные комплименты в ее адрес, называя, к примеру, Гарвардскую школу бизнеса «одним из величайших институтов, когда-либо созданных человеческим гением» (!), к каковым он относит также орден иезуитов (!!) и прусский генеральный штаб (!!!).

Итак, если научно-техническая революция, центром которой в масштабах капиталистического мира явились США, призвана была омолодить дряхлеющий капитализм, то теперь пытаются его укрепить за счет исторических и культурных традиций Старого Света. Культура, кроме того, оказывается фактором, дающим монополиям одних стран определенные преимущества перед монополиями других стран. «Культура,— не устает повторять Брильман,— становится жизненной экономической необходимостью, основой экономики будущего» [1], и те страны и экономические группировки, которые вовремя отдадут себе в этом отчет, сумеют вырваться вперед и оставить позади конкурентов.

Разумеется, надежды укрепить капитализм за счет культурных традиций — если и не в масштабах всего капиталистического мира, то хотя бы в масштабах отдельных его регионов — совершенно химеричны. Хотя американцы начинают проигрывать в той игре, которой они же сами научили своих конкурентов, последние отнюдь не имеют оснований испытывать особенное удовлетворение. Слишком уж тяжелые времена переживает экономика капиталистического мира в целом, слишком серьезны сотрясающие его социальные коллизии. Из того, что Соединенные Штаты начинают двигаться по нисходящей, еще не следует, что какая-то другая страна или другая часть капиталистического мира движется по восходящей, хотя бы к ней и пристало звучное прозвище Страна Восходящего Солнца.

Но «выяснение отношений» между Соединенными Штатами и Западной Европой или какими-то другими регионами капиталистического мира в плане культуры важно не только затем, чтобы установить, кто сильнее и конкурентоспособнее. В конце концов это, так сказать, семейная, «домашняя» проблема. А ведь речь идет еще и о другом: о судьбах культуры. Оба французских социолога порою как будто начисто забывают, что культура — это не только фактор экономики, это прежде всего «воздух», которым жив человек. Именно как человек, а не как «человеческий материал».

«Транснационализация» культуры, на которой настаивают оба автора,— это тоже продукт «американского типа рациональности», диктующего сугубо деловой, практически-технический подход к культуре. Такие критики «американизма», как Брильман и Крозье (при том, что их критические выступления содержат немало ценных наблюдений), по сути стремятся лишь «дополнить» его, приспособив для этой цели определенные традиции культуры Старого Света, в первую очередь Европы.

Это очень старый Старый Свет. Это шипенье киплинговского змея Каа, мудрого долгожителя, хорошо знающего законы джунглей. Это кривая старческая усмешка Великого инквизитора, по Достоевскому, ведающего о том, что иллюзорная вера должна уступить место авторитету организации, что на месте храма воздвигается новая вавилонская башня.

В очередной раз подтверждается истина о том, что из прошлого можно извлечь уроки противоположного рода, что каждая культура заключает в себе, согласно известному ленинскому определению, «две культуры», что есть традиции, которые помогают идти вперед, и есть традиции, которые тянут назад. Традиции различных «вероучителей» и реакционных философов, Игнатия Лойолы и Фридриха II (первый — основатель ордена иезуитов, второй — основоположник прусско-немецкой военной машины), к которым ныне цинично апеллирует буржуазный «прогрессизм» (как тут не заключить это слово в кавычки!),— и традиции передовых мыслителей и ученых, поэтов и художников, наконец, безымянных творцов народной культуры, способные послужить надежным гироскопом в настоящем и будущем. И для нашего континента, и не только для него. «Священные камни Европы» — не музейные экспонаты; они — участники в битве идей, в столкновении идеалов культуры и образов жизни.

[1] J. Brilman. Modèles culturels. . ., p.330.

ТАКЭСИ КАЙКО

ТОКИО С БЛИЗКОГО РАССТОЯНИЯ

Из очерков разных лет

Перевод с японского Б. РАСКИНА

СТО МИЛЛИОНОВ САМОУБИЙЦ[1]

Тот, кто смотрел кинофильм Чаплина «Новые времена», вряд ли сможет забыть кадры, которыми он начинается: стадо овец, налезая друг на друга, мчится к скотобойне; одновременно толпа рабочих ранним утром поспешно спускается по ступеням станционной лестницы.

Однажды ко мне обратились с просьбой написать очерк на тему: «Как ощущают на себе японцы индустриализацию Японии?» Не представляя, с какой стороны подступиться к этой теме, я уныло брел по улице, словно страдая от зубной боли, и, чтобы переключить свои мысли на что-нибудь иное, зашел в кинотеатр, где как раз демонстрировался этот фильм Чаплина. Маленький джентльмен в котелке и больших стоптанных ботинках был как всегда свеж и оригинален. Незаметным движением плеч и рук он удивительно живо и точно передавал всю гамму переживаемых им чувств. Я покидал кинотеатр, очарованный «Новыми временами». Зубная боль прошла без следа. Все уже сказано, подумал я, и своей писаниной я ничего не добавлю. Оставалось поднять руки и признаться в своем полном поражении, но это нисколько меня не опечалило.

Тот откровенный намек, который сделан гениальным Чаплином в начальных кадрах, с некоторыми поправками можно отнести и на счет нашей повседневной жизни — достаточно постоять и понаблюдать Токио на платформе одной из крупных конечных станций в утренние часы пик. От этих станций веером расходятся пригородные линии, которыми ежедневно пользуется бесчисленное множество служащих. Когда, скрежеща старыми железными коробками вагонов, очередной поезд прибывает на станцию, люди, спокойно стоявшие в очереди на посадку, опережая друг друга, бегут к вагонным дверям. Они ждут послушно, как овцы, но кидаются к вагонам со скоростью волка, преследующего добычу. Если, на счастье, им удается занять свободное место, они снова превращаются в овечек и либо задремывают, либо разворачивают газеты и раскрывают книги. «Некоторые дополнения» к кадрам из «Новых времен» можно наблюдать у вагонных дверей. Электричка должна отправляться, но двери невозможно закрыть из-за торчащих в них пассажиров. Тогда подскакивают станционные служащие, впихивают внутрь вагона тех, кого можно еще впихнуть, и оттаскивают тех, кого протолкнуть в вагон невозможно. Мы называем этих служащих «толкачами» и «таскачами», не вкладывая в эти слова ни уважительного, но и презрительного смысла тоже. Эти люди каждое утро проявляют удивительное умение, выработанное тренировками и опытом. В безупречном — в смысле полного отображения действительности — фильме «Новые времена» на экране появляются люди самых разнообразных специальностей, но «толкачей» и «таскачей» там нет.

А мы вот уже много лет пользуемся их услугами. Они выполняли свои функции еще в ту пору, когда Токио из-за воздушных налетов лежал в руинах, и после поражения в войне, когда валовой национальный продукт Японии практически равнялся нулю. Но и теперь, спустя тридцать с лишним лет, когда в Токио появились небоскребы и скоростные автомагистрали и объем валового национального продукта стал одним из самых крупных среди развитых стран мира, работы у «толкачей» и «таскачей» не убавилось, а стало значительно больше. Это странное и печальное явление, свидетелями которого мы становимся каждое утро, зримо раскрывает перед нами некоторые капканы, которые до костей вгрызаются своими зубьями в наши ноги, когда мы в них попадаем. Это пе-

[1] © Kaiko Takeshi, 1977.

ренаселенность, нехватка жилищ и земли, жестокая борьба за существование. В Токио высокие цены на товары, сильно загрязненный воздух, невероятно высокая квартирная плата: дешевую квартиру найти чрезвычайно сложно. При крупных землетрясениях и пожарах здесь некуда бежать, поэтому многие предпочитают селиться далеко за городом. Электрички всегда переполнены, и нередко можно увидеть вагоны с выдавленными стеклами: в дождливые дни пассажиры буквально задыхаются. Думаю, вы догадываетесь, сколь неудобно бывает пассажирам, не шевелясь, ехать в вагонах в течение полутора-двух часов, когда соседи дышат тебе прямо в рот либо ты вынужден всю дорогу созерцать торчащее перед самым носом чужое ухо. Когда пассажир выходит на своей станции, он уже утомлен до изнеможения. Добравшись к месту своей службы, он падает на стул и, тяжело дыша, некоторое время бессмысленно глядит перед собой, не будучи в силах приступить к работе. Он лишь судорожно дышит, чтоб освободить легкие от сероводорода, которого наглотался в этих «движущихся лагерях принудительного труда».

Многие американцы утверждают, что Нью-Йорк — это еще не Америка. Есть и вьетнамцы, которые говорят, что Сайгон[1] — еще не Вьетнам. Однако мало найдется японцев, которые с уверенностью могли бы настаивать, будто Токио — это еще не Япония. Правда, до недавнего времени мы тоже так говорили, указывая на ряд различий между провинциальными городами и Токио. Да и у самих провинциальных городов было немало специфических особенностей, отличающих их друг от друга. Но с некоторых пор индивидуальные черты и обычаи провинциальных городов начинают исчезать, их внешний облик унифицируется, образ жизни, характер мышления и восприятия местных жителей становится идентичным и мало в чем отличается от столичного. Вся Япония с каждым годом, с каждым месяцем все более начинает напоминать Токио, который, вне всякого сомнения, уже олицетворяет страну в целом. Теперь без особого преувеличения можно утверждать: достаточно понять Токио, чтобы узнать Японию. Телефоны, газеты, радио, скоростные автомагистрали, сверхскоростные экспрессы, автомашины, реактивные пассажирские лайнеры, телевизоры, заводы, новые жилые районы, супермаркеты, компьютеры, электронная техника, система продажи в кредит, нефтеперегонные комбинаты, ядохимикаты, плотины, охлажденные продукты питания... Массовое нашествие этих новшеств все более унифицирует, «токиоизирует» всю Японию. Во многих сферах начинают стираться различительные границы, с каждым годом исчезает специфическое, индивидуальное, уникальное. В последние годы все чаще заговаривают о «родной деревне», о «тяге к природе», о «традициях», а молодежь даже стала уезжать из Токио в провинцию. И все же, несмотря на это, мы по-прежнему многое теряем в специфике, в индивидуальных чертах. Причем потери происходят чрезвычайно чувствительные. В доказательство приведу результаты исследований, проделанных одним ученым. По полученным им данным, лет восемь назад в волосах жителей Токио содержалось 4,39 ppt ртути[1], а у деревенских жителей — 8,93. В то время на полях повсеместно применяли ядохимикат, названный впоследствии «Весной молчания», белый порошок, уничтожающий на полях все живое. Поэтому крестьяне впитывали в себя больше ядовитых веществ, чем городские жители. Спустя несколько лет применение в сельском хозяйстве некоторых ядохимикатов, в том числе ДДТ, было запрещено, но семь тысяч тонн этих веществ, внесенных на поля Японии в предшествующие годы, постепенно проникали в рис, овощи, фрукты, молоко, воду, и в результате недавних анализов содержание ртути в волосах жителей города и деревни практически сравнялось и составляет 6,5 ppt. Это в четыре раза больше, чем в наиболее загрязненных странах Европы и Америки и в шестьдесят пять раз больше, чем в наименее загрязненных. Загрязнению одинаково подвергаются как жители Токио, так и сельское население. Профессор Гэлбрейт в одном из своих эссе с иронией писал: «Японцы во всем стремятся быть первыми». Теперь мы держим первенство среди самых «грязных» людей мира.

Человек не способен относиться разумнее к сегодняшнему дню, чем к прошлому. Нетрудно сетовать и поносить прошлое, заявляя, что следовало бы поступить так, а не иначе, что, если бы поступили так, было бы все по-иному. История не приемлет союза «if»[2]. В конечном счете мы пришли к тому, к чему пришли,— должно быть, иного пути у нас не было.

Последние сто лет японцы трудились. Трудились изо всех сил. Трудолюбие всегда воспринималось нами как высшая добродетель. Нередко из-за чрезмерного усердия мы начинали трудиться ради того, чтобы трудиться. Мы, по-видимому, и теперь так поступаем. Если работать, можно кое-что получить. Это верно. Но с некоторых пор мы стали забывать железное правило: чтобы что-то обрести, приходится что-то терять. А все наши мысли направлены на приобретение, и мы забываем о сопутствующих ему потерях. Когда звучит голос божества, призывающего лишь к одному: «работайте», все японцы, независимо от вероисповедания и взглядов, поклоняются ему. И... загряз-

[1] Ныне Хошимин. (*Здесь и далее—прим. перев.*)

[1] Ppt — единица измерения процентного содержания вредных для организма и среды веществ. 1 ppt — одна десятитысячная процента.

[2] Если (*англ.*).

няются моря, искривляются рыбьи хребты, реки превращаются в сточные канавы, лысеют горы, исчезают леса, погибают насекомые, падают на землю бездыханные птицы, мечутся по платформам потные «толкачи» и «таскачи», собираются в бюро находок на токийском вокзале горы утерянного — от младенцев до вставных челюстей,— за которыми никто не приходит, и «весна хранит молчание».

«Отдых», «каникулы» — каковы они в применении к Японии? Горы и морское побережье переполнены людьми. Чтобы туда добраться, нужно ехать по дорогам, забитым до отказа автомашинами. В результате поездка на отдых мало чем отличается от ежедневной езды на службу в переполненных электричках. В таких условиях единственная радость для вернувшихся с работы, уставших до изнеможения мужчин — развалиться перед телевизором и в полудреме пялить глаза на голубой экран. Горы в Японии давно разработаны, леса сведены, и на их месте построены многоквартирные дома, где на каждом балконе сушатся пеленки. Девать себя буквально некуда, и вот, отработав с трудом завоеванную пятидневную рабочую неделю, хозяин дома чуть позже садится в электричку и едет на службу. В безлюдном в субботний день офисе у него нет никакой срочной работы, поэтому он садится за стол, не спеша просматривает бумаги, некоторые из них визирует, потом вместе с такими же неприкаянными сослуживцами, которые не знают, куда себя девать в субботу, играет в маджонг, а вечером, гулко простучав каблуками по пустым коридорам огромного здания из бетона, стали и стекла, возвращается домой, волоча за собой свою длинную тень. Короче говоря, офис заменяет ему и клуб, и ресторан, и кафе. Японский Рип ван Винкль убегает не в горы, а в свой офис.

Если вам надоело наблюдать за работой «толкачей» и «таскачей», поднимитесь на надземную станционную платформу. Оттуда вы сможете обозреть Токио как бы с птичьего полета. Вы увидите, конечно, и огромные небоскребы из стекла и бетона, построенные в разнообразном стиле, и скоростные магистрали, пересекающие друг друга на разных уровнях. Но вы убедитесь, что все же основу токийского пейзажа составляют бесчисленные крыши небольших домиков, похожих на спичечные коробки. Куда ни глянь, на север, на юг, на восток, на запад, простирается безбрежное море крыш. Однажды французский философ и поэт Поль Валери назвал неевропейское общество «замшелой Азией». Когда глядишь с высоты на Токио, создается впечатление, будто город состоит из множества стареньких крыш, за которыми трудно даже различить разделяющие их улицы. Кажется, будто под тобой не город, а беспорядочные колонии островерхих раковин фудзицубо или устриц, прилепившихся к замшелой скале, и конца им не видно. В Париже и Франкфурте, в Сайгоне и Бангкоке, когда направляешься из центра к окраинам или, наоборот, возвращаешься со стороны окраин к центру, пейзаж заметно меняется. В Токио такого ощущения не возникает. Либо надо уж очень далеко отъехать, чтобы почувствовать, что ты пересек какую-то границу и ступил в иной мир с иным пейзажем. Токио напоминает огромную амебу. В отличие от европейских и американских крупных городов, которые, строя высотные здания, тянутся вверх, Токио раздается вширь, как бы стелется по земле, и люди в этом городе селятся не ближе к небу, а параллельно земле — главным образом в двухэтажных домах. Между Токио и соседними крупными городами нет ощутимых границ, все те же спичечные коробки — дома и предприятия. Соседний город сливается со следующим, превращая всю Японию в один огромный полис. И это, само собой, способствует «токиоизации» Японии. Быть может, этот процесс по западноевропейским меркам нельзя назвать «урбанизацией» Японии, но на самом деле происходит подлинная урбанизация всей страны с учетом, конечно, национального своеобразия. И хотя урбанизация по-западноевропейски может значительно отличаться от урбанизации по-японски, процесс урбанизации как таковой одинаково воздействует на дух и психику населения. Аналогична и обостренность и деформация реакций, возникающих под широкой дланью урбанизации, несмотря на влияние различных традиций, обычаев и нравов. Везде одно и то же: преступность, чувство отчуждения, безразличие, хиппи...

Иностранцы, которые по газетным статьям знают, что Япония занимает одно из первых мест в мире по валовому национальному продукту, которые видят созданные в Японии супертанкеры, компьютеры, фотоаппараты и тому подобное, даже не могут, по-видимому, себе представить, что около шестидесяти процентов населения Токио ютится в домишках, похожих на клетки для птиц. Из каждых десяти токийцев четверо живут в собственных домах, насчитывающих по четыре и более комнат, остальные шестеро снимают, как правило, одно- или двухкомнатные квартиры. И сравнение с «клетками для птиц» не является преувеличением. Эти малюсенькие клетки до отказа заполнены холодильниками, стиральными машинами, пылесосами, кондиционерами и прочей домашней техникой, и человек может в них жить лишь скрючившись, как креветка. Стены в таких домах тонкие, фундаменты хлипкие — такое сооружение сотрясается от каждого проезжающего мимо грузовика или самосвала. За тонкими окнами — нескончаемый шум, загрязненный воздух, выхлопные газы. И трудно становится понять, для чего эти окна служат: то ли чтобы проветривать комнату и выпускать наружу застойный воздух, то ли чтобы впускать внутрь еще более загрязненный воздух улицы. Внутри «птичьих клеток» ревут младенцы, кричат женщины, воздух

пропитан запахом пеленок. И господин Рип ван Винкль в субботний или воскресный день медленно встает со стула, выходит на улицу и никем не понукаемый отправляется в свой офис.

Япония — маленькое островное государство. Если глядеть на нее с Североамериканского материка, она выглядит всего лишь как слепая кишка, как аппендикс. Сорок девятый штат Америки — Аляска — по площади вчетверо больше, чем Япония, а ее население не превышает двухсот пятидесяти тысяч человек. Тогда как в Японии проживает свыше ста миллионов. Причем значительную часть территории этого «аппендикса» занимают горы, а пригодной для пахоты земли чрезвычайно мало. В Японии почти нет природных ресурсов. У нас нет иных природных богатств, кроме умственных способностей и трудолюбия. Мы вынуждены ввозить из-за границы продовольствие и промышленное сырье, обрабатывать его в условиях жесточайшей конкуренции с помощью своего трудолюбия и знаний и экспортировать продукты нашего труда. Другого пути у нас нет. Поэтому мы постоянно должны держаться на уровне самых современных знаний и техники. «Модернизация» была и остается нашим категорическим императивом на протяжении многотрудных последних ста лет. Громкими призывами «догнать и перегнать Западную Европу» проникнуто сознание большинства японцев, занятых в разнообразных сферах деятельности. Этот лозунг подстегивает нас. Порой мы сами над собой смеялись, испытывали разочарование, но все же снова и снова подбадривали себя и двигались вперед. Понимая, что модернизация немыслима без индустриализации страны, мы днем и ночью трудились, не зная границ: строили заводы, прокладывали скоростные автомагистрали, рушили горы, покрывали поля шершавыми лентами бетона. И в один прекрасный день мы обнаружили, что во всех отношениях превратились в единственную в своем роде, исключительную страну в Азии и в то же время в самую загрязненную страну в мире. Мы оказались среди неоновых руин, среди пустыни, покрытой белым порошком ядохимикатов.

Не так давно в Японию возвратился солдат, который после поражения в войне в тысяча девятьсот сорок пятом году бежал в джунгли острова Гуам, где скрывался двадцать семь лет. Когда его обнаружили местные жители, он был совершенно одичавшим. Сразу по возвращении в Японию его обследовали медики. Тогда в его волосах содержалось 2 ppm ртути. Обследование повторили через полгода проживания в Японии — содержание ртути в его организме увеличилось вчетверо! Один японский ученый в течение полутора лет занимался научной работой за границей. По возвращении в Японию его через восемнадцать месяцев обследовали. Оказалось, что содержание ртути в его волосах возросло вдвое. Это общеизвестный факт шести-семилетней давности. Итак, шесть-семь лет назад за восемнадцать месяцев содержание ртути увеличивалось вдвое, а год назад, когда вернулся в Японию упомянутый солдат,— вчетверо, и на это потребовалось не восемнадцать месяцев, а всего шесть. В последние годы вопрос о загрязнении стал предметом острых дискуссий, критических выступлений, резко возросла требовательность и ужесточились постановления, запрещающие загрязнение окружающей среды. Время от времени, словно лучи солнца, прорывающиеся среди грозовых туч, поступают сообщения о том, что вода в той или иной реке стала чуть чище, а на полях вновь появились насекомые. И тем не менее упомянутые выше факты красноречиво свидетельствуют о том, что среда, в которой существуют японцы, все быстрее, глубже и злокачественней загрязняется. В августе нынешнего года[1], согласно анализу, проведенному учеными в Токио, Осаке, других крупных, а также провинциальных городах, воздух оказался чрезмерно насыщенным вредоносными пылевыми частицами. В этой пыли было обнаружено сорок три элемента, а среди них до десяти наиболее вредных: серебро, цинк, цезий, натрий, хром, железо, сурьма, марганец, алюминий, свинец. Причем свинца содержалось в двадцать шесть раз больше нормы, а наиболее вредного для организма серебра — выше нормы в пятьсот тридцать два раза! Среди сорока трех элементов имелись вещества, являющиеся предполагаемыми источниками рака, гипертонии, сердечных болезней и т. п. Ученые признаются, что не знают еще, вдыхание какого количества этих вредоносных элементов влечет за собой возникновение болезни и к каким болезненным процессам приводит попадание в легкие нескольких вредных элементов одновременно. Но все ученые в один голос утверждают, что «ситуация создалась нешуточная».

Выше упоминалось, что индустриализация, модернизация превращают всю Японию — центр и периферию, столицу и провинциальные города, деревни и поселки — в страну, лишенную своеобразия отдельных районов, и, судя по всему, промышленное загрязнение выделяет свою долю «по-божески», равно справедливо всем районам Японии. Говорят, что воздух над такими крупными городами, как Токио и Осака, напоминает суп-пюре из ядовитых веществ, но воздушные течения в атмосфере разносят этот суп-пюре во всех направлениях, и рано или поздно аналогичная атмосфера возникает над всеми районами Японии. Точно так же и море — этот огромный механизм, находящийся в постоянном движении,— через рыб, планктон, а также через саму воду во время приливов разносит повсюду вредоносные вещества из загрязненного района. Рассыпанный на полях белый порошок ядохимикатов

[1] Речь идет о годе выхода в свет очерка — 1977-м.

через подземные воды попадает в реки, выносится в море и оказывается на обеденном столе. Через рис, молоко, мясо, фрукты, овощи, воду непосредственно в организм человека поступают ядовитые вещества — они появляются и на скудном столе рыбака, и на обильном столе богатого предпринимателя. Воздух, пресная и морская вода находятся в беспрерывной циркуляции. Они проникают в тело человека, внутри которого совершает непрерывный кругооборот кровь. Таким образом, каждый человек становится точкой, плавающей в волнах разнообразных круговращений. Всего лишь колеблемая, дрожащая, разрушающаяся, но сама всего этого не замечающая точка! А если она вдруг, случайно или даже не случайно обратит на это внимание, то все равно ничего не предпринимает, чтобы исправить ситуацию, в которой оказалась.

Сообщение, что воздух в Токио напоминает суп-пюре, насыщенный разнообразными ядовитыми веществами, никого не взволновало, не вызвало разочарования или протеста ни на следующий день, ни через неделю, ни через месяц. Лишь после того, как в Минамата и Ёккаити, в других провинциальных городах, на химических предприятиях и нефтеперегонных комбинатах возникли массовые отравления ядовитыми веществами, началось решительное движение протеста, и проблема загрязнения среды резко обострилась. Были выявлены преступники, доказана их вина.

Человек может питаться дешевой местной рыбой либо несколько более дорогими по цене привозными бройлерами или, наконец, лососевыми консервами, ввозимыми с Аляски. Решение о том, какую пищу принимать трижды в день, — дело исключительно индивидуального вкуса. Но в большом городе отсутствуют такого рода индивидуальные точки зрения, независимые соображения и «ощущения» по проблемам, затрагивающим загрязнение среды. Прочитав очередное сообщение об этом в газете, люди ворчат: «Ах, снова о том же самом» — и отмахиваются словно от привычной тупой зубной боли. Человек, у которого есть время призадуматься, на мгновенье вспоминает о постигшей Японию за последние сто лет судьбе — о неизбежности модернизации, а следовательно, индустриализации — и запутавшись в сложных и деликатных подсчетах, что́ на этом потеряла и что́ приобрела Япония, с болью приходит к выводу, что иного пути не было. С этой мыслью он задумчиво поднимается со стула и... ничего не предпринимает. Повидав на своем веку немало трупов и превратившись в законченного пессимиста, он тем не менее где-то в глубине души упрямо надеется: эта пуля минует меня. Похоже на психологию солдата на передней линии фронта.

Крупные, средние и мелкие предприятия совершают преступление! Компании, производящие ядохимикаты, и крестьяне, применяющие их, совершают преступление! Ученые, уклоняющиеся от серьезных и объективных исследований в области загрязнения среды, совершают преступление! Правительственные органы, отказывающиеся установить жесткий правовой заслон против тех, кто загрязняет среду, совершают преступление! Все японцы, денно и нощно гоняющие на двадцати миллионах автомобилей, совершают преступление! Люди, живущие в больших городах, остаются в неведении, кто виновник, а кто жертва загрязнения среды. Ощущая себя одновременно преступником и жертвой, они не могут определить границу, где кончается преступник и начинается жертва. Предвидя себя в роли преступника и жертвы одновременно, они должны бы, если не желают дышать ядовитым супом-пюре, громко заявить: «Нет!» Но этот протест замирает у них на губах, и они, не протестуя, а лишь постариковски ворча, принимают нынешнее положение как неизбежное зло. В безжалостной спешке повседневной жизни, в переполненных электричках и в офисах, в своих «птичьих клетках», пивных и в игорных домах они испытывают неясную тупую зубную боль, но не делают попыток унять ее, барахтаются, «загрязняются», чахнут, истощаются, умирают. Сложность состоит в том, что совершенно не определены границы, за пределами которых загрязнение начинает оказывать разрушающее воздействие на организм, не ясно, как проявится оно на детях и внуках, каковы последствия наличия в атмосфере в больших количествах ртути, цинка, цезия и прочих элементов?

Надо полагать, что структура человеческого организма вряд ли претерпела серьезные изменения с тех пор, как вооруженный дубиной дикарь охотился на мамонта, и возникает вопрос: насколько этот незащищенный организм приспособлен к существованию в столь сложную современную эпоху, как должен он организовать свою жизнь? Об этом мы сегодня ничего не знаем. Читая газеты, изучая доклады ученых, мы временами начинаем ощущать, как ужас холодной рукой сжимает наше нутро, но на следующий день, как обычно, садимся в переполненные электрички, и, задыхаясь от сладковатого запаха собственного и чужого сероводорода, мчимся в бетонные и неоновые джунгли и проводим трудовой день, в результате которого, независимо даже от собственной воли, немножечко увеличиваем валовой национальный продукт и... немножечко себя убиваем. Продлись такое и дальше, японцы с каждым прожитым днем будут все более сами себя убивать. Мы — сто миллионов японцев — ежедневно понемногу себя убиваем. Мы — самоубийцы! Временами эта мысль заставляет нас содрогнуться, тогда мы возмущаемся — правда не слишком громко, — в мрачном настроении тянемся к бутылке, прочитав какую-нибудь научную книжонку или брошюру на тему о загрязнении среды, а проснувшись на следующее утро, снова спешим на работу.

На маленьком аппендиксе, плавающем в Тихом океане, скученно живет сто миллионов людей. Велика общая сумма излучаемых ими знаний и энергии, но каждый из них в отдельности день за днем медленно, но неуклонно себя губит...

От автора

В прошлом году пришла телеграмма из «Нью-Йорк таймс мэгэзин» с просьбой написать очерк о том, как ощущает на себе индустриализацию японский народ. Я дал согласие и поздней осенью направил рукопись в Нью-Йорк.

Для меня, литератора, написать очерк на подобную тему оказалось много сложнее, чем я первоначально предполагал. Проблема оказалась чересчур обширной и глубокой. О многом я вообще ничего не знал. Кроме того, мне не было известно, что́ американцы знают, а чего не знают о Японии. В Америке я ни разу не был, за исключением Аляски. И все же я, отступив от своего обычного литературного стиля, на основе имевшейся информации, написал опубликованный выше очерк.

Спустя некоторое время из Нью-Йорка пришло извещение, что рукопись не принята. В письме сообщалось, что проблема изложена глубоко и интересно, но слишком уж все написанное в очерке аналогично тому, что происходит в Америке. Я же из этого сделал вывод, что жители Нью-Йорка и Токио находятся в одинаковом положении в смысле загрязнения среды, но ведь это как раз свидетельствует о чрезвычайной остроте и актуальности проблемы...

ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ — ХАНАМИТИ [1], УСТЛАННАЯ ДЕНЬГАМИ

Десятого июля с десяти часов утра в Общественном здании «Бункё кокайдо», расположенном близ парка Горакуэн, происходили выборы председателя либерально-демократической партии. Протерев заспанные глаза, я отправился поглядеть на это действо.

Фракция Хаято Икэды собралась в столовой парка, фракция Сато и Фудзиямы — в гостинице «Принс-отель» в Акасаке, и я решил вначале посетить «Принс-отель», затем столовую в Горакуэн, а потом уже отправиться в «Бункё кокайдо». В парке Горакуэн члены фракции Икэды, напившись кока-колы и пива, были в приподнятом настроении. Я подошел к дежурному и спросил, сколько собралось человек. Тот ответил: двести сорок пять, короче говоря, большинство, и победа фракции обеспечена. В «Принс-отеле», где заседала фракция Сато — Фудзиямы, на аналогичный вопрос мне отказались ответить, мотивируя тем, что обнародование числа участников может иметь нежелательные последствия.

[1] «Дорога цветов» — помост для актеров, выходящих на сцену через зрительный зал.

Здание «Бункё кокайдо» было переполнено. Помимо корреспондентов радио, телевидения, газет и журналов первый и второй этажи заполнили приехавшие из провинции родственники депутатов от либерально-демократической партии, а также многочисленные зеваки.

Места для прессы были отведены в первом ряду обоих ярусов, мне предоставили кресло во втором ярусе. Учитывая близорукость и заранее зная, что буду сидеть высоко, а слухи о том, что на подкуп голосов затрачено от двух до трех миллиардов иен, подогревали мой интерес, я запасся сильным биноклем, который мне любезно предоставили в редакции. Поблизости от меня сидел писатель Сётаро Ясуока, которого один еженедельник попросил написать репортаж о выборах председателя либерально-демократической партии. Завидев у меня бинокль, он сразу же попросил одолжить его на минутку и стал оглядывать зал.

— Хорошо видно? — спросил я.

— Отменно. Вижу, ты подготовился.

— Здесь как на бегах. Без бинокля не обойтись.

Тем временем началась церемония. Был исполнен государственный гимн, затем избрали председательствующего для ведения конференции и его заместителя, выслушали отчетный доклад и приветствие председателя партии. Все шло гладко, без сучка и задоринки — будто крутилась новенькая шестерня, только что вытащенная из банки со смазочным маслом. В приветствии, произнесенном громко и отчетливо, были все самые правильные и красивые слова, какие только можно отыскать: независимость, справедливые выборы, модернизация, выполнение всех обещаний, прекращение роста цен на товары, стабилизация жизни народа, согласие и порядок внутри партии и многое, многое другое.

Церемония закончилась сравнительно быстро, и началось главное празднество, стоившее три миллиарда иен. На сцену внесли кабины и начали в алфавитном порядке приглашать для голосования членов палаты советников и палаты депутатов, делегатов конференции.

Получив пустой бюллетень, каждый из них заходил в кабину, поворачивался спиной к залу, вписывал чью-то фамилию, сгибал бюллетень вдвое, засовывал в ящик и чинно уходил на правую сторону сцены. Я навел бинокль на ящик, сфокусировал на бюллетень, но ничего не смог разобрать.

Никто не колебался: не задерживаясь лишнее время в кабине, быстро вписывал фамилию, опускал бюллетень в ящик и уступал место следующему. Каждая вдвое согнутая бумажка стоила два, три, пять, а то и все десять миллионов иен — пожалуй, самый высокий гонорар в мире! Положим, если бы меня купили за два миллиона иен, то, вписи я в бюллетень фамилию Хаято Икэды или Эйсаку Сато — любая из этих двух фамилий состоит из четырех иероглифов, — каждый вписанный иероглиф стоил бы пятьсот тысяч иен. Даже

если бы я вписал Айитиро Фудзияму, фамилия которого состоит из пяти иероглифов, на каждый иероглиф пришлось бы четыреста тысяч. Немудрено, что делегаты голосовали быстро, уверенно, не задерживаясь в кабине лишней минуты.

Я сравнил эти суммы со своими собственными гонорарами, и мне стало так тоскливо, так муторно на душе, что тут же захотелось уйти домой, залезть в постель и со стыда с головой укрыться одеялом.

Наступил момент вскрытия ящика с бюллетенями.

На столе маленькая горка бумажек стоимостью от двух до трех миллиардов иен.

Несколько человек с круглыми головами поднялись на сцену, разделили бумажки на кучки и приступили к подсчету. Я навел бинокль на их руки. Движения их были точные, быстрые, привычные — словно они всю жизнь подсчитывали не клочки бумаги, а деньги. Время от времени кто-нибудь поплевывал на пальцы, чтобы легче было считать. Их кривые ноги растопырились в разные стороны, зато руки двигались, я бы сказал, даже красиво — настолько точно, привычно и уверенно они касались бумажек.

Внезапно тучный мужчина с красным от прилива крови лицом оторвался от бумажек и высоко поднял руку. Я поспешно сфокусировал бинокль на висевшей у него на груди ленточке и прочитал фамилию — звучную, как у героя эстрадных рассказов: «Сэйдзюро Арабунэ». Он был из фракции Икэды. Мужчина показал два пальца, потом четыре, потом опять два и крикнул: «Банзай!». Это означало, что за Хаято Икэду подано двести сорок два голоса — большинство! Фоторепортеры вскочили с мест, защелкали фотоаппараты, засверкали вспышки.

— Победа!

— Иначе не могло быть!

— Победил Икэда!

— Победил, победил!

После того как Икэда грубоватым голосом произнес короткую речь, Сато и Фудзияма поднялись на сцену и пожали руку вновь избранному председателю. В кружке окуляров бинокля я увидел, как Сато обменялся с Икэдой рукопожатием и что-то ему сказал. Наверное, «поздравляю». Фудзияма приветствовал его с широкой улыбкой на лице. Ходят слухи, что для Фудзиямы занятия политикой — своего рода хобби.

Провожаемые аплодисментами, Фудзияма и Сато сошли с трибуны. Борьба прекратилась, огни погасли. Танец денег окончился. Наступило время постирать носовые платки, чтобы они снова выглядели белоснежными. Боссов ожидают исполнительницы игры на сямисэне[1] и ночной клуб «Ренуар». Прислушиваясь к звукам сямисэна, напоминавшим шелест дождика, ударяющего в крышу, они не спеша обдумывают «независимую линию национальной внешней политики».

Последний месяц наборщики в типографиях крупнейших газет в Токио каждый день набирают одни и те же слова для первых страниц газет, где помещаются статьи политического характера, и для колонок светской политической хроники. Позевывая, набирают иероглифы, из которых складываются фамилии: «Икэда», «Фудзияма», слова: «отряд», «фракция», «группировка». К ним добавляются прилагательные: «улыбающийся», «активный», «подозрительный». Ежедневно газеты пестрят глаголами: «закреплять», «загонять», «теснить». Начинаешь думать, будто идут Олимпийские игры по вольной борьбе или дзюдо.

Читатель узнаёт из газет, какая фракция или группировка усилилась, какая ослабила свое влияние: «Фракция «морских котиков» спешно закрепляет за собой голоса»; «фракция «цикад» начала теснить своих противников» и так далее и тому подобное. Но из этих фраз читатель совершенно не способен понять, почему «морские котики» усилились, а «цикады» теснят противников? На эти вопросы газеты никаких конкретных ответов не дают.

Каждое утро эпитеты и ярлыки меняются. Из этого читатель делает вывод: так-так, значит, накануне вечером что-то произошло! А что произошло — он не знает и узнать из газет не может. Причем аналогичный метод применяется во всех газетах без исключения: солидные, полные уверенности слова при абсолютной неясности, неопределенности содержания. Этот разрыв, противоречие между словами и сутью с каждым днем становятся все более разительными.

Из информации о выборах руководителя, который явится вершителем наших судеб, мы не узнаем ничего, кроме нескольких спортивных терминов, употребляемых в дзюдо и вольной борьбе. Остается одно: тяжко вздыхать среди липкого тумана ничего не значащих слов.

Какая может быть критика, если нам ни о чем не сообщают? И можем ли мы серьезно размышлять о чем-то полезном для нашей родины, если лишены возможности критиковать? У нас в Японии нет свободы информации об истинных действиях властей предержащих и, следовательно, отсутствует действительная свобода критики. В Америке еще иногда пробивается нечто вроде «свободы информации», «свободы критики» — некое подобие предсмертных судорог огромного животного. У нас же в Японии я не наблюдал ни того, ни другого.

В нашей стране существует полная свобода для информации о том, что на морском побережье в Нумадзу появилась морская черепаха с метровым панцирем, а мелкий чиновник министерства торговли и промышленности присвоил двадцать пять тысяч иен. Но не жди информации, когда речь идет о двух или трех миллиардах иен, которые используются руководящими деятелями прави-

[1] Японский трехструнный щипковый инструмент.

тельства в борьбе фракций. При этом денежные суммы скрытно перемещаются из рук в руки, и с них даже не взимаются положенные налоги с пожертвований. Нас пичкают лишь спортивными терминами. Поэтому народу остается либо уповать на силу собственного воображения, либо проявлять полное безразличие.

Мы — демократическая страна, признающая свободу идей и политических партий, у нас «либерально-демократическая партия» не является единственной политической партией. И мы привыкли с безразличием относиться к тому, представитель какой фракции — «морских котиков» или «цикад» — станет ее председателем. Но эта партия благодаря голосованию народа, осуществляемому на основе свободного волеизъявления, проводит в парламент наибольшее число депутатов, и обстановка в партии, таким образом, непосредственно отражается на обстановке в кабинете министров, на положении в правительстве и государстве. Если «морской котик» оказывается во главе партии, то и мы все волей-неволей становимся похотливыми, как морские котики, а если председателем партии становится сторонник «цикад», то и мы все с наступлением ночи вынуждены скрытно ползать повсюду, посверкивая цикадьими глазами. Выходит, вопрос о том, кто станет председателем этой партии, касается лично каждого из нас, и нам следует глядеть в оба, послюнив палец, проверять направление ветра. Вот и автора мобилизовали для этих целей, вынуждая его ломать свою дырявую, как морская губка, голову.

Автор потратил неделю, а то и все десять дней на хождения то в парламентский пресс-клуб, то в пресс-клуб при официальной резиденции премьер-министра, встречался с осведомленными людьми, посещал штаб-квартиры различных фракций. Когда становилось известно, что «морские котики» собрались в восточной части города, он спешил туда. Если в западных районах слышалось стрекотанье «цикад», он шел к «цикадам». Прежде он обычно просматривал в газетах лишь заголовки да зарубежные сообщения, а теперь читал их от корки до корки и, обнаружив намеки на некие новые замыслы, мчался на то или иное сборище.

Ему не всегда удавалось побывать непосредственно на месте, где происходила борьба фракций, и тогда он не мог дать репортаж «с места событий» и суть борьбы ускользала из рук, словно мокрое мыло. В этих случаях он, недовольно ворча, поздно вечером возвращался домой, валился без сил на постель и засыпал, тревожно храпя во сне. Временами ему казалось, будто золотая рыбка у него на крючке, но в последний момент ей удавалось ускользнуть...

Внутри либерально-демократической партии существуют разные фракции — Икэды, Коно, Кавасимы, Мики, Сато, Фудзиямы, Киси, Фукуды, Исии и других. Когда приближаются выборы председателя партии, Икэда прибирает к рукам целиком фракции Коно, Кавасимы, Мики и ныне покойного Оно. Один весьма осведомленный человек назвал это «методом трала рыбы». В ответ антиикэдовская фракция Сато — Фудзиямы использует метод «одиночной» ловли — уговаривает и берет на крючок рядовых членов, которые не попали в сеть траулера. Кроме того, в сетях оказываются и те, кто настроен против Икэды. Сато и Фудзияма оставляют их там, зная, что в нужный момент они проголосуют за фракцию Сато — Фудзиямы. А до тех пор этот «отряд лазутчиков» как ни в чем не бывало ест и пьет за счет фракции Икэды, бормоча: «Весьма признателен», «Очень благодарен».

— Поскольку голосование тайное, голосующий может вписать в бюллетень любую фамилию? — спросил я у весьма осведомленного человека.

— Вполне,— подтвердил он.

— Не исключено, что и люди из «отряда лазутчиков» могут нарушить данное слово и перекинуться на сторону противника?

— Верно. Там есть немало молодчиков, способных выполнять роль шпионов-двойников. Они тянут деньги и с Сато и с Икэды.

— Это рядовые члены партии?

— Видимо, рядовые.

— Ну, а сами-то боссы — Коно, Кавасима, Мики,— как правило, в нужный момент присоединяются к фракции Икэды, но, судя по всему, между собой они тоже ведут закулисную борьбу за теплые местечки, посты и привилегии. Не так ли?

— Вы правы. Их в первую очередь интересуют личные выгоды, и ради этого они готовы выступить в поддержку и Икэды и Сато.

— Значит, вполне можно предположить, что Коно, Кавасима, Мики и другие, поддерживая словами и действиями фракцию Икэды, в решающий момент выборов могут по внезапному побуждению проголосовать за Сато и Фудзияму?

— Это не исключено, совершенно не исключено. Тем более при тайном голосовании они способны выкинуть любой фортель. Рядовые члены все время находятся под наблюдением, и их подозрительное поведение проще заметить. Боссы же считаются вне подозрений, поэтому никто не следит за тем, какие фамилии они вписывают своими шариковыми ручками в бюллетени.

— Вот как?

— Когда человек становится боссом, он получает выгоды от любой фракции, на чью бы сторону ни переметнулся — настолько велики его сила и влияние. Отсюда возможность самых невообразимых зигзагов.

Этот весьма осведомленный человек сообщил мне также, что на последние выборы председателя партии фракции затратили от двух до трех миллиардов иен.

— Наличными? — спросил я.

— Конечно, наличными. Сейчас в ми-

ре нет большей силы, чем наличные деньги.

— Они приносят деньги в чемоданчиках?

— Чаще всего в фуросики[1]. Несколько лет назад их заворачивали в обыкновенную газетную бумагу, а теперь в оберточную или в фуросики.

— Вручают деньги сами боссы?

— По-разному бывает: и сами боссы, и их секретари, или жены, или любовницы. Иногда приносят деньги доверенные функционеры фракции.

Как правило, для вручения взяток используется некий ресторан в Акасаке, Цукидзи или Янагибаси. Деньги вручают потихоньку, предварительно удалив из отдельного кабинета, где происходит пиршество, официантов. Обычно в ресторане, где босс вручает взятку, у него имеется любовница, которая по желанию босса присутствует при передаче денег.

— Позвонишь ей в ресторан попозже и спросишь: «Ну как там босс, все прошло успешно?» И она без всякого смущения отвечает: «Идиотизм! Он дал три миллиона такому негодяю и еще униженно кланялся при этом»,— рассказывал весьма осведомленный человек.

Мало того! Супруги боссов отправляются к женам рядовых членов, стараются привлечь их на свою сторону, приглашают в гости. Все это напоминает некое состязание, в которое вовлечены боссы и рядовые, мужчины и женщины. Настоящий танец денег стоимостью три миллиарда иен! Таков, по-видимому, истинный характер «выборов председателя». Но поскольку никому из нас не удается присутствовать на месте действия или заполучить вещественные доказательства, фразы, рисующие подобную закулисную деятельность, мы всегда вынуждены начинать словами «говорят, что...», «передают, будто...». Причем такая информация о взятках, передаваемая на ушко, появляется на первых полосах газет в форме округлых фраз вроде: «Последние несколько дней «морские котики» усиленно занимались закреплением голосов».

Фракции, клики, теплые места, посты, денежные взятки, привлечение сторонников, закулисные действия — все это существовало в разных странах во все времена. Распространено мнение, будто в политике есть лозунги и есть истинные намерения, которые не совпадают друг с другом, но мне бы не хотелось нынешние смутные времена в Японии объяснять лишь неизбежным злом, присущим всему человечеству. Следуя подобной аргументации, я уподобился бы Эразму Роттердамскому, который бежал, испугавшись чумы, и вынужден был бы положительно оценивать возвышенность, чистоту, объективность, уравновешенность, прискорбность и глубокую проницательность таких рассуждений. Но лично я их не приемлю.

[1] Платок, в который завязывают вещи.

В конечном счете фракции Икэды, Сато, Фудзиямы практически ничем не отличаются друг от друга, как и их белоснежные носовые платки. Между ними нет логически обоснованных политических разногласий. «Искривления в политике высоких темпов развития!», «Политика, основанная на неверии в человека!», «Независимая национальная внешняя политика!» Единственный раз громко прозвучали трубы — и стихли! Да и могли ли они продолжать трубить?! Не следует брать в руки трубу, когда заранее известно, что не хватит дыхания... Но... сначала были деньги. Поэтому люди мечутся. Ларчик открывается просто. Икэду и Сато лишь заставляли метаться и бегать. Они лишь марионетки в театре теней. Не будь денег, они бы не суетились. А курс нашей страны определяют только те, кто дал им деньги. И если не заметить этого маленького «секрета», напоминающего откровенный грабеж среди бела дня, все остальные рассуждения и споры сведутся лишь к бесцельному труду наборщиков.

Мне ничего не удалось узнать. Десять дней потратил я, напрасно пытаясь ухватить все время выскользавший из рук кусок мокрого мыла. Существовали лишь упорные и в то же время крайне неопределенные слухи о циркуляции «голосов», но «людей» не было нигде. Невольно мне на память пришло старинное азиатское изречение: «Несчастна страна, управление которой доставляет мучения даже мудрому правителю. Счастлив народ той страны, которой способен управлять даже глупец». Если следовать этой мудрости, то мы счастливы, поскольку молчим, не поднимаем голос протеста. Дорогие мои братья и сестры — читатели! Мы счастливы! Мы очень счастливы! Мы удивительно счастливы! Нас обирают налогами, не выполняют данных нам обещаний, кругом царит коррупция, растут цены на рис, сакэ, молоко, редьку, растет плата за телефон, за проезд на автобусе и по железной дороге, за обучение в школе, за пользование банями и парикмахерскими, а мы, махнув на все рукой, становимся в красивую позу примирения с судьбой и твердим: как будет, так и будет, чему суждено исчезнуть, исчезнет, жизнь на земле никогда не станет честной, да и вообще мы по ошибке появились на свет. Мы счастливы! Мы чертовски счастливы! (И забываем, что слово «счастье» звучит по-японски и как другое слово: «капитуляция».— Прим. автора).

ОДИН ДЕНЬ ЧИНОВНИКА СТОЛИЧНОГО МУНИЦИПАЛИТЕТА

Имя, фамилия

Тацуки Кудзэ.

Возраст

35 лет.

Образование

Юридический факультет университета Юмэй.

Профессия, должность
Сотрудник токийского муниципалитета, начальник сектора.

Рост
Средний.

Вес
Средний.

Печень
Нормальная.

Детей
Двое.

Жена
Одна.

Сексуальные наклонности
Нормальные; исполняет супружеские обязанности.

Место жительства
Район Сугинами, квартал Игуса 4—8—14. Муниципальная квартира (кабинет в 6 татами[1], гостиная, общая комната и спальня).

Поведение при употреблении алкоголя
В целом нормальное. Имеет привычку, тихо вздыхая, ласково говорить собутыльнику: «Ты дурак и поэтому выдающийся человек». Если собутыльник выше по чину, он столь же ласково и тихо говорит: «Вы дурачок и поэтому выдающаяся личность. Честное слово! Я иногда бываю болтлив, но говорю только правду. Дурачок, дурачок, дурачок! Вы дурачок, поэтому я и люблю вас».

Подарки к Новому году
Дарит начальству консервированные фрукты и набор специй.

Личная печатка
Из буйволиного рога, круглая.

Очки
В тонкой металлической оправе.

Личные склонности
Дневной сон.

Постоянное чтение
Еженедельные журналы. Прочитав от корки до корки, оставляет в электричке.

Привычки в еде
Когда ест рамэн[2], почему-то оставляет нетронутыми нарутомаки[3]. Спагетти ест ложкой. На закуску заказывает огурцы, баклажаны или листовую китайскую капусту — всегда настойчиво требует, чтобы они были малосольные.

Жалованье
Основное — сорок тысяч семьсот иен в месяц. С единовременными пособиями и пособием на иждивенцев — сорок семь тысяч восемьсот сорок иен.

[1] Одно татами — 1,5 кв. м.
[2] Отварная лапша.
[3] Ломтики сырой рыбы, завернутые в лист сушеной морской капусты.

Нынешним утром Кудзэ с трудом выбрался из переполненной электрички на токийском вокзале и, как всегда, ровно в восемь часов сорок три минуты вошел в построенное по проекту Кэндзо Танге здание токийского муниципалитета из стекла, стали и бетона. Работа в муниципалитете начинается в восемь сорок пять, но Кудзэ обычно приходит на две минуты раньше. В муниципалитете отказались от часов-табеля — его металлический звук действует на нервы, и теперь служащие отмечаются в книге регистрации, ставя против своей фамилии личную печатку.

Вместе с толпой служащих Кудзэ подходит к столику у входа, не спеша вытаскивает из кармана свою круглую печатку из буйволиного рога и пришлепывает ее точно против своей фамилии. На бумаге появляются четкие иероглифы «Кудзэ». «По печатке судят о личности человека»,— поучал начальник отдела. Поэтому Кудзэ следил, чтобы его печатка была всегда в порядке. С особой серьезностью он подошел и к самому изготовлению своей печатки. Он заказал ее в универмаге «Токю» в Мита, причем попросил самого президента Ассоциации гадателей по печатям и штемпелям предсказать по печатке судьбу. Тот пригласил его в комнату, стены которой были увешаны цветными листами бумаги с изречениями и благодарственными письмами, присланными такими выдающимися личностями, как Эйсаку Сато, Сигэо Мидзуно, Хисата Итимата, Кэн Домон, Юдзиро Исихара и Дзюнко Икэути. Внимательно поглядев на только что изготовленную печатку с выгравированными на ней иероглифами «Кудзэ», он сказал: «Человек изначально ничего не имеет, поэтому его личность можно определить только по печатке. Ставить печать надо так, будто произносишь молитву. Перемена печатки — к перемене судьбы».

Он сказал это, слегка подтрунивая над доверчивым Кудзэ, но тот воспринял все всерьез и уверовал в слова президента Ассоциации гадателей. Он не испытал даже сожаления, когда ему предложили уплатить за печатку и гадание восемь тысяч иен. Жена выразила недовольство по поводу столь непомерной цены, но Кудзэ прикрыл глаза и сказал: «Разве это высокая плата? Ведь отныне от моей печатки зависит наше будущее». Жена смирилась и, разглядывая печатку, пробормотала: «Может быть, может быть!»

Поднявшись на шестой этаж в свою комнату, Кудзэ снимает ботинки и надевает виниловые сандалии, купленные в муниципальном кооперативе за двести иен. Сандалии легкие, удобные, и главное — в них не потеют ноги. Во время обеденного перерыва он прямо в сандалиях шагает перекусить в одну из харчевен на Хибия или Гинзе. Кудзэ не спеша садится за письменный стол, читает от корки до корки газеты «Асахи», «Майнити», «Иомиури», «Спортивные новости» и другие. Конечно, газеты куплены не на собственные деньги, а выпи-

саны за счет муниципалитета. Затем, точно так же, не торопясь, прочитывает «Муниципальные новости».

Служащая муниципалитета бесшумно вносит чай и со словами «извините, но чай неважный», повторяемыми каждое утро, ставит небольшой чайник на стол. Чай и в самом деле плохой. Кудзэ не уточнял, но, похоже, чай из самых дешевых — сорок пять иен за стограммовую пачку. Прихлебывая из чашки, он читает газеты. Горячая жидкость согревает язык, горло, пищевод, желудок. Наконец, ее тепло доходит до головы. Кудзэ откладывает газеты, молча выдвигает ящик стола с надписью «нерешенные вопросы», достает пачку квитанций и документов и начинает ставить печати. Бумаг два вида — нерешенные и по которым решение принято, нет, пожалуй, точнее будет сказать — бумаги, на которые уже проставлена печать или еще не проставлена.

Чиновники его сектора, так же как и он, сидят, склонившись над своими столами, и ставят печати. Но их печатки изготовлены не из буйволиного рога, тем более — не из хрусталя. Они вырезаны из самшита. Когда-то и у Кудзэ была такая. Чашки из дешевого фаянса принесены из дома. Без крышечек. Чашка Кудзэ тоже из дома, куплена в лавчонке на базаре, но все же она обжига «масуко». Без крышки. Если Кудзэ назначат начальником отдела, он, пожалуй, купит чашку с крышечкой и к ней деревянное блюдце. У нынешнего начальника отдела чашка обжига «арита» — она подороже и с крышкой и деревянным блюдечком. Печатка у него из хрусталя, а стул с подлокотниками. Все это мелочи, о которых никто вслух не говорит, но игнорировать их не следует.

В двенадцать часов Кудзэ встает из-за стола и, шаркая виниловыми сандалиями, отправляется в китайскую харчевню на Гинзе есть рамэн либо в торговый центр — полакомиться спагетти. Когда ест рамэн, обязательно оставляет нарутомаки, а спагетти ест ложкой, наматывая на нее макароны. Спагетти принято есть с помощью вилки и ложки, но японцы обычно пользуются вилкой, и ложку им не подают. В этом смысле Япония пока еще не может тягаться с родиной спагетти. Она, так сказать, перворазрядная страна второго разряда. Кудзэ почерпнул эти сведения из очерка одного известного деятеля культуры, побывавшего за границей, и с тех пор, заходя в ресторан, где подают спагетти, тихим голосом требовал ложку. Оглядевшись по сторонам, Кудзэ заметил за соседним столиком двух господ в таких же виниловых сандалиях, какие были на нем, и без труда угадал в них собратьев по службе.

— ...У нас в муниципалитете о деле пекутся лишь свои служащие, а остальных ничего не интересует,— возмущался один.

— Говорят, что невозможно управлять городом, население которого превышает триста тысяч человек,— сказал его сосед по столу.

— На днях я слышал, как начальник управления, говоря при людях о губернаторе провинции, обозвал его «дистиллированной водой».

— Ха-ха-ха! Дистиллированной водой, говоришь?

— Ага, именно «дистиллированной водой».

— Да уж, он точно — ни яд, ни лекарство, ни рыба, ни мясо. Живет — только небо коптит.

— Но это же яд, именно опасный яд, когда на таком важном посту — дурак набитый.

— Главное, что подчиненные у такого начальника не работают.

— Как по трем правилам: не отдыхают, не опаздывают и не работают. Сядут за стол — и сидят сложа руки.

— О чем бы у них ни спросили, одновременно отвечают: «да-да, нет-нет».

— Похоже на чье-то высказывание.

— Вычитал из романа Харуо Умэдзаки.

— Ты, оказывается, и романы покупаешь?

— Нет, в библиотеке прочитал.

— В самую точку, в самую точку! Значит, одновременно говорят «да-да, нет-нет»? Ха-ха-ха!

— Уху, ху-ху-ху!

— Охо, хо-хо-хо!

— Уморил! Ха-ха-ха!

— Уху, ху-ху-ху!..

Покончив с обедом, Кудзэ вышел на улицу и, пройдясь по солнечной стороне Гинзы, вернулся в муниципалитет.

Одна из стен комнаты, где работает Кудзэ, сплошь из стеллажей, разгороженных на небольшие, полные документов фанерные ящички, напоминающие мышиные норы. Подойдя к одному из них, Кудзэ вынул стопку бумаг и стал пришлепывать к ним свою печатку.

Часам к двум наконец появилось дело, в какой-то степени смахивающее на настоящую работу. Кудзэ пригласили на заседание комиссии с участием представителей районного отдела строительных работ, конторы по очистке и уборке улиц, санитарного управления и санитарно-гигиенической станции. Среди присутствующих были начальники соответствующих секторов и отделов муниципалитета, а также инспекторы. Обсуждался проект, который уже три или четыре года перебрасывали из одного отдела в другой. Все говорило за то, что сегодня этот проект будет окончательно обсужден и принят.

Речь шла о том, кто должен убирать оказавшихся на дороге дохлых кошек. Поскольку ни одно из ведомств не хотело брать на себя ответственность, связанную с дополнительной работой, все предыдущие совещания оканчивались ничем, и принятие проекта откладывалось из года в год. Поступали так, как полиция, обнаружившая в реке утопленника: полицейские бамбуковыми шестами стараются оттолкнуть труп к противоположному берегу, подведомственному другому полицейскому участку. Наконец, сегодня удалось положить конец четырехлетним дискуссиям. Секретарь

вел обстоятельный протокол совещания, с которым автору удалось ознакомиться. Согласно протоколу, если кошка сдохла на дороге, убрать ее надлежит районному отделу строительных работ. Если то же самое произошло в реках, прудах, водостоках и канализационных трубах, на пустырях и земельных участках, труп должен быть убран работниками санитарного управления. Погребение кошек и собак возлагалось на санитарно-гигиенические станции с выделением двухсот иен комиссионных на каждый случай. Они же обязаны бесплатно принимать от местного населения бездомных кошек и собак. Все представители учреждений, принимавшие участие в обсуждении, согласились с подобным разделением функций. Не возражал и Кудзэ. Он молча прихлебывал чай, солидно кивая, слушал выступавших и иногда вставлял ничего не значащие междометия.

— ...Ну, а если, предположим, за оградой частного участка растет дерево и одна из его ветвей протянулась за пределы ограды, а на этой ветке повисла каким-то образом попавшая туда дохлая кошка. Кто в этом случае обязан ею заниматься? — поднявшись со стула, с ехидной улыбочкой спросил начальник строительного отдела Саканэ, известный среди сослуживцев своей придирчивостью и настырным характером.

Присутствующие стали смущенно переглядываться, бормоча: «Да-а, задал задачу». После недолгой дискуссии решили внести в проект дополнение: «В случаях, которые не подпадают под перечисленные, ответственность возлагается на санитарное управление». Саканэ удовлетворенно кивнул и сел на свое место. Затем взял слово Ямагути с санитарно-гигиенической станции. Выражение лица у него было недовольным. Должно быть, оттого, что ему навязали дополнительную работу.

— Предположим такой случай,— сказал он.— Через пустырь проходит дорога — правда, не явно выраженная. Издыхающая кошка то выходит на нее, то сходит. Что же, представители всех ведомств должны следовать за ней, чтобы поглядеть, где она испустит дух?

Все снова стали оживленно дискутировать и, наконец, пришли к следующему выводу: специально такой случай в тексте проекта не оговаривать, но сразу по поступлении информации о сдохшей кошке отдел строительства уточняет по земельному гроссбуху, пустырь это или дорога, после чего на место происшествия отправляется представитель соответствующего ведомства. Вопрос, на решение которого потребовалось четыре года, был наконец зафиксирован на бумаге в виде распоряжения. Кудзэ расправил затекшие плечи и с чувством исполненного долга вышел в коридор. Сегодня сэнсэи [1] (так мысленно Кудзэ называл всех депутатов муниципального совета.— *Прим. автора*) не заходили и не отнимали время пустой болтовней, поэтому работа шла успешно, с удовлетворением подумал Кудзэ. Совещание прошло с толком, и к тому же он успел поставить печать на пятьдесят три документа. А если бы сэнсэи пришли на совещание? Наверное, решение вопроса о дохлых кошках отложили бы еще на четыре года. Ведь руководят деятельностью муниципалитета депутаты муниципального совета, а служащие, начальники секторов, отделов, управлений лишь исполняют черную работу по проблемам, о которых депутаты договорились на очередном банкете. Попробуй только высказать недовольство — вмиг распрощаешься с должностью! Даже во время телефонного разговора с депутатом служащий муниципалитета лишь повторяет: «Слушаюсь!», «Будет исполнено!».

В пять часов чиновники муниципалитета вскакивают из-за стола будто подброшенные пружиной. Правда, официально установленное время окончания работы — пять пятнадцать, но уже в пять служащие дружно покидают здание муниципалитета.

Кудзэ идет на токийский вокзал, садится в электричку и едет до станции Огикубо, где пересаживается на автобус. Он сходит в Иоги и пятнадцать минут добирается до собственного домика, принадлежащего муниципалитету. Затем принимает ванну, выпивает бутылочку сакэ, закусывая маринованными баклажанами и китайской капустой, и вручает жене штанишки, купленные в муниципальном кооперативе.

Он молча сидит за столом и, попивая сакэ, листает «Руководство по толкованию конституции». Конкурсные экзамены завершились тринадцатого сентября, но результаты еще не вывешены. Если провалился, придется, как школьнику, целый год заниматься зубрежкой. Когда приближаются экзамены, Кудзэ каждый вечер допоздна засиживается за непонятными книгами. Тут уж не до исполнения супружеских обязанностей. Жену и детей отправляет в деревню, чтобы не мешали, по нескольку дней не приходит на службу, заявляя, будто едет в срочную командировку. Если не выдержит экзамены, о должности начальника отдела и не мечтай. Но это не все. Важную роль играет уменье вовремя польстить начальству. Даже если на конкурсных экзаменах будет признано твое соответствие, места начальников отделов все заняты, да и конкурентов тоже в избытке. Но прежде всего надо выдержать экзамены, и Кудзэ, укладываясь в постель, прижимает к себе «Руководство по толкованию конституции».

Сегодня бедный Кудзэ был очень занят — за весь день даже не удалось толком с кем-нибудь поболтать.

НЕСЧАСТНЫЕ КОРЕЙЦЫ, ПРОЖИВАЮЩИЕ В ЯПОНИИ

Корейский юноша, с которым я повстречался невдалеке от скотобоен в Сибаура, окончил университет Мэйдзи, а работает парикмахером. Два его старших брата, окончившие Токийский уни-

[1] Учитель, почтительное обращение.

верситет, водят грузовики. Сам он, будучи в университете, показал себя выдающимся спортсменом и даже участвовал в первенстве страны по хоккею. Впоследствии он намеревался вступить в любительскую хоккейную команду, которую создала крупная электротехническая компания, но не смог осуществить свою мечту — в команду принимали спортсменов, находящихся на службе, а ему так и не удалось нигде устроиться. Обычно компании охотно зачисляют на работу выдающихся спортсменов, но именно ему отказали. Причем без какого-либо разумного объяснения. Оба его брата предпринимали неимоверные усилия, чтобы устроиться на работу по специальности, но безуспешно. И хотя они давно уже предполагали, что работу им не предоставят, и приготовились к этому, столкновение с действительностью явилось для них тяжелым ударом, от которого они так и не смогли оправиться. Пришлось старшим братьям с университетскими дипломами сесть за баранку грузовика, а ему самому стать парикмахером.

Я встретился в Токио с десятью корейцами. Все они были нисэями [1], приехавшими сюда из провинции — из префектур Ямагути, Осака, Китакюсю и других. Они родились, воспитывались и учились в Японии. У них было разное образование. Одни окончили среднюю школу, другие — среднюю школу второй ступени, третьи — университет. Когда же я спросил, чем они занимаются, все десятеро в один голос ответили: работаем землекопами. И так повсюду. Пока корейцы живут под небом Японии, они могут, по-видимому, надеяться лишь на поденщину либо на работу мусорщиком — независимо от того, являются ли они выходцами из Северной или Южной Кореи. Кореец, изучавший в Токийском университете экономику, может рассчитывать по окончании университета на место в научно-исследовательском институте, но, несмотря на проявленные им недюжинные знания и способности, он никогда не получит должности доцента или профессора. Можно с полным правом утверждать, что первым шагом к нашумевшему убийству корейцем Ли девушки из школы в Комацукава послужила депрессия человека, отчаявшегося найти работу. Я прочитал дневник, который Ли вел в тюрьме, и меня поразили его мудрость, тонкость восприятия, сила воображения и безупречность стиля. Но Япония отвергла его. В своем дневнике Ли записал:

«...Психология нисэев сложна. Они родились и воспитывались в Японии, многие толком не могут даже читать и писать по-корейски. Они не видели своей родины, не ощутили запаха родной земли и знают о ней лишь по рассказам родителей. Характер мышления и восприятия у них японский. Но стать полноправными в Японии они не могут. Они не японцы и не корейцы, и это сознание вакуума, в котором они пребывают, преследует их всегда и везде. Они — как трава без корней. Отсюда нигилизм и упадочнические настроения. Меня самого то обуревало стремление стать националистом, то хотелось полностью ассимилироваться среди японцев, но в конечном счете я так и не пришел к окончательному решению. Кстати, можно представить, каково было бы мое самочувствие, взмолись я перед японцами, мол, примите меня к себе, а они бы меня отвергли?».

Этот самый Ли окончил экономический факультет Токийского университета и, как впоследствии он мне признался, хотел удрать в Америку. «Пусть бы меня обвинили в бегстве — мне было все равно»,— прошептал он. «Если бы вам удалось все же уехать в Америку, тот вакуум, в котором вы пребываете, только бы расширился, не так ли?» — спросил я его. «Может быть»,— безразлично ответил он. «Не возникало ли у вас желания посвятить себя спасению родины? (в данном случае речь шла о Южной Корее.— Прим. автора)»,— спросил я. «Конечно, очень хотел, но я столько раздумывал над этим, что совершенно обессилел»,— ответил он. Не исключено, что Ли готов был вступить на путь Линь Юйтана [1]. Не исключено, что в Америке ему пришлось бы не раз слышать слова: «Эти foreign korean» [2], которыми называли корейцев независимо от того, прибыли они с Севера или с Юга. Намерение этого человека, издалека наблюдавшего, как мучаются и голодают студенты в Южной Корее, уехать в Америку воспринималось мною как своего рода абстрактное стремление приобщиться к так называемой «обители либерализма».

Фактически именно Япония хотела изгнать его, и я, будучи сам японцем, решил больше не мучить корейца Ли каверзными вопросами...

Больше половины корейцев, приехавших в Японию, являются выходцами из Южной Кореи. Вместе с нисэями они насчитывают шестьсот тысяч человек. Причем три четверти корейцев, проживающих в Японии, то есть более четырехсот пятидесяти тысяч человек, хотели бы поехать в Северную Корею и каждый день живут этой надеждой.

— ...Честно говоря, мне все равно, куда ехать — в Южную или Северную Корею. В Южной живут мои родители и братья, ее реки и горы близки мне по воспоминаниям. Я готов вернуться туда хоть сегодня. Но как я буду жить, если там нечего есть. Тут уж не до родственников! Поэтому я хотел бы сначала уехать в Северную Корею и своими глазами поглядеть на тамошнюю жизнь. Я готов забыть об издевательствах, испытанных нами в Японии. Хочу лишь, чтобы японцы помогли нам быстрее добить-

[1] В данном случае имеются в виду корейцы, родившиеся в Японии.

[1] Линь Юйтан (1895—1976) — китайский писатель, литературовед и филолог. В 1936 году уехал в Америку. Жил в Америке, Сингапуре, Гонконге, на Тайване.

[2] Иностранные корейцы.

ся разрешения на беспрепятственные поездки в Северную Корею. Именно об этом прошу вас написать.— Так сказал мне один из пожилых корейцев, собравшихся для встречи со мной в небольшом домике. Его голос звучал настойчиво и страстно.

Сидевшие передо мной на циновках корейцы — мужчины и женщины, молодые и старые — в один голос требовали, чтобы им разрешили воссоединиться с родителями, братьями и сестрами в Северной Корее. Разве Устав Организации Объединенных Наций и международное право не свидетельствуют о справедливости их требований? Почти каждый японец в отдельности согласен с ними и готов поставить свою подпись под их петицией. Однако японское правительство упорно не желает открыть гавани для выезда корейцев в Северную Корею. В ответ на требование корейцев наши сменяющие друг друга министры иностранных дел словно попугаи повторяют одно и то же: «Мы должны учитывать характер международной обстановки». Их и прозвали за это в народе «учитывающими министрами». От пустословия «учитывающих министров» и «учитывающих депутатов парламента» у корейцев лишь прибавляется морщин.

Проживающие в Японии корейцы не могут получить работу в компании, даже если они окончили Токийский университет. Они лишены льгот, предусмотренных системой народного здравоохранения. Самое страшное для здешних корейцев — заболеть. Например, для лечения, которое обходится японцу в тысячу иен, корейцу надо потратить десять, а то и двадцать тысяч. Если кореец, урезывая себя во всем, купил грузовичок и занялся перевозками, компания выдает ему вексель со сроком оплаты не более чем через четыре месяца. Не имея счета в банке, он вынужден добывать деньги под высокие проценты, чтобы расплатиться в указанный срок. Банки отказываются предоставлять корейцам денежные ссуды. Они прижимают и японцев-надомников, отказывая им в ссудах, а о корейцах и говорить нечего. Но налоги собирают исправно, как и с японцев.

Одно слово: грабят, ничего не давая! Убирайтесь, убирайтесь отсюда, кричат они корейцам, тянут с них деньги и... ничего не делают для того, чтобы дать им возможность уехать. Корейцев не допускают в жилищные кооперативы, и живут они, так сказать, между небом и землей — и выпускать их не выпускают, но и принять тоже не хотят. Вот и получается, что корейцы вынуждены спать, есть и работать, болтаясь как неприкаянные между небом и землей. Этого не смог бы придумать даже Сунь Укун [1]. А мы заставляем корейцев висеть между небом и землей. Поистине, такое можно представить лишь в научно-фантастическом романе.

[1] Сунь Укун — Необыкновенная Обезьяна — главный персонаж китайского классического романа «Путешествие на Запад».

Для корейцев город Осака — своего рода Мекка. Я сам вырос в пригороде Осаки и еще до войны ежедневно общался с корейцами. Благодаря моим корейским друзьям я научился кое-как изъясняться по-корейски и приобщился к корейской кухне. Я узнал вкус кимчи, капусты с красным перцем, и тонтяна — блюда из жареных потрохов. Один корейский поэт познакомил меня с жизнью осакских апашей, что подвигло меня написать о них роман [1].

Могу сказать, что среди современных японских писателей автору этих строк, пожалуй, приходилось больше других общаться с корейцами, пить корейский самогон и есть корейские блюда. Но даже для меня было внове многое из того, что рассказали корейцы, когда я встретился с ними в одном из пригородов Токио. И я убедился, что не знаю о Пусане, Сеуле, Панмыньчжоне, Пхеньяне и десятой, сотой доли того, что мне известно о Латинском квартале и улице Сен-Жермен де Пре в Париже. Думаю, это как бы символизирует отсутствие среди большинства японцев интереса к Корее. Слушая рассказы корейцев (а они, надо сказать, говорили о своих бедах скромно и с достоинством), я чувствовал, как холодный пот струйками стекает у меня по спине, растерянно кивал головой и, противно улыбаясь, бормотал слова извинения.

Из сотни японцев девяносто пять не общаются с корейцами, относятся к ним с безразличием и практически ничего не знают о Корее. Лишь услышав от корейцев об истинном положении вещей, удивляются, стыдливо опускают глаза и подписываются под их петициями. Японцы в своем большинстве инстинктивно проявляют доброжелательность, мудрость, понимание и сочувствие и с готовностью ставят свои подписи под петициями корейцев, вносят деньги в различные фонды, выслушивают, опустив голову, жалобы, ругают свое правительство. Но практически ничего не предпринимают. Они молча наблюдали, как двадцать пять юных отпрысков из привилегированного колледжа при университете Кокусикан на глазах у сотен прохожих в Сибуя среди белого дня избивают горстку беззащитных корейских школьников. Об этом инциденте не упомянула даже газетенка, располагавшая местом для статей о демонстрации модных фасонов собачьей одежды. Ни слова не промолвили и серьезные газеты! А полиция безразлично глядела, как убегают преступники, и даже не соизволила допросить свидетелей. И мы все не ударили палец о палец, чтобы хоть что-то предпринять. Только молча наблюдали, но, вернувшись домой и слегка опьянев от бутылки пива, поносили перед единственным слушателем — женой — правительство, полицию, газеты, дефек-

[1] Имеется в виду роман Такэси Кайко «Японская трехгрошовая опера», известный советскому читателю по переводу, выпущенному издательством «Художественная литература» в 1971 г.

тивных отпрысков из колледжа, безразличных зрителей и себя в том числе. Откуда берется эта неподвижность, нежелание протянуть руку помощи? Откуда берется этот безразличный взгляд рыбьих глаз на спокойных, сообразительных, печальных и гневных лицах?!

Примечание автора. Следовало бы еще многое написать о том, что я узнал из беседы с корейскими друзьями, но, к сожалению, я был ограничен размерами статьи. Приношу свои извинения корейцам, проживающим в Японии, за то, что неполно осветил волнующие их проблемы. Прошу извинить и за то, что не написал о некоторых фактах недавнего времени. Например, о том, что, несмотря на тяжелые условия существования, корейцы теперь разговаривают друг с другом на родном языке в переполненных электричках, с горделивым видом разгуливают по Гинзе в своих национальных одеждах — чхогори и чхиме[1].

ДОКОЛЕ ТЕРПЕТЬ ГРОХОТ РЕАКТИВНЫХ САМОЛЕТОВ

Военная база Ёкота расположена к западу от Токио.

База граничит с шестью малыми и большими городами и считается крупнейшей на Востоке. В столице Японии есть «крупнейшие на Востоке» телебашня, кегельбан, стадион, бройлерная фабрика. К ним добавилась и «крупнейшая на Востоке» американская военная база. Причем это боевая, действующая база. Ею пользуются различного рода американские военные самолеты: тренировочные, транспортные, бомбардировщики, истребители.

Среди них следует сказать особо о бомбардировщике F-105 D. Из-за сильного шума его моторов этот реактивный бомбардировщик прозвали «сандэр-чиф»[2]. Говорят, что он приспособлен для транспортировки водородной бомбы. Он летает в два с половиной раза быстрее звука. Если Япония подвергнется атомной атаке, объектом номер один станет военная база Ёкота, а поскольку она расположена невдалеке от столицы, то и Токио будет мгновенно разрушен. Он самым первым на Востоке будет стерт с лица земли.

Все перемещения на базе являются секретом американских вооруженных сил, поэтому о них японцам ничего не сообщается. Однако те, кто живет поблизости, по одному лишь звуку распознают тип и количество самолетов. Поскольку грохот моторов местные жители слышат ежедневно — и днем и ночью,— они научились определять силу звука не хуже звукоизмерительных приборов. Я присутствовал при необычном эксперименте. Чиновник муниципалитета города Акасимы установил измерительный прибор в лесочке близ взлетной полосы. Туда же пригласили одного местного жителя. Когда F-105 пролетел у него над головой, тот определил силу звука примерно в сто двадцать пять фонов. Прибор показал сто двадцать восемь. Я был буквально потрясен столь удивительной точностью.

По рассказам жителей из соседнего городка, особенно много F-105 начало прибывать на базу с марта. Говорили, будто они прилетают с базы Итадзукэ. В начале июля их передислокация на базу Ёкота прекратилась. Всего прибыло три эскадрильи. Как раз в это время началась война во Вьетнаме и вылеты с базы особенно участились. Самолеты поднимались в воздух даже по ночам, не давая местным жителям спать. Если в газетах публиковалась информация о начале где-нибудь военных действий, вылеты с базы сразу же учащались. Иногда некоторые события можно было предугадать еще до сообщения о них в прессе. Если ночью слышится интенсивный шум моторов, можно с уверенностью сказать, что в утренних выпусках газет будет сообщение об очередных конфликтах. Четвертого августа в газетах поместили информацию об инциденте в Тонкинском заливе, а на базе Ёкота еще до рассвета в течение двух часов грохотали моторы.

— Это были F-105? — спросил я.

— Нет, транспортные самолеты С-135. Их можно узнать по особо сильному шуму моторов — хоть уши затыкай! Их взлетело довольно много.

— А F-105 теперь летают?

— Каждый день, хотя их стало значительно меньше. Подождите немного, скоро появятся. Здесь нет нужды шпионить. Они сами сообщают о себе своим грохотом.

Я зашел в дом местного жителя, с которым беседовал, и, попивая кальпис[1], стал ждать. Вскоре послышался грохот, напоминавший гул землетрясения. Крыша и стены начали содрогаться, задрожала и циновка, на которой я сидел. От непрерывного шума раскалывалась голова, сотрясалось все нутро. Иногда грохот особенно усиливался, и тогда казалось, будто ты заключен в пустую железную бочку, по которой безжалостно и непрерывно бьют молотом. Затыкаешь уши и со страхом думаешь: еще секунда — и самолет обрушится на дом. Нет сил приподняться и куда-то бежать. Хочется лишь громко орать, чтобы тебя окончательно не раздавил этот невообразимый шум. Впервые за девятнадцать лет, прошедшие после войны, я вспомнил грохот бомбовых разрывов, шквальный пулеметный огонь. Я как бы вновь вернулся в детство и физически ощутил войну.

— Сколько посторонним ни объясняй, все равно не поймут. Не понять этого и журналисту, который заглянет сюда на часок и сразу же умчится стрясать статью. Чтобы по-настоящему ощутить наши мучения, надо здесь жить,—

[1] Чхогори—национальная корейская куртка; чхима — юбка.

[2] «Сандэр-чиф» — «громовержец».

[1] Напиток, приготовляемый с добавлением молочной кислоты.

сказал господин Коно, который возглавлял движение местных жителей за коллективное переселение. Господин Коно — секретарь акасимского отделения либерально-демократической партии. Он вместе с другими выступает за принятие мер против шума, создаваемого реактивными самолетами в районе Хоримуко, за запрещение полетов американских F-105.

Известно, что человеческий организм не может выдержать силу звука, превышающую сто тридцать фонов. Шум на Гинзе составляет от семидесяти до восьмидесяти фонов. Шум, вызываемый самолетом F-105, достигает ста двадцати— ста тридцати фонов. Эти самолеты летают утром и днем, глубокой ночью и перед рассветом, летают без всякого предупреждения. По словам проживающего в этом районе доктора Тоёидзуми, с тех пор как появилась база, значительно возросло число больных, страдающих гипертонией, бессонницей, нервным истощением. Появились болезни, доселе неизвестные. Младенцы страдают от конвульсий, из-за недосыпания у них повысилась раздражительность. Значительно чаще стали возникать семейные ссоры. Находясь в доме, невозможно долгое время выдерживать грохот самолетов, и жены нередко стали сопровождать мужей на работу, лишь бы только не оставаться дома. Трудно вести занятия в детских садах, начальных и средних школах. Ухудшились способности учащихся, и, соответственно, уменьшился процент поступающих в высшие учебные заведения. Приходится громко кричать, чтобы услышал собеседник. В результате дети стали грубыми, даже петь как следует разучились. Были случаи, когда во время ознакомительных поездок в Никко хозяин гостиницы, где останавливались школьники из прилегающих к базе городков, удивлялся возросшей грубости детей. Оно и понятно, дети настолько привыкли орать, что обычный разговор воспринимается окружающими как ругань.

Больные убегают из больниц. Провода на линиях высокого напряжения опасно раскачиваются. Со стен осыпается штукатурка, с крыш — черепица. Расшатываются коренные зубы. Не слышно радио (в связи с этим обещают даже не взимать платы). Резко усилились помехи на экранах телевизоров (предполагают уменьшить наполовину плату за просмотр телепередач. Трудно стало разговаривать по телефону. Из-за этого продолжительность телефонных разговоров удлинилась чуть ли не вдвое. Стоимость одного цубо [1] земли в районе баз понизилась с тридцати тысяч до девяти тысяч иен, да и за такую цену нелегко найти покупателя. На острове Хоккайдо близ Асахикавы, где расположена одна из военных баз, из-за грохота самолетов у лошадей резко возросло число выкидышей и мертворожденных жеребят. В ответ на запрос Управление оборонительных сооружений Японии заявило: «Что касается человека, то выводы еще не получены, но на домашнюю птицу шум самолетов влияния не оказывает». Это заявление вызвало взрыв возмущения среди людей, проживающих в непосредственной близости от военных баз.

Я поинтересовался у господина Ито, который вот уже восемнадцать лет разводит кур в этом районе, справедливо ли заявление Управления оборонительных сооружений. Он ответил, что местные куры нормально несут яйца. Но когда он завез извне десяток двухмесячных цыплят, они большей частью не могли есть и подохли, а те, что выжили, не несли яйца. Местные куры хотя и несут яйца, но из-за грохота самолетов начинают метаться, что резко увеличивает бой яиц, нанося владельцам большой ущерб.

Говорят, на Гинзе шумно, а музыка «группы романтиков» звучит чересчур громко, но разве это можно сравнить с оглушающим грохотом военных самолетов? К тому же этот грохот совсем иного рода. К нему невозможно привыкнуть. Хочется заткнуть уши и бежать неведомо куда, лишь бы его не слышать. Он подавляет морально, вызывает буквально физическую боль, и кажется, будто твое тело вот-вот разорвется на части, не говоря уже о постоянном страхе, что самолет в любой момент может обрушиться на твой дом и погубить тебя и семью.

Пятого апреля самолет действительно упал на город Матида, расположенный близ Токио. Именно этот случай явился непосредственным поводом, породившим движение за коллективное переселение в районе Хоримуко.

Слов нет, бомбардировщик F-105 создан на основе самых последних достижений техники и точных наук. Но существует железное правило: точно и надежно действующий механизм точно и надежно ломается. Можно себе представить, каковы будут последствия, если сразу после взлета такой бомбардировщик упадет на густонаселенный район Хоримуко, расположенный всего в четырехстах метрах от взлетной полосы. Не меньше двухсот домов будут сметены в одно мгновение. Во время корейской войны получили хождение слова «Shaving bomber» [1]. Бомбардировщик назвали так потому, что он, словно бритвой, срезал огнем все на земле.

Представьте себе, что́ случится, если такая «бритва», летящая со скоростью, превышающей в два с половиной раза скорость звука, не рассчитает высоту и врежется в ваш дом. А ведь этим самолетом управляют люди, которым часто свойственно ошибаться.

Дух захватывает, когда стоишь у сигнальных огней в соседнем лесочке и наблюдаешь, как совершенно вертикально отрывается от земли гигантский карандаш и летит, чуть не задевая за верхушки телеграфных столбов.

[1] Один цубо — 3,3 кв. м.

[1] Бреющий бомбардировщик (*англ.*).

— ...Как низко летают эти самолеты? — спросил я у чиновника местного муниципалитета, занимавшегося измерением силы звука.

— На высоте ста, а то и пятидесяти метров над крышами домов,— ответил он.

— А вы не требовали от начальства американских вооруженных сил увеличить минимальную высоту полета?

— Протестовали — и не раз! Даже соглашение было подписано, но они его не выполняют.

— И в самой Америке военные самолеты летают на такой высоте?

— Точно не знаю, но слышал, что F-105 над территорией Америки не летают вообще.

Помимо шума, возникающего при полетах реактивных самолетов, очень мешают и испытания моторов на земле. Обычно они длятся по два-три часа. Грохот стоит неописуемый. После протеста, направленного командованию базы, там пообещали установить глушители. Неизвестно, были ли они установлены на самом деле, но в последнее время шум от испытания моторов стал меньше. Сильно раздражает окрестное население и резкий свет посадочных прожекторов, мешающий отдыху в ночные часы.

Верховный суд Америки решил в пользу местного населения иск, предъявленный администрации за невыносимый шум в аэропорту. Она была признана виновной и приговорена к штрафу в пользу пострадавших.

По японо-американскому административному соглашению ответственность за базы возложена на японское правительство. В токийском отделе Управления оборонительных сооружений на мой вопрос, как намерены удовлетворить требование населения прилегающих к базам поселков о компенсации и переселении, ответили, что не знают, как поступить, поскольку не было прецедентов. Что же касается конкретно района Хоримуко, где земельный участок и жилища принадлежат авиакомпании «Сёва хикоки», то не возникло бы никакой проблемы, обратись с этой просьбой сама компания как владелец. Так, например, поступили с крестьянскими домами в районе, прилегающем к военным базам Итадзукэ и Ацуги. Но до сих пор не было случая, чтобы не владелец, а квартиросъемщик требовал компенсации за ущерб в связи с переселением. Похоже, именно это рассматривают в Управлении оборонительных сооружений как решающее условие выплаты компенсации. Тогда я отправился в компанию «Сёва хикоки». Там мне сказали, что официально вопрос не изучался, поскольку не было указания со стороны правительства. Однако в компании посчитали неправомерным отказ от рассмотрения вопроса «за отсутствием прецедента». Ведь когда решали вопрос в связи с базами Итадзукэ и Ацуги, тоже прецедента не было. Почему бы и в данном случае не создать такой прецедент самим обсуждением на заседании кабинета министров?

«Для кардинального решения проблемы экономики и финансов районов, прилегающих к базам, необходима широкая реформа всей политики правительства относительно баз, включая принятие «закона о стабилизации жизни населения в районе баз»,— таково мнение начальника Управления оборонительных сооружений Японии Оно.

Но говорят, что проект «Закона о стабилизации жизни населения в районе баз» рассматривался в конце 1962 года на министерском уровне и был отклонен в связи с «финансовыми трудностями». Уму непостижимо, как могло такое решение быть принято в великой стране «экономического процветания, обеспеченного высокими темпами роста, не имеющими прецедента в мировой истории». Страна, проводившая Олимпийские игры, страна, создавшая сверхскоростной экспресс, преспокойно приносит человека в жертву бреющим бомбардировщикам!

«Пока существует авиация, реактивные самолеты будут летать. Чьи бы самолеты ни летали — американской армии, или войск самообороны, либо японской пассажирской авиакомпании,— ужасающий грохот не прекратится. Поэтому у нас одно желание: бежать, куда угодно бежать! Тем более что неизвестно, когда мы добьемся ликвидации военных баз. Мы живем одной лишь мыслью: бежать — хоть завтра, хоть сегодня».

Так думают многие городские жители, обитающие вблизи военных баз. Они готовы бежать с этого, самого большого на Востоке неподвижного авианосца, хотя и не знают, убегут ли они от беды, покинув авианосец. Заткнув пальцами уши и скорчившись в своих постелях, тысячи японцев мечтают спастись бегством ради того, чтобы жить сегодня, спокойно уснуть нынешней ночью. Но так ли просто определить дату бегства, когда ты с головы до ног опутан густой сетью интересов и выгод.

Я медленно брел по городку, пока не остановился перед входом в супермаркет, украшенный яркими венками — признак открытия нового либо заново перестроенного магазина. Наверно, владелец этого супермаркета против переселения жителей, проживающих по соседству с базами. Он готов торговать даже в аду, рядом со сковородками, на которых жарятся грешники, лишь бы это приносило прибыль. И хотя все наперебой говорят, что надо бежать, но лапша, которой торгуют в супермаркете, все же вкусна! Да, непонятное существо — человек!

От переводчика

Такэси Кайко принадлежит к той самой плеяде послевоенных писателей Японии — «сердитых молодых людей», в которую входили и Кобо Абэ, и Кэндзабуро Оэ. Их детские и юношеские годы связаны со второй мировой войной, оставившей неизгладимый отпечаток на их жизни и творчестве. При всех различиях идейных и художественных воззрений этих писателей объединяет общая тема ответственности каждого человека за то, что происходит с ним, с его страной, с его временем.

Юрист по образованию, Такэси Кайко родился в 1930 году в Осаке, в семье директора народной школы. Известность он приобрел после опубликования рассказа «Голый король», который в 1957 году был удостоен литературной премии имени Акутагава.

Переведенные на русский язык, его повести посвящены проблеме отчуждения человека в капиталистическом мире («Гиганты и игрушки»), жертвам «экономического чуда» в японском буржуазном обществе, где моралью правит закон наживы («Японская трехгрошовая опера»). Роман «Горькое похмелье» написан на материале войны, разрушающей не только материальные ценности, но и души людей.

Такэси Кайко знают на родине не только как автора многочисленных рассказов, повестей и романов, но и как блестящего журналиста (особой популярностью пользовались его репортажи о борьбе вьетнамского народа против американских захватчиков), как острого публициста, бичующего недостатки современной Японии. В 1977 году издательство «Бунгэй сюндзю» выпустило пятитомник художественной публицистики Такэси Кайко.

Журнал «Иностранная литература» впервые знакомит советских читателей с несколькими фрагментами из публицистики Такэси Кайко. Хотя часть этих очерков написана довольно давно, проблемы, поднимаемые в них, по сей день остаются актуальными для Японии. К примеру, мало что изменилось с 1977 года — с тех пор как был напечатан очерк «Сто миллионов самоубийц», повествующий о масштабах промышленного загрязнения окружающей среды. Не так давно автору этих строк довелось побывать в Японии, в ту пору газеты много писали о массовых случаях ожогов и недомоганий у школьников из-за фотохимического смога. Речь шла о том, что действенных мер к изменению положения по сути не принимается. По-прежнему процветают подкуп и закулисные махинации в ходе парламентских выборов, а также выборов верхушки правящей либерально-демократической партии. По-прежнему актуальны проблемы милитаризации Японии, борьбы народа против размещения американских военных баз на ее территории — стоит вспомнить хотя бы недавние сообщения прессы по поводу переговоров между США и Японией о размещении самых современных американских бомбардировщиков на военной базе Мисава. Насущны саркастические наблюдения писателя в связи с процветающим в стране бюрократизмом и многие другие зарисовки из жизни современного буржуазного общества Японии.

◆

Антирубрика

МАРК ТВЕН

РАССКАЗЫ

Перевод с английского ЛЮДМИЛЫ БИНДЕМАН

Предлагаем вниманию читателей несколько рассказов Марка Твена, ранее не публиковавшихся на русском языке, взятых из различных сборников.

«История Мэйми Грант, девочки-миссионера» — пародия на книгу американской писательницы Элизабет Фелпс, полную нудных рассуждений на морально-религиозные темы, и брошюры о трезвенности Тимоти Артура.

«Эта невообразимая русская баня» — корреспонденция Марка Твена в газету «Альта Калифорния» (Сан-Франсиско) из Нью-Йорка, датированная 23 февраля 1867 г.

ИСТОРИЯ МЭЙМИ ГРАНТ, ДЕВОЧКИ-МИССИОНЕРА

— Тебе кофе с сахаром и со сливками?

— Пожалуйста, дорогая тетушка, с сахаром и со сливками — и с надеждой на перемену в ваших убеждениях.

Последнюю фразу произнесли прелестные губки юной Мэйми Грант. Она рано познала радость и утешение, которые дарует истинная вера. Она регулярно посещала церковь и почитала это своей счастливой привилегией, а отнюдь не скучной повинностью, как многие другие дети. В воскресную школу Мэйми всегда являлась первой, а уходила последней. Библиотека воскресной школы была для девочки сокровищницей знаний. Из ее книг Мэйми почерпнула бездну премудрости на удивленье молодым и на радость старым. Девочка с благодарностью думала о даровитых богословах, сочинивших чудесные книги, она решила во всем подражать героиням этих произведений и целиком посвятить себя спасению грешников. И вот мы видим, как девятилетняя девчушка не упускает даже такую пустяковую возможность как вопрос о сливках и сахаре, чтобы выразить надежду на обращение на путь истинный своей старой, упорствующей в заблуждениях тетушки.

— Хочешь печенья?

— Нет, тетушка, я не смею лакомиться печеньем, пока ваша бесценная душа в опасности.

— Что за вздор! Ешь свой завтрак, дитя мое, и перестань говорить глупости. Вот тебе чашка с молоком, покроши туда хлеба и ешь на здоровье.

Мэйми Грант задержала поднятую к губам ложку молока и сказала:

— Тетушка, хлеб и молоко — всего лишь суета сует этого грешного мира. Стоит ли думать про хлеб и молоко? Не лучше ли искать млеко праведности, а все остальное дастся нам?

— Что за ахинею ты несешь, дитя мое? Сбегай лучше вниз, посмотри, кто там звонит в дверь.

— Стучите — и отворят вам! О тетушка, если б вы могли оценить эти слова!

Мэйми задумчиво спустилась по лестнице. Это было первое утро в гостях у тетушки, к которой она приехала на неделю. Мэйми отворила дверь. В дом быстро вошел незнакомец и произнес скороговоркой:

— Срочное дело, малышка! Перепись! Живо тащи сюда старого джентльмена!

— Перепись? А что это такое?

— Я переписываю всех жителей и собираю о них нужные сведения.

— Какая неоценимая возможность для спасения душ! Если б вы только...

— Жарь, малышка, не заговаривай мне зубы! Я на работе. Тащи сюда старика, живо!

— Смертный, позабудь о суете! Потрудись во славу Его! Господь вознаградит тебя щедрее всех владык мира. Вот брошюры, возьми их и раздавай повсюду. Борись с заблудшими денно и нощно! Именно таким путем юный Эдвард Бэйкер стал путеводной звездой для грешников и снискал бессмертную славу — о нем написали в учебниках для воскресных школ всего мира! Вот эта брошюра под названием «Обреченный пьяница, или Кара за грех» учит нас, что вероломное чудовище, скрывающееся в чаше с вином, обрекает души на вечное проклятие. А вот эта — «Пара двоек, или Последний проигрыш» о том, как почти разорившийся игрок в проклятый покер блефанул и выиграл на паре десяток; ободренный успехом, он взял на прикуп две карты и вмазал в лузу красный, а потом, побуждаемый демоном разрушения, заказал черную восьмерку дуплетом в угол. Ему оставалось набрать всего два очка, счастье, казалось, вот-вот улыбнется ему, но в этот момент его партнер открыл туза и выиграл. И тогда отчаявшийся игрок всадил себе пулю в лоб и скончался. Вот какая скверная, отвратительная игра покер!

А по этой книге вы можете судить о том, что наши ученые-богословы в совершенстве постигли науку нести слово божье всем страждущим. Во имя достойного дела — спасения душ игроков — святые отцы вникают в теорию и технические приемы ужасных игр, чтобы говорить с грешниками понятным им языком. А вот эта брошюра называется...

Господи, да куда же он делся? Как я теперь узнаю, проникли мои слова в его душу или нет? Принесут ли посеянные мной семена достойные плоды? И все же я верю, что он бросит свою грешную перепись и займется спасением душ. Я з н а ю — он будет спасать грешников! Ведь именно таким путем юный Джеймс Уилсон обратил на путь истинный торговца-еврея, и тот покинул отчий дом, загрузил свои коробки библиями, церковными гимнами и стал не торговцем вразнос, а благословенным разносчиком святых книг. Об этом рассказывается в прекрасной книге для воскресных школ «Джеймс Уилсон, мальчик-миссионер».

Снова раздался звонок. Мэйми отворила дверь.

— Утренняя газета, мисс, с вас причитается сорок центов за полмесяца.

— Вы разносите газеты по всему городу?

— Чуть ли не в каждый дом, мисс. Самый большой тираж по сравнению с другими газетами! Самый лучший орган рекламы!

— Подумать только, какие у вас возможности! Это случайно не баптистская газета?

— Никак нет, мисс. Мы — орган демократов.

— О, если б вы могли убедить редактора отказаться от глупостей мира и сделать вашу газету вестником света и надежды, баптистским благословением каждого семейного очага!

— У меня нет времени соваться в такие дела. Не в обиду вам будет сказано, мисс, демократам наплевать на свет и надежду, они не станут покупать баптистскую газету. А теперь поторопитесь, пожалуйста, вернуть должок — сорок центов за полмесяца.

— Конечно плохо, если газету не станут покупать, и все же прошу вас — потрудитесь на благородной ниве! Вот вы приносите газету в дом. Соберите всех его обитателей, убедите их бросить греховную жизнь и искать пути спасения. Пусть даже самый низкий, ленивый и подлый не теряет надежду на спасение. Вот вам брошюры, вкладывайте их в газеты, а когда кончатся, приходите, я дам другие. Смотрите — прекрасная брошюра, называется «Муки ада, или Судьба политического деятеля». Она так ярко живописует картину вечного проклятия — адское пламя, чудовища, ужасные бесконечные страдания,— что даже у самого закоренелого грешника затрепещет сердце и он бросится на поиски тихого приюта — веры. И Роджер Лайман, сапожник из нашей деревни, непременно вернулся бы в лоно церкви, если не дошел бы до белой горячки прямо перед самым обращением.

Эта брошюра отрезвит тех демократов, что тратят время на тщеславную суету из-за политической карьеры. Вложите в газеты и эту брошюру, которая называется...

— Нет, так дело не пойдет! Это вам не в куколки играть, мисс! «Вложите их в газеты!» Хотел бы я посмотреть, что из этого получится. В жизни не слыхал, чтоб брошюры вкладывали в утренние газеты! Да ваши брошюры для демократов яйца выеденного не стоят! Они толпой в редакцию явятся и такой разгром учинят! Раскошеливайтесь, мисс! Сорок центов!

— Вы очень бойко жонглируете глупыми мирскими словами. Вот вам брошюры, и беритесь за доброе дело. Не забывайте о грядущем вечном блаженстве. На вас снисходила благодать?

Боже, и этот ушел... Но он ушел с благородной миссией. Бедный разносчик внесет свою лепту в спасение безнравственного города. Грех будет изгнан из своих владений! Я это з н а ю, ибо именно таким путем юный Джордж Беркли обратил на стезю праведности странствующего лудильщика и послал его укреплять веру в душах неверующих. Не вина Джорджа, что лудильщик еще не поборол в себе грешного начала и стянул два кофейника, прежде чем принялся за праведные дела. Снова звонок!

— Доброе утро, мисс! Мистер Вагнер дома? Я пришел вернуть ему долг. Он одолжил мне тысячу долларов месяц тому назад.

— Увы, все живут лишь ничтожными заботами этого мира! О, берегитесь! Вы напрасно тратите время! Позабудьте о сокровищах сей бренной обители, собирайте иные сокровища — те, что не истребляет моль и не крадут воры. Вы читали брошюру «Пламя, кипящая сера, или Последний вздох грешника»?

— В жизни не слыхал ничего подобного! Молоко еще на губах не обсохло, а уж проповедует! Скорее, мисс! Я должен отдать долг и бежать по делу. Поторопитесь, прошу вас!

— О, сэр, это вам нужно торопиться — торопиться узнать, что вас ждет в будущей жизни. Из этой брошюры «Раб Каина, или Панихида проклятых» вы узнаете — молю Господа, чтоб не слишком поздно,— как погоня за барышом иссушает душу, навсегда преграждает ей путь к истинной благодати, вере, как она делает жизнь страшной мукой, а после смерти открывает врата вечной скорби. Это — драгоценная книга. Прочитав ее, все грешники лишаются сна.

— Извините, мисс, но я...

— Ищи спасения от будущего возмездия, грешник! Беги, пока есть время! Твой греховный счет растет день ото дня! Расплатись за свои грехи, покайся и начни жизнь сначала! Вот брошюра «Горькое раскаяние матроса-богохульника». Она повествует о том, как однажды ночью в шторм матросу-богохульнику приказали подняться в рубку над люком и подтянуть сезень якоря. С головокружительной высоты он увидел, как утлегарь грот-мачты вырвался из гитов-тали шкотового угла паруса. Мало того — подветренный шпигат бизани запутался в нокбензельном фале кат-балки. И в такой момент разнузданный богохульник, погрязший в пороке, осмелился прокричать ругательство наперекор свирепому ветру. Его тут же постигла кара: наветренный брасс лопнул прямо в середине судна, ванты-бизани загородили вход с трапа по правому борту, и полувахта быстрее молнии выскочила из ликтроса! Представляете, в каком положении оказался скверный матрос! Сама я этого не представляю: не возьму в толк, что означают все эти кошмарные морские термины. Конечно, мне не хватает образования и глубокого знания повседневной жизни, чем славятся даровитые богословы, почерпнувшие все сведения о действительности из сочинений других богословов, своих предшественников. Но я полагаю, что с матросом случилось что-то ужасное! Так пусть эта история послужит предупреждением тебе, пилигрим, пусть... И этот скрылся... Бог с ним, он до смертного часа будет помнить, что именно я принесла покой его мятущемуся духу, именно я пролила бальзам на его истерзанное сердце, именно я указала ему путь к счастью. Добрые дела наполняют блаженством мою душу. Пусть я всего лишь ничтожный инструмент в Его руках, но знаю: я похожа, я очень похожа на вундеркиндов из книжек для воскресных школ. Я объясняюсь их изысканным языком. Подумать только, ведь и я могу стать примером для молодых — маяком, посылающим луч надежды далеко через вздымающееся лавиной море греха, и этот маяк — учебник для воскресных школ в крапчатой, под мрамор, обложке.

Снова звонок! Сегодня у меня поистине удачный день.

Доброе утро, сэр, заходите, пожалуйста.

— Мисс, будьте любезны, скажите мистеру Вагнеру, что я откажу ему в праве выкупа закладной, если он тотчас же не вернет мне долг — тысячу долларов. Передайте ему это, будьте добры.

Выражение озабоченности промелькнуло на прелестном личике Мэйми Грант. Видно было, что ей не дает покоя какая-то мысль. Она глянула в лицо незнакомцу и взволнованно спросила:

— Сэр, вы когда-нибудь меняли свои убеждения?

— Господи́ боже мой, что за вопрос?

— Вы сами не ведаете, что творите. Вы стоите на вулкане. Вы можете погибнуть в любую минуту. Остерегись, смертный. Позабудь про мирские заботы, иди творить добро! Раздай свое состояние бедным и отправляйся миссионером в дальние края. Не все еще потеряно, если поспешить! Берегись хмельной чаши!

Вот вам брошюра, читайте ее ночью и днем, храните в душе, как сокровище, ее уроки. Видите — «Уильям Бакстер, исправившийся пьяница, или Из пламени спасенный». Герой этой брошюры, несчастный грешник, в порыве пьяного безумия уничтожил всю свою семью бутылкой с отбитым горлышком, вот тут есть картинка. Терзаясь раскаянием, Бакстер дал зарок в рот не брать спиртного. Он женился во второй раз и обзавелся прекрасным набожным семейством. Но кто-то снова ввел его во искушение, и, одурев от выпивки, Бакстер укокошил битой бутылкой и новое семейство. Потом он побывал на лекции Гоуха[1] и встал на путь исправления. Бакстер снова вырастил смышленых красивых ребятишек. Но, увы! В недобрый час подлые дружки снова поднесли ему хмельную чашу, и в тот же день он размозжил своим детишкам головы бутылкой! Оторвав от груди рыдающую жену, пьяница бросил ее вниз с третьего этажа. Когда он наконец очнулся от алкогольной горячки, то понял, что остался один, как перст, изгой, без дома, без друзей.

Пусть эта история послужит вам уроком. И все же упорством можно добиться многого! Бакстер окончательно исправился и теперь, спасенный от верной гибели, ходит по стране, читает лекции о трезвенности, открывает воскресные школы. Так идите ж и вы по его стопам, берите с него пример. Еще не поздно. Торопитесь, пока вас осеняет дух божий!

Ну и ну! И этот исчез и унес с собой закладную. Но он на пути к исправлению, я верю в это. Отныне он будет творить добро, а добро неоценимо. Сегодня у меня был поистине благословенный день!

С этими словами Мэйми Грант надела шляпку и отправилась в город разносить брошюры нагим и голодным — банкирам в их суетных конторах, торговцам спиртным, продающим свой погибельный для души мерзкий товар.

Вернувшись вечером, она застала своего дядюшку Вагнера в глубокой печали.

— Увы, мы разорены,— сказал он,— я лишился газеты, меня объявили злостным неплательщиком. Сборщик налогов, проводивший перепись, поставил против моего имени пометку о неблагонадежности. Мартин, которому я одолжил тысячу долларов,

[1] Гоух Д. Б. (1817—1886) — известный оратор, проповедник трезвенности.

не пришел, я не отдал тысячу долларов Филиппсу, и он отказал мне в праве выкупа закладной. Теперь мы остались без крыши над головой!

— Не унывайте, дорогой дядюшка,— сказала Мэйми,— я отправила этих людей трудиться на благородной ниве. Они будут повсюду сеять добро и пожнут богатый урожай. Не ропщите на зло мира сего, а внемлите святому глаголу.

Мистер Вагнер лишь застонал в ответ: он еще не вполне проникся христианским духом. А счастливая Мэйми, засыпая, думала: «Я спасла разносчика газет, сборщика налогов, кредитора и должника Все они будут вечно меня благодарить. Сегодня я занималась добрыми делами, может, я еще увижу свое скромное имя на страницах прекрасной книги для воскресных школ, может, сам Т. С. Артур напишет обо мне. О, радость!»

Вот какая история случилась с Мэйми Грант, девочкой-миссионером.

ФЕРМА ПРЕПОДОБНОГО ГЕНРИ УОРДА БИЧЕРА

У мистера Бичера есть ферма в тридцать шесть акров земли, и хозяйство на ней ведется на строго научной основе. Бичер и горстки зерна в землю не бросит, не заглянув сначала в ученую книгу. Он пашет, жнет, боронует и сеет так, как учат самые крупные авторитеты в сельском хозяйстве, и труды этих авторитетов обходятся ему дороже, чем все лопаты, сеялки, веялки, вместе взятые. Как только он соберет полную библиотеку трудов по сельскому хозяйству, ферма станет выгодным капиталовложением.

Но научное ведение хозяйства имеет и свои недостатки. К примеру, однажды, когда по всем приметам пришла пора косить сено, руководство по сенокосу куда-то запропастилось, а когда оно наконец нашлось, косить было поздно — трава пожухла.

Мистер Бичер выращивает самые лучшие сорта пшеницы в стране, и только разница между себестоимостью производства пшеницы и ее рыночной ценой мешает коммерческому успеху предприятия. Особую слабость мистер Бичер питает к свиньям. Он считает, что свиньи — лучшее, что выращивается на его ферме. Мистер Бичер покупает поросенка за полтора доллара, скармливает ему пшеницы на сорок долларов, а потом продает его за девять долларов. В общем, свиноводство — единственное, что приносит ему деньги. Мистер Бичер теряет на зерне, но зарабатывает по семь с половиной долларов на каждом поросенке. Это его вполне устраивает, ибо он никогда не тешил себя надеждой разбогатеть на пшенице. К тому же мистера Бичера несказанно волнует сам процесс выращивания поросят, независимо от того окупается это или нет.

Он преуспел бы и на продаже клубники, если бы дрозды клевали репу, а не клубнику, но репа им почему-то не нравится, отсюда все трудности.

Но самая большая головоломка — семена растений, схожие как две капли воды. Два года назад мистер Бичер со свойственной ему прозорливостью предвидел большой спрос на арбузы и отвел под эту культуру семь акров земли. Но когда появились плоды, оказалось, что он посеял тыкву, и хозяин понес колоссальный ущерб. Случалось он засевал поле сладким картофелем, а вырастала тощая, никудышная морковь.

Купив ферму, мистер Бичер обнаружил по яйцу в гнезде у каждой наседки. «Вот в чем причина разорения фермеров,— сразу догадался новый владелец.— Они рассеивают свои силы, а залог успеха — в их концентрации». Мистер Бичер собрал все яйца и подложил их под опытную наседку. Наседка, как и полагалось по контракту, сидела на яйцах день и ночь, неделю за неделей под личным наблюдением мистера Бичера, но так ничего не высидела. В чем дело? Оказалось, это были не яйца, а фарфоровые подкладени, которыми нынешние фермеры заманивают наседок.

Ферма мистера Бичера не процветает. Конечно, ему было бы легче вести хозяйство на паях, только где найти компаньона, который согласится взять на себя половину затрат? Такое не всем по карману. Но упорство вознаграждается сторицею. Поначалу мистер Бичер был очень плохим фермером, но длительная и упорная борьба с трудностями возымела наконец свое действие, и теперь мистер Бичер неуклонно движется от богатства и изобилия к наготе и босоте.

ТВОРЧЕСКИЕ ПОРЫВЫ ДВУХЛЕТНИХ ОСТРЯКОВ

Сдается мне, сейчас все младенцы приобрели достойную сожаления, нахальную манеру изощряться в остроумии по любому поводу, особенно те из них, кто и говорить еще толком не умеет. Судя по обычным образчикам детского юмора, публикуемого в печати, подрастающее поколение страдает слабоумием. Да и родители недалеко ушли от деток, ведь за небольшим исключением именно они предают гласности младенческий лепет, которым потрясают нас газеты и журналы.

Может показаться, что я говорю о младенцах с пристрастием, больше того — имею против них зуб; что ж, признаюсь, имею, мне досадно слышать, как много нынче развелось талантливых крошек, помню, мне в их возрасте редко удавалось сострить. Пытался пару раз, но успеха не имел. Моим родителям и в голову не приходило, что я могу сказать что-то замечательное, а потому они либо осаживали меня, либо задавали хорошую взбучку. И сейчас кровь стынет в жилах и мурашки по коже бегают при одной мысли о том, что со мной сталось бы, вздумай я отпустить одну из шуточек этих малолетних остряков при отце. Даже спустив с меня шкуру заживо, он бы не считал, что исполнил родительский долг: такое наказание показалось бы ему преступной мягкостью.

Отец был суровый, неулыбчивый человек и ненавидел всяких скороспелок. Если б у меня язык повернулся сказать при нем что-нибудь подобное, он бы меня в порошок стер. Обязательно стер бы, дай я ему эту возможность. Но у меня хватило бы здра-

вого смысла сначала проглотить стрихнин, а уж потом острить.

Мою безупречную репутацию запятнал всего лишь один каламбур. Отец услышал его и гонялся за сыном по городам и весям, чтобы вышибить из него душу. Будь я тогда взрослый, он был бы прав, но откуда мог знать ребенок, что он совершил тяжкий проступок? Правда, одну из шуточек я позволил себе еще раньше, но в ней не было игры слов. И все же именно эта шутка чуть было не привела нас с отцом к ссоре.

В тот день у нас в доме собрались отец, мать, дядя Ифрейм, его жена и еще парочка родственников; они решали, каким именем меня наречь. Я лежал в колыбели и перебирал каучуковые кольца разной формы, пробовал их на вкус; надоело чесать зубы о чужие пальцы, хотелось найти предмет, который ускорил бы волынку с прорезанием зубов. Наверное, и вам в детстве было неприятно чесать зубы о нянькин палец? А о большой палец собственной ноги? Бывало, всю спину сломаешь, пока дотянешься! Вероятно, и вы, потеряв терпение, на чем свет стоит ругали полупрорезавшиеся зубы. У меня до сих пор такое чувство, будто все это было вчера. Оно и было — у нынешних детей. Но я отклонился от темы.

Итак, я лежал в колыбели, перебирая каучуковые кольца. Помню, я еще взглянул на часы и подумал: через час двадцать пять минут мне стукнет ровно две недели, а как мало я сделал в благодарность за щедроты, которыми меня осыпали.

— Эйбрахам — хорошее имя,— начал разговор отец.

— Эйбрахам — хорошее имя,— поддержала его мать,— вот и назовем его Эйбрахам.

— Эйбрахам вполне устроит подписчиков,— вставил я.

Отец нахмурился, мать расцвела улыбкой, а тетушка умильно просюсюкала:

— Какой очаровательный крошка!

— Айзек — хорошее имя, и Джейкоб — тоже хорошее имя,— снова сказал отец.

— Лучше не найдешь,— согласилась мать.— Давай назовем его Эйбрахам Айзек Джейкоб.

— Так уж и быть,— снисходительно кивнул я.— Айзек и Джейкоб прекрасно подходят к «искренне ваш». Будьте любезны, передайте мне погремушку, не могу ж я целый день грызть каучуковые кольца.

Ни одной живой душе не пришло в голову записать мои высказывания для печати. Пришлось мне самому сделать это, иначе они были бы безвозвратно потеряны для потомства. И мало того, что я не нашел поддержки в своем интеллектуальном развитии, как другие дети, так отец еще сердито нахмурился, мать глянула на меня печально и озабоченно, а тетушка всем видом показала, что младенец, пожалуй, хватил через край. Я со злостью впился в каучуковое кольцо, незаметно разбил погремушку о голову котенка, но сдержался.

— Сэмюэль — отличное имя,— изрек отец

Я понял, что надвигается беда. Ничто не могло ее отвести. И вот тогда я выкинул из колыбели дядины серебряные часы, платяную щетку, игрушечную собаку, оловянного солдатика, терку для мускатных орехов и прочие вещи, которые обычно рассматривал, над которыми размышлял и агукал, которые разбивал вдребезги, когда хотел хорошенько позабавиться. Потом я надел свою крошечную распашонку, крошечный чепчик, взял в одну руку пинетки, а в другую — успокоительный лакричный корешок и выбрался на пол. Чему быть, того не миновать, решил я и заявил во всеуслышание:

— Отец, я не могу носить имя Сэмюэль!

— Да ты что, сынок?

— Отец, я не шучу. Я не могу носить имя Сэмюэль.

— Но почему?

— Отец, у меня непреодолимая антипатия к этому имени.

— Дружище, но это же неразумно! Многие великие и достойные люди носили имя Сэмюэль.

— Сэр, я еще не слышал ни одного примера.

— Как так? А библейский пророк Самуил? Разве он не был великим и достойным?

— Я бы не сказал.

— Сын мой, не к нему ли воззвал господь?

— К нему, сэр. Но господу пришлось воззвать еще пару раз, прежде чем он соизволил явиться.

С этими словами я поспешил к выходу, а суровый старик — за мной. Он догнал меня на следующий день, и когда наша беседа закончилась, я получил имя Сэмюэль, хорошую взбучку и массу полезной информации. Отец сменил гнев на милость, и таким образом был ликвидирован разрыв, грозивший стать постоянным, не прояви я должного благоразумия. Можете судить по этому эпизоду, что сделал бы со мной отец, если б я отпустил одну из тех плоских, чахоточных шуток, которые печатают под рубрикой «Юмор двухлетних». По-моему, в нашей семье произошло бы детоубийство.

ЭТА НЕВООБРАЗИМАЯ РУССКАЯ БАНЯ

Вчера я едва оправился от злополучного острого насморка, а сегодня у меня такое ощущение, будто после жестоких морозов наступила оттепель — звон и барабанная дробь в ушах, жуткое чувство удушья в груди и притом подавленное настроение и полное безразличие к жизни. Стоят холода, и от мерзкого запаха горящего угля можно одуреть. Мало того — в голову постоянно лезут мысли о похоронах и самоубийстве.

В таком состоянии духа я был готов на любой отчаянный поступок и, чуть ли не восхищаясь собственным безрассудством, решил пойти в баню. Минут через пять я уже боролся с пронизывающим ветром, оставляя глубокие следы на мягком свежевыпавшем снегу, а через пятнадцать оказался возле громадины, именуемой «Русская баня». У меня не было столь дерзновенных помыслов, но после недолгого колебания я все же вошел в русскую баню.

Поднявшись по лестнице шикарного заведения, я миновал устланный ковром холл и попал в просторную, изысканно убран-

ную гостиную с дорогой мебелью и картинами. Эта роскошь, разумеется, лишь действовала мне на нервы. Чрезвычайно обходительный управляющий занес мое имя в книгу регистрации, получил с меня один доллар с четвертью, принял на хранение часы и портмоне, выдал мне билет и препоручил заботам другого служащего, а тот проводил меня в покои, где надлежало раздеться.

Здоровый молодой красавец, прямой потомок Адама (я говорю — Адама, потому что на нем был лишь тряпичный фиговый листок), отвел меня в просторное помещение, где было жарко, как в аду; он дал мне таз с холодной водой — обмыть лицо, чашку ледяной воды для питья и скрылся. Пол здесь был решетчатый, посреди зала размешалась глубокая ванна, а по краям — два длинных ряда высоких и широких мраморных ступеней — нечто вроде лестницы, кончавшейся на полпути к потолку.

Помещение постепенно наполнилось паром, и я стал потеть. Из каждой поры моего тела каплями вытекала вода, и каждая капля была величиной с шар — игрушечный, конечно. Я взобрался на одну ступень, потом на другую и, наконец, на третью, и чем выше я поднимался, тем горячей становился воздух. Пар сгущался все больше и больше, и вскоре свет газовых ламп начал расплываться, как в тумане. Не в силах дышать носом — пар был слишком плотный,— я хватал воздух ртом, и хорошо, что рот у меня как пароходный люк, иначе я бы непременно задохнулся.

Конечно, я немного трусил, памятуя о взрывах на пароходах, ведь давление пара во мне приближалось к ста шестидесяти фунтам на квадратный дюйм; закрой я хоть на мгновение свой дроссельный клапан, моя жаровая труба лопнула бы. Утешало одно — стоило мне при таком давлении потерять голову, и вся баня разлетелась бы к чертям собачьим.

В этот критический момент появился Адам, и я очень ему обрадовался, хоть не мог поклясться, что именно он маячит в густой пелене пара. Адам проводил меня под душ, вернее — под холодный ливень, но это было прия но. Затем, уложив меня на мраморную ступень и намылив с ног до головы, он стал скрести мое тело чем-то чуть жестче платяной щетки и чуть мягче конской скребницы. Под конец он снова окатил меня водой, но только я выпрямился, этот бездомный бродяга хлестнул меня по спине струей кипятка. Сделав мгновенный поворот кругом, я попал под струю холодной воды, а когда взвился от неожиданности, то хватил горячего пару сверху, струю горячей воды снизу и ледяной, коловшей тело, словно тысяча иголок, посередке. Ничто другое не способно так быстро расшевелить человека. Вот уж поистине утонченная пытка!

Тем временем бесчувственный русский, загнав меня в угол, обрушил потоки кипятка и ледяной воды на каждую клеточку моего тела. Сказать, что такая процедура развивает в человеке резвость, было бы чересчур приглаженно и бесцветно. А русский уж подгонял меня к ванне. Тогда я прямо заявил, что если на очереди — печь, ледник, землетрясение и поражение молнией, то я, пожалуй, сначала разделаюсь с этими невзгодами, чтобы не висели над душой, разумеется, при условии, что владельцы русской бани не возражают. Но иностранец отрицательно покачал головой, вид у него был весьма озадаченный — тонкий сарказм всегда озадачивает иностранцев,— и я безропотно полез в ванну.

После купания я снова вскарабкался на мраморную ступень — потеть, париться и жариться еще пятнадцать минут, а потом Адам снова подверг меня испытанной изощренной системе пыток, завершив дело душем-ниагарой. Этот душ смыл все мои грехи, если только они не запеклись внутри, потому что мгновение спустя я чувствовал себя так, будто заново родился.

Адам провел меня в более прохладное помещение, растер грубым полотенцем, а потом, уложив на кушетку, тер, мял, давил тело костяшками пальцев, как тесто, вытягивал суставы и пытался выдернуть с корнем конечности. Но вот он нежно провел по мне мягкой щеткой, усадил и долго чесал мне голову ногтями — минут десять, не меньше. Но тут уж я взял реванш — он ничего не поймал.

Одевшись, я вернулся в гостиную, где получил свои ценности, и поскольку вежливый управляющий настаивал на том, чтоб я с ним выпил (во всяком случае, сделал такое предложение), я выпил глоточек водки, чтоб его порадовать, и пошел своей дорогой. Мне очень понравился этот молодой человек, жители Нью-Йорка редко проявляют любезность к незнакомым людям.

Я бодро шагал по улице; никогда еще порывистый ветер не казался мне столь бодрящим и упоительно благоуханным, и если в этом старом мире оставалось еще что-нибудь мрачное и унылое, то мои пять чувств его не воспринимали. После русской бани ничего не страшно.

◆

Наши гости

Гор Видал

(США)

— После того как Лев Толстой, Достоевский и Тургенев достигли берегов США в середине прошлого века, американская литература кардинально изменилась, так и не «оправившись» от могучего влияния этих литературных гигантов. Все настоящие писатели Америки последующих поколений, начиная с Драйзера и кончая Фолкнером, творили под непосредственным влиянием русских классиков.

Так началась беседа в Правлении Союза писателей СССР с недавно впервые побывавшим в Советском Союзе видным американским писателем Гором Видалом, известным советским читателям по романам «Вашингтон, округ Колумбия» и «Бэрр» [1].

Когда мы впервые познакомились по телефону несколько лет тому назад, во время работы над переводом «Бэрра», первое, что спросил Видал, было: «Скажите, пожалуйста, правильно ли, что мое имя по-русски означает «человек, который видел горе»? Это мне сказал писатель Владимир Набоков».

Признаюсь, я на мгновение был сбит с толку. И вдруг я понял: если транслитерировать имя и фамилию Гора Видала, то получатся два русских слова: «горе видал». Я подтвердил правильность этого каламбура. А долгая беседа с Гором Видалом в Союзе писателей СССР и проведенные с ним последующие несколько дней убедили меня в том, что набоковский каламбур был не просто удачной находкой знатока изящной словесности.

Гор Видал в самом деле видел горе, ибо еще юношей он познал горечь разочарования буквально во всех институтах американского общества. А для честного, легкоранимого человека, коим, без сомнения, является Видал, понимание недостатков господствующей в стране социально-политической системы есть не что иное, как горе. Систему эту Гор Видал узнал рано, и разочарование начало приходить рано. Когда Гору было всего десять лет, он сопровождал своего деда Томаса Прайора Гора (отсюда имя писателя), первого сенатора от недавно образованного штата Оклахома, на заседания сената: сенатор Гор был абсолютно слеп, и внук читал деду распространяемые в сенате документы и вообще выполнял роль поводыря. Это дало мальчику возможность досконально изучить коридоры власти своей страны, предопределило тягу к политике. В 1960 году он безуспешно баллотировался в конгресс США.

В 1982 году Гор Видал вновь выставил свою кандидатуру в сенат США от штата Калифорния. Он проиграл. («У него не хватило денег, чтобы продолжить борьбу,— сказал известный американский промышленник Арманд Хаммер.— У нас политика без этого не делается»,— добавил он.)

Сам писатель следующим образом определил причину своего интереса к политике:

— Я занимаюсь этим не потому, что мне это нравится или приносит выгоду: я пытаюсь изменить систему. Ведь ни республиканская, ни демократическая партия не желают менять то, что было облечено в столь красивые слова отцами-основателями США. Да, собственно говоря, у нас ведь одна партия, но только с двумя названиями. На самом же деле страной управляет военно-промышленный комплекс. Лет десять назад был такой фильм «Русские идут» — комедия, в которой в сатирической форме рассказывалось о том, что в Америку нагрянули русские. Сегодня на полном серьезе наш народ пытаются запугать русской угрозой, утверждая, что нас вот-вот оккупируют русские. На самом же деле наша

[1] См. «ИЛ», 1968, № 11—12; 1977, № 8—10.

страна давно уже «оккупирована» военно-промышленным комплексом. Со мной спорят, меня пытается дискредитировать наша пресса, а что ей остается делать? Мне задают вопрос: «Почему вы так много выступаете по американскому телевидению и никогда не говорите о литературе?» Но у меня нет времени говорить о литературе. Я просто пишу свои книги. А говорю я только о политике, потому что стремлюсь изменить саму систему. Правда, это мне не удается, но зато я влияю на умы людей. Мне пишут: «Как вы пришли к тому или иному выводу?» Я всю жизнь об этом думал.

Представляется небезынтересным сделать отступление и подробнее остановиться на отношении к Гору Видалу «свободной» прессы США, которой известный американский журналист Дэвид Халберстем посвятил книгу «Власть имущие», подчеркнув ее роль в процессе манипуляции национальным сознанием. Так, недавние политические заявления Гора Видала и его стремление принять непосредственное участие в политической жизни страны вызвали, например, следующую реакцию американского журнала «Сатердей ревью». Характерен сам тон и аргументация. Один из редакторов журнала Джошуа Гилдер опубликовал на его страницах статью под названием «Последняя эскапада Гора Видала», в подзаголовке к которой он спрашивает:

«Писатель, знаменитость и провокатор, сегодня он выставляет свою кандидатуру в сенат от штата Калифорния против Джерри Брауна, но у него мало шансов выиграть. Так что же движет Видалом?»

Стремясь обосновать свое недоверие к политической позиции Гора Видала, Дж. Гилдер пишет:

«Кто это там на экране пикируется с Рональдом Рейганом? Нет, это не комик-профессионал, как может показаться... Видал выступает за сокращение бюджета Пентагона наполовину — подчеркнуто аполитичная позиция в стране с самой развитой оборонной промышленностью. Он предлагает заменить существующую политическую систему на парламентскую... обложить налогами церковь... Его кампания выглядит столь же несерьезной, как в свое время стремление Нормана Мейлера стать мэром Нью-Йорка».

Параллель с Норманом Мейлером примечательна: социальная функция искусства представляется буржуазным культурологам прямо противоположной задачам политики — искусство, на их взгляд, должно развлекать, отвлекать от актуальных проблем действительности. И потому писатель, преступающий рамки отведенной ему социальной роли, не может восприниматься серьезно. В этом отношении характерна вся аргументация Дж. Гилдера, который пытается иронизировать и по поводу того, что основную финансовую поддержку Видал получает от Голливуда и некоторых бизнесменов Калифорнии, скомпрометированных в глазах Гилдера их помощью освободительному движению Сальвадора. Гилдер предлагает читателю не принимать во внимание подобные факты: «в Калифорнии политика часто смешана с шоу-бизнесом». Бросив, таким образом, общую тень на Калифорнию, Гилдер переходит к компрометации самого Видала:

«Видала всегда влекла политическая интрига. Все его романы — экстраполяция в область политики... Отсюда и проистекает его желание выглядеть отцом-основателем, создателем новой конституции США, этаким непонятым аутсайдером, что дает ему возможность отождествлять себя с Бэрром...»

И, наконец, Гилдер предъявляет Видалу свои главные претензии: он напоминает, что еще в 1960 году Видал выступал за принятие «Красного Китая» в ООН и за увеличение ассигнований на образование. Тогда же он выдвигал свою кандидатуру в конгресс от одного из округов штата Нью-Йорк и хоть не выиграл, но получил на 20 тысяч голосов больше, чем Джон Ф. Кеннеди. И главное:

«Он умеет нравиться толпе; вот что заявил он недавно в Стэнфордском университете: «Вашингтонская администрация куплена определенными финансовыми кругами, «правящим классом» (аплодисменты)... Война на протяжении полувека является национальным бизнесом США. Почему? Потому что посредством войны или ее угрозы те, кто контролирует экономику страны, получают максимальные прибыли (продолжительные аплодисменты)».

Сегодня,— заканчивает свои рассуждения Дж. Гилдер,— Видал собирается дискредитировать Джерри Брауна — если это и не будет большой политикой, то уж, во всяком случае, это будет настоящий театр».

Мы столь подробно остановились на выступлении Дж. Гилдера потому, что оно является ярким примером тех приемов, которые используют средства массовой информации для придания «фактам» нужной им окраски, выражением существующих сегодня в США тенденций театрализации действительности, превращения ее в «национальный хэппенинг», абсурдный спектакль, в котором каждый из участников по воле «продающих» его публике информационных служб может превратиться в шута.

Уроки кризиса 60-х годов заставили тех, кто заинтересован в сохранении в стране существующего порядка, с большим вниманием относиться к людям, которые «умеют нравиться толпе». Гилдер поясняет, кого он объединяет этим презрительным и обезличивающим понятием: Видал выступал перед студенческой аудиторией, университетской интеллигенцией, с которой и начиналось движение 60-х годов. Именно на нее, на образованные слои общества рассчитана новая модификация современной «массовой культуры» США, так называемая «артизированная» культура, призванная дискредитировать любой протест именно в глазах этой прослойки, служить целям снятия социальной напряженности. Тем более что существующий в стране по-

рядок хотела бы скорректировать не только интеллигенция, но и, как пишет сам Дж. Гилдер, некоторые представители деловых кругов США.

Трудно полемизировать с популярным писателем, искушенным в вопросах американской политики, по существу его «платформы», гораздо легче постараться превратить его в еще одну сомнительную фигуру на подмостках средств массовой информации, не пользующихся доверием «толпы».

Автор статьи настойчиво повторяет свой риторический вопрос: «Что же движет Видалом?» Он стремится убедить читателя в том, что Видал-писатель и Видал-политик — два разных человека, причем существо занятий первого ставит под сомнение серьезность политических взглядов второго. В результате он надеется, что театр заменит политику — телевидение сведет политическое содержание выступлений Видала к еще одному спектаклю на актуальные темы национальной политики.

Но Видал именно потому и вызывает нападки, что стремится «повлиять на умы».

— В США все определяют деньги,— говорит он.— Страной управляют банки и корпорации. Если раньше у нас было квазидемократическое правительство, то теперь и этого нет. Президент Рейган завяз в пятидесятых годах и не может придумать со своим правительством ничего более оригинального, чем пугать свой народ русским нашествием. Они совершенно не знают внешнего мира. Их невежество ошеломляюще.

Вот почему в выступлениях по телевидению я так много говорю о политике. Я хочу хоть немного открыть глаза своим согражданам. Для меня это не игра, я всегда остаюсь самим собой.

Гор Видал действительно остается самим собой, на первый взгляд немного высокомерным, но очень острым и точным в своих оценках людей и событий. Увлекательным собеседником, наконец, прекрасным писателем и стилистом. Его книги переведены на десятки языков.

— К сожалению,— говорит он,— сегодня в нашем мире все меньше и меньше читают. К серьезной литературе относятся как к прелюбодеянию: ее отвергают. Можете считать, что вам повезло, если ваши книги печатают тиражом в 30 тысяч экземпляров. Сегодня в США кинематографический ширпотреб является, к сожалению, общепринятым языком, на котором говорят с массами. Вам выпало большое счастье: в вашей стране слово, литература главенствуют. Очень жаль, что английский язык, а я считаю английский и русский величайшими языками мира, исчезает. Наши издательства с трудом сводят концы с концами. Если вы хотите, чтобы вас читали, надо издаваться в форме учебных пособий для университетов. Тогда хотя бы вас будут читать как учебное пособие. Настоящая литература в Америке — сейчас редкое явление. Зато массовой коммерческой литературы сколько угодно. Выпуск такой литературной продукции есть не что иное, как преступление по отношению к собственному народу. Как это ни парадоксально, именно вы, русские, виноваты в том, что у нас сегодня нет настоящей литературы. Когда вы запустили свой первый искусственный спутник земли, Эйзенхауэр с перепугу отдал все фонды ученым, чтобы они вас догоняли. В результате гуманитарии остались без необходимых средств, факультеты английской словесности обнищали, и в конечном итоге мы остались без настоящей литературы.

Вряд ли нужно искать границу, которая отделяет Видала-политика от Видала-литератора. И вот почему: Гор Видал родился в семье профессиональных политиков, вырос в обстановке политических интриг (он дальний родственник семьи Кеннеди), и его литературные произведения, особенно исторические романы, есть не что иное, как облеченное в форму художественной литературы отражение и осмысление, по большей части в сатирической форме, политической жизни его страны. Вот почему так тесно переплетается его политическая деятельность, одной из форм которой являются его знаменитые телевизионные выступления, отличающиеся остротой оценок и стилистическим мастерством, и его творчество.

Гор Видал — автор шестнадцати романов, пяти пьес, большого количества эссе и критических статей.

— Я начал одновременно писать и читать,— говорит Видал.— Свой первый роман я написал в возрасте четырнадцати лет. Но он не увидел света. Я работаю каждый день, с утра до обеда. Пишу от руки, выходит страниц десять, двенадцать.

Особого внимания заслуживает «Американская трилогия» Гора Видала, включающая два вышеупомянутых романа, переведенных на русский язык, и последний роман трилогии — «1876 год», который готовится в русском переводе. В этом историческом цикле, спроецированном в сегодняшний день, особенно ярко проявляется политико-литературный талант Видала, благодаря которому события и люди рельефно предстают перед глазами читателя.

Каковы же наиболее существенные черты творчества писателя? Мне кажется, это, в самом высоком смысле слова, гражданское осмысление истории. Для Гора Видала история — не нейтральное прошлое, но оружие в борьбе за переустройство настоящего и предупреждение на будущее. И именно в этом — большая художественная и гражданская сила произведений писателя. Для того, чтобы убедиться, что это именно так, стоит лишь познакомиться с его «Американской трилогией». Отправляясь с ним в путешествие по истории Америки, ловишь себя на мысли, что ты находишься в современных Соединенных Штатах и наблюдаешь за современной борьбой политиков, являешься свидетелем империалистических устремлений сегодняшних правителей страны.

М. БРУК

Среди книг

Издано в СССР

ИСТИНА ПРОСТАЯ И ПУГАЮЩАЯ

Андре Бринк. Слухи о дожде. Сухой белый сезон. Романы. Предисловие А. Давидсона. Перевод с африкаанс и английского. Москва. «Прогресс», 1981.

Широко известный в своей стране и за ее пределами писатель Андре Бринк — представитель той части белого населения ЮАР, которая именует себя африканерами — «белыми африканцами»,— в свое время она была известна как буры. Те самые буры, что в начале нашего столетия сражались за свободу и независимость с английскими колонизаторами. Но теперь, по горькой иронии исторической судьбы, буры-африканеры составляют нечто вроде «сливок белого общества» ЮАР, занимая ключевые посты в экономической и политической жизни страны. В эпоху англо-бурской войны понятия «бур» и «угнетатель» воспринимались по сути дела как антонимы. Теперь же буры и апартеид, буры и расизм, буры и угнетатели составляют привычный синонимический ряд.

Герои романов Бринка, как и он сам — африканеры, волей обстоятельств поставлены перед сложной нравственной дилеммой. Сталкиваясь с чудовищной социальной несправедливостью, ощущая, что со страной явно «что-то происходит», одни из них стараются «разумными доводами» успокоить себя и свою совесть, другие же, вняв ее голосу, отказываются принимать сложившийся общественный строй как «естественный» и «неизбежный».

Эти две позиции, два способа существования воплощены в главных героях романа «Слухи о дожде» (перевод с африкаанс А. Славинской) — Мартине Мейнхардте и Бернарде Франкене. Роман построен как исповедь-монолог Мейнхардта, который взялся за перо и бумагу, чтобы наедине с собой разобраться в драматических событиях, свидетелем и невольным участником которых он стал. Разобраться и оправдаться — хотя бы в собственных глазах.

Мейнхардт — бизнесмен, главная задача которого — преуспеть в жизни. Любой ценой, вопреки неблагоприятно складывающимся обстоятельствам, среди которых не последнюю роль играет упрямство «правых» вроде министра Калица. «И пусть весь остальной мир, подобно одержимым бесами свиньям, устремится в пропасть расовой терпимости и беспринципности. Мы не дадим сбить себя с избранного нами пути»,— твердит бур-расист Калиц. Бур-либерал Мейнхардт убежден, что путь этот не лучший из возможных, а его назойливое рекламирование только вредит делу и престижу страны, в том числе и репутации ее деловых кругов. Человек «широких взглядов», Мейнхардт при случае не прочь покритиковать режим за отдельные недостатки. Но и критикуя — вполголоса, в кулуарах, среди «своих»,— он убежден, что в основе своей неразумны не социальные порядки в ЮАР, а усилия тех, кто пытается тем или иным образом их поломать.

Среди таких «неразумных» — бывший друг и единомышленник Мейнхардта юрист Бернард Франкен, вступивший на путь борьбы с расистским режимом и возглавивший подпольную организацию. Среди «неразумных» и школьный учитель Бен Дютуа из романа «Сухой белый сезон» (перевод с английского А. Клышко). Юрист Бернард Франкен отверг законы своей страны — и предстал перед судом. Бен Дютуа и не помышлял о бунте: он хотел только установить правду о судьбе двух близких ему людей, африканцев, отца и сына, попавших в застенки службы безопасности и при неясных обстоятельствах погибших. Но и его вполне легальная деятельность расценивается властями предержащими как самое настоящее — и опасное — преступление. Как потрясение государственных основ.

Если некуда отступать — легко принять правильное решение, ибо оно единственное. Сколько раз бывало, что в минуту испытаний многие, казалось бы не самые отважные, люди проявляли чудеса храбрости и героизма. И, напротив, как сложно и мучительно бывает принять решение, когда возникает возможность взвешивать и выбирать. Парадоксально, но испытание благополучием выдержать труднее, чем испытание лишениями и страданиями. Одно дело действовать, когда тебе угрожают неволей, и совсем другое, когда соблазняют свободой или во всяком случае искусной ее имитацией. Именно такова коллизия в романе «Слухи о дожде», таков соблазн, открывшийся в свое время перед Мартином Мейнхардтом и Бернардом Франкеном, когда вступали они во взрослую жизнь. С ними — белыми, африканерами, потомками первых поселенцев — режим был готов сотрудничать. Тем более что они высоко ценятся как специалисты. Их отменные профессиональные качества, связи, репутация нужны системе. Стоит только сказать «да», как это сделал Мейнхардт, принять правила игры, научиться закрывать

глаза на некоторые вещи — и перед ними открываются поистине волшебные перспективы, путь к благополучию. К власти. И надо обладать немалой стойкостью и внутренней цельностью, чтобы реально оценить последствия такого «да».

Бернард говорит «нет». Он отказывается от спокойной и благополучной жизни, от блестящей юридической карьеры и от личного счастья. Он убежден, что «юриспруденция в этой стране является не механизмом правосудия, а механизмом для насилия» — в стране, где «законы безнравственны».

Поражение Бернарда, провал его организации, суд и пожизненное заключение — это в то же время и его торжество, залог неминуемого успеха дела, которому он посвятил всего себя. Его речь на суде, врывающаяся в монолог-воспоминание Мейнхардта, звучит как обвинение и суровый приговор режиму. «Когда они заставляют замолчать такого, как Бернард, на его место приходят десятки других»,— говорит один из персонажей. Бернард осужден, но не побежден. Благополучие же Мартина Мейнхардта по сути является поражением.

Размышляя о прожитых годах, Мейнхардт отмечает, что «постоянно оказывался свидетелем насилия». Нет, Мейнхардт не из тех, кто убивает или доводит до самоубийства. Но рядом умирают или кончают с собой люди, с которыми его связывали близкие отношения, а он ничего не делает, чтобы предотвратить несчастье. Не он выдал скрывавшегося от полиции Бернарда, но он отказался дать ему ключи от своей квартиры, опасаясь быть замешанным «в историю». Отказался и тем самым способствовал аресту этого «государственного преступника».

Быть «свидетелем насилия»— социальное амплуа Мейнхардта и ему подобных, неглупых, «все понимающих», но превыше всего ценящих личное благополучие, а с ним и право «делать свой бизнес».

Что может отдельная личность, столкнувшаяся с государственной машиной, оснащенной мощным полицейским аппаратом подавления и пресечения? Что может сделать герой романа «Сухой белый сезон» Бен Дютуа, решивший на свой страх и риск доказать невиновность людей, уничтоженных режимом? Кажется, очень немногое: с трудом разысканные им свидетели загадочным образом исчезают, редеют ряды его соратников, за ним идет непрерывная слежка, в том числе и с помощью членов его же семьи. И все-таки деятельность Бена Дютуа повергает в смятение сотрудников охранки. Его уговаривают, его пытаются подкупить, его боятся настолько, что решают убить его, инсценируя несчастный случай: он погибнет под колесами автомашины.

Фашистские режимы во все времена как огня боялись человеческой независимости, духовной свободы, видя в них прямую угрозу своему существованию. Когда в обстановке «принудительного единомыслия» отдельные личности начинают руководствоваться в мыслях и делах своей совестью, это опасно. Когда такие одиночки объединяются — это означает полный внутренний крах фашизма. С отринувшим закон Бернардом Франкеном режим расправился судебным порядком. Действующего в рамках официальной законности Бена Дютуа устраняют из-за угла. Закон преступен, преступность легализирована, освящена авторитетом «государственной необходимости» и в открытую кичится тем, что «все позволено». И все же в романах Бринка нет усталой безнадежности, но ощущается атмосфера подлинного, обжигающего трагизма, а стало быть, и катарсиса — очищения через приобщение к страданиям.

Через оба романа Бринка проходит образ страшной засухи. Но засуха эта не вечна. Медленно, но неуклонно созревающие гроздья гнева народного рано или поздно утолят жажду свободы и справедливости, которой охвачена Южная Африка — это «простая и пугающая истина», как назвал ее один из героев Бринка.

Ниже мы публикуем с сокращениями интервью писателя, напечатанное во французском журнале «Магазин литтерэр».

СЕРГЕЙ БЕЛОВ

ГОЛОС, ПОДНЯТЫЙ ПРОТИВ АПАРТЕИДА

Андре Бринк отвечает на вопросы Шарля-Филиппа Дюлака

Ш.-Ф. Д.— Будучи оппозиционно настроенным университетским преподавателем и писателем, вы предпочитаете бороться против южноафриканского политического режима и, в частности, апартеида, оставаясь внутри страны, а не за ее пределами в изгнании?

А. Б.—Я получаю письма от молодых белых студентов, в которых они признаются, что благодаря моим книгам они открыли для себя, что негры — человеческие существа. Звучит это ужасающе, хотя и свидетельствует об определенных сдвигах. Впрочем, один негр написал мне, что, если бы он прочитал мои книги до того, как покинул родину, он этого бы не сделал. Он убедился, что не все белые поддерживают правительство и систему апартеида, что некоторые из них солидарны с негритянским населением. Подобные отклики и письма, которые приходят в большом количестве, придают мне силы и уверенность в правоте моего дела.

— Когда и при каких обстоятельствах вы осознали, что такое расизм?

— Это произошло в Париже, где с 1959 по 1961 год я изучал сравнительное литературоведение. Я впервые надолго покинул свою страну и, находясь от нее в десятках тысяч километров, совершенно по-другому стал на все смотреть. По времени это совпало с массовым убийством в Шарпевиле, где полиция расстреляла толпу мирных и безоружных негров, которые протестовали против закона, вменявшего им в обязанность постоянное ношение удостоверений. Шестьдесят человек были убиты, и несколько сотен — ранены. После этого вспыхнуло невиданное по масштабам движение протеста. Даже находясь в отдалении, можно было почувствовать, что Южная Африка стала подобна кораблю, который дал течь. Вот так я узнал, что такое расизм. И понял, что должен разоблачать его и бороться с

ним, живя в самой стране... Мое пребывание в Париже в 1968 году оказало на меня еще более сильное воздействие, и я целиком включился в создание новой ангажированной литературы, которая поставила под вопрос само политическое устройство нашего государства. Я совершенно ясно осознал, что все сферы жизни, в том числе и самые интимные ее стороны, подавляются обществом в Южной Африке. И моя задача — разоблачать это общество. Но политика не существует для меня в отрыве от остальных областей жизни, от человеческого опыта в его совокупности. И используя все доступные мне средства, я стараюсь отразить этот опыт в моих книгах. «Сухой белый сезон» даже по своему сюжетному построению — роман с явной политической направленностью...

— Эта книга заканчивается словами: «Мотивы моего поступка. Я так и не разобрался в них. Все, на что остается уповать, на что я действительно имею право, так это написать его историю и дать прочесть людям». Зачем?

— Чтобы никто никогда не мог снова сказать: «Мы об этом ничего не знали».

— В годы юности вы жили среди белых, которые «не знали».

— К сожалению, и сейчас есть немало людей, которые не знают или не хотят знать.

— Несколько лет назад вы заметили, что интеллектуал должен следовать Антигоне, отвергавшей прагматизм и оппортунизм Креонта во имя высшей и неподкупной истины.

— Да, долг писателя тот же, что и у Антигоны: говорить «нет» всему, что оскорбляет человеческое достоинство.

— Некоторые ваши романы завершаются любовью, которая возникает между негром и белой женщиной. Ради чего вы сближаете в финале эти крайности и какой философский смысл вкладываете в их сближение?

— Белая женщина и чернокожий мужчина воплощают противоположные полюсы в Южной Африке, где царит расовое угнетение. Когда эти полюсы соединяет любовь, то рождается надежда, что выход из тупика возможен. К тому же для меня любовь между белыми и черными — это символ человечества, ради которого нужно бороться мужественно и решительно. Камю говорил: «Я бунтую, значит человеческая природа существует». Это и есть ключ к проблеме. Личный опыт неотделим от общественного и всечеловеческого. Даже если вы потерпели поражение, нужно иметь смелость начать все сначала. Сопротивление апартеиду, которое существует сейчас в Южной Африке, должно непрерывно расти и набирать силу... Но изменения в политической обстановке невозможны без глубоких сдвигов в сознании. И я надеюсь, что своим творчеством способствую подобным сдвигам, которые поначалу происходят в сознании отдельных личностей. Ведь роман читается человеком в полном одиночестве, и если после прочтения книги в его восприятии и мировоззрении что-то меняется и если это произойдет и с другими, можно надеяться на перемены. Вот что готовит почву для настоящей революции.

ОДИНОЧЕСТВО

Современная французская новелла. Перевод с французского. Составитель Т. Ворсанова. Предисловие Н. Ржевской. Москва, «Прогресс», 1981.

Антология — книгоиздательский акт, смысл которого в объединении заведомо разнородного, тем более если это антология современных художественных явлений. По каким же признакам объединять? По жанрам? Хронологически? «Современная французская новелла» — антология жанрово-хронологическая. Принцип ясен, а условность все равно неизбежна: выбери мы по одному-два небольших произведения Василия Шукшина, Юрия Казакова, Василия Белова, Андрея Битова, Юрия Нагибина, Надежды Кожевниковой, назови это антологией современной русской новеллы, переведи на французский, что получилось бы? Пестро получилось бы. И все же получилась бы книга, имеющая право на существование: общие тенденции стиля жизни и стиля мышления, общее в писательских настроениях пробилось бы и сквозь пестроту. Общее пробивается и здесь, в разноголосом сборнике французских новелл 70-х годов.

В антологии современной французской новеллы есть душераздирающие катастрофы в парижском метро, хитроумно замаскированные убийства, чудодейственные обогащения и внезапные разорения, даже превращения человека в ясновзорого ангела. Есть и много обыкновенного, будничного, буржуазного. Есть жены, ревнующие своих благоверных к соперницам; есть мужья, умело ускользающие из-под бдительного надзора жен. Есть «он» и «она», познакомившиеся по переписке полюбившие друг в друге мысли, слог и эпистолярный стиль: недаром же именно во Франции родилось крылатое изречение о том, что стиль — это сам человек. Антология — книга, в которой в конце концов реализуется требование: пусть всего будет много! И в этом отношении антология современной французской новеллы составлена с полным пониманием дела: много коллизий — от фантастических, сказочных, до житейски анекдотических; много и достоверных, почти документальных свидетельств о реалиях нынешней Франции. Много речевых и литературных жанров, которые интенсивно вбирает в себя новелла — жанр агрессивный; жанр, который готов поглотить и кочующую из города в город апокрифическую историю, и газетную статью по вопросам международной политики, и интимное письмо. Даже и посягнуть на роман новелла умеет (роман, перипетии которого повторяются в жизни, соразмеряются с ней, и такое в новелле бывает — например, в новелле Пьера Буля «Ангелоподобный господин Дайх»).

Биографические и простейшие историко-литературные сведения о девяти представленных в антологии литераторах — в предпосланном книге предисловии Н. Ржевской. Не стану их повторять. Подчеркну лишь, что о старшем, Андре Дотеле, сказано: «род. в 1900 г.» А о младшей, Кристиане Барош: «род. в 1939 г.» Стало быть, тут ед-

ва ли не полвека французской литературы: от поколения, которое во вполне сознательном возрасте встретило первую мировую войну, до поколения, которое не может помнить второй. И выходит, что девять литературных судеб, представленных в антологии, тоже вмещают в себя какое-то множество; значит, принцип «пусть всего будет много» выдерживается в ней до конца. Но следующее требование, предъявляемое к антологии: многое да будет единым. И оно также добросовестно реализовано.

Есть общность сюжетных, ситуационных мотивов, переходящих из новеллы в новеллу (чураться анализа художественного произведения по мотивам не следует, важно только, чтобы каждый из обнаруженных в нем мотивов не повисал в бесплотном асоциальном пространстве, а отражал и своеобразие жанра, и идеи). Скажем, дорога. «Прогулка в одиночестве» Поля Саватье, «Десерт для Констанции» Даниэля Буланже, «Автостанция «Ландыши» Мишеля Турнье[1]— новеллы, так сказать, о дороге (мотив отличается от любой другой нейтральной детали принципиальной неизымаемостью из художественного высказывания). Самая жизнерадостная дорога — у Мишеля Турнье: современная автострада, два шофера огромного автофургона и девушка, которая повстречалась им, а вернее, одному из них, молодому, на этой индустриальной дороге. Есть тут ощущение современности, есть и радость, и грусть, не боящаяся показаться сентиментальной: французы, надо сказать, не боятся сентиментальности, да и спасительный противовес ей — ирония — у них всегда наготове. У Турнье дорога лирическая. У Кристианы Барош в новелле «Всегда ли равен франк двадцати су?» такая же дорога явлена с детективным оттенком. «Антуан катил по автостраде спокойно, у всех на виду. Болтал со сборщиками дорожной пошлины, пил кофе с шоферней, гонял биллиардные шары». Еще один шофер катит по автостраде. Но это — простак, который частенько фигурирует в детективах: едет он и везет в кузове мешки с награбленными деньгами; деньги же, к полной досаде грабителей, сплошь оказались мелочью, монетками ценою поменьше наших копеек и «двушек». Дорога здесь — типично детективная дорога запланированных или совершенно невинных хитростей, маскировки, погонь. Дорога в «Десерте...» Даниэля Буланже — дорога особенная: она невидима, но в новелле она присутствует неотступно. Ведет дорога из Парижа в Африку, и уезжает по ней домой больной африканец-чернорабочий. Это — дорога-греза и дорога-спасительница И, наконец, дорога-склеп: «Прогулка в одиночестве» Саватье.

«Он шел долго, чутьем угадывая дорогу, ибо разглядеть ее уже не мог... Однажды ему показалось, что он нашел дорогу... Он... отказался от мысли найти дорогу...» «Он» безымянен. Вместо имени и фамилии, как бы на руинах их, торчит только буква: мсье В. Он потерял дорогу. Дорогу теряют и в «Весеннем ледоходе» Андре Дотеля: дорога исчезла под водами весенних разливов, и остался от нее один «большой крест». Под ним, под его перекладиной проплывает лодка двоих, ищущих путь в неожиданном море: «Тут, наверное, произошел какой-нибудь несчастный случай, это должно быть, нижняя дорога в Рилли». Но там дорогу все же находят. В «Прогулке...» мсье В. ее безнадежно теряет. И не хочет найти. В.—маньяк. В антологии вполне хватает безумцев, и мсье В. в причудливой их компании должно принадлежать почетное место: В. бежит. Ему шестьдесят пять лет, он одинок, и бежит он от угрозы покушений на его одиночество. Жизнь для него стала пыткой. Пыткой вниманием. Чуткость к господину В. окружающих граничит с назойливостью. Назойливость эта вполне безобидна, но новелла построена на несоответствии между заурядностью житейских явлений и истовой реакцией героя на заурядное: бежать, спасаться! Спасаться от участливых слов. От соглядатаев, реальных и мнимых. От всех! Бежать через всю страну, укрыться в заброшенной гостинице: «Кажется, он остался в гостинице единственным постояльцем». И все-таки: бежать дальше. В горы. Однако вездесущие люди шныряют и здесь: прохожий-горец походя улыбнулся В. И тогда остается одно: потерять дорогу, зарыться в сугроб, уснуть и не просыпаться уже никогда. Прямо-таки древнерусская «Повесть о Горе-злосчастии», только добрый молодец достиг пенсионного возраста, а в роли Горя, повсеместно преследующего его,—обыкновенные люди, в меру участливые, а в меру, может статься, докучливые.

Дорога — мотив, порождающий другой мотив антологии — одиночество. Победа над одиночеством, но чаще — триумф одиночества. Вовсе не хочу сказать, что французы не умеют общаться. Еще как умеют! И все же общее впечатление от антологии: книга печали, скорби, потому что тяготение одного человека к другому постепенно ослабевает; человек размагничивается, он перестает притягивать к себе окружающих.

В одиночку можно спасаться. В одиночку можно и спасать человечество, предсказывая парижанам неминуемую катастрофу в метро. Вот рассказ того же Поля Саватье — «Уцелевший»: дорога может быть и подземной, и по этой подземной дороге за годом год мечется еще один «он» в ожидании вычисленной им катастрофы. Этот «он» — странная модификация человека из подполья Ф. М. Достоевского: у Достоевского — циничное равнодушие к судьбам рода людского; у Саватье, напротив,— отчаянные попытки спасти парижан. Но крайности причудливо сходятся: подполье, и в индустриализованном подполье, в метро,— маньяк-мономан. Он вопиет. Он предупреждает, ему не внемлют. «Уцелевший»— новелла-притча, и сюжет ее откровенно условен: одиночку-провидца принимают за... виновника катастрофы. «Его обезглавили в тот день, когда под Сеной снова заработало метро. Он и сам уже не был до конца уверен в своей невиновности».

Понятно, конечно: писатель, как говорится, сгущает. Но дорога и как бы распятые на ней одиночки — это все-таки мотив, объединяющий антологию. Тут все куда-то едут. Куда-то мчатся, бредут — и все или обретают одиночество, или, кто как может, преодолевают его. «А главное дело их жизни —

[1] Впервые эта новелла была опубликована в «ИЛ», 1981, № 10 под названием «Зона отдыха «Ландыши».

это они сами. А другие? Они для этих людей ничто, или пока еще ничто, или уже ничто» (Кристиана Барош, «Часы»). «Человеческое сообщество — это, в сущности, порядочная мерзость» (ее же «Некогда в наших комнатах...»). «Говорят, что нет лучше соседей, чем те, что сидят по своим домам» (Поль Саватье, «Лучик»). Разумеется, сии сентенции изрекаются не от имени самих писателей, а от имени их героев. Писатели-то с одиночеством полемизируют, и мотив одиночества в антологии производен от нависшего над писателями вопроса: как преодолевать одиночество? Но одиночество — гидра, спрут: рубят его, разят, а оно, тускло глядя на отважных подвижников тарелками глаз, глазищ и даже, сказал бы я, буркал каких-то, подкрадывается сзади, с боков, отовсюду.

Разрыв — уход в одиночество. Но разрыв двоих, ожидаемый, инспирируемый скучающими приятелями, не состоялся: двое угрозу одиночества отодвинули (Франсуаза Саган, «Разрыв по-римски»). Забавно и поучительно не состоялся и разрыв двоюродных братьев в «Весеннем ледоходе» Дотеля. Более того, то и дело в антологии люди обретают друг друга, сходятся, вступают в необъявленные кооперации по борьбе с одиночеством: в «Часах» Кристианы Барош женщина-мстительница, в одиночку воздавшая возмездие немцу-эсэсовцу, находит себе друга в рассказчике, таком же, как она, одиноком герое, в прошлом узнике Бухенвальда. Ищет друг друга молодежь. Дружат дети, хотя одиночество уже уставило свои глаза и на их светлый мир.

Идет борьба с одиночеством. Идти-то она идет, только все-таки... Там, где говорится об одиночестве,— и смелее, и достовернее. Там, где об одолении одиночества,— как-то более традиционно, неизобретательно, даже робко. Одиночка изощрен, хитроумен; его бегство от людей обосновано хотя бы свирепыми афоризмами: зло отточенный афоризм может обосновать любые нелепости поведения человека. Одиночка — идеолог. А те, кто борется с одиночеством, склонны к фатализму. Не знаю, есть ли у французов что-нибудь аналогичное нашему «кривая вывезет». Но упование героев на традиции, на инстинкт, то есть, в общем-то, на спасительную «кривую», то и дело проглядывает во французской новелле 70-х годов.

Впрочем, хорошо, что проглядывает. А как дальше дело пойдет, покажет французская новелла 80-х годов XX века.

В. ТУРБИН

Издано за рубежом

ЧТО ЧИТАЮТ СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ

Искушенного наблюдателя американской литературной сцены не обманут ни скороспелые сенсации, на которые щедры журнальные рецензенты, ни приевшиеся разговоры о кризисе романа, упадке поэзии, беспомощности драматургии. Как всякое живое явление, американская литература знает периоды активного развития и полосы затяжных штилей, когда кажется, что движение прервалось и мотор работает на холостых оборотах. Такие перебои, конечно, не беспричинны. Меняется социальный и духовный климат, меняется и самочувствие культуры.

Порой не так-то просто уловить эту обусловленность, знакомясь с тем или иным произведением. Но стоит присмотреться к изменчивым читательским интересам и прислушаться к критическим комментариям, как она откроется совершенно отчетливо. Тут прихотливые колебания, которым подвержена интеллектуальная и художественная жизнь, находят немедленный, хотя и не всегда четкий отзвук.

В последнее время поражает какая-то ровная, словно заранее предсказуемая унылость оценок сегодняшней литературной ситуации — американские критики как будто соперничают друг с другом, нагнетая мрачные краски. Можно подумать, что в литературе не происходит решительно ничего примечательного. Между тем всего два-три года назад тон обозрений был отнюдь не минорным, а перспективы близкого литературного будущего выглядели обнадеживающими. На исходе 70-х годов литература переживала несомненный подъем. Тем удивительнее воцарившееся сегодня затишье. Разумеется, относительное затишье. Стоит оглянуться на совсем еще близкое время — и сразу же вспомнится несколько произведений, которыми американская литература вправе гордиться. Вот хотя бы осень 1979 года — в литературном отношении необычайно урожайная осень, когда увидели свет новые книги Уильяма Стайрона («Софи делает выбор»[1]), Нормана Мейлера («Песнь палача»), Джеймса Болдуина («Над самой головой»[2]), Курта Воннегута («Тюремная пташка»[3]), каждая из которых заслуживала серьезного разговора. Да и начавшиеся 80-е годы вовсе не выглядят творчески бесплодными. Они уже принесли определенные обретения. Назовем хотя бы роман Джойс Кэрол Оутс «Светлый ангел» (1981) или получивший три литературные премии роман Джона Апдайка «Кролик разбогател» (1981)[4].

Но речь идет о литературной ситуации самого последнего времени. Мы видим, что и 1982 год был отнюдь не пустым. И все-таки можно понять, отчего столь невеселы критические комментарии и оценки. В самом деле, пульс литературной жизни сейчас прослушивается не слишком отчетливо. Во всяком случае, не так отчетливо, как на исходе 70-х.

Перемену объясняют по-разному. И все же ни для кого не секрет, что она каким-то образом связана с установившейся в стране тягостной атмосферой, которую известный

[1] Главы из этого романа были опубликованы в «ИЛ», 1981, № 1.

[2] См. рецензию Г. Злобина в «ИЛ», 1980, № 12.

[3] См. рецензию Н. Анастасьева в «ИЛ», 1982, № 6.

[4] Рецензия на этот роман будет опубликована в ближайших номерах «ИЛ».

писатель Гор Видал характеризует как состояние озабоченности, знакомое теперь всем и каждому. Причин для озабоченности более чем достаточно: фиаско «рейганомики», замороженные социальные программы, ущемленные права, снижающийся уровень жизни... Нерадостный нынешний день и страх перед днем завтрашним травмируют сознание множества американцев, накладывая свой отпечаток и на господствующее умонастроение, в котором все безошибочнее чувствуется подавленность.

Что читают сегодня в Америке? Статистика свидетельствует — в первую очередь разнообразные практические руководства. Стихийно возникла и быстро пополняется серия книг, заглавия которых начинаются со слова «как»: как более или менее безболезненно урезать семейный бюджет; как прожить, оказавшись без работы; как справиться с инфляцией. Как обойтись без автомобиля — ведь бензин стал слишком дорог. Как отвыкнуть от многочасового сидения перед телевизором (и дело не только в интеллектуальном ущербе — страшно вздорожала электроэнергия, и счетчик накручивает суммы, для многих уже непосильные). Как умерить потребительские амбиции подрастающего поколения. Как... Как...

Потребность в подобных книжках настолько велика, что в балансе издательств они стали чуть ли не самой прибыльной статьей, потеснив мемуары голливудских звезд и автобиографии отставных политических деятелей. Даже неизменно раскупавшиеся порнографические опусы, выдаваемые за «научные рекомендации» специалистов-сексологов, уже не пользуются былым спросом. «Людям теперь не до глупостей,— сказал по этому поводу глава фирмы «Саммит букс» Дж. Силбермэн.— Их тревожит экономическое положение. Им нужны книги, помогающие разобраться в трудностях, которые возникают изо дня в день».

«Саммит букс» — издательство с добротной репутацией. Оно взрастило и поддержало немало серьезных писателей. Но это в прошлом. А сегодня основная его продукция — либо сугубо конъюнктурные, либо чисто развлекательные сочинения, всевозможные однодневки: иногда «надо и отвлекаться от забот». Времена такие, что издателю, больше думающему не о прибылях, а о художественном качестве, попросту не выжить. Прежде всего сбыт, все другое не столь важно. Хорошая проза? Руководитель еще одного солидного издательства «Дайел» Дж. Юрьевич считает, что «она становится вымирающим видом, который пора внести в Красную книгу». Шутка, разумеется, да уж больно невеселая.

Оттого и настроения критиков, размышляющих о сегодняшней американской литературе, глубоко меланхоличны. Все это, понятно, не дым без огня. Опасения и тревоги, сменившие недавний энтузиазм, достаточно обоснованны. Беда в том, что сетования на скверные времена уже успели сделаться штампом. Картина неизбежно получается сумрачной. Слишком сумрачной, однобокой и неверной.

В действительности же она довольно пестра и не поддается прямолинейным толкованиям. Чтобы удостовериться в этом, достаточно прочесть несколько романов, которые в последнее время пользовались наибольшей популярностью. Речь идет о так называемых «романах в переплете». Они примерно впятеро дороже книг в мягких обложках, и покупать их могут только обеспеченные люди. Или уж интерес к ним так велик, что не останавливает и непомерная цена.

Спору нет, еженедельно публикуемые списки бестселлеров — отнюдь не самый безошибочный показатель состояния и уровня литературы. Возбуждаемый произведением ажиотаж далеко не обязательно свидетельствует о его художественной значимости. У Хемингуэя при жизни был стойкий, но сравнительно небольшой круг приверженцев, Фолкнера до войны почти не читали, а вот книжки Эдгара Райса Берроуза о Тарзане расходились миллионными тиражами. И сегодня Уоррену или Стайрону не приходится оспаривать массовый успех у Артура Хейли — попытки соперничества на этой ниве обернулись бы схваткой с заведомо предрешенным исходом.

Но, вовсе не являясь отправной точкой для суждений о литературе в целом, список бестселлеров отвечает на вопрос о том, что теперь читают, что привлекает и волнует широкую аудиторию. В этом отношении он всегда интересен и даже поучителен.

Наивно полагать, будто бестселлерами становятся лишь художественно ничтожные книги, которые привлекают одной только внешней занимательностью или пустой сенсационностью. На самом деле рядом с такой беллетристикой в списке всегда фигурируют произведения, которым никак нельзя отказать в эстетических достоинствах, а подчас и в серьезном общественном значении. Ограничиваясь близкими во времени примерами, отметим, что бестселлерами бывали книги Воннегута и Хеллера, Болдуина и того же Стайрона.

Минувший год, по первому впечатлению, не изменил обычных пропорций. По-прежнему всего активнее раскупались детективы с политической подкладкой и душещипательные мелодрамы, которые теперь принято обставлять историческими декорациями. А вслед за этими однодневками в списке бестселлеров шли книги, представляющие истинную литературу, без всяких оговорок и натяжек.

Суть дела, однако, в том, какие это были книги. Ни Джон Гарднер, за два месяца до смерти опубликовавший свой последний роман «Призраки Микельсона», ни знакомая нашим читателям по «Благам земным» Энн Тайлер, чье «Ностальгическое кафе» привлекло лиричностью и тонкой нюансировкой повествования о буднях непримечательной провинциальной среды, не попали в число читаемых прозаиков. Даже новые романы таких, по американским меркам, популярных писателей, как Джон Апдайк и Ирвин Шоу, появлялись в списке бестселлеров лишь эпизодически.

Выдержать конкуренцию с профессиональными поставщиками массовой беллетристики удалось, однако, такому заслуживающему внимания писателю, как Джон Ирвинг. Его «Отель «Нью-Гэмпшир»[1], появившийся еще осенью 1981 года, несколько

[1] John Irving. Hotel "New Hampshire".

месяцев удерживал в престижном реестре почетное место, собрав пышный букет восторженных критических откликов.

Ирвинга надо представить, у нас он пока неизвестен. Слава долго обходила его стороной, и казалось, он повторит судьбу многих одаренных дебютантов конца 60-х годов, сделавшись заурядным поденщиком или просто сменив ремесло. Для большинства литературных экспертов полной неожиданностью явился громкий успех его четвертой по счету книги «Мир глазами Гарпа» (1977). Выяснилось, что едва не просмотрели крупный комедийный талант. В массовых сериях были переизданы ранние произведения Ирвинга, Голливуд выплатил фантастический гонорар за право экранизации. Словцо «Гарп» стало нарицательным, а сентенции этого персонажа перекочевывали с книжной страницы в обыденную жизнь, украсив майки и сумки, специально изготовленные для самых рьяных почитателей. Подобный бум всегда подозрителен. Странно видеть талантливого и вдумчивого писателя в роли эстрадной знаменитости. Ирвинг пробовал уклониться от изъявлений восторга, сыпавшихся на него со всех сторон, вышучивал собственную удачливость, прятался от интервьюеров, но утихомирить страсть толпы к идолопоклонству было уже невозможно. Ничего не оставалось, как заботиться о поддержании репутации, схожей с культом. А уж критике предстояло разобраться, чем вызван культ, действительно ли необыкновенным дарованием Ирвинга, сказавшего в литературе какое-то новое и очень своевременное слово, или скорее его способностью четко распознать, какой именно духовный суррогат ныне больше всего по вкусу среднему американцу.

«Мир глазами Гарпа» оставлял вопрос открытым. Это была по-своему яркая, а местами и очень язвительная книга о чудаке и наивном гуманисте вроде запоздавшего Холдена Колфилда из знаменитой повести Сэлинджера или новоявленного Билли Пилигрима из воннегутовской «Бойни номер пять». Дитя скоротечной госпитальной любви, Гарп рос вместе с послевоенной Америкой и все мечтал сделать жизнь безопасной и для детей, и для взрослых, а сам погиб от пули феминистки, которая, обознавшись, выстрелила в него на каком-то литературном чтении. Эта трагическая случайность — лишь последнее звено в цепочке жестоких нелепостей, из которых состоит биография Гарпа, вечно попадающего из переделки в переделку, запутавшегося, невезучего, уже не доверяющего ни велениям разума, ни голосу чувства. Автор и жалеет своего героя, и смеется над его простодушием — невозможно сказать, где фарс сменяется драмой, а драма опять перерастает в шутовство. И в мире, увиденном глазами Гарпа, все точно так же перепутано, перемешано, нелогично, неразрешимо, нелепо...

Роман блистал яркими комедийными красками, напоминавшими о Диккенсе, о раннем Чехове — любимых писателях Джона Ирвинга. Критики, правда, подметили, что у него пока нет выношенного и цельного представления о действительности, а трагизм и бурлеск оказываются в слишком близком, опасном соседстве, как бы «снимающем» всякую серьезность, точно бы в жизни и на самом деле не бывает настоящих бед и катастроф, для которых неуместны кривые зеркала ярмарочной комнаты смеха. Но все это можно было счесть издержками творческого роста. Так и считали, пока не увидел свет «Отель «Нью-Гэмпшир».

Здесь читателям предстал мир очень знакомый, а вместе с тем еще более странный, чем фантазии Гарпа, десятилетиями заменявшие ему скучную при всей своей гротескности реальную жизнь. Описанное Ирвингом семейство Берри в мире Гарпа чувствовало бы себя свободней и естественней, чем в американской повседневности, к которой оно прилаживается трудно и непрочно. В этом семействе каждый по-своему чудит, затевает с жизнью игру без корыстных целей, изобретая для себя какую-нибудь эксцентричную форму бытия и радуясь неизбежному для вечных странников житейскому неуюту, точно он и есть настоящее счастье. Для Берри нет ничего страшнее, чем безликая благополучная ординарность. У них в крови инстинкт бродяжничества и недоверия к налаженному быту, они готовы хоть всякий день справлять новоселье, только бы оставалось чувство своей внутренней свободы и не притупилось ожидание какого-то немыслимого — пусть крутого и драматичного — поворота судьбы, который может произойти в любую минуту, придав существованию новый интерес.

Все подчеркнуто нескладно, все заметно «сдвинуто» и в этом кочевом житье-бытье, и в самосознании людей, избравших этот нешаблонный способ скоротать свой век. В глазах окружающих и старшие и младшие Берри с их вполне органичной психологией посторонних среди мещанского здравомыслия и монотонной правильности выглядят в лучшем случае белыми воронами, если не просто сумасшедшими. Самим же им и не требуется иного жребия. И есть что-то неодолимо притягательное в арендуемых ими отелях, где — напоминанием о прежних занятиях отца — висит на стене фотография видавшего виды пикапа, а в углу вестибюля дремлет ручной медведь, которому, должно быть, снится деревенская площадь и толпа зевак, наблюдающих за сеансом борьбы. Где всегда непорядок с водопроводом и со светом, где касса пуста в любое время года, где, пачкая вытершиеся ковры и в самые неподходящие минуты оглашая воздух залпами, от которых разбегаются, зажав нос, бродит по коридорам и номерам старый пес, а позднее, уже в Вене, красуется чучело этого пса, выловленное из вод Бискайского залива, не вернувшего тела погибших при авиационной аварии матери и самого юного Берри, мальчика-олигофрена.

Отель — метафора достаточно прозрачная: дом, который открыт для всех, человеческое общежитие, где только и способно храниться тепло семейного очага, гаснущее, если между очагом и миром выстроена непробиваемая стена. Платя дань неписаным, но для американского автора почти обязательным законам, Ирвинг эротизировал эту метафору, и пламя в семейном очаге у него

разгорается тем ярче, чем неуемнее. уже явно не родственная страсть брата и сестры Берри друг к другу. Такие приемы не делают писателю чести, но основная мысль романа ими все же не затемняется и находит читательское сочувствие.

Для Берри отель — идеальная среда обитания. Но жестокости и трагедии преследуют эту семью с удивительным упорством и в небольшом университетском городке штата Мэн, где был оборудован первый отель «Нью-Гэмпшир», и потом в Вене, где обшарпанная гостиница того же названия мыслилась как островок для тоскующих по дому американцев, а стала приютом для проституток, и по возвращении под родные небеса.

В одной из рецензий роман Ирвинга был назван «мрачной буффонадой» — сочетание парадоксальное, но точнее, пожалуй, не скажешь. Повествование ведется в ироничном ключе, а порой начинает напоминать соленые скоморошьи прибаутки. Однако присмотримся к сюжетным кульминациям: тут и приступ бешенства дряхлеющего медведя, стоивший серьезной травмы одному из постояльцев первого «Нью-Гэмпшира», и сцена группового изнасилования старшей дочери Берри, когда она была еще школьницей, и попытка самоубийства, и авиакатастрофа, и еще многое в том же роде. Фарс то и дело набухает содержанием, менее всего привычным в буффонаде. И все же остается фарсом, только комическое и отталкивающее совмещены в нем так тесно, что бесполезны попытки провести разграничительные линии между смешным и страшным.

Вот такой совмещенности и добивался Ирвинг, полагая, что она-то и создает подлинно достоверный и объемный образ сегодняшней американской действительности. Своей цели он достиг. Была ли она оправданной? Никто из американских критиков об этом не задумался, а ведь задуматься тут есть над чем. Уже «Мир глазами Гарпа» подчас отдавал тем «веселым» нигилизмом, который давно сделался в США стойким интеллектуальным поветрием, свидетельствуя о полнейшем неверии ни в человека, ни в общество, а то и просто о лености мысли, активной лишь в старании обличить всяческие абсурды, но ничего не предлагающей взамен. В новом романе Ирвинга эта нота звучит намного явственнее, собственно, подавляя все другие.

А между тем это фальшивая нота. Куда как удобно изобразить шутовским балаганом решительно все на свете, и людские устремления к общежитью, и желание не подчиняться нормам обывательского мышления, и любовь, и даже смерть. Если повсюду балаган и шутовство, стоит ли отчаиваться, испытывать озабоченность, мучиться тревогами нашего неспокойного времени? Не проще ли весело посмеяться над жизнью, какой она нам дана, а заодно и над самими собой и, облачившись в майку с изображением Гарпа или Берри, поглаживающего медведя, попытаться без чрезмерных потерь переждать нынешнюю смутную пору, благо судьба изобретательна по части самых непредсказуемых зигзагов?

Навряд ли Ирвинг осознанно стремился к подобному успокоительному эффекту, но существен результат, а не авторские намерения. Книги Ирвинга читают с энтузиазмом. Мастерство этого прозаика бесспорно. Но его популярность обеспечена все-таки не собственно литературными достоинствами «Отеля «Нью-Гэмпшир», где есть и настоящий юмор, и умело выстроенный сюжет, и отменная наблюдательность, как есть, впрочем, и штампы, пришедшие прямиком из комиксов и бульварных романов.

Дело в конечном счете упирается в то умонастроение, которое доносят книги Ирвинга, или, выражаясь по-иному, в тенденцию, которую обозначили его произведения. Чем труднее живется, тем ощутимее потребность хоть ненадолго избавиться от страхов и комплексов, навязчивых забот и эмоциональной заторможенности. И рука тянется к книгам Ирвинга. Они для таких целей незаменимы. Они снимают напряжение. Но заботы от этого не утрачивают своей актуальности. Полученный допинг бодрости действует не так уж долго.

А когда его действие заканчивается, для человека, привыкшего искать в книгах отблески явлений, которые его волнуют и тревожат, лишь еще острее делается нужда в литературе, рисующей жизнь во всей суровой правдивости. Это закон, который подтвердило и причудливое на вид перемещение читательских интересов в Америке последнего времени.

Впрочем, причудливым оно покажется лишь по первому впечатлению. На самом деле издательства давно выучились прогнозировать коммерческий успех своей продукции. Порой для этого и не требуется дара предвидения. Кто же не угадает, что публику привлекут мемуары бывших американских заложников в Иране,— и эти наспех состряпанные книжки, где живописуются перенесенные лишения, но не сделано и попытки всерьез разобраться в событиях, буквально наводнили прилавки. Спал ажиотаж вокруг Уотергейта, зато у всех еще в памяти президентские выборы 1980 года, а поэтому не иссякает поток сочинений, в которых чуть не по дням расписан весь жизненный путь нынешнего хозяина Белого дома. Пока феминизм не стал отшумевшим увлечением, найдут спрос и книги наподобие «Ведьм» Эрики Джонг, где доказывается, что прекрасный пол подвергался и подвергается притеснениям — с незапамятных времен, под любыми небесами...

Но когда речь идет о подлинной литературе, прогнозы подчас и не сбываются: публике могут прискучить профессиональные поставщики бестселлеров, и она начинает читать писателей, прежде не добивавшихся широкого признания. В таких случаях много говорится о капризах моды, хотя надо бы говорить о запросах и потребностях, которые формирует время.

Вот любопытный пример такого рода. «Отель «Нью-Гэмпшир» успешно отражал натиск ловко скроенных переделок в состязании за титул самого читаемого «романа в переплете». Но существует и другой список бестселлеров. Его составляют, подсчитывая, как расходятся книги в «мягких обложках, имеющие намного больше покупателей». И в этом списке главенствовала книга, по материалу, а главное, по тональности несопо-

ставимая с произведением Ирвинга,— роман Джозефа Вамбо «Блестящий купол» [1].

Кинозрители, должно быть, еще помнят фильм «Новые центурионы», шедший на нашем экране. Он снят по известному роману Вамбо. Прежде чем стать писателем, Вамбо четырнадцать лет сам был «центурионом», и работа в полиции позволила ему из первых рук узнать преступный мир, о котором он рассказывает во всех своих книгах. Их воспринимают как детективы, ценя занимательность интриги и достоверность деталей. Но точнее было бы назвать их социальными романами на несколько специфическом материале.

Вамбо не стремится ошеломить невероятными стечениями обстоятельств. Ему важнее люди, действующие в обстоятельствах, для Америки совсем не исключительных. Детективы Мэки и Уэлборн, расследующие в «Блестящем куполе» убийство видного голливудского менеджера, привыкли ничему не удивляться: ни тупоумию и садизму собственного начальства, ни сплошной коррупции, ни всесилию дракона наживы, превращающего респектабельных граждан в уголовников-рецидивистов, ни насилию в самых чудовищных его формах, ни испепеляющей жажде наслаждений самого вульгарного, а то и патологического характера. Все это для них давно стало будничностью, прозой жизни, с которой приходится иметь дело изо дня в день.

И само преступление, выглядевшее загадочным, оказалось весьма заурядным событием будничной американской хроники. Просто не поладили два торговца порнографическими фильмами, которые — почти без камуфляжа — снимают прямо в голливудских павильонах.

«Блестящий купол» — название бара со скверной репутацией, куда часто заходят герои, чтобы скрасить одинокие вечера и разузнать подробности, которые пригодятся по службе. Для Вамбо это название обладает символическим смыслом. Голливуд — тоже своего рода блестящий купол, царство грез и мифов о безоблачной, улыбающейся Америке. Мифы все еще принимают на веру, а ведь под этой глянцевой оболочкой скопилось так много грязи, извращенности, уродства...

Эта грязь и извращенность заполняют страницы романа Вамбо. Повествование становится откровенно натуралистичным, чего нельзя оправдать характером писательской задачи. Да и в целом книга не выделяется эстетическим качеством. И все-таки она заслужила интерес и внимание, проявленные к ней читателями. Привлекает в ней трезвость взгляда и не признающая компромиссов точность воссоздания сегодняшней бытовой, повседневной атмосферы. А эта точность, эта трезвость немалого стоят— и особенно когда трудное время побуждает задуматься, что же происходит со страной, можно ли еще что-то поправить.

Герои Вамбо об этом тоже размышляют — и не находят ответа. Они очень типичны для Вамбо, два этих немолодых, усталых человека, всего навидавшиеся и ко всему притерпевшиеся, безропотно тянущие лямку, хотя им давно опротивело их ремесло. Немало таких персонажей прошло через книги писателя, но в «Блестящем куполе» характеры приобрели новое, добавочное измерение: под загрубевшей корой и в Мэки, и в Уэлборне подчас чувствуется погибший романтик и идеалист, которому так хотелось бы сохранить веру, что человек по самой своей природе не способен переступать известные нравственные границы. Действительность не устает подтачивать это гуманное убеждение, но она не в силах до конца вытравить живущую в них обоих надежду, не может загасить тлеющий под грудами шлака огонек добра.

Несколько лет назад Джон Гарднер бросил американским писателям упрек в том, что они растеряли «этическую серьезность», заменив ее игрой в фикции или намеренной бесстрастностью, с какой изображаются беды и муки современника. Выступления Гарднера наделали много шума: не лишенные пристрастности, они бывали справедливыми в главном. Сегодня «этическая серьезность» возвращается в американскую прозу. Роман Вамбо примечателен и в этом смысле — как явление, дающее ощутить дух и направленность нового литературного десятилетия.

Подобный вывод показался бы чересчур смелым, если бы он был сделан на основании лишь одной (к тому же в художественном отношении не самой яркой) книги. Но его можно подкрепить еще несколькими примерами. А среди них — и такими, как роман Роберта Стоуна «Флаг в честь рассвета» [1]. Имя Стоуна знакомо нашим читателям. Правда, прошло немало времени с тех пор, как «Иностранная литература» опубликовала его роман «В зержалах». Но писатель работает крайне тщательно, а поэтому печатает совсем немного. «Флаг в честь рассвета» — только третья его книга, хотя творческая биография Стоуна началась четверть века назад.

Тогда он был близок к битникам. От той далекой поры в произведениях Стоуна не сохранилось почти ничего. Разве что, как говорит он сам, «интерес к лишенному корней, эмоционально искалеченному индивиду, наподобие тех, кто когда-то населял чердаки и подвалы Сан-Франциско, приютившие «разбитое поколение». Но битники, так и не преодолев духовной ущербности, давно сошли со сцены. А Стоун не удовлетворился декларативным разрывом с обуржуазившейся «массой» и воспеванием собственной отчужденности. Его, хроникера и аналитика движущейся истории, потянуло в горячие точки планеты. Сначала во Вьетнам, где он наблюдал бесславный конец военной авантюры, описанный в «Штрафном отделении» (1974). Потом в Центральную Америку, в Никарагуа, Гондурас, Сальвадор, изъезженные Стоуном вдоль и поперек, прежде чем появилась на свет крохотная страна Текан, место действия его последнего романа.

Эта книга вызывает в памяти и образы Грэма Грина. Дело не только во внешнем сходстве: и у Стоуна, и в таких романах Грина, как «Комедианты»,— классическая банановая республика, и там и здесь — ат-

[1] Joseph Wambaugh. The Glittering Dome.

[1] Robert Stone. A Flag for Sunrise.

мосфера тирании, насилия, бесчеловечности, ощутимая на каждом шагу. Есть еще и общность более глубокая.

Подобно книгам Грина (или, например, фильму Антониони «Профессия: репортер»), в романе Стоуна главным персонажем оказывается «искатель экзистенциального приключения», как иногда называют героев, которые, запутавшись в противоречиях действительности и в собственной душевной смуте, очертя голову бросаются в историю на ее крутых поворотах, в революцию, чьи смысл и закон для них остаются непонятными, если не вовсе чужими. Им, этим героям, необходим прямой контакт с совершающимся сегодня историческим делом, потому что, не умея выработать четкую и прочную духовную позицию, они тешат себя иллюзией, будто это за них сделает революция и необходима лишь какая-нибудь форма причастности к ней, чтобы сами собой разрешились мучительные вопросы о нравственной ответственности, гражданском долге и реальном гуманистическом действии.

Реальность, с которой сталкивается пробывший в Текане несколько недель антрополог-американец Холливел, не признает, однако, никакой этической и идейной раздвоенности. Механизм диктатуры пока еще работает исправно, но уже зарождается революция, которой принадлежит завтрашний день. Агонизирует задавленное тиранией, стиснутое удавками политического насилия государство-вассал, где всемогущи и ненаказуемы «Национальная гвардия» и ЦРУ, а в непролазных джунглях и в горах уже действуют отряды повстанцев. И в таких условиях нет места для приключений ради самого приключения. Каждому необходимо четко определить свое место в развертывающейся схватке.

Холливелу это не по силам. Он бежал в Текан — от обжигающих стыдом и бессильной злостью воспоминаний о юности, похороненной в сожженных вьетнамских деревнях и сайгонских борделях, от разочарования и отвращения, которое в нем давно вызывает американская интеллектуальная элита, от безнадежной путаницы семейных обстоятельств, от чувства тупика и непоправимой жизненной катастрофы. Текан виделся ему приключением, а стал судьбой. Здесь прошли проверку на прочность его расплывчатые побуждения к бунту и нонконформизму — и не выдержали испытания делом. Здесь выбор между антагонистичными стихиями подавления и освобождения обозначился перед ним со всей ясностью — но так и не был сделан.

Требовалась определенность позиции, но сознание Холливела и до и после Текана осталось сознанием типичного буржуазного интеллигента: мятущимся, расколотым, мучимым противоречиями. Подчас в этих противоречиях несложно опознать конфликтность самих событий, участником которых стал герой книги. Стоун не прошел мимо экстремистских крайностей, сопутствующих революционным движениям в «третьем мире», и, пожалуй, даже несколько сгустил краски, хотя ему вовсе не свойственна тенденциозность, обычная для западных писателей, которые обращаются к подобным темам. Во всяком случае, он не попытался искать для Холливела оправданий в тех сложностях, которыми отмечены большие драматические общественные процессы, остающиеся революционными по своему значению.

Для другого главного персонажа романа — монахини Джастины, американки, принявшей католицизм, который видится ей защитой от жалкой судьбы тех, кто «лишен корней»,— революция, конечно, остается явлением непостижимым, чужим и пугающим. Но, в отличие от Холливела, Джастина наделена органичным чувством справедливости и моральной обязанности. В ситуации, которая предъявляет всем и каждому особенно высокие этические требования, Джастина делает свой выбор естественно и без колебаний. Ее стараниями уединенная католическая миссия становится госпиталем для партизан. А когда являются карателя, у Джастины находятся силы встретить свой смертный час, не унизив себя компромиссом.

Джастине ведома истина простая, но так трудно дающаяся другим: перед лицом варварства необходима активная гуманность, выражаемая поступком, какую бы цену за него ни пришлось заплатить. И эта немногословная, легко ранимая, терзаемая приступами безверия женщина на последних страницах романа предстает героиней в самом прямом и точном значении слова.

«Не может испытывать страха тот, кто научился понимать историю»,— так завершает свою книгу Стоун. Собственно, это нелегко обретаемое понимание и составляет центральную проблему романа, его главный конфликтный узел. Здесь все — независимо от политических симпатий и личных особенностей — вовлечены в большое историческое событие, которое переменит судьбу народа. А совершающаяся сейчас история непосредственно, недвусмысленно высвечивает и духовную сущность, и человеческую значимость героев. Это процесс болезненный, даже жестокий, но целительный в своих конечных результатах — помимо всего прочего и того, что лишь подобной причастностью к истории по-настоящему преодолевается состояние растерянности, подавленности, травмированности, страха, то нездоровое состояние общества, которое вызывает понятную тревогу многих американских писателей.

Непреложная обязанность литературы — противодействовать духовной апатии и настроениям безнадежности — в такие времена становится особо ответственной. Много говорится и пишется о том, что американская литература не осознает этого своего долга в необходимой мере. Но на самом деле она отнюдь не пассивна. Роман Стоуна подтвердил это еще раз, наглядно показав беспочвенность домыслов об упадке большой американской прозы.

А. ЗВЕРЕВ

◆

Из месяца в месяц

АВСТРАЛИЯ

В сиднейском театре «Ансамбль» с успехом идет постановка пьесы Алексея Арбузова «Старомодная комедия». Роль Родиона Николаевича исполняет один из основателей труппы театра Дон Райд. В роли Лидии Васильевны занята известная мельбурнская актриса Дайана Гринтри. По отзыву критика Нэн Масгроув, «актеры исполняют свои трудные роли великолепно и без налета сентиментальности... Очаровательная пьеса».
На снимке: сцена из спектакля.

(Газета «Сидней морнинг геральд»)

БЕЛЬГИЯ

«ВЕНСКАЯ ФАНТАЗИЯ» МОРИСА БЕЖАРА

«Вена, Вена, лишь ты одна...» — так называется новая постановка руководителя труппы «Балет XX века» Мориса Бежара. В балете использована музыка композиторов, творческая судьба которых была связана с Веной,— Гайдна (его 250-летний юбилей праздновался в австрийской столице в прошлом году), Моцарта, Бетховена, Шуберта, Иоганна Штрауса и представителей «новой венской школы» — Шёнберга, Веберна и Берга. Бежар поставил перед собой задачу передать на сцене размышления о конце света, апокалипсисе. Его олицетворением для Бежара является судьба Вены — города, который некогда был одной из мировых столиц и, по мере того как разваливалась великая Австрийская империя, постепенно утрачивал свое значение.

Однако во взглядах на судьбы мира Морис Бежар все-таки остается оптимистом. «В крушении старого мира — обещание скорого появления нового,— говорит он.— Человечество, как и природа, развивается по циклам, подобным временам года. Новый мир произрастает из старого, как молодой весенний росток — из дерева, в котором зима, казалось бы, убила жизнь.

Я представил себе человеческие существа, находящиеся в каком-то замкнутом пространстве — бункере, сумасшедшем доме или зале ожидания. Они осуждены на совместное существование и должны приспосабливаться друг к другу. Но не все способны на это, и потому возникают и исчезают ненависть, любовь, ревность, зависть. Наконец наступает апокалипсис. Но сразу же вслед за этим происходит возрождение, появляются надежда на лучший мир и неотделимая от нее радость».

БОЛГАРИЯ

«ЧЕРЕЗ МЕНЯ ПРОХОДИТ ЦЕЛЫЙ МИР»

В издательстве «Болгарский писатель» в Софии вышел сборник стихов Станки Пенчевой «Недостроенный мир» под редакцией Л. Исаева.

«Откровением, необычайной человеческой и поэтической эмоциональностью наполнены финальные строки одной из поэм сборника «Через меня проходит целый мир»,— отмечает рецензент журнала «Пламк» Нина Пантелеева.

Новый фильм режиссера Георгия Стоянова «Константин-Кирилл Философ» по сценарию известного драматурга Николы Русева посвящен жизни одного из создателей славянской письменности Константина, принявшего в монашестве имя Кирилла.
В фильме рассказывается о годах его учения и жизни в Константинополе, где началась его работа над созданием азбуки. Как сказал Георгий Стоянов в интервью корреспонденту газеты «Работническо дело», «мы хотим в своем фильме показать не иконописные лики, а живых людей, которые жили в ту далекую, но необыкновенно интересную для нас эпоху».
На снимке: кадр из фильма.

(Газета «Работническо дело»)

Далее рецензент говорит, что жанр поэмы не характерен для творчества С. Пенчевой, но и здесь, как во всех ее произведениях,— кристальная лирическая завершенность, свидетельствующая о многогранности мастерства поэтессы. Каждая часть поэмы, являясь звеном единой цепи, движима тремя факторами: душевным состоянием, воспоминанием, синтезом пережитого. В сущности, все они тесно переплетены, и, наверное, трудно говорить о доминировании какого-либо из них в общей лирической структуре поэмы.

Для поэзии С. Пенчевой характерен показ единства незначительных явлений и того большого, общечеловеческого, что предопределяет существование человека независимо от его воли. Не случайно сборник открывается советом, напутствием поэтессы: «...не презирайте ручей лишь только потому, что океаны существуют в мире».

В каждом новом произведении С. Пенчевой ощущается все большая углубленность в проблемы нравственности, ведь именно нравственность является залогом формирования человека как личности.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА

Столь недавно процветавший английский театр переживает сегодня тяжелые времена. Жестокий экономический кризис, поразивший все стороны жизни Великобритании, не оставил в стороне и театральное искусство.

Как считает президент Королевского оперного театра «Ковент-Гарден» Клаус Мозер, для того, чтобы остаться хотя бы на нынешнем уровне и избежать дальнейшего сползания, необходимо 14-процентное увеличение государственных субсидий. Правительство Тэтчер же выделяет лишь треть запрашиваемых средств. Подобная экономия на искусстве, по мнению президента «Ковент Гарден», приведет к разорению многих ведущих театров страны.

В Англии государственные субсидии и частные пожертвования покрывают только около половины расходов театров, тогда как в других ведущих западноевропейских странах (Франции, Италии, ФРГ) государственные поступления обеспечивают театр на 80%. Недостаточные государственные дотации вынуждают ведущие британские театры компенсировать издержки за счет повышения цен на билеты, сокращения количества недорогих зрительских мест. Все это больно ударяет по среднему английскому зрителю, для которого посещение театра становится недоступной роскошью. Связанное с этим ограничение круга зрителей неизбежно сказывается на качестве самого исполнительского искусства.

Обращение за помощью непосредственно к М. Тэтчер, как полагают специалисты, совершенно бесполезно, ибо в правительственной помощи категорически отказано даже работникам здравоохранения. По саркастическому замечанию Клауса Мозера, снискать расположение «железной леди» сможет разве что постановка на сцене «Ковент-Гарден» оперы на тему «победы» англичан на Фолклендских (Мальвинских) островах — предмету гордости М. Тэтчер.

В поисках выхода из создавшегося тупика руководство Королевской оперы, наряду с попытками привлечения частных средств, активно рассматривает вариант реализации малых театральных представлений в лондонских парках и на промышленных предприятиях, надеясь получить финансовую поддержку со стороны отдельных предпринимателей и профсоюзов.

По мнению президента «Ковент-Гарден», больным местом театра является недостаточная реклама и полная неинформированность широкой британской публики об истинном положении театрального искусства. «Если правительство решит еще больше урезать субсидии в сфере искусства, никто не станет поднимать по этому поводу большого шума, не считая, быть может, пары писем в «Таймс» или статьи в «Файнэншнл таймс». Случись подобное во Франции, Италии или ФРГ,— продолжает Мозер,— это стало бы колонками новостей, но у нас это никого не волнует. По мнению президента Королевской оперы, Англии совершенно необходима общенациональная организация, которая бы отстаивала интересы искусства, следила бы за его развитием и помогла бы, помимо всего прочего, искоренить тот вредный стереотип, согласно которому «искусство не может быть предметом голосования». В сегодняшней Англии, считает Клаус Мозер, нужды искусства как раз должны стать предметом обсуждения.

ВЕНГРИЯ

ДРАМА ДЮЛЫ ИЙЕША В НАЦИОНАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

Будапештский Национальный театр осуществил постановку драмы Ийеша «Чистые». Это уже третий спектакль: в 1969 году, в год ее написания, она шла на сцене театра города Печа, а в 1970 году — в столичном театре «Вигсинхаз».

Со статьей, посвященной

На снимке: актриса Илдико Хамори в роли супруги Переллы.

(Журнал «Филм, синхаз, мюжика»)

спектаклю Национального театра, выступил на страницах газеты «Непсабадшаг» критик Миклош Алмаши.

Перу Ийеша принадлежит целый ряд современных гражданско - психологических драм, написанных на историческом материале. Это «Пример Озора», «Пламя факела», «Фаворит», «Чудак», «Братья».

В пьесе «Чистые», на материале альбигойских войн, происходивших в XII—XIII веках на Юге Франции, Ийеш раскрывает конфликт между основными персонажами пьесы: сеньором осаждаемой крестоносцами крепости Переллой Раймундом, сторонником борьбы за прогрессивные идеи во имя людей, и епископом Эн Марти, отличающимся исступленной религиозностью и крайней нетерпимостью.

Перелле претит фанатизм Эн Марти, возглавляющего борьбу альбигойцев, поэтому он делает все, чтобы избежать кровопролития и сохранить людей.

Дюла Ийеш выступает на стороне Переллы Раймунда — политика, считающегося с внутренними закономерностями исторического развития. И эта позиция автора придает спектаклю жизнеутверждающий, оптимистический характер.

«Пьеса Дюлы Ийеша «Чистые»,— подчеркивает в заключение Миклош Алмаши,— многоплановое произведение, и достоинство ее в том, что поднятые в ней вопросы долго будут «работать» в зрителе».

С драмой Дюлы Ийеша «Чистые» советские читатели могут познакомиться по сборнику писателя «Пьесы», вышедшему недавно в издательстве «Искусство».

ГДР

НА ЭКРАНЕ — ЭРНСТ БУШ

«Буш поет» — так называется новый телевизионный фильм в шести сериях. Идея этого фильма принадлежит известному режиссеру Конраду Вольфу, впервые обратившемуся к документальному жанру. Работа над фильмом «Буш поет» стала последней работой Конрада Вольфа, скончавшегося в 1982 году. Заканчивали фильм режиссеры Эрвин Буркерт и Петер Фойгт.

Конрад Вольф до последних дней жизни был президентом Академии искусств ГДР, членом которой был и Эрнст Буш. Вольф знал Буша и по общественной деятельности, и хорошо был знаком с его творчеством, считал знаменитого певца и актера явлением в культуре страны. Недаром подзаголовок фильма — «Шесть фильмов о первой половине XX века».

...Детство и юность Буша, начало творческого пути, участие в гражданской войне в Испании, борьба с фашизмом, плен, попытка бегства, Бранденбургская тюрьма, приход советских войск и освобождение, работа в первые послевоенные годы в содружестве с Бертольтом Брехтом и Еленой Вайгель — обо всем этом рассказывают шесть серий фильма. В них использованы уникальные документальные материалы, в том числе и первая встреча Буша с советскими солдатами. Лицо Буша было изуродовано до неузнаваемости (он пострадал во время воздушного налета на тюрьму), и чтобы объяснить солдатам, кто он, Буш запел знаменитую «Песню Единого фронта». Таким образом Буш был узнан...

В одном из своих интервью Конрад Вольф сказал об Эрнсте Буше, что он всегда был борцом. Он боролся не только своими боевыми, темпераментными песнями — вся его деятельность была посвящена борьбе, и мы должны изучать его жизнь и его творчество.

Фильм об Эрнсте Буше, как считают рецензенты,— большая удача его создателей, и прежде всего самого Конрада Вольфа. «Этот документальный многосерийный фильм отразил целый период не только нашей жизни, но и мировой истории»,— пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд».

«Фильм как бы перекидывает мостик от старшего поколения к новому, молодому поколению, он имеет большое познавательное значение»,— отмечает обозреватель еженедельника «Зонтаг».

На снимке кадр из фильма: встреча Эрнста Буша с женой Эвой после возвращения из Бранденбургской тюрьмы в 1945 году.

(*Еженедельник «Зонтаг»*)

«ДАМА В БЕЛОМ»

Издательство «Хинсторфф» выпустило новый роман Гельмута Шульца «Дама в белом» (о Г. Шульце см. «ИЛ», 1976, № 10 и 1982, № 3).

Повествование ведется от первого лица. Рассказчик — человек, которому около 45 лет. Во время фашизма его дед, мать, отец и тетка — благополучная средняя немецкая семья — становятся членами нацистской партии. Сам он проводит детство в военизированном лагере. Но вот кончается война. Разрушен родительский дом, умирает мать, распадается семья, разрушены и привычные представления о жизни, юноше надо начинать все заново...

Роман назван «Дама в белом», так как в воспоминаниях героя большую роль играет его мать, любившая белые платья. Именно к ней обращался подросток, чтобы как-то разобраться в прошлом и в окружающей действительности, «узнать все про нас».

Действие романа кончается в середине 50-х годов. Как и в своих прежних романах, Шульц основное внимание уделяет острым социальным проблемам, сложным взаимоотношениям людей разных поколений. Писателю удалось показать психологию своего молодого героя, которому рано пришлось столкнуться с трагическими противоречиями жизни.

«В своей обычной манере спокойного, делового повествования с множеством интересных, любовно отточенных деталей Гельмут Шульц создал правдивую книгу о нашем недавнем прошлом, книгу, которая многому может научить читателя»,— пишет рецензент газеты «Берлинер цайтунг».

ИНДИЯ

«ПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА» ХОДЖА АХМЕДА АББАСА

Видный индийский писатель и кинорежиссер Ходжа Ахмед Аббас, многие произведения которого хорошо известны советскому читателю и кинозрителю, никогда не расставался с профессией журналиста. В 1947 году Аббас пришел работать в популярный бомбейский еженедельник «Блиц», где начал вести рубрику под названием «Последняя полоса». Аббас поставил своеобразный журналистский рекорд — за тридцать пять лет «Блиц» ни разу не вышел без подписи «Ходжа Ахмед Аббас» на последней странице. Он делает свою «Последнюю полосу» и по сей день.

Недавно вышла в свет книга очерков и журналистских материалов Аббаса под названием «Хлеб, красота и революция». В нее вошло 114 очерков, писавшихся им в разные годы. 114 из 1600!

В рецензии на сборник, опубликованной в журнале «Линк», поэт Сурeш Коли пишет: «Крупнейшие политические события, деятельность в области литературы и культуры, путевые заметки с упором на личные судьбы встреченных им людей,— кажется, что Аббас сумел написать обо всем важном, что происходило на его веку в своей, теперь тоже ставшей исторической «Последней полосе».

Рецензент другого периодического издания, газеты «Патриот», писал: «Тщательно составленный, хорошо запоминающийся сборник «Хлеб, красота и революция» — шестьдесят третья книга Аббаса — не просто перечень важнейших событий из жизни свободной Индии, это попытка уловить и понять дух современной истории в целом. Большие политические свершения, явления литературы и культуры, рассказы о творцах истории, острые социальные проблемы — все это делает выход такой необычной книги подлинной вехой наших дней».

ФИЛЬМ О ГЕРОЕ

Хороший детский фильм — большая редкость на индийском экране. В связи с этим не может не привлечь внимание опубликованная на страницах газеты «Джанюг» рецензия на новый фильм «Детство Шиваджи».

Картина, созданная режиссером П. Пендхакаром на бомбейской киностудии «Чилдренз филм сосаити», посвящена детским и отроческим годам национального героя индийского народа Шиваджи (1627—1680). Полная опасности и приключений жизнь Шиваджи служит образцом для подражания: «в Шиваджи» играют многие поколения

На снимке: кадр из фильма «Детство Шиваджи».

(Газета «Джан юг»)

индийских ребятишек. В Шиваджи их привлекают бесстрашие, героизм, беззаветная преданность родине. Фильм воссоздает образ юного Шиваджи, когда формировались те качества его характера, которые вскоре сделали его одной из самых ярких личностей индийской истории. У юных зрителей фильм пользуется огромным успехом, чему в значительной степени способствует талантливая игра исполнителя заглавной роли Ананда Джоши, который на II Международном фестивале детского фильма, проходившем в 1981 году в Мадрасе, был признан лучшим исполнителем детских ролей.

Новая картина, по мнению рецензента, является значительным событием индийского кинематографа.

ИТАЛИЯ

КРУШЕНИЕ НОВОЯВЛЕННОГО ОДИССЕЯ

Появление нового произведения Эльзы Моранте — всегда событие в культурной жизни страны. После антифашистского романа «История», воспринятого как одно из самых крупных явлений итальянской прозы за последние годы (см. «ИЛ», 1975, № 2), прошло восемь лет — и вот на суд читателей отдан новый роман «Аракоэли». Он сразу же привлек внимание читателей и критики, вызвал оживленные дискуссии.

Если «История» была монументальным повествованием об ужасах второй мировой войны и первых послевоенных лет, то новое произведение, казалось бы, ограничивается сферой семейных отношений, строится, по существу, как поток сознания героя. Однако в «локальном» сюжетном стержне «Аракоэли» отражаются существеннейшие проблемы нашего бытия. «Это всеобщий глас, вопиющий о наших разочарованиях, наших навязчивых идеях, нашей низости, наших страхах, нашей неудовлетворенной ностальгии по красоте, нашем желании любви»,— так оценивает новый роман Эльзы Моранте Джованни Джудичи на страницах газеты «Унита».

Главного героя романа, Мануэле, критики сравнивают с героем западноевропейского романа XIX века, перенесенным в наше время, с его трагедией одиночества, некоммуникабельности, поисков самого себя. К своим 43 годам Мануэле терпит полный крах как в общественной, так и в личной жизни. Раздираемый комплексом неполноценности, он «в поисках призрака собственной матери», Аракоэли, умершей от рака, когда он был еще ребенком, мечется между Миланом и Андалузией, откуда его мать родом. Мануэле отправляется в безрадостное путешествие во времени и пространстве к «родным берегам», к «материнским корням», к истокам. Новоявленный Одиссей терпит кораблекрушение в этом путешествии, ибо ищет он «тот рай, который,— пишет рецензент «Эпоки»,— невозможен».

В прессе отмечается композиционное и языковое мастерство Эльзы Моранте.

ПЛАНЫ АНТОНИОНИ

В последние годы итальянский режиссер Микеланджело Антониони работает необычайно много и плодотворно. После фильма «Идентификация женщины», премированного на Каннском кинофестивале 1982 года, он собирается ставить новую картину в США. Антониони уже имеет опыт работы в Голливуде, где он поставил фильм «Забриски-Пойнт» (1970). В свое время американская критика и публика приняли картину довольно холодно. Теперь же, как отмечает обозреватель французской газеты «Орор», профессора Гарвардского университета говорят в своих лекциях о «Забриски-Пойнт» как о шедевре кинематографии, очень точно отразившем противоречия «молодежного бунта конца 60-х годов».

В США Антониони начинает съемки фильма под предварительным названием «Экипаж». Сценарий фильма написан Антониони и Марком Пепло на основе сюжетов, взятых из австралийских газет. Герои будущей картины — люди, вся жизнь которых тесно связана с океаном. Они простые труженики, ведущие постоянную борьбу за существование. По мнению обозревателя «Орор», сценарий напоминает по настроению произведения Джозефа Конрада.

В ближайшее время Антониони намеревается ставить на итальянском телевидении фильм о Франциске Ассизском.

На снимке: кадр из фильма «Идентификация женщины».

(Газета «Юманите»)

ПОЛЬША

ЛЕНИН С НАМИ

Одно за другим в издательстве «Ксёнжка и ведза» издаются (совместно с советским издательством «Прогресс») произведения В. И. Ленина. По замыслу издателей, назначение серии — приблизить к польскому широкому читателю теоретические работы создателя первого в мире социалистического государства. «Мы живем,— пишет журнал «Нове ксёнжки»,— во время великих исторических и общественных перемен, и нам необходима политическая литература, которая поможет осмыслить происходящее и послужит руководством к действию, чтобы мы могли использовать в трудах Ленина все то, что не утратило своего значения и в наши дни в решении наших очень наболевших вопросов».

«ИЗБРАННОЕ» СТАНИСЛАВА ДЫГАТА

В Варшаве в Государственном издательском институте (ПИВ) вышло четыре тома «Избранного» известного польского писателя Станислава Дыгата, умершего в 1978 году.

Советскому читателю знакомы романы писателя «Путешествие», «Прощание», «Диснейленд» и его рассказы.

Первый том открывается романом «Боденское озеро», в основу которого легли воспоминания о лагере для интернированных во время второй мировой войны, он был оценен критикой как «исповедь сына века».

Во втором томе помещен роман «Прощание», где рассказывается о судьбе молодого интеллигента из состоятельной семьи в канун второй мировой войны и во время оккупации Польши гитлеровцами. Это история бунта молодого героя против мещанско-буржуазного мира, в котором он вырос и воспитывался, его трудного расставания («прощания», что вынесено и в заглавие романа) с отжившим миром имущих классов, окончательно обанкротившихся в годы национальной катастрофы.

Молодой варшавский служащий, герой романа «Путешествие», вошедшего в третий том, Генрик Шаляй, едет в Италию, где его брат Янек, ныне прославленный кинорежиссер Джованни Шаляй, сделал головокружительную карьеру. Но при ближайшем рассмотрении в Италии, которая казалась герою чудом, идет своя обыденная жизнь со всеми ее противоречиями. В доме брата, который на первый взгляд являет собой символ благополучия и процветания, царят лицемерие и фальшь, Джованни — ни во что не верящий циник, морально опустошенный человек, его жена, кинозвезда, улыбающаяся с обложек иллюстрированных журналов, глубоко несчастна в личной жизни. Молодой человек испытывает горькое разочарование, но оно освобождает его от иллюзий.

В четвертый том вошел роман «Диснейленд», который повествует о жизни спортивной и артистической молодежи. Его герой, как и герой романа «Путешествие», мечтает об идеальной любви, создает себе призрачный облик девушки, которая однажды мелькнула перед ним на костюмированном балу. Его мучают противоречия между его выдуманным миром и реальной жизнью, но герой преодолевает свой душевный разлад, к нему приходит сознание бесплодности пассивной созерцательности и необходимости выбора в пользу подлинных гуманистических ценностей.

В пятом томе будут опубликованы две небольшие повести — «Карнавал» и «Вокзал в Мюнхене».

Сатирик и лирик, психолог и философ, но прежде всего гуманист, Станислав Дыгат в своих произведениях всегда выступает против пассивной, созерцательной позиции, за активное включение в жизнь.

РУМЫНИЯ

«СЛИШКОМ МОЛОДЫ ДЛЯ МОРЩИН»

Новый румынский фильм режиссера Аурела Михелеша «Слишком молоды для морщин», поставленный по сценарию Михая Стояна, повествует о детях, которых называют «сиротами при родителях». Эта волнующая проблема, касающаяся детей из неблагополучных семей, вынужденных воспитываться в интернатах, где они «получают питание, одежду, образование, развлечения», но где им не могут дать «родительской любви», поставлена авторами несколько необычно.

Герои фильма — три подростка — убегают из интерната, побуждаемые самыми благородными целями. Они хотят помочь родителям «переделать жизнь», заставить их познать нормальное семейное счастье, то есть фактически спасти тех, от кого же, казалось бы, и страдают. Страдают именно из-за отсутствия тепла родительского дома, так как все остальное они с лихвой в условиях социалистического государства получают в школе-интернате.

Авторы стремятся показать, что зачастую дети оказываются умнее, мудрее, благороднее взрослых. Хотя побуждения героев фильма в данной ситуации и утопичны, мотивы их поступков — человечны, решения — разумны, рассуждения — умны. «Ребенка, потерявшего родителей, — рассуждает один из них,— называют сиротой, жену, потерявшую мужа,— вдовой, мужа, потерявшего жену,— вдовцом. А как же называть родителей, которые отказались от своих детей?»

Фильм, очень достоверно передающий чувства детей, их порой несбыточные, но исполненные благородства и человечности устремления, как отмечает газета «Ромыния литерарэ»,— большой успех румынских кинематографистов. Успеху этому немало способствовала и замечательная игра юных актеров.

США

ЗАМЕТКИ УИЛЬЯМА СТАЙРОНА

«Безмолвный прах» — так назвал свою книгу Уильям Стайрон, использовав в ее

На снимке: юные исполнители главных ролей в фильме «Слишком молоды для морщин» Габриэл Костя и Ана Косимбеску.

(*Еженедельник «Ромыния литерарэ»*)

заглавии слова из стихотворения Эмили Дикинсон об ушедшей жизни, от которой остался лишь безмолвный прах, превратившийся в пыль. В книгу вошли статьи о литературе, заметки, путевые впечатления разных лет. Как отмечают рецензенты, читатель не найдет в ней глубоких социальных прозрений или тонких замечаний о современной политике. Напротив, критики с некоторым разочарованием пишут о камерности проблематики и известной сентиментальности видения Стайрона. Однако все они подчеркивают человечность его суждений, которая создает у читателя уверенность в том, что это мысли «хорошего попутчика и верного друга», как пишет, например, на страницах «Интернэшнл геральд трибюн» А. Бройярд.

Отмечая, что и сам язык книги, столь нехарактерный для Стайрона «случайностью слов», неотточенностью стиля, «создает впечатление, что автор издал эти заметки для того, чтобы освободиться от воспоминаний, мыслей и чувств, связанных с прошлым». Мы, читатели романов Стайрона, пишет Бройярд, знаем, что он прекрасный стилист, и поэтому хочется назвать его книгу «Безмолвный прах» «незащищенной... В отличие от многих излишне себялюбивых писателей, Стайрон не беспокоится о том, что о нем подумают. Он доверяет своему читателю как писатель, чья популярность справедливо позволяет ему полагать, что то, что он говорит, интересно. И он прав. Мы действительно хотим знать, что думает один из самых значительных наших писателей о литературе, политике, о людях».

«Если в книге «Безмолвный прах» нам больше импонируют чувства, а не мысли,— пишет другой рецензент, Т. Эдвардс, на страницах «Нью-Йорк таймс бук ревью»,—то сердце автора— всегда на стороне истины. Эти отрывки говорят нам о мире меньше, чем мог бы сказать о нем Стайрон, но они многое рассказывают о самом писателе и его романах... пронизанных яркими вспышками страсти и человечности, которые и являются главной притягательной силой Уильяма Стайрона».

ТУНИС

ФЕСТИВАЛЬ АФРИКАНСКИХ КИНОФИЛЬМОВ

В Тунисе состоялся девятый кинофестиваль стран Африки, известный под названием Карфагенского.

Первая премия, «Золотая Танит», присуждена фильму «Ветер», созданному Сулейманом Сиссе (Мали). Место действия фильма — вымышленная африканская республика. Самюэль Лашиз в «Юманите» пишет: «Сюжет фильма основан на подлинной истории о том, как студенты выступили с протестом против совершавшихся в университете мошеннических махинаций с отметками на экзаменах. Сильная сторона постановки Сулеймана Сиссе в том, что классический повествовательный стиль связывается с фольклорными африканскими традициями. В фильме поражает сочетание почти документальной реалистичности с четкостью интеллектуального решения, которое в конечном счете способствует развенчанию древних суеверий и веры в священных духов».

На снимке: кадр из фильма «Ветер».

(*Газета «Юманите»*)

Второй приз кинофестиваля, «Серебряную Танит», получил режиссер-постановщик Гастон Каборе (Верхняя Вольта) за фильм-сказку «Божий дар», поэтическое воспроизведение тех времен, «когда белые колонизаторы еще не истоптали африканскую землю, деревья еще не засохли и в них гнездились птицы».

Отмечен премией фильм «Поездка по морю» тунисского режиссера Махмуда Бен Махмуда, работающего главным образом в Бельгии. Это история двух мужчин, добровольно покинувших свою страну, вырвавших себя с корнями из родной почвы. Волею случая они оказываются на транспортном судне, курсирующем между Дувром и Остенде. Обстоятельства складываются так трагически, что один из них погибает, а другому навсегда запрещена высадка на берег. По мнению критика «Юманите», атмосфера фильма напоминает романы Кафки. Это своеобразный отклик на противоречия современного мира, в котором люди постоянно испытывают тревогу или неуверенность и где слишком мало места остается для надежды.

Среди фильмов, показанных на фестивале, «Юманите» отмечает также «Парикмахера из бедного квартала» Мохаммеда Регеба (Марокко).

Алжирская кинематография была представлена фильмом, близким по духу к неореализму, «Одна крыша, одна семья», созданным Рабахом Лараджи. В нем рассказывается, как трудно приходится бедняку, если он задумал жениться. Фаузи Сайши, сыгравший в этом фильме главную роль, получил премию за лучшее актерское исполнение.

Премия за первое оригинальное произведение была присуждена египетскому фильму «Шофер автобуса» Атефа Ат-Тайиба, в котором рассказана трагическая семейная история.

На фестивале были показаны десятки других фильмов, созданных в африканских странах. Среди них «Юманите» отмечает «Отсутствие» Саада Шраиби (Марокко), короткометражный алжирский фильм «Проклятая» Хеди Геллаля и особенно фильм Тайиба Лухиши «Тень земли» (Тунис), демонстрировавшийся затем в Париже.

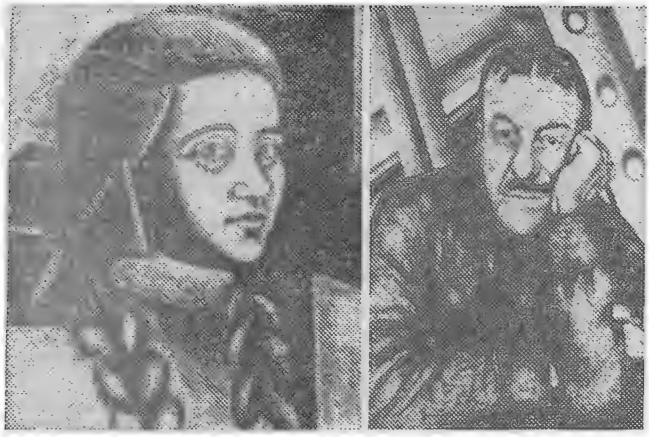
ФРАНЦИЯ

МАРСЕЛЬ ПРУСТ НА ЭКРАНЕ

Известный западногерманский кинорежиссер Фолькер Шлёндорфф (его картина по роману Гюнтера Грасса «Жестяной барабан» была удостоена главного приза Каннского фестиваля 1978 года) в ближайшее время приступит во Франции к съемкам фильма «Любовь Свана» по второй части книги Марселя Пруста «По направлению к Свану». По словам обозревателя «Фигаро» Пьера Монтеня, «за работой Шлёндорффа следят с таким же волнением, как за восхождением на недосягаемую горную вершину».

Дело в том, что многие известные кинематографисты пытались перевести романы Пруста на язык кино, но ни один из них не достиг успеха. Лукино Висконти написал сценарий «Содома и Гоморры», но к съемкам так и не приступил. Английский драматург и сценарист Гарольд Пинтер сделал переложение всего цикла «В поисках утраченного времени», однако режиссер Джозеф Лоузи не смог найти средств для осуществления этого грандиозного замысла. Знаменитый французский сценарист Жан-Клод Каррьер (постоянный соавтор Луиса Буньюэля) предложил Питеру Бруку свой сценарий по «Любви Свана». Однако Брук был слишком занят в театре, чтобы взяться за такую серьезную работу.

Интересно, что ни один французский режиссер ни разу не пытался экранизи-



Ученица, жена и друг Фернана Леже, основательница музея Фернана Леже в Бьоте, Надя Леже сама была яркой, самобытной художницей. «...Надя показала нам волнующий образ маленькой босоногой белорусской девочки, показала колоритных таджикских музыкантов, подчеркнув многонациональный характер Советского Союза; мне интересны супрематические картины, созданные ею в юности, в двадцатые годы, навеянные космосом и проникновением человека в пространство, мне нравятся ее автопортреты, в которых отражена ее славянская природа, и ее мозаики, прославляющие замечательных людей XX века»,— писала Жаннетта Торез-Вермеерш, отмечая также большой вклад Нади Леже в движение за мир и дружбу между народами.

Недавно в деревню Осетищи под Витебском, где родилась Надя Леже, во исполнение последней воли художницы, скончавшейся в прошлом году, был перевезен из Франции и захоронен ее прах.

На снимке: две работы Нади Леже — «Автопортрет» и «Фернан».

Мозаики Надежды Леже представлены на цветных иллюстрациях номера.

(*Газета «Юманите»*)

ровать прозу Пруста. По мнению Шлёндорффа, с одной стороны, французским кинематографистам не хватало мужества «посягнуть на творческое наследие классика национальной литературы», а с другой стороны, «они, видимо, не хотели, чтобы гениальный литературный первоисточник отодвигал на второй план авторство режиссера фильма».

«С юности я вынашиваю идею перенести прозу Пруста на экран,— говорит Шлёндорфф.— В основу фильма положен незначительно переработанный Жаном-Клодом Каррьером роман Пруста. Роль Свана сыграет известный английский актер Джереми Айронс. Съемки будут проходить во Франции, на французском языке, и потому ему сейчас приходится избавляться от своего акцента с помощью преподавателя. Мишель Пикколи выступит в роли барона де Шарлюс. Остальные персонажи книги «По направлению к Свану», и особенно главная героиня части романа «Любовь Свана» — Одетта де Креси, так живы в воображении почитателей Пруста, что мне хотелось бы пригласить совершенно неизвестных актеров, лица которых еще не примелькались».

Шлёндорфф решил построить свой фильм на использовании крупных планов. Поэтому он пригласил для участия в работе над картиной оператора Свена Нюквиста, признанного во всем мире мастера этого кинематографического приема, ближайшего сотрудника шведского кинорежиссера Ингмара Бергмана.

Как отмечает обозреватель «Фигаро», перед режиссером стоит задача чрезвычайной трудности — он должен найти пути воспроизведения на экране специфического стиля Пруста, до сих пор настораживающего и отпугивающего неискушенного читателя. «Я не хочу и не смогу адекватно воссоздать всю сложность образной системы Пруста,— говорит Шлёндорфф.— Я также не ставлю перед собой задачу нарисовать широкую картину нравов Франции начала XX века... Меня интересуют прежде всего люди, герои романа, анализ проявлений всеобщих и вечных человеческих чувств».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

«АДАМ И ЕВА»

Так озаглавлен новый роман Яна Козака, крупного современного чешского писателя, многие произведения которого («Святой Михал», «Гнездо аиста» и др.) уже известны советскому читателю (см. «ИЛ», 1973, № 7, 8 и 1978, № 7—9).

«Адам и Ева» — это своеобразный «роман-ретро» о судьбе двух любящих. Но книга Я. Козака — не только о любви, в ней утверждается активная жизненная позиция героев, сознающих всю общественную полезность своего труда. Героиня романа Ева после свадьбы оставляет место лаборантки и переезжает с мужем в деревню. Они садоводы, отдающие все свои силы любимой работе. Их позиция достойна всяческого уважения. «Горе тем, кто мешает нам трудиться!» — восклицает Адам.

Я. Неедла, рецензируя в «Руде право» роман Я. Козака, особо отмечает художественные достоинства книги и, в частности, своеобразие языковых характеристик героев, отражающих все то новое в языке, что привносит время, эпоха. «Адама и Еву» рецензент сравнивает с «Кола Брюньоном» — настолько сочен и эмоционально окрашен язык книги.

◆

Авторы этого номера

ТЕД ХЬЮЗ — TED HUGHES (род. в 1930 г.).

Английский поэт. Основные сборники его стихов: «Ястреб под дождем» («The Hawk in the Rain», 1957), «Луперкалии» («Lupercal», 1960), «Вудву», («Wodwo», 1967), «Ворон», («Crow», 1970), «Радуйтесь!» («Gaudete!» 1977), однотомник избранных стихов («Selected Poems 1957—1981», 1982) и др.

В русском переводе стихи Т. Хьюза печатались в книге «Из современной английской поэзии» (М., «Прогресс», 1976).

Публикуемая подборка составлена из стихотворений двух книг поэта — «Останки Элмета» («Remains of Elmet». London, Faber & Faber, 1979) и «Муртаун» («Moortown». London, Faber & Faber, 1980).

Статью В. Скороденко о творчестве Теда Хьюза см. в разделе «Критика», стр. 189.

КИСТЯКОВСКИЙ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ (род. в 1936 г.).

Советский переводчик англоязычной прозы и поэзии. В его переводах публиковались произведения Уильяма Фолкнера, Роберта Данкена, Чарльза П. Сноу, Флэннери О'Коннор, Эзры Паунда, Кейта Уотерхауса («ИЛ», 1982, № 10), Амосы Тутуолы и др.

МЕДЖА МВАНГИ — MEJA MWANGI (род. в 1948 г.).

Кенийский писатель. Лауреат Национальной литературной премии и международной премии «Лотос». Автор повестей «Вкус смерти» («Taste of Death», 1974), «Жертва для гончих собак» («A Carcase for Hounds», 1975), романа «Следопыты» («Bushtrackers», 1979) и др. На русский язык переведены романы «Неприкаянные» («ИЛ», 1977, № 2—4), «Улица Ривер-роуд», рассказы, стихи.

Роман «Тараканий танец», главы из которого публикуются в этом номере, вышел в Найроби в 1979 г. («The Cockroach Dance». Nairobi, Longman, 1979).

РАМЗЕС ВИКТОР БОРИСОВИЧ (род. в 1940 г.).

Советский переводчик. В его переводах публиковались произведения африканских писателей, пишущих на английском языке: Алекса Ла Гумы — повесть «В конце сезона туманов» («ИЛ», 1972, № 12), роман «Время сорокопута» («ИЛ», 1980, № 4), романы Нгуги Ва Тхионго «Пшеничное зерно» и Меджи Мванги «Улица Ривер-роуд», пьесы Атола Фугарда и др.

МАМОНТОВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ (род. в 1923 г.).

Советский литературовед и переводчик, доктор филологических наук, профессор. Автор монографии «Испаноязычная литература стран Латинской Америки в XX веке», многих работ по латиноамериканским литературам. В его переводе опубликованы романы Мартина Луиса Гусмана, Лу са Мартинеса, стихи Мануэля Гутьеррес Нахеры, рассказы Орасио Кироги и др.

А ШКЕВИЧ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (р д. в 1913 г.).

Советский литературовед, критик, переводчик. Заслуженный работник культуры РСФСР. Печатается с 1933 г. Автор многих работ о литературах Латинской Америки, о творчестве латиноамериканских писателей, в том числе Алехо Карпентьера. В его переводе издан ряд произведений латиноамериканских писателей.

СКОРОДЕНКО ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ (род. в 1937 г.).

Советский критик, литературовед. Автор книги «Английская поэзия. 1945—1970» (1972), статей об английской литературе, предисловий к книгам англоязычных авторов; является также составителем ряда антологий английского рассказа и английской поэзии.

КАГРАМАНОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1934 г.).

Советский публицист. Автор книги «Без знамени» (1979) и многих статей по вопросам зарубежной культуры, истории и социологии.

ТАКЭСИ КАЙКО (род. в 1930 г.).

Японский писатель, журналист, публицист. Автор романов, повестей, рассказов, публицистических очерков. Лауреат премии им. Акутагавы. На русский язык переведены повести «Гиганты и игрушки», «Японская трехгрошовая опера», рассказ «Голый король», роман «Горькое похмелье».
Очерк «Сто миллионов самоубийц» печатается по тексту пятитомника художественной публицистики Такэси Кайко, вышедшего в Токио в издательстве «Бунгэй сюндзю» в 1977 г. Остальные очерки были опубликованы в 1964 г. в книге, выпущенной издательством «Асахи симбунся».

РАСКИН БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1927 г.).

Советский японовед, переводчик. В его переводе на русский язык издавались романы Масудзи Ибусэ «Черный дождь», Такэси Кайко «Японская трехгрошовая опера» и «Горькое похмелье», Ясуси Иноуэ «Сны о России», Сэйте Мацумото «Среда обитания» и «Земля-пустыня», книга Масакацу Гундзи «Японский театр Кабуки», рассказы Сюгоры Ямамото, Рюноскэ Акутагава, Ясунари Кавабата и др.

◆

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103791, Пушкинская пл., 5.
Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Г. ВИШИАНИ-КОСЫГИНА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. З[illegible] Л. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, [illegible] МС ТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

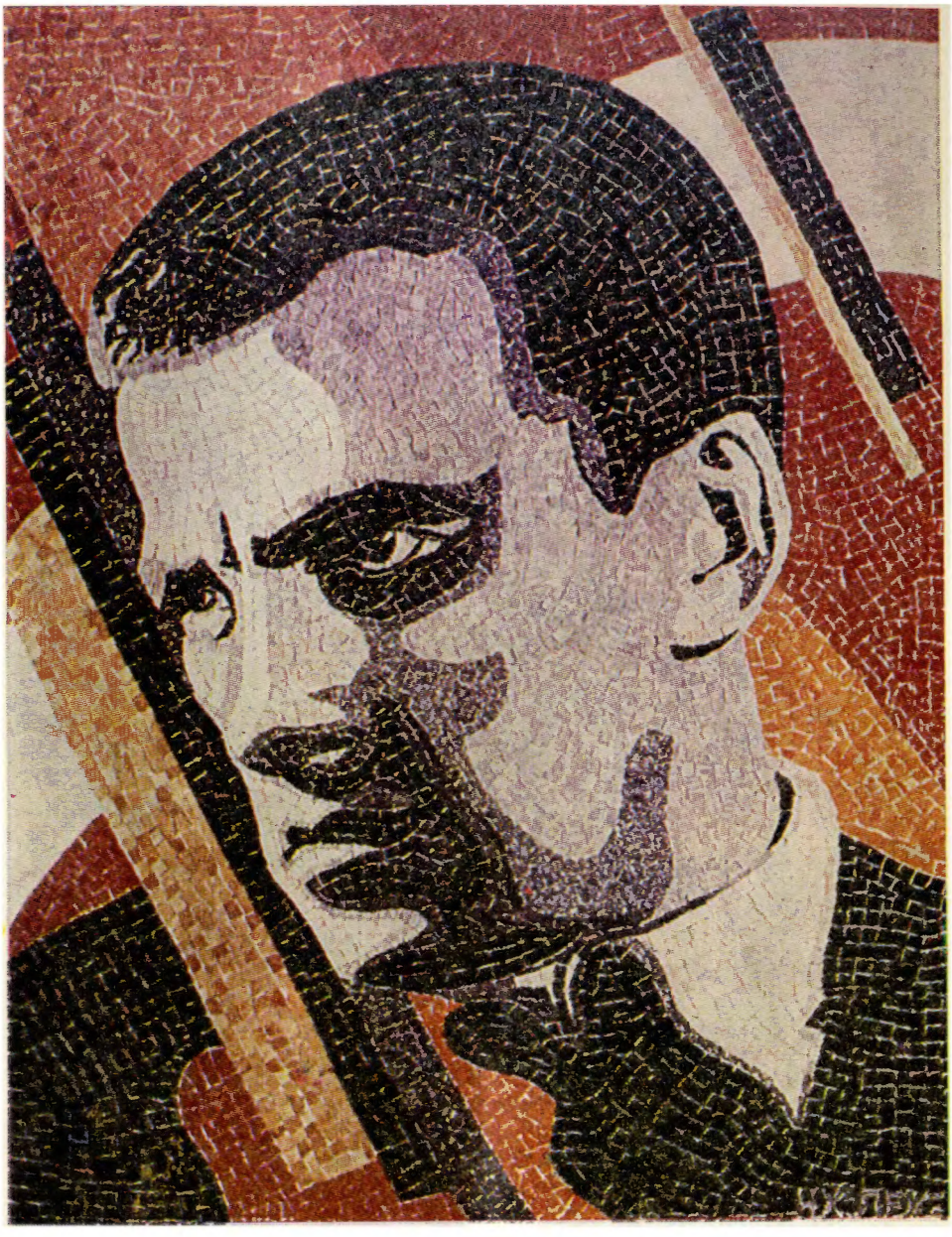
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 4.02.83. Подписано в печать 21.03.83. А. 01576. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая, 16 п. л. (22,4) усл. п. л., уч.-изд. л. 30,43.

Тираж 380 000 экз. (1-й завод: 1 —340 000 экз.) Зак. 522.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



Владимир Маяковский

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394